

М Горький

М. ГОРЬКИЙ

ХУДОЖЕСТ-  
ВЕННЫЕ  
ПРОИЗВЕДЕ-  
НИЯ

2

**АКАДЕМИЯ НАУК СССР**

**ИНСТИТУТ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

**ИМЕНИ А. М. ГОРЬКОГО**



# **М. ГОРЬКИЙ**

**ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

---

**ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ  
В ДВАДЦАТИ ПЯТИ ТОМАХ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»**

# М. ГОРЬКИЙ

ТОМ ВТОРОЙ

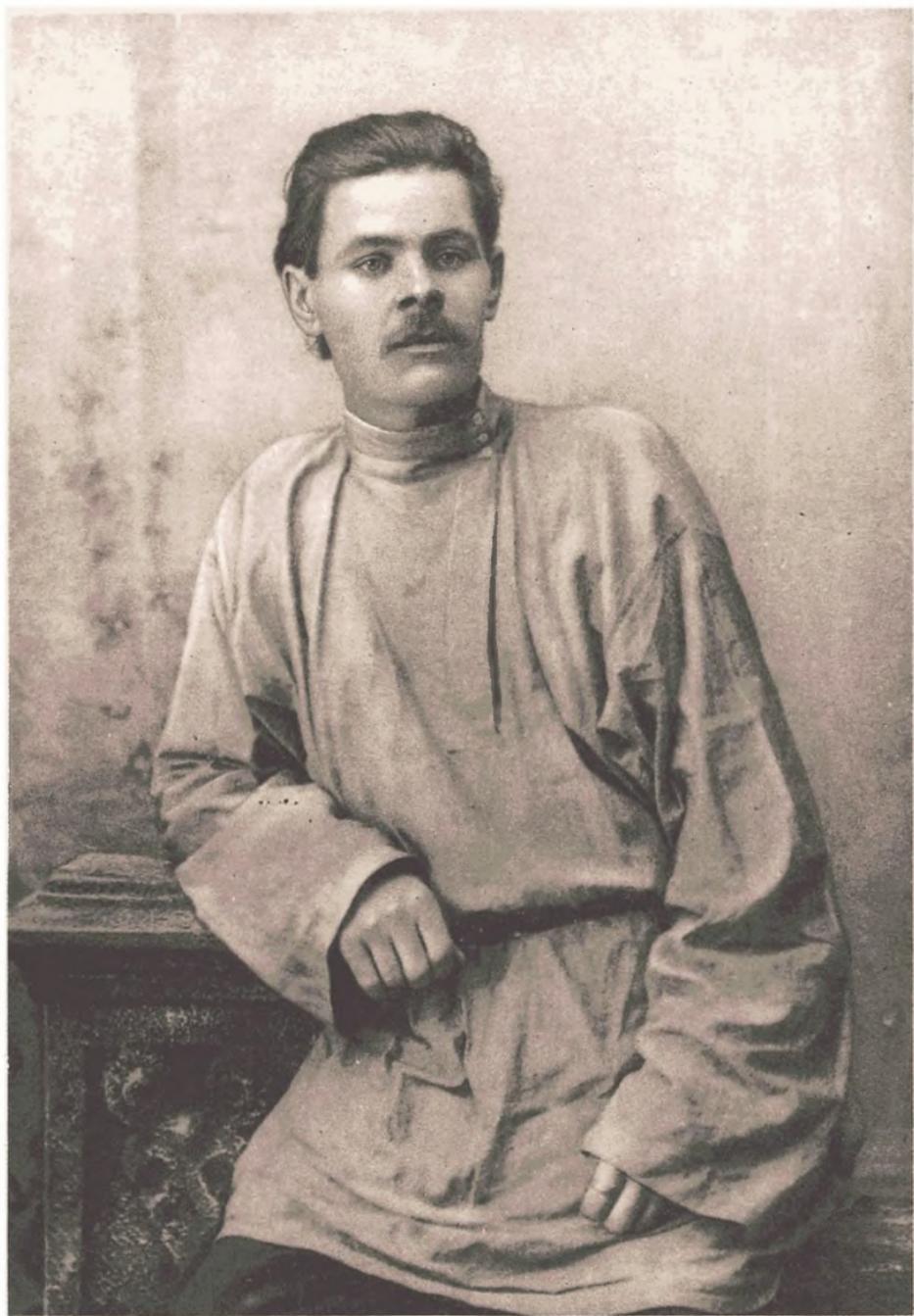
---

РАССКАЗЫ,  
ОЧЕРКИ, НАБРОСКИ,  
СТИХИ

1894—1896

МОСКВА • 1969

7-3-1  
Подписное



А. М. ГОРЬКИЙ

Нижний Новгород, 1896 г.

Фото М. Дмитриева



**I**





## ЧЕЛКАШ

Потемневшее от пыли голубое южное небо — мутно; жаркое солнце смотрит в зеленоватое море, точно сквозь тонкую серую вуаль. Оно почти не отражается в воде, рассекаемой ударами весел, паровых винтов, острыми киями турецких фелюг и других судов, бороздящих по всем направлениям тесную гавань. Закованные в гранит волны моря подавлены громадными тяжестями, скользящими по их хребтам, бьются о борта судов, о берега, бьются и ропщут, вспененные, загрязненные разным хламом.

Звон якорных цепей, грохот сцеплений вагонов, подвозящих груз, металлический вопль железных листов, откуда-то падающих на камень мостовой, глухой стук дерева, дребезжание извозчичьих телег, свистки пароходов, то пронзительно резкие, то глухо ревущие, крики грузчиков, матросов и таможенных солдат — все эти звуки сливаются в оглушительную музыку трудового дня и, мятельно колыхаясь, стоят низко в небе над гаванью, — к ним вздымаются с земли всё новые и новые волны звуков — то глухие, рокочущие, они сурово сотрясают всё кругом, то резкие, гремящие, — рвут пыльный знойный воздух.

Гранит, железо, дерево, мостовая гавани, суда и люди — всё дышит мощными звуками страстного гимна Меркурию. Но голоса людей, еле слышные в нем, слабы и смешны. И сами люди, первоначально родившие этот шум, смешны и жалки: их фигурки, пыльные, оборванные, юркие, согнутые под тяжестью товаров, лежащих на их спинах, суетливо бегают то туда, то сюда в тучах пыли, в море зноя и звуков, они ничтожны по сравнению с окружающими их железными колоссами, грудами

товаров, гремящими вагонами и всем, что они создали. Созданное ими поработило и обезличило их.

Стоя под парами, тяжелые гиганты-пароходы свистят, шипят, глубоко вздыхают, и в каждом звуке, рожденном ими, чудится насмешливая пота презрения к серым, пыльным фигурам людей, ползавших по их палубам, наполняя глубокие трюмы продуктами своего рабского труда. До слез смешны длинные вереницы грузчиков, несущих на плечах своих тысячи пудов хлеба в железные животы судов для того, чтобы заработать несколько фунтов того же хлеба для своего желудка. Рваные, потные, отупевшие от усталости, шума и зноя люди и могучие, блестящие на солнце дородством машины, созданные этими людьми, — машины, которые в конце концов приводились в движение все-таки не паром, а мускулами и кровью своих творцов, — в этом сопоставлении была целая поэма жестокой иронии.

Шум — подавлял, пыль, раздражая ноздри, — слепила глаза, зной — пек тело и изнурял его, и всё кругом казалось напряженным, теряющим терпение, готовым разразиться какой-то грандиозной катастрофой, взрывом, за которым в освеженном им воздухе будет дышаться свободно и легко, на земле воцарится тишина, а этот пыльный шум, оглушительный, раздражающий, доводящий до тоскливого бешенства, исчезнет, и тогда в городе, на море, в небе станет тихо, ясно, славно...

Раздалось двенадцать мерных и звонких ударов в колокол. Когда последний медный звук замер, дикая музыка труда уже звучала тише. Через минуту еще она превратилась в глухой недовольный ропот. Теперь голоса людей и плеск моря стали слышной. Это — наступило время обеда.

## I

Когда грузчики, бросив работать, рассыпались по гавани шумными группами, покупая себе у торговков разную снедь и усаживаясь обедать тут же, на мостовой, в тенистых уголках, — появился Гришка Челкаш, старый травленный волк, хорошо знакомый гаванскому люду, заядлый пьяница и ловкий, смелый вор. Он был

бос, в старых, вытертых плисовых штанах, без шапки, в грязной ситцевой рубаше с разорванным воротом, открывавшим его сухие и угловатые кости, обтянутые коричневой кожей. По всклокоченным черным с проседью волосам и смятому острому, хищному лицу было видно, что он только что проснулся. В одном буром усе у него торчала соломина, другая соломина запуталась в щетине левой бритой щеки, а за ухо он заткнул себе маленькую, только что сорванную ветку липы. Длинный, костлявый, немного сутулый, он медленно шагал по камням и, поводя своим горбатым, хищным носом, кидал вокруг себя острые взгляды, поблескивая холодными серыми глазами и высматривая кого-то среди грузчиков. Его бурые усы, густые и длинные, то и дело вздрагивали, как у кота, а заложенные за спину руки потирали одна другую, нервно перекручиваясь длинными кривыми и цепкими пальцами. Даже и здесь, среди сотен таких же, как он, резких босяцких фигур, он сразу обращал на себя внимание своим сходством с степным ястребом, своей хищной худобой и этой прицеливающейся походкой, плавной и покойной с виду, но внутренне возбужденной и зоркой, как лёт той хищной птицы, которую он напоминал.

Когда он поравнялся с одной из групп босяков-грузчиков, расположившихся в тени под грудой корзин с углем, ему навстречу встал коренастый малый с глупым, в багровых пятнах, лицом и поцарапанной шеей, должно быть, недавно избитый. Он встал и пошел рядом с Челкашом, вполголоса говоря:

— Флотские двух мест мануфактуры хватились... Ищут.

— Ну? — спросил Челкаш, спокойно смерив его глазами.

— Чего — ну? Ищут, мол. Больше ничего.

— Меня, что ли, спрашивали, чтоб помог поискать?

И Челкаш с улыбкой посмотрел туда, где возвышался пакгауз Добровольного флота.

— Пошел к чёрту!

Товарищ повернул назад.

— Эй, погоди! Кто это тебя изукрасил? Ишь как испортили вывеску-то... Мишку не видал здесь?

— Давно не видал! — крикнул тот, уходя к своим товарищам.

Челкаш шагал дальше, встречаемый всеми, как человек хорошо знакомый. Но он, всегда веселый и едкий, был сегодня, очевидно, не в духе и отвечал на расспросы отрывисто и резко.

Откуда-то из-за бунта товара вывернулся таможенный сторож, темно-зеленый, пыльный и воинственно-прямой. Он загородил дорогу Челкашу, встав перед ним в вызывающей позе, схватившись левой рукой за ручку кортика, а правой пытаясь взять Челкаша за ворот.

— Стой! Куда идешь?

Челкаш отступил шаг назад, поднял глаза на сторожа и сухо улыбнулся.

Красное, добродушно-хитрое лицо служивого пыталось изобразить грозную мину, для чего надулось, стало круглым, багровым, двигало бровями, тарщило глаза и было очень смешно.

— Сказано тебе — в гавань не смей ходить, ребра изломаю! А ты опять? — грозно кричал сторож.

— Здравствуй, Семеныч! мы с тобой давно не видались, — спокойно поздоровался Челкаш и протянул ему руку.

— Хоть бы век тебя не видеть! Иди, иди!..

Но Семеныч все-таки пожал протянутую руку.

— Вот что скажи, — продолжал Челкаш, не выпуская из своих цепких пальцев руки Семеныча и přátельски-фамильярно потряхивая ее, — ты Мишку не видал?

— Какого еще Мишку? Никакого Мишки не знаю! Пошел, брат, вон! а то пакгаузный увидит, он те...

— Рыжего, с которым я прошлый раз работал на «Костроме», — стоял на своем Челкаш.

— С которым воруешь вместе, вот как скажи! В больницу его свезли, Мишку твоего, ногу отдавило чугунной штыкой. Поди, брат, пока честью просят, поди, а то в шею провожу!..

— Ага, ишь ты! а ты говоришь — не знаю Мишки... Знаешь вот. Ты чего же такой сердитый, Семеныч?..

— Вот что, ты мне зубы не заговаривай, а иди!..

Сторож начал сердиться и, оглядываясь по сторонам, пытался вырвать свою руку из крепкой руки Челкаша. Челкаш спокойно посматривал на него из-под своих густых бровей и, не отпуская его руки, продолжал разговаривать:

— Ты не торопи меня. Я вот наговорюсь с тобой вдосталь и уйду. Ну, рассказывай, как живешь?.. жена, детки — здоровы? — И, сверкая глазами, он, оскалив зубы насмешливой улыбкой, добавил: — В гости к тебе собираюсь, да всё времени нет — пью всё вот...

— Ну, ну — ты это брось! Ты — не шути, дьявол костлявый! Я, брат, в самом деле... Али ты уж по домам, по улицам грабить собираешься?

— Зачем? И здесь на наш с тобой век добра хватит. Ей-богу, хватит, Семеныч! Ты, слышь, опять два места мануфактуры слямзил?.. Смотри, Семеныч, осторожней! не попадись как-нибудь!..

Возмущенный Семеныч затрясся, брызгая слюной и пытаясь что-то сказать. Челкаш отпустил его руку и спокойно зашагал длинными ногами назад, к воротам гавани. Сторож, неистово ругаясь, двинулся за ним.

Челкаш повеселел; он тихо посвистывал сквозь зубы и, засунув руки в карманы штанов, шел медленно, отпуская направо и налево колкие смешки и шутки. Ему платили тем же.

— Ишь ты, Гришка, начальство-то как тебя оберегает! — крикнул кто-то из толпы грузчиков, уже пообедавших и валявшихся на земле, отдыхая.

— Я — босый, так вот Семеныч следит, как бы мне ногу не напороть, — ответил Челкаш.

Подошли к воротам. Два солдата ощупали Челкаша и легонько вытолкнули его на улицу.

Челкаш перешел через дорогу и сел на тумбочку против дверей кабака. Из ворот гавани с грохотом выезжала вереница нагруженных телег. Навстречу им неслись порожние телеги с извозчиками, подпрыгивавшими на них. Гавань изрыгала воющий гром и едкую пыль...

В этой бешеной сутолоке Челкаш чувствовал себя прекрасно. Впереди ему улыбался солидный заработок, требуя немного труда и много ловкости. Он был уверен,

что ловкости хватит у него, и, щуря глаза, мечтал о том, как загуляет завтра поутру, когда в его кармане явятся кредитные бумажки... Вспомнился товарищ, Мишка, — он очень пригодился бы сегодня ночью, если бы не сломал себе ногу. Челкаш про себя обругался, думая, что одному, без Мишки, пожалуй, и не справиться с делом. Какова-то будет ночь?.. Он посмотрел на небо и вдоль по улице.

Шагах в шести от него, у тротуара, на мостовой, прислонясь спиной к тумбочке, сидел молодой парень в синей пестрядиной рубахе, в таких же штанах, в лаптях и в оборванном рыжем картузе. Около него лежала маленькая котомка и коса без черенка, обернутая в жгут из соломы, аккуратно перекрученный веревочкой. Парень был широкоплеч, коренаст, русский, с загорелым и обветренным лицом и с большими голубыми глазами, смотрвшими на Челкаша доверчиво и добродушно.

Челкаш оскалил зубы, высунул язык и, сделав страшную рожу, уставился на него вытаращенными глазами.

Парень, сначала недоумевая, смигнул, но потом вдруг расхохотался, крикнул сквозь смех: «Ах, чудак!» — и, почти не вставая с земли, неуклюже перевалился от своей тумбочки к тумбочке Челкаша, волоча свою котомку по пыли и постукивая пяткой косы о камни.

— Что, брат, погулял, видно, здорово!.. — обратился он к Челкашу, дернув его штанину.

— Было дело, сосунок, было этакое дело! — улыбаясь, сознался Челкаш. Ему сразу понравился этот здоровый добродушный парень с ребячьими светлыми глазами. — С косовицы, что ли?

— Как же!.. Косили версту — выкосили грош. Плохи дела-то! Нар-роду — уйма! Голодающий этот самый приплелся, — цену сбили, хоть не берись! Шесть гривен в Кубани платили. Дела!.. А раньше-то, говорят, три целковых цена, четыре, пять!..

— Раньше!.. Раньше-то за одно погляденье на русского человека там трешну платили. Я вот годов десять тому назад этим самым и промышлял. Придешь в станцию — русский, мол, я! Сейчас тебя поглядят, поцупают, подивуются и — получи три рубля! Да напоят, накормят. И живи сколько хочешь!

# ЧЕЛКАШЪ.

(189) ~~АМБРА~~

Потемнѣвшее отъ ~~волнъ и пыли~~ пыли голубое южное небо-мутно; жаркое солнце ~~тускло~~ смотритъ въ зеленоватое море, точно сквозь тонкую сѣрую вуаль. Оно не ~~отражается~~ <sup>отражается</sup> въ водѣ. ~~По волнамъ~~ <sup>по волнамъ</sup> разсѣкаемой ударами весель, парходныхъ винтовъ, острыми килями турецкихъ фелгъ и другихъ ~~парусныхъ~~ <sup>парусныхъ</sup> судовъ, бороздящихъ по всему направленію тѣсную гавань, ~~взбѣгающія~~ <sup>взбѣгающія</sup> закованныя въ гранитъ ~~волны~~ <sup>волны</sup> моря, подавленныя громадными тяжестями, скользящими по ихъ хребтамъ, бьются о борта судовъ, о берега, бьются и репшутъ, испущенныя ~~удары~~ <sup>удары</sup>, загрязненныя разнымъ мхамомъ.

Звонъ якорныхъ цѣпей, грохотъ сцепленн<sup>х</sup> вагоновъ, подвозящихъ грузъ, металлическій вопль желѣзныхъ листовъ, откуда-то падающихъ на камень мостовой, глухой стукъ дерева, дребезжаніе извозчичьихъ телѣгъ, свистки парходовъ, то пронзительно рѣзкіе, то глухо ревущіе, крики грузчиковъ, матросовъ и таможенныхъ солдатъ — все эти звуки сливаются въ оглушительную ~~массу~~ <sup>массу</sup> трудового дня и, мятужно колыхаясь, стоятъ въ небѣ надъ гаванью, ~~какъ бы~~ <sup>какъ бы</sup> ~~всплывая~~ <sup>всплывая</sup> къ нимъ, водятся отъ земли все новыя и новыя волны — то глухія, бокочущія, онѣ сурово сотрясаютъ все кругомъ, то рѣзкія, гремищ<sup>к</sup>я — рвутъ пыльный, знойный воздухъ.

Парень, слушая Челкаша, сначала широко открыл рот, выражая на круглой физиономии недоумевающее восхищение, но потом, поняв, что оборванец врет, шлепнул губами и захохотал. Челкаш сохранял серьезную мину, скрывая улыбку в своих усах.

— Чудак, говоришь будто правду, а я слушаю да верю... Нет, ей-богу, раньше там...

— Ну, а я про что? Ведь и я говорю, что, мол, там раньше...

— Поди ты!.. — махнул рукой парень. — Сапожник, что ли? Али портной?.. Ты-то?

— Я-то? — переспросил Челкаш и, подумав, сказал: — Рыбак я...

— Рыба-ак! Ишь ты! Что же, ловишь рыбу?..

— Зачем рыбу? Здешние рыбаки не одну рыбу ловят. Больше утопленников, старые якорья, потонувшие суда — всё! Удочки такие есть для этого...

— Ври, ври!.. Из тех, может, рыбаков, которые про себя поют:

Мы закидываем сети  
По сухим берегам  
Да по амбарам, по клетям!..

— А ты видал таких? — спросил Челкаш, с усмешкой поглядывая на него.

— Нет, видать где же! Слышал...

— Нравятся?

— Они-то? Как же!.. Ничего ребята, вольные, свободные...

— А что тебе — свобода?.. Ты разве любишь свободу?

— Да ведь как же? Сам себе хозяин, пошел — куда хошь, делай — что хошь... Еще бы! Коли сумеешь себя в порядке держать да на шее у тебя камней нет, — первое дело! Гуляй знай как хошь, бога только помни...

Челкаш презрительно сплюнул и отвернулся от парня.

— Сейчас вот мое дело... — говорил тот. — Отец у меня умер, хозяйство — малое, мать старуха, земля высосана, — что я должен делать? Жить — надо. А как? Неизвестно. Пойду я в зятя в хороший дом. Ладно.

Кабы выделили дочь-то!.. Нет ведь — тесь-дьявол не выделит. Ну, и буду я ломать на него... долго... Года! Вишь, какие дела-то! А кабы мне рублей ста полтора заробить, сейчас бы я на ноги встал и — Антипу-то — накося, выкуси! Хошь выделить Марфу? Нет? Не надо! Слава богу, девок в деревне не одна она. И был бы я, значит, совсем свободен, сам по себе... Н-да! — Парень вздохнул. — А теперь ничего не поделаешь иначе, как в зятя идти. Думал было я: вот, мол, на Кубань-то пойду, рублей два ста тяпну, — шабаш! барин!.. Ан не выгорело. Ну и пойдешь в батраки... Своим хозяйством не исправлюсь я, ни в каком разе! Эхе-хе!..

Парню сильно не хотелось идти в зятя. У него даже лицо печально потускнело. Он тяжело заерзал на земле.

Челкаш спросил:

— Теперь куда ж ты?

— Да ведь — куда? известно, домой.

— Ну, брат, мне это неизвестно, может, ты в Турцию собрался...

— В Ту-урцию!.. — протянул парень. — Кто ж это туда ходит из православных? Сказал тоже!..

— Экой ты дурак! — вздохнул Челкаш и снова отворотился от собеседника. В нем этот здоровый деревенский парень что-то будил...

Смутное, медленно назревавшее, досадливое чувство копошилось где-то глубоко и мешало ему сосредоточиться и обдумать то, что нужно было сделать в эту ночь.

Обруганный парень бормотал что-то вполголоса, изредка бросая на босяка косые взгляды. У него смешно надулись щеки, оттопырились губы и суженные глаза как-то чересчур часто и смешно помаргивали. Он, очевидно, не ожидал, что его разговор с этим усатым оборванцем кончится так быстро и обидно.

Оборванец не обращал больше на него внимания. Он задумчиво посвистывал, сидя на тумбочке и отбивая по ней такт голой грязной пяткой.

Парню хотелось поквитаться с ним.

— Эй ты, рыбак! Часто это ты запиваешь-то? — начал было он, но в этот же момент рыбак быстро обернул к нему лицо, спросив его:

— Слушай, сосун! Хочешь сегодня ночью работать со мной? Говори скорей!

— Чего работать?— недоверчиво спросил парень.

— Ну, чего!.. Чего заставляю... Рыбу ловить поедем. Грести будешь...

— Так... Что же? Ничего. Работать можно. Только вот... не влететь бы во что с тобой. Больно ты закомурист... темен ты...

Челкаш почувствовал нечто вроде ожога в груди и с холодной злобой вполголоса проговорил:

— А ты не болтай, чего не смыслишь. Я те вот долбану по башке, тогда у тебя в ней просветлеет...

Он соскочил с тумбочки, дернул левой рукой свой ус, а правую сжал в твердый, жилистый кулак и заблестел глазами.

Парень испугался. Он быстро оглянулся вокруг и, робко моргая, тоже вскочил с земли. Меряя друг друга глазами, они молчали.

— Ну?— сурово спросил Челкаш. Он кипел и вздрагивал от оскорбления, нанесенного ему этим молоденьким теленком, которого он во время разговора с ним презирал, а теперь сразу возненавидел за то, что у него такие чистые голубые глаза, здоровое загорелое лицо, короткие крепкие руки, за то, что он имеет где-то там деревню, дом в ней, за то, что его приглашает в зятя зажиточный мужик,— за всю его жизнь прошлую и будущую, а больше всего за то, что он, этот ребенок по сравнению с ним, Челкашом, смеет любить свободу, которой не знает цены и которая ему не нужна. Всегда неприятно видеть, что человек, которого ты считаешь хуже и ниже себя, любит или ненавидит то же, что и ты, и, таким образом, становится похож на тебя.

Парень смотрел на Челкаша и чувствовал в нем хозяина.

— Ведь я... не прочь...— заговорил он.— Работы ведь и ищу. Мне всё равно, у кого работать, у тебя или у другого. Я только к тому сказал, что не похож ты на рабочего человека,— больно уж тово... драный. Ну, я ведь знаю, что это со всяким может быть. Господи, рази я не видел пьяниц! Эх, сколько!.. да еще и не таких, как ты.

— Ну, ладно, ладно! Согласен? — уже мягче переспросил Челкаш.

— Я-то? Айда!.. с моим удовольствием! Говори цену.

— Цена у меня по работе. Какая работа будет. Какой улов, значит... Пятитку можешь получить. Понял?

Но теперь дело касалось денег, а тут крестьянин хотел быть точным и требовал той же точности от нанимателя. У парня вновь вспыхнуло недоверие и подозрительность.

— Это мне не рука, брат!

Челкаш вошел в роль:

— Не толкуй, погоди! Идем в трактир!

И они пошли по улице рядом друг с другом, Челкаш — с важной миной хозяина, покручивая усы, парень — с выражением полной готовности подчиниться, но все-таки полный недоверия и боязни.

— А как тебя звать? — спросил Челкаш.

— Гаврилом! — ответил парень.

Когда они пришли в грязный и закоптелый трактир, Челкаш, подойдя к буфету, фамильярным тоном всегда заказал бутылку водки, щей, поджарку из мяса, чаю и, перечислив требуемое, коротко бросил буфетчику: «В долг всё!», на что буфетчик молча кивнул головой. Тут Гаврила сразу преисполнился уважением к своему хозяину, который, несмотря на свой вид жулика, пользуется такой известностью и доверием.

— Ну, вот мы теперь закусим и поговорим толком. Пока ты посиди, а я схожу кое-куда.

Он ушел. Гаврила осмотрелся кругом. Трактир помещался в подвале; в нем было сыро, темно, и весь он был полон удушливым запахом перегорелой водки, табачного дыма, смолы и еще чего-то острого. Против Гаврилы, за другим столом, сидел пьяный человек в матросском костюме, с рыжей бородой, весь в угольной пыли и смоле. Он урчал, поминутно икая, песню, всю из каких-то перерванных и изломанных слов, то страшно шипящих, то гортанных. Он был, очевидно, не русский.

Сзади его поместились две молдаванки; оборванные, черноволосые, загорелые, они тоже скрипели песню пьяными голосами.

Потом из тьмы выступали еще разные фигуры, все странно растрепанные, все полупьяные, крикливые, беспокойные...

Гавриле стало жутко. Ему захотелось, чтобы хозяин воротился скорее. Шум в трактире сливался в одну ноту, и казалось, что это рычит какое-то огромное животное, оно, обладая сотней разнообразных голосов, раздраженно, слепо рвется вон из этой каменной ямы и не находит выхода на волю... Гаврила чувствовал, как в его тело всасывается что-то опьяняющее и тягостное, от чего у него кружилась голова и туманились глаза, любопытно и со страхом бегавшие по трактиру...

Пришел Челкаш, и они стали есть и пить, разговаривая. С третьей рюмки Гаврила опьянел. Ему стало весело и хотелось сказать что-нибудь приятное своему хозяину, который — славный человек! — так вкусно угостил его. Но слова, целыми волнами подливавшиеся ему к горлу, почему-то не сходили с языка, вдруг отяжелшего.

Челкаш смотрел на него и, насмешливо улыбаясь, говорил:

— Наклюкался!.. Э-эх, тюря! с пяти рюмок!.. как работать-то будешь?..

— Друг!.. — лепетал Гаврила. — Не бойсь! Я тебе уважу!.. Дай поцелую тебя!.. а?..

— Ну, ну!.. На, еще клюкни!

Гаврила пил и дошел, наконец, до того, что у него в глазах всё стало колебаться ровными, волнообразными движениями. Это было неприятно, и от этого тошнило. Лицо у него сделалось глупо восторженное. Пытаясь сказать что-нибудь, он смешно шлепал губами и мычал. Челкаш, пристально поглядывая на него, точно вспоминал что-то, крутил свои усы и всё улыбался хмуро.

А трактир ревел пьяным шумом. Рыжий матрос спал, облокотясь на стол.

— Ну-ка, идем! — сказал Челкаш, вставая.

Гаврила попробовал подняться, но не смог и, крепко обругавшись, засмеялся бессмысленным смехом пьяного.

— Развезло! — молвил Челкаш, снова усаживаясь против него на стул.

Гаврила всё хохотал, тупыми глазами поглядывая па хозяина. И тот смотрел на него пристально, зорко и задумчиво. Он видел перед собою человека, жизнь которого попала в его волчьи лапы. Он, Челкаш, чувствовал себя в силе повернуть ее и так и этак. Он мог разломать ее, как игральную карту, и мог помочь ей установиться в прочные крестьянские рамки. Чувствуя себя господином другого, он думал о том, что этот парень никогда не изощрет такой чаши, какую судьба дала испить ему, Челкашу... И он завидовал и сожалел об этой молодой жизни, подсмеивался над ней и даже огорчился за нее, представляя, что она может еще раз попасть в такие руки, как его... И все чувства в конце концов слились у Челкаша в одно — нечто отеческое и хозяйственное. Малого было жалко, и малый был нужен. Тогда Челкаш взял Гаврилу под мышки и, легонько толкая его сзади коленом, вывел на двор трактира, где сложил на землю в тень от поленницы дров, а сам сел около него и закурил трубку. Гаврила немного повозился, помычал и заснул.

## II

— Ну, готов?— вполголоса спросил Челкаш у Гаврилы, возившегося с веслами.

— Сейчас! Уключина вот шатается — можно разок вдарить веслом?

— Ни-ни! Никакого шума! Надави ее руками крепче, она и войдет себе на место.

Оба они тихо возились с лодкой, привязанной к корме одной из целой флотилии парусных барок, нагруженных дубовой клепкой, и больших турецких фелюг, занятых пальмой, сандалом и толстыми кряжами кипариса.

Ночь была темная, по небу двигались толстые пласты лохматых туч, море было покойно, черно и густо, как масло. Оно дышало влажным соленым ароматом и ласково звучало, плескаясь о борта судов, о берег, чуть-чуть покачивая лодку Челкаша. На далекое пространство от берега с моря подымались темные остовы судов, вонзая в небо острые мачты с разноцветными фонарями

на вершинах. Море отражало огни фонарей и было усеяно массой желтых пятен. Они красиво трепетали на его бархате, мягком, матово-черном. Море спало здоровым, крепким сном работника, который сильно устал за день.

— Едем!— сказал Гаврила, спуская весла в воду.

— Есть!— Челкаш сильным ударом руля вытолкнул лодку в полосу воды между барками, она быстро поплыла по скользкой воде, и вода под ударами весел загоралась голубоватым фосфорическим сиянием,— длинная лента его, мягко сверкая, вилась за кормой.

— Ну, что голова? болит?— ласково спросил Челкаш.

— Страсть!.. как чугун гудит... Намочу ее водой сейчас.

— Зачем? Ты, на-ко вот, нутро помочи, может, скорее очухаешься,— и он протянул Гавриле бутылку.

— Ой ли? Господи благослови!..

Послышалось тихое бульканье.

— Эй ты! рад?.. Будет!— остановил его Челкаш.

Лодка помчалась снова, бесшумно и легко вертась среди судов... Вдруг она вырвалась из их толпы, и море — бесконечное, могучее — развернулось перед ними, уходя в синюю даль, где из вод его вздымались в небо горы облаков — лилово-сизых, с желтыми пуховыми каймами по краям, зеленоватых, цвета морской воды — и тех скучных, свинцовых туч, что бросают от себя такие тоскливые, тяжелые тени. Облака ползли медленно, то сливаясь, то обгоняя друг друга, мешали свои цвета и формы, поглощая сами себя и вновь возникая в новых очертаниях, величественные и угрюмые... Что-то роковое было в этом медленном движении бездушных масс. Казалось, что там, на краю моря, их бесконечно много и они всегда будут так равнодушно вползать на небо, задавшись злой целью не позволять эму никогда больше блестеть над сонным морем миллионами своих золотых очей — разноцветных звезд, живых и мечтательно сияющих, возбуждая высокие желания в людях, которым дорог их чистый блеск.

— Хорошо море?— спросил Челкаш.

— Ничего! Только боязно в нем,— ответил Гаврила, ровно и сильно ударяя веслами по воде. Вода чуть слыш-

но звенела и плескалась под ударами длинных весел и всё блестела теплым голубым светом фосфора.

— Боязно! Экая дура!.. — насмешливо проворчал Челкаш.

Он, вор, любил море. Его кипучая нервная натура, жадная на впечатления, никогда не пресыщалась созерцанием этой темной широты, бескрайной, свободной и мощной. И ему было обидно слышать такой ответ на вопрос о красоте того, что он любил. Сидя на корме, он резал рулем воду и смотрел вперед спокойно, полный желания ехать долго и далеко по этой бархатной глади.

На море в нем всегда поднималось широкое, теплое чувство, — охватывая всю его душу, оно немного очищало ее от житейской скверны. Он ценил это и любил видеть себя лучшим тут, среди воды и воздуха, где думы о жизни и сама жизнь всегда теряют — первые — остроту, вторая — цену. По ночам над морем плавно носится мягкий шум его сонного дыхания, этот необъятный звук вливает в душу человека спокойствие и, ласково укрощая ее злые порывы, родит в ней могучие мечты...

— А снасть-то где? — вдруг спросил Гаврила, беспокойно оглядывая лодку.

Челкаш вздрогнул.

— Снасть? Она у меня на корме.

Но ему стало обидно лгать пред этим мальчишкой, и ему было жаль тех дум и чувств, которые уничтожил этот парень своим вопросом. Он рассердился. Знакомое ему острое жжение в груди и у горла передернуло его, он внушительно и жестко сказал Гавриле:

— Ты вот что — сидишь, ну и сиди! А не в свое дело носа не суй. Наняли тебя грести, и греби. А коли будешь языком трепать, будет плохо. Понял?..

На минуту лодка дрогнула и остановилась. Весла остались в воде, вспенивая ее, и Гаврила беспокойно завозился на скамье.

— Греби!

Резкое ругательство потрясло воздух. Гаврила взмахнул веслами. Лодка точно испугалась и пошла быстрыми, нервными толчками, с шумом разрезая воду.

— Ровней!..

Челкаш привстал с кормы, не выпуская весла из рук и воткнув свои холодные глаза в бледное лицо Гаврилы. Изогнувшийся, наклоняясь вперед, он походил на кошку, готовую прыгнуть. Слышно было злое скрипение зубов и робкое пощелкивание какими-то костяшками.

— Кто кричит?— раздался с моря суровый окрик.

— Ну, дьявол, гребни же!.. Тише!.. убью, собаку!.. Ну же, гребни!.. Раз, два! Пикни только!.. Р-разорву!..— шипел Челкаш.

— Богородице... дево...— шептал Гаврила, дрожа и изнемогая от страха и усилий.

Лодка плавно повернулась и пошла назад к гавани, где огни фонарей столпились в разноцветную группу и видны были стволы мачт.

— Эй! кто орет?— донеслось снова.

Теперь голос был дальше, чем в первый раз. Челкаш успокоился.

— Сам ты и орешь!— сказал он по направлению криков и затем обратился к Гавриле, всё еще шептавшему молитву:

— Ну, брат, счастье твое! Кабы эти дьяволы погнались за нами — конец тебе. Чуешь? Я бы тебя сразу — к рыбам!..

Теперь, когда Челкаш говорил спокойно и даже добродушно, Гаврила, всё еще дрожащий от страха, взмолился:

— Слушай, отпусти ты меня! Христом прошу, отпусти! Высади куда-нибудь! Ай-ай-ай!.. Про-онал я совсем!.. Ну, вспомни бога, отпусти! Что я тебе? Не могу я этого!.. Не бывал я в таких делах... Первый раз... Господи! Пропаду ведь я! Как ты это, брат, обошел меня? а? Грешно тебе!.. Душу ведь губишь!.. Ну, дела-а...

— Какие дела?— сурово спросил Челкаш.— А? Ну, какие дела?

Его забавлял страх парня, и он наслаждался и страхом Гаврилы и тем, что вот какой он, Челкаш, грозный человек.

— Темные дела, брат... Пусти для бога!.. Что я тебе?.. а?.. Милый...

— Ну, молчи! Не нужен был бы, так я тебя не брал бы. Понял?— ну и молчи!

— Господи! — вздохнул Гаврила.

— Ну-ну!.. куксись у меня! — оборвал его Челкаш.

Но Гаврила теперь уже не мог удержаться и, тихо всхлиывая, плакал, сморкался, ерзал по лавке, но греб сильно, отчаянно. Лодка мчалась стрелой. Снова на дороге встали темные корпуса судов, и лодка потерялась в них, волчком вертась в узких полосах воды между бортами.

— Эй ты! слушай! Буде спросит кто о чем — молчи, коли жив быть хочешь! Понял?

— Эхма!.. — безнадежно вздохнул Гаврила в ответ на суровое приказание и горько добавил. — Судьбина моя пропадающая!..

— Не ной! — внушительно шепнул Челкаш.

Гаврила от этого шёпота потерял способность соображать что-либо и помертвел, охваченный холодным предчувствием беды. Он машинально опускал весла в воду, откидывался назад, вынимал их, бросал снова и всё время упорно смотрел на свои лапти.

Сонный шум волн гудел угрюмо и был страшен. Вот гавань... За ее гранитной стеной слышались людские голоса, плеск воды, песня и тонкие свистки.

— Стой! — шепнул Челкаш. — Бросай весла! Упирайся руками в стену! Тихе, чёрт!..

Гаврила, цепляясь руками за скользкий камень, повел лодку вдоль стены. Лодка двигалась без шороха, скользя бортом по наростам на камне слизи.

— Стой!.. Дай весла! Дай сюда! А паспорт у тебя где? В котомке? Дай котомку! Ну, давай скорей! Это, мил друг, для того, чтобы ты не удрал... Теперь не удерешь. Без весел-то ты бы кое-как мог удрать, а без паспорта побоишься. Жди! Да смотри, коли ты пикнешь — на дне моря найду!..

И вдруг, уцепившись за что-то руками, Челкаш поднялся на воздух и исчез на стене.

Гаврила вздрогнул... Это вышло так быстро. Он почувствовал, как с него сваливается, сползает та проклятая тяжесть и страх, который он чувствовал при этом усатом худом воре... Бежать теперь!.. И он, свободно вздохнув, оглянулся кругом. Слева возвышался черный корпус без мачт, — какой-то огромный гроб, безлюдный

и пустой... Каждый удар волны в его бока родил в нем глухое гулкое эхо, похожее на тяжелый вздох. Справа над водой тянулась сырая каменная стена мола, как холодная, тяжелая змея. Сзади виднелись тоже какие-то черные остовы, а спереди, в отверстие между стеной и бортом этого гроба, видно было море, молчаливое, пустынное, с черными над ним тучами. Они медленно двигались, огромные, тяжелые, источая из тьмы ужас и готовые раздавить человека тяжестью своей. Всё было холодно, черно, зловеще. Гавриле стало страшно. Этот страх был хуже страха, навеянного на него Челкашом; он охватил грудь Гаврилы крепким объятием, сжал его в робкий комок и приковал к скамье лодки...

А кругом всё молчало. Ни звука, кроме вздохов моря. Тучи ползли по небу так же медленно и скучно, как и раньше, но их всё больше вздымалось из моря, и можно было, глядя на небо, думать, что и оно тоже море, только море взволнованное и опрокинутое над другим, сонным, покойным и гладким. Тучи походили на волны, ринувшиеся на землю вниз кудрявыми седыми хребтами, и на пропасти, из которых вырваны эти волны ветром, и на зарождавшиеся валы, еще не покрытые зеленоватой пеной бешенства и гнева.

Гаврила чувствовал себя раздавленным этой мрачной тишиной и красотой и чувствовал, что он хочет видеть скорее хозяина. А если он там останется?.. Время шло медленно, медленнее, чем ползли тучи по небу... И тишина, от времени, становилась всё зловещей... Но вот за стеной мола послышался плеск, шорох и что-то похожее на шёпот. Гавриле показалось, что он сейчас умрет...

— Эй! Спишь? Держи!.. осторожно!.. — раздался глухой голос Челкаша.

Со стены спускалось что-то кубическое и тяжелое. Гаврила принял это в лодку. Спустилось еще одно такое же. Затем поперек стены вытянулась длинная фигура Челкаша, откуда-то явились весла, к ногам Гаврилы упала его котомка, и тяжело дышавший Челкаш уселся на корме.

Гаврила радостно и робко улыбался, глядя на него.  
— Устал? — спросил он.

— Не без того, теля! Ну-ка, гребни добре! Дуй во всю силу!.. Хорошо ты, брат, заработал! Полдела сделали. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там — получай денежки и ступай к своей Машке. Машка-то есть у тебя? Эй, дитятко?

— Н-нету!— Гаврила старался во всю силу, работая грудью, как мехами, и руками, как стальными пружинами. Вода под лодкой рокотала, и голубая полоса за кормой теперь была шире. Гаврила весь облился потом, но продолжал грести во всю силу. Пережив дважды в эту ночь такой страх, он теперь боялся пережить его в третий раз и желал одного: скорей кончить эту проклятую работу, сойти на землю и бежать от этого человека, пока он в самом деле не убил или не завел его в тюрьму. Он решил не говорить с ним ни о чем, не противоречить ему, делать всё, что велит, и, если удастся благополучно развязаться с ним, завтра же отслужить молебен Николаю Чудотворцу. Из его груди готова была вылиться страстная молитва. Но он сдерживался, пыхтел, как паровик, и молчал, исподлобья кидая взгляды на Челкаша.

А тот, сухой, длинный, нагнувшийся вперед и похожий на птицу, готовую лететь куда-то, смотрел во тьму вперед лодки ястребиными очами и, поводя хищным, горбатым носом, одной рукой цепко держал ручку руля, а другой теребил ус, вздрагивавший от улыбок, которые кривили его тонкие губы. Челкаш был доволен своей удачей, собой и этим парнем, так сильно запуганным им и превратившимся в его раба. Он смотрел, как старался Гаврила, и ему стало жалко, захотелось ободрить его.

— Эй!— усмехаясь, тихо заговорил он.— Что, здорово ты перепугался? а?

— Н-ничего!..— выдохнул Гаврила и крикнул.

— Да уж теперь ты не очень наваливайся на весла-то. Теперь шабаш. Вот еще только одно бы место пройти... Отдохни-ка...

Гаврила послушно приостановился, вытер рукавом рубахи пот с лица и снова опустил весла в воду.

— Ну, гребни тише. Чтобы вода не разговаривала. Воротца одни надо миновать. Тише, тише... А то, брат,

тут народы серьезные... Как раз из ружья пошались могут. Такую шишку на лбу набьют, что и не охнешь.

Лодка теперь кралась по воде почти совершенно беззвучно. Только с весел капали голубые капли, и когда они падали в море, на месте их падения вспыхивало ненадолго тоже голубое пятнышко. Ночь становилась всё темнее и молчаливей. Теперь небо уже не походило на взволнованное море — тучи расплылись по нем и покрыли его ровным тяжелым пологом, низко опустившимся над водой и неподвижным. А море стало еще спокойней, черней, сильнее пахло теплым, соленым запахом и уж не казалось таким широким, как раньше.

— Эх, кабы дождь пошел! — прошептал Челкаш. — Так бы мы и проехали, как за занавеской.

Слева и справа от лодки из черной воды поднялись какие-то здания — баржи, неподвижные, мрачные и тоже черные. На одной из них двигался огонь, кто-то ходил с фонарем. Море, глядя их бока, звучало просительно и глухо, а они отвечали ему эхом, гулким и холодным, точно спорили, не желая уступить ему в чем-то.

— Кордоны!.. — чуть слышно шепнул Челкаш.

С момента, когда он велел Гавриле грести тише, Гаврилу снова охватило острое выжидательное напряжение. Он весь подался вперед, во тьму, и ему казалось, что он растет, — кости и жилы вытягивались в нем с тупой болью, голова, заполненная одной мыслью, болела, кожа на спине вздрагивала, а в ноги вонзались маленькие, острые и холодные иглы. Глаза ломило от напряженного рассматриванья тьмы, из которой — он ждал — вот-вот встанет нечто и гаркнет на них: «Стой, воры!..»

Теперь, когда Челкаш шепнул «кордоны!», Гаврила дрогнул: острая, жгучая мысль прошла сквозь него, прошла и задела по туго натянутым нервам, — он хотел крикнуть, позвать людей на помощь к себе... Он уже открыл рот и привстал немного на лавке, выпятил грудь, вобрал в нее много воздуха и открыл рот, — но вдруг, пораженный ужасом, ударившим его, как плетью, закрыл глаза и свалился с лавки.

...Впереди лодки, далеко на горизонте, из черной воды моря поднялся огромный огненно-голубой меч,

поднялся, рассек тьму ночи, скользнул своим острием по тучам в небе и лег на грудь моря широкой голубой полосой. Он лег, и в полосу его сияния из мрака выплыли невидимые до той поры суда, черные, молчаливые, обвешанные пышной ночной мглой. Казалось, они долго были на дне моря, увлеченные туда могучей силой бури, и вот теперь поднялись оттуда по велению огненного меча, рожденного морем, — поднялись, чтобы посмотреть на небо и на всё, что поверх воды... Их такелаж обнимал собой мачты и казался цепкими водорослями, поднявшимися со дна вместе с этими черными гигантами, опутанными их сетью. И он опять поднялся кверху из глубин моря, этот страшный голубой меч, поднялся, сверкая, снова рассек ночь и снова лег уже в другом направлении. И там, где он лег, снова всплыли остовы судов, невидимых до его появления.

Лодка Челкаша остановилась и колебалась на воде, как бы недоумевая. Гаврила лежал на дне, закрыв лицо руками, а Челкаш толкал его ногой и шипел бешено, но тихо:

— Дурак, это крейсер таможенный... Это фонарь электрический!.. Вставай, дубина! Ведь на нас свет бросят сейчас!.. Погубишь, чёрт, и себя и меня! Ну!..

И наконец, когда один из ударов каблуком сапога сильнее других опустился на спину Гаврилы, он вскочил, всё еще боясь открыть глаза, сел на лавку и, ошупью схватив весла, двинул лодку.

— Тише! Убью ведь! Ну, тише!.. Эка дурак, чёрт тебя возьми!.. Чего ты испугался? Ну? Харя!.. Фонарь — только и всего. Тише веслами!.. Кислый чёрт!.. За контр-рабандой это следят. Нас не заденут — далеко отплыли они. Не бойся, не заденут. Теперь мы... — Челкаш торжествующе оглянулся кругом. — Кончено, выплыли!.. Фу-у!.. Н-ну, счастлив ты, дубина стоеросовая!..

Гаврила молчал, греб и, тяжело дыша, искоса смотрел туда, где всё еще поднимался и опускался этот огненный меч. Он никак не мог поверить Челкашу, что это только фонарь. Холодное голубое сияние, разрубавшее тьму, заставляя море светиться серебряным блеском, имело в себе нечто необъяснимое, и Гаврила опять впал в гипноз тоскливого страха. Он греб, как машина, и всё

сжимался, точно ожидал удара сверху, и ничего, никакого желания не было уже в нем — он был пуг и бездушен. Волнения этой ночи выглодали, наконец, из него всё человеческое.

А Челкаш торжествовал. Его привычные к потрясениям нервы уже успокоились. У него сладострастно вздрагивали усы и в глазах разгорался огонек. Он чувствовал себя великолепно, посвистывал сквозь зубы, глубоко вдыхал влажный воздух моря, оглядывался кругом и добродушно улыбался, когда его глаза останавливались на Гавриле.

Ветер пронесся и разбудил море, вдруг заигравшее частой зыбью. Тучи сделались как бы тоньше и прозрачней, но всё небо было обложено ими. Несмотря на то, что ветер, хотя еще легкий, свободно носился над морем, тучи были неподвижны и точно думали какую-то серую, скучную думу.

— Ну ты, брат, очухайся, пора! Ишь, тебя как — точно из кожи-то твоей весь дух выдавили, один мешок костей остался! Конец уж всему. Эй!..

Гавриле все-таки было приятно слышать человеческий голос, хоть это и говорил Челкаш.

— Я слышу, — тихо сказал он.

— То-то! Мякиш... Ну-ка, садись на руль, а я — на весла, устал, пооди!

Гаврила машинально переменял место. Когда Челкаш, меняясь с ним местами, взглянул ему в лицо и заметил, что он шатается на дрожащих ногах, ему стало еще больше жаль парня. Он хлопнул его по плечу.

— Ну, ну, не робь! Заработал зато хорошо. Я те, брат, награжу богато. Четвертной билет хочешь получить? а?

— Мне — ничего не надо. Только на берег бы...

Челкаш махнул рукой, плюнул и принялся грести, далеко назад забрасывая весла своими длинными руками.

Море проснулось. Оно играло маленькими волнами, рождая их, украшая бахромой пены, сталкивая друг с другом и разбивая в мелкую пыль. Пена, тая, шипела и вздыхала, — и всё кругом было заполнено музыкальным шумом и плеском. Тьма как бы стала живее.

— Ну, скажи мне, — заговорил Челкаш, — придешь ты в деревню, женишься, начнешь землю копать, хлеб сеять, жена детей народит, кормов не будет хватать; ну, будешь ты всю жизнь из кожи лезть... Ну, и что? Много в этом смаку?

— Какой уж смак! — робко и вздрагивая ответил Гаврила.

Кое-где ветер прорывал тучи, и из разрывов смотрели голубые кусочки неба с одной-двумя звездочками на них. Отраженные играющим морем, эти звездочки прыгали по волнам, то исчезая, то вновь блестя.

— Правее держи! — сказал Челкаш. — Скоро уж приедем. Н-да!.. Кончили. Работа важная! Вот видишь как?.. Ночь одна — и полтысячи я тяпнул!

— Полтысячи?! — недоверчиво протянул Гаврила, но сейчас же испугался и быстро спросил, толкая ногой тюки в лодке: — А это что же будет за вещь?

— Это — дорогая вещь. Всё-то, коли по цене продать, так и за тысячу хватит. Ну, я не дорожусь... Ловко?

— Н-да-а?.. — вопросительно протянул Гаврила. — Кабы мне так-то вот! — вздохнул он, сразу вспомнив деревню, убогое хозяйство, свою мать и всё то далекое, родное, ради чего он ходил на работу, ради чего так измучился в эту ночь. Его охватила волна воспоминаний о своей деревеньке, сбегавшей по крутой горе вниз, к речке, скрытой в роще берез, ветел, рябин, черемухи... — Эх, важно бы!.. — грустно вздохнул он.

— Н-да!.. Я думаю, ты бы сейчас по чугунке домой... Уж и полюбили бы тебя девки дома, а-ах как!.. Любую бери! Дом бы себе сгрозил — ну, для дома денег, положим, маловато...

— Это верно... для дому нехватка. У нас дорог лес-то.

— Ну что ж? Старый бы поправил. Лошадь как? есть?

— Лошадь? Она и есть, да больно стара, чёрт.

— Ну, значит, лошадь. Ха-арошую лошадь! Корова... Овец... Птицы разной... А?

— Не говори!.. Ох ты, господи! вот уж пожил бы!

— Н-да, брат, житьишко было бы ничего себе...

Я тоже понимаю толк в этом деле. Было когда-то свое гнездо... Отец-то был из первых богатеев в селе...

Челкаш греб медленно. Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся о ее борта, еле двигалась по темному морю, а оно играло всё резвей и резвей. Двое людей мечтали, покачиваясь на воде и задумчиво поглядывая вокруг себя. Челкаш начал наводить Гаврилу на мысль о деревне, желая немного ободрить и успокоить его. Сначала он говорил, посмеиваясь себе в усы, но потом, подавая реплики собеседнику и напоминая ему о радостях крестьянской жизни, в которых сам давно разочаровался, забыл о них и вспоминал только теперь, — он постепенно увлекся и вместо того, чтобы расспрашивать парня о деревне и ее делах, незаметно для себя стал сам рассказывать ему:

— Главное в крестьянской жизни — это, брат, свобода! Хозяин ты есть сам себе. У тебя твой дом — грош ему цена, да он твой. У тебя земля своя — и того ее горсть, да она твоя! Король ты на своей земле!.. У тебя есть лицо... Ты можешь от всякого требовать уважения к тебе... Так ли? — воодушевленно закончил Челкаш.

Гаврила глядел на него с любопытством и тоже воодушевлялся. Он во время этого разговора успел уже забыть, с кем имеет дело, и видел пред собой такого же крестьянина, как и сам он, прилепленного навеки к земле потом многих поколений, связанного с ней воспоминаниями детства, самовольно отлучившегося от нее и от забот о ней и понесшего за эту отлучку должное наказание.

— Это, брат, верно! Ах, как верно! Вот гляди-ка на себя, что ты теперь такое без земли? Землю, брат, как мать, не забудешь надолго.

Челкаш одумался... Он почувствовал это раздражающее жжение в груди, являвшееся всегда, чуть только его самолюбие — самолюбие бесшабашного удальца — бывало задето кем-либо, и особенно тем, кто не имел цены в его глазах.

— Замолол!.. — сказал он свирепо, — ты, может, думал, что я всё это всерьез... Держи карман шире!

— Да чудак-человек!.. — снова оробел Гаврила. — Разве я про тебя говорю? Чай, таких-то, как ты, — много!

Эх, сколько несчастного народу на свете!.. Шатающихся...

— Садись, тюлень, в весла! — кратко скомандовал Челкаш, почему-то сдержав в себе целый поток горячей ругани, хлынувшей ему к горлу.

Они опять переменялись местами, причем Челкаш, перелезая на корму через тюки, ощутил в себе острое желание дать Гавриле пинка, чтобы он слетел в воду.

Короткий разговор смолк, но теперь даже от молчания Гаврилы на Челкаша веяло деревней... Он вспоминал прошлое, забывая править лодкой, повернутой волнением и плывшей куда-то в море. Волны точно понимали, что эта лодка потеряла цель, и, всё выше подбрасывая ее, легко играли ею, вспыхивая под веслами своим ласковым голубым огнем. А перед Челкашом быстро неслись картины прошлого, далекого прошлого, отделенного от настоящего целой стеной из одиннадцати лет босяцкой жизни. Он успел посмотреть себя ребенком, свою деревню, свою мать, краснощекую пухлую женщину, с добрыми серыми глазами, отца — рыжебородого гиганта, с суровым лицом; видел себя женихом и видел жену, черноглазую Анфису, с длинной косой, полную, мягкую, веселую, снова себя, красавцем, гвардейским солдатом; снова отца, уже седого и согнутого работой, и мать, морщинистую, осевшую к земле; посмотрел и картину встречи его деревней, когда он возвратился со службы; видел, как гордился перед всей деревней отец своим Григорием, усатым, здоровым солдатом, ловким красавцем... Память, этот бич несчастных, оживляет даже камни прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда...

Челкаш чувствовал себя овечьим примиряющей, ласковой струей родного воздуха, донесшего с собой до его слуха и ласковые слова матери, и солидные речи псового крестьянина-отца, много забытых звуков и много сочного запаха матушки-земли, только что оттаявшей, только что вспаханной и только что покрытой изумрудным шёлком озими... Он чувствовал себя одиноким, вырванным и выброшенным навсегда из того порядка жизни, в котором выработалась та кровь, что течет в его жилах.

— Эй! а куда же мы едем? — спросил вдруг Гаврила. Челкаш дрогнул и оглянулся тревожным взором хищника.

— Ишь, чёрт занес!.. Гребни-ка погуще...

— Задумался? — улыбаясь, спросил Гаврила.

— Устал...

— Так теперь мы, значит, уж не попадемся с этим? — Гаврила ткнул ногой в тюки.

— Нет... Будь покоен. Сейчас вот сдам и денежки получу... Н-да!

— Пять сотен?

— Не меньше.

— Это тово — сумма! Кабы мне, горюну!.. Эх, и сыграл бы я песенку с ними!..

— По крестьянству?

— Никак больше! Сейчас бы...

И Гаврила полетел на крыльях мечты. А Челкаш молчал. Усы у него обвисли, правый бок, захлестанный волнами, был мокр, глаза ввалились и потеряли блеск. Всё хищное в его фигуре обмякло, ступешеванное приниженной задумчивостью, смотревшей даже из складок его грязной рубахи.

Он круто повернул лодку и направил ее к чему-то черному, высывавшемуся из воды.

Небо снова всё покрылось тучами, и посыпался дождь, мелкий, теплый, весело звякавший, падая на хребты волн.

— Стой! Тише! — скомандовал Челкаш.

Лодка стукнулась носом о корпус барки.

— Спят, что ли, черти?.. — ворчал Челкаш, цепляясь багром за какие-то веревки, спускавшиеся с борта. — Трап давай!.. Дождь пошел еще, не мог раньше-то! Эй вы, губки!.. Эй!..

— Селкаш это? — раздалось сверху ласковое мурлыканье.

— Ну, спускай трап!

— Калимера, Селкаш!

— Спускай трап, копченный дьявол! — взревел Челкаш.

— О, сердытый пришел сегодня... Элоу!

— Лезь, Гаврила! — обратился Челкаш к товарищу.

В минуту они были на палубе, где три темных бородатых фигуры, оживленно болтая друг с другом на странном сюсюкающем языке, смотрели за борт в лодку Челкаша. Четвертый, завернутый в длинную хламиду, подошел к нему и молча пожал ему руку, потом подозрительно оглянул Гаврилу.

— Припаси к утру деньги, — коротко сказал ему Челкаш. — А теперь я спать иду. Гаврила, идем! Есть хочешь?

— Спать бы... — ответил Гаврила и через пять минут храпел, а Челкаш, сидя рядом с ним, примерял себе на ногу чей-то сапог и, задумчиво сплевывая в сторону, грустно свистел сквозь зубы. Потом он вытянулся рядом с Гаврилой, заложив руки под голову, поводя усами.

Барка тихо покачивалась на игрившей воде, где-то поскрипывало дерево жалобным звуком, дождь мягко сыпался на палубу, и плескались волны о борта... Всё было грустно и звучало, как колыбельная песнь матери, не имеющей надежд на счастье своего сына...

Челкаш, оскалив зубы, приподнял голову, огляделся вокруг и, прошептав что-то, снова улегся... Раскинув ноги, он стал похож на большие ножницы.

### III

Он проснулся первым, тревожно оглянулся вокруг, сразу успокоился и посмотрел на Гаврилу, еще спавшего. Тот сладко всхрапывал и во сне улыбался чему-то всем своим детским, здоровым, загорелым лицом. Челкаш вздохнул и полез вверх по узкой веревочной лестнице. В отверстие трюма смотрел свинцовый кусок неба. Было светло, но по-осеннему скучно и серо.

Челкаш вернулся часа через два. Лицо у него было красно, усы лихо закручены кверху. Он был одет в длинные крепкие сапоги, в куртку, в кожаные штаны и походил на охотника. Весь его костюм был потерт, но крепок, и очень шел к нему, делая его фигуру шире, скрадывая его костлявость и придавая ему воинственный вид.

— Эй, теленок, вставай!.. — толкнул он ногой Гаврилу.

Тот вскочил и, не узнавая его со сна, испуганно уставился на него мутными глазами. Челкаш захохотал.

— Ишь ты какой!.. — широко улыбнулся наконец Гаврила. — Баринном стал!

— У нас это скоро. Ну и пуглив же ты! Сколько раз умирать-то вчера ночью собирался?

— Да ты сам посуди, впервой я на такое дело! Ведь можно было душу загубить на всю жизнь!

— Ну, а еще раз поехал бы? а?

— Еще?.. Да ведь это — как тебе сказать? Из-за какой корысти?.. вот что!

— Ну, ежели бы две радужных?

— Два ста рублей, значит? Ничего... Это можно...

— Стой! А как душу-то загубишь?..

— Да ведь, может... и не загубишь! — улыбнулся Гаврила. — Не загубишь, а человеком на всю жизнь сделаешься.

Челкаш весело хохотал.

— Ну, ладно! будет шутки шутить. Едем на берег...

И вот они снова в лодке. Челкаш на руле, Гаврила на веслах. Над ними небо, серое, ровно затянутое тучами, и лодкой играет мутно-зеленое море, шумно подбрасывая ее на волнах, пока еще мелких, весело бросающих в борта светлые соленые брызги. Далеко по носу лодки видна желтая полоса песчаного берега, а за кормой уходит вдаль море, изрытое стаями волн, убранных пышной белой пеной. Там же, вдали, видно много судов; далеко влево — целый лес мачт и белые груды домов города. Оттуда по морю льется глухой гул, рокочущий и вместе с плеском волн создающий хорошую, сильную музыку... И на всё наброшена тонкая пелена пепельного тумана, отдаляющего предметы друг от друга...

— Эх, разыграется к вечеру-то добре! — кивнул Челкаш головой на море.

— Буря? — спросил Гаврила, мощно бороздя волны веслами. Он был уже мокр с головы до ног от этих брызг, разбрасываемых по морю ветром.

— Эге!.. — подтвердил Челкаш.

Гаврила пытливо посмотрел на него...

— Ну, сколько ж тебе дали? — спросил он наконец, видя, что Челкаш не собирается начать разговор.

— Вот! — сказал Челкаш, протягивая Гавриле что-то, вынутое из кармана.

Гаврила увидал пестрые бумажки, и всё в его глазах приняло яркие, радужные оттенки.

— Эх!.. А я ведь думал: врал ты мне!.. Это — сколько?

— Пятьсот сорок!

— Л-ловко!.. — прошептал Гаврила, жадными глазами провоякая пятьсот сорок, снова спрятанные в карман. — Э-эх-ма!.. Кабы этакие деньги!.. — и он угнетенно вздохнул.

— Гульнем мы с тобой, парнюга! — с восхищением вскрикнул Челкаш. — Эх, хватим... Не думай, я тебе, брат, отделю... Сорок отделю! а? Доволен? Хочешь, сейчас дам?

— Коли не обидно тебе — что же? Я приму!

Гаврила весь трепетал от ожидания, острого, сосавшего ему грудь.

— Ах ты, чёртова кукла! Приму! Прими, брат, пожалуйста! Очень я тебя прошу, прими! Не знаю я, куда мне такую кучу денег девать! Избавь ты меня, прими-ка, на!..

Челкаш протянул Гавриле несколько бумажек. Тот взял их дрожащей рукой, бросил весла и стал прятать куда-то за пазуху, жадно сощурился, шумно втягивая в себя воздух, точно пил что-то жгучее. Челкаш с насмешливой улыбкой поглядывал на него. А Гаврила уже снова схватил весла и греб нервно, торопливо, точно пугаясь чего-то и опустив глаза вниз. У него вздрагивали плечи и уши.

— А жаден ты!.. Нехорошо... Впрочем, что же?.. Крестьянин... — задумчиво сказал Челкаш.

— Да ведь с деньгами-то что можно сделать!.. — воскликнул Гаврила, вдруг весь вспыхивая страстным возбуждением. И он отрывисто, торопясь, точно догоняя свои мысли и с лёту хватая слова, заговорил о жизни в деревне с деньгами и без денег. Почет, довольство, веселье!..

Челкаш слушал его внимательно, с серьезным лицом и с глазами, сощуренными какой-то думой. По временам он улыбался довольной улыбкой.

— Приехали! — прервал он речь Гаврилы.

Волна подхватила лодку и ловко ткнула ее в песок.

— Ну, брат, теперь кончено. Лодку нужно вытащить подальше, чтобы не смыло. Придут за ней. А мы с тобой — прощай!.. Отсюда до города верст восемь. Ты что, опять в город вернешься? а?

На лице Челкаша сияла добродушно-хитрая улыбка, и весь он имел вид человека, задумавшего нечто весьма приятное для себя и неожиданное для Гаврилы. Засунув руку в карман, он шелестел там бумажками.

— Нет... я... не пойду... я... — Гаврила задыхался и давился чем-то.

Челкаш посмотрел на него.

— Что это тебя корчит? — спросил он.

— Так... — Но лицо Гаврилы то краснело, то делалось серым, и он мялся на месте, не то желая броситься на Челкаша, не то разрываемый иным желанием, исполнить которое ему было трудно.

Челкашу стало не по себе при виде такого возбуждения в этом парне. Он ждал, чем оно разразится.

Гаврила начал как-то странно смеяться смехом, похожим на рыдание. Голова его была опущена, выражения его лица Челкаш не видал, смутно видны были только уши Гаврилы, то красневшие, то бледневшие.

— Ну ты к чёрту! — махнул рукой Челкаш. — Влюбился ты в меня, что ли? Мнется, как девка!.. Али расставание со мной тошно? Эй, сосун! Говори, что ты? А то уйду я!..

— Уходишь?! — звонко крикнул Гаврила.

Песчаный и пустынный берег дрогнул от его крика, и намытые волнами моря желтые волны песку точно всколыхнулись. Дрогнул и Челкаш. Вдруг Гаврила сорвался с своего места, бросился к ногам Челкаша, обнял их своими руками и дернул к себе. Челкаш пошатнулся, грузно сел на песок и, скрипнув зубами, резко взмахнул в воздухе своей длинной рукой, сжатой в кулак. Но он не успел ударить, остановленный стыдливым и просительным шёпотом Гаврилы:

— Голубчик!.. Дай ты мне эти деньги! Дай, Христа ради! Что они тебе?.. Ведь на одну ночь — только в ночь... А мне — года нужны... Дай — молиться за тебя

буду! Вечно — в трех церквах — о спасении души твоей!.. Ведь ты их на ветер... а я бы — в землю! Эх, дай мне их! Что в них тебе?.. Али тебе дорого? Ночь одна — и богат! Сделай доброе дело! Пропаций ведь ты... Нет тебе пути... А я бы — ох! Дай ты их мне!

Челкаш, испуганный, изумленный и озлобленный, сидел на песке, откинувшись назад и упираясь в него руками, сидел, молчал и страшно таращил глаза на парня, уткнувшегося головой в его колени и шептавшего, задыхаясь, свои мольбы. Он оттолкнул его наконец, вскочил на ноги и, сунув руку в карман, бросил в Гаврилу бумажки.

— На! Жри... — крикнул он, дрожа от возбуждения, острой жалости и ненависти к этому жадному рабу. И, бросив деньги, он почувствовал себя героем.

— Сам я хотел тебе больше дать. Разжалобился вчера я, вспомнил деревню... Подумал: дай помогу парню. Ждал я, что ты сделаешь, попросишь — нет? А ты... Эх, войлок! Нищий!.. Разве из-за денег можно так истязать себя? Дурак! Жадные черти!.. Себя не помнят... За пятак себя продаете!..

— Голубчик!.. Спаси Христос тебя! Ведь это теперь у меня что?.. я теперь... богач!.. — визжал Гаврила в восторге, вздрагивая и пряча деньги за пазуху. — Эх ты, милый!.. Вовек не забуду!.. Никогда!.. И жене и детям закажу — молись!

Челкаш слушал его радостные вопли, смотрел на сиявшее, искаженное восторгом жадности лицо и чувствовал, что он — вор, гуляка, оторванный от всего родного — никогда не будет таким жадным, низким, не помнящим себя. Никогда не станет таким!.. И эта мысль и ощущение, наполняя его сознанием своей свободы, удерживали его около Гаврилы на пустынном морском берегу.

— Осчастливил ты меня! — кричал Гаврила и, схватив руку Челкаша, тыкал ею себе в лицо.

Челкаш молчал и по-волчьи скалил зубы. Гаврила всё изливался:

— Ведь я что думал? Едем мы сюда... думаю... хвачу я его — тебя — веслом... рраз!.. денежки — себе, его — в море... тебя-то... а? Кто, мол, его хва-

тится? И найдут, не станут допытываться — как да кто. Не такой, мол, он человек, чтоб из-за него шум подымать!.. Ненужный на земле! Кому за него встать?

— Дай сюда деньги!..— рявкнул Челкаш, хватая Гаврилу за горло...

Гаврила рванулся раз, два,— другая рука Челкаша змеей обвилась вокруг него... Треск разрываемой рубахи — и Гаврила лежал на песке, безумно вытаращив глаза, цапаясь пальцами рук за воздух и взмахивая ногами. Челкаш, прямой, сухой, хищный, зло оскалив зубы, смеялся дробным, едким смехом, и его усы нервно прыгали на угловатом, остром лице. Никогда, за всю жизнь его не били так больно, и никогда он не был так озлоблен.

— Что, счастлив ты? — сквозь смех спросил он Гаврилу и, повернувшись к нему спиной, пошел прочь, по направлению к городу. Но он не сделал пяти шагов, как Гаврила кошкой изогнулся, вскочил на ноги и, широко размахнувшись в воздухе, бросил в него круглый камень, злобно крикнув:

— Рраз!..

Челкаш крикнул, схватился руками за голову, качнулся вперед, повернулся к Гавриле и упал лицом в песок. Гаврила замер, глядя на него. Вот он шевельнул ногой, попробовал поднять голову и вытянулся, вздрогнув, как струна. Тогда Гаврила бросился бежать вдаль, где над туманной степью висела мохнатая черная туча и было темно. Волны шуршали, взбегая на песок, сливаясь с него и снова взбегая. Пена шипела, и брызги воды летали по воздуху.

Посыпался дождь. Сначала редкий, он быстро перешел в плотный, крупный, лившийся с неба тонкими струйками. Они сплетали целую сеть из ниток воды — сеть, сразу закрывшую собой даль степи и даль моря. Гаврила исчез за ней. Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека, лежавшего на песке у моря. Но вот из дождя снова появился бегущий Гаврила, он летел птицей; подбежав к Челкашу, упал перед ним и стал ворочать его на земле. Его рука окунулась в теплую красную слизь... Он дрогнул и отшатнулся с безумным, бледным лицом.

— Брат, встань-кось!— шептал он под шум дождя в ухо Челкашу.

Челкаш очнулся и толкнул Гаврилу от себя, хрипло сказав:

— Поди прочь!..

— Брат! Прости!.. дьявол это меня...— дрожа шептал Гаврила, целуя руку Челкаша.

— Иди... Ступай...— хрипел тот.

— Сними грех с души!.. Родной! Прости!..

— Про... уйди ты!.. уйди к дьяволу!— вдруг крикнул Челкаш и сел на песке. Лицо у него было бледное, злое, глаза мутны и закрывались, точно он сильно хотел спать.— Чего тебе еще? Сделал свое дело... иди! Пошел!— и он хотел толкнуть убитого горем Гаврилу ногой, но не смог и снова свалился бы, если бы Гаврила не удержал его, обняв за плечи. Лицо Челкаша было теперь в уровень с лицом Гаврилы. Оба были бледны и страшны.

— Тьфу!— плюнул Челкаш в широко открытые глаза своего работника.

Тот смиренно вытерся рукавом и прошептал:

— Что хошь делай... Не отвечу словом. Прости для Христа!

— Гнус!.. И блудить-то не умеешь!..— презрительно крикнул Челкаш, сорвал из-под своей куртки рубаху и молча, изредка поскрипывая зубами, стал обвязывать себе голову.— Деньги взял?— сквозь зубы процедил он.

— Не брал я их, брат! Не надо мне!.. беда от них!..

Челкаш сунул руку в карман своей куртки, вытащил пачку денег, одну радужную бумажку положил обратно в карман, а всё остальное кинул Гавриле.

— Возьми и ступай!

— Не возьму, брат... Не могу! Прости!

— Бери, говорю!..— взревел Челкаш, страшно вращая глазами.

— Прости!.. Тогда возьму...— робко сказал Гаврила и пал в ноги Челкаша на сырой песок, щедро поливаемый дождем.

— Врешь, возьмешь, гнус!— уверенно сказал Челкаш, и, с усилием подняв его голову за волосы, он сунул ему деньги в лицо.

— Бери! бери! Не даром работал! Бери, не бойсь! Не стыдись, что человека чуть не убил! За таких людей, как я, никто не взыщет. Еще спасибо скажут, как узнают. На, бери!

Гаврила видел, что Челкаш смеется, и ему стало легче. Он крепко сжал деньги в руке.

— Брат! а простишь меня? Не хошь? а?— слезливо спросил он.

— Родимой!..— в тон ему ответил Челкаш, подымаясь на ноги и покачиваясь.— За что? Не за что! Сегодня ты меня, завтра я тебя...

— Эх, брат, брат!..— скорбно вздохнул Гаврила, качая головой.

Челкаш стоял перед ним и странно улыбался, а тряпка на его голове, понемногу краснея, становилась похожей на турецкую феску.

Дождь лил, как из ведра. Море глухо роптало, волны бились о берег бешено и гневно.

Два человека помолчали.

— Ну, прощай!— насмешливо сказал Челкаш, пускаясь в путь.

Он шатался, у него дрожали ноги, и он так странно держал голову, точно боялся потерять ее.

— Прости, брат!..— еще раз попросил Гаврила.

— Ничего!— холодно ответил Челкаш, пускаясь в путь.

Он пошел, пошатываясь и всё поддерживая голову ладонью левой руки, а правой тихо дергая свой бурый ус.

Гаврила смотрел ему вслед до поры, пока он не исчез в дожде, всё гуще лившем из туч тонкими, бесконечными струйками и окутывавшем степь непроницаемой стального цвета мглой.

Потом Гаврила снял свой мокрый картуз, перекрестился, посмотрел на деньги, зажатые в ладони, свободно и глубоко вздохнул, спрятал их за пазуху и широкими, твердыми шагами пошел берегом в сторону, противоположную той, где скрылся Челкаш.

Море выло, швыряло большие, тяжелые волны на прибрежный песок, разбивая их в брызги и пену. Дождь ретиво сек воду и землю... ветер ревел... Всё

кругом наполнялось воем, ревом, гулом... За дождем не видно было ни моря, ни неба.

Скоро дождь и брызги волн смыли красное пятно на том месте, где лежал Челкаш, смыли следы Челкаша и следы молодого парня на прибрежном песке... И на пустынном берегу моря не осталось ничего в воспоминание о маленькой драме, разыгравшейся между двумя людьми.

## ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

Море — огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо всё ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены — все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

— А-ала-ах-а-акбар!.. — тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, — у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню,

изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда всё кажется призрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота — это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

— Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он — вот в этой пене... И те серебряные пятна на воде, может, он же... кто знает?

Темное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

— Рагим!.. Расскажи сказку... — прошу я старика.

— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

— Так! Я люблю твои сказки.

— Я тебе всё уж рассказал... Больше не знаю... — Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

«Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень...

«А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями...

«Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.

«Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях...

«С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень...

«Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты...

«Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:

«— Что, умираешь?

«— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко.— Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо... Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

«— Ну что же — небо? — пустое место... Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно... тепло и сыро!

«Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

«И так подумал: „Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет...“

«Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

«Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

«И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

«— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

«А Уж подумал: „Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..“

«И предложил он свободной птице: „А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья



тебя поднимут и поживешь ты еще немного в твоей стихии“.

«И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

«И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.

«И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья...

«Волна потока его схватила и, кровь оmyвши, одела в пену, умчала в море.

«А волны моря с печальным ревом о камень бились... И труп птицы не видно было в морском пространстве...

## II

«В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

«И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

«— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать всё это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

«Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прынул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

«Рожденный ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся...

«— Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам всё знаю! Я — видел небо... Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призываю я не поверю. Земли творенье — землей живу я.

«И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.  
«Блестело море, всё в ярком свете, и грозно волны  
о берег бились.

«В их львином реве гремела песня о гордой птице,  
дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной  
песни:

„Безумству храбрых поем мы славу!

„Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О сме-  
лый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью... Но будет  
время — и капли крови твоей горячей, как искры,  
вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут  
безумной жаждой свободы, света!

„Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных ду-  
хом всегда ты будешь живым примером, призывом гор-  
дым к свободе, к свету!

„Безумству храбрых поем мы песню!..“»

...Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны  
на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде всё  
больше серебряных пятен от лунных лучей... Наш котел-  
ок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызы-  
ваяще шумя, ползет к голове Рагима.

— Куда идешь?.. Пшла! — машет на нее Рагим ру-  
кой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима,  
одухотворяющего волны. Всё кругом смотрит странно  
живо, мягко, ласково. Море так внушительно спо-  
койно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы,  
еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощ-  
ной, сдержанной силы. По темно-синему небу золотым  
узором звезд написано нечто торжественное, чарующее  
душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то  
откровения.

Всё дремлет, но дремлет напряженно чутко, и ка-  
жется, что вот в следующую секунду всё встретенется  
и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких  
звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят  
их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и  
увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну,  
откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат  
дивной музыкой откровения...

## ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ

...Однажды осенью мне привелось стать в очень неприятное и неудобное положение: в городе, куда я только что приехал и где у меня не было ни одного знакомого человека,— я очутился без гроша в кармане и без квартиры.

Продав в первые дни всё то из костюма, без чего можно было обойтись, я ушел из города в местность, называемую Устье, где стояли пароходные пристани и в навигационное время кипела бойкая трудовая жизнь, а теперь было пустынно и тихо,— дело происходило в последних числах октября.

Шлепая ногами по сырому песку и упорно разглядывая его с желанием открыть в нем какие-нибудь остатки питательных веществ, я бродил одиноко среди пустынных зданий и торговых ларей и думал о том, как хорошо быть сытым...

При данном состоянии культуры голод души можно удовлетворить скорее, чем голод тела. Вы бродите по улицам, вас окружают здания, недурные по внешности и — можно безошибочно сказать — недурно обставленные внутри: это может возбудить у вас отрадные мысли об архитектуре, о гигиене и еще о многом другом, мудром и высоком; вам встречаются удобно и тепло одетые люди,— они вежливы, всегда сторонятся от вас, деликатно не желая замечать печального факта вашего существования. Ей-богу, душа голодного человека всегда питается лучше и здоровее души сытого,— вот положение, из которого можно сделать очень остроумный вывод в пользу сытых!..

...Наступал вечер, шел дождь, с севера порывисто дул ветер. Он свистел в пустых ларях и лавчонках, бил в заколоченные досками окна гостиниц, и волны реки

от его ударов пенились, шумно плескались на песок берега, высоко взметывая свои белые хребты, неслись одна за другой в мутную даль, стремительно прыгая друг через друга... Казалось, что река чувствовала близость зимы и в страхе бежала куда-то от оков льда, которые мог в эту же ночь набросить на нее северный ветер. Небо тяжело и мрачно, с него неустанно сыпались еле видимые глазом капельки дождя; печальную элегию в природе вокруг меня подчеркивали две обломанные и уродливые ветлы и опрокинутая вверх дном лодка у их корней.

Опрокинутый челн с проломленным дном и ограбленные холодным ветром деревья, жалкие и старые... Всё кругом разрушено, бесплодно и мертво, а небо точит неиссякаемые слезы. Пустынно и мрачно было вокруг — казалось, всё умирает, скоро останусь в живых я один, и меня тоже ждет холодная смерть.

А мне тогда было семнадцать лет — хорошая пора!

Я ходил, ходил по холодному и сырому песку, выбивая зубами трели в честь голода и холода, и вдруг, в тщетных поисках съестного, зайдя за один из ларей, — увидел за ним скорченную на земле фигуру в женском платье, мокром от дождя и плотно приставшем к сложенным плечам. Остановившись над ней, я присмотрелся, что она делала. Оказалось, она роет руками яму в песке, подкапываясь под один из ларей.

— Это зачем тебе? — спросил я, присаживаясь на корточки около нее.

Она тихо вскрикнула и быстро вскочила на ноги. Теперь, когда она стояла и смотрела на меня широко раскрытыми серыми глазами, полными боязни, — я видел, что это девушка моих лет, с очень миловидным личиком, к сожалению, украшенным тремя большими синяками. Это его портило, хотя синяки были расположены с замечательной пропорциональностью — по одному, равной величины, под глазами и один — побольше — на лбу, как раз над переносицей. В этой симметрии была видна работа артиста, очень изощрившегося в деле порчи человеческих физиономий.

Девушка смотрела на меня, и боязнь в ее глазах постепенно гасла... Вот она отряхнула руки от песка,

поправила ситцевый платок на голове, поежилась и сказала:

— Ты, чай, тоже есть хочешь?.. Ну-ка, рой, у меня руки устали. Там,— она кивнула головой на ларь,— наверно хлеб есть... Этот ларь торгует еще...

Я стал рыть. Она же, немного подождав и посмотрев на меня, присела рядом и стала помогать мне...

Мы работали молча. Я не могу сказать теперь, помнил ли я в этот момент об уголовном кодексе, о морали, собственности и прочих вещах, о которых, по мнению сведущих людей, следует помнить во все моменты жизни. Желая быть возможно ближе к истине, я должен признаться,— кажется, я был настолько углублен в дело подкопа под ларь, что совершенно позабыл о всем прочем, кроме того, что могло оказаться в этом ларе...

Вечерело. Тьма — сырая, мозглая, холодная — всё более сгущалась вокруг нас. Волны шумели как будто глуше, чем раньше, а дождь барабанил о доски ларя всё звучнее и чаще... Где-то уж продребезжала трещотка ночного сторожа...

— Есть у него пол или нет? — тихо спросила моя помощница. Я не понял, о чем она говорит, и промолчал.

— Я говорю — есть пол у ларя? Коли есть, так мы напрасно ломаемся. Подроем яму,— а там, может, толстые доски еще... Как их отдерешь? Лучше замок сломать... замок-то плохонький...

Хорошие идеи редко посещают головы женщин; но, как вы видите, они все-таки посещают их... Я всегда ценил хорошие идеи и всегда старался пользоваться ими по мере возможности.

Найдя замок, я дернул его и вырвал вместе с кольцами... Моя соучастница мгновенно изогнулась и змеей вильнула в открывшееся четырехугольное отверстие ларя. Оттуда раздался ее одобрителный возглас:

— Молодец!

Одна маленькая похвала женщины для меня дороже целого дифирамба со стороны мужчины, будь мужчина сей красноречив, как все древние ораторы, взятые вместе. Но тогда я был настроен менее любезно, чем теперь, и, не обратив внимания на комплимент девушки, кратко и со страхом спросил ее:

— Есть что-нибудь?

Она монотонно принялась перечислять мне свои открытия:

— Корзина с бутылками... Мешки пустые... Зонтик... Ведро железное.

Всё это было несъедобно. Я почувствовал, что мои надежды гаснут... Но вдруг она оживленно крикнула:

— Ага! вот он...

— Кто?

— Хлеб... Каравай... Только мокрый... Держи!

К ногам моим выкатился каравай и за ним она, моя доблестная соучастница. Я уже отломил кусочек, засунул его в рот и жевал...

— Ну-ка, дай мне... Да отсюда надо и уходить. Куда бы нам идти? — Она пытливо посмотрела во тьму на все четыре стороны... Было темно, мокро, шумно... — Вон там лодка опрокинута... айда-ка туда?

— Идем! — И мы пошли, обламывая на ходу нашу добычу и набивая ею рты... Дождь усиливался, река редела, откуда-то доносился протяжный насмешливый свисток, — точно некто большой и никого не боящийся освистывал все земные порядки, и этот скверный осенний вечер, и нас, двух его героев... Сердце болезненно ныло от этого свиста; тем не менее я жадно ел, в чем мне не уступала и девушка, шедшая с левой стороны от меня.

— Как тебя зовут? — зачем-то спросил я ее.

— Наташа! — отвечала она, звучно чавкая.

Я посмотрел на нее — у меня больно сжалось сердце, я посмотрел во тьму впереди меня и — мне показалось, что ироническая рожа моей судьбы улыбается мне загадочно и холодно...

...По дереву лодки неугомонно стучал дождь, мягкий шум его навел на грустные мысли, и ветер свистел, влетая в проломленное дно — в щель, где билась какая-то щепочка, билась и трещала беспокойным и жалобным звуком. Волны реки плескались о берег, они звучали так монотонно и безнадежно, точно рассказывали о чем-то невыносимо скучном и тяжелом, надоевшем им до

отвращения, о чем-то таком, от чего им хотелось бы убежать и о чем все-таки необходимо говорить. Шум дождя сливался с их плеском, и над опрокинутой лодкой плавал протяжный, тяжелый вздох земли, обиженной и утомленной этими вечными сменами яркого и теплого лета — осенью холодной, туманной и сырой. Ветер носился над пустынным берегом и вспененной рекой, носился и пел унылые песни...

Помещение под лодкой было лишено комфорта: в нем было тесно, сыро, в пробитое дно сыпались мелкие, холодные капли дождя, врывались струи ветра... Мы сидели молча и дрожали от холода. Мне хотелось спать, помню. Наташа прислонилась спиной к борту лодки, скорчившись в маленький комок. Обняв руками колени и положив на них подбородок, она упорно смотрела на реку, широко раскрыв свои глаза, — на белом пятне ее лица они казались громадными от синяков под ними. Она не двигалась, эта неподвижность и молчание — я чувствовал — постепенно родит во мне страх перед моей соседкой... Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал, с чего начать.

Она заговорила сама.

— Экая окаянная жизнь!.. — внятно, раздельно, с глубоким убеждением в тоне произнесла она.

Но это не была жалоба. В этих словах было слишком много равнодушия для жалобы. Просто человек подумал, как умел, подумал и пришел к известному выводу, который и высказал вслух и на который я не мог возразить, не противореча себе. Поэтому я молчал. А она, как бы не замечая меня, продолжала сидеть неподвижно.

— Хоть бы сдохнуть, что ли... — снова проговорила Наташа, на этот раз тихо и задумчиво. И снова в ее словах не звучало ни одной ноты жалобы. Видно было, что человек, подумав про жизнь, посмотрел на себя и спокойно пришел к убеждению, что для охранения себя от издевательств жизни он не в состоянии сделать что-либо другое, кроме того, как именно — «сдохнуть».

Мне стало невыразимо тошно от такой ясности мышления, и я чувствовал, что если буду молчать еще, то наверное заплачу... А это было бы стыдно пред женщи-

ной, тем более, что вот — она не плакала. Я решил заговорить с ней.

— Кто это тебя избил? — спросил я, не придумав ничего умнее.

— Да всё Пашка же... — ровно и громко ответила она.

— А он кто?..

— Любовник... Булочник один...

— Часто он тебя бьет?..

— Как напьется, так и бьет...

И вдруг, придвинувшись ко мне, она начала рассказывать о себе, Пашке и существующих между ними отношениях. Она — «девица из гуляющих, которые...», а он — булочник с рыжими усами и очень хорошо играет на гармонике. Ходил он к ней в «заведение» и ей очень понравился, потому что человек он веселый и одевается чисто. Поддевка в пятнадцать рублей и сапоги с «набором» у него... По этим причинам она в него влюбилась, и он стал ее «кредитным». А когда он стал ее «кредитным», то занялся тем, что отбирал у нее те деньги, которые ей давали другие гости на конфеты, и, напиваясь на эти деньги, стал бить ее, — это бы еще ничего, — а стал «путаться» с другими девицами на ее глазах...

— Али это мне не обидно? Я не хуже других прочих... Значит, это он издевается надо мной, подлец. Третьего дня я вот отпросилась у хозяйки гулять, пришла к нему, а у него Дунька пьяная сидит. И он тоже под шефе. Я говорю ему: «Подлец ты, подлец! Жулик ты!» Он избил меня всю. И пинками и за волосы — всячески... Это бы еще ничего! А вот порвал всю... это как теперь? Как я к хозяйке явлюсь? Всё порвал: и платье и кофточку — новенькая еще совсем... и платок сдернул с головы... Господи! Как мне теперь быть? — вдруг взвыла она тоскующим, надорванным голосом.

И ветер выл, становясь всё крепче и холоднее. У меня снова зубы принялись танцевать. А она тоже ежилась от холода, придвинувшись настолько близко ко мне, что я уже видел сквозь тьму блеск ее глаз...

— Какие все вы мерзавцы, мужчины! Растоптала бы я вас всех, изувечила. Издыхай который из вас... плюнула бы в морду ему, а не пожалела! Подлые хари!

Канючите, канючите, виляете хвостом, как подлые собаки, а поддастся вам дура, и готово дело! Сейчас вы ее и под ноги себе... Шематоны паршивые...

Ругалась она очень разнообразно, но в ругательствах ее не было силы: ни злобы, ни ненависти к «паршивым шематонам» не слышал я в них. Вообще тон ее речи был несоответственно содержанию спокоен и голос грустно беден нотами.

Но всё это действовало на меня сильнее самых красноречивых и убедительных пессимистических книг и речей, которые я слышал немало и раньше, и позднее, и по сей день слышу и читаю. И это потому, видите ли, что агония умирающего всегда гораздо естественнее и сильнее самых точных и художественных описаний смерти.

Мне было скверно — наверное, больше от холода, чем от речей моей соседки по квартире. Я тихонько застонал и заскрипел зубами.

И почти в то же мгновение ощутил на себе две холодные маленькие руки, — одна из них коснулась моей шеи, другая легла мне на лицо, и вместе с тем прозвучал тревожный, тихий, ласковый вопрос:

— Ты что?

Я готов был подумать, что это спрашивает меня кто-то другой, а не Наташа, только что заявившая, что все мужчины мерзавцы, и желавшая всем им гибели. Но она заговорила уже быстро и торопливо...

— Что ты? а? Холодно, что ли? Смерзаешь? Ах ты какой! Сидит и молчит... как сыч! Да ты бы давно сказал мне, что холодно, мол... Ну... ложись на землю... протягивайся... и я лягу... вот! Теперь обнимай меня руками... крепче... Ну вот, и должно быть тебе тепло теперь... А потом — спинами друг к другу ляжем... Как-нибудь скоротаем ночь-то... Ты что, запил, что ли? С места прогнали?.. Ничего!..

Она меня утешала... Она меня ободряла...

Будь я трижды проклят! Сколько было иронии надо мной в этом факте! Подумайте! Ведь я в то время был серьезно озабочен судьбами человечества, мечтал о реорганизации социального строя, о политических переворотах, читал разные дьявольски мудрые книги, глубина

мысли которых, наверное, недосыгаема была даже для авторов их,— я в то время всячески старался приготовить из себя «крупную активную силу». И меня-то согревала своим телом продажная женщина, несчастное, избитое, загнанное существо, которому нет места в жизни и нет цены и которому я не догадался помочь раньше, чем она мне помогла, а если б и догадался, то едва ли бы сумел помочь ей чем-либо.

Ах, я готов был подумать, что всё это происходит со мной во сне, в нелепом сне, в тяжелом сне...

Но, увы! мне нельзя было этого подумать, ибо на меня сыпались холодные капли дождя, крепко к моей груди прижималась грудь женщины, в лицо мне веяло ее теплое дыхание, хотя и с легоньким букетом водки... но — такое живительное... Был и стонал ветер, стучал дождь о лодку, плескались волны, и оба мы, крепко сжимая друг друга, все-таки дрожали от холода. Всё это было вполне реально, и я уверен, никто не видал такого тяжелого и скверного сна, как эта действительность.

А Наташа всё говорила о чем-то, говорила так ласково и участливо, как только женщины могут говорить. Под влиянием ее речей, наивных и ласковых, внутри меня тихо затеплился некий огонек, и от него что-то растаяло в моем сердце.

Тогда из моих глаз градом полились слезы, смывшие с сердца моего много злобы, тоски, глупости и грязи, накипевшей на нем пред этой ночью... Наташа же уговаривала меня:

— Ну, полно, миленький, не реви! Полно! Бог даст, поправишься, опять на место поступишь... и всё такое...

И всё целовала меня. Много, без счета, горячо...

Это были первые женские поцелуи, преподнесенные мне жизнью, и это были лучшие поцелуи, ибо все последующие страшно дорого стоили и почти ничего не давали мне.

— Ну, не реви же, чудак! Я тебя завтра устрою, коли тебе некуда деваться... — как сквозь сон слышал я тихий убедительный шёпот...

...До рассвета мы лежали в объятиях друг друга...

А когда рассвело, вылезли из-под лодки и пошли в город... Потом дружески простились и более не встречались никогда, хотя я с полгода разыскивал по всем трущобам эту милую Наташу, с которой провел описанную мною ночь, однажды осенью...

Если она уже умерла — как это хорошо для нее! — в мире да почитет! А если жива — мир душе ее! Да не проснется в душе ее сознание падения... ибо это было бы страданием излишним и бесплодным для жизни...

## «ВЫВОД»

По деревенской улице, среди белых мазанок, с диким воем двигается странная процессия.

Идет толпа народа, идет густо, медленно и шумно, — движется, как большая волна, а впереди ее шагает шероховатая лошаденка, понуро опустившая голову. Поднимая одну из передних ног, она так странно встряхивает головой, точно хочет ткнуться шершавой мордой в пыль дороги, а когда она переставляет заднюю ногу, ее круп весь оседает к земле, и кажется, что она сейчас упадет.

К передку телеги привязана веревкой за руки маленькая, совершенно нагая женщина, почти девочка. Она идет как-то странно — боком, ноги ее дрожат, подгибаются, ее голова, в растрепанных темно-русых волосах, поднята кверху и немного откинута назад, глаза широко открыты, смотрят вдаль тупым взглядом, в котором нет ничего человеческого. Всё тело ее в синих и багровых пятнах, круглых и продолговатых, левая упругая, девическая грудь рассечена, и из нее сочится кровь. Она образовала красную полосу на животе и ниже по левой ноге до колена, а на голени ее скрывает коричневая короста пыли. Кажется, что с тела этой женщины содрана узкая и длинная лента кожи. И, должно быть, по животу женщины долго били поленом, а может, топтали его ногами в сапогах — живот чудовищно вспух и страшно посинел.

Ноги женщины, стройные и маленькие, еле ступают по серой пыли, весь корпус изгибается, и нельзя понять, почему женщина еще держится на этих ногах, сплошь, как и всё ее тело, покрытых синяками, почему она не падает на землю и, вися на руках, не волочится за телегой по теплой земле...

А на телеге стоит высокий мужик, в белой рубахе, в черной смушковой шапке, из-под которой, перерезывая ему лоб, свесилась прядь ярко-рыжих волос; в одной руке он держит вожжи, в другой — кнут и методически хлещет им раз по спине лошади и раз по телу маленькой женщины, и без того уже добитой до утраты человеческого образа. Глаза рыжего мужика налиты кровью и блещут злым торжеством. Волосы оттеняют их зеленоватый цвет. Засученные по локти рукава рубахи обнажили крепкие руки, густо поросшие рыжей шерстью; рот его открыт, полон острых белых зубов, и порой мужик хрипло вскрикивает:

— Н-ну... ведьма! Гей! Н-ну! Ага! Раз!..

Сзади телеги и женщины, привязанной к ней, валом валит толпа и тоже кричит, воет, свищет, смеется, улюлюкает, подзадоривает. Бегут мальчишки... Иногда один из них забегает вперед и кричит в лицо женщины циничные слова. Взрывы смеха в толпе заглушают все остальные звуки и тонкий свист кнута в воздухе. Идут женщины с возбужденными лицами и сверкающими удовольствием глазами. Идут мужчины, кричат нечто отвратительное тому, что стоит в телеге. Он оборачивается назад к ним и хохочет, широко раскрывая рот. Удар кнутом по телу женщины. Кнут, тонкий и длинный, обвивается около плеча, и вот он захлестнулся под мышкой. Тогда мужик, который бьет, сильно дергает кнут к себе; женщина визгливо вскрикивает и, опрокидываясь назад, падает в пыль спиной. Многие из толпы подскакивают к ней и скрывают ее собой, наклонясь над нею.

Лошадь останавливается, но через минуту она снова идет, а избитая женщина по-прежнему двигается за телегой. И жалкая лошадь, медленно шагая, всё мотает своей шершавой головой, точно хочет сказать:

«Вот как подло быть скотом! Во всякой мерзости люди заставляют принять участие...»

А небо, южное небо, совершенно чисто, — ни одной тучки, солнце щедро льет жгучие лучи...

.....  
Это я написал не выдуманное мною изображение истязания правды — нет, к сожалению, это не выдумка.



Это называется — «вывод». Так наказывают мужья жен за измену; это бытовая картина, обычай, и это я видел в 1891 году, 15 июля, в деревне Кандыбовке, Херсонской губернии, Николаевского уезда.

Я знал, что за измену у нас, в Заволжье, женщин обнажают, мажут дегтем, осыпают куриными перьями и так водят по улице. Знал, что иногда затейливые мужья или свекры в летнее время мажут «изменницу» патокой и привязывают к дереву на съедение насекомым. Слышал, что изредка изменниц, связанных, сажают на муравьиные кучи. И вот — видел, что всё это возможно в среде людей безграмотных, бессовестных, одичавших от волчьей жизни в зависти и жадности.

# НА ПЛОТАХ

ПАСХАЛЬНЫЙ РАССКАЗ

## I

...Грузные тучи медленно ползут над сонной рекой; кажется, что они спускаются всё ниже и ниже, кажется, что вдали их серые лохмотья коснулись поверхности быстрых и мутных весенних волн, и там, где они коснулись воды, — встала до небес непроницаемая стена облаков, заградившая собою течение реки и путь плотам.

И волны, безуспешно подмывая эту стену, бьются о нее с тихим, жалобным рокотом, бьются и, отброшенные ею, разбегаются вправо, влево, где лежит сырая тьма весенней, свежей ночи.

Но плоты плывут вперед, и даль отодвигается перед ними в пространство, полное тяжелых облачных масс.

Берегов не видать — их скрыла ночь и оттолкнули куда-то широкие волны разлива.

Река — точно море. Небо над нею окутано облаками, тяжело, сыро и скучно.

Плоты скользят по воде быстро и бесшумно, а навстречу им из тьмы выдвигается пароход, выбрасывая из трубы веселую толпу искр и глухо ударяя по воде плечами колес...

Два красных фонаря на отводах всё увеличиваются, становятся ярче, а фонарь на мачте тихо покачивается из стороны в сторону и таинственно подмигивает тьме.

Пространство наполнено шумом разбиваемой воды и тяжелыми вздохами машины.

— По-оглядывай! — раздается на плотях сильный грудной оклик.

У рулевых весел, на хвосте плота, стоят двое: Митя — сын сплавщика, русский, хилый, задумчивый парень лет двадцати, и Сергей — работник, хмурый,

здоровый детина в рыжей бороде; из ее рамки выдаются крепкие крупные зубы, не закрытые верхней губой, насмешливо вздернутой кверху.

— Клади лево! — снова сотрясает тьму громкий крик спереди плотов.

— Знаем и сами, чего орешь? — недовольно ворчит Сергей и, вздыхая, наваливается грудью на весло.

— О-ух! Вороти крепчае, Митюк!

Митрий, упираясь ногами в сырые бревна, тянет к себе тонкими руками тяжелую жердь — руль — и хрипло кашляет.

— Гни... бери левой!.. Черти, дьяволы! — кричат спереди тревожно и озлобленно.

— Ори! Твой-то чахлый сын соломину о колено не переломит, а ты его на руль ставишь да и орешь потом на всю реку. Жаль было еще работника нанять кощеуснохачу. Ну, и рви теперь глотку-то!..

Сергей ворчит уже громко, очевидно, не опасаясь, что его услышат, и даже как бы желая этого...

Пароход мчится мимо плотов, с ропотом выметывая из-под колес пенистые волны. Бревна раскачиваются на воде, и скрученные из сучьев связи скрипят жалобным и сырым звуком.

Освещенные окна парохода смотрят на реку, и плоты, как ряд огненных глаз, отражаются на взволнованной воде светлыми трепещущими пятнами и исчезают.

Волны сильно плещут на плоты, бревна прыгают, и Митрий, покачиваясь на ногах, крепко прижимается к рулю, боясь упасть.

— Ну, ну! — насмешливо урчит Сергей, — заплясал! Вот отец-то гаркнет тебе опять... А то пойдет да всадит тебе в бок-то разá, тогда не так заплашешь! Бери право! Ой-ну! О-о!..

И упругими, как стальные пружины, руками Сергей мощно ворочает свое весло, глубоко разрывая им воду...

Энергичный, высокий, немного злой и насмешливый, он стоит так, точно прирос к бревнам босыми ногами, и в напряженной позе, готовый каждую секунду повернуть плоты, зорко смотрит вперед.

— Ишь, отец-то у тебя, как обнимат Марьку-то!

Ну и дьяволы же! Ни стыда, ни совести! И чего ты, Митрий, не уйдешь куда от них, чертей поганых?.. а? Слышь, что ли?

— Слышу! — вполголоса говорит Митрий, не глядя туда, где Сергей, сквозь тьму, видит его отца.

— Слышу-у! Эх ты, тюря! — дразнится Сергей и хохочет. — Дела! — продолжает он, подзадориваемый апатией Митрия. — Ну и старик — чёрт! Женил сына, отбил сноху и — прав! Старый галман!

Митрий молчит и смотрит назад по реке, где тоже образовалась стена густых облаков.

Теперь облака везде, и кажется, что плоты не плывут, а неподвижно стоят в этой густой и черной воде, подавленной тяжелыми темно-серыми грудями туч, — упав в нее с неба, они заградили ей путь.

Река кажется бездонным омутом, со всех сторон окруженным горами, высокими до неба и одетыми густым покровом тумана.

Кругом — томительно тихо, и вода точно ждет чего-то, слабо поплескивая на плоты. Много грусти и какой-то робкий вопрос слышится в этом бедном звуке, единственном среди ночи и еще более оттеняющем ее тишину...

— Ветру бы теперь дунуть... — говорит Сергей. — Нет, не надо ветру — ветер дождя нагонит, — возражает он сам себе, набивая трубку.

Вспыхивает спичка, слышно хрипение в засоренном чубуке, и красный огонек, то разгораясь, то угасая, освещает ныряющее во тьме широкое лицо Сергея.

— Митрий! — раздается его голос. Теперь он менее угрюм, и в нем яснее звучит насмешливая нота.

— А? — вполголоса отвечает Митрий, не отводя глаз из дали, где он пристально рассматривает что-то большими и грустными глазами.

— Как же это, брат ты мой, а?

— Чего? — отзывается Митрий недовольно.

— Женился-то?! Смехи! Как это было-то? Ну, пошли вы, значит, с женой спать? Ну, как же?!

— Эй, вы, там! По-оглядыва-ай! — угрожающе пронеслось над рекой.

— Ишь, ревет, снохач анафемский! — с восхищением отмечает Сергей и снова возвращается к своей теме. — Ну, скажи, что ли? Мить! Скажи, чай! а?

— Отстань, Серега! — говорил ведь! — проситель-но шепчет Митрий; но, должно быть, зная, что от Сер-гея не отвяжешься, торопливо начинает: — Ну, при-шли мы спать. Я и говорю ей: «Не могу я мужевать с тобой, Марья. Ты девка здоровая, я человек больной, хилый. И совсем я жениться не желал, а батюшка, мол, силком меня — женись, говорит, да и всё! Я, мол, вашу сестру не люблю, а тебя больше всех. Бойка больно... Да... И ничего я этого не могу... понимаешь... Пакость одна да грех... Дети тоже... За них ответ богу дать надо...»

— Пакость! — взвизгивает Сергей и громогласно хохочет. — Ну и что ж она, Марька-то? а?

— Ну... «Что же, говорит, мне делать теперь?» Плачет сидит. «Чем, говорит, я тебе не по сердцу? Али, говорит, я уродина какая?» Бесстыдница она, Серега!.. «Что же, говорит, мне с моим здоровьем к свекру, что ли, идти?» Я говорю: «Как хошь, мол... Куда хошь иди. Мне, мол, супротив души невозможно поступить... Дедушка Иван говорил — смертный грех это дело. Скоты мы с тобой, что ли, мол?» Плачет всё. «Загубили, говорит, мою девичью красоту». Жалко ее было мне. «Ничего, мол, как-нибудь обойдесся. А то, мол, в монастырь иди». Она ругаться: «Дурак ты, го-ворит, Митька, подлец...»

— А, б-батюшки! — восхищенным шёпотом шипит Сергей. — Так ты ей и отколол — в монастырь?

— Так и сказал, — просто говорит Митя.

— А она тебя — дураком? — повышает тон Сергей.

— Да... обругала.

— За дело, брат! А-ах и за дело! Вздуть бы еще на-до! — вдруг меняет тон Сергей. Теперь он говорит стро-го и внушительно. — Разве ты можешь супротив закону идти? А ты — пошел! Установлено — ну, значит, и шабаш! Не моги спорить. А ты накося! Эко, выворотил корягу! В монастырь! Дурья голова! Ведь девке-то что надо? Али монастырь? Ну и люди нынче! Ты подумай — что вышло? Сам ты ни бэ, ни мэ, ни ку-ка-ре-ку, девку

погубил... полюбовницей стариковой стала — старика во грех снохаческий ввел. Сколько ты закона нарушил? Го-олова!

— Закон-то, Сергей, в душе. Один закон про всех: не делай такого, что против души твоей, и никакого ты худа на земле не сделаешь,— тихо и умиротворяюще проговорил Митрий, тряхнув головой.

— А ты вот сделал! — энергично возразил Сергей. — В душе! Эко, тоже... Мало ли что в душе-то есть. Всему запрета не полагать — нельзя. Душа, душа... Ее, брат, понимать надо, а потом уж и того...

— Нет, ты это не так, Сергей! — горячо заговорил Митрий, точно вспыхнул вдруг. — Душа-то, брат, всегда чиста, как росинка. В скорлупке она, вот что! Глубоко она. А коли ты к ней прислушаешься, так не ошибешься. Всегда по-божески будет, коли по душе сделано. В душе ведь бог-то, и закон, значит, в ней. Богом она создана, богом в человека вдунута. Нужно только в нее заглянуть уметь. Нужно только не жалеючи себя...

— Эй, вы! Демоны сонные! Гляди в оба! — раскатило загремело и поплыло по реке.

По силе звука чувствовалось, что кричит человек здоровый, энергичный, довольный собой, человек с большой и ясно сознанный им жизнеспособностью. Кричалось не потому, что окрик был вызван сплавщиками, а потому, что душа была полна чем-то радостным и сильным,— это радостное, сильное просилось на волю и вот — вырвалось в гремящем, энергичном звуке.

— Ишь, как твякнул, старый чёрт! — с удовольствием отметил Сергей, зорко глядя вперед. — Милуются, голубки! Завидно не бывает, Митька?

Митрий равнодушно посмотрел туда, к передним веслам, где две человеческие фигуры перебежали по плотам справа налево и, останавливаясь близко друг к другу, иногда сливались в одну плотную темную массу.

— Не завидно? — повторил Сергей.

— Что мне? Их грех — их ответ,— тихо сказал Митя.

— Та-ак! — иронически протянул Сергей и подложил табаку в трубку. Снова во тьме заблестел красный огонек.

А ночь становилась всё гуще, и серые тучи, чернея, всё ниже спускались над тихой широкой рекой.

— Где ж это ты, Митрий, нахватал такой мудрости, а? Али уж у тебя это врожденное? Не в отца ты, браток. Герой у тебя отец-от. Смотри-ко — полсотни годов ему, а он какую кралечку млыует! Сок один баба. И любит она его — что уж тут! Любит, брат. Нельзя не любить козыря такого. Король козырей, бардадын отец-от у тебя. Работает — любо глядеть, достаток большой; почета — хошь отбавляй, и голова на месте. Н-да. А ты вот ни в мать, ни в отца. Мить? А что бы отец-от сделал, кабы покойница Анфиса жива была? Чудно! Посмотрел бы я, как она его... Тоже баба была — бой, матка-то твоя... Под пару Силану-то.

Митрий молчал, облокотясь на весло и глядя в воду.

Сергей тоже замолчал. Спереди плотов доносился звонкий женский смех. Ему вторил басовитый смех мужчины. Затканые мглой, их фигуры были еле видны Сергею, с любопытством смотревшему на них сквозь тьму. Можно было видеть, что мужчина высок и стоит у весла, широко расставив ноги, вполоборота к кругленькой, маленькой женщине, прислонившейся грудью к другому веслу, саженьях в полтора от первого. Она грозит мужчине пальцем, рассыпчато и задорно посмеиваясь. Сергей отвернулся со вздохом сокрушения и, сосредоточенно помолчав, заговорил опять:

— Эхма! И ладно же им там. Мило! Мне бы вот так-то, бобылю-шатале! Ни в жисть бы от такой бабы не ушел! Эх ты! Так бы всё и мял ее в руках, не выпускал. На, чувствууй, как люблю... Чёрт те! Не везет вот мне на бабу... Не любят, видно, бабы рыжих-то. Н-да. Капризная она — баба эта... А шельма! Жадна жить. Митя! Эй, спишь?

— Нет, — тихо ответил Митя.

— То-то! Как же ты, брат, жизнь проходить будешь! Ведь ежели говорить правду — один ты, как перст. Тяжело! Куда ж ты себя теперь определишь? Житья тебе настоящего на людях не найти. Смешон больно. Али это человек, который постоять за себя не умеет! Нужно, брат, зубы да когти. Всякий тебя будет

забиждать. Рази ты можешь оборониться? Чем тебе оборониться? Эхе-хе! Чудён! Куда ж ты?

— Я-то? — вновь встrepенулся Митя. — Я уйду. Я, брат, осенью ныне — на Кавказ, и — конечно! Господи! Только бы скорее от вас! Бездушные! Безбожные вы люди, бежать от вас — одно спасенье! Зачем вы живете? Где у вас бог? Слово у вас одно... Али вы во Христе живете? Эх вы, — волки вы! А там иные люди, живы души их во Христе, и сердца их содержат любовь и о спасении мира страждут. А вы? Эх вы! Звери, пакость рыкающие! Есть пные люди. Видел я их. Звали меня. К ним и уйду. Книгу святого писания принесли мне они. «Читай, — говорит человек божий, — брат наш любезный, читай слово истинно!..» И читал я, и обновилась душа моя от слова божия. Уйду. Брошу вас, волки безумные, — от плоти друг друга питаетесь вы. Анафема вам!

Митрий говорил это страстным шёпотом и задышался от переполнявшего его чувства презрительной злобы к безумным волкам, от жажды тех людей, души которых мыслят о спасении мира.

Сергей был ошеломлен. Он помолчал, широко открыв рот, держа в руке свою трубку, подумал, оглянулся кругом и сказал густым, угрюмым голосом:

— Ишь, как взъелся!.. Злой тоже. Напрасно чёл книгу-то. Кто ё знает, какая там она? Ну... вали, вали, утекай, а то совсем испортиться можешь. Айда! Беги, пока не озверел совсем... А что ж это за люди там, на Кавказе? Монахи? Аль, может, старoverы? Они молоканы, что ли? А?

Но Митрий потух уже, так же быстро, как и вспыхнул. Он ворочал веслом, задыхаясь от усилий, и что-то шептал быстро и нервно.

Сергей долго ждал его ответа и не дождался. Его здоровую, несложную натуру давила мрачная, мертвенно тихая ночь, ему хотелось напомнить себе самому о жизни, будить эту тишину звуками, всячески тревожить и вспугивать это притаившееся созерцательное молчание тяжелой массы воды, медленно лившейся в море, и уныло застывшие в воздухе неподвижные груды облаков. На том конце плота жили и его возбуждали к жизни.

Оттуда то и дело долетал то тихий довольный смех, то отрывочные восклицания, ступенчатые тишиной и тьмой этой ночи, полной запаха весны, возбуждавшего горячее желание жить.

— Брось, Митрий, куда воротись? Ругнет старик-то, смотри,— заметил он наконец, не вынося более молчания и видя, что Митрий бесцельно буравит воду веслом. Митрий остановился, отер вспотевший лоб и замер, прислонясь грудью к веслу и тяжело дыша.

— Мало сегодня пароходов чего-то... Кой час плывем, а всего один встретя.

И, видя, что Митрий не собирается ответить, Сергей резонно объяснил сам себе:

— Это потому, что навигация еще не открылась. Начинается только еще. А живо мы сплывем в Казань-то — здорово тащит Волга. Хребет у нее богатырский — всё поднимет. Ты чего стоишь? Осерчал, что ли, а, Мить? Эй!

— Ну что? — недовольно спросил Митрий.

— Ничего, чудак-человек... Чего, мол, молчишь? Думаешь всё? Брось. Вредно это человеку. Эх ты, мудрец, мудришь ты, мудришь, а что разума-то у тебя нет,— это тебе и невдомек! Ха-ха!

И Сергей, посмеявшись, в сознании своего превосходства крепко крякнул, помолчал, засвистал было, но оборвал свист и продолжал развивать свою мысль далее:

— Думы! Али это для простого человека занятие? Вон, глянь-ко, отец-от твой не мудрит — живет. Милует твою жену да посмеивается с ней над тобой, дураком мудрым. Так-то! Чу, как они? Ах ты, дуй их горой! Поди, уже беременна Марька-то! Не бойсь, не в тебя дите-то будет. Такой же, надо полагать, ухарь, как и Силян Петров. А твоим ведь зачислится ребенок-то. Дела! Ха! «Тятка», — скажет тебе. А ты ему, значит, не тятка, а брат будешь. А тятка-то у него — дедушка! Эх ты, ловко! Эки пакостники! А удалцы народы! Так ведь, Митя?

— Сергей! — раздался страстный, взволнованный, чуть не рыдающий шёпот.— Христа ради прошу, не рви ты мою душу, не жги меня, отстань! Молчи! Хрис-

том-богом прошу, не говори со мной, не растравляй меня, не соси мою кровь. Брошусь в реку я, грех ляжет на тебя большой! Душу мою загублю я, не трожь ты меня! Богом клянусь — прошу!..

Тишину ночи разорвал болезненно визгливый вопль, и Митрий, как стоял, опустился на бревна, точно его пришибло что-то тяжелое, упавшее на него сверху из угрюмых туч, нависших над черной рекой.

— Ну, ну, ну! — боязливо заворчал Сергей, поглядывая, как его товарищ метался по бревнам, точно обожженный огнем. — Чудак-человек! Этаким чудак... сказал бы, чай... коли не тово тебе... не этово...

— Всю дорогу ты мучишь меня... за что? Ворог я тебе? а? ворог? — горячо шептал Митя...

— Чудак ты, брат! Ах, какой чудак! — смущенно и обиженно бормотал Сергей. — Рази я знал что? Мне твоя душа неведома, чай!

— Забыть я хочу это, пойми! Забыть на всю жизнь! Позор мой... мука лютая... Свиные вы люди! Уйду я! Навек уйду... Не в мочь мне...

— Да уходи!.. — гаркнул Сергей на всю реку, подкрепил восклицание громоподобным циничным ругательством и сразу осекся, как-то съезжился и присел, очевидно, тоже подавленный развернувшейся пред ним душевной драмой, не понять которой теперь — он не мог уже.

— Эй, вы! — носился над рекой голос Силана Петрова. — Что у вас? Чего лаετε? а-эй?

Должно быть, Силану Петрову нравилось шуметь на реке среди тяжелого молчания своим густым и крепким басом. Окрики лились один за другим, сотрясая воздух, теплый и сырой, подавляя своей жизненной силой тщедушную фигуру Митрия, уже снова стоявшего у весла. Сергей, во всю мочь отвечая хозяину, в то же время вполголоса ругал его крепкой и соленой русской руганью. Два голоса рвали тишину ночи, будили ее, встряхивали и то сливались в одну густую ноту, сочную, как звук большой медной трубы, то, возвышаясь до фальцета, плавали в воздухе, гасли и гибли. Потом — снова стало тихо.

Сквозь разрыв в тучах на темную воду пали желтые пятна лунных лучей и, посверкав с минуту, исчезли, стертые сырой тьмой.

Плоты плыли дальше, посреди тьмы и молчания.

## II

У одного из передних весел стоял Силян Петров, в красной рубахе с расстегнутым воротом, обнажавшим его могучую шею и волосатую, прочную, как наковальня, грудь. Шапка сивых волос нависла ему на лоб, и из-под нее усмехались большие, горячие, карие глаза. По локоть засученные рукава рубахи обнажали жилистые руки, крепко державшие весло, и, немного подавшись корпусом вперед, он что-то зорко высматривал в густой тьме дали.

Марька стояла в трех шагах от него, к течению бокком, и с улыбкой поглядывала на широкогрудую фигуру милого. Оба молчали, занятые наблюдением: он — за далью, она — за игрой его живого бородатого лица.

— Костер рыбацкий, должно! — поворотился он к ней лицом. — Ничего. Держим прямо! О-ох! — выдохнул он из себя целый столб горячего воздуха, ровно ударив веслом влево и мощно проводя им по воде. — Не натужься больно-то, Машурка! — заметил он, видя, что и она делает то же ловкое движение своим веслом.

Кругленькая, полная, с черными бойкими глазами и румянцем во всю щеку, босая, в одном мокрому сарафане, приставшем к ее телу, — она повернулась к Силану лицом и, ласково улыбаясь, сказала:

— Уж больно ты бережешь меня. Чай, я слава те господи!

— Целую — не берегу! — передернул плечами Силян.

— И не след! — вызывающе прошептала она.

Они замолчали, оглядывая друг друга жадными взглядами.

Под плотами задумчиво журчала вода. Справа, далеко где-то запели петухи.

Чуть заметно колыхаясь под ногами, плоты плыли вперед, туда, где тьма уже редела и таяла, а облака принимали более резкие очертания и светлые оттенки.

— Силан Петрович! Знаешь, чего они там визжали? Я знаю, право слово, знаю! Это Митрий жалился на нас Сережке да и проскулил так-то жалобно с тоски, а Сережка-то и ругнул нас.

Марья пылливо уставилась в лицо Силана, теперь, после ее слов, — суровое и холодно упрямое.

— Ну, так что? — коротко спросил он.

— Так. Ничего.

— А коли ничего, так и говорить было нечего.

— Да ты не серчай!

— На тебя-то? И рад бы иной раз, да не в силу.

— Любишь Машку? — шаловливо прошептала она, наклонясь к нему.

— Э-эх! — выразительно крикнул Силан и, протянув к ней свои сильные руки, сквозь зубы сказал: — Иди, что ли... Не задорь...

Она изогнулась, как кошка, и мягко прильнула к нему.

— Опять собьем плоты-то! — шептал он, целуя ее лицо, горевшее под его губами.

— Будет уж! Светает... Видно нас с того конца.

Она попыталась оттолкнуться от него. Но он еще крепче прижал ее рукой.

— Видно? Пускай видят! Пускай все видят! Плюю на всех. Грех делаю, точно. Знаю. Ну что ж? Подержу ответ господу. А все ж таки женой ты его не была. Свободная, стало быть, ты сама своя... Тяжко ему? Знаю. А мне? Али снохачом быть лестно? Хоть оно, положим, ты не жена ему... А всё ж! С моим-то почетом — каково мне теперь? А перед богом не грех? Грех! Всё знаю! И всё преступил. Потому — стóбит. Один раз на свете-то живут, и кажинный день умереть можно. Эх, Марья! Месяц бы мне один погодить Митьку-то женить! Ничего бы этого не было. Сейчас бы после смерти Анфисы сватов я к тебе заслал — и шабаш! В законе. Без греха, без стыда. Ошибка моя была. Сгрызет она мне лет пяток-десяток, ошибка эта. Умрешь от нее раньше смерти...

— Ну ладно, брось, не тревожь себя. Было говорено про это не раз уж,— прошептала Марья и, тихонько освободившись от его объятий, подошла к своему веслу. Он стал работать порывисто и сильно, как бы желая дать исход той тяжести, что легла ему на грудь и омрачила его красивое лицо.

Светало.

И тучи, редая, лениво расползались по небу, как бы не желая дать места всходившему солнцу. Вода реки приобрела холодный блеск стали.

— Опять он намедни толковал. «Батюшка, говорит, али это не стыд-позор тебе и мне? Брось ты ее, тебя-то то есть,— усмехнулся Силан Петров,— брось, говорит, войди в меру». — «Сын, мол, мой милый, отойди прочь, коли жив быть хошь! Разорву в куски, как тряпицу гнилую. Ничего от твоей добродетели не останется. На муку, мол, себе родил я тебя, выродка». Дрожит. «Батюшка! али, говорит, я виноват?» — «Виноват, мол, комар пискливый,— потому камень ты на моей дороге. Виноват, мол, потому постоять за себя не умеешь. Мертвечина, мол, ты, стерва тухлая. Кабы, мол, ты здоров был,— хоть бы убить тебя можно было, а то и этого нет. Жалко тебя, кикимору несчастную». Воеет! — Эх, Марья! Плохи люди стали! Другой бы — э-эхма! Выбился бы из петли-то скоро. А мы — в ней! Да, может, так и затанем друг друга.

— Это ты о чем? — робко спросила Марья, с испугом глядя на него, сурового, мощного и холодного.

— Так... Умер бы он... Вот что. Кабы умер... ловко бы! Всё бы в колею вскочило. Отдал бы твоим землю, замазал бы им глотку-то, а с тобой — в Сибирь... али на Кубань! Кто такая? Жена моя! Поняла? Документ бы такой достали... бумагу. Лавку бы открыл в деревне где. И жили бы. И грех наш перед господом замолили бы. Много ли нам надо? Помогли бы людям жить, а они бы помогли нам совесть успокоить... Хорошо? а? Маша?!

— Да-а! — вздохнула она и крепко, зажмурив глаза, задумалась о чем-то.

Они помолчали... Журчала вода...

— Чахлый он... Может, скоро умрет,— глухо сказал Силан Петров.

— Дай-ко ты, господи, поскорее бы! — молитвенно произнесла Марья и перекрестилась.

.....  
Брызнули лучи весеннего солнца и заиграли на воде золотом и радугой. Дунул ветер, всё дрогнуло, ожило и засмеялось. Голубое небо между туч тоже улыбалось раскрашенной солнцем воде. А тучи остались уже сзади плотов.

Там, собравшись в тяжелую, темную массу, они раздумчиво и неподвижно стояли над широкой рекой, точно выбирая путь, которым скорее уйдешь от живого солнца весны, богатого блеском и радостью и врага им, матерям зимних вьюг, запоздавшим отступить пред весной.

Впереди плотов сияло чистое, ясное небо, и солнце, еще холодное по-утреннему, но яркое по-весеннему, важно и красиво всходило всё выше в голубую пустыню неба из пурпурно-золотых волн реки.

Справа от плотов был виден коричневый горный берег в зеленой бахrome леса, слева — бледно-изумрудный ковер лугов блестел брильянтами росы.

В воздухе поплыл сочный запах земли, только что рожденной травы и смолистый аромат хвои.

Силан Петров посмотрел на задние весла.

Сергей и Митрий точно приросли к ним. Но еще трудно было, за далью, видеть выражение их лиц.

Он перевел глаза на Марью.

Ей было холодно. Стоя у весла, она сжалась в комок и стала совсем круглой. Вся облитая солнцем, она смотрела вперед задумчивыми глазами, и на ее губах играла та загадочная и чарующая улыбка, которая и некрасивую женщину делает обаятельной и желанной.

— Поглядывай в оба, ребятушки-и! О-о!.. — во всю мочь громыхнул Силан Петров, чувствуя мощный прилив бодрости в своей широкой груди.

И от его крика всё кругом как бы колыхнулось. Долго по горному берегу звучало эхо.

## ДЕЛО С ЗАСТЕЖКАМИ

...Нас было трое приятелей — Семка Каргуза, я и Мишка, бородатый гигант с большими синими глазами, вечно ласково улыбавшимся всему и вечно опухшими от пьянства. Мы обитали в поле, за городом, в старом полуразрушенном здании, почему-то называвшемся «стеклянным заводом», — может быть, потому, что в его окнах не было ни одного целого стекла. Мы брали разные работы: чистили дворы, рыли канавы, погребов, помойные ямы, разбирали старые здания и заборы и однажды даже попробовали построить курятник. Но это нам не удалось — Семка, всегда относившийся педантически честно к взятым на себя обязанностям, усомнился в нашем знакомстве с архитектурой курятников и однажды в полдень, когда мы отдыхали, взял да и снес в кабаке выданные нам гвозди, две новые доски и топор работодателя. За это нас прогнали с работы; но так как взять с нас было нечего — к нам не предъявили никаких претензий. Мы перебивались «с хлеба на воду», и все трое ощущали вполне естественное и законное в таком положении недовольство нашей судьбой.

Иногда оно принимало острую форму, вызывавшую в нас враждебное чувство ко всему окружающему и увлекавшее на подвиги довольно буйственные и предусмотренные «Уложением о наказаниях, налагаемых мировыми судьями»; но вообще мы были меланхолично тупы, озабочены приисканием заработка и крайне слабо реагировали на все те впечатления бытия, от которых нельзя было чем-либо поживиться.

Мы все трое встретились в ночлежном доме недели за две до факта, о котором я хочу рассказать, считая его интересным.

Через два-три дня мы были уже друзьями, ходили всюду вместе, поверяли друг другу свои намерения и желания, делили поровну всё, что перепадало кому-либо одному из нас, и вообще заключили между собой безмолвный оборонительный и наступательный союз против жизни, обращавшейся с нами крайне враждебно.

Мы весьма усердно отыскивали в течение дня возможность что ни то разобрать, распилить, выкопать, перетаскать, и если таковая возможность представлялась, то сначала довольно ревностно принимались за работу.

Но потому, должно быть, что в душе каждый из нас считал себя предназначенным для выполнения более высших функций, чем, например, копанье помойных ям или чистка их, — что еще хуже, прибавлю для непосвященных в это дело, — часа через два работы нам она переставала нравиться. Потом Семка начинал сомневаться в ее надобности для жизни.

— Копают яму... А для чего? Для помоев. А просто бы так лить на двор? Нельзя, вишь. Пахнуть, дескать, будет. Ишь ты! Помои будут пахнуть! Скажут тоже у безделья-то. Выброси, например, огурец соленый — чем он будет пахнуть, коли он маленький? Полежит день — и нет его... сгнил. Это вот ежели человека мертвого выбросить на солнце, он, действительно, попахнет, потому — гадина крупная.

Такие Семкины сентенции сильно охлаждали наш трудовой пыл... И это было довольно выгодно для нас, если работа была взята поденно, но при сдельной работе всегда выходило так, что плата за нее забиралась и проедалась нами ранее, чем работа была доведена до конца. Тогда мы шли к хозяину просить «прибавки»; он же в большинстве случаев гнал нас вон и грозил с помощью полиции заставить нас докончить труд, уже оплаченный им. Мы возражали, что голодные мы не можем работать, и более или менее возбужденно настаивали на прибавке, чего в большинстве случаев и достигали.

Конечно, это было непорядочно, но, право же, это было очень выгодно, и мы — ни при чем, если в жизни устроено так неловко, что порядочность поступка всегда почти стоит против выгоды его.

Пререкания с работодателями всегда брал на себя Семка и, поистине, артистически ловко вел их, излагая доказательства своей правоты тоном человека, измученного работой и изнывающего под тяжестью ее...

А Мишка смотрел, молчал и хлопал своими голубыми глазами, то и дело улыбаясь доброй, умиротворяющей улыбкой, как бы пытаясь сказать что-то и не находя в себе решимости. Он говорил вообще очень мало и только в пьяном виде бывал способен сказать нечто вроде спича.

— Братцы мои! — восклицал он тогда, улыбаясь, и при этом его губы странно вздрагивали, в горле першило, и он несколько времени после начала речи кашлял, прижимая горло рукой...

— Н-ну? — нетерпеливо поощрял его Семка.

— Братцы вы мои! Живем мы, как собаки... И даже не в пример хуже... А за что? Неизвестно. Но, надо полагать, по воле господ бога. Всё делается по его воле... а, братцы? Ну, вот... Значит, мы достойны собачьего положения, потому что люди мы плохие. Плохие мы люди, а? Ну, вот... Я и говорю теперь: так нам, псам, и надо. Верно я говорю? Выходит — это нам по делам нашим. Значит, должны мы терпеть нашу судьбу... а? Верно?

— Дурак! — равнодушно отвечал Семка на тревожные и пытливые вопросы товарища.

А тот виновато ежился, робко улыбался и молчал, моргая слипавшимися от опьянения глазами.

Однажды нам «пофартило».

Мы, ожидая спроса на наши руки, толкались по базару и наткнулись на маленькую, сухую старушку с лицом сморщенным и строгим. Голова у нее тряслась и на совином носе попрыгивали большие очки в тяжелой серебряной оправе; она их постоянно поправляла, сверкая маленькими, сухо блестящими глазками.

— Вы что — свободны? Работы ищете? — спросила она нас, когда мы все трое с вожделием оставились на нее.

— Хорошо, — сказала она, получив от Семки почтительный и утвердительный ответ. — Вот мне надо разломать старую баню и вычистить колодец... Сколько бы вы взяли за это?

— Надо посмотреть, барыня, какая такая будет у них, у баньки вашей, величина,— вежливо и резонно сказал Семка.— И опять же колодец... Разные они бывают. Иногда очень глубокие...

Нас пригласили посмотреть, и через час мы, уже вооруженные топорами и дреколием, лихо раскачивали стропила бани, взявшись разрушить ее и вычистить колодец за пять рублей. Баня помещалась в углу старого запущенного сада. Невдалеке от нее в кустах вишни стояла беседка, и с потолка бани мы видели, что старушка сидит в беседке на скамье и, держа на коленях большую развернутую книгу, внимательно читает ее... Иногда она бросала в нашу сторону внимательный и острый взгляд, книга на ее коленях шевелилась, и на солнце блестели ее массивные, очевидно, серебряные застежки...

Нет работы спорее, чем работа разрушения...

Мы усердно возились в клубах сухой и едкой пыли, поминутно чихая, кашляя, сморкаясь и протирая глаза; баня трещала и рассыпалась, старая, как ее хозяйка...

— Ну-ка, наляжь, братцы, дружно-о! — командовал Семка, и венец за венцом, кряхтя, падал на землю.

— Какая бы это у нее книга? Толстенная такая,— задумчиво спросил Мишка, опираясь на стяг и отирая ладонью пот с лица. Мгновенно превратившись в мулата, он поплевал на руки, размахнулся стягом, желая всадить его в щель между бревнами, всадил и добавил также задумчиво: — Ежели Евангилье — больно толсто будто...

— А тебе что? — полюбопытствовал Семка.

— Мне-то? Ничего... Люблю я послушать книгу... священную ежели... У нас в деревне был солдат Африкан, так тот, бывало, как начнет псалтырь честь... ровно барабан бьет... Ловко читал!

— Ну, так что ж? — снова спросил Семка, свертывая папироску...

— Ничего... Хорошо больно... Хоть оно непонятно... а все-таки слово этакое... на улице ты его не услышишь... Непонятно оно, а чувствуешь, что это слово для души.

— Непонятно — ты говоришь... а все-таки видно, что глуп ты, как пень лесной... — передразнил Семка товарища.

— Известно... ты всегда ругаешься!.. — вздохнул тот.

— А с дураками как говорить? Разве они могут что понимать? Валяй-ка вот эту гнилушину... о-о!

Баня рассыпалась, окружаясь обломками и утопая в тучах пыли, от которой листья ближайших деревьев уже посерели. Июльское солнце не щадило наших спин и плеч, распаривая их...

— А книга-то в серебре, — снова заговорил Мишка.

Семка поднял голову и пристально посмотрел в сторону беседки.

— Похоже, — кратко изрек он.

— Значит, Евангилье...

— Ну, и Евангилье... Так что?

— Ничего...

— Этого добра у меня полны карманы. А ты бы, коли священное писание любишь, пошел бы да и сказал ей: почитайте, мол, мне, бабушка. Нам, мол, этого взять неоткуда... В церкви мы, по неприличности и грязноте нашей, не ходим... а душа, мол, у нас тоже... как следует... на своем месте... Подь-ка, ступай!

— А и впрямь... пойду?

— И пойдешь...

Мишка бросил стяг, одернул рубаху, размазал ее рукавом пыль по роже и спрыгнул с бани вниз.

— Турнет она тебя, лешмана... — проворчал Семка, скептически улыбаясь, но с крайним любопытством провожая фигуру товарища, пробиравшегося среди лопухов к беседке. Он, высокий, согнувшийся, с обнаженными грязными руками, грузно раскачиваясь на ходу и задевая за кусты, тяжело двигался вперед и улыбался смущенно и кротко. Старушка подняла голову навстречу подходившему босяку и спокойно мерила его глазами.

На стеклах ее очков и на их серебряной оправе играли лучи солнца.

Она не «турнула» его, вопреки предположению Семки. Нам не слышно было за шумом листвы, о чем говорил

Мишка с хозяйкой; но вот мы видим, что он грузно опускается на землю к ногам старухи и так, что его нос почти касается раскрытой книги. Его лицо степенно и спокойно; он — мы видим — дует в свою бороду, стараясь согнать с нее пыль, возится и наконец усаживается в неуклюжей позе, вытянув шею вперед и выкидающе рассматривая сухие маленькие руки старушки, методично перевортывающие листы книги...

— Ишь ты... лохматый пес!.. Отдых себе сделал... Айда — и мы? Чего так-то? Он там будет проклаждаться, а мы — ломи за него. Айда?

Через две-три минуты мы с Семкой тоже сидели на земле по бокам нашего товарища. Старушка ни слова не сказала встречу нам, она только посмотрела на нас пристально и снова начала перекидывать листы книги, ища в ней чего-то... Мы сидели в пышном зеленом кольце свежей пахучей листвы, над нами было раскинуто ласковое и мягкое безоблачное небо. Иногда пролетал ветерок, листья начинали шелестеть тем таинственным звуком, который всегда так смягчает душу, родит в ней тихое, умиротворяющее чувство и заставляет задумываться о чем-то неясном, но близком человеку, очищая его от внутренней грязи или, по меньшей мере, заставляя временно забывать о ней и дышать легко и ново...

— «Павел, раб Иисуса Христа...» — раздался голос старушки. Он старчески дребезжал и прерывался, но был полон благочестия и суровой важности. При первых звуках его Мишка истово перекрестился, Семка заерзал по земле, выскивая более удобную позу. Старушка окинула его глазами, не переставая читать.

— «Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утешаться с вами верою общеою, вашею и моею».

Семка, как истинный язычник, громко зевнул, его товарищ укоризненно вскинул на него синими глазами и низко опустил свою лохматую голову, всю в пыли...

Старушка, не переставая читать, тоже строго взглянула на Семку, и это его смутило. Он повел носом, скосил глаза и — должно быть, желая изгладить впечатление своего зевка — глубоко и благочестиво вздохнул.

Несколько минут прошли спокойно. Вразумительное и монотонное чтение действовало успокоительно.

— «Ибо открывается гнев божий с неба на всякое нечестие и...»

— Что тебе нужно? — вдруг крикнула чтица на Семку.

— А... а ничего! Вы извольте читать — я слушаю! — смиренно объяснил он.

— Зачем ты трогаешь застёжки своей грязной ручищей? — сердилась старушка.

— Любопытно... потому — работа очень уж тонкая. А я это понимаю — слесарное дело мне известно... Вот я и пощупал.

— Слушай! — сухо приказала старушка. — Скажи мне, о чем я тебе читала?

— Это — извольте. Я ведь понимаю...

— Ну, говори...

— Проповедь... стало быть, поучение насчет веры, а также и нечестия... Очень просто и... всё верно! Так за душу и щиплет!

Старушка печально потрясла головой и оглядела всех нас с укором.

— Погибшие... Камни вы... Ступайте работать!

— Она тово... рассердилась будто бы? — виновато улыбаясь, заявил Мишка.

А Семка почесался, зевнул и, посмотрев вслед хозяйке, не оборачиваясь удалявшейся по узкой дорожке сада, раздумчиво произнес:

— А застёжки-то у книжицы серебряные...

И он улыбнулся во всю рожу, как бы предвкушая что-то.

Переночевав в саду около развалин бани, уже совершенно разрушенной нами за день, к полудню другого дня мы вычистили колодец, вымочились в воде, выпачкались в грязи и, в ожидании расчета, сидели на дворе у крыльца, разговаривая друг с другом и рисуя себе сытный обед и ужин в близком будущем; заглядывать же в более отдаленное — никто из нас не имел охоты...

— Ну, какого чёрта старая ведьма не идет еще, — нетерпеливо, но вполголоса возмущался Семка. — Подохла, что ли?

— Эк он ругается! — укоризненно покачал головой Мишка. — И чего, например, ругается? Старушка — настоящая, божья. А он ее ругает. Этаким характер у человека...

— Рассудил... — усмехнулся его товарищ. — Пугало... огородное...

Приятная беседа друзей была прервана появлением хозяйки. Она подошла к нам и, протягивая руку с деньгами, презрительно сказала:

— Получите и... убирайтесь. Хотела я вам отдать баню распилить на дрова, да вы не стоите этого.

Не удостоенные чести распилить баню, в чем, впрочем, мы и не нуждались теперь, мы молча взяли деньги и пошли.

— Ах ты, старая кикимора! — начал Семка, чуть только мы вышли за ворота. — На-ко-ся! Не стоим! Жаба дохлая! Ну-ка, вот скрипи теперь над своей книгой...

Сунув руку в карман, он выдернул из него две блестящие металлические штучки и, торжествуя, показал их нам.

Мишка остановился, любопытно вытягивая голову вперед и вверх к поднятой руке Семки.

— Застежки отломал? — спросил он удивленно...

— Они самые... Серебряные!.. Кому не надо — рубль даст.

— Ах ты! Когда это ты? Спрячь... от греха...

— И спрячу...

Мы молча пошли дальше по улице.

— Ловко... — задумчиво говорил Мишка сам себе. — Взял да и отломил... Н-да... А книга-то хорошая... Старуха... обидится, чай, на нас...

— Нет... что ты! Вот она нас позовет назад да на чай даст... — трунил Семка.

— А сколько ты за них хошь?

— Последняя цена — девять гривен. Ни гроша не уступлю... себе дороже... Видишь — ноготь сломал!

— Продай мне... — робко попросил Мишка.

— Тебе? Ты что — запонки хочешь завести себе?.. Купи, ха-арошие запонки выйдут... как раз к твоей харе.

— Нет, право, продай! — и Мишка понизил тон просьбы...

— Купи, говорю... Сколько дашь?

— Бери... сколько там есть на мою долю?

— Рубль двадцать...

— А тебе сколь за них?..

— Рубль!

— Чай, уступи... для друга!..

— Дура нетрепаная! На кой те их дьявол?

— Да уж ты продавай знай...

Наконец торг был заключен, и застейки перешли ва девяносто копеек в руки Мишки.

Он остановился и стал вертеть их в руках, наклонив кудлястую голову и наморщив брови и пристально рассматривая два кусочка серебра.

— Нацепи их на нос себе... — посоветовал ему Семка.

— Зачем? — серьезно возразил Мишка. — Не надо. Я их старушке стащу. Вот, мол, мы, старушка, нечаянно захватили эти штуковины, так ты их... опять пристрой к месту... к книге этой самой... Только вот ты их с мясом выдрал... это как теперь?

— Да ты, чёрт, взаправду понесешь? — разинул рот Семка.

— А как?.. Видишь ты, такая книга... нужно, чтоб она в полной целости была... ломать от нее куски разные не годится... И старушка тоже... обидится... А ей умирать надо... Вот я и того... Вы меня, братцы, подождите с минутку... а я побегу назад...

И раньше, чем мы успели удержать его, он крупными шагами исчез за поворотом улицы...

— Ну и мокрица-человек! Жиделяга грязная! — возмутился Семка, поняв суть факта и его возможные последствия.

И, отчаянно ругаясь через два слова в третье, он начал убеждать меня:

— Айда, скорей! Провалит он нас... Теперь сидит, чай, поди, руки у него назад... А старая карга уж и за будочником послала!.. Вот те и водись с таким пакостником! Да он ни за сизо перышко в тюрьму тебя вопрет! Нет, каков мерзавец-человек?! Какая, подлой души, тварь с товарищем так поступить может?! Ах ты, господи! Ну и люди стали! Айда, чёрт, чего ты растяпил-

ся! Ждешь? Жди, чёрт вас всех, мошенников, возьми! Тьфу, анафемы! Не идешь? Ну так...

Посулив мне нечто невероятно скверное, Семка ожесточенно ткнул меня кулаком в бок и быстро пошел прочь...

Мне хотелось знать, что делает Мишка с нашей бывшей хозяйкой, и я тихонько отправился к ее дому. Мне не думалось, что я подвергаюсь какой-либо опасности или неприятности.

И я не ошибся.

Подойдя к дому и приложившись глазом к щели в заборе, я увидел и услышал только следующее: старуха сидела на ступеньках крыльца, держала в руках «выдранные с мясом» застёжки своей библии и через очки пытливо и строго смотрела в лицо Мишки, стоявшего ко мне задом...

Несмотря на строгий и сухой блеск ее острых глаз, по углам губ у нее образовалась мягкая складка кожи; видно было, что старушка хочет скрыть добрую улыбку — улыбку прощения.

Из-за спины старухи смотрели какие-то три рожи: две женские, одна красная и повязанная пестрым платком, другая простоволосая, с бельмом на левом глазу, а из-за ее плеч высовывалась физиономия мужчины, клинообразная, в седых бачках и с вихром на лбу... Она то и дело странно подмаргивала обоими глазами, как бы говоря Мишке:

«Утекай, брат, скорей!»

Мишка мямлил, пытаюсь объясниться:

— ...Такая редкостная книга. Вы, говорит, все — скоты и псы... собаки. Я и думаю... Господи — верно! Так надо говорить по правде... сволочи мы и окаянные люди... подлецы! И опять же, думаю: барыня — старушка, может, у ней и утеха одна, что вот книга — да и всё тут... Теперь застёжки... много ли за них дадут? А ежели при книге, то они — вещь! Я и помыслил... дай-ка, мол, я обрадую старушку божию, отнесу ей вещь назад... К тому же мы, слава те господи, заработали малу толику на пропитание. Счастливо оставаться! Я уж пойду.

— Погоди! — остановила его старуха. — Понял ты, что я вчера читала?..

— Я-то? Где мне понять! Слышу — это так... да и то — как слышу? Разве у нас уши для слова божия? Нам оно непонятно... Прощевайте...

— Та-ак! — протянула старуха. — Нет, ты погоди...

Мишка тоскливо вздохнул на весь двор и по-медвежьи затоптался на месте. Его уже, очевидно, тяготило это объяснение...

— А хочешь ты, чтоб я еще почитала тебе?

— Мм... товарищи ждут...

— Ты плюнь на них... Ты хороший малый... брось их.

— Хорошо... — тихо согласился Мишка.

— Бросишь? Да?

— Брошу...

— Ну, вот... умница!.. Совсем ты дитя... а борода вон какая... до пояса почти... Женат ты?..

— Вдовый... померла жена-то...

— А зачем ты пьешь? Ведь ты пьяница?

— Пьяница... пью.

— Зачем?

— Пью-то? По глупости пью. Глуп, ну и пью. Конечно, ежели бы человеку ум... да рази бы он сам себя портил? — уныло говорил Мишка.

— Верно рассудил... Ну вот, ты и копи ум... накопи да и поправься... ходи в церковь... слушай божие слово... в нем вся мудрость.

— Оно, конечно... — почти простонал Мишка.

— А я еще почитаю тебе... хочешь?..

— Извольте...

Старуха достала откуда-то из-за себя библию, порылась в ней, и двор огласился ее дрожащим голосом:

— «Итак, неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, делаешь то же!»

Мишка тряхнул головой и почесал себе левое плечо.

— «...Неужели думаешь ты, человек, что избежишь суда божия?»

— Барыня! — плачевно заговорил Мишка, — отпустите меня для бога... Я вдругорядь лучше приду по-

слушаю... а теперь больно мне есть хочется... так те вот и пучит живот-от... С вечера мы не евши...

Барыня сильно хлопнула книгой.

— Ступай! Иди! — отрывисто и резко прозвучало на дворе...

— Покорнейше благодарим!..— И он чуть не бегом направился к воротам...

— Нераскаянные души... Звериные сердца,— шипело по двору вслед ему...

Через полчаса мы с ним сидели в трактире и пили чай с калачом.

— Как буравом она меня сверлила...— говорил Мишка, ласково улыбаясь мне своими милыми глазами.— Стою я и думаю... Ах ты, господи! И зачем только пошел я! На муку пошел... Где бы ей взять у меня эти застешки, да и отпустить меня,— она разговор затеяла. Экий народ-чудак! С ними хочешь по совести поступать, а они свое гнут... Я по простоте души говорю ей: вот те, барыня, твои застешки, не жалуйся на меня... а она говорит: нет, погоди, ты Расскажи, зачем ты их мне принес? И пошла жилы из меня тянуть... Я — даже взопрел от ее разговору... право, ей-богу.

И он всё улыбался своей бесконечно кроткой улыбкой...

Семка, надутый, взъерошенный и угрюмый, серьезно сказал ему:

— Умри ты лучше, пень милый! А то завтра тебя с такими твоими выкрутасами мухи али тараканы съедят...

— Ну уж! Ты скажешь слово. Дава-ко выпьемте по стакашку... за окончание дела!

И мы дружно выпили по стакашку за окончание этого курьезного дела.

## ХАН И ЕГО СЫН

«Был в Крыму хан Мосолайма эль Асваб, и был у него сын Толайк Алгалла...»

Прислонясь спиной к ярко-коричневому стволу арбутуса, слепой нищий, татарин, начал этими словами одну из старых легенд полуострова, богатого воспоминаниями, а вокруг рассказчика, на камнях — обломках разрушенного временем ханского дворца — сидела группа татар в ярких халатах, в тубетейках, шитых золотом. Вечер был, солнце тихо опускалось в море; его красные лучи пронизывали темную массу зелени вокруг развалин, яркими пятнами ложились на камни, поросшие мохом, опутанные цепкой зеленью плюща. Ветер шумел в купе старых чинар, листья их так шелестели, точно в воздухе струились невидимые глазом ручьи воды.

Голос слепого нищего был слаб и дрожал, а каменное лицо его не отражало в своих морщинах ничего, кроме покоя; заученные слова лились одно за другим, и пред слушателями вставала картина прошлых, богатых силой чувства, дней.

«Хан был стар, — говорил слепой, — но женщин в гареме было много у него. И они любили старика, потому что в нем было еще довольно силы и огня и ласки его нежили и жгли, а женщины всегда будут любить того, кто умеет сильно ласкать, хотя бы и был он сед, хотя бы и в морщинах было лицо его, — в силе красота, а не в нежной коже и румянце щек.

«Хана все любили, а он любил одну казачку-полонянку из днепровских степей и всегда ласкал ее охотнее, чем других женщин гарема, где было триста жен из разных земель, и все они красивы, как весенние цветы,

и всем им жилось хорошо. Много вкусных и сладких яств велел готовить для них хан и позволял им всегда, когда они захотят, танцевать, играть...

«А казачку он часто звал к себе в башню, из которой видно было море, там для казачки он имел всё, что нужно женщине, чтобы ей весело жилось: сладкую пищу, и разные ткани, и золото, и камни всех цветов, музыку, и редких птиц из далеких стран, и огненные ласки влюбленного. В этой башне он забавлялся с ней целые дни, отдыхая от трудов своей жизни и зная, что сын Алгалла не уронит славы ханства, рыская волком по русским степям и всегда возвращаясь оттуда с богатой добычей, с новыми женщинами, с новой славой, оставляя там, зади себя, ужас и пепел, трупы и кровь.

«Раз возвратился он, Алгалла, с набега на русских, и было устроено много праздников в честь его, все мурзы острова собрались на них, были игры и пир, стреляли из луков в глаза пленников, пробуя силу руки, и снова пили, славя храбрость Алгаллы, грозы врагов, опоры ханства. А старый хан был рад славе сына. Хорошо было старику знать, что, когда он умрет,— ханство будет в крепких руках.

«Хорошо было ему это, и вот он, желая показать сыну силу любви своей, сказал ему при всех мурзах и беках,— тут, на пиру, с чашей в руке, сказал:

«— Добрый ты сын, Алгалла! Слава аллаху, и да будет прославлено имя пророка его!

«И все прославили имя пророка хором могучих голосов. Тогда хан сказал:

«— Велик аллах! Еще при жизни моей он воскресил мою юность в храбром сыне моем, и вот вижу я старыми глазами, что, когда скроется от них солнце — и когда черви источат мне сердце,— жив буду я в сыне моем! Велик аллах и Магомет, пророк его! Хороший сын у меня есть, тверда его рука и ясен ум... Что хочешь ты взять из рук отца твоего, Алгалла? Скажи, и я дам тебе всё по твоему желанию...

«И не замер еще голос хана-старика, как поднялся Толайк Алгалла и сказал, сверкнув глазами, черными, как море ночью, и горящими, как очи горного орла:

«— Дай мне русскую полонянку, повелитель-отец.

«Помолчал хан — мало помолчал, столько времени, сколько надо, чтобы подавить дрожь в сердце, — и, помолчав, твердо и громко сказал:

«Бери! Кончим пир — ты возьмешь ее.

«Вспыхнул удалой Алгалла, великой радостью сверкнули орлиные очи, встал он во весь рост и сказал отцу-хану:

«— Знаю я, что ты мне даришь, повелитель-отец! Знаю это я... Раб я твой — твой сын. Возьми мою кровь по капле в час — двадцатью смертями я умру за тебя!

«— Не надо мне ничего! — сказал хан, и поникла на грудь его седая голова, увенчанная славой долгих лет и многих подвигов.

«Скоро они кончили пир, и оба молча, рядом друг с другом пошли из дворца в гарем.

«Ночь была темная, ни звезд, ни луны не было видно из-за туч, густым ковром покрывших небо.

«Долго шли во тьме отец и сын, и вот заговорил хан эль Асваб:

«— Гаснет день ото дня жизнь моя — и всё слабее бьется мое старое сердце, всё меньше огня в груди. Светом и теплом моей жизни были знойные ласки казачки... Скажи мне, Толайк, скажи, неужели она так нужна тебе? Возьми сто, возьми всех моих жен за одну ее!..

«Молчал Толайк Алгалла, вздыхая.

«— Сколько дней мне осталось? Мало дней у меня на земле... Последняя радость жизни моей — эта русская девушка. Она знает меня, она любит меня; кто теперь, когда ее не будет, полюбит меня, старика, — кто? Ни одна из всех, ни одна, Алгалла!..

«Молчал Алгалла...

«— Как я буду жить, зная, что ты обнимаешь ее, что тебя целует она? Перед женщиной нет ни отца, ни сына, Толайк! Перед женщиной все мы — мужчины, мой сын... Больно будет мне доживать мои дни... Пусть бы все старые раны открылись на теле моем, Толайк, и точили бы кровь мою, пусть бы я лучше не пережил этой ночи, мой сын!

«Молчал его сын... Остановились они у двери гарема и, опустив на груди головы, стояли долго перед ней.

Тьма была кругом, и облака бежали в небе, а ветер, потрясая деревья, точно пел, шумел деревьями...

«— Давно я люблю ее, отец... — тихо сказал Алгалла.

«— Знаю... И знаю, что она не любит тебя... — сказал хан.

«— Рвется сердце мое, когда я думаю про нее.

«— А мое старое сердце чем полно теперь?

«И снова замолчали. Вздохнул Алгалла.

«— Видно, правду сказал мне мудрец-мулла — мужчине женщина всегда вредна: когда она хороша, она возбуждает у других желание обладать ею, а мужа своего предает мукам ревности; когда она дурна, муж ее, завидуя другим, страдает от зависти; а если она не хороша и не дурна, — мужчина делает ее прекрасной и, поняв, что он ошибся, вновь страдает через нее, эту женщину...

«— Мудрость не лекарство от боли сердца, — сказал хан.

«— Пожалеем друг друга, отец...

«Поднял голову хан и грустно поглядел на сына.

«— Убьем ее, — сказал Толайк.

«— Ты любишь себя больше, чем ее и меня, — подумав, тихо молвил хан.

«— Ведь и ты тоже.

«И опять они помолчали.

«— Да! И я тоже, — грустно сказал хан. От горя он сделался ребенком.

«— Что же — убьем?

«— Не могу я отдать ее тебе, не могу, — сказал хан.

«— И я не могу больше терпеть — вырви у меня сердце или дай мне ее...

«Хан молчал.

«— Бросим ее в море с горы.

«— Бросим ее в море с горы, — повторил хан слова сына, как эхо сынова голоса.

«И тогда они вошли в гарем, где она уже спала на полу, на пышном ковре. Остановились они пред ней, смотрели; долго смотрели на нее. У старого хана слезы текли из глаз на его серебряную бороду и сверкали в ней, как жемчужины, а сын его стоял, сверкая очами,

и, скрежетом зубов своих сдерживая страсть, разбудил казачку. Проснулась она — и на лице ее, нежном и розовом, как заря, расцвели ее глаза, как васильки. Не заметила она Алгаллу и протянула алые губы хану.

«— Поцелуй меня, орел!

«— Собирайся... пойдешь с нами, — тихо сказал хан.

«Тут она увидала Алгаллу и слезы на очах своего орла и — умная она была — поняла всё.

«— Иду, — сказала она. — Иду. Ни тому, ни другому — так решили? Так и должны решать сильные сердцем. Иду.

«И молча они, все трое, пошли к морю. Узкими тропинками шли, ветер шумел, гулко шумел...

«Нежная она была девушка, скоро устала, но и горда была — не хотела сказать им этого.

«И когда сын хана заметил, что она отстаёт от них, — сказал он ей:

«— Боишься?

«Она блеснула глазами на него и показала ему окровавленную ногу...

«— Дай понесу тебя! — сказал Алгалла, протягивая к ней руки.

«Но она обняла шею своего старого орла. Поднял хан ее на свои руки, как перо, и понес; она же, сидя на его руках, отклоняла ветви от его лица, боясь, что они попадут ему в глаз. Долго они шли, и вот уже слышен гул моря вдали. Тут Толайк, — он шел сзади их по тропинке, — сказал отцу:

«— Пусти меня вперед, а то я хочу ударить тебя кинжалом в шею.

«— Пройди, — аллах возместит тебе твоё желание или простит, — его воля, — я же, отец твой, прощаю тебе. Я знаю, что значит любить.

«И вот оно, море, пред ними, там, внизу, густое, черное и без берегов. Глухо поют его волны у самого низа скалы, и темно там, внизу, и холодно, и страшно.

«— Прощай! — сказал хан, целуя девушку.

«— Прощай! — сказал Алгалла и поклонился ей.

«Она заглянула туда, где пели волны, и отшатнулась назад, прижав руки к груди.

«— Бросьте меня, — сказала она им...

«Простер к ней руки Алгалла и застонал, а хан взял ее в руки свои, прижал к груди крепко, поцеловал и, подняв ее над своей головой,— бросил вниз со скалы.

«Там плескались и пели волны и было так шумно, что оба они не слышали, когда она долетела до воды. Ни крика не слышали, ничего. Хан опустил на камни и молча стал смотреть вниз, во тьму и даль, где море смешалось с облаками, откуда шумно плыли глухие всплески волн, и ветер пролетал, развевая седую бороду хана. Толайк стоял над ним, закрыв лицо руками,— камень, неподвижный и молчаливый. Время шло, по небу одно за другим плыли облака, гонимые ветром. Темны и тяжелы они были, как думы старого хана, лежавшего над морем на высокой скале.

«— Пойдем, отец,— сказал Толайк.

«— Подожди... — шепнул хан, точно слушая что-то.

«И опять прошло много времени, плескались волны внизу, а ветер налетал на скалу, шумя деревьями.

«— Пойдем, отец...

«— Подожди еще...

«Не один раз говорил Толайк Алгалла:

«— Пойдем, отец.

«Хан всё не шел от места, где потерял радость своих последних дней.

«Но — всё имеет конец! — встал он, могучий и гордый, встал, нахмурил брови и глухо сказал:

«— Идем...

«Пошли они, но скоро остановился хан.

«— А зачем я иду и куда, Толайк? — спросил он сына.— Зачем мне жить теперь, когда вся моя жизнь в ней была? Стар я, не полюбят уж меня больше, а если никто тебя не любит — неразумно жить на свете.

«— Слава и богатство есть у тебя, отец...

«— Дай мне один ее поцелуй и возьми всё это себе в награду. Это всё мертвое — одна любовь женщины жива. Нет такой любви — нет жизни у человека, нищ он, и жалки дни его. Прощай, мой сын, благословение аллаха над твоей головой да пребудет во все дни и ночи жизни твоей.

«И повернулся хан лицом к морю.

«— Отец,— сказал Толайк,— отец!..

«И не мог больше сказать ничего, так как ничего нельзя сказать человеку, которому улыбается смерть, ничего не скажешь ему такого, что возвратило бы в душу его любовь к жизни.

«— Пусти меня...

«— Аллах...

«— Он знает...

«Быстрыми шагами подошел хан к обрыву и кинулся вниз. Не остановил его сын, не успел. И опять ничего не было слышно — ни крика, ни шума падения хана. Только волны всё плескали там, да ветер гудел дикие песни.

«Долго смотрел вниз Толайк Алгалла и потом вслух сказал:

«— И мне такое же твердое сердце дай, о аллах!

«И потом он пошел во тьму ночи...

«...Так погиб хан Мосолайма эль Асваб, и стал в Крыму хан Толайк Алгалла...»

## ТОВАРИЩИ

### I

Горячее солнце июля ослепительно блесело над Смолкиной, обливая ее старые избы щедрым потоком ярких лучей. Особенно много солнца было на крыше старостиной избы, недавно перекрытой заново гладко выстроганным тесом, желтым и пахучим. Воскресенье, и почти все люди вышли на улицу, густо поросшую травой, усеянную кочками засохшей грязи. Перед старостиной избой собралась большая группа мужиков и бабы: иные сидели на завалине избы, иные прямо на земле, другие стояли; среди них гонялись друг за другом ребяташки, то и дело получая от взрослых сердитые окрики и щелчки.

Центром толпы служил высокий человек с большими, опущенными вниз усами. По его коричневому лицу, покрытому густой сивой щетиной и сетью глубоких морщин, по седым клоچьям волос, выбившимся из-под грязной соломенной шляпы, — этому человеку можно было дать лет пятьдесят. Он смотрел в землю, и ноздри его большого хрящеватого носа вздрагивали, а когда он поднимал голову, бросая взгляд на окна старостиной избы, видны были его глаза, большие, печальные, — они глубоко ввалились в орбиты, а густые брови кидали от себя тень на темные зрачки. Одет он был в коричневый рваный подрясник монастырского послушника, едва закрывавший ему колени и подпоясанный веревкой. За спиной у него котомка, в правой руке длинная палка с железным наконечником, левую он держал за пазухой. Окружавшие осматривали его подозрительно, насмешливо, с презрением и, наконец, с явной радостью, что им удалось поймать волка раньше, чем он успел нанести вред их стаду.

Он проходил через деревню и, подойдя к окну старосты, попросил напиться. Староста дал ему квасу и заговорил с ним. Но прохожий отвечал, против обыкновения странников, очень неохотно. Староста спросил у него документ, документа не оказалось. И прохожего задержали, решив отправить в волость. Староста выбрал в конвоиры ему сотского и теперь, в избе у себя, напутствовал его, оставив арестанта среди толпы, — она грубо потешалась над ним.

Но вот на крыльце избы явился подслеповатый старик с лисьим лицом и седой клинообразной бородкой. Он степенно опускал ноги в сапогах со ступени на ступень, и круглый его животик солидно колыхался под длинной ситцевой рубахой. А из-за его плеча высывалось бордатовое четырехугольное лицо сотского.

— Понял, Ефимушка? — спросил староста у сотского.

— Чего тут не понять? Всё понял. Обязан, значит, я проводить этого человека к становому и — больше никаких!

Проговорив свою речь отдельно и с комической важностью, сотский подмигнул публике.

— А бумага?

— А бумага — она за пазухой у меня живет.

— Ну то-то! — вразумительно сказал староста и добавил, крепко почесав себе бок:

— С богом, значит, айдате!

— Пошли! Шагаем, что ли, отче? — улыбнулся сотский арестанту.

— Вы бы хоть подводу дали, — глухо ответил тот на предложение сотского. Староста ухмыльнулся.

— Подво-оду? Ишь ты! Вашего брата, проходимца, много тут шныряет по полям, по деревням... лошадей про всех не хватит. Прошагаешь и пехтурой.

— Ничего, отец, идем! — ободряюще заговорил сотский. — Ты думаешь, далече нам? Дай бог, два десятка верст! Мы с тобой, отче, живо докатим. А там ты и отдохнешь...

— В холодной, — пояснил староста.

— Это ничего, — торопливо заявил сотский, — человеку, который ежели устал, и в тюрьме отдых. А по-

том — холодная-то — она прохладная, — после жаркого дня в ней куда хорошо!

Арестант сурово оглянул своего конвоира — тот улыбался весело и открыто.

— Ну-ка, айда, отец честной! Прощай, Василь Гаврилыч! Пошли!

— С господом, Ефимушка!.. Смотри в оба.

— А зри — в три! — подкинул сотскому какой-то молодой парень из толпы.

— Ну-ну! Малый я ребенок, али что?

И они пошли, держась близко к избам, чтобы идти по полосе тени. Человек в рясе шел впереди, развинченной, но спорой походкой привычного к ходьбе. Сотский, со здоровой палкой в руке, сзади него.

Ефимушка был мужичок низенького роста, коренастый, с широким добрым лицом в раме русой, свалывшейся в ключья бороды, начинавшейся от его серых ясных глаз. Он всегда почти улыбался чему-то, показывая желтые зубы и так наморщивая переносье, точно он хотел чихнуть. Одет он был в азым, заткнув его полы за пояс, чтоб они не путались в ногах, на голове у него торчал темно-зеленый картуз без козырька, напоминая арестантскую фуражку.

Шли они по узкой проселочной дороге; она вьюном вилась в волнистом море ржи, и тени путников ползли по золоту колосьев.

На горизонте синела грива леса, влево, бесконечно далеко вглубь, расстилались засеянные поля; среди них лежало темное пятно деревни, за ней опять поля, тонувшие в голубоватой мгле.

Справа, из-за купы ветел, вонзился в синее небо обитый жестью и еще не выкрашенный шпиль колокольни — он так ярко блестел на солнце, что на него было больно смотреть.

В небе звенели жаворонки, во ржи улыбались васильки, и было жарко — почти душно. Из-под ног путников взлетала пыль.

Ефимушка, отхаркнувшись, затянул фальцетом:

Ге-эх-да-и с чегой-то-о-о...

— Не хватаит голосу-то, дуй его горой! Н-да... а бывало, пел я... Вишенский учитель скажет: «Ну-ка, Ефимушка, заводи!» И зальемся мы с ним! Правильный парень был он...

— Кто он? — глухим басом спросил человек в рясе.

— А вишенский учитель...

— Вишенский — фамилия?

— Вишенки — это, брат, село. А то учитель Павел Михалыч. Первый сорт — человек был. Помер в третьем году...

— Молодой?

— Тридцати годов не было...

— С чего помер?

— С огорчения, надо полагать.

Собеседник Ефимушки искоса взглянул на него и усмехнулся...

— Дело, видишь ты, милый человек, такое вышло — учил он, учил годов семь кряду, и начал кашлять. Кашлял, кашлял да и затосковал... Ну, а с тоски, известно, начал пить водку. Отец Алексей не любил его, и как запил он, отец-от Алексей в город бумагу и спосылал — так, мол, и так — пьет учитель-то, это — соблазн. А из города в ответ тоже бумагу прислали и учительшу. Длинная такая, костлявая, нос большущий. Ну, Павел Михалыч видит — дело швах. Огорчился, дескать, учил я, учил... ах вы, черти! Отправился из училища прямо в больницу да через пять дён и отдал душу богу... Только и всего...

Некоторое время шли молча. Лес всё приближался к путникам с каждым шагом, вырастая на их глазах и из синего стаповаясь зеленым.

— Лесом пойдем? — спросил Ефимушкин спутник.

— Краюшек захватим, с полверсты этак. А что? А? Ишь ты! Гусь ты, отец честной, погляжу я на тебя!

И Ефимушка засмеялся, качая головой...

— Ты чего? — спросил арестант.

— Да так, ничего. Ах ты! Лесом, говорит, пойдем? Прост ты, милый человек, другой бы не спросил, который поумнее ежели. Тот бы прямо пришел в лес да и того...

— Чего?

— Ничего! Я, брат, тебя насквозь вижу. Эх ты, душа ты моя, тонка дудочка! Нет, ты эту думу — насчет лесу — брось! Али ты со мной сладись? Да я троих таких уберу, а на тебя на одну левую руку выйду...\* Понял?

— Понял! Дурак ты! — кратко и выразительно сказал арестант.

— Что? Угадал я тебя? — торжествовал Ефимушка.

— Чучело! Чего ты угадал? — криво усмехнулся арестант.

— Насчет лесу... Понимаю я! Дескать, я — это ты-то, — как придем в лес, тяпну там его — меня-то, значит, — тяпну да и зальюсь по полям да по лесам. Так ли?

— Глупый ты, — пожал плечами угаданный человек. — Ну, куда я пойду?

— Уж куда хочешь, — это твое дело...

— Да куда? — Ефимушкин спутник не то сердился, не то очень уж желал услышать от своего конвоира указание, куда именно он мог бы идти.

— Я те говорю, куда хочешь! — спокойно заявил Ефимушка.

— Некуда мне, брат, бежать, некуда! — тихо сказал его спутник.

— Н-ну! — недоверчиво произнес конвоир и даже махнул рукой. — Бежать всегда есть куда. Земля-то, она велика. Одному человеку на ней всегда место будет.

— Да тебе что? Хочется, что ли, чтоб я убежал? — полюбопытствовал арестант, усмехаясь.

— Ишь ты! Больно ты хорош! Разве это порядок? Ты убежишь, а вместо тебя кого в острог сажать будут? Меня посадят. Нет, я так это, для разговору...

— Блаженный ты... а впрочем, кажется, хороший мужик, — сказал, вздохнув, Ефимушкин спутник. Ефимушка не замедлил согласиться с ним.

— Это точно, называют меня блаженным некоторые люди... И что хороший я мужик — это тоже верно. Про-

---

\* «Выйти на одну руку» — значит драться с противником одной рукой, в то время как другая плотно привязана кушаком к туловищу бойца. Противник же действует обеими руками.

стой я, главная причина. Иные люди норовят всё с под-  
ходцем да с хитрецей, а мне — чего? Я человек один  
на свете. Хитровать будешь — умрешь, и правдой жить  
будешь — умрешь. Так я всё напрямки больше.

— Это хорошо! — равнодушно заметил спутник  
Ефимушки.

— А как же? Для че я стану кривить душой, коли я  
один, весь тут? Я, браток, свободный человек. Как же-  
лаю, так и живу, по своему закону прохожу жизнь...  
Н-да... А тебя как звать-то?

— Как? Ну... Иван Иванов...

— Так! Из духовных, что ли?

— Н-нет...

— Ну? А я думал — из духовных...

— Это по одежде, что ли?

— Вот, вот! Совсем ты вроде как бы беглый монах,  
а то расстриженный поп... А вот лицо у тебя неподхо-  
дящее, с лица ты вроде как бы солдат... Бог тебя знает,  
что ты за человек?

И Ефимушка окинул странника любопытным взгля-  
дом. Тот вздохнул, поправил шляпу на голове, вытер  
потный лоб и спросил сотского:

— Табак куришь?

— Ах ты, сделай милость! Конечно, курю!

Он вытащил из-за пазухи засаленный кисет и, на-  
клонив голову, но не останавливаясь, стал набивать та-  
бак в глиняную трубку.

— На-ко, закуривай!

Арестант остановился и, наклонясь к зажженной  
конвоиром спичке, втянул в себя щеки. Синий дымок  
поплыл в воздухе.

— Так из каких ты будешь-то? Мещанин, что ли?

— Дворянин, — кратко сказал арестант и сплюнул  
в сторону на колосья хлеба, уже подернутые золотым  
блеском.

— Э-э! Ловко! Как же это ты без пачпорта гуляешь?

— А так и гуляю.

— Ну-ну! Дела! Не свычна, чай, этакая волчья  
жизнь для твоего дворянства? Э-эх ты, горюн!

— Ну ладно, будет болтать-то, — сухо сказал го-  
рюн.

Но Ефимушка с возрастающим любопытством и участием оглядывал беспаспортного человека и, задумчиво качая головой, продолжал:

— А-яй! Как судьба с человеком-то играет, ежели подумать! Ведь оно, пожалуй, и верно, что ты из дворян, потому осанка у тебя великолепная. Давно ты живешь в таком образе?

Человек с великолепной осанкой сумрачно взглянул на Ефимушку и отмахнулся от него рукой, как от назойливой осы.

— Брось, говорю! Что ты пристал, как баба?

— А ты не сердись! — успокоительно проговорил Ефимушка. — Я по чистому сердцу говорю... сердце у меня доброе очень...

— Ну, и — твое счастье... А вот что язык у тебя без умолку мелет — это мое несчастье.

— Ну, ин ладно! Я коли и помолчу... можно и помолчать, ежели человек не хочет слушать твоего разговору. А сердисься ты все-таки без причины... Али моя вина, что тебе на бродяжьем положении пришлось жить?

Арестант остановился и так сжал зубы, что его скулы выдались двумя острыми углами, а седая щетина на них встала ершом. Он смерил Ефимушку с ног до головы загоревшимися злобой, прищуренными глазами.

Но раньше, чем Ефимушка заметил эту мимику, он снова начал мерять землю широкими шагами.

На лицо болтливое сотского лег отпечаток рассеянной задумчивости. Он посматривал вверх, откуда лились трели жаворонков, и подсвистывал им сквозь зубы, помахивая палкой в такт своих шагов.

Подходили к опушке леса. Он стоял неподвижной и темной стеной — ни звука не несло из него навстречу путникам. Солнце уже садилось, его косые лучи окрасили вершины деревьев в пурпур и золото. От деревьев веяло пахучей сыростью; сумрак и сосредоточенное молчание, наполнявшие лес, рождали жуткое чувство.

Когда лес стоит пред глазами темен и неподвижен, когда весь он погружен в таинственную тишину и каждое дерево точно чутко прислушивается к чему-то, —

тогда кажется, что весь лес полон чем-то живым и лишь временно притаившимся. И ждешь, что в следующий момент вдруг выйдет из него нечто громадное и непонятное человеческому уму, выйдет и заговорит могучим голосом о великих тайнах творчества природы...

## II

Подойдя к опушке леса, Ефимушка и его спутник решили отдохнуть и уселись на траву около широкого дубового пня. Арестант медленно стаял с плеч котомку и равнодушно спросил сотского:

— Хлеба хочешь?

— Дашь, так пожую,— ответил Ефимушка, улыбаясь.

Они молча стали жевать хлеб. Ефимушка ел медленно и всё вздыхал, поглядывая куда-то в поле, влево от себя, а его спутник, весь углубясь в процесс насыщения, ел споро и звучно чавкал, измеряя глазами краюху хлеба. Поле темнело, хлеба, потеряв свой золотистый блеск, стали розовато-желтыми; с юго-запада плыли лохматые тучки, от них на поле падали тени и ползли по колосьям к лесу. И от деревьев тоже ложились на землю тени, а от теней веяло на душу грустью.

— Слава тебе, господи! — возгласил Ефимушка, собрав с полы азяма крошки хлеба и слизав их с ладони языком. — Господь наплатил — никто не видал, а кто и видел, так не обидел! Друг! Посидим здесь часок? Успеем в холодную-то?

Друг кивнул головой.

— Ну, вот!.. Место больно хорошее, памятное мне место... Вон там, влево, господ Тучковых усадьба была...

— Где? — быстро спросил арестант, оборачиваясь туда, куда Ефимушка махнул рукой...

— А эвона — за тем мыском. Тут всё вокруг ихнее. Богатейшие господа были, но после воли свихнулись... Я тоже ихний был, — мы все тут бывшие ихние. Большая семья была... Полковник сам-то — Александр Никитыч Тучков. Дети были: четверо сыновей — куда все теперь подевались? словно ветром разнесло людей, как

листья по осени. Один только Иван Александрович цел, — вот я тебя к нему и веду, он у нас становым-то... Старый.

Арестант засмеялся. Смеялся он глухо, каким-то особенным внутренним смехом, — грудь и живот у него колыхались, но лицо оставалось неподвижным, только сквозь оскаленные зубы вырывались глухие, точно лающие звуки.

Ефимушка боязливо поежился и, подвинув свою палку ближе к руке, спросил у него:

— Чего это ты? Находит на тебя, что ли?..

— Ничего... это так! — сказал арестант отрывисто, но ласково. — Рассказывай знай...

— Н-да... Так вот, значит, какие дела, — были это господа Тучковы, и нету их... Которые померли, а которые пропали, так ни слуху ни духу о них и нету. Особенно один тут был... самый меньшей. Виктором звали... Витей. Товарищи мы с ним были... В ту пору было нам с ним лет по четырнадцати... Экий мальчишка был, помняи, господи, добром его душеньку! Ручей чистый! Так вот весь день и стремится, так это и журчит... Где-то он теперь? Жив или уж нет?

— Чем больно хорош был? — тихо спросил Ефимушка его спутник.

— Всем! — воскликнул Ефимушка. — Красотой, разумом, добрым сердцем... Ах ты, странный человек, душа ты моя, спела ягода! Посмотрел бы ты тогда на нас двоих... ай, ай, ай! В какие игры мы играли, какая развеселая жизнь была, — люли малина! Бывало, крикнет: «Ефимка! Идем на охоту!» Ружье у него было, — отец подарил в именины, — и мне, бывало, стащит ружье. И закатимся мы это в леса, да — дня на два, на три! Придем домой — ему проборка, мне порка; глядишь, на другой день снова: «Ефимка, — по грибы!» Птицы мы с ним погубили — тысячи! Грибов этих собирали — пуды! Бабочек, жуков он ловил, бывало, и в коробки их, на булавки насаживал... Занятно! Грамоте меня учил... «Ефимка, говорит, я тебя учить буду». — «Валяйте!» Ну и начал... «Говори, говорит, — а!» Я ору: «а-а!» Смехи! Сначала-то мне в шутку это дело было — на што она, грамота-то, крестьянину?.. Ну, оп меня уве-

щеваает: «На то, говорит, тебе, дураку, и воля дана, чтобы ты учился... Будешь, говорит, грамоте знать, — узнаешь, как жить надо и где правду искать...» Известно, малое дитя — переимчиво, наслушался, видно, у старших этаких речей и сам начал то же говорить... Пустое, конечно, всё... В сердце она, грамота-то, сердце и насчет правды укажет... Оно — глазастое... Так вот, учит он меня... так присосался к этому делу, —дохнуть мне не дает! Маяга! Я — молить! «Витя, говорю, мне грамота невагогу, не могу я ее одолеть...» Так он на меня ка-ак рявкнет! «Папиной нагайкой за-порю — учись!» Ах ты, сделай милость! Учусь... Раз сбежал с урока, прямо вскочил да и драла! Так он меня с ружьем искал весь день — застрелить хотел. После говорит мне: «Кабы, говорит, встретил я тебя в тот день — застрелил бы», говорит! Вот какой был резкий! Непреклонный — настоящий барин... Любил он меня, пламенная душа... Раз мне тятка спину вожжами расписал, а как он, Витя-то, увидел это, пришедши к нам в избу, — батюшки мои, — что вышло! Побледнел весь, затрясся, сжал кулаки и к тятеньке на полати лезет. «Это, говорит, ты как смел?» Тятка говорит — я-де отец! «Ага! Ну хорошо, отец, один я с тобой не слажу, а спина у тебя будет такая же, как у Ефимки». Заплакал после этих слов и убег... И что ж ты скажешь, отче? Исполнил ведь свое слово. Дворню, видно, подговорил, что ли, только однажды тятенька пришел домой, крихтит; стал было рубашку снимать, а она присохла к спине-то у него... Рассердился на меня отец в ту пору: «Из-за тебя, говорит, терплю, барский ты прихвостень». И здоровенную задал мне теребачку... Ну, а насчет барского прихвостня это он напрасно, — я таким не был...

— Верно, Ефим, не был! — утвердительно сказал арестант и весь вадрогнул. — Это видно и сейчас, не мог ты быть барским прихвостнем, — как-то торопливо добавил он.

— То-то и оно! — воскликнул Ефимушка. — Просто я любил его, Витю-то... Такой это талантный ребенок был, все его любили — не один я... Бывало, речи он говорит разные... не помню я их, тридцать годов, поди,

прошло с той поры... Ах, господи! Где-то он теперь? Чай, коли жив, высокое место занимает или... в самом омуте кипит... Жизнь людская растаковская! Кипит она, кипит, а всё ничего путного не сварится... А люди пропадают ... жалко людей, до смерти жалко!

Ефимушка, тяжело вздохнув, поник головой на грудь... С минуту длилось молчание.

— А меня тебе жалко? — весело спросил арестант, и всё лицо у него было освещено хорошей, доброй улыбкой...

— Да ведь, чудак-человек! — воскликнул Ефимушка, — как же тебя не жалеть? Что ты такое, ежели подумать? Коли ты бродишь, так, видно, нет у тебя ничего своего на земле-то, ни угла, ни щепочки... А может, еще и велик грех ты носишь с собой, — кто тебя знает? Горюн ты — одно слово...

— Так, — сказал арестант.

И они снова замолчали. Солнце уже село, и тени стали гуще. В воздухе пахло влажной землей, цветами и лесной плесенью... Долго сидели молча.

— А как тут ни хорошо — все-таки надо идти... Нам еще верст восемь осталось... Айда-ка, отче, подымайся!

— Посидим еще немного, — попросил отче.

— Да я ничего, я сам люблю ночью около леса быть... Только когда ж мы придем в волость-то? Заругают меня — поздно-де.

— Ничего, не заругают...

— Разве ты словечко замолвишь, — усмехнулся сотский.

— Могу.

— Ой ли?

— А что?

— Шутник ты! Он те, становой-то, задаст перцу!

— Дерется разве?

— Лют! И ловок — ахнет кулаком в ухо, а выходит всё равно как бы косою по ногам.

— Ну, мы ему сдачи дадим, — уверенно сказал арестант, дружески потрепав своего конвоира по плечу.

Это было фамильярно и не понравилось Ефимушке. Как-никак, а он все-таки начальство, и этот гусь не

должен забывать, что у Ефимушки за пазухой есть медная бляха! Ефимушка встал на ноги, взял в руки свою палку, вывесил бляху на самую середину груди и строго сказал:

— Вставай, идем!

— Не пойду! — сказал арестант.

Ефимушка смутился и, вытаращив глаза, с полминуты молчал, не понимая, с чего это арестант вдруг стал такой?

— Ну, не валандайся, идем! — мягче сказал он.

— Не пойду! — решительно повторил арестант.

— То есть как не пойдешь? — закричал Ефимушка в изумлении и гнев.

— Так. Хочу здесь ночевать с тобой... Ну-ка, разжигай костер...

— Я те дам ночевать! Я те такой костер на спине у тебя разожгу — любо-дорого! — грозил Ефимушка. Но в глубине души он был изумлен. Говорит человек — не пойду, — а сопротивления никакого не оказывает, в драку не лезет, лежит себе на земле и больше ничего. Как тут быть?

— Не ори, Ефим, — спокойно посоветовал арестант.

Ефимушка снова замолчал и, переминаясь с ноги на ногу над своим арестантом, смотрел на него большими глазами. И тот на него смотрел, смотрел и улыбался. Ефимушка тяжело соображал, — как же теперь нужно поступать?

И с чего этот бродяга, такой угрюмый и злой, вдруг разбаловался? А что, если навалиться на него, скрутить ему руки, дать раза два по шее да и всё? И самым строго начальническим тоном, какой только был в его распоряжении, Ефимушка сказал:

— Ну, ты, огарок, вот что, — покочевряжился, и будет! Вставай! А то я тебя свяжу, так тогда пойдешь, небойсь! Понял? Ну? Смотри — бить буду!

— Меня-то? — усмехнулся арестант.

— А ты что думаешь?

— Витю-то Тучкова ты, Ефим, бить будешь?

— Ах ты, — пострелит те горой, — изумленно воскликнул Ефимушка, — да что ты в самом деле? Что ты мне представленья-то представляешь? На-ко-ся!

— Ну, будет кричать, Ефимушка, пора тебе узнать меня, — спокойно улыбаясь, сказал арестант и встал на ноги, — здравствуй, что ли!

Ефимушка попятился назад от протянутой к нему руки и во все глаза смотрел в лицо своего арестанта. Потом губы у него затряслись и всё лицо сморщилось...

— Виктор Александрович... и впрямь, что ли, вы это? — шёпотом спросил он.

— Хочешь — документы покажу? А то, — всего лучше, — старину напомним... Ну-ка — помнишь, как ты в Раменском бору в волчью яму попал? А как я за гнездом полез на дерево и повис на сучке вниз головой? А как мы у старухи-молочницы Петровны сливки крали? И сказки она нам говорила?

Ефимушка грузно сел на землю и растерянно засмеялся.

— Поверил? — спросил его арестант и тоже сел рядом с ним, заглядывая ему в лицо и положив на плечо его свою руку. Ефимушка молчал. Вокруг них стало совсем темно. В лесу родился смутный шум и шёпот. Далеко, где-то в чаще, застонала ночная птица.

— Что же, Ефим, — не рад встрече? Или рад? Эх ты... святая душа! Как был ты ребенком, так и остался... Ефим? Да говори, что ли, чудовище милое!

Ефимушка начал усиленно сморкаться в полу азяма...

— Ну, брат! Ай, ай, ай! — укоризненно закачал головой арестант. — Что это ты? Стыдись! Чай, тебе на шестой десяток годы идут, а ты таким пустяковым делом занимаешься? Брось! — И он, обняв сотского за плечи, легонько потряс его. Сотский засмеялся дрожащим смехом и наконец заговорил, не глядя на своего соседа:

— Да разве я что?... Рад я... Так это вы и есть? Как мне в это поверить? Такое дело! Витя... и в таком образе! В холодную... Пачпорту нет... Хлебом питаетесь... Табаку нет... Господи! Это разве порядок? Ежели бы это я был... а вы бы хоть сотский... и то легче! А теперь что же вышло? Как мне смотреть в глаза вам? Я всегда про вас с радостью помнил... Витя, — думаешь, бывало... Так даже сердце защекочет. А теперь — на-ко! Гос-

поди... ведь это — ежели людям рассказать — не поверят.

Он бормотал, упорно глядя на свои ноги, и всё хватался рукой то за грудь, то за горло.

— А ты людям про всё это и не говори, не надо. И перестань... Насчет меня не беспокойся... Бумаги у меня есть, я не показал их старосте, чтобы не узнали меня тут... В холодную меня брат Иван не посадит, а, напротив, поможет мне на ноги встать... Останусь я у него, и будем мы с тобой снова на охоту ходить... Видишь, как хорошо всё устраивается?

Витя говорил это ласково, тем тоном, которым взрослые утешают огорченных детей. Навстречу туче из-за леса всходила луна, и края тучи, посребренные ее лучами, приняли мягкие опаловые оттенки. В хлебах кричали перепела, где-то трещал коростель... Мгла ночи становилась всё гуще.

— Это действительно... — тихо начал Ефимушка, — Иван Александрович родному брату порадеет, и вы, значит, снова приспособитесь к жизни. Это всё так... И на охоту пойдём... Только всё не то... Я думал, вы каких делов в жизни наделаете! А оно — вон что...

Витя Тучков засмеялся.

— Я, брат, Ефимушка, наделал делов достаточно... Имение, свою часть, прожил, на службе не ужился, был актером, потом сам держал актеров... потом прогорел дотла, всем задолжал, впутался в одну историю... эх! Всего было... И — всё прошло!

Арестант махнул рукой и добродушно засмеялся.

— Я, брат, Ефимушка, теперь уж не барин... вылечился от этого. Теперь мы с тобой так заживем! да ну! очнись!

— Я ведь ничего... — заговорил Ефимушка подавленным голосом, — стыдно мне только. Говорил я вам тут разное такое... несуразные слова и вообще... Мужик, известное дело... Так, говорите, заночуем тут? Я ин костер разложу...

— Ну-ка, действуй!..

Арестант вытянулся на земле кверху грудь, а сотский исчез в опушке леса, откуда тотчас же раздался треск сучьев и шорох. Скоро Ефимушка появился с

охапкой хвороста, а через минуту по маленькому холмику из мелких сучьев уже весело ползала змейка огня.

Старые товарищи задумчиво смотрели на нее, сидя друг против друга и поочередно курия трубку.

— Совсем как тогда, — грустно говорил Ефимушка.

— Только времена не те, — сказал Тучков.

— Н-да, жизнь-то стала круче характером... Эвона как вас... обломала...

— Ну, это еще неизвестно — она меня или я ее... — усмехнулся Тучков.

Замолчали...

Сзади их возвышалась темная стена тихо шептавшего о чем-то леса, весело трещал костер, вокруг него бесшумно плясали тени, и над полем лежала непроглядная тьма.

## ТОСКА

### I

...Помолившись богу, Тихон Павлович медленно разделся и, почесывая спину, подошел к кровати, наглухо закрытой пестрым ситцевым пологом.

— Господи, благослови! — прошептал он, затем широко зевнул, перекрестив рот, отдернул полог и стал смотреть на мощную, покрытую мягкими складками простыни фигуру жены.

Сосредоточенно и подробно рассмотрев эту неподвижную, задавленную сном кучу жирного тела, Тихон Павлович сурово нахмурил брови и вполголоса сказал:

— Машина!..

Потом отвернулся к столу, погасил лампу и снова заворчал:

— Сказал ведь я тебе, чёрту: идем спать на сеницу; нет, не пошла! Колода дубовая! Ну-ка, подвинься малость!

И, ткнув жену кулаком в бок, он улегся с ней рядом, не покрываясь простыней, а затем еще раз крепко толкнул жену локтем. Она замычала, завозилась, повернулась к нему спиной и снова захрапела. Тихон Павлович огорченно вздохнул и уставился глазами сквозь щели полога в потолок, где дрожали тени, рожденные луной и неугасимой лампадой, горевшей в углу перед образом Спаса нерукотворенного. В раскрытое окно лился из сада, вместе с тихим и теплым ночным ветром, шелест листьев, запах земли и сырой кожи, сегодня утром содранной с Гнедка и распяленной на стене амбара. Доносился мягкий звук падения капель воды с мельничного колеса; в роще, за плотиной, гукала выпь; мрачный, стонущий звук плавал в воздухе; когда он пропадавал — листва деревьев шумела сильнее, точно

испуганная им, и откуда-то доносилась звонкая песнь комара.

Последив за теньями, что дрожали на потолке, Тихон Павлович перевел глаза в передний угол комнаты. Там, колеблемый ветром, тихо мигал огонек лампадки; от этого лицо Спасителя то прояснялось, то темнело, и оно показалось Тихону Павловичу думающим большую, тяжелую думу. Он вздохнул и истово перекрестился.

Где-то прокричал петух.

— Неужели двенадцать уж? — спросил сам себя Тихон Павлович. Прокричал другой петух, третий... Еще и еще. Наконец где-то за стеной во всю мочь гаркнул Рыжий, из птичника ему ответил Черный, и весь птичник всполошился, громко возвещая полночь.

— О черти, — сердито завозился Тихон Павлович, — заснуть не могу... чтоб вам треснуть!

Когда он обругался, ему стало как-то легче: проклятая, непонятная грусть, одолевшая его с последней поездки в город, меньше давила его, когда он сердился, — а когда он сердился сильно, так и совсем пропадала... Но за эти дни дома всё шло так ровно, гладко, что и поругаться-то хорошенько, чтоб полностью отвести душу, было нельзя — не с кем и не за что, — все подтянулись, заметив, что «сам» сильно не в духе. Тихон Павлович видел, что домашние боятся его и ждут грозы, и — чего раньше с ним никогда не было — чувствовал себя виноватым пред всеми. Ему было стыдно за то, что все такие хмурые и бегают от него, и еще больше овладевало им тяжелое, непонятное чувство, привезенное из города.

Даже Кузьма Косяк, новый засыпка, орловец, зубоскал и задира, молодой парень, могучий, с веселыми синими глазами и ровным рядом мелких белых зубов, всегда оскаленных задорной улыбкой, — даже этот Кузьма, с которым всегда было за что всласть поругаться, стал почтителен и услужлив; песен, на которые был большой мастер, больше не пел, меткими прибаутками во все стороны не сыпал, и Тихон Павлович, замечая за ним всё это, недовольно думал про себя: «Хорош, видно, я, чёрт, стал!» И, думая так, всё более подчинялся чему-то, неотвязно сосавшему его сердце.

Тихон Павлович любил чувствовать себя довольным собой и своей жизнью, и когда чувствовал так, то намеренно и искусственно усиливал свое настроение постоянным напоминанием себе о своей зажиточности, об уважении к нему соседей и обо всем другом, что возвышало его в своих глазах. Домашние знали за ним эту слабость, которая могла и не быть честолюбием, а только желанием сытого и здорового существа как можно полней усладить себя ощущением своей сытости и здоровья. Это настроение, порождая у Тихона Павловича добродушную точку зрения на вещи, хотя не позволяло ему упускать своего, но создало среди знакомых репутацию сердечного человека. И вот вдруг стойкое, жизне-радостное чувство куда-то провалилось, улетело, погасло, а на место его явилось нечто новое, тяжелое и темное.

— Фу ты, господи! — прошептал Тихон Павлович, лежа рядом с женой и прислушиваясь к мягким вздохам ночи за окном. От согретой пуховой перины ему стало жарко; он беспокойно повозился, предал супругу анафеме, спустил ноги на пол и сел на кровать, отирая потное лицо.

В Болотном, селе верстах в пяти от мельницы, раздалась звуки сторожевого колокола. Унылые медные звуки, слетая с колокольни, тихо плавали в воздухе и бесследно таяли. В саду хрустнула ветка, а в роще снова загукала выпь, точно смеясь мрачным смехом.

Тихон Павлович встал, подошел к окну и сел в глубокое кожаное кресло, недавно купленное им за два рубля у разорившейся соседки, старушки-помещицы. Когда холодная кожа прикоснулась к его телу, он вздрогнул и оглянулся.

Было жутко. Сквозь цветы на подоконнике и ветви клена перед окном проникли в комнату лучи луны и нарисовали на полу теневой, дрожащий узор. Одно из пятен, в центре узора, очень походило на голову хозяйки кресла. Как и тогда, при торге, эта голова, в темном мохнатом чепце, укоризненно качается, и старческие губы шамкают ему, мельнику:

— Побойся бога, батюшка! Кресло покойник Федор Петрович перед самой смертью купил, восемнадцать

*М. Горький.*

# Очерки и разказы.

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

**СОДЕРЖАНІЕ.**

1. Челкашъ.	↑	6. Дядь Архипъ и Лелька.
2. Пѣсни о соколы.	↑	7. Скули ради.
3. На летахъ.	↑	8. Осеринъ.
4. Тоска.	↑	9. Манеръ Чудовъ.
5. Зауверма.	↓	10. Супруги Орловы.

ИЗДАНИЕ

С. Дороватовскаго и А. Чарушникава.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Паровая скоронечатня И. А. Богсльманъ, Невскій, 148.

1898.

ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА ПЕРВОГО ИЗДАНИЯ.

рублей дал. А давно ли он умер-то? Совсем новая вещь, а ты полтора рубля даешь!..

И покойник Федор Петрович тут же, на полу: вот его большая, кудластая голова с густыми хохлацкими усами.

— Господи, помилуй! — вздохнул Тихон Павлович. Потом он встал с кресла, составил цветы с подоконника на пол, а сам уселся на их место.

За окном было тихо, грустно. Деревья сада стояли неподвижно, слитые ночью в сплошную, темную стену, за нею чудилось что-то страшное. А с колеса мельницы звонко и монотонно капала вода, точно отсчитывая время. Под самым окном сонно покачивались длинные стебли мальвы. Тихон Павлович перекрестился и закрыл глаза. Тогда в его воображении стала медленно формироваться городская история, выбившая его из колеи.

По пыльной, залитой знойными лучами солнца улице тихо двигается похоронная процессия. Ризы священника и дьякона слепят глаза своим блеском; в руках дьякона позвякивает кадило, маленькие клубы голубого дыма тают в воздухе.

— Свя-я... — тоненьким тенором выводит маленький, седенький священник.

— ...тый! — громовым басом гудит высокий дьякон в густой шапке черных волос.

— Бо-о-же,— сливаются оба голоса вместе и уносятся в безоблачную высь к ослепительно сверкающему солнцу, где так пустынно и спокойно.

— Бессме-е-ртный! — ревет дьякон, покрывая своим могучим голосом все звуки улицы,— дребезг пролеток, шум шагов по мостовой и сдержанный говор большой толпы, провожающей покойника,— ревет и, широко раскрывая глаза, поворачивает свое бородатое лицо к публике, точно хочет сказать ей:

«Эхва! Как я здорово вывел ноту-то!»

В гробу лежит господин в сюртуке, с худым и острым лицом. На этом лице застыла важная, спокойная мина. Гроб несут неровно, и голова покойника сосредоточенно покачивается с боку на бок. Тихон Павлович взглянул на лицо усопшего, вздохнул, перекрестился и, увлекаемый толпой, пошел за гробом, поглядывая на дьякона, заинтересовавшего его массивностью голоса и

фигуры. Дьякон шел и пел, а если не пел, то разговаривал с кем-нибудь из шедших рядом с ним. Очевидно, человек в гробу не возбуждал у дьякона печальных дум о том, что и дьякон подлежит этой натуральной повинности, что придет время, и его вот так же понесут по улице для того, чтобы зарыть в землю; а он, лежа в гробу, будет вот так же потряхивать головой и не возьмет уж в то время ни одной, даже самой легкой ноты.

Тихону Павловичу стало неприятно смотреть на веселого дьякона; он остановился и, пропустив мимо себя много публики, спросил у какого-то гимназиста: — Кого это хоронят, милой?

Тот взмахнул на него глазами и ничего не сказал в ответ. Это обидело Тихона Павловича...

— Такой молоденький мальчишка, а не имеет никакого внимания к старшим! Драть бы вас! Ты что думаешь, я не узнаю, что мне надо? Фря какая!

Он пошел дальше и снова очутился около гроба. Гроб несли четверо, причем шли очень быстро и не в ногу. У одного из несших всё сваливалось с носа пенсне, и он, вскидывая его снова на переносицу, непременно взмахивал при этом густой гривой рыжих волос.

«А покойник-то, видно, легонький, — подумал Тихон Павлович, — чиновник, надо думать, — они больше поджарые...»

Шли так быстро, точно человек, лежавший в гробу, еще при жизни успел всем страшно надоест и все старались как можно скорее отделаться от него. Тихон Павлович заметил это.

«Эк их гонят! Куда торопятся? Тоже люди божи! Чай, поди-ка, как жив был человек, так и то и се, а умер — вали скорее в яму: нам некогда!»

Мельнику стало грустно: будет время, и его вот так потащат. Может быть, скоро уж — ему сорок семь лет.

«А это что такое? — спросил сам себя Тихон Павлович, увидев на крышке гроба венки, ленты с надписями золотыми буквами и цветы. — Н-да... Значит, персона все-таки важная. А вот провожатые — оборвыш-народ».

— Кого это хоронят? — спросил он поравнявшегося с ним благообразного господина в очках и с курчавой бородой.

— Писателя... — тихо ответил тот и, окинув фигуру Тихона Павловича взглядом, вразумительно добавил: — Сочинителя...

— Понимаем, — быстро откликнулся Тихон Павлович. — «Ниву» выписываем, доченька читала насчет их. Из важных будут покойные-то?

— Н-нет... Не из важных... — улыбнулся его собеседник.

— Так... Ничего... Все-таки заслуженный миру человек. Ина слава солнцу, ина слава луне... звезда бо от звезды разствует во славе... Однако — венки...

У Тихона Павловича неизвестно почему щемило сердце, скверно так щемило — то будто ущипнет его, то как-то сдавит.

А голосистый дьякон всё пел:

— Свя-ятый бессмертный!..

И дребезжащий тенор священника, чуть пробиваясь сквозь гущу дьяконова баса, робко и тихо просил:

— По-омилуй на-ас...

Глухо топала ногами толпа провожатых, поднимая с дороги пыль; покойник всё качал головой, и надо всем этим бесстрастно сияло знойное, июльское небо.

Тихона Павловича охватило какое-то угнетение — не хотелось ни думать, ни разговаривать. Охваченный общим смутным настроением толпы, шел, чувствуя надоедливое нытье где-то глубоко в груди и не находя ни сил, ни желанья отделаться от него.

Пришли на кладбище, остановились у ямы и поставили гроб на бугор вынутой из ямы земли. Сделали это как-то неловко, неумело. Покойник подвалился к боку гроба, потом снова принял прежнюю позу; казалось, он посмотрел вокруг и остался доволен тем, что его перестали трясти и скоро перестанут жарить на солнце. Дьякон всё усердствовал, сотрясая воздух; священник не отставал от него; кто-то из толпы подпевал глухим голосом. Звуки носились по кладбищу и, пугаясь между крестами да чахлыми деревьями, давили Тихона Павловича.

И вот оно — самое главное.

Благообразный господин, у которого Тихон Павлович спрашивал о покойнике, подошел к краю могилы и, проведя рукой по волосам, сказал:

— Господа!..

Он так это сказал, что мельник даже вздрогнул и уставился на него. Глаза у господина странно сверкали. Он то опускал их в гроб, то оглядывал публику, и пауза между его восклицанием и началом речи была так длинна, что все, кто был на кладбище, успели притихнуть и замереть в ожидании. И вот раздался мягкий, грудной, такой вдумчивый и печальный голос. Говоривший плавно помахивал рукой в такт своим словам; его глаза горели под очками, и хотя Тихон Павлович плохо понимал то, что говорил этот господин, однако он узнал из его речи, что покойник был беден, хотя двадцать лет он неустанно трудился на пользу людей, что у него не было семьи, что при жизни никто им не интересовался и никто его не ценил и что он умер в больнице, одинокий, каким был всю свою жизнь. Тихону Павловичу стало жаль покойника, ноющая боль в груди усилилась. Он пристально уставился на него, измерил глазами его худое, изможденное лицо, маленькую, тонкую и прямую фигурку и вдруг нашел, что этот покойник похож на гвоздь. Он улыбнулся своей мысли. И в то же время благообразный господин, повысив голос, произнес:

— Удары судьбы один за другим падали на его голову, и вот они, наконец, забили этого человека, посвятившего всего себя неблагодарной, черной подготовительной работе по устройству на земле хорошей жизни для людей! Для всех людей, без разбора...

Как раз в это время глаза оратора остановились на лице Тихона Павловича и, поймав его улыбку, сурово сверкнули. Мельник смутился и попятился назад, чувствуя себя виноватым и пред покойником, и пред тем человеком, который рассказывал о нем.

Солнце пекло беспощадно, синее небо смотрело спокойно на ниву мертвых, на толпу вокруг свежей могилы, а голос оратора всё звучал, печальный и задушевный.

Тихон Павлович вертел головой, разглядывал сумрачные лица слушателей и чувствовал, что не его одного — всех охватывает тоска.

— Засыпали мы наши души хламом повседневных забот и привыкли жить без души, до того привыкли, что и не замечаем, какие все мы стали деревянные, бесчувственные, мертвые. И люди такие, как он, непонятны нам... — слушал Тихон Павлович.

«Верно! — сказал он тогда про себя. — Это так... Разве я не забыл про свою душу?! Господи!»

Он вздохнул и открыл глаза. Струя теплого воздуха влилась в окно из сада и обдала замечтавшегося человека запахом росистой травы, цветов и затхлой воды из пруда. Тени на полу дрожали сильнее, точно пробуя подняться и улететь. Мельник встал с подоконника, снова придвинул кресло к окну и подошел к кровати. Разметавшись по перине, жена сопела и всхрапывала, широко раскинув пухлые руки. Эти руки и обнаженная грудь показались Тихону Павловичу чем-то неуместным в эту ночь и как бы задиравшим его. Сердито набросив на тело жены простыню, он взял подушку и, снова подойдя к окну, сел в кресло, положил подушку на подоконник, облокотился на нее и стал думать.

Ему вдруг вспомнилась стая белых голубей, плававшая высоко в небе над кладбищем в памятный день похорон. Он, закрыв глаза, представил себе эти белые точки в голубом небе... и молча упрекнул себя...

«Что, брат, видно, приспичило? Вот и живи теперь... Майся!»

Внеобходимые, беспокойные, тормозящие правильное течение жизни думы шевелились в непривычной к ним голове мельника, одна за другой являлись, исчезали и снова являлись, но уже более тяжелые. Так, в ясный летний день по небу пробежит легкий обрывок облака и скроется, растаяв в лучах солнца... но вот еще один... еще... еще... и хмурая грозовая туча, насыпая и глухо ворча, медленно ползет над землей. У мельника от его дум явилась какая-то особая, незнакомая ему раньше, способность всё подмечать и запоминать и ко всему прилагать вопрос: «А зачем это нужно?»

«Угнетасм мы душу!» — вспомнил мельник восклицание оратора и поежился.

«Верно — не живет душа-то. Дела всё — главная причина; о душе-то подумать некогда. А она вдруг и тово... и восстала, значит. Пустой час улучила да и воспряла... Вот те и дела! И к чему очень уж много делов затевать, коли всё равно умрешь? Для чего готовим себя, ежели гольем жизнь-то взять? Для смерти... С чем пойдём пред лицо господа? Вот душа-то и напоминает: встрепыхнись, дескать, человек, потому что час твой тебе неведом... Господи, помилуй!»

Тихон Павлович вздрогнул, перекрестился и посмотрел в угол на лик Спасителя. Тени от лампы всё дрожали на нем, он был строг и, казалось, всё думал свою большую думу. У мельника в груди стало холодно. А вдруг он сейчас вот... или нет, завтра... Вдруг он завтра умрет! Это бывает с человеком — сразу, без всякой болезни упал да и умер...

— Анна! — громко зовет Тихон Павлович. — Анна, проснись ты хоть на минутку, ради бога. Человек мучается, а она спит!

Но жена не слышит, подавленная сном. Не дождавись ее ответа, Тихон Павлович встал, оделся и, сопровождаемый ее храпом, вышел из комнаты на крыльцо, постоял на нем с минуту и отправился в сад. Уже светало. Восток бледнел, алая полоса зари лежала на краю сизой тучи, неподвижно застывшей на горизонте. Клены и липы тихонько качали вершинами; роса падала невидимыми глазом каплями; где-то далеко трещал коростель, а за прудом в роще грустно посвистывал скворец. Свежо... И скворцу, должно быть, холодно...

«А и голова у этого барина! Большие у него думы... Вот бы с ним по душе поговорить. Он бы мне и объяснил, как и что... А разве я сам что могу? Совсем и не к тому у меня голова приспособлена».

Мельник печально поник неприспособленной к большим думам головой и все-таки продолжал думать:

«Съездить разве мне к учителю в Ямки? Он тоже тово... гвоздь! Поп Алексей говорит, что это он меня пропечатал в газете. Ишь, желторылый аспид!»

Тихон Павлович вспомнил, как ему было стыдно, когда дочь прочитала в газете о его удалой операции с кирюшинскими мужиками, и как она, закрыв лицо газетой, тихонько спросила:

— Папаша, разве это так было?

Он разозлился тогда.

— Разве грабитель отец-то твой? «Так было!» Дура, чему учишься в гимназии-то?

А было-то именно так, как написал учитель. Но — не сознаваться же в этом перед дочерью! Чего она понимает? Теперь он квит с кирюшинскими: когда у него плотину чуть не размыло и они ее крепили — половину своего воротили назад: по три целковых за день на рыло содрали с него. Война! Сплошал — и кончено, крышка тебе. Да... Учитель-то при этом присутствовал.

«Что, говорит, купец, и вас прижали? — И смеется. Лицо у него сухое, желтое, строгое. — Плохи же вы все-таки, купец... Жадны, а плоховаты».

Мельник сердится и чувствует — правда! И жаден — правда, и плох — тоже правда.

«Скоро ли, о господи, рассветет?» — с тоской подумал он. Скоро уж: алая полоса на краю тучи стала и ярче и шире.

Вот где-то разговаривают люди. Мельник подошел к плетню и лег на скамью возле него, чувствуя, что ему неможется от бессонницы. А голоса людей всё приближались...

— Не проси, Мотря, не теряй попусту слов — не останусь!

Тихон Павлович вздрогнул и привстал на скамье, опершись на локоть. Говорили близко, за плетнем, в кустах бузины. Это Кузьма Косяк, засыпка, с кем-то.

— Не проси, говорю! Не в моей это силе, чтобы здесь остаться; уйду я за Кубань.

— А я-то как же, Кузя? Ты подумай, как я без тебя-то буду? Ведь люблю я тебя, соколика, лю-люблю, вольный ты мой! — отвечал Кузьке низкий женский контральто.

— Э, Мотря! Многие меня уж любили, со всеми я распрощался, и ничего себе — повыходили замуж да позакисли в работе! Встретишь иной раз, посмотришь —

своим глазам веры нет. Да разве это они — те самые, которых я целовал да миловал? Ну-ну! Одна другой ведьмистей. Нет уж, Мотря, не мне на роду писано жениться, да, дурашка, не мне. Волю мою ни на какую жену, ни на какие хаты не сменяю. Родился я, слышь, под забором и помру под ним. Судьба такая. По седые волосы вдоль да поперек шляться буду... А на одном месте скучно мне...

— А меня-то? Кузя, меня-то? Я-то куда денусь без тебя? Подумай-ка! Али ты меня не любишь уж? Али ты меня не жалеешь?

— Тебя-то, тебя-то... А тебя я здесь оставлю... за вдового Чекмарева замуж выйдешь... Дети у него есть... да ничего, сам он мужик хороший.

— Не лю-бишь ты меня!.. — тихонько сказала женщина.

— Видно, вот люблю, коли разговариваю. Не любил бы, так не возился бы. С девками потому и время теряют, что любят их, а ежели их не любить — куда они тогда? И жалко мне тебя... да ведь как кого ни жалко, а себя всегда жалчей. Было бы, поди-ка, гораздо хуже, если бы мы с тобой, поругавшись, расстались. Верно ведь? А теперь вот по душам — любовно, ласково всё выходит. Я, значит, в свою пойду сторону, ты — в свою, кому куда судьба. Эхма, чего тут толковать! Целуй, что ли, еще разок, горлинка!

Звуки поцелуев коснулись слуха Тихона Павловича и растаяли в шелесте листвы. Скворец распелся громче и веселей, петухи за мельницей встречали рассвет.

— Ох, милый ты мой, Кузя... хороший ты мой! Возьми ты меня, горюшу! — снова громко зашептала девушка.

— Вот те и на! Она опять за свое... Я ее целую, милую, как путную, а она мне камнем на шею виснет. Ну девка! И всегда вот эта канитель с вами.

— Да, — али я не человек?..

— Ну, человек. А я? Я, значит, не человек? Скажет тоже... Сошлись мы с тобой полюбу... ну, и пришло время разойтись. Тоже надо полюбу. Тебе жить надо, и мне тоже, путать друг друга нам не след... А ты

нюнишь! Дурашка! А ты вспомни: сладко целоваться со мной? Ну? Эх, ты... оладья...

Снова зазвучали поцелуи, прерываемые страстным, задыхающимся шёпотом и глубокими стонущими вздохами.

Вдруг вершины деревьев, и всё кругом, и само небо точно дрогнуло и улыбнулось свежей, румяной улыбкой— это первый солнечный луч глянул на землю. И, как бы приветствуя его, раздался ласковый шум пробужденья сонного сада, дунул ветерок, свежий, бодрящий, полный разнообразных запахов.

Звучные теноровые речи Кузьки Косяка, тоскливо-страстный контральто девушки как бы смягчили ноющую боль в груди Тихона Павловича.

«Ах чёрт! — мысленно восклицал он по адресу засыпки. — Ах ты, ухобака!»

И, чувствуя зависть к этому вольному человеку, к его уверенности в своей правоте, он встал, вздохнул и хотел пойти домой.

— Пора, Мотря! Пора мне на работу! Смотри, приди ужо!

— Не пришла бы, да не в мочь мне не придти-то, сокол мой! — как-то простонала девушка.

— Э, не горюй! Время придет — слезы утрет. А до той поры мы еще повидаемся не раз. Так ли? Прощевай! За спиной Тихона Павловича затрепал плетень.

Как по степи ветер  
Носятся, играет...

— Эт!.. Добрый день, хозяин!

Тихон Павлович снял с головы картуз и смущенно посмотрел на работника.

— Здорово!

Из-под расстегнутой красной рубахи видна была широкая смуглая грудь работника, дышавшая глубоко и ровно, рыжие усы насмешливо пошевеливались, белые частые зубы сверкали из-под усов, синие большие глаза хитро прищурились, и весь Кузьма показался своему хозяину таким гордым и важным, что мельнику захотелось поскорее уйти от него, чтоб засыпка не заметил своего превосходства над хозяином.

— Всё гуляешь?

— Пока охота да время — чего не гулять? Иное время придет — работать буду! Чью нынче засыплю? Домолоть попову рожь али что? Да насчет круподерной машины надо бы похлопотать!

— Да, это нужно... Вот я тово...—проговорил Тихон Павлович и вдруг как-то помимо воли dokonчил: —А я, брат, лежал тут на скамейке да и слышал, как ты... с девкой-то обходился... Ловко ты с ними умеешь...

— Дело знакомое! — сказал Кузьма.

— Много, чай, ты их, девок-то, перепортил?

— А не считал... Какая порча? Чай, я не увечу их...

— Оно так, а все-таки... Например, неужто тебе, Кузьма, не жалко девку-то?..

— Жалко... всегда бывает жалко...

— А ежели, к примеру, ребенок? Бывало ведь, а?

— Чай, бывало, — кто их знает...

Кузьме, очевидно, начинал надоедать допрос. Он переступал с ноги на ногу и, досадливо сжав губы, крикнул.

А Тихону Павловичу понравилось то, что работник смущается его допросом, и он, уже строго нахмурив брови, продолжал:

— А грех — как? Ведь грех!

— Чего грех?

— А так-то действовать...

— Да ведь ребята-то одним, поди-ка, порядком родятся, что от мужа он, что от прохожего,— сказал Кузьма и скептически сплюнул в сторону.

— Это ты совсем напрасно. От мужа — он в законе, а ежели от тебя — куда его? Она, девка-то, возьмет да — от сраму — в пруд дитя-то и сунет. А на тебе — грех! — донимал мельник работника, чувствуя при этом какое-то удовольствие.

— Да ведь, хозяин, коли покрепче подумать,— серьезно и сухо заговорил Кузьма,— так выходит, что, как ни живи, всё грешно! И так грешно, и вот этак грешно,— пояснил Кузьма, махнув рукой вправо и влево. — Сказал — грешно, промолчал — грешно, сделал — грешно, и не сделал — грешно. Разве тут разберешь? В монастырь, что ли, идти? Неохота.

Помолчали. От свежести утра Кузьма вздрогнул.  
— Веселая у тебя жизнь, брат, легкая, — вздохнул Тихон Павлович.

— Не жалуюсь, — сказал Кузьма, передергивая плечами.

— Жизнь приятная... да!.. Ну, что же? Иди, засыпай!

— Попову?

— Сыпь попову. Как ты это просто рассуждаешь... право! Всё грешно... Н-да... Легкий ты, Кузьма... как пузырь.

Кузьма внимательно посмотрел на хозяина.

— Ей-богу. Вон Митька у меня пускает: надует его на соломинку, а он весь — радугой играет и летит, полетит — и лопнет.

Кузьма усмехнулся.

— Ишь приравняли к чему!

— Верно ведь. А уйдешь ты от меня?

— Уйду.

— Да — куда тебе? Жил бы, жалованья-то прибавлю.

— Нет, не надо. Тошно здесь, всё равно уйду.

— Жалко мне тебя отпустить-то: работник ты хороший, — задумчиво сказал Тихон Павлович.

— Нет, я уж уйду. И мне тоже вас будет жалко — привык. А уйду, потому тянет! Самому против себя не надо спорить. Коли кто против себя заспорит, пиши — пропал человек.

— Вот это верно, Кузьма. Ах, верно! — Тихон Павлович даже вспыхнул весь и потряс головой, крепко зажмурив глаза. — Вот я тоже... спорю...

— Тихон Павлы-ич! Иди чай пить, — вскричала откуда-то жена.

— Иду! Иди и ты, Кузьма, начинай с богом.

Кузьма искоса взглянул в лицо хозяина и пошел, посвистывая.

В просторной чистой комнате у окна стоял стол с шумевшим на нем самоваром, ковригой белого хлеба и кринкой молока. За столом сидела жена — здоровая,

свежая, румяная, благодушная, и всюду в комнате было много ласкового и нежаркого утреннего солнца.

Тихон Павлович медленно, покусывая бороду, подошел к столу, держа руки назади и хмуро поглядывая в спину жены.

— С добрым утром, Павлыч! — сказала она, оборачивая к нему голову и приветливо улыбаясь. — Что это ты опять сегодня ночью-то не спал? Ты бы полечился чем. А то думно уж мне стало...

— То-то ты с дум-то и гудела всю ночь, как фабричная труба, — усмехнулся мельник.

— Уж ты скажешь... Слава господу, хоть улыбнулся, а то уж ты последние-то дни и не смеешься, совсем пропал смех-то у тебя... Сердитый всё.

— Пропадет, небось, от такой жизни, — вполголоса сказал Тихон Павлович.

— Али что неладно в делах-то? — тревожно спросила жена.

— Не о хлебе едином, сказано в писании... Ну вот и оправдалось. Схватило за сердце и сосет... и будет сосать, пока простора не дашь душе... Завалили мы душу-то всяким хламом, она и стонет без воздуха-то.

— В церковь надо пожертвовать — вот и пройдет всё, — посоветовала жена.

Мельник молчал, думая про батюшку Алексея. Очень жадный поп; много раз он подставлял ногу мельнику в его операциях с окрестными крестьянами...

— А то еще сироту взять...

— Вот это пожалуй. У Дябилкиных, к примеру.

— Налить еще чаю-то? Ты чего накрыл стакан?

— Не хочу.

Тихон Павлович смотрел в лицо жены, и она казалась ему такой жирной, приторной, глупой. Чего она всё улыбается?

— А доктора всё же бы надо позвать. Позвать?

— Поди ты и с доктором вместе, — зло сказал мельник и, выйдя в другую комнату, наткнулся на сына, спавшего на полу. Тихон Павлович остановился над ним и стал пристально смотреть на черную курчавую голову, утонувшую в складках подушки и сбитой

в кучу простыни. На смуглых щеках и на лбу ребенка выступили мелкие капельки пота.

«Ишь ты... развалился,— подумал Тихон Павлович. — Спишь... А какая тебе в жизни дорога лежит?..»

— Тихон Павлыч! Вас Кузьма кличет!

Это кричит с круподерки косоротая Марфутка. Мельник у нее в прошлом году ненароком всю семью разорил и теперь вспомнил это. Фома, Марфуткин отец, уходя на заработки куда-то, говорил ему, стоя у крыльца:

— Нельзя, значит, отсрочку-то? Та-ак... Ну, ии ладно. Прощай, значит, Павлыч! Бог тебе судья. Полагать надо, отзовутся тебе наши сиротские слезы, взвоешь, значит, и ты, друг милой! Прощай!

И долго Фома стоял перед крыльцом, почесывая то бок, то спину, и, с напряженным лицом повторяя одно и то же слово по пяти раз, тянул за душу Тихона Павловича.

— Не полагается отсрочки? Та-ак...

Наконец, мельник его прогнал...

«Да, разные дела бывают,— думал он теперь.— Иное, действительно, не по закону. А не сделать его нельзя. Урон репутации будет».

Но его не успокоило это рассуждение. Думы, скопаясь, давили грудь всё тяжелее.

— Поеду в Ямки,— вдруг решил он.— Марфа, скажи Егору — пусть лошадь заложит.

У дверей в круподерку стоял Кузьма, весь седой от пыли, и, посвистывая, смотрел в небо, где в лучах солнца таяла маленькая пышная тучка. В круподерке что-то бухало и скрипело; из-за нее с мельницы летели серебряные всплески воды и густой шорох. Весь воздух был наполнен тяжелыми, охающими звуками и востлан тонкой дымкой пыли.

— Тихон Павлыч, ремень-то, того гляди, перетрется,— сказал Кузьма, сплевывая в сторону.

— Возьми там у жены новый... Идут дела? — спросил Тихон Павлович у работника и тотчас же заметил за собой, что никогда он раньше не говорил с работником так ласково, как сегодня.

— Вертятся, — ответил Кузьма, исподлобья наблюдая за хозяином.

— Ну, и хорошо... А ты — пузырь, значит?

— Ну, пузырь, коли хотите, — согласился Кузьма и повел плечами.

— Легкая у тебя жизнь!..

— А на что она, тяжелая-то?

— Верно! — Мельник вздохнул. — А ежели... умирать придется... Тогда как?

— Придется — ляжем и умрем, — всё более подзрительно оглядывая хозяина, ответил Кузьма.

— Та-ак. А другие-прочие люди?

— А что другие? И они умрут, придет и их время...

— Да-а! — вздохнул Тихон Павлович. — Это так — все умрут... Грустно это для человека...

Кузьма пошевелил усами, запустил одну руку в свои рыжие волосы, другую сунул в карман шаровар и, переступив с ноги на ногу, вдруг широко улыбнулся.

— Вы бы, хозяин, поехали до города да и кутнули там вовсю; вот оно вам и помогло бы!

Кузьма дотронулся рукою до плеча хозяина и захотал. Его движение и смех поразили мельника. Он как бы потерял сознание своей личности и глупо улыбался работнику, в то же время чувствуя себя до боли обиженным им.

— Ах ты, Кузьма... Как ты это? В Ямки я поеду, это точно... к учителю...

— Валяйте-ка! Там Дуняша Дикова таким вас разговором угостит, что все мысли повыскочат, как блохи, — напутствовал Кузьма хозяина.

Минут через пять сытый гнедко Лукич солидной, развалистой рысцей бежал по извилистой мягкой дороге, с обеих сторон глухо заросшей кустами орешника и калины. Гибкие ветки задевали Тихона Павловича за голову, заглядывали ему в лицо, и, когда лист попадал в губы, мельник поворачивал головой, отплеивался и всё думал о своей пошатнувшейся жизни.

«Плохо всё, плохо, — думалось ему. — Тоже... жизнь! Живешь себе, как все, и ничего бы... А вдруг

нашла вот на тебя этакая раздумчивая полоса, и всё перевернулось вверх тормашками».

В странном, прыгающем беспорядке осаждали думы голову мельника, и все они непривычны, чужды ему. Жалко прежних спокойных дней, когда всё было так ясно и хорошо.

Бывало, после вечернего чая, сидя на крыльце, он заставлял Митьку читать страшные рассказы из «Вокруг света». Около него всё семейство: жена, дочь, — а кругом так тихо, родственно. Душа спокойна, думать не о чем. Иногда попадаетея интересная картинка: изображены на ней деревья с такими громадными узорчатыми листьями; река течет; ширь, даль, простор, не наши русские — пустынные и скучные, — а такие заманчивые. Семейство рассуждает: «Вот бы где мельницу-то поставить!» Поговорив об этом, снова все утонут в чем-то таком теплом и мягком, как пуховик, и уже говорить не хочется больше. Так бы всё и сидел молча, не двигаясь.

Показались Ямки. Рассыпанные по пригорку овины, клетушки и избенки, казалось, были кем-то сразу брошены на землю да так и прихилились испуганно и убито, не смея выстроиться в одну ровную линию. Грязно-серые, ничтожные, они казались еще жалче и бедней под покровом бесстрастного глубокого неба, раскинувшегося над ними задумчиво и важно.

«Ишь ты, тоже человеческое жильё! — думал Тихон Павлович, подъезжая к ним. — В каждой такой хороmine человеческая душа живет. К учителю еду... Для разговору... Чудно... Будет он меня попрекать, скажет: «Ох, ты, человек, подумай о душе-то!» А я ему: «Вали, не стесняйся!.. Каюсь — грешен... В газеты ты написал правильно, — объегорил я их. Хоть и они меня объегорили, но они меня — один раз, а я их — три! Хочешь писать — пиши! Валяй! Но прежде объясни, почему раньше ничего у меня, никакой дурости не было, а ныне вот я замотался? Предел это человеку или его собственное неразумие? Положено судьбой или сам он выдумал?..»

Лукич фыркал от пыли, помахивал головой и, солидно вскидывая ноги, подвозил своего грешного хозяина к Ямкам.

Вот и школа, похожая больше на беляну, опрокинутую вверх дном, чем на храм науки. У одного из трех окон сидит учитель, строгая ножом какую-то палочку, и равнодушно смотрит на подъехавшего мельника.

— Доброго здравия, Александр Иванович! В гости к тебе прискакал; примешь, что ли?

— Милости прошу,— сказал учитель и ушел от окна.

Сухой тон учителя и его серьезное, худое, жесткое лицо смутили Тихона Павловича, и его сердце неприятно сжалось.

Он долго копался около тележки, завязывая вожжи за облучок, прежде чем войти в школу, а проходя мимо одного окна, увидел, что учитель ставит на полку какую-то толстую книжицу и улыбается — едко так улыбается.

— Еще раз здравствуй! — с принужденной развязностью сказал мельник, протягивая руку учителю. — Ф-фу, как жарко!

Учитель молча сунул ему холодные, костлявые пальцы и, кивнув головой на лавку, кратко бросил:

— Садитесь...

— Сяду,— согласился мельник и сел на скамью у окна, где прежде сидел учитель, который теперь, заложив руки за спину и покашливая, расхаживал по комнате.

Молчание. Тихон Павлович сидел, потирая левой рукой колено, а пальцами правой расчесывая бороду, внимательно глядя в стену.

Учитель подошел к полке и стал рассматривать книги на ней, точно желая убедиться, те ли это книги, которые стояли тут до приезда гостя? Обоим им было неловко, и оба они это чувствовали, отчего молчание становилось всё тяжелее...

— Дело какое имеете до меня? — спросил учитель, подходя от полки к гостю и в упор глядя на него. Лоб у него сморщился, брови хмуро съезжились. Ему хотелось кашлять, но он почему-то удерживался от этого, плотно сжав губы. На лице у него явились бурные пятна, худая, ввалившаяся грудь вздымалась высоко и нервно.

— Хм-мм... — промычал мельник, отводя глаза в сторону от учителя, и подумал про себя: «Ледящий какой... Недолго ты, брат, наскрипишь...» — Как бы тебе, Александр Иванович, сказать?

И, говоря, мельник думает: «Тоже — гвоздь... Вроде того... покойника... Над этим слов говорить некому будет... Так в одиночку и исхизнет. Закопают его мужички в землю — и вся недолга. Хоть и он тоже пишет... однако у него кишка слаба, видно. Пишет, — а в деревне живет... Как бы мне начать разговор?»

— Может, чай станете пить? — спросил учитель и наконец страшно закашлялся, схватившись за грудь руками. Лицо у него стало серое, весь он изгибался, и в груди что-то свистело, бухало, скрипело, точно там были спрятаны старые стенные часы и теперь они собирались бить.

— Можно и чаю попить, — решил Тихон Павлович. — А здорово ты кашляешь! Кажись, с чего бы это? Время летнее — тепло... а?

— Так уж... — говорит учитель, опускаясь на стул. Мельник почувствовал, что на него повеяло холодной скукой от этих простых и ничего не говорящих слов.

— Ивановна! Поставьте самовар, — крикнул учитель в окно. — Ну-с, так вот... Вы, значит, хотите говорить со мной...

— Это самое... — согласился мельник, кивая головой.

— Хорошо... Я догадываюсь, о чем именно...

— Ой ли? — воскликнул Тихон Павлович и недобро улыбнулся.

— Конечно, о том, что я написал про вас в газете, — сдвигая брови, говорит учитель, озабоченно отдувает щеки и еще суровее хмурит лоб.

— Так я и думал, что это ты писал! Непременно, мол, это он! Потому только двое могут это — ты да поп Алексей. Он тоже сердит на меня...

— Как это — тоже? Разве я на вас сердит? — удивился учитель.

— А то как же!

— Да за что?

— А кто тебя знает! Написал — да и всё; а я понпмай, как хочу...

— Позвольте! Я писал не по личной неприязни к вам, а из чувства справедливости, — вздрагивая, проговорил учитель и, подняв тон, добавил, вспыхнув: — Вы не имете никакого права говорить, что я написал потому, что был сердит...

— Толкуй! — скептически махнул рукой мельник. — А зачем же ты писал?

— Затем, что вы поступили с кирюшинскими крестьянами нечестно!

— О! вот как ахнул! Нечестно! А они, когда у меня плотину прорвало, честно делали? Небойсь, ты про них не написал вот?!

— Но, позвольте! — всё более разгорался учитель.

Лицо у него покрылось красными пятнами, он стал заикаться, очевидно, желая сказать много и не находя нужных слов. У него странно вздрагивали уши, сверкали глаза. И мельник, глядя на него, тоже закипал.

— Чего — позвольте! Про меня написал — и про них пиши. Коли я с ними поступил не по совести, так ты знаешь, что и они со мною поступили этак же; на твоих глазах было. Однако вот ты молчишь! А говоришь — из справедливости! Эх ты...

— Ну-с, дальше что же? — спросил учитель и вдруг, как-то весь изогнувшись, кашляя и торопясь, быстро глотая слова, зачастил:

— Вы не понимаете... я не мог... я... Вы подозреваете меня чёрт знает в чем! Какая у меня может быть к вам вражда? То есть — нет... она есть! Она всегда будет! — вдруг высоко выкрикнул он.

— Ну вот! Ага! А говоришь: по спра-аведливости! Как же по справедливости, коли по злобе? Эх ты! И жить-то тебе недолго осталось, а ты людей мутишь! Меня дочь как этой твоей писулей смазала! Родная дочь — пойми!

— Позвольте! — уже кричал учитель. — Какое мне дело до вашей дочери? Я не говорю, что к вам лично чувствую вражду, а говорю — к группе, классу.

— Ты мне мудреных слов не говори, не надо! Я и так тебя понимаю хорошо.

— Нет, я... Вы оскорбляете меня вашими подозрениями! Вы можете опровергнуть меня фактами, дока-

зять, что я неверно понял событие, что я неправ... но говорить...

— Я всё с тобой могу говорить,— стукнув себя в грудь ладонью и вставая со стула, с сознанием собственного достоинства заявил мельник. — Я — лицо в округе... Меня на сто верст кругом знают и уважают, а тебе вся цена восемнадцать рублей в месяц.

— Я не хочу... — Учитель топнул ногой и, весь дрожа, задохнулся от волнения и приступа кашля. И, пока он кашлял, со стоном корчась от боли и недостатка воздуха в пораженных легких, Тихон Павлович, стоя перед ним в позе победителя, громко и отчетливо, с красным возбужденным лицом и сознанием своей правоты, отчеканивал ему:

— Эх ты, справедливый человек! Обличаешь другого, а сам себя тоже вот обличил! Какая тебе цена после этого? Я было к тебе, как умному, с разговором приехал... поговорить по душе... А ты что? Понял ты меня? Написал! Ну что ж? И написал! А кто читал? Один поп читал... Я всё такой же, как был, так и остался... Я к тебе приехал с душой, а не с враждой, а ты гнешь себе свое да кричишь на меня. Можешь ты на меня кричать? 18 рублей в месяц получает, живет без всякого закона, один как перст, а туда же — справедливость! Э-эх! Прощай, брат! Не обижаюсь я на тебя за твою дерзость, а жаль мне тебя... жаль... Прощай! Плохая твоя жизнь, и мы все умрем... не надо этого забывать... да!

Тихону Павловичу под конец его речи сделалось чуть не до слез грустно. Учитель, охваченный припадком кашля, сидел на стуле согнувшись и, низко наклонив вперед голову, весь дрожал. Одной рукой он держался за бок, а другой судорожно махал в воздухе, должно быть, желая остановить расходившегося купца.

Мельнику было жалко смотреть на него, и в то же время ему хотелось сказать что-то такое чувствительное, что защемило бы сердце учителя тем же чувством, которым полно его, мельниково, сердце. Но чувствительных слов не было, хотя голос дрожал и переливался нотами низкими и как бы плачущими. Мельник сознавал, что всё, что произошло между ним и учите-

лем, очень обидно для обоих, и ему захотелось прекратить скорее эту тяжелую сцену.

— Прощай! Не помипай лихом... предстанешь пред господом... — И, махнув рукой, он глубоко напялил на голову картуз и поспешно вышел вон.

— Нет, позвольте... — раздалось вслед ему хриплое, возбужденное восклицание учителя.

— Ладно! — буркнул себе под нос мельник, отвязывая вожжи.

— Воротитесь... Мы должны... — появился учитель у окна. Он высунулся до половины на улицу, держась одной рукой за косяк, а другой сильно жестикулируя.

— Никто ничего не должен... Все мы — люди... — бормотал Тихон Павлович, занося ногу на подножку тележки.

— Воротитесь! — крикнул учитель.

Он очень странно крикнул. Тихон Павлович обернулся и посмотрел на него. Лицо у него было страшное, глаза мутные, лоб в поту, и горло спазматически сжималось.

Мельника кольнуло что-то.

— Э... другоряд приеду! Всё равно!

Он больно хлестнул вожжами Лукича, сразу подхватившего тележку в бойкую рысь. Учитель что-то кричал вдогонку.

— Катай! — крикнул Тихон Павлович, еще раз ударив лошадь, и даже скрипнул зубами, желая заглушить горькое чувство, наполнявшее его.

Выехав за деревню, он несколько остыл. Лукич быстро семенил ногами по извилистой дороге среди золотой пустыни вызревшего хлеба. Впереди дороги, на горизонте, собиралась туча: темно-сизые лохматые облака сползались в тяжелую, почти черную массу, и она двигалась навстречу мельнику, бросая от себя на землю густую тень. И на душу ему ложились тени. Он дернул вожжами и, не думая, своротил влево, на более широкую и убитую колею. Туча осталась теперь справа, а впереди, в желтом море хлеба, был виден маленький темный островок леса и кое-где среди холмистой пустыни, ярко залитой солнцем, бросались в глаза

широкие черные ленты вспаханной земли, одинокие в богатой пиве. С них на душу мельника веяло чем-то родственным ей. Лукич бежал, и навстречу ему, зеленая, приближался островок леса, всё рельефнее выступая на ярко-желтом фоне нивы и мутно-голубом небе.

«А ведь это я на станцию еду! — подумал мельник, когда из-за холма показалась линия телеграфных столбов. — Не поехать ли мне в город? Лошадь со станции домой отошло с кем-нибудь... Н-да. К учителю съездил, поговорил! Учитель! А ты учить-то учи, да и сам тоже поучивайся, понимай вокруг-то себя, как и что. Какой бы это леший загнал меня к тебе, кабы душа к тому не понудила? И должен ты, учитель, всегда на такой точке стоять, чтобы человеку до тебя взобраться можно было. А то — эка вот! — вперся со строгостью-то своей выше печной трубы, да и пошел оттуда пророчить... Добродетели стопудовые!»

Чем дальше он думал, тем яснее становилось, что учитель виноват пред ним, и мельнику было приятно сознавать это...

«Эх, люди! Не можете вы обращать внимания на другого, коли он вам не нужен и вы его не боитесь. А еще учителя! Видно, соблюдение-то своей строгости дороже вам чужой души...»

Лукич бодро подбегал к станции, а навстречу ему, свистя и разметывая в воздухе толстый жгут белого пара, приближался поезд, наполняя воздух тяжелым грохотом.

И грохоту поезда отвечали раскаты грома из тучи, охватившей мраком уже почти две трети неба. Через несколько минут Тихон Павлович сидел в вагоне и мчался степью, следя глазами за мелькавшими мимо окон полосами хлеба и вспаханной земли.

Черное небо то и дело рвали огненные стрелы молнии, и гром гудел над быстро летевшим поездом. Шум колес на стыках рельс и лягз сцеплений пропадали в реве грома, а неуловимо быстрые молнии, мелькая мимо окон, слепили глаза.

«Зачем мне в город?» — тоскливо спрашивал себя мельник.

Его встряхивало, покачивало; блеск молнии заставлял его то и дело щурить глаза, грохот грома — вздрагивать и креститься. И наконец он задремал.

## II

«Куда же бы мне пойти? К кому?» — спросил себя Тихон Павлович, отойдя от вокзала квартала два, и почувствовал, что никого из знакомых ему не хочется видеть да и вообще ничего не хочется.

Всю дорогу он спал; приехав в город, пошел в гостиницу, ел там селянку, пил чай и смотрел в окно, как шел дождь.

Дождь шел крупный, долго шел — часа три, эти часы мельник провел в думах, навевших на него какое-то оцепенение. Потом он решил уехать обратно домой, но, когда пришел на вокзал, оказалось, что поезд уже отправился. Он сел на платформе вокзала, глядя, как маневрировали поезда, суетились разные чумазые люди — смазчики, составители, сцепщики, кондуктора товарных поездов. Поезда приходили и уходили, и Тихону Павловичу вся эта суматоха станционной жизни казалась какой-то неосновательной, непродуманной. Зачем нужно так суетиться и хлопотать, так много отвозить и привозить, коли все люди умрут? Нужно бы больше заботиться о покое... И мельнику страшно захотелось покоя, глубокого, сонного, без дум и без забот. Это желание потянуло его куда-то. Тогда он пошел в город и шел теперь холодный и безучастный ко всему.

На улице — тихо и темно. По небу быстро летели обрывки туч, по мостовой и стенам домов ползли густые тени. Воздух был влажен, душен, пахло свежим листом, прелой землей и тяжелым запахом города. Пролетая над садами, ветер шелестел листвою деревьев — тихий и мягкий шёпот носился в воздухе. Улица была узка, пустынна и подавлена этой задумчивой тишиной, а глухой грохот пролетки, раздававшийся вдали, звучал оскорбительно-нахально. Мельник шел, заложив руки за спину, и нес с собой свои бесформенные полудумы, полуощущения, одевавшие сердце его в холод и туман.

Вдруг откуда-то вырвалась толпа странных, точно сцепившихся между собой звуков духовой музыки и понеслась над городом в бешено громком вальсе. Одна нота была такая тяжелая, обрывистая — уф, уф! Она совсем не вязалась с остальными и, тяжело вздыхая, лезла выше всех остальных... Казалось, что-то большое и тяжелое грузными прыжками пробует вырваться на волю и не может.

«Зайти, что ли?» — спросил себя мельник, остановившись у отворенных ворот с двумя ярко горевшими фонарями. Прямо из ворот куда-то вдаль тянулась аллея акаций. И, еще не решив, следует <ли> ему идти в сад, Тихон Павлович уже шел по ней, глядя на фонари, развешанные вдоль аллеи на проволоке и бросавшие на бурую дорожку разноцветные пятна. Аллея круто повернула направо, и Тихон Павлович увидел эстраду, на ней играл военный оркестр, перед эстрадой — лавочки, на них какие-то темные фигуры. Ему не захотелось идти туда, — он сел на одну из скамей, стоявших по бокам аллеи.

Шумели деревья, и над ними по небу, всё более очищая его, мчались клочки туч. Какая-то женщина прошла мимо Тихона Павловича... Он равнодушно посмотрел ей в спину, она воротилась и снова прошла мимо. Тогда он про себя обругал ее... Вдруг она направилась к нему, села с ним рядом и заглянула ему в лицо. Перед ним мелькнули темные пытливые глаза, большие красные губы и прямой, красивый нос. Он степенно и безглаголиво отодвинулся, и ему стало еще скучнее.

— Скучно, купец? — спросила его соседка.

— Да-а... — протянул он, но сейчас же спохватился и хмуро сказал ей: — Проваливай... нечего даром-то ляды точить... Не таковский...

Она засмеялась глубоким, грудным смехом.

— Сердитый... Не бойся, не трону... Мне самой скучно, вот я и спросила...

Он помолчал, ожидая, что она встанет и уйдет. Но она не уходила, а, позевывая, продолжала сидеть рядом с ним. Он искоса посмотрел на нее — она очень молода и красива. Музыка перестала играть и снова начала, на этот раз что-то менее шумное.

— Что же ты торчишь тут, если тебе скучно? — вдруг спросил Тихон Павлович свою соседку.

— А ты? — не глядя на него, кротко бросила она.

— Я приезжий... куда я пойду?..

— В номер, где остановился, иди, а то в трактир.

— Ишь ты! — сказал Тихон Павлович и, помолчав, прибавил: — Чай, там тоже скучно одному-то...

— Компанию найди...

— На улице, что ли, мне ее подбирать?

— В трактире всегда компания есть.

— Это, положим, так... — вздохнул мельник и подумал: «А что, в самом деле — не пойти ли мне в трактир? И эту взять с собой... Может, что и выйдет?» — Ты пойдешь со мной в трактир-то? — спросил он.

Она ответила не сразу, как-то замаялась.

— Пожалуй... Человек только тут один будет искать меня.

— Ну, какой там человек?

— Нет, верно... Мастеровой один...

— На что он тебе? Плюнь, пойдём...

Ему положительно стала улыбаться мысль о хорошей пирушке.

— Да, я иду... Он, чай, навстречу попадет...

— Больно нужно! — сказал мельник, поднимаясь со скамьи. — Айда!

Она встала и пошла, высокая, стройная, в белом платочке на голове, рядом с ним, кряжистым человеком, в поддевке до пят.

— Нет, кабы встретить его, хорошо бы было, — говорила она и зачем-то пояснила: — Это безрукий...

— Это как?

— Оторвало ему руки-то на машине.

— Так на что тебе его? — несколько удивился Тихон Павлович.

— А он поет больно хорошо.

— Ну?

— Мы с ним сегодня хотели на реку пойти в рощу...

— Так... — усмехнулся мельник. — Ну, так что же теперь?

— А ничего, — кратко сказала она.

Они вышли из сада, и мельник, спросив, куда надо идти, крикнул извозчика. Подпрыгивая по неровной мостовой, пролетка с дребезгом покатила между двумя рядами домов. Было еще не поздно. Из окон на улицу лился свет ламп и звуки голосов. Проезжая мимо одного маленького белого дома за палисадником, Тихон Павлович услышал раскаты басистого смеха, которому вторил смех женщины, звонкий и задухивный.

«Живут люди... не дурят, не мудрствуют», — подумал он с огорчением, и ему стало обидно за себя.

— Так говоришь — без рук? — помолчав, спросил он женщину.

Она плотно прижалась к нему, держась одной рукой за крыло пролетки, а другой за его колено.

— Миша-то? Да... — сказала она.

— Так. Он кто же тебе будет? Милый друг, что ли?

— Н-ну! Тоже... Он уже старый, больной. Он давнишний наш знакомый — маленькую меня, бывало, на руках таскал.

— Ишь ты что! А отец-то у тебя кто?

— Маляр был.

— Умер?

— В холеру помер... Скоро и приедем.

— Так... А ты до этого чем занималась? — любопытствовал мельник, чувствуя, что когда он говорит, так ему легче.

— Швейка, — ответила она.

Через несколько минут они сидели в углу большого трактирного зала. Трактир был грязный, тесный, пахучий. Посреди зала за одним из столов шумела компания пьяных; у одного из окон, заставленных горшками герани и фуксий, пили чай два подозрительные человека; один — лысый, с ястребиным носом, поминутно кашлял; другой — черный, с солдатскими усами, меланхолично свистел сквозь зубы, глядя в свой стакан. В углу, у изразцовой печки, сидел седенький старичок с благочестивым истомленным лицом и сладко прищуренными глазками. Еще несколько человек очень странно разбросаны по большой закоптелой комнате, и никто не обращал внимания друг на друга.

Мельник со своей подружкой уселись в темном углу, у двери в маленькую комнатку, им хорошо был виден весь трактир, освещенный пятью стенными лампами. Их стол стоял у открытого окна; с улицы на них веял теплый ветер, густой от смешанных запахов.

— Тебя как звать-то, красавица?

— Анной.

— Ну-ка, Аннушка, выпьем для знакомства.

Оп налил из поставленной перед ним бутылки две рюмки водки; чокнулись и выпили. Аннушка сняла с головы платок и стала красивее: волосы у нее были волнистые, каштановые, глаза — продолговатые, карие. Она то прищуривала их, то открывала, перебирая пальцами полной и белой руки сборки ситцевой кофточки на груди.

— А плясать ты умеешь? — спросил Тихон Павлович, рассмотрев ее и найдя, что она должна быть особенно хороша в пляске, когда идет этак боком и поводит плечом, подманивая к себе глазами...

— Пляшу... — ответила она, снова наливая рюмки.

— И выпиваешь-таки, видно? — усмехнулся мельник.

— А как же? Такая жизнь... Нам не пить нельзя... — спокойно заявила она.

— Разве уж больно тяжело? — допрашивал мельник, не скрывая недоверия к ней и насмешливо улыбаясь.

Она ответила не сразу: сначала оправила волосы на голове, отломил кусочек черного хлеба, понюхала его с видом записной пьяницы, потом положила в рот и, медленно пережевывая, заговорила:

— Чай, если и вас заставить целоваться со всякой бабой, какая того от вас захочет, так и вам, даром что вы мужчина, противно это станет. А наша сестра должна... А ведь среди вас хороших-то больно мало, больше всё... такие, что, того и гляди, стошнит. Опять же и грех... Мы не бесчувственные какие — бога помним... совестно. Иногда — особенно с похмелья — так жутко станет, что вот взяла бы да и сунула голову в петлю... Ну, сейчас возьмешь полбутылки да и оглушишь себя натощак-то... И втянешься... Без водки на такое дело нельзя выходить — затоскуешься...

Еще с начала ее речи Тихон Павлович почувствовал, что ее глаза как-то щиплют его за сердце, остановившись на его лице и как бы стараясь запомнить его. Когда она сказала «такие», сделав паузу перед этим словом, — он почувствовал, что в этой паузе много обидного для него. А потом она заговорила о боге. Он пригласил ее с собой совсем не для этого. И в душе его вспыхнуло раздражение против нее. Он строго и веско заговорил:

— Кому что назначено, тот и должен нести свою тяжесть... н-да. А вот я приехал с тобой сюда для веселья, а не для постных разговоров. Разговор такой — совсем ни при чем в нашем деле. Желаю я разгуляться и чтобы с треском... понятно? Сто целковых брошу, но чтобы был отдых душе. Чтобы вихрь был! Можешь ты мне в этом деле способствовать? Действуй — десятку дам! Но что-бы — вот как было!

Он повел рукой по шее и мотнул головой, зашурив глаза.

Она поняла его и тоже сразу вспыхнула. До этой поры он ей казался мямлей, бородачом-семьянином, который и согрешить желает только до известного предела; но теперь ей стало ясно, что он может развернуться широко. И, блеснув глазами, она встала со стула, накидывая на голову платок и говоря:

— Так бы вы сразу и сказали, а то чешете язык, и невозможно понять — зачем? Посидите, я в минуту ворочусь. Сейчас будет гармонист, песни будем петь, спляшем... А вы, пока я хожу, переберитесь-ка вот сюда... — она указала рукой на соседнюю комнату, — да закажите чаю, водки еще и закуски... Ну те-ка, я тяпну еще одну!

Она «тяпнула» рюмку водки, улыбнулась и исчезла.

А он подозвал полового, сказал ему всё, что было нужно, и перешел в соседнюю комнату. В ней было три окна, все на улицу; в одном простенке висела картинка, изображавшая охоту на медведя, в другом — голую женщину. Тихон Павлович посмотрел на них и сел за круглый столик, стоявший перед широким кожаным диваном, над которым опять-таки висела картина, изображавшая не то луга, не то море в тихую погоду. В сосед-

ней комнате гудела публика, всё прибывавшая, звенели стаканы, хлопали пробки.

«Попробую встряхнуться...— думал Тихон Павлович, наливая себе водки. — Авось, после оживу. Будет, поваландался с собой. Кабы можно было мне понимать, как и что — дело другое. Но понимать я не могу. Томит меня, а что томит? — неизвестно. Ну, положим, умер человек — что же такое? Дело ясное — жил, — оттого и умер. И я умру... Душу забывать не надо — это точно. Но чего она хочет? Кабы я мог это понимать! — Ему вспомнился Кузька. — Он вот дает простор себе. Живет... и никаким думам не подвержен. А ведь у него тоже душа, ежели правильно рассудить. И у учителя душа. Однако все люди — разные. Вот и эта бабенка — тоже: жить — говорит — совестно. А почему совестно, ежели судьба? Без божьей воли и волос с головы не падет...»

Он тяжело вздохнул, выпил и, откинувшись на спинку дивана, прислушался к себе.

Почему-то ему представилась большая труба военной музыки в саду.

— Уф, уф, — рычала она, выбиваясь из толпы других нот. Потом он ясно вспомнил дребезг пролетки, что так грубо нарушал грустную тишину вечера.

«Разве можно самого себя понимать, коли человек, можно сказать, как мельница: целый день разные разности перетирает своим умом?» — с обидой на кого-то подумал Тихон Павлович.

Ему казалось, что он как бы раздвоился: одна его половинка незаметно для другой старается куда-то столкнуть ее. Он осторожно обходил сам себя, как обходил он разных мужичков, вступавших с ним в сделки.

«Разве я спорю? — доказывал он себе, хмурия лоб. — Грешен и закоснел — понимаю... Но как мне распротаться-то? Придет пост — буду говеть, а до той поры — уж как ни то — надо сносить».

И все-таки, в конце концов, он ясно чувствовал, что одному ему не годится оставаться здесь долго, что его опять понемногу охватывает и засасывает тоска.

«И чего эта чёртова кукла провалилась?» — с негодованием подумал он, и в ту же минуту отворилась дверь.

Перед ним стоял высокий человек в красной рубахе, пустые рукава которой свободно болтались по бокам, ниспадая с плеч. Клинообразная русая борода удлиняла бледное, испитое лицо с лихорадочно блестящими серыми глазами; длинная шея с изогнутым и вытянувшимся вперед кадыком придавала этой странной фигуре что-то журавлиное. На ногах у него были валенки и плисовые шаровары, вытертые на коленях. Ему было, наверное, лет под пятьдесят, но глаза молодили его. Он смерил Тихона Павловича взглядом.

— Значит, вы и есть купец?

— Я...

— Налейте мне рюмочку.

— Изволь.

— И поднесите.

— Могу.

Мельник налил водки, поднес ее к губам безрукого, и тот сразу, потянув в себя воздух, с каким-то особенным свистом выхлебнул ее содержимое всё до капли.

— Закуски надо?

— Не употребляю после первой рюмки.

— Налить еще?

— Покорно благодарю...

Он говорил высоким металлическим голосом, после двух рюмок глаза его заблестели еще ярче, а на щеках вспыхнули два красные пятна. Тихон Павлович дал ему кусок хлеба с какой-то рыбой, тот взял его губами, сел на диван и, наклонив голову над столом, положил закуску на край стола и ел. Кусая, он далеко вытягивал нижнюю губу и удерживал ею пищу от падения на пол. Тихон Павлович смотрел на него, и ему было жалко этого изуродованного человека.

— Как это руки-то?.. — спросил он с соболезнующей нотой в тоне вопроса.

— Очень просто: попал в пьяном виде в приводный ремень — раз, два! — три месяца в больнице, и — пошёл в нищие! — быстро рассказывал калека.

— Больно-то, чай, как было! — воскликнул Тихон Павлович, чмокая губами.

— Это прошло. А что прошло, того и нет. Скверно вот то, что есть, а то бы всё наплевать.

— То есть как? — не понял Тихон Павлович.

— Очень просто: жить без рук невозможно. Даже милостыни принять нечем — вот какая подлость! Ртом ловить — зубы вышибут.

— Это верно, — засмеялся Тихон Павлович.

В калеке было что-то бойкое, бодрящее, и его глаза сверкали так умно. Тихон Павлович подумал, что, должно быть, он хороший, веселый парень, даром что без рук.

— Аннушка — скоро? — спросил мельник.

Безрукий быстро вскинул голову и остро посмотрел в лицо Тихона Павловича. Тому показалось, что это какой-то особенный, неприязненный взгляд, и он скосил глаза в сторону, немного смущенный.

— Вы где ее подцепили? — спросил безрукий.

— В саду...

— А!..

— А что?

— Так...

— Красивая девица, — сказал Тихон Павлович, чувствуя, что неприязнь к нему всё возрастает у его собеседника.

— Тоже калека... — кратко бросил тот.

— То есть как?

— Души нет. У меня машиной руки вырвало, а у нее душу — жизнью. Жизнь у бедных людей проклятая — калечит без всякого резона. Жестокая жизнь.

Помолчали. Безрукий ерзал по дивану, точно разжигаемый каким-то нетерпением, а Тихон Павлович, исподлобья поглядывая на него, чувствовал себя неловко, злился и чего-то боялся.

— Еще рюмочку?

— Давайте... Но больше не надо, а то не буду цеть.

— В певчих были?

— Я? Всем был — часовых дел мастером был, певчим был, смазчиком на железной дороге был, роговыми изделиями торговал, приказчиком по лесной части... Давно живу!

— Н-да... Вон как... — сказал Тихон Павлович, поражаемый бойкостью собеседника. Снова помолчали.

-- А долго не идет Аннушка-то...

— Анюта? — как-то весь перекосясь безрукий. — Придет! — И он сухо засмеялся. — Непременно придет... Вы ей десять целковых хотели дать? Придет — еще бы! За десять-то целковых, когда она за рр...эх! — Он, извиваясь своим длинным телом, закашлялся. — Я эту Анюту с шести лет знаю. Н-да... Я ее на руках носил, пряники ей покупал, а теперь сам вот живу под ее охраной... Я ей, бывало, пряники, а она мне теперь хлеб и водку... Времена переменчивы. А люди — скоты. Впрочем, всё держится в своих законах, и человек на земле не более, как ничтожная гнида. Всё в порядке, ныть и плакать не стоит — ни к чему не поведет. Живи и ожидай, когда тебя изломает, а если изломало — жди смерти! Только и есть на земле всех умных слов. Поняли? И Анюта, и я, и вы — все мы с молодости нашей потеряли всё, а нашли до сей поры шиш с маслом! И больше никаких. Всякие разговоры — пустяки и чепуха. Я прежде был другого взгляда на жизнь и очень беспокоился за себя и за других — как, мол, и что, и какой смысл, и в чем суть, и зачем, и почему... Нынче — наплевать! Проходит жизнь известным порядком, ну, и проходи,— так, значит, надо, и я тут ни при чем. Законы-с; против них невозможно идти... И незачем, потому что даже и тот, кто всё знает, ничего не знает. Уж поверьте мне в этом случае — с умнейшими людьми вел по этим делам беседы — со студентами и со многими священнослужителями церкви. Х-хе!

Он горел и кипятился, этот безрукий калека, кидая одну за другой свои отрывистые и туманные фразы Тихону Павловичу. Тон его речи был странен: в нем звучала и горькая обида, и безнадежность, насмешка, и страх пред законами и силами — словами, которые он произносил с каким-то особенным подчеркиванием и понижением голоса.

Тихон Павлович мало понял из его речи, но она сообщила ему какую-то нервную робость, он чувствовал, что калека что-то объясняет ему. И, когда безрукий сделал паузу, задыхаясь от всего сказанного, он робко и задумчиво спросил его:

— Значит, человеку некуда податься?

— Ни на вершок! — сверкнув глазами, сказал без-

рукий и, подавшись всем корпусом в сторону Тихона Павловича, добавил голосом сдавленным и строгим: — Законы! Тайные причины и силы — понимаете? — Поднял кверху брови и многозначительно качнул головой. — Никому ничего не известно... Тьма! — Он съежился, вобрав в себя голову, и мельнику представилось, что если б его собеседник имел руки, то он, наверное, погрозил бы ему пальцем.

— Н-да-а! — протянул мельник, задумчиво теребя бороду и наморщивая лоб. — Ну, а как же душа?

— Душа?.. Младенцев, малых ребят в кабаках и других таких местах видали? Вот — душа на земле! Испытание ей дано...

— Значит, как же теперь, ежели совесть?..

— Вот — идут... — кивнул головой безрукий.

В дверях стояла Аннушка, покрасневшая и тяжело дышавшая; из-за ее плеча высовывалась усатая физиономия в фуражке, ухарски сдвинутой на ухо, и с насмешливо прищуренными глазами.

— Михаил Антоныч! Костя пришел...

— Костя? — встрепенулся безрукий. — Дельно! Это восторг один! Костя, иди сюда!.. Вот, купец, человек, так сказать, талант! Вот — душа!

Из-под локтя Аннушки вынырнул худой и желтый юноша, сутулый, с ввалившейся грудью, с тонкими губами; они были у него полуоткрыты, и из-за них видно было два ряда зубов, черных, поврежденных винным камнем.

В комнате сразу стало шумно — пришедшие внесли с собою целую волну разнообразных звуков. Усатый человек с насмешливыми глазами оказался гармонистом; он сейчас же сел в угол дивана и поставил себе на колени большую гармонику с бесчисленным количеством клапанов и взял какой-то чрезвычайно высокий и бойкий аккорд, после чего победоносно взглянул на Тихона Павловича и налил себе рюмку водки.

Кроме Аннушки, пришла еще девица — Таня, как назвал ее молодой человек в пиджаке, не то ремесленник-«чистяк», не то мелкий приказчик. Они уселись к окну, а Аннушка, гармонист, Тихон Павлович, безрукий и Костя составили группу у стола. Там, в большой

комнате, народу набралось много, гудел могучий пьяный шум.

Безрукий и Костя говорили что-то между собой вполголоса; лицо Кости освещалось глубоко ввалившимися голубыми глазами, под ними были большие темные пятна. Он был в поддевке, в красной рубахе и сапогах с набором. Аннушка что-то шептала гармонисту, лукаво улыбаясь, а тот слушал ее и равнодушно поглядывал на мельника.

Все чувствовали себя несколько стесненными, особенно Тихон Павлович, потерявшийся при виде стольких незнакомых лиц. От выпитой водки и разговора с безруким голова у него наполнилась туманом.

Мельник крикнул, желая обратить на себя внимание, и его поняли. Все как-то засуетились, сразу сдвинулись плотнее к столу; Аннушка вскочила с дивана и села рядом с мельником на стул; пара от окна тоже подошла к столу.

— Для начала выпьем, господа компания! — возгласил Тихон Павлович, и ему очень понравилось то, что он сказал эти слова так степенно, солидно, веско.

Выпили. Безрукому подал Костя, сидевший рядом с ним.

— Вы, значит, — обратился Тихон Павлович к безрукому, — как человек этакий... — Он замялся, взглянув на плечиэтакого человека. — Вы и командуйте всем. Чтобы было весело, чтобы ходуном ходило всё... Выпьем еще по одной для развязки!

— Можно, — согласился безрукий. По мере того как он пил, у него всё более расширялись глаза и в кадке начинало что-то клокотать. — Выпьем и споем хором! Идет? Хорошо будет! Ты, Костя, подвывай-подголашивай, Аннушка заведет, а вы, Марк Иваныч, подтяните на гармонике.

Все заговорили сразу. Юноша в пиджаке находил, что хора не выйдет — мало голосов; гармонист согласился с ним и, очевидно, желая показаться сведущим, употреблял разные специальные термины.

— Никак не выйдет, потому все мажорные голоса, и будет один крик. Триё — вот это будет враз, — вторюет, значит, нужно петь.

Аннушка, выпившая и возбужденная ластилась кошкой к мельнику. Он старался сохранить солидность, но уже масляно улыбался и ущипнул ее за бок. Она тихонько взвизгнула и ударила его по руке. Они увлеклись понемногу, а вокруг них всё горячее разгорался спор о том, что и как петь.

— Марк Иваныч, это не так! — с тоской в голосе восклицал безрукий.

— Нет, так! — глухим басом рубил гармонист.

Костя не принимал участия в споре: отвалившись спиной в угол дивана, он выпятил грудь, полузакрыв глаза и вдруг почему-то побледнел.

— Костюшка, запевай! — крикнула Таня высоким контральто и облокотилась на стол, подперев щеку рукой. Ее кавалер начал что-то шептать ей на ухо, скашивая глаза в сторону мельника, обнявшего свою соседку за талию и подносившего к ее рту рюмку рябиновой. Она жеманилась, отворачивая голову в сторону. Таня посмотрела на нее ленивым взором тусклых синих глаз и снова приняла прежнюю позу, кинув гармонисту:

— Будет вам!

А безрукий, наклонившись к нему корпусом и брызгая слюной, громким звенящим голосом кричал:

— И опять не так! Нужно начинать с грусти, чтобы привести душу в порядок, заставить ее прислушаться.

— То есть это как же? — скептически возражал гармонист, хмуря брови и поводя усами.

— А так — она чувствительна к грусти... Понимаете? Вот вы ей сейчас и закиньте удочку — «Лучинушкой», к примеру, или «Заходило солнце красное» — она и приостановится, замрет. А тут вы ее хватите сразу «Чоботами» али «Во лузях», да с дробью, с пламенем, с плясом — чтобы жгло! Ожгете ее, она и встрепенется! Тогда и пошло всё в действие. Тут уж начнется прямо бешенство — чего-то хочется и ничего не надо! Тоска и радость — так всё и заиграет радугой!..

Безрукий задыхался от возбуждения и странно раскачивал корпусом, точно собираясь нырнуть на пол под ноги гармониста. Шум в трактире становился всё более хаотичным, оглушающим, пьяным.

И вдруг в него впиалась высокая теноровая нота, болезненно вибрирующая, протяжная, унылая:

Эх, да в непогоду-у...

—Ш-ш-ш! — змеей зашипел безрукий, вскинув кверху голову и обводя публику широко раскрытыми глазами с выражением в них и просьбы, и какой-то боязни, и удовольствия. Публика сразу притихла, уставилась на Костю, сидевшего на диване с бледным лицом и судорожно открытыми губами, из которых, взвываясь всё выше, лились красивые, печальные звуки...

— Таня, подхвати, голубушка! — шептал молящим шёпотом безрукий.

Ветер воет, завывает...

— сразу перешел Костя на речитатив.

Таня равнодушно, с видом человека, говорящего: «Могу — мне всё равно!», посмотрела на Костю и, крепче приложив руку к щеке, подхватила прежде, чем Костя кончил свой речитатив:

А мою голо-овушку...

— «Злая грусть терзает!..» — продолжал Костя, неподвижный и весь углубившийся в себя. Маленький он был, сухой, желтый. Голос Кости, высокий, металлический тенор, дрожал, рыдая, и замирал в тоске, но прежде чем он прерывался, раздавалось густое контральто Тани. Оно задумчиво и печально плыло из ее горла, ровное, безнадежно спокойное; это делало слова песни еще более грустными. В дверях комнаты стояла толпа людей с красными, возбужденными и потными физиономиями; за ней, где-то там, в комнате, по-прежнему звучали стаканы и гудели пьяные голоса, но они всё ослабевали, а толпа у дверей протискивалась дальше в комнату.

Эх, да и поїду я в степи...

— грустно рассказывал Костя с красными пятнами на своем лице.

В степи-и...

— подхватила Таня, и голос ее звучал только как равнодушное эхо чужой скорби.

Поищу там доли...

Голоса слились и дружной, теплой струей ровно потекли по комнате, пропитанной запахом водки, табаку и пота, вдруг задрожали, забились, зарыдали, точно им стало тесно и тошно тут. Потом голос Кости оборвался и умолк, а Таня продолжала:

Матушка-пустыня-а...

— «Матушка-пустыня!» — снова вступил Костя то-скливым криком, —

Приюти сиротку-у...

— «Приюти сиротку», — вступил третий, новый голос. Он слился с голосом Кости и, звуча в унисон ему, гибкий, тоже дрожащий, являясь как бы эхом, тенью основного звука, заплакал и застонал, выпевая только одни гласные. Это пел безрукий, закрыв глаза и выгнув свой кадык. Контральто Тани звучало — низкое, ровное, густое, и оно стало чем-то вроде широкой полосы бархата, извивавшейся в пространстве, а на нем, на этом бархате, в фантастических узорах дрожали золотые и серебряные нити голосов безрукого и Кости.

Публика была подавлена этим рассказом сироты о поисках своей доли. Тихон Павлович давно уже неподвижно сидел на стуле, низко свесив на грудь голову и жадно вслушиваясь в звуки песни. Они снова будили в нем его тоску, но теперь к ней примешивалось ощущение едко-сладкое, приятно коловшее сердце. Он чувствовал себя так, как будто его обливало что-то теплое и густое, как парное молоко, обливало и, проникая внутрь его существа, наполняло собой все жилы, очищало кровь, тревожило его тоску и, развивая ее и увеличивая, всё более смягчало. В душе мельника выросла странная сладкая боль, точно льдина тоски, давившая его сердце, таяла, распадалась на куски, и они кололи его там, внутри.

Аннушка положила на плечо соседа свою голову и замерла в этой позе, потупив глаза в землю. Гармонист

задумчиво покручивал ус, а человек в пиджаке отошел к окну и стал там, прислонясь к стене и смешно вытянув голову по направлению к певцам, точно он ртом ловил звуки песни. Толпа в дверях шуршала платьем и глухо ворчала, слившись в одно большое животное.

Трое певцов пели, сами себя очаровав песней, и она звучала, то мрачная и страстная, как молитва кающегося грешника, то печальная и кроткая, как плач больного ребенка, то полная отчаянной и безнадежной тоски, как всякая хорошая русская песня.

Э я сижу-у-мо-оря-а...

— рыдал Костя, у которого от напряжения выступил пот на лбу и катился по щекам, как слезы.

Э-а, э-оо-э-о-а!

— вторил ему безрукий одними гласными. Он плотно зажмурил глаза, и ноздри его нервно дрожали, дрожали и губы и подбородок.

Доли себе жду-у!

— голосом, полным безнадежности, и покачивая головой, пела Таня и улыбалась такой тоскливой, острой улыбкой.

Душу мою...

— звенел и плакал тенор Кости.

Слезы-и-и...

Слезы жгучи моют!..

— дрожал голос безрукого.

Звуки всё плакали, плыли; казалось, что вот-вот они оборвутся и умрут, но они снова возрождались, оживляя умирающую ноту, снова поднимали ее куда-то высоко; там она билась и плакала, падала вниз; фальцет безрукого оттенял ее агонию, а Таня всё пела, и Костя опять рыдал, то обгоняя ее слова, то повторяя их, и, должно быть, не было конца у этой плачущей и молящей песни — рассказа о поисках доли человеком.

— Братцы! — глухо крикнул Тихон Павлович, вскакивая со стула. — Больше не могу! Христа ради, больше не могу!

Лицо у него было красно и всё в слезах, борода, смоченная ими, скомкалась, и в глазах, широко открытых, испуганных, полных болезненного напряжения, сверкало что-то дикое и восторженное, жалкое и горячее. Вставая, он оттолкнул Аннушку; она чуть не упала, оправилась и, точно проснувшись, смотрела на безрукого глазами тусклыми и тупыми — тяжелым взглядом уставшего животного.

— Душу мою пронзили! Будет — тоска моя! Тронули вы меня за сердце... то есть, часу у меня такого не было в жизни!

Таня тупо смотрела на него, и из ее губ всё лились ровные, сочные ноты, теплые, но без огня.

— Братцы! Как угли горят во мне теперь — вот какая тоска! Что теперь я сделаю? На нож пойду! — глухо гудел мельник, страшно тараща глаза и растирая грудь обеими руками. — Кутим! С треском! Эх ты, жизнь!

Безрукий и Таня оборвали песню. Таня сейчас же налила себе полстакана водки и выплеснула ее себе в рот с такой быстротой, точно и у нее там угли горели и она хотела скорее потушить их. Взволнованный и уставший безрукий молча отдувался. Он как-то сразу осунулся, у него ввалились щеки, и глаза смотрели тупо, тускло и бессмысленно.

— Налей-ка мне рябиновой, Марк Иваныч!

— Славно пели, — тихо сказал гармонист, поднося к его рту стакан.

Толпа очнулась, и поднялся хаотический шум и говор. Послышались одобрительные восклицания, ласковые ругательства.

Доля, моя доля, где ж ты...

— вдруг снова зарыдал тенор Кости.

Он всё время пел с закрытыми глазами и, охваченный своей песнею, должно быть, не слышал ничего, сделал паузу и вот — снова запел. Раздался хохот. Хохотали те, что стояли у двери, и с ними хохотала Таня. Показалось смешным это увлечение Кости, и смех разбудил его. Широко открыв глаза, горящий и нервный, он посмотрел на смеющиеся физиономии, съе-

жился, побледнел и как-то сразу погас, превратился в того худого, желтого паренька, каким он вошел сюда.

— Лапушка, пей! — угощал Тихон Павлович Аннушку. — Пей, гуляй! Кучу! Сокрушил бы я себя самого...

Гармонист взял в руки гармонику, подумал, подняв голову вверх, и заиграл что-то бойкое.

— Вот как тронули душу купца! — толкал его безрукий под столом ногой. Гармонист молча кивал головой. Около стола Тихона Павловича появились какие-то захальные фигуры и пили его водку. Он пил со всеми и быстро пьянел. И Аннушка пьянела.

— Плясать хочу, Марк, играй камаринского! — кричала она, поводя плечами. Безрукий, нахмурившись, смотрел на нее с дивана и кусал себе губы.

— Ну, Михаил Антоныч, не сердись! Всё равно ведь! — улыбнулась она ему, заметив его мину. — Один раз жить на свете...

— Баба, хоть четыре жизни живи, всё скотиной будет! — зло кинул он ей.

— Друг! не ругайся! Она — милая девица, я ее люблю! — бушевал мельник. — Тронули вы мне душу и очистили ее. Чувствую я теперь себя — ах как! В огонь бы полез...

— Человек куда не должен лезть... Ты вот налейка мне!

— Не лезть куда? Это — верно! Руку! Да, руки у тебя нет... Ну, поцелуемся.

Он обнял безрукого и стал целовать его. Костя наливал себе водки и пил ее рюмку за рюмкой, видя, что никто за ним не следит.

— Играй русскую! Хочу плясать! — всё еще стояла на своем Аннушка. Гармонист грянул какой-то удивительный аккорд и заиграл «По улице мостовой».

Уперев руки в боки и поводя плечами, Аннушка, соблазнительно красивая и горящая от возбуждения, павой проплыла мимо разгоряченного вином мельника и вызывающе подмигнула ему глазом.

— Эх ты! Пошел и я! — ухарски крикнул он и, громко топая ногами, пустился вслед за ней.

Безрукий смотрел на него, страшно оскалив зубы и вращая белками.

Снова собралась толпа и грохотала, глядя на пляшущих.

— Загулял Тихон! — угрожающе выкрикнул мельник. — Возобновился человек! Э-эхма!

Ночью, на пятый день после описанного, Тихон Павлович возвращался со станции домой, па хутор.

С большой головой, разбитый и мрачный, он трясся в телеге и чувствовал в груди мерзкий, горький осадок после четырехдневного кутежа. Представляя себе, как жена встретит его и заночует: «Что, батюшка, снова сорвался с цепи-то?» — и начнет говорить о летах, седой бороде, детях, стыде, о своей несчастной жизни, — Тихон Павлович сжимался и озлобленно плевал на дорожку, глухо бормоча:

— Н-ну и жизнь!..

— Что вы-с? — спрашивал его возница, словоохотливый «Пантелей со станции», именовавшийся так в отличие от другого Пантелея — «пришлого».

— Ничего, ничего! Вези знай! — сердито ворчал Тихон Павлович.

— Ага! Это бывает: думает, думает человек и заговорит сам с собой вслух. Бывает это от многих дум, ежели... — не унимался возница.

— Помалкивай себе! — обрывал его Тихон Павлович.

— Что ж! Можно и помолчать... — соглашался Пантелей и через несколько времени вновь заговаривал.

Хмурая ночь окутала всю степь тяжелым мраком, и в небе неподвижно стояли еще серые облака. В одном месте их было белесоватое, странное пятно — это луна хотела пробиться сквозь тучи и не могла. Приехали к плотине.

— Стой! — сказал Тихон Павлович, вышел из телеги и посмотрел кругом. Шагах в сорока от него темной угловатой кучей рисовался во мраке ночи хутор; справа, рядом с ним — запруда. Темная вода в ней была неподвижна и страшила этой неподвижностью. Всё

кругом было так тихо и жутко. Густо одетые тенью ивы на плотине стояли прямо, строго и сурово. Где-то падали капли... Вдруг на запруду налетел ветер из рощи; вода испуганно всколыхнулась, и раздался тихий, жалобный плеск... И деревья, стряхивая сон, тоже зашумели.

Тихон Павлович посмотрел, как вода, тронутая ветром, снова засыпала, успокаиваясь постепенно, но еще пока покрытая мелкой рябью и точно дрожавшая, посмотрел, глубоко вздохнул и пошел к хутору, глухо бормоча:

— Жизнь... Колебание одно только... рябь.

Но его не успокаивало это, и, чувствуя себя виноватым пред всеми и пред самим собой, он остановился, взял в руки бороду, дернул себя за нее, качнул головой и громко произнес:

— Старый ты чёрт, Тишка!..

— Что-с? — откликнулся из мрака «Пантелей со станции».

— Ничего, пшёл ты...

Где-то петухи пропели.

## II





## ДВА БОСЯКА

ОЧЕРК

В первый раз я их увидел в Севастополе. Из группы, человек в двадцать, «голодающих из России», явившихся к подрядчику-землекопу проситься на работы по выемке земли для какой-то канавы, резко выделялись две высокие худые фигуры, в которых с первого взгляда можно было узнать босяков и по костюмам, и по рисовке, и по той бесшабашной независимости, с которой они держались среди пришибленных голодающих, скучившихся на дворе подрядчика, сидевшего на резном крылечке своего веселенького домика, кругом обсаженного тополями.

Сняв шапки, голодающие стояли понуро, говорили тихо и просительно, и из каждой складки их рваных армяков сияло печальное сознание беспомощности и той угнетенности духа, которая, подавляя человека, делает его каким-то деревянным автоматом, в одну секунду готовым подчиниться чужой воле.

С подрядчиком говорил низенький чернобородый мужик с желтым лицом и живыми, но подернутыми дымкой печали глазами.

Углы рта у него были опущены книзу, и к ним от переносья легли те две резкие морщины, которые придают такое характерное страдальческое и изможденное выражение лицам святых на иконах русской школы. Говорил он медленно и округленно:

— Будь благодетелем, господин, возьми! Мы за всякую цену согласны, нам бы на кусок только, потому как больно уж мы ослабли животами!

Сзади его раздавались вздохи. Подрядчик, сырой и толстый человек средних лет, с болезненным лицом

и серыми сощуренными глазами, задумчиво барабанил пальцами по своему животу и разглядывал артель.

— Возьми, сделай милость. Мы те в ножки поклонимся!.. — И мужик стал опускаться книзу.

— Ну, ну! Не надо, — сказал подрядчик, махнув рукой. — Ладно, беру. Всех беру. Полтипа в день, харчи ваши...

Мужик почесался и, вздохнув, оглянул свою артель. У нескольких из его товарищей по грустным лицам прошла как бы неуловимая тень, и они тоже вздохнули. Чернобородый мужик крикнул и переступил с ноги на ногу.

— У тебя вон работают на твоих харчах по шесть гривен... — робко заявил он.

— Ну? — строго спросил подрядчик.

— Ничего... мы бы не хуже...

— Не хуже! Знаю я. Те смоленские, исконные землекопы.

— Больше всё наши как будто...

— Какие это ваши?

— Самарски... пензенски, симб...

— А ты вот что: хошь работать — иди и становись, а не хошь — пошел... Ну? То-то! Иди... Сколько человек?

— Нас-то? Нас восемнадцать... А трое вон не наши... — мужик кивнул головой в сторону, где стоял я и двое босяков.

Подрядчик поднялся, поглядел на нас, и на его толстом лице появилась злая гримаса.

Щеки и губы дрогнули, он сжал кулак и, подняв его, закричал:

— Вы опять пришли, дьяволы? Ах ты!.. И скоро ли это вас в каторгу сошлют! Где лопаты? Где кирки? Вору! Мерзавцу! Ведь кабы время мне, я бы вас усадил в одно место...

Один из босяков, пониже ростом, в рыжей шляпе без полей и бритый, передернул плечами и спокойно заявил:

— А ты, Сергейка, не лай... а то мы тебя прежде к мировому-то сведем за оскорбление словом. Вник?

Лопаты!.. Кирки!.. Дура жирная. Ты видел, что мы твои лопаты взяли?

Подрядчик затопал ногами и закричал еще громче:  
— Вон, черти!.. Пшли! Гони их, ребята, всех троих! Гони...

Ребята нерешительно посмотрели на нас и расступились. Другой босяк, в солдатском кепи старого образца, с сивой бородой, широкой и волнистой, и с черными, мрачными глазами, проговорил густо и звучно:

— Не дашь работы?

— Пошли! Иди вон!..

— Не ори, Сергейка, лопнешь! — посоветовал бритый. — Идем, Маслов...

Его сивобородый товарищ круто повернулся и, важно покачиваясь, пошел со двора.

Голодающие торопливо расступались перед его солидной и крупной фигурой. Он смотрел куда-то вдаль, через и мимо коренастых приволжан.

— Ну, так прощай, Сергейка! Издохнешь ежели до встречи, всё равно—я тебе и на том свете трепку дам...

Он тоже пошел со двора, а я отправился за ними, идя сзади их.

Маслов был одет в синюю кретоновую блузу и штаны из бумазеи, а его товарищ — в белую некогда, а теперь серую от грязи, короткую поварскую курточку, надетую прямо на голое тело, и в новенькие клетчатые серые брюки.

— Вот мы, Миша, и опять ни при чем. Не везет, хвост те на голову! Надо нам из этой дыры вон... а? — заговорил бритый.

— Пойдем... Куда? — ответил и спросил товарищ.

— Как куда? Куда хотим. Все пути-дороги нам открыты. Куда желаем, туда и дернем. В Астрахань, примерно... А по дороге на Кубань... Теперь там скоро молотьба.

— А по дороге в Архангельск... Теперь там скоро зима... Может, и...

— Сдохнем от мороза? Бывает. Но только ты не вскисай. Нехорошо с такой-то бородищей...

— Ничего у нас нет?

— То есть это насчет еды? Чистота!..

— Как же?

— Не знаю. Надо поискать... Ежели бог не выдаст, то свинья не съест... Лучше мы ее...

Товарищи замолчали. Бритый шел, посвистывая и заложив руки за спину. Его товарищ одной рукой гладил бороду, а другую засунул за пояс штанов.

— Сережка-то расхотелся как!.. Не может... про лопаты... Вот бы теперь нам лопату! Можно бы ей пятака три-четыре загрести. «Вон!» — говорит... И того выгнал из-за нас... Длинный тут стоял такой, видел ты?

— Вон он сзади идет... — не оборачиваясь, сказал Маслов.

Без сомнения, и его товарищ знал, что я иду на два шага сзади его; он не мог не слышать стука моей палки по панели и моих шагов, но, очевидно, ему почему-то не нужно было показывать это мне.

— А!.. — воскликнул он, оглядываясь и разом смерив меня подозрительным и пытливым взглядом насмешливых карих глаз. — Что, брат, прогнали? Из-за нас это. Откуда?

Я сказал откуда.

Бритый пошел рядом со мной и первым делом бесцеремонно оцупал мою котомку.

— А ведь у тебя есть хлеб! — сделал он открытие.

Маслов тоже остановился и тоже недоверчиво смерил меня своими мрачными глазами.

— Есть! — сказал я. — И деньги есть.

— И деньги! — изумился бритый. — Много денег?

— Восемьдесят четыре копейки! — гордо сообщил я.

— Дай мне двугривенный! — решительно сказал Маслов и положил мне на плечо свою мохнатую, тяжелую руку, не сводя с меня своих глаз, загоревшихся жадным огоньком.

— Давайте пойдём все вместе! — предложил я.

— Идет! — крикнул бритый. — Ай да ты! Славно! Молодец!.. Только вот что скажи мне: деньги у тебя есть, хлеб есть...

— Еще хохлацкого сала два фунта! — постепенно возвышал я себя в глазах новых знакомых.

Маслов довольно засмеялся и с твердой уверенностью сказал:

— Всё съедим, до крошки!

— Дв-ва ф-фунта сала!.. — изумился бритый. — И ты пришел к Сережке на работу наниматься со всем этим, а?!

— Ну? — спросил я, не понимая, в чем дело.

— Да зачем? Ведь у тебя харч есть, деньги есть! Али ты дом каменный хочешь строить? Тьфу!.. Кабы нам столько... Сейчас бы в трактор. Чаю! Бутылку! Калача!.. Тррр!..

Через час от моих капиталов оставалось только одно приятное ощущение живительной теплоты в желудке и легонький туман в голове. Мы сидели в закопченном тракторе. Кругом нас колыхался тяжелый, опьяняющий шум и облака табачного дыма, а в раскрытые окна мы видели море, синее и блестящее на солнце.

Маслов смотрел на него, а бритый, которого звали Степок, положив локти на стол, разговаривал со мной. Переговорив о многом материальном, мы говорили уже о душе, и Степок развивал предо мной свои взгляды по этому вопросу.

— Я, брат, думаю, что душа бывает разная. Как жизнь на нее дохнет, — вот в чем дело. Дохнет ласково — душа ничего, веселая, светлая, а ежели дохнет сентябрем — душа будет тусклая, дряблая. Человек тут ни при чем. Он что может? Он растет себе, и душа растет. Вот он, примерно, дорос до двадцати годов... Тут смотри в оба, коли хочешь сам себе атаманом быть. В это время душа чуткая... как струна. Терпи, значит... не давай ей дребезжать от всякой малости... держи себя в руках. Не сумел — шабаш! Сейчас тебя или в комок сожмет, или во все четыре стороны потащит... рвать будет на части... понял? Потому жизнь — как машина, — ходи осторожно... тут — колесики с крючочками, там — зубчики остренькие, тут разные пудовые тютти летают... Поглядывай, не зевай, а то шкуру изорвешь и кости изломаешь. А без футляра душе невозможно... как частному приставу без канцелярии.

Закончив таким образным сравнением свое <рассуждение>, Степок дернул товарища за блузу и обратился к нему:

— Миша! Как же, на Кубань, что ли? Здесь нам не будет фарту, очень уж мы у всех в зубах навязли...

— Идем. Я люблю ходить...— не оборачиваясь, сказал Маслов.

— Зна-аю! Значит,— идем?! Важно! Друг, ты как? Идешь с нами? — обратился ко мне Степок.

— Я туда и иду.

— Туда? Ну вот, превосходно! Значит, втроем. Ловко! Деньжищ заробим — мешок! И потом у меня там суббота одна черноглазая есть...

— Сектантка? — спросил я.

— Истинно! староверка... замуж вышла, а всё старому меня любит...

— А я думал, в самом деле суббота... — сказал я.

— Вот те крест, правда! — побожился Степок. — Всегда она меня по субботам ночевать к себе водит... — И он смеялся.

Маслов всё смотрел в даль моря, облокотясь на подоконник. Волосы у него были длинные, до плеч, и это, вместе с блузой, делало его похожим на художника.

Еще через час мы уже шагали по дороге к Ялте, решив идти до Керчи берегом.

Когда село солнце, мы остановились на ночевку, выбрав себе славную нишу в горе, завешанную естественным драпри из зелени кустарников, росших перед входом в эту нишу, как бы специально предназначенную ласковой природой Крыма для ночлегов бродяг. Судя по куче листьев, насланных в ней, и по остаткам костра, мы были тут не первыми гостями.

Степок по дороге наполнил свои карманы яблоками и грушами и даже, отбежав от нас на полчаса, достал каким-то таинственным способом большую ковригу пшеничного хлеба. Теперь он растянулся под кустами и весело уничтожал яблоки, гримасничая, как обезьяна, что очень шло к его шероховатой, неправильной физиономии, поросшей густой щетиной. Маслов молча собирал сучья. Я невдалеке открыл ручей и умывался ледяной водой.

Вокруг нас от деревьев ложились узорчатые тени...

— Ты что, костер хочешь? — спросил Степок товарища.

— Да...

— Ведь тепло...

— Холодно будет ночью.

— Ну, действуй...

Маслов скрывался и появлялся с громадными охапками мелкого валежника. Вспыхнул костер. Сырая тьма, наполнявшая наше помещение, дрогнула и густыми тенями стала ползать по камням то вверх, то вниз.

Маслов молчал и улыбался, глядя в костер.

— Теперь мы вроде как разбойники! — вдруг произнес он.

Я взглянул на него и изумился. Он гораздо более походил на замечтавшегося ребенка, чем на разбойника. Его черные глаза уже не были мрачны и хотя были глубоки, но в них светилось только ласковое добродушие и что-то очень печальное. Морщины от улыбки сделали его овальное лицо круглее и сгладили неприятную надутую мину, раньше портившую это лицо, довольно еще свежее и благообразное, несмотря на отеки под глазами и красные жилки, выступавшие сквозь густой загар кожи щек.

— Дитячко! Игрушечки всё... — усмехнулся Степок. — Вот, гляди, Максим, — обратился он ко мне, — душа-то у человека какова может жить!.. Половинка — как снег, а другая — как сажа. Почему? Опять-таки потому, что жизнь по-разному дышит: с этой стороны тепленько, а с той — холодком. И вышел человек сам по себе ребенок, а при людях — чёрт...

— Пошел гудеть!.. — недовольно заметил Маслов и отвернулся от костра в сторону.

Сквозь кустарники, закрывавшие вход к нам, видна была узкая полоса каменистой дороги, проходившей мимо них; за дорогой гора круто обрывалась, из-за обрыва смотрели вершины деревьев, уже освещенные луной, а далеко за ними, на горизонте, лежало неподвижное море, блестящее, как стекло...

Речь Степка рождала звучное эхо... Больше не было звуков.

— Разве я что сказал обидное? Ничего. Вот Максим говорит... человек, говорит, должен свою душу беречь... то есть учить... или как там? А я говорю — человек ни при чем в этом деле. Он — как перо: куда ветер дует — там оно и будет. И выходит что? Выходит — наплевать

на всё! Знай себе летай веселей, безо всяких соображений. О чем соображать? Как ни живи — издохнешь. Да и издохнешь-то неизвестно когда, — может, сейчас, а может, завтра. Начальство об этом тебе не объявляет. Было раз со мной, когда я еще в Москве артельщиком служил...

— Говорил ты про это ведь. Не раз уж... Молчал бы... теперь... Слышишь, как тихо... Лист не дрогнет... — Маслов начал говорить с раздражением, а кончил задумчиво и грустно.

— Лист — пушай. А я хочу про себя заявить, — не унимался Степок, отчего-то всё более возбуждавшийся, тогда как его товарищ становился всё задумчивее и мрачнее. — Я хочу сказать, что, мол, я тут? Живу и прочее... Миша! Давай, споем песню! волгарскую этакую, а? Не могу я видеть тебя в таком духе. У нас, московских, дух легкий, и мы у других такой видеть хотим. Что, право! И не пели мы давно... Споем! Разыгрался бы ты...

Степок вдруг изменил свой веселый и бойкий тон на просительно-жалобный.

— Петь можно... Это не мешает, — согласился Маслов и, подвинувшись к товарищу, сказал: — Ну, начинай!

— Любимую? — снова встрепенулся Степок.

Маслов кивнул головой. Они сидели против меня по другую сторону костра, и их лица то ярко освещались огнем, то исчезали в клубах дыма. Степок встал на колени, потрогал рукой горло, немного закинул голову назад и приставил к глотке палец.

Эх, да разгони-и...

— тенорком начал Степок, блеснув на меня глазами. Он часто нажимал пальцем на глотку, и от этого длинные ноты дрожали мелкой трелью.

Разгони ты, ветер, тучи грозные!..

— попросил Маслов речитативом и странно качнул головой, как бы не надеясь, что ветер исполнит его просьбу.

Ты разве-ей...

— взмахнув рукой в воздухе и плавно поводя ею, продолжал Степок песню. Он повышал голос и приказывал.

Ты разве-ка грусть-тоску-у мою-у...

— вытягивал Маслов речитатив, и постепенно слова песни рождали из себя ту заунывную русскую мелодию, прерываемую краткими криками, что всегда заставляет воображение слушающего рисовать погибающего, его безнадежные жалобы и стоны и последние вспышки угасающей энергии: Маслов пел баритоном, очень густым и гибким; иногда в голосе дребезжало что-то надтреснутое и хриплое, но это не портило песню, а только придавало ей больше задушевности и той простой красоты, которая и есть красота истинная.

...Чтоб светило ясно солнышко...

— всё выше поднимался Степок, щура глаза и краснея от напряжения.

Чтоб жилось мне, добру молодцу...

— просил и жаловался Маслов, тоже повышая голос.

Эх, беззаботно, вольно... весело!..

Искусственно вибрировавший голос Степка повалился, а баритон Маслова еще выводил сильно и красиво:

Эй, вольно... весело-о!..

Степок встал и, взмахнув рукой, залился, крепко зажмурил глаза:

Эх, да ходят в небе...

Тучи грозныя-а...

— тоскливо подхватил Маслов.

А тоска изъела сердце мне...

— Э-э-эх!.. — громко вздохнул Степок, не открывая глаз.

А глаза Маслова были открыты, и он был бледен. Он сидел, вытянув ноги, и, откинув корпус назад, уперся руками в землю. Выгнутая вперед грудь высоко поднималась и опускалась, и из раскрытого рта волной

лились слова песни, тоскливые, рыдающие... и всё более звучные.

Я смотрел на него, не отрывая глаз, и переживал то странное и сильное ощущение, которое так метко охарактеризовано словами «за сердце берет».

Голоса товарищей то сливались в одну струю, то звучали каждый отдельно, оттеняя и подчеркивая выразительность другого.

Маслов не шевелился. Степок стоял и раскачивался из стороны в сторону. На его шероховатой физиономии сияло блаженство, а красивое лицо Маслова нервно вздрагивало и — казалось — всё более бледнело, точно из груди певца вместе с голосом выливалась и кровь. Его тоскливые черные глаза смотрели прямо на меня, но я чувствовал, что он не видит ничего — ни меня, ни горы, к которой прислонился... Видно было, что грудь этого человека полным-полна тяжелой, едкой болью и что песня — единственное лекарство, которое облегчает эту боль. Он в одно время и выпевал свою тоску и почти отпевал себя... Иногда судорога, пробежавшая по его лицу, заставляла меня ожидать, что он сейчас заплачет... и тогда я испытывал желание бежать от этого человека, такого сильного, красивого и замученного до слез...

Песня рыдала то тише, то сильнее... и с каждой новой нотой всё более становилась похожа на причитание по умершем, а Маслов, опрокидываясь назад, всё круче выгибал грудь, как бы этим желая облегчить исход звукам, переполнявшим его. Степок выделял удивительные фиоритуры и триоли, постукивая себя пальцем по глотке и, не открывая глаз, из стороны в сторону мотал головой, поводил плечами, взмахивал рукой в воздухе... жил весь в песне.

— Mon dieu! Comme c'est beau! Quelle poésie!.. Feu au montagne et la chanson!..<sup>1</sup> Это похоже на гномов! Je veux les voir...<sup>2</sup> — затрещал звонкий женский голос.

— Эй! Кто это поет? Идите сюда! — крикнул барский басок.

<sup>1</sup> О боже, как это красиво! Какая поэзия! Огонь на горе и песня! (*франц.*).

<sup>2</sup> Я хочу их видеть... (*франц.*).

Песня оборвалась. Маслов широко открыл рот и тупо посмотрел на дорогу... Степок вздрогнул, оскалил зубы и зло сощурил глаза.

Сквозь ветви мы видели двух лошадей; на одной из них сидела тоненькая дама в белой вуали, а с другой прыгнул человек в светлом костюме. Он бросил поводья на луку седла и обернулся к даме.

— По-огоди!.. — прошептал Степок и вдруг со всех ног бросился на дорогу, шумя кустами и дико воя:

— Иде-ем... ваше благородие!!

— Ай!.. — взвизгнула дама.

— О чёрт!.. Стой!..

Но обе испуганные лошади шарахнулись и помчались... Издали, вместе с топотом, доносился визг дамы.

— Осел! Лови!.. — закричал барин, замахаясь на Степка хлыстом.

— Как бы под гору не слетели!.. — уклоняясь от удара, сказал Степок и наклонил голову в сторону шума.

Барин метнулся и побежал туда, высоко вскидывая ноги. Степок захохотал и сел на дорогу.

— Вот так лупит!.. Охо-хо-хо!.. Чёрт его!..

Маслов мрачно и безучастно молчал. Топот коней и бежавшего барина пропал вдали...

— А ловко я их!.. А, Миша? — И Степок фыркнул. — Вот что нашёл... видишь? — Он показал товарищу хорошенький хлыстик и обшитый кружевами носовой платок.

Тот молча посмотрел на это.

— Рассыпалась барыня!.. Нет, ка-ак он поскакал-то!.. Ах, буйвол чёртов!.. А за эти штучки мы полтину поймаем.

— Брось! ну их... — сказал Маслов, махнув рукой.

— Бросить?! Зачем? Они песню слушали? Ну — и квит! А может, мне бы лучше, не пугая их, попросить у них на чай? а? Ч-чёрт!.. Вот не догадался!..

— Плюнь, Степок, — стыдился бы!.. — раздраженно крикнул Маслов.

— Чего стыдиться? На чай-то попросить?! Они песню слушали!

— Молчи ин!.. — И Маслов крепко ругнул товарища. — А то вот двину... — Он сунул в его сторону

кулаком и посмотрел на него дикими глазами, сразу налившимися кровью.

— Поехало!..— Степок скептически свистнул. — Что за барство такое! П-пэ!.. Давно ли это появилось? Что, ты сам не занимался этим?.. В Одессе-то, помнишь, у француза... и вообще... Смехота!

— Степка! Брось, молчи!.. Драться буду...— тихо и внушительно заговорил Маслов.

Степок лег на землю.

— А ты не обижай товарища...— как бы извиняясь, проговорил он.

...Песня исчезла, как сон. И настроение, рожденное ею, исчезло... Костер чуть пылал. Маслов ломал сучки и задумчиво подбрасывал их в огонь. Скоро захрапел Степок... Я смотрел на море сквозь ветви и в лицо Маслова сквозь дым костра. Море было тихо и пустынно... а Маслов задумчив. Тени от костра бегали по его бороде, щекам и по лбу...

— Ну, ты чего тарачишь на меня глаза? — сухо сказал он мне.

Видно, ему хотелось остаться один на один с самим собой. Я отвернулся и лег. Ночью, сквозь сон, я слышал тихую песню и, открыв глаза, видел Маслова. Он, всё так же сидя у костра, качал головой, и, глядя в огонь, вполголоса пел...

Когда же поутру я проснулся, друзей уже не было. Они, не разбудив меня, ушли и взяли у меня из котомки две мои рубашки, благородно оставив мне третью. Я решил, что они раздумали идти на Кубань, и пожалел об этом.

Порядившись в одной из кубанских станиц на мотыбу, я поехал на телеге в степь вместе с кучей бойких казацких дивчат и моим спутником-грузином. Дивчата пели и болтали. Станица утонула в дали, и кругом нас развернулась широкая степь...

— У барабана стоит кацап... Дьявол такой, что ух! Глазищи черные, бородатый, злющий-презлющий!.. Чуть подавальщики опоздают со снопом, как он рывкнет!.. Работает, как огонь... Орет — труба! И гонит,

гонит!.. Машинист лает: «Машину, говорит, портите»- А Тотенко свое: «А ты, говорит, и аренду бы получал, да и машина бы не носилась!» А кацап ревет: «Гони, давай!» И как ругнется, так и присядешь!..— рассказывала одна девица, уже бывшая в степи.

— Все кацапы ругаются здорово...— заметила басом могучая дивчина с толстущей косой и жирными красными щеками, с самого выезда со двора уничтожавшая яблоки, которых у нее в подоле было насыпано с добрую меру.

— А некрасивые-то все какие!.. мозглявые, хлипкие!..— заявила с презрительным сожалением черно-волосая юркая и тоненькая змейка.

— Не все!..— коротко сказала третья, шатенка, с овальным решительным лицом.

Подруги захохотали, глядя на нее.

— Ишь, заступилась за своего!..

Вдали показался дымок.

— Вон она — молотилка, дышит...— сказала шатенка.

— Рада ты, что уж близко? — спросили ее.

— А и рада... Всякая была бы рада...

— Добра-то!.. — скептически воскликнула одна из подруг.

— Чай, станичники лучше...

— Кто что любит. Чего много, то не дорого...— стояла на своем шатенка.

Впереди выросли золотые бугры снопов и за ними черная труба молотилки... Маленькие люди сновали вокруг них, слышался шум, смех и характерный торопливый и жадный стук машины... Туча пыли и половы, мешаясь с дымом из трубы, неподвижно стояла в воздухе; черной шапкой покрывая оживленный оазис в желтоватой пустыне, раскинувшейся во все стороны.

Девки посыпались с телеги, еще не доехав до места, и побежали к редутам из соломы, расставленным рядом и ослепительно сиявшим на солнце.

— Обед! — крикнули где-то.

Шум машины оборвался. Запыленные и обвешанные соломой люди, иные в больших очках с сетками, напра-

вились в одну сторону. Кто-то, подойдя сзади, хлопнул меня по плечу.

— Маслов!..

— Я... Пришел и ты? Ловко! А мы тогда тово... раздумали было... да вот пришли всё же. Куда ещё идти?!

— И Степок здесь?

— Здесь... в Ханской, верст пятнадцать отсюда. Гуляет... Кума у него там есть. Ты снопы подавал когда? Умеешь? Хорошо! Ну, так подавай мне... А то никто не успевает. Худо работают, черти!.. не втягивает их работа. А я не могу... Мне не по душе, коли эта самая машина жрет и ещё просит. Я всегда хочу ей в глотку столько насовать, чтоб она подавилась... Чтоб и ей, дьяволу, тоже трудно пришлось. Она мнет, а я ей подсыпаю, я ей подсыпаю!.. на, жри, давьсь, трещи... Эта здоровая, стерва... тысяч до двенадцати, чай, перебьет в деньто... А две уж я скормил... Сломались. Трах! Фррр... готово! Стоп! Машинист лает. Хозяин стонет. А мне весело... Ей-богу, весело! Этакую штуку поганую выдумали!.. Наверное, немецкая пасть... Если эта чёртова животина и завтра выстоит, я ее угощу!.. Шкворень суну в сноп... Трах! Все зубы ломает... свинячья челюсть!..

— Ты за что же это их не любишь? — спросил я его, кивая на молотилку.

— Да не знаю... Так... Деревянные они, без всякого смысла, а как бы живые. Суешь ей в хайло снопы — жрет, сунь руку — оборвет, сунь ребенка — сжамкает. Я бы запретил все машины, кроме, разве, паровых да железнодорожных... Те — ничего, пыхтит себе, везёт... А все другие — сволочь. Я на одной ткацкой фабрике в Томашеве жил... всякой этой дряни там гибель! Вертится, крутится, стучит... и всё сама делает, а человек при ней дурак дураком... Обида! И чуть что — джик! черть! Готово! Был человек, а остались одни кусочки... Много я видал их!.. А главное дело, звереешь от них. Стоишь, стоишь — и дойдешь до того, что так вот и хочется зло сделать!.. Без всякой причины, просто так, взял бы да и разворотил что ни то... изничтожил бы... Так, знаешь, злоба заберет, что, кажется, малого ребенка зубами бы загрыз... Право. От этого самого фабричные и есть все сорванцы да сорви-головы... и убийства от этого...

Мы сидели с ним под копной, уже разобранный наполовину; в ней суетились испуганные мыши-полевки, и вся она звучала шорохом. Маслов был оживлен, и его черные глаза ярко блестели. В бороде, усах и бровях у него торчала солома, и от его славной, крупной фигуры веяло чем-то сильным и здоровым.

— Уф!.. — вздохнул он. — Вот люблю в степи работать! Ширь!.. Воздух!.. Люди вот только — мразь... гады. Жадные, — каждый норовит твоей крови напиться, а кой сыт, так тот хоть так укусит, ради памяти о себе. У кого нанимался? У хозяина али у хозяйки? Степок у обоих нанялся, сначала — у него, на неделю, за десять рублей, — рубль задатку взял... Потом ухитрился к ней, и у ней задаток уткнул — два рубля, да в ночь из станицы-то и марш! Нарвется когда-нибудь — убьют до смерти. А хозяева-то пеняли мне: «Вот, говорят, товарищ-то твой жулик какой!» — «Что ж, мол, не я его жить-то учил...» А оно конечно... свинья Степка. А сами они не жулики? Обрадовавшись, что в этом году голодных много, и давай вместо двух рублей в день — восемь да шесть гривен платить! А урожай вон какой!.. На сноп не меньше прошлого-то года, ещё, надо быть, и больше. Так разве им не всё равно за работу отдать и нынче столько же, сколько в прошлом году они отдали? Скареды!.. Хоть бы своими руками работали!..

Видно, Маслов давно ни с кем не говорил и теперь нагонял потерянное, не справляясь, слушаю ли я его, и не глядя на меня.

— Ты чего обедать не идешь? Не хочешь!.. Харчи здесь, брат, погань одна... Всё галушки да галушки... точно свиней кормят. А нанимал, так чуть не кур обещал, и она, толстуха его, тоже... «Кормим, говорит, мы важно!..» Мокрица жирная! Глаза, брат, у ней видел? Ага?.. Хороши глаза... так тебя и гладят. И он сам — казак статный. Ах, и хорош здесь народ! не как у нас в России — выродки да заморыши... Водки не хочешь ли? У меня бутылки с полторы есть. Я четверть взял с собой. Дорога здесь водка. Идём, угощу. Не забыть мне, как ты тогда в Севастополе всё, что было, скормил нам! Ловко это! Нашему брату так и надо. Есть — бери, нет — идем добывать. По-птичьи. Нет, и не так... потому пти-

ца — хозяйка, у неё дом, хозяйство есть... а мы ещё чище... значит, нам ещё крепче друг за друга надо держаться. Много нашего брата и, смотрю я, с каждым годом больше всё прибывает. В этом году прибыль будет больно велика, тучи народу с земли сорвало... А я спать хочу. Давай поспим, а? А потом встанем и будем кормить антихристово пузо.

Мы легли на кучу соломы и, поговорив ещё немного, крепко заснули.

— Вставай!.. Вставай к барабану!.. Эй!..

Машина уже стучала. Воз снопов стоял готовым у молотилки, другой подъезжал. Маслов живо взобрался к барабану и крикнул мне:

— Давай с возу! Ещё двух девок сюда, развязывать снопы! На воз становись двое! Жи-вво!.. Вали-давай!

Мне попались славные вилы, и я, памятуя желание Маслова, начал сильно и часто кидать девкам снопы. Мой товарищ, какой-то белобрысый вятч, «голодающий», но бойкий и веселый малый, не желая отставать от меня, сопел и всё норовил сбить снопом которую-нибудь из девок, хватавших дачки прямо с вил.

— Дуй вовсю, девки!.. — возбужденно покрикивал Маслов.

Взглядывая на него, я видел, как он, чуть не вырывая из рук дивчат развязанные снопы, совал их в барабан, низко наклоняясь над ним и рискуя сунуть туда же свою бороду.

— Давай, давай, давай!.. Торопись, возись, поворачивайся!.. Корми дьявола!.. — орал он, краснея.

— Тише подавай! Полова затирает!.. — кричал кто-то.

— Сожрет!.. Сыпь, девки!.. Максим, вилами девок!.. Ворочайся, вы, стряпухи!.. Размахивай рука-ми!..

Четыре девки, забрасываемые снопами, лихорадочно металась, боязливо пододвигая развязанные снопы Маслову. Он загребал хлебные колосья и ровным толстущим слоем спускал в барабан, сверкая черными глазами, нахмуренный и кипевший злобой, тою обдуманной, мстительной злобой, которая всегда доходит до цели.

— Ахти!.. — вздыхал вятч, подбрасывая снопы.

Из нашего веза выпрягли лошадь и увели ее, подавая нам на телегу снопы с другого веза, поставленного рядом с ней. С меня лил градом пот, но, возбуждаемый криками Маслова, я махал вилами во всю мочь, с головой уходя в этот своеобразно поэтический и дикий процесс кормления деревянного зверя, стонавшего от жадности. Маслов, красный, потный, с оскаленными зубами, хрипло кричал, не переставая:

— Возись, девки!.. Мокрицы, ползай!.. Засыпай их снопами, ребята!..

Девки и так уже не успевали развязывать...

— Солома не идет... забилась!.. Дьявол! Чёрт! тише!..— кричали откуда-то сзади.

— Молодцы! Водки ставлю... ведро! Барабанщик, жги!.. Спасибо! Ладно... Хорошо!..— кричал казак-хозяин.

— Тише, черти!.. Остановлю машину!..— кричал машинист.

— Ничего!.. Сожрет... Действуй, Максимка!.. Вяжкой, гни хребет!.. Девки!.. Убью, дьяволицы!!.— бесился Маслов.

Подо мной ходила телега, и казалось, — всё кругом колеблется и хочет оторваться от земли. Машина лихорадочно-торопливо щелкала челюстями и хрипела. Шум оглушал и опьянял. Проклятая машина, действительно, была безжалостна к нам, пожирая снопы с удивительной быстротой. На месте Маслова мне бы тоже захотелось своротить ей жадные челюсти. Высоко подобрав подошлы, девки на крыше метались, как бешеные, побуждаемые Масловым, а он, до плеч засучив рукава, изогнутый над барабаном, всклокоченный и красный, становился страшен в своем диком вдохновении... И вдруг он низко наклонился и весь дрогнул, точно его сильно дернули вниз... Что-то теплое брызнуло мне на руки и лицо... Вятский тихо крикнул, живо спрыгнул с телеги и куда-то помчался. Машина лихорадочно грохотала...

— Ба-а-тюшкк!!.— отвратительно тонко и громко взвизгнула одна девица.

Маслов повозился и замер.

— Ай!.. Остановите машину! — крикнула другая.

— Стой!.. Машинист, стой!!.— завывли несколько голосов.

Я хотел прыгнуть на крышу молотилки и, оборвавшись, упал на землю. Машина торжествующе заворчала и умолкла... Стало тоскливо тихо. Люди суетились молча или говоря вполголоса...

— ...Умер?

— ...Ну, разве с этого умрешь!..

— Стой!..— крикнул хозяин.— Чего распоряжаешься? Вези прямо его в станицу...

— По жаре-то... Надо завязать бы... Пыль тоже...

— Завяжут бабы...

Маслова спустили сверху. Он был бледен и без памяти. Его несли, держа за голову, за ноги и за правое плечо. Вместо левой руки у него болталась какая-то красная рвань, из которой струйками бежала, капала и брызгала кровь. Между безобразных кусков мяса и прямо из них торчали острые белые куски костей и виднелись жилы...

— Ф-фа!..— сказал маленький усатый машинист.— Как раскатало!.. и кости вдрызг. Сила, чёрт ее...

И, очевидно, довольный работой своего детища, он задумчиво улыбнулся и покачал головой, отходя от Маслова. Он же, бледный до синевы, не шевелился.

— Клади!

Маслова положили на землю.

— Ну-ка, я обвяжу ее...— тихо сказала какая-то баба и тут же, при людях, стала раздеваться. Сняв сарафан, она спустила и рубашку; потом, не особенно торопясь, надела сарафан и стала разрывать рубашку.— Чистая! Утром надела только. Ей-богу, право! — Она наклонилась над больным и подняла истерзанную руку...— Господи, благослови!

— Напрочь? — открыв глаза, спросил Маслов и отвернулся направо, как бы не желая видеть истерзанную руку.

— Вдребезги рассадило, батюшка. Совсем уж, надо думать, лишишься,— ласково сказала баба.

Маслов спокойно плюнул в сторону.

— Тише, ты! Чай, не чулок выворачиваешь...— заметил он, когда баба стала обвязывать руку.

Я наклонился, чтоб помочь ей.

— Вот что, Максим,— сказал он мне, сходи ты в Ханскую до Степка. Там, против церкви, казака Макарши дом... Сходи, скажи ему, как вот это... отгрызла, проклятая... Нарвался я... Чай, поди-ко,— цела, дьяволова игрушка, не испортила зубов об мой-то кости... Иди скорее... будь другом! А без него сдохну я тут... Родной души нет... Иди, а? Близко тут.

— Хорошо... прощай, брат! Я пойду.

— Не воротись сюда?

— Нет, не ворочусь уж.

— Прощай. Живы будем...— он махнул рукой и улыбнулся...— увидимся скоро. Пути наши известны... Прощай!

Он еще улыбнулся мне своими черными глазами, в которых давно уже погасло возбуждение и светилась только тоска и боль. Я пошел к Степку...

В Ханскую я пришел часов в семь вечера, сразу нашел хату казака Макарши и вошел во двор. На колодезном срубе сидела девушка-казачка и плела себе косу.

— Тебе чего? — спросила она.

Я объяснил.

— Иди вон в огород... Да палку брось, а то собаки нарвут...

Я бросил палку и пошел в огород. Вышли две собаки, понюхали мне ноги и, очевидно, решив, что мной заниматься не стоит, равнодушно ушли в кусты. Впереди раздавался голос Степка:

— Ты говоришь — нельзя? Наплевать — нельзя!.. Дурашка-чудашка! мо-ожно!.. Нам всё можно... Ты мне кум? И тебе можно... Ты думаешь — кум, так и нельзя? Да что такое кум? Стучусь я к тебе ночью в хату... так? «Кто там?» — «Я, пустите ночевать». Хорошо!.. Ты говоришь: — «Иди, добрый человек, иди! У меня жена родит, иди!» Так? ага!.. Я пришел, жена родила; ты говоришь: — «Будь кумом, потому такое есть поверье...» Это...

— О ба-а!.. Друг!.. Т-ты!.. Вот так май!.. Птичка бо-жия! Відкіля? — закричал он, увидав меня.

Он сидел в тени, под ветвями черешни, против рыжего казака в одной рубахе, пьяного, нелепо вытара-

щившего на меня тупые и круглые глаза филина. Перед ними на какой-то пестрой тряпице стояла баклага вина, лежала груда яблок, вареное мясо и огурцы.

— Макарша! Видишь человека? — толкая меня к казаку, кричал Степок.

— В-вижу! — вздохнул Макарша и почему-то сокрушенно и жалобно заморгал глазами и закачал головой, точно собираясь заплакать.

— Погоди, Степок... — сказал я.

— Видишь?.. — не хотел годить Степок, основательно пихая меня сзади кулаками и коленями. — Ну, так целуй его... Потому как оба вы горчайшие пьяницы... значит — братья родные, вот и всё. Ты знаешь, кто он таков, этот человек? И-ди-и ты, чучело!..

Наконец Степок подпихнул меня к казаку, тот расставил руки и вкусно зачмокал губами. Степок наклонил меня, толкнул, и я чикнулся носом в мокрые усы казака, который сейчас же уцепился мне за шею... Но я вывернулся из его рук.

— Ну, вот! — удовлетворился Степок. — Теперь готово! Теперь, стало быть, друзья! Ты, Макарша, цени его... знаешь, кто это? Московский купеческий сын! ага-а?.. Пропил че-т-тыре трехэтажных дома и семь лавок с красным товаром!.. Миллион! понял?

— Понял! Всё пропил... и допил до штанов!.. — сказал казак и с грустью махнул рукой.

— Ха-ха!.. Это он до штанов пьет!.. то есть до той поры, что кума стащит с него штаны и тю-тю!.. казаку до шинка нет дорог! А дома горилки для чоловіка чёрт-ма! понял? — объяснил мне Степок.

— Маслов умер, — сказал я, улучив, наконец, минуту.

Степок сразу замолчал и с жалкой, недоверчивой улыбкой посмотрел на меня.

— На молотилке его изувечило... — добавил я.

— Так! Моя правда!! — взвыл Степок и, побледнев, нелепо замахал руками. — Я ему, дураку, говорил, — берегись, чёрт, не лезь!.. А он свое: «Не люблю, говорит, я их!» Изувечили, значит?.. Казаки?.. Вот эти?.. пьяницы?.. — Степок ткнул пальцем в лоб кума и кстати уж двинул его в бок ногой. — Эхма!.. Как же теперь?..

Я-то что?.. Где же Маслов?.. Что ты, чёрт деревянный, молчишь?! — вдруг освирепел он, обратясь ко мне. — Говори, как всё это? Ну, сломал он машину, ну? Ну, они его бить... ну? Он и умер... а? до смерти? Что т-ты, дьявол, молчишь?! — Он сделал страшную рожу и полез на меня с кулаками: — Говори, жердь сухая!.. Ну?.. Э, чёрт с тобой! Пьян я или нет?

Он вертелся на месте, потирал руки, всплескивал ими, тер себе лоб, дергал усы и то бледнел, то краснел. Хмель выходил из его головы. Я не торопился сказать истину, желая знать, в какой мере эффект моего сообщения Степку о смерти товарища зависит от хмеля и сколько от эффекта останется, когда хмель пройдет. Макарша смотрел то на того, то на другого из нас и вдруг дико заревел...

Степок рассеянно взглянул на него, на меня, на свою ладонь и молча опустил ее на землю. Я тоже молчал, соображая, что может из этого выйти, и ожидая, когда пары вина совершенно освободят мозги Степка.

— Ты чего реवेशь? — удивленно спросил он казака.

Тот выл и мазал себя по лицу руками.

— Ты чего, рыжий чёрт, реवेशь?! — строго повторил вопрос Степок.

— Чоловік... вмер!.. — сквозь слезы сказал казак.

— А тебе что за дело? Молчи! Не твой человек. Дурак... Молчи, говорю.

— Буду плакати... Бо жалію... чоловіков, которы вмерли!..

— Я тебе в морду дам!..

Казак плакал и мотал головой.

— Уйдем, Максим! — решительно поднялся с земли Степок. — Идем куда ни то.

Он стоял на ногах твердо, и его возбуждение понемногу исчезало. Все-таки он пока еще для чего-то поминутно надувал себе щеки и, шумно выпуская воздух, сильно махал руками.

— Тверез я? а? Чёрт ее знает, голова какая! трещит... Третий день пью... и ничего не понимаю... Верно это? Умер уж он? Эх, брат, да говори ты!

— Нет, не умер...

Степок остановился и внимательно оглядел меня.

— Ты, друг, так не шути... — внушительно заговорил он и многообещающе повел плечами, сжимая кулаки. — Не шути!.. А то я из тебя душу вышибу. Вник? А теперь говори по порядку.

Тогда я рассказал ему всё по порядку, и, по мере того как я рассказывал, он приходил в себя. Я кончил. Он задумчиво насупилсь и молчал. За кустами, недалеко от нас, возился и ворчал пьяный казак:

— Куме! Эй, куме, лядащі собаки пришлі... и поедают усе. Геть!... Степане! Хиба ж тобі вже и не треба мяса, що тіи пси... геть.. Се кумово!.. геть!..

— Та-ак... Значит, машинка ручку ам-ам?! Непорядочно и невесело... Пойти к нему... Надо думать, что теперь ему капут... сгинет вконец. Ах, чёрт вас возьми!.. Иду... В больницу отправили? Ну-ну.. Ид-ду. Такочки!.. Ты куда? Дальше? Ну, иди дальше... прощай! Скажи, жалко парня тебе? Жалко... Ххе!.. А мне-то! Пятый год живем душа в душу... Прощай, брат... На Беслан пойдешь? Ну, увидимся. Спроси там Костьку Игрока. Славный парень... закадышный нам друг, певун... Вор только очень. Скажи ему про Маслова. Кланяться Маслову? Поклонюсь... Н-ну, я сейчас же и тово... куму только надо повидать... куму... А ты идешь? Ночуй. А, ну иди. Совсем ему руку-то? Т-те... По плечо... Сжечь бы эту штуку! а? Очень это просто, сунул спички ей в пузо и готово... кстати и хлеб бы весь погорел... а? Ей-богу, погорел бы... близко всё. Ну, вали... иди. Прощай, брат. Я тоже в ночь свистну туда.

Он потускнел и говорил, низко опустив голову. Его короткие фразы падали, как камни, и, сказав что-нибудь, он вскидывал на меня глазами. В них было много такого, что заставило меня убедиться в любви Степка к товарищу. Крепко пожав друг другу руки, мы разошлись.

На Беслане — станции, от которой в то время только что начали прокладывать владикавказо-петровскую линию железной дороги, — я не нашел Степка.

Справившись о Костьке Игроке, узнал, что сей субъект стащил болты и гайки и посажен за кражу в тюрь-

му, но что «это ерунда, и Костьке за это ничего не будет». Сообщив такую приятную весть, рваный и острый человек, рассказавший мне всю суть Костькина деяния, объяснил:

— Ничего не будет! Почему?.. Потому что Костька-то умер в остроге от тифу... понял?

Я понял и, порадовавшись за Костьку, ушел через два дня из Беслана в Закавказье.

Прошло с год времени. Приехав в Астрахань из Баку, я, в ожидании парохода вверх по Волге, пошел бродить по городу и попал на Кутум. Одет я был в длинное клетчатое пальто, с хлястиком назади, совершенно новенькое, имел на голове шляпу, тоже новенькую, и на ногах — галоши, тоже новенькие... Весьма культурный вид... И на носу темные очки...

Около бабы, продававшей с лотка подозрительное мясо серого цвета, испускавшее кислый пар, стоял Степок, без шапки, худой, но веселый, как всегда, с лямкой на спине, крюком в руке, и отправлял в рот крупные ароматические куски ее товара, расплачиваясь с ней покуда прибаутками. Сначала я не решался подойти к нему, стыдясь своей культурности... но поборол себя и подошел, предварительно сняв очки и спрятав их в карман.

— Степок!..

— Э... Ба... гля!.. Тю-тю-тю!.. Фрр!.. В рот те ноги прямо пятками! С чего это тебя так взъерепенило?! Ваше благородие! Подайте товарищу пятак на хлеб и два на выпивку!..

И он, мстительно и дерзко сощурился, одной рукой сделал под козырек, а другую протянул мне вверх ладонью.

После такого приветствия мое культурное пальто не могло не покраснеть, галоши потемнели, шляпа съжилась, и всё это вместе вдруг стало мне узко, тесно и тяжело... Степок отнял руки и подмигнул:

— Сколько цапнул? тыщу? Больше! Сказывай где, и я туда пойду. Вот так диковинка, Ивановна! — обратился он к торговке, с диким любопытством вытаращившей на меня черные круглые и выпуклые рачьи глаза. — Товарищ ведь! Верь господу, который нас вместе рядом

видел, как мы по разным местам гуляли и прочее этакое... Холеру мне в кишки, коли вру! Спроси его, сам скажет! И... Эдакий... а!..— Степок, подавленный комическим удивлением, сел предо мной на корточки.— Господин! Как мне по одной земле с вами ходить? На руках буду для отлички...

Я сказал Степку несколько теплых и укоризненных слов и пригласил его в трактир; но это не произвело на него никакого впечатления.

— Ивановна! Вникай! иду в трактир... Пью шампанское и ем... жареных соловьев! Ива-ановна!! — на весь Кутум заорал Степок, перекувыркнулся на земле и — о подлец! — смазал своими лаптищами пестрые полы моего культурного пальто...

Я чувствовал себя наинелепейше... Кругом нас собиралась толпа.

— Идем, Степок, коли хочешь! — сурово сказал я.

— Слушаю, ваше благоррр... — и он поскакал рядом со мной, сняв шляпу и гордо оглядываясь по сторонам.

О, он тонко умел мстить и на пространстве десяти сажень до дверей трактира заставил меня перечувствовать столько неприятного, сколько его не встретишь на добрых пяти верстах. Но вот двери трактира затворились за нами. Я сел за стол и спросил:

— Чаю хочешь?

Он вдруг нахмурился и подозрительно оглянул меня.

— Или водки?

— А что ты... — начал Степок, но оборвался.

— Ну? — спросил я.

— Дай мне рубль... я уйду... — глухо сказал он.

Но я уговорил его остаться и спросил о Маслове. Он посмотрел на меня и вдруг улыбнулся знакомой мне улыбкой, подавшей надежду на то, что мы сойдемся и он не станет издеваться надо мной.

— Помнишь разве Маслова? Ишь!.. Умер Маслов... Антонов огонь сжег его. Умер... Зарыли всего в черных пятнах, точно он с печной трубой обнимался. Умер! Эх ты! Вот так парень был он... для меня... н-да! Ду-уша!

Он снова замолчал и как-то отупел на минуту, потух, сжался... Принесли чай и водку. Степок посмотрел на это и снова улыбнулся, но уже скептически.

— Ну-ка, скажи, как разбогател... Интересно...

Тогда я рассказал ему. Он слушал внимательно и молча. Я кончил.

— Так!.. Значит... что же? Не по природе ты босяком-то был... а так, из любопытства?..

— Да...

— Ишь ты? Тоже любопытство... А теперь назад... не понравилось? Л-ловко сделано!..

— Я ещё хочу походить.

— Н-ну... не знаю... Значит, просто ты... походишь, и всё?..

— А что же?

— Ничего... Так я... — он покусал ус. — Без всякой задачи, значит... походил и домой? На печку?..

— Нет, задача была. Хотел узнать, что за люди...

— Зачем?

— Чтобы знать...

— Д-да!.. Больше ничего? Просто посмотрел и всё тут?

— Может, опишу... в газете.

— В газете?! А кому это нужно... знать про это? Или это так, для похвалки, — вот, мол, как я могу?!

Малый бил метко, надо отдать ему справедливость. Малый знал человеческую душу и — скажу по совести — весьма смутил меня своим вопросом.

— Нет, вообще... чтобы люди знали.

— Про нас?! — Степок широко улыбнулся и ехидно поднял брови.

— Про вас...

— Тэк!.. Так!.. трататак!..

Он встал и посмотрел на меня зло сощуренными глазами.

— Знаешь ли что, Максим? — спросил он.

— Что?

— Оч-чень это подлость большая! — выразительно произнес он, погрозил мне кулаком и, не простясь, ушел.

Я сидел и смотрел на чайные приборы, бутылку с водкой... Смотрел и думал о том, за что меня Степок ругал. Прав он или нет?

— Давай рубль! — сунул он руку в окно.

Я дал.

— Ффу!.. Богат, видно, очень — целых три!.. Уррр! А ты в помойные ямы не лазаешь из любопытства? а?

— Нет.

— Жаль!.. я бы тебе помог! В самую глубокую сунул бы!

И он скрылся.

## О МАЛЬЧИКЕ И ДЕВОЧКЕ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАМЕРЗЛИ

СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

В святочных рассказах издавна принято замораживать ежегодно по нескольку бедных мальчиков и девочек. Мальчик или девочка порядочного святочного рассказа обыкновенно стоят перед окном какого-нибудь большого дома, любят透过 стекло елкой, горячей в роскошных комнатах, и затем замерзают, переживая много неприятного и горького.

Я понимаю хорошие намерения авторов святочных рассказов, несмотря на их жестокость по отношению к своим персонажам; я знаю, что они, авторы, замораживают бедных детей для того, чтоб напомнить о их существовании богатым детям, но лично я не решусь заморозить ни одного бедного мальчика или девочки, даже и для такой вполне почтенной цели...

Я никогда не замерзал сам, никогда не присутствовал сам при замерзании бедного мальчика или девочки и боюсь наговорить смешных вещей при описании ощущений замерзания... Да потом и неловко как-то умерщвлять одно живое существо для того, чтобы напомнить о факте его существования другому живому существу...

Вот почему я предпочитаю рассказать о мальчике и девочке, которые не замерзли.

Было часов шесть вечера — святочного вечера. Дул ветер, вздымая тут и там прозрачные тучки снега. Эти холодные тучки, неуловимых очертаний, красивые и легкие, как куски смятой кисеи, летали всюду, попадали в лицо пешеходов и кололи ледяными уколами кожу щек, осыпали морды лошадей, — лошади мотали головами и звучно фыркали, выпуская из ноздрей клубы

горячего пара... На телеграфных проволоках висел иней, и они казались шнурами из белого плюша... Небо было ясно, и в нем сверкало много звезд. Они сверкали так ярко, что казалось, будто их к этому вечеру кто-то прилежно вычистил щеткой с мелом, чего, конечно, не могло быть.

На улице было шумно и оживленно. Мчались рысачи, шли пешеходы, причем одни из них шли торопливо, а другие неторопливо, и эта разница, очевидно, зависела от того, что первые имели некоторые дела и заботы или не имели теплых пальто, а вторые не имели никаких дел и забот и имели не только теплые пальто, но даже и шубы.

К одному из людей, не имевших забот, но обладавших шубой с пышным воротником,— прямо под ноги к одному из таких господ, шагавшему медленно и важно, подкатились два маленькие комка лохмотьев и, вертясь перед ним, тоскливо заняли в два голоса:

— Батюшка-барин...— тянул звонкий голос девочки.

— Ваше благородие, господин...— помогал ей хриплый голос мальчика.

— Подайте убогеньким деткам...

— Копеечку на хлебец! Для праздника!..— закончили они оба вместе.

Это были мои герои, бедные дети, мальчик — Мишка Прыщ и девочка — Катька Рябая... \*

Господин шел, а они юрко сновали у его ног, то и дело перебегая ему дорогу, и Катька, задыхаясь в волнении ожидания, полушёпотом повторяла: «Под-дайте!..», тогда как Мишка старался как можно более мешать господину идти.

И вот господин, когда они порядочно надоели ему, распахнул шубу, достал портмоне и, поднося его к своему носу, стал сопеть. Затем он вынул монету и сунул ее в одну из протянутых к нему маленьких и очень грязных рук.

Два комка лохмотьев мгновенно исчезли с дороги господина в шубе и сразу очутились в нише ворот, где,

---

\* Не желая шокировать благовоспитанную публику, предлагаю переименовать героев моих в Мишля и Катриш.

прижавшись друг к другу, некоторое время молча по-сматривали в ту и другую сторону улицы.

— Не видал, чёрт!..— тоном злого торжества шепнул бедный мальчик Мишка.

— Он к извозчикам пошел, за угол...— ответила его подруга.— Сколько дал барин-то?

— Гривенник! — равнодушно сказал Мишка.

— А сколько стало?

— Семь гривен с семишником!

— Ого, уж сколько!.. А скоро домой? Холодно...

— Поспеешь! — скептически сказал Мишка.— Тымотри, не суйся так сразу, бутошник-то увидит — заберет и чёлку надерет... Вот баржа плывет! Вали!

Баржей оказалась дама в ротонде, из чего ясно видно, что Мишка был мальчик очень злой, невоспитанный и непочтительный к старшим.

— Родимая, ба-арыня...— пел он.

— Пода-айте Христа ради!..— тянула Катька.

— Три копейки отвалила! Эво!.. Чёртова кукла!..— выругался Мишка и снова юркнул в нишу у ворот.

А по улице всё метались легкие тучки снега, и холодный ветер становился острее. Телеграфные столбы глухо гудели, визгливо скрипел снег под полозьями саней, и где-то далеко по улице рассыпался свежий и звонкий женский смех...

— Тетка-то Анфиса и сегодня будет пьяная? — спросила Катька, плотнее прижимаясь к товарищу.

— А что же! Что ей не пить-то! Будет...— солидно ответил Мишка.

Сбрасывая с крыш снег, ветер стал тихонько насвистывать какую-то святочную ариетту, и где-то завизжал дверной блок. Потом раздался дребезг стеклянной двери, и звучный голос крикнул:

— Извозчик!

— Пойдем домой! — предложила Катька.

— Ну! заскулила!..— огрызнулся на нее солидный Мишка.— Чего дома-то?

— Тепло...— кратко пояснила она.

— Тепло!..— передразнил ее товарищ.— А как соберутся все да плясать заставят,— хорошо? А то накачают тебя водкой,— опять рвать станет... Тоже — домой!..

И он поежился с видом человека, который знает цену себе и твердо уверен в справедливости своего взгляда на дело. Катька судорожно зевнула и присела на корточки в углу ворот.

— А ты молчи себе... холодно — потерпи... Ничего!.. Мы, брат, отогреемся за милу душу... Уж я знаю! Я, брат, хочу...

Он остановился с целью заставить свою товарку проявить интерес к тому, чего он хочет. Но она, сжимаясь всё плотнее, не проявляла никакого интереса. Тогда Мишка несколько тревожно предупредил ее:

— Ты смотри, не засни... обморозишься! Катюшка?!

— Нет... я ничего... — стуча зубами, ответила она.

Не будь с ней Мишки, она, может быть, и замерзла бы; но этот опытный постреленок твердо решил всячески мешать ей сделать этот обыкновенный святочный поступок.

— Ты встань! А то так-то хуже. Стоя-то ты больше, морозу-то и труднее тебя пробрать. С большим ему не сладить... Вон лошади — те никогда не зябнут. А человек меньше лошади... он зябнет... Встань, мол! Вот до рубля добьем — и марш!

Катька встала, вся вздрагивая мелкой дрожью.

— Уж больно... холодно... — тихонько шепнула она.

Действительно, становилось всё холодней. И тучки снега понемногу превращались в густые вихристые клубы. Они крутились по улице, тут — в форме белых столбов, там — в виде длинных полос пышной ткани, осыпанной бриллиантами... Было приятно смотреть, когда такие полосы извивались над фонарями или летели мимо ярко освещенных окон магазинов. Тогда они вспыхивали массой разноцветных искр, холодных и колющих глаз своим острым блеском.

Но, хотя всё это и было красиво, оно ничуть не интересовало пару моих героев.

— Те-те!.. — сказал Мишка, высунув нос из своей норы. — Плывут! Целая куча!.. Катька, не зевай!

— Милостивые господа-а!.. — дрожащим и прерывающимся голосом заняла девочка, выкатываясь на улицу.

— Подайте бе-е... Катюшка, беги! — взвизгнул Мишка.

— Ах вы! Я в-в-вас!.. — крикнул и зашипел высокий полицейский, вдруг появляясь на панели.

Но их уже не было. Они быстро покатались от него двумя большими лохматыми шарами и исчезли.

— Убегли, чертенята! — сказал себе под нос полицейский и, поглядев вдоль улицы, добродушно улыбнулся.

А чертенята бежали и хохотали. Катька, запутываясь в подоле своих лохмотьев, то и дело падала, восклицая:

— Господи! Опять... — и вставая, оглядывалась назад со страхом и смехом.

— Догоняет?..

Мишка, держась за бока, хохотал во всё горло и, минутно натываясь на прохожих, получал щелчки.

— Будет... ну те к чёрту!.. Ка-ак она кувыркается!.. Ах ты, дуреха! Шлеп!.. Господи! Опять шлеп! Ну уж с...смешно!..

Падения Катьки настроили его на добродушный лад.

— Не догонит теперь, айда тише! Он... ничего... хороший... Тот, тогдашний, засвистел... Я бегу — и прямо в брюхо караульщику!.. Так лбом об колотушку и треснулся...

— Я помню! Шишка... вскочила... — И Катька снова рассыпчато захохотала.

— Ну ладно! — серьезно сказал Мишка. — Будет уж. Слушай дело...

Они шли рядом друг с другом степенной походкой людей серьезных и озабоченных.

— Я даве тебе наврал... Барин-то двугривенный сунул.. и раньше тоже врал... чтоб ты не говорила — пора домой. Сегодня день больно удачный! Знаешь, сколько пасбирали? Рупь пять копеек! Много!..

— Да-а!.. — прошептала Катька. — На столько, пожалуй, целые башмаки купишь... на толчке ежели...

— Ну, башмаки! Башмаки я тебе украду... ты погоди... Я давно прицеливаюсь к одним... Погоди, стяну уж их... А ты вот что... Пойдем сейчас в трактир... понимаешь?

— Тетенька-то опять узнает да и задаст... по-тогдашнему!.. — вдумчиво протянула Катька; но в тоне ее все-таки уже звучала нота предвкушения близости тепла.

— Задаст? Не задаст! Мы, брат, такой трактир выберем, где нас ни едина душа не знает.

— Эдак-то!..— с надеждой шепнула Катька.

— Вот... купим перво-наперво полфунта колбасы, — восемь копеек; фунт белого хлеба, — пяточок... Это будет... тринадцать! Потом по трехкопеечной слойке... две слойки — шесть копеек; это уж — девятнадцать! Да за чай, за пару, шесть... вышел четвертак! Эво! А остается...

Мишка замолчал и остановился. Катька смотрела в его лицо вопросительно и серьезно.

— Много больно уж так-то... — робко повторила она.

— Молчи... Погоди... Ничего не много... Мало еще. Еще проедем восемь копеек... Тридцать три! Вали всюю! Теперь святки-прятки... А остается... ежели четвертак... то... восемь гривен... а как тридцать три... так семь гривен с лишком! Вишь сколько! Чёрта ей еще надо, ведьме?.. Айда!.. Скоро ходи!..

Взявшись за руки, они вприпрыжку побежали по панели. Снег летел им навстречу и слепил глаза. Иногда снежное облако покрывало их с головой и заворачивало обе маленькие фигурки в прозрачную пелену, которую они быстро разрывали в своем стремлении к теплу и пище...

— Знашь, — заговорила Катька, задыхаясь от быстрой ходьбы, — ты как хочешь... а коли она узнает... я скажу, что это ты всё... выдумал... Как хочешь! Ты убежишь, и всё... а мне хуже... меня она всегда ловит... и дерет больнее, чем тебя... Она меня не любит... Я скажу, смотри!..

— Айда! Говори! — кивнул Мишка. — Поколотит, — заживет... Ничего... Говори...

Он весь был переполнен бравадой и шел, закинув голову назад и посвистывая. Лицо у него было худое, с плутоватыми, но не по-детски сухими глазами и с острым, немного горбатым носом.

— Вон он, трактир-то... Два! В который бы?

— Айда в низенький. Прежде в лавку... Ну!

И, купив в лавке всё, что было ими намечено, они пошли в низенький трактир.

Трактир был полон пара, дыма и кислого, одуряющего запаха. В густой дымчатой мгле сидели за столами извозчики, босяки, солдаты, между столов сновали идеально грязные половые, и всё это кричало, пело, ругалось...

Мишка зорко усмотрел свободный столик в углу и, ловко лавируя, прошел к нему, быстро разделся и отправился к буфетчику. Катька тоже стала раздеваться, робко поглядывая по сторонам.

— Дяденька! — сказал Мишка буфетчику. — Позвольте мне пару чаю! — и легонько стукнул по буфету кулаком.

— Чаю тебе? Изволь! Бери сам... и за кипятком сходи... Да смотри не разбей чего. Тогда я те!..

Но Мишка уже помчался за кипятком.

Минуты через две он с своей товаркой степенно сидел за столом и, откинувшись на спинку стула, с важной миной хорошо поработавшего ломового извозчика — сосредоточенно крутил себе сигарку из махорки. Катька смотрела на него с уважением к его умению держать себя в общественном месте. Она так вот никак не могла еще привыкнуть к могучей, оглушающей гармонии кабака и втайне всё ожидала, что их обоих «турнут по шеям» отсюда или выйдет еще что-либо худшее. Но ей не хотелось выказать перед Мишкой своих тайных опасений, и, пригладивая ручонками льняные волосы на голове, она старалась смотреть вокруг себя независимо и просто. Эти усилия то и дело вызывали краску на ее грязные щеки, и ее голубые глазки смущенно щурились. А Мишка степенно поучал ее, стараясь подражать в тоне и фразе дворнику Сигнею, очень солидному человеку, хотя и пьянице и недавно отсидевшему три месяца в тюрьме за кражу.

— Вот, ты, примерно сказать, канючишь... Как ты канючишь? Никуда не годится, ежели говорить по правде. «По-адайте, по-адайте!..» Рази в этом штука? А ты под ноги ему, проходящему-то, суйся... А ты норови так, чтобы он опасился упасть через тебя...

— Я так и буду...— покорно согласилась Катька.

— Ну вот!..— важно тряхнул головой ее товарищ.— Так и надо. Потом еще: ежели, примерно сказать, тетка Анфиса... Что такое Анфиса?.. Пьяница, первое дело! А потом...

И Мишка откровенно объявил, чем была потом тетка Анфиса.

Катька утвердительно кивнула головой, вполне согласная с определением Мишки.

— Ты вот не слушаешься ее... Это надо не так делать. Ты скажи ей, что, мол, я, тетенька, ничего... я, мол, вас буду слушаться... замажь ей, значит, широко-то глотку. А потом и делай, что хошь... Так-то...

Мишка замолчал и солидно почесал себе живот, как всегда это делал Сигней, кончая речь. Больше у него никаких тем не оказалось. Тогда он встряхнул головой и сказал:

— Ну, давай есть...

— Давай! — согласилась Катька, давно уже измерившая жадным взглядом хлеб и колбасу.

И вот они стали есть свой ужин среди сырой пахучей мглы плохо освещенного закоптелыми лампами трактира, в шуме циничных ругательств и песен. Ели они оба с чувством, с толком, с расстановкой, как истые гастрономы. И если Катька, сбиваясь с такта, жадно откусывала большой кусок, отчего ее щеки распирало и у нее смешно таращились глаза, степенный Мишка насмешливо бурчал:

— Ишь ты, матушка, навалилась!..

А ее это смущало, и она, чуть не давясь, старалась скорее прожевать вкусную пищу.

Ну, вот и всё. Теперь я спокойно могу оставить их оканчивать свой святочный вечер. Они — поверьте мне — уж не замерзнут! Они на своем месте... Зачем бы я их заморозил?..

По моему мнению, крайне нелепо замораживать детей, которые имеют полную возможность погибнуть более просто и естественно.

# САМОУБИЙСТВО

## I

В эту ночь всё было несколько исключительно: пение вьюги слишком громко и торжественно, хлопья снега носились в воздухе как-то особенно тихо, и были они так крупны и липки, что казалось: небо, раздраженное жалким видом спящего города, хочет навеки засыпать его, этот большой город — серый, сырой, животно-покойный, построенный как бы на озере жидкой грязи, жадно глотавшей белые клочья снега, чуть только они падали в нее... Они падали неустанно вот уже часа два кряду и всё еще не могли покрыть землю своей белой пеленой; некоторые из них, как бы не желая бесполезно гибнуть в грязи, налипли тяжелыми пучками на стены мокрых зданий, холодно смотревших темными пятнами окон друг на друга и на улицу, по которой носилась тяжелая и сырая вьюга конца осени. Газовые фонари щурились, мигали и, покрытые тающим снегом, казались утомленными в борьбе с тьмой, плачущими от бессилия, и полосы их света, мечеобразные и дрожащие, бесполезно, ничего не освещая, исчезали в серой мгле...

Было еще не поздно. В окнах гостиниц горели огни. Иногда из густой белой кашицы, кипевшей на улице, выплывала пролетка и с глухим дребезгом снова пропадала в ней; иногда, гораздо реже, в этой кашице ныряла одинокая фигура пешехода, съёженная, юркая и вся залепленная снегом.

Одна из таких фигур остановилась у дверей в гостиницу; но, когда швейцар предупредительно растворил перед ней дверь, она, как бы немного изумленная этим обстоятельством, быстрым жестом руки сдернула запотевшее пенсне и уставилась в лицо швейцара

неподвижным взглядом мутных глаз, в то же время обса-сывая запорошенные снегом большие русые усы и сплевывая прямо перед собой, чуть не на сапоги швейцара.

— Пожалуйте-с! — настойчиво и любезно пригласил швейцар.

Тогда господин с русыми усами, раскачивая в воздухе пенсне на черном снурке, решительно шагнул в дверь.

— Это гостиница? — спросил он, когда швейцар стал снимать с него пальто.

— Так точно! — ответил тот, немного удивленный вопросом.

— Можно отдельный кабинет? — спросил господин и, рассматривая себя в зеркало, тихонько стал насвистывать сквозь зубы.

— Можно-с! там наверху... пожалуйте!

Господин двинулся, покачиваясь на ходу и крепко цепляясь длинными белыми пальцами за перила лестницы, а швейцар, посмотрев ему вслед, пока он не скрылся на повороте лестницы, почесал себе бритую щеку, произнес неопределенно «м-м!» и сел на свой стул около дверей, засунув руки в рукава мундира и равнодушно позевывая. А господин взшел на лестницу и очутился перед широкой аркой, пышно драпированной тяжелыми складками темно-коричневой материи. Из этих складок, прямо под нос вошедшему, вынырнула маленькая, почтительно изогнутая фигурка официанта, сделала в воздухе ловкий вольт салфеткой и вежливо прошипела:

— Что прикажете?..

— Кабинет.

— Пожалте!

Помахивая салфеткой и бесшумно двигая по полу ногами, официант привел гостя к маленькой двери, распахнул ее, посторонился и, неподвижно остановившись у косяка, ясно изобразил на своем лице полную готовность к услугам, изогнувшись немного вперед и подставив гостю правое ухо.

— Ну... дайте мне чего-нибудь... Коньяку, например... апельсинов и вообще фрукт.

— Сию минуту! Коньяку — как прикажете, с лимонадом? сельтерской? или только с лимоном?

— А, чёрт! — внезапно раздражился господин.— Чего вы пристали ко мне? Ну? Всего дайте! Всего — сельтерской, лимонаду...

Лакей извинился и исчез. Гость вскинул на нос пенсне и, засунув руки в карманы брюк, стал ходить по кабинету, нервно покусывая усы и с гримасой пренебрежения осматривая кабинет. Это была маленькая, оклеенная темными обоями комнатка, пять шагов в ширину и семь в длину; в ней стоял широкий и мягкий диван, перед ним стоял стол, три кресла, в простенке между окон зеркало, по обеим сторонам его мягкие стулья, на стенах несколько рам с радужными пятнами... И всё это вместе, потертое и дрянненькое, создавало вокруг себя свою атмосферу, всё более раздражавшую гостя.

«Зачем я сюда пришел? именно сюда, где коротают время кутилы и продажные женщины и где всё так пошло?.. — подумал гость, останавливаясь среди комнаты и опираясь на спинку кресла.— Э, всё равно! пусть до конца будет пошло. Не стоит рассуждать. Нужно делать всё это спокойно, без заигрывающих экивоков прошлому и без какого-либо интереса к будущему. Не будем делать драму из конца комедии. Не будем обвинять себя и других и оправдывать не будем никого, а просто умрем, Петр Ефимович, и всё. Умрем просто, тихо и мирно, как надлежит умирать истинно русскому неудачнику, без эффектов, помпы, записок, жалких слов и прочих ненужностей... Но предварительно выпьем!» — И Петр Ефимович широко улыбнулся навстречу входящему официанту с подносом, на что официант счел своим долгом тоже приятно ослабиться.

— В случае, если что потребуется, извольте позвонить, вот-с кнопка! У нас звонки-с электрические! — с некоторой гордостью сообщил он, изогнувшись и бесшумно исчез.

Петр Ефимович подошел к столу и скорчил гримасу.

«Зачем я велел дать коньяку, когда предпочитаю ему водку? гм, странно! А впрочем, ничуть не странно, и решительно всё равно, что ни пить перед смертью —

водку или коньяк, шампанское или ликер. Вот думать — перед смертью скверно, это так. Как бы это не думать?»

Петр Ефимович взял апельсин и стал его медленно чистить. Но не думать ему не удавалось. Мысли, скучные и холодные, выделяясь одна из другой, кружились в его голове, точно в медленной пляске, поглощали друг друга, останавливались перед чем-то и вдруг уносились куда-то всем роем. Он упорно смотрел вперед себя, весь охваченный тупой и тяжелой тоской, пытался вспомнить что-то, догадаться о чем-то... Вот они снова являлись и медленно кружились как те холодные, тяжелые и липкие хлопья снега, что тихонько стучали в стекла окна за его спиной... Он следил за собой, и ему казалось, что в голове его как бы разматывался клубок перепутанных ниток, — сначала нитка развивалась прямо и ровно, но вдруг откуда-то за нее цеплялась другая, вся в петлях и узлах, а за ней вытягивалась третья, четвертая соскакивала с клубка, и получался странный запутанный узор... И вдруг всё это разрывалось, а из обрывков уже рождалось что-то другое, такое же неясное и холодное. Петр Ефимович чувствовал себя расколотым на две половины: одна из них, нервно напряженная и болезненно вибрирующая, торопилась прожить как можно дольше, а другая, решительная и твердая, с холодным презрением следя за деятельностью первой, учащенным биением сердца как бы говорила: «Пора, пора, пора!»

«Хочу ли я умереть? Об этом смешно спрашивать перед решенной смертью... А все-таки — хочу ли? Вполне естественный вопрос, ибо я не спокоен... И если я хочу умереть, то что я говорю себе этой смертью, — наказываю себя или боюсь жизни, говорю ли, что я горд, или сознаюсь в бессилии?.. Такая путаница!»

Он крепко потер себе лоб и, налив рюмку коньяку, посмотрел сквозь нее на свет.

«А на кой чёрт в сущности знать мне это, и стоит ли думать об этом? Решено, — я не хочу больше жить. Почему?.. Опять вопрос! Тьфу!..» — раздраженно плюнул он, быстро вынул из бокового кармана пиджака револьвер и, глядя на него, снова задумался.

«Готов произнести очень банальную фразу о маленьком кусочке свинца, разрешающем великую загадку... даже произнес эту фразу... Человек, ты жалок и не оригинален, а если решаешь не сразу, то глуп и смешон! Это, кажется, хорошо сказано... Все-таки я продолжаю думать, тогда как одна секунда — и я сразу навсегда могу освободиться от этой печальной обязанности... Почему? Почему же я думаю, зная, что это — бесполезно? Несчастный человек, зачем ты выучился ставить перед собой вопросы? Впрочем, на вопрос, почему нужно умирать, можно ответить и кратко и верно: сил нет жить. Почему? и так далее... Смешно! Считаю я себя философом, я бы сказал, что вся эта ненужная ломка суть не что иное, как усилия Творящей Воли победить мое сознание, выработавшее перед собою цель — смерть!.. Но я не философ, слава мне! а простой человек, запутавшийся в противоречиях жизни, утомленный, одинокий, беспомощный, отравленный многими думами о земном, лишенный цели... или лишивший себя цели... жалкий человек, который не может умереть без того, чтобы не пощупать брода назад... в ту жизнь, которая вытолкала его в шею от себя, видя, что он никуда не годен и никому не нужен. Фи! К чёрту! Finita! Finita! Finita!»<sup>1</sup>.

Он поднял револьвер в уровень с правым виском и осторожно стал нажимать спуск. Но его голова, помимо его воли, стала повертываться вправо, и вдруг глаз его очутился перед дулом. Маленькое черное отверстие смотрело ему в глаз холодно и загадочно, вокруг дула из барабана высовывались сизые, тусклые конические пульки. Момент — одна из них выскочит, пробьет кость, проникнет в мозг, разорвет его и столкнет человека с земли куда-то в таинственное и страшное... Это так мучительно просто, что над этим человеку нельзя не остановиться и не подумать.

Петр Ефимович осторожно положил револьвер на стол и, нахмутив брови, пристально уставился на него, откинувшись в кресло. Острое чувство ужаса холодом

---

<sup>1</sup> Окончено! Окончено! Окончено! (лат.).

пробежало по его коже, точно пронизывая ее тонкими ледяными иглами. Он встал, подошел к окну и стал смотреть на улицу. Вьюга всё выла, и хлопья снега безжизненно носились, странно похожие на ночных бабочек. Вдоль улицы вытянулась прямая линия фонарей, и чем глубже вдаль они уходили, тем огоньки их казались ближе друг к другу. Они прыгали, вздрагивали... и были точно огненные клавиши, по которым ударяли невидимые пальцы, разыгрывая тоскливо злую симфонию, надрывавшую сердце своими неожиданными эффектами. Звуки соединялись один с другим так капризно, оригинально,— вслед за жалобным шёпотом раздавался насмешливый свист, и болезненный вой заглушался торжествующим хохотом... Точно чьи-то тени проносились с плачем и смехом...

«Погода вполне приличная случаю! — усмехнулся Петр Ефимович.— А я всё еще думаю... Впрочем, я сознаюсь себе, что в переживаемых мною гнусностях есть нечто приятное... и, кажется, существует оно вне сознания близости моего конца, вне... Может быть, я чувствую себя героем, и поэтому...» — и он снова усмехнулся. «Прежде выпьем!» — вполголоса сказал он и, испугавшись звука, оглянулся кругом.

Темные стены комнаты смотрели на него запутанными узорами своих обоев, и с одной стены из рамки заманчиво улыбалась ему нагая женщина, лежавшая па траве у ручья. Одну руку она простерла вперед, а другой указывала на свою грудь. Тело у нее было цвета сырой сосиски, а лицо кирпичное, обезображенное гнусной и глупой улыбкой.

«Скверная картинка... Но она останется тут еще долго и пробудит у людей соответствующие ее назначению мысли и желания, тогда как я... исчезну, и больше ничего... Ей цена пятиалтынный вместе с рамкой, а я все-таки человек и, наверное, создан для какой-нибудь более высокой и чистой функции, чем это скверное пятно... Но она приспособлена, а я не мог найти себе места... почему и... говорю жалкие слова самому себе... Выпью...»

Он быстро опрокинул в рот рюмку и сразу же налил другую, выпил и ее и взял в руки кусок лимона... Но

лимон выпал из его пальцев, он не заметил этого и снова забыл о вине.

«В рассказах о самоубийцах, которые я читал, эти господа перед концом всегда вспоминают начало. И это очень глупо... вспоминать... Но впрочем... я, может быть, ругаюсь из зависти только... Тем было о чем вспоминать, а мне не о чем... вот и всё! И наконец, тем не стыдно было вспоминать прошлое, тогда как мне стыдно. Почему? Потому что у меня не было жизни, а были одни платонические потуги и поползновения. И мечты, как водится, и надежды... да. И ценил я себя в рубль при стоимости в пятак... Щелк-щелк,— и ото всего этого остались пыль и боль... Так и надо!.. Однако я решил не обвинять себя и жизнь... и не рассуждать... Боюсь я умереть, должно быть?»

Он налил еще рюмку и выпил. Потом снова взял в руки револьвер и тщательно осмотрел его. Револьвер был так холоден, что пальцы, прикасаясь к нему, вздрагивали.

«В грудь или в голову? Лучше в грудь, в сердце. Разбитая голова — это скверно уж очень. Приличнее в грудь. Значит... что же? Чёрт тебя побери, жизни! Скверная ты штука, жесткая, злая, холодная, погибнешь и ты, погоди! Погибнешь, сама себя пожрешь! Ты ведь тоже не понимаешь себя! Будь ты проклята! и всё, что с тобой... и с теми, что... всё гадко, подло, живо!..»

Петр Ефимович побледнел и, зло глядя в дверь кабинета, угрожающе постучал пальцем по столу.

«Ростовщица ты! создаешь людей, и они грубые соки, данные тобой, перерабатывают в мысли... в то, что украшает тебя... они отдают тебе по тысяче за сто. Ты всё берешь, берешь жадно и равнодушно... На что это тебе нужно? Кому ты это копишь?.. Скряга...»

Петр Ефимович погрозил кулаком и заскрипел зубами, злобно хмуря брови. Но он быстро опомнился...

«Однако это коньяк начинает действовать. Может быть, лакей слышал меня и сейчас придет?» — Он испуганно взглянул на дверь и быстро расстегнул жилет, рубашку, нащупал сердце и, почти вплоть к груди приставив револьвер, откинулся на спинку кресла и, креп-

ко зажмурив глаза, весь плотно съежился, как бы желая вытеснить из себя остатки нерешимости. На его сморщенном лице стали выступать капли пота, и губы, бледные и сухие, вздрагивали. Сердце сильно билось... Пора, пора, пора!

В коридоре послышались легкие шаги, мягкий шум шелковой материи, и дверь в кабинет быстро распахнулась... Петр Ефимович быстро отдернул револьвер, сунул его в карман брюк и дрожащими пальцами старался застегнуть запонки рубашки, не вставая с кресла и упорно широко раскрытыми и глупыми глазами глядя в дверь.

А на пороге стояла маленькая женская фигура в широком темном пальто и, отцепляя боа из перьев, задевшее за крючок, весело кричала ему:

— Здравствуйте! Заставила ждать? Извините! Но вам, кажется, было не особенно скучно?

## II

Она была низенькая, полная, подвижная, с маленькой задорно и кокетливо поднятой головкой в мелких светлых кудрях, падавших на ее лоб и на румяные щеки. Ее серо-голубые глаза блестели весело и бойко, а пунцовые губы обнажали два ряда мелких и красивых зубов. С нею в кабинет влилась струя чего-то живого, свежего и широкого... Но вместе с этим в ее смехе и голосе звучала какая-то лживая нота, что-то неискреннее, деланное, но от долгой привычки казавшееся естественным.

Петр Ефимович смотрел на нее, был смущен ее появлением и пытался понять — что это такое? Зачем она пришла? А гостья распутала свой боа, сбросила с себя пальто на кресло и осталась в гладкой черной юбке и красивом голубом жилете с грудью из кружев, сквозь которые просвечивало ее тело. Вот она подошла к столу, одним взглядом окинула его, взяла из вазы грушу и сделала гримасу:

— Фи! кто так пьет? Сразу коньяк!.. не люблю!

Она качнулась в сторону и ткнула пальцем кнопку звонка. Петр Ефимович всё молчал, следя за ней гла-

зами. Он сидел в кресле и уперся в его ручки ладонями так, как будто хотел встать. Она заметила это.

— А вы не теряли время даром... Ишь, как вас коньяк-то приклеил к стулу!.. — Быстро подойдя к нему, она взяла его под мышки и попыталась поднять. — Хотите встать? Грузно назююкались, дяденька! — и она громко засмеялась.

Тогда он грубо толкнул ее в плечо и, быстро поднявшись, двумя твердыми шагами отошел от нее, а потом обернулся, брезгливо вытянул нижнюю губу и, прищулив глаза, стал упорно разглядывать ее.

Его движение ошеломило девушку. Держась одной рукой за спинку стула, а пальцами другой играя складками кружев на своей груди, она, широко раскрыв глаза и закусив нижнюю губку, тоже молча уставилась на него, высокого, довольно красивого, с бледным, решительным лицом и длинными растрепанными усами. Он засунул руки глубоко в карманы, и его ноздри нервно вздрагивали. Вошедший лакей почтительно стоял у двери и ждал, не выражая на бритом лице ничего, кроме ожидания.

— Ничего не нужно! — крикнул он лакею.

Тот скрылся.

— Н-ну-с!? вы что? вас кто звал? зачем вы пришли? — кратко и сухо спросил Петр Ефимович.

Барышня вздрогнула и, робея, произнесла:

— Вы звали... я не знаю... № 17-й звал... а это? — она взглянула на жестянку над дверью и вдруг засмеялась, вскрикнув сквозь смех: а это... че... ттырнадцатый! ха-ха-ха!.. — Теперь смех у нее звучал иначе, чем прежде, — красивее и веселее.

— Вы мне не нужны... и... пожалуйста, уйдите! — торопливо и резко проговорил Петр Ефимович.

Она сразу перестала смеяться, поджала губы и пошла к двери, где бросила пальто, говоря на ходу:

— И уйду, конечно! с какой бы это стати я осталась с вами... таким!.. — И, повернув к нему лицо, она высунула кончик розового языка и смешно наморщила нос.

«Какая пошлая и развратная...» — подумал Петер Ефимович. Он опасался какой-нибудь выходки с ее

стороны, боялся скандала, ее присутствие в одной комнате с ним унижало его... И в то же время в нем медленно назревало какое-то желание, которого он стыдился, хотя еще не понимал его. Она не торопясь и неумело надевала пальто и не смотрела на него.

«Что же она так одевается, если ей идти только до семнадцатого номера», — подумал он, не сводя с нее глаз.

Она повернулась, и из-за ее фигуры он увидел на стене соблазнительную картину. Свет лампы падал на ее стекло, и оно блестело вызывающе ярко...

«Как она долго!» — подумал Петр Ефимович и вдруг сказал:

— Послушайте! если хотите... оставайтесь здесь... выпьем...

Она с обидной улыбкой взглянула на него как-то чересчур прямо и, не отвечая, продолжала надевать перчатку. Петр Ефимович почувствовал острый укол в груди и сразу возненавидел и себя и эту барышню. Ему захотелось оскорбить ее.

— Оставайтесь! — повторил он и, скверно улыбнувшись, добавил: — Ведь вам решительно всё равно — тот или этот мужчина... да?

— Решительно всё равно!.. — с обидным равнодушием подтвердила она.

— Вот и прекрасно!.. — с едкой улыбкой, едва подавляя стыд и бешенство, сказал Петр Ефимович и, подойдя к ней, стал помогать ей снимать пальто.

— Спросите кофе, пожалуйста, и ликеру. Шартрез, это всего лучше... И не пейте ваш коньяк... к чёрту его! Он пахнет после... изо рта горелым... Не будете?

— Я не пью, собственно... — Он нажал кнопку звонка и крикнул в коридор: — кофе и шартрез!

— Да, я вижу, как вы не пьете... знаю... — усмехнулась она.

«Подлая!» — содрогнулся Петр Ефимович и, стараясь отцепить крючок ее пальто, зацепившийся в кружевах, дотронулся пальцами до ее шеи. Она вызывающе улыбнулась ему в лицо.

— Не могу! — глухо сказал он и, отойдя в сторону, сел на диван.

— Порвал кружева, медведь... а еще такой красивый! — усмехнулась она, бросила пальто, подошла к зеркалу и, напевая, стала оправлять свои кудри.

Петр Ефимович смотрел на нее и спрашивал себя: «Зачем я ее оставил? Чего я от нее хочу?» — Он пощупал револьвер в кармане и подумал: «Что с ней будет, если при ней, сейчас вот, сделает это? Наверное, она испугается и завизжит...» Это соображение вызвало у него улыбку. Ему понравилось то, что она испугается и завизжит. Как раз в этот момент она обернулась и, видя его улыбающимся, весело и лукаво спросила:

— Что, хорошенькая я? да?

Ему хотелось позлить ее, хотелось видеть ее плачущей, жалкой, раздавленной чем-нибудь, униженной... Ее лукавое лицо, кокетливая фигурка и глаза, блиставшие так беззаботно весело, вся она, низкая и пошлая продажная девчонка, возмущала его своей свежестью и довольством своей грязной жизнью.

«Я, человек с развитым сознанием, умираю, должен умереть, ибо мне нет места в жизни, а этот продажный кусок мяса остается жить. Это уж чересчур премудро для того, чтоб я не попытался испортить ей существование!.. Хотя бы на два-три дня!.. Так думать — цинично, а действовать — может быть, преступно... но я — человек...»

Он внутренне засмеялся и над собой, и над ней, и над своим желанием.

А она уже села с ногами в угол дивана, отпустила лакея, принесшего кофе, налила себе чашку, взяла ее в руки и, сжавшись вся в мягкий красивый комок, снова спросила, улыбаясь ему и помешивая ложкой свой кофе:

— Вы совсем не будете говорить? а? Я спросила — хорошенькая я?..

— Да, — серьезно ответил Петр Ефимович и утвердительно кивнул головой. — Только... — и он шумно вздохнул.

— Ну? что — только? — с любопытством в глазах и тоне сказала девушка, перестав мешать кофе.

— Не надолго это... Два-три года, и вы уже будете стары, то есть не стары... а израсходуетесь...

— О! Дв-ва года, три года!.. Это не скоро...— махнула она рукой.

— Не скоро? Не думаю, время ведь быстро летит... И не заметите, как сгорит огонь... Да потом — можно ведь захворать, не так ли?

Она быстро поставила свою чашку на поднос, бросила ложку и, вся вдруг потемнев, заговорила быстро и возбужденно:

— Да, вот это так... Ах, какие вы все... подлецы! Вы не обижайтесь, я не про вас! — она подвинулась к нему и, взяв его за локоть, потрясла. — Я вижу, что вы хороший человек... Вот вы совеститесь, конфузились сначала... Это я видела! Вы, должно быть, студент, да? Ну, всё равно... Это вы верно. Я сегодня была у подруги... Она молоденькая, моложе меня, ей семнадцать только... Вы не поверите, — красавица, полная такая, и в две недели вся испортилась! Доктор говорит — капут! не вылечится!.. а?

— Да, от этой болезни не вылечиваются, — холодно сказал Петр Ефимович.

Она откинулась в угол дивана, прерывисто дыша и вся красная от возбуждения. У нее покраснела шея и над бровями, сердито нахмуренными, тоже появились два красные пятна. Петр Ефимович чувствовал, что холодная и тяжелая скука и еще что-то неприятное, как бы исходя из ее слов, падают на него и давят его, лишая мысль остроты и рассеивая его недавнее желание сделать ей больно...

— А с вами, однако, не весело! — сказала она и пристально, с большим чувством посмотрела в его лицо. — Вы что? Не в духе?.. Развеселить вас? Выпьемте!

— Разве вы можете меня развеселить?.. — сказал он, чтоб сказать что-нибудь.

Она, встав на диване на колени, наливала коньяк, разбавляя его ликером.

— Конечно! На том стоим! — резонно произнесла она, следя за тем, чтоб не перелить рюмки. — А если бы мы не умели делать этого... то тогда зачем же мы и нужны? Пейте!

Он чокнулся и, выпив, посмотрел на нее, скептически улыбаясь.

— Обязанности ваши вы понимаете...

— А как же? — пожалала она плечами. — Конечно, мы живем для веселья. Мужчины работают, устают, скукают... и идут к нам. Жениться не каждый хочет... зачем вязать себя?.. А женатые ходят к нам потому, что жена надоедает... Жена и семья — та же работа... еще хуже... Дома скучно, всё пригляделось... А мы что ж? Пришел к нам, кутнул и больше ничего. Вот и всё!

Петр Ефимович ощутил в груди тонкую, ноющую боль. «Ай-ай-ай! — воскликнул он мысленно. — Эта гаденькая штучка сознает себя нужной и полезной! Имеет место в жизни, знает его!.. Это ирония, что ли?»

— Послушайте! — сказал он ей. — Ваша подруга и... вообще ваша сестра — думает об этом, как вы же?

— Моя подруга? нет, она злая... а вообще как мы думаем — не знаю... У меня ведь мало подруг... Только вот одна. Ах, как жалко, как жалко ее! Одна лежит там, бедная!.. и ничего у нее нет! Она любит конфеты, варенье... вообще сладкое. И у нее, кроме меня, никого!.. А у меня нет ни гроша, вот уж с неделю... Жидовка не дает больше. Я ей должна очень много! Бедная Катя! Ну, так жалко мне ее... право, я заплачу сейчас... ей-богу, заплачу!.. Когда я вспоминаю о ней... то... всегда... плачу...

У нее уже покраснел кончик носа, задрожали плечи и странно задвигались ноздри...

Петр Ефимович испугался — он не выносил женских слез — и заговорил глухо, но торопливо:

— А хотите, я... дам вам... то есть для вашей подруги, сколько могу? У меня... мне не нужны больше деньги... вот... — Он выхватил бумажник. — У меня десять... тридцать пять... нужно только заплатить здесь... Возьмите! шестьдесят семь рублей!.. совершенно лишние...

Она отодвинулась от него, но ее глаза блестели жадным огоньком, и рука робко протянулась к нему.

— А вы не сделаете после мне скандал? — быстро спросила она и подозрительно смерила его глазами.

Он положил деньги на стол перед нею и спокойно объяснил:

— Эти деньги мне не нужны... Всё равно, как употребить их. Так вот возьмите и дайте вашей подруге...

Потом... вы можете уходить... если хотите... я тоже сейчас уйду.

— Но позвольте, ей-богу, это много мне... Я никогда столько не получала... Уф...— Она схватила бумажки и, точно они были страшно тяжелы, медленно, с напряженным лицом потянула их к себе. — Какой же вы милый! и как я поцелую вас!.. Голубчик, можно? — и, не ожидая разрешения, кинула ему на плечи свои руки.

«За кого она меня считает?» — мелькнуло в голове Петра Ефимовича. Он быстро встал, сбросил с плеч своих ее маленькие руки и с непонятным ему раздражением заговорил:

— Я не хочу... ваших поцелуев и... уходите... я не звал вас... уходите вон... чего вам? То есть я не хочу вас обидеть, но мне нужно остаться одному, — и вы мне мешаете... пожалуйста, уходите... да!

Он вздрагивал и страшно волновался, чувствуя себя способным на что-то пелепое и понимая, что эта девушка ускоряет наступление какого-то постыдного момента и что в ней есть некоторая сила, заставляющая его... забыть то, за чем он пришел сюда... И еще ему казалось, что он виноват перед ней в чем-то и что эту вину не загладить данными деньгами, а нужно сделать что-то другое...

Он отошел от нее подальше. А она смотрела на него изумленно и нерешительно, что делало ее лицо совсем по-детски простым и кротким. Бумажки шелестели в ее руках...

— Уйти?!.— спросила она.

— Да! — кивнул головой Петр Ефимович.

— А... деньги?

— Пожалуйста, возьмите! — сильно и убедительно сказал он, и ему вдруг стало приятно оттого, что в этих двух его словах прозвучало много чувства. Он улыбнулся и тотчас же одернул себя: «Я уже начинаю ощущать сладость добродетельного деяния!..»

Она стояла и, глядя на него с непонятной улыбкой, качала своей кудрявой головой... И вдруг мелкими шажками она подошла к нему. Он отступил назад, но она снова кинула на его плечи руки свои, обняла его шею,

повисла на ней, закинув голову назад, и, плотно прижавшись к его груди, быстро и воодушевленно заговорила:

— Я вас уж расцелую! Как хотите! Не брезгайте! Чем мне благодарить? Ах вы, милый! Голубчик! Я расскажу про вас Кате... Она, хоть и злая и не любит вас, терпеть не может... но я уж ей распишу вас, не бойтесь!.. Голубчик вы!.. Вот вам... вот... вот...

Петр Ефимович покорился; но когда ее горячие губы открывались от его губ — он все-таки шептал глухим и дрожащим голосом:

— Уходите... хорошо... достаточно... благодарю...

Он чувствовал искренность поцелуев этой девушки, он держал ее руками за талию и — истязал себя.

«Как напрактиковалась целовать! Первый раз меня так целуют... Неужели это жизнь подкупает меня? Дешево дает, однако...» И он оторвал от своей груди девушку.

— Вот!.. — вскрикнула она в последний раз и, шатаясь, схватилась за голову. Он поддержал ее и посадил на кресло.

— Ф-фу! Как я... разошлась! — тихо прошептала она и, откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза... Этот порыв как бы облагородил ее, — она стала красивей. Вся вздрагивая, она не открывала глаз и дышала часто, отчего ее грудь, высоко подымая кружева, то просвечивалась, то скрывалась в них... Петр Ефимович в каком-то тумане жадными, горящими глазами смотрел на нее, не сводя глаз... Она как бы качалась в воздухе.

«Как она хороша! И как в ней всё спутано... хорошее, дурное, темное и светлое... точно это сама жизнь...»

Пораженный этой странной мыслью, Петр Ефимович вздрогнул и улыбнулся:

«Жизнь — проститутка! Она ведь тоже ласкает лишь того, кто платит ей за ласки... и никогда, никому, ничего не дает бескорыстно...»

Остановившись на этой мысли, он, пораженный ею, низко опустил голову и тер себе лоб, всё улыбаясь. Девушка встала, тихо пошла к двери и взяла пальто,

по дороге мельком взглянув на Петра Ефимовича взглядом печали и обиды... Он стоял не шевелясь.

— Вы что? Что с вами? — уже надев пальто, тоном заботы спросила она и сделала движение к нему.

— Ничего! Не беспокойтесь! — торопливо ответил Петр Ефимович и улыбнулся застенчивой улыбкой провинившегося школьника.

Она накинула на голову платок, бросила на плечо боа и сказала ему:

— Может быть, когда-нибудь зайдете... Это вам ничего не будет стоить... Я живу одна... зовут меня — Таня... — И она сказала адрес обиженным тоном, с надутыми губами и смешно нахмурив брови.

Петр Ефимович слышал ее слова, видел ее спину и понимал, что она уходит... И в его груди родилось странное физическое ощущение, точно какие-то удары изнутри толкали его к двери, у которой стояла девушка, медленно натягивая перчатку на руку... Но он крепился, сунув руку в карман и крепко схватив пальцами ручку револьвера...

«Когда она выйдет за дверь, я выстрелю. Пусть она увидит меня... Может быть, это для нее будет значить что-нибудь... Уходит! вот уходит!..»

— Ну, прощайте! — сказала она и взялась за ручку двери.

Петр Ефимович бессмысленно улыбался, наклонив голову влево и точно прислушиваясь к чему-то.

— Прощайте же! — повторила она, не глядя на него...

— Да! — вздохнул он и решительно кивнул головой.

— Чудак вы! — она медленно выплыла за дверь, и дверь хлопнула, как выстрел...

Петр Ефимович глазами, полными ужаса, оглянулся вокруг... В комнате было пошло, и пусто, и холодно... Он вздохнул. За окнами дико выл ветер и жалобно скрипела вывеска... В стекла тихо и неровно стучали хлопья снега... Петр Ефимович выхватил из кармана револьвер, приложил его к виску... Холодный металл коснулся тела, и тело жалко дрогнуло...

Тогда Петр Ефимович бросился к двери, отворил ее и громким голосом крикнул в коридор:

— Воротитесь! — и тотчас же испуганно отскочил на середину комнаты, встал и, изогнувшись всем корпусом к двери, стал слушать... Звуки торопливых шагов... и она, стоя на пороге, ласково спросила его:

— Вы что?

Он судорожно улыбнулся и, путаясь, заговорил:

— Простите... я вас беспокою... собственно говоря... мне ничего не нужно... но видите ли что... простите, пожалуйста!..

Она слушала его внимательно, но в ее глазах, он видел, поблескивает что-то пугливое и недоверчивое.

— Я хочу застрелиться... — кратко и глухо закончил он, вынул из-за спины руку с револьвером и, низко опустив голову, ждал...

Секунды с две она не трогалась с места, только побледнела и широко раскрыла глаза. Затем быстро подскочила к нему и, вырвав из его рук оружие, грозно помахала им перед лицом Петра Ефимовича, внятно прошептав:

— Не смейте! грех! ай-ай-ай! — и укоризненно покачала головой из стороны в сторону, строго нахмурив брови, бледная, дрожащая. Револьвер полетел на диван. Петр Ефимович проводил его глазами и глубоко вздохнул. Девушка быстро разделась, подошла к нему, взяла его за руку и толкнула в кресло. Он сел... Она встала перед ним, наклонилась и молча крепко поцеловала его в лоб, снова прошептав:

— Дурачок!..

Петр Ефимович слабо и покорно улыбнулся.

— Разве это можно?! такой молодой, сильный и... Ах, как глупо! Нужно жить... нужно всячески стараться жить...

У нее лицо было испуганно, губы вздрагивали и по щекам из широко раскрытых глаз катились крупные слезы...

Петр Ефимович почувствовал, что в его груди прорвался давно назревший больной нарыв и, точно захлебываясь, заговорил:

— Но если мне тошно? если я один? если жизнь не берет меня? Что же мне, как же?.. как же жить, когда один, когда нет в целом мире ни одной живой

души, родной мне?! И всё так темно, и скучно, и обидно... И чувствовать, что вот скоро тоска засосет тебя в какую-то гнилую трясиину... Никто не может в одиночку нести тяжесть жизни!.. А просить помощи — чем заплачу за нее, если у меня нет ничего, кроме моего горя?..

Он долго говорил тоном обиженного ребенка, слабого ребенка, которому приятно рассказывать о своей обиде. И наконец почувствовал себя пустым, не облегченным, а именно пустым — той жалкой пустотой души, которая низводит человека в разряд людей обычных, неинтересных. Это его поразило, и он замолчал, недоумевая и стараясь понять, как это вышло и куда девалось всё то, что еще недавно позволяло ему считать себя чем-то крупным, имеющим право много требовать от жизни и негодовать на нее за ее скудость...

«Неужели я в эту ночь не только пережил свою боль, но сразу прожил вместе с ней и всё мое ценное? Плохо же я был заряжен!..» — печально усмехаясь, подумал он. И ему стало скучно, холодно... Что-то равнодушное наполнило его грудь, и в этом странном смущении погасли, утонули все те мысли и чувства, которые так мучили его и вместе с болью давали ему право уважать и ценить себя.

А девушка заговорила сама. Говорила она спокойно, смешным тоном маленьких детей, когда они изображают старших. Это шло к ней, и ее лукавое личико, теперь сердито насуспенное, смотрело так мило. Ей, должно быть, нравилось утешать и поучать...

— А ты терпи!.. И потом — делай что-нибудь. Дурные мысли — это от безделья. Ты служишь где? Нет? Ну, вот видишь! Нужно поступить на службу... И жениться, да, непременно жениться!.. полюбить кого-нибудь и жениться... Вот полюби...

«А ведь она хочет, чтобы я ее полюбил... да! Ее-то!.. И потом она скажет: „Помнишь, я тебя спасла от гибели...“ Наверное, скажет... Вот шельма!.. Но, быть может, это ее приглашение — наивность, а не нахальство?..» Он посмотрел на нее и тотчас же подумал: «А впрочем, теперь мне решительно всё равно... В сущности, из-за чего я лез на стену? Хотел быть героем?..

К чёрту всю эту дребедень! будет! Я не позволю себе больше... я теперь найду силы, теперь я... буду серьезнее... мой опыт...»

Но ему не удавалось оформить ту хитрую и темную мысль, которая родилась в нем и предлагала ему удобный исход из положения, постыдность которого она обещала скрыть покровами лжи...

— Слушай! — обратилась к нему девушка. — Идем ко мне! Идем... я уже не могу тебя отпустить от себя... Не отпускаю... Идем?!

Он молча кивнул ей головой.

— Вот милый! — весело вскрикнула она. — Я думала, ты заспоришь...

— О чем спорить? — равнодушно спросил он, занятый новым ему ощущением внутренней пустоты.

Она потемнела, помолчала и звенящим голосом сказала ему:

— Я ведь не... ты не думай... может быть, ты думаешь, что я тебя хочу к рукам прибрать? Ей-богу нет! — она перекрестилась, подняв глаза к потолку, и быстро продолжала: — Хочешь, я тебе отдам деньги? Возьми! Правда, мне тебя только жалко... Очень жалко!..

Он наморщил лоб, но посмотрел в ее живое, взволнованное лицо и прояснился.

— Милая ты девушка! — тихо воскликнул он, целуя ее в лоб.

Она счастливо засмеялась...

— Господи! Как я славно сегодня ошиблась! А леворвер-то надо взять с собой... это вещь дорогая! — Она подскочила к дивану, схватила оружие, сунула его куда-то в складки платья и сияющая крикнула мужчине:

— Идем!

И они пошли к двери рядом друг с другом. Он шел медленно и спокойно, заложив руки назад, она, закинув головку кверху, и когда оба они подошли к двери, она отворила ее перед ним, заботливо пропустила его вперед и потом уже вышла сама.

В кабинете стало пусто. Голая женщина с картинки на стене теперь простирала свою руку к окну...

А за окном всё еще бушевала вьюга — свист, смех, стоны бились о стекла вместе с хлопьями снега...

# ДРУЗЬЯ

РАССКАЗ

## I

Одного из них звали Пляши-нога, а другого — Уповающий. Пляши-нога говорил про себя, что он донской казак, и был высок ростом, худ и сутул. Некогда он переломил себе берцовую кость левой ноги, она срослась и стала почему-то длиннее правой; это обстоятельство заставляло его при ходьбе перегибаться вправо для того, чтобы закинуть свою левую ногу вперед, отчего его походка была какой-то пляшущей, — и отсюда странное и смешное прозвище Пляши-нога. Уповающий был якобы бессрочно отпускной рядовой какого-то резервного батальона, а до солдатства числился мещанином города Углича, и был коренаст, широкоплеч и несокрушимо весел. Лицо у него было красное, бритое, полное, с прямыми рыжими щетинистыми усами и с толстой нижней губой, всегда оттянутой книзу, с добродушной улыбкой голубых глаз, живо блестевших из-под густых рыжих бровей; вообще оно составляло прямой контраст с длинным, сухим и рябым лицом Пляши-ноги, скрывавшимся в густой черной с проседью бороде, из которой темно-серые глаза смотрели недовольно и холодно. Уповающий ходил, засунув руки в карманы солдатских грязно-зеленых штанов, и серая рваная шинель висела на его широких плечах ловко и крепко, а Пляши-нога руками на ходу сильно махал, и полы его хохлацкой свитки всегда летали вокруг его длинной фигуры, как черные изломанные крылья, а чумацкие шаровары на левой ноге въезжали чуть не до колена, а на другой — почти скрывали ступню. Уповающий аккуратно где-то добывал себе старые чиновничьи, студенческие и офицерские фуражки и всегда отрывал у них козырьки, и его гладкий лоб по-

стоянно был закрыт каким-либо околышем, а Пляшинога и зимой и летом ходил в чумацкой бараньей шапке, сдвинутой на затылок; из-под нее во все стороны торчали пряди черных жестких волос, и его рябой и изрытый глубокими морщинами лоб был выпукл, высок и черен от загара. На пространстве от Новомиргорода до Бобринца и от Ольвиополя до Александрии одрузьях говорили, как о самых ловких и отчаянных конокрадах, и ненавидели их, но боялись, терпели и всегда, когда они просили себе какой-либо работы, охотно давали им такую и обращались с ними, пока они были в деревне, как с почтенными и уважаемыми людьми. Уповающий брал на себя кладку печей, столярные поделки, починку сапог и сбруй, лечение от разных недугов наговором, занимался коновальством, чинил часы, дубил овчину, а главным образом пил водку и ел в невероятном количестве кавуны. Пляшинога помогал ему во всем этом, презрительно поджимая свои тонкие губы, но больше всего любил лежать, летом в тенистых уголках, а зимой на печке, и ко всему присматривался и прислушивался. Водку он тоже пил, но она не производила на него особенного впечатления, сколько бы он ни выпивал ее, а кавунов, дынь и других фруктов он терпеть не мог. Уповающий напивался быстро, и когда чувствовал себя уже не в состоянии встать с места, то покорно валился на землю и, улыбаясь во всю рожу, говорил:

— А ведь я опять п-пьян-н! ей-богу! Сеня! Ведь я опять уж нализался по уши! а? Верно? Вот так штучка!

Пляшинога, с холодным презрением на лице, слушал его и молчал.

— Сеня! скажи мне этакое слово... пронзительное слово, чтобы мне стыдно от него стало! а? Чтобы совестно пьянице...

— Ну, молчи уж ты... бык! — сурово говорил Пляшинога, когда многократные просьбы товарища надоедали ему.

— Б-бык, значит скот? а, Сеня?

— Скот!

— О-очень хорошо! Значит, скотина? Вот так штучка! — Уповающий начинал плакать и плакал до той

поры, пока не засыпал. Пляши-нога сидел над ним и, если представлялась надобность переместить товарища, брал его своими длинными сухими руками и уносил куда-нибудь. Вот каковы были друзья...

Однажды, в жаркий июльский день, друзья выкупались в Ингуле и сидели на берегу под тенью группы ветел, отдыхая и закусывая. Собственно закусывал один из них — Уповающий, а Пляши-нога швырял камни в речных чаек и свистел сквозь зубы. Уповающий съел большой кусок копченого сала, выпил половину бутылки водки, потом прикинул глазом, точно ли осталось ровно полбутылки, и, найдя, что осталось меньше, с сокрушением воскликнул:

— Вот так штучка!

— Что еще? — спросил Пляши-нога, не глядя на него.

— Да вот, пострели ее горой!.. бутылка эта! Ведь экая неудобная посуда, а?

— Опять перепил? — сухо спросил Пляши-нога.

— Опять, чёрт ее... Говорил я тебе, заведем стаканчик... Пятачок ведь дать за него... и уж всегда будет верно... капля в каплю... Ей-богу!

— Да ладно... ты пей себе. Я не буду.

— О?! — воскликнул Уповающий. — Не будешь?! Ну... так я ин... еще уж выпью! ей-богу! А то греется водка... вкусу в ней нет, в теплой...

И он, опрокинув горлышко бутылки себе в рот, долго смотрел сладкими глазами в ясное небо, а потом быстро сунул посуду себе в карман, как бы боясь видеть, сколько в ней осталось, вздохнул, погладил свой живот и замолчал. Пляши-нога опрокинулся на спину и лег, положив голову на камень. Уповающий посмотрел на него с сожалением и вздохнул.

— Тоскуешь всё? а? Ах ты, братец ты мой! И чего это ты всё тоскуешь? Болезнь это у тебя такая... сердце болит... аль так что? Семь годов вот уж я с тобой... рука об руку гуляю и не могу никак понять твоей тоски этой! ей-богу!

Пляши-нога равнодушно сплюнул сквозь зубы и, заложив руки под голову, стал похож на длинные ножницы.

— Жизнь у нас, кажись, свободная, легкая. Запрету мы себе не кладем ни в чем. Хотим чего, сейчас — раз, два, три! готово! Ходим тоже, где хотим... И всё вообще... Сеня? а?

— Душа вот у тебя мягкая, а разум... как сухая палка — не гнется! — сказал со вздохом Пляши-нога.

— Это правда! ей-богу, правда! Умом я тверд. А... это ты к чему больше? — и Уповающий внимательно посмотрел в лицо товарища, немного наклонясь к нему.

— Да так уж, — кратко ответил Пляши-нога.

Помолчали. Ингул, узкий и быстрый в этом месте, тихо поплескивал на кремнистый берег, а по другую сторону его, за камышами, дышала зноем спаленная желтоватая степь. От движения воды ближайšie к ней камыши шатались, и стебли их, касаясь один другого, меланхолично шептали. Где-то неподалеку крикали утки и назойливо посвистывали кулики, точно дразнили кого-то.

— Встретил я в Тульском поселке Митьку Ситникова... — задумчиво заговорил Пляши-нога, глядя в небо. — Умер отец-то у него. Всё хозяйство и деньги Митьке пошли... Н-ну. Знаешь ты Митьку? Что за человек? Гадина, жаба мокрая. И дурак, и лентяй, и болван. А вот теперь первый человек в волости... Тысячи имеет. Н-ну, рассуди, за что ему дались тысячи? Али он талантливый какой, али что? Мразь ведь. И вот, не шевельнул пальцем — и имеет всё. Ведь разве это его! Нет, отцово. Отец нажил. Так причем он-то — Митька? Вот, поди ты, какой порядок! Один всю жизнь бьется — ни кола, ни двора, другой ничего не делает, да больше всех получил...

— Того... чего-то... Не пойму я, к чему ты, например, клонишь, — напряженно вглядываясь в товарища, сказал Уповающий. — В гости к нему, что ли, думаешь? а? ей-богу! вот бы уж!..

— Ничего я не хочу... А вот вижу — порядок неправильный и говорю... Не за што Митьке богатеть давать, ну и...

— Чудак! Чай, он сын отцу-то... Одна кровь! — засмеялся Уповающий. — Куда ж бы это девать Степану, кабы не Митька?

— Куда? мало ли куда!

— Н-да... — сказал Уповающий. — Оно конечно... Но только всякому свое дитё ближе... надо это помнить! Пляши-нога не ответил товарищу.

— Да мы что? — снова начал он, помолчав. — Наплевать! — он плюнул и пожал плечами. — До меня ведь это никакого касательства не имеет... Я человек отшибленный, к этому самому крестьянству неспособный. И не терплю я крестьян. Что за народ? Жадный, робкий, сидит себе в избе, как жаба в болоте, и никакого в нем интереса нет. Стекло бутылочное и то блестит, ежели его на солнце положить... а эти черти — что? Гнилье вонючее... А то про бога рассуждать начнут... беги вон! Говорит, говорит, а сам не понимает ни полвершка во всей версте. А все-таки как он, крестьянин, ни плох, а норовит на нашем брате проехаться... И разговор у него с нами этакий... важный... с усмешкой. Дескать, ты-де гол и бос, а у моего деда был навозу воз, так на него три года дул ветер и то не разнес! Собственники!.. Не ходи через его землю — на сапог пристанет, всю с собой унесешь, дыра бездонная останется... Зачем только живут люди! Беда! хоть бы я вот: не могу я ни во что впрягать себя, ни в какой хомут не влезу. А оно, может, нужно бы мне. Потому дума меня больно разъедает. Кабы вот ее извести... Выжечь, примерно бы... вытравить... А то ест, ест, как ржа железо, и никакого порядку в душе нет. Туман как бы, примерно. И всё бугры да рытвины.

— Завел бы ты себе, Сеня, такую ба-абу! Разлюбозное дело!.. ей-богу! Она бы тебя ах как разожгла! то есть до пыль-пепла свела бы всю твою тоску-думу. Ей-богу!

— Ба-абу? — передразнил Пляши-нога товарища. — Ведь и скажешь же. У человека и то на душе камень, а ты ему взвали другой!.. Чучело!

— Эх, браток! Зачем камень? Ты такую найди бабу, чтобы была как пух-перышко... — сладко улыбаясь, посоветовал Уповающий и вкусно почмокал губами, как бы смакуя некоторое воспоминание. — Я тебе, Сеня, скажу, была у меня единожды... — начал было он, но Пляши-нога, не слушая его, заговорил сам.

— Живучи в Царицыне, имел я канитель с казачкой одной. Здоровая такая, румяная, смиренная... Каткой звали. Бывало, бежишь к ней — дрожь берет, видеть хочешь. Потом, как нацелуешься вволю, тошно станет. Смотришь — лежит она, спит, толстая, рот разинула, храпит... Думаешь про себя: чего в ней? Овца!.. Противно станет... Тьфу!

— Вон как ты!.. — задумчиво протянул Уповающий. — Вкусу, значит, у тебя не хватает на это. А вот я...

— Чепуха всё! — вдруг ожесточился Пляши-нога, махнул рукой и, повернувшись к Уповающему задом, замолчал.

Уповающий знал, что приставать в такие минуты к товарищу не безопасно, но в то же время не любил видеть его таким тоскующим, инстинктивно чувствуя, что в этом настроении Пляши-нога далеко от него и что оба они чужды друг другу. Поэтому он подумал немного, вдруг просветлел и, всхлопнув руками, крикнул:

— Вот так штука! Сеня?!

— Ну? — не оборачиваясь, спросил Пляши-нога.

— Ах ты, пострелит те горой! а? как это я мог забыть?

— Что?

— Да ведь ты пойми, душа моя, тонка-дурочка, Кириленков-то конь здесь! ей-богу!

— Плети больше! — презрительно сплюнул Пляши-нога.

— Тресни моя утроба! не видать мне своих рук! — клялся Уповающий.

— Чай, поди-ка за Дунай его увели давно! — тихо проговорил Пляши-нога. — Эх, коник был! сколько я его выслеживал!.. не повезло!

— Право, ей-богу, здесь! — перекрасили его в карую масть и вчера вечером провели на хутор к Лаврушке целовальнику. Кажись, Сашка Бобринцевский вел-то. Я лежу около дороги под грушами — выпимши был я — и смотрю: ведут коня... Что за конь? чей? огненный конь. Стати знакомые, а масть другая... Потом я, надо думать, заснул, да вот и заспал до сей поры. Как ни пьян был, присмотрелся бы к пахам-то, чай, поди вытерлась краска, стальную-то шерсть и видно...

— Показалось тебе с пьяных глаз... — с сомнением произнес Пляши-нога.

— Друг! скажи, какие по сим местам лошади нам неизвестны? всех знаем, а это чужая... Кириленков конь, умру на месте, коли не его! — утверждал Уповающий, всё более приходя в раж.

— Ну, что ж ты думаешь? — помолчав, спросил Пляши-нога.

— Такого коня надо свести! — с апломбом решил Уповающий.

— Ну, и сведем!

— Сегодня ночью надо...

— Светло будет...

— Авось нет... на счастье наше. Кстати, захватим и Лаврушкину пару. Битюгу я сейчас знаю место — Исайка возьмет, а башкирку в казаки сгоним. Идет? а, Сень?!

— Ладно... я хоть сейчас...

Уповающий засмеялся:

— Вот тоску-то свою и разгуляешь... Эхма! вот так штука будет!.. а Лаврушка-то? пррр!.. фу-у? вот взовьется! ах ты, чёрт!..

— Этого Лаврушку, кровопивца... давно бы надо пощупать. Большой зуб я на него имею...

— А что, разве он тебя избил чем?

— Нет, так уж. Не по душе он мне. Увижу я это его лысину во всю голову за стойкой, так мне и хочется ахнуть по ней батогом. А то смолой бы помазать да зажечь. Х-ха!.. вот бы славно! Затрещал бы, чай, как паук жирный!..

— Ишь ты какой! Я так, ничего... Мне он, Лаврушка, нравится... Обходительный, душевный человек. Ничего... Многие хуже гораздо есть...

— Ты бы и шел к ним лошадей-то сводить. А то идешь к душевному человеку...

— Да у них, брат, нет ни волоса, а то бы я... а у Лаврушки есть. Вот разве у Захарченка... у него вороной важнецкий...

— Ну, Захарченка не тронь, он человек хороший... Мишка его — дрянь, а сам он...

— Захарченко-то старый хорош? Уж тоже сказал!

ей-богу!.. Всё село его ненавидит, а ты говоришь — хорош! Всех на зубок берет, старый чёрт, со всеми спорит... что, громада-то хуже его свое дело знает?.. чего же он в начальники к ней прет?

— Молчи! много ты понимаешь!.. — скептически сказал Пляши-нога.

— Да тебя, Семен, и понять-то нельзя. Чего ты всё на рожон прешь? Который человек к людям не к масти, вот тебе и люб. И всё-то у тебя шиворот-навыворот! от этого, надо думать, тоска-то тебя и ест, ей-богу!..

Друзья замолчали. Жарко было. Камыши всё шелестели... Пляши-нога снова стал похож на ножницы. Уповающий лег рядом с ним, повозился немного, почесался, позевал и заснул.

## II

Хутор целовальника Лаврушки стоял на краю извилистой балки задами к ней и лицом в степь. Его окружало кольцо ветел, из-за которых к небу поднимались два колодезных журавля, и во все стороны от этих признаков обитаемости тянулась печальная, однообразная степь, казавшаяся безграничной и похожей на застывшее и окаменелое море от волнообразных, неглубоких и извилистых балок, рассеянных по ней. Всё вместе — хуторские постройки, ветлы и журавли — казалось совершенно ненужным в степи, объятай ночной тенью, ненужным и нарушавшим пустынную гармонию молчаливой и темной широкой степи и окутанного густыми облаками неба над нею. Если бы эту картину переложить в звуки, то получилось бы бесконечное умирающее *pianissimo*, разрываемое одной густой октавой, взятой *forte*.

Пляши-нога и Уповающий лежали на дне балки в глубокой яме. На дне ее рос густой бурьян, и в нем было бы не видно друзей, если б даже смотреть на дно ямы с края ее.

— Ах ты, господи! Как же мне курить хочется, ей-богу! — прошептал Уповающий.

— Еще чего... — сурово ответил Пляши-нога.

— Не сердись... удачи не будет... И почему это, Сеня, всегда хочется того, чего нельзя? а?

— По глупости... По жадности...

— А пожалуй что... ей-богу! Может, пора уж нам?

— Айда!..

Они поднялись на ноги. Их подбородки были в уровень с дном балки. Ничего не было видно и всюду было жутко тихо. Тогда Уповающий согнулся и уперся руками в свои колена, и Пляши-нога быстро выскочил из ямы, лег на землю и вытащил друга.

— Спят крепко, видно. Чай, поди-ка, выпили добре для ради воскресенья... — шептал Уповающий, всполая вслед за другом по скату балки. — Мы как — колдуу дверную вынем, али замки долой?

— Там увидим... Ты бы не скулил лучше...

Согнувшись и озираясь по сторонам, оба они, как две большие жабы, двигались по земле. Так прошли огород и остановились у каменной стены, перед которой была сложена куча навоза.

— Вот она! — шепнул Уповающий.

— А собака как? — спросил Пляши-нога.

— Две-то я того... давеча дал им. А этой, большой, нет — она с пастухом ушла... Ну, идем, что ли?

— Идем...

Они завернули за угол. Уповающий достал откуда-то из своей шинели короткий толстый лом, а Пляши-нога нечто вроде большого долота.

— Вот она, дверь... Здоровая, чёрт! Э-э-э!.. Вот так штучка!.. отперто! ей-богу! Сеня, и везет же нам!..

— Молчи, чёртова кукла!.. Может, там спит кто...

— И то ведь... Ах ты, в рот те...

Пляши-нога немного приотворил дверь и стал слушать... К лошадиному сапу примешивалось еще что-то, и чуткое ухо конокрада быстро различило, что это дыхание спящего человека... кажется, двух. Он тихонько сообщил об открытии Уповающему. Тот тяжело вздохнул и стал дергать свои усы, оглядываясь кругом. Саженьях в двадцати, против конюшни стоял «рабочий дом», настолько же влево — рига, дальше — низенький, длинный овечий отарник. Было тихо... Вдруг звонко заржал конь. Пляши-нога встрепенулся и бро-

сился к двери. Уповающий рванул его назад, с изумлением глядя ему в лицо.

— Что ты, что ты, Сеня! На смерть ведь идешь...

— Кириленков... верно! Он!.. Слышу, он!..

Пляши-нога весь трясся от возбуждения, полымем охватившего его. Он страшно оскалил зубы и, наклонясь к двери, с широкой улыбкой слушал сонный сап и фырканы лошади, а потом, сбросив с плеч свитку, стал засучивать рукава рубахи, помахивая своей железной.

— Сеня, куда ты, брат? Брось! Ведь люди там!.. сй-богу! — шептал Уповающий, дергая его то тут, то там.

— Пускай! Достану!.. — шептал Пляши-нога. Он тихонько потянул дверь, но она отворилась только на четверть. Оказалось, что за ее скобу изнутри привязан ремень, задетый за что-то.

— Дай нож! — шепнул он.

— На! Только как хошь, а я... уйду! Ведь на смерть это...

— Иди! — махнул рукой Пляши-нога и взмахом ножа рассек ремень. Дверь отворилась настежь. Уповающий горошком откатился в сторону. Его товарищ вытянулся во весь рост на пороге конюшни, с ножом в одной руке и с железной в другой, и глубоко втянул в себя ноздрями и ртом воздух, густо насыщенный теплыми испарениями навоза и потом лошадей, запахом прелой кожи и дегтя... Он ждал. Лошади беспокойно фыркали и топали ногами. Человеческий храп не прекращался. Тогда конокрад смело, вперед грудью, шагнул в конюшню. Лошади еще беспокойней зафыркали и затопали ногами. Пляши-нога снова остановился, весь дрожа и съеживаясь. В трех шагах от него вырисовывался из тьмы темный круп лошади, а дальше блестели во тьме два крупные глаза. Лошадь прислушивалась и вглядывалась...

— Казак!.. Казаченька!.. — простирая вперед левую руку, прошептал Пляши-нога.

Конь ласково и тихо заржал... Пляши-нога дрогнул, ахнул и бросился вперед, в стойло. В секунду он перерезал повод, обнял морду лошади и поцеловал ее.

Она покорно лизала его лицо шероховатым теплым языком, пока он вел ее к двери. В дверях стоял, съезжившись как кошка, готовая прыгнуть, Уповающий и нюхал, громко втягивая носом воздух.

— Не боюсь! — шепнул он навстречу сиявшему товарищу. — Водкой разит здорово! Погоди, и я выведу... Привяжи его да помоги-ка... А что? Конек-то!.. Верно я сказал?..

— Тпру-тпру! — ласково шепнул в ухо лошади Пляши-нога, заматывая повод за скобу двери и почесывая шею лошади, скосившей на него глаза.

— Мужик с бабой спят... пьянехонькие!.. — шептал из конюшни Уповающий. — Я мазницу нашел... Оболью дегтем их, дьяволов! ей-богу же, оболью!

Минуты через две у двери конюшни стояли три лошади и около них суетились друзья. Пляши-нога взнуздывал Казака, шепча ему ласковые слова и дуя в ноздри, а Уповающий, кинув свою шинель на спину мохнатой башкирки, хлопотал около толстого, флегматичного битюга.

— Айда! — скомандовал Пляши-нога, взлетая на лошадь.

— Пошли! — ответил Уповающий и, держа битюга на поводу, проворно оседлал башкирку.

Они тихо и осторожно проехали огородом, спустились в балку и, покружив степной целиной, выбрались на узкую дорогу.

— Скачем! — сказал Пляши-нога.

— Погоди! — поравнялся с ним Уповающий. — Нам надо бы к утру, а то к полдню хоть показаться в селе; чтобы на нас не думали. Ты как?

— Я прямо в Балту поеду...

— Друг! Что ты?! Мимо железной дороги?! Такую даль! Разве можно?.. К Исачке сведем, а потом назад, пятнадцать верст всего...

— Зачем мне назад? — задумчиво говорил Пляши-нога, похлопывая коня по шее и почесывая ему между ушей.

— Да ведь улика! коли тебя нет, лошадей нет — значит...

— А мне наплевать! — махнул рукой Пляши-нога.

— А накроют? А изувечат?..

— Н-ну!.. — и Пляши-нога сардонически свистнул.

— Ах ты, господи! Вот несручный человек! Ничего-то он не может порядочно сделать!.. — с тоской воскликнул Уповающий. — Сеня! Сведем к Исачке, ради господа! Послушай, чай, меня! а? Ведь это что же?

— Ну, да чёрт с тобой? Ну, к Исачке! А назад я не ворочусь, буду сидеть с конем... У Исачки буду, пока конь там будет...

— Ну, вот! — радостно сказал Уповающий. — Ай-да!.. — И они поскакали степью. Было темно и тихо. Топот трех коней звучно плыл по степи к небу, закрытому тяжелыми облаками, из которых уже начинали падать крупные, пока еще редкие, капли дождя. Где-то далеко резал воздух тонкий, печальный свисток локомотива...

— Сеня! дождь сейчас приснет! Вот так славно — Николавна! ей-богу! Следы-то смоеет... а, Сеня?

Пляши-нога не отвечал. Он скакал впереди товарища. Склонясь к шее коня, обняв ее одной рукой, он прижал к ней свою щеку и, держа повод в другой руке, говорил не то коню, не то Уповающему.

— Ишь, выкрасили коня... изуверы! Я два года за ним ходил! Го-го!.. Помнишь меня! В Таврии-то ты был, а? краса-авец мой!.. Два месяца в неволе был у пемца из-за тебя... Казачина!.. Гоп-гоп!.. Яков, ах, и рад я!.. Будто с любовницей... с другом-товарищем встретился... право!

Конь встряхивал ушами, взмахивал гривой и тихонько ржал, как бы понимая ласковую речь. Он шел крупной рысью, свободно и легко вскидывая тонкие, стройные ноги, и весело взмахивал хвостом. Ему всё хотелось пойти вскачь, и он то и дело порывался вперед широкой грудью и задорно фыркал, нервно встряхивая ушами, но Пляши-нога сдерживал его. Тогда на момент конь сбивался с рыси и, ловко перебрав пружинными ногами, снова ровно брал ею пространство, покачивая на своем хребте высокого всадника в заломленной набекрень мохнатой бараньей шапке, прильнувшего к его шее. Дождь усиливался. Капли падали

чаще, и вся степь заговорила глухим дробным звуком, который как будто торопился рассказать что-то и, всё усиливаясь, превращался в неразборчивый, тоскливый и недовольный ропот. Далеко где-то рычал гром и небо порой вспыхивало голубоватым пламенем. Но всё было как-то слабо и изнеможенно, кроме коней и двух оживленных удачей всадников.

— Идет дождичек! Лупит, батюшка! Чешет, миленький! — балагурил во тьме, становившейся всё гуще, Уповающий. От этой тьмы широкое пространство степи всё суживалось, наполняясь ею, и вокруг друзей образовалась как бы черная яма, покрытая облаками. Она тоже подвигалась вместе с ними вперед, но была так мрачна и узка, что, казалось, двое друзей никогда не выйдут из ее неосязаемых стен... Ветер раздувал полы свитки Пляши-ноги, и это давало его коню черные крылья. А всадник всё говорил ему в ухо ласковые речи:

— Разве на таком коне толстому сквалыге-немцу гарцовать?.. Он и ездить-то не умеет, кроме как шагом... жирный боров! Еще раз я видел, он коня хлыстом огрел... Я бы ему за это дал!.. да руки связаны были. Яша, помнишь немца на этом Казаке? Ах, чёрт силный! как бы лягушка на соколе... Эх, я тебе найду хозяина!.. Ого-го-го!.. родной мой! Ого-го-гей!.. О-гей! — и Пляшинога кричал и чмокал губами, всё похлопывая коня по шее.

— Приехали, Сеня! прискакали! наддай рыси, друг! — кричал Уповающий.

— Гей-гей!.. — ответил ему друг и пустил поводья. Конь рванулся вперед бешеным карьером. — Я ему найду хозяина... красавца... как он же... румына... Сам... отведу... за Дунай... — кричал коню Пляшинога, подпрыгивая на его хребте и играя его гривой. И, всё более возбуждаясь, конокрад кричал, свистал и выл, поощряя бешено скакавшего коня. Дождь лил целыми струями... кругом над землей ничего не было, кроме этих струй и всадника, скакавшего среди них. Уповающий остался далеко позади, и топот его коней замирал в монотонном шуме дождя... Вдали замигал огонек. Он быстро мчался навстречу коню, и вот, про-

летая мимо него, струи дождя стали блестеть бриллиантами, и из-за них, наконец, вырисовался темный бугор, в середине которого сверкало освещенное окно. Пляшинога соскочил с коня, пнул в стену ногой, одновременно стукнул кулаком в раму и крикнул:

— Отпирай!

— И кто-о? — флегматично спросили из-за окна.

— Я — Семен!

— Гшарасшо!.. и с ко́нем? Н-но?! — из окна высунулась рыжая острая голова в ермолке и с длинной бородой. — Отведи ко́ня и захаживай из заднее крыльцо... О!.. Этот конь?!. Адонай! Еще за вчерашний дня его проводил я Оцепенко! И тогда он был украденый, и теперь он есть украденый! Мозе его и завтрашний день уворуют? Ф-фэ!.. — и еврей, всё больше высовываясь из окошка, смотрел вслед коню, которого уводил Пляшинога.

Опять послышался топот со стены. Еврей насторожился:

— Есче кони!.. Н-но?!

— Исайчик!.. — орал Уповающий. — Растопыривай карманы, я так с лошадьми в них и въеду! ей-богу!

— Ага-га!.. Яков-Яша! Гшарасшо! — обрадовался еврей. Он машинально исчез из окна и в ту же минуту был около Уповающего.

— Цьи это? Н-но?!. Оцепенка?.. Пхе!.. бедный Оцепенко! — он засмеялся, потирая руки и оглядывая коней.

Уповающий встряхивался и фыркал, как мокрая собака.

— Ловко обделали дельце! ей-богу! а? Исачка? Молодцы мы? а?

— Т-тэ!.. Это же вся губерния знает! — пожал плечами еврей.

— Ну, то-то вот! Так ты действуй же! А вино в корчме есть? — Уповающий похлопал его по плечу.

— Всё будет сейчас! Все пойдут дальше... на Балту? Н-но!.. Павло! Герцек! Одевайтесь скорей! И ехать нузно!..

— Да иди ты сюда, жид! Водки дай! Есть хочу! — раздался из окна возбужденный крик Пляшиноги.

— А сейчас! — ответил еврей. Он вошел с Уповающим в дом.

Дождь лил на корчму, как из ведра... Это был крупный, скучный, монотонный дождь, без грома и молний, и в звуке его падения всхлипывало что-то жалкое...

### III

Кабак Лаврентия Захаровича Очепенко был заперт с улицы, но в нем сидело шесть человек: сам хозяин, низенький, толстый, но юркий старик, совершенно лысый и с острыми, блестящими, как льдинки, глазами, — Михаил Захарченко, рябой, высокий, с заячьей губой, флегматичный парень, тусклый и выветрелый, — Гирия, кучер Очепенка, облитый дегтем, унылый человек, низко опустивший полуседую стриженую, круглую голову, — братья Жуковы, один низенький, подслеповатый, сутулый и юркий, как мышь, другой — повыше, толстый, с скуластым калмыцким лицом и зеленоватыми злыми глазами, — и сельский пастух, Осип Дятлов Груда, глухонемой человек, лет тридцати, атлетического телосложения, с громадными пудовыми кистями толстых рук. Он смотрел на каждого из компании большими черными внимательными глазами, горевшими ясной и сознательной мыслью, но при этом так странно, автоматически поворачивал голову от одного из собеседников к другому, что казался заведенной машиной. Очепенко говорил бойким говором, вертясь туда и сюда.

— Все вы знаете их — Яшку и Сеньку. Всем они насолили по горло и больше. У вас, Жуковы, они двух коней свели, Дятлов от них больше всех терпел... Тебя, Михаил, этот Пляши-нога бил ни за что, да и еще тоже есть тебе за что отплатить Сеньке... Потому оно, пожалуй, и верно ведь, что он с женой-то твоей... ну, ладно!.. молчок! Гирия тоже терпит сильно... Потому — проспал он с Настаськой коней, и не могу я ему теперь его денег отдать, а их шестьдесят три рубля! Вот как он терпит! Ведь это его кровавые гроши! А сам я? Лучшие мои кони были, четыреста двадцать дал я за башкирку, огонь лошадь, пускай не красива. Да би-

тыог еще... Битюг тоже три сотни стоит! Так простим ли мы им всё это? Что же они тогда? разорят нас вконец! Вон они здесь теперь оба... сидят, слышь, в кустах, в балке, пьяные... Порядились у коваля горн перемазать сегодня утром,— это они, чтобы глаза отвести добрым людям... Как с ними быть? Ну, объявлю я начальству... хорошо. Возьмут их... Они скажут — что такое? за что? да мы эту ночь вот где всю были! и докажут, что были!.. У них руки везде. Докажут. И снова выйдут на волю.

Очепенко сделал паузу и, оглядев всех, добавил угрожающе и многозначительно:

— А как выйдут, то и оплатят нам... подожгут село! Вы думаете как? В третьем году кто зажег вашу, Жуки, хату? а?

— А у тим времени их здись ще и не було...— печально заявил Гиря и снова закачал головой.

Очепенко ткнул ему в темя острый, как гвоздь, взгляд и стиснул зубы.

— Вот что! — стукнул по столу большак Жуков.— Речи речами так и будут, из них и лаптей не сплетешь. А нужно говорить скоро, да дельно. Яшка вор и Сенька вор — верно. Мы от них терпели, и то верно. Это было давно, тоже верно! А теперь ты один терпишь... При чем мы тут? Ты говоришь, их надо... того... Это не простое дело... Это может дорого встать...

— Да ведь их двое пьяных, а вас вон сколько! — убедительно крикнул Очепенко.

— Нет, ты не это считай! — хитро сощурился, сказал маленький Жуков.— А сочти ты, сколько тебе не жалко дать нам за такое дело.

Очепенко окинул всех укоризненным взором и всплеснул руками.

— Братцы! Стыдитесь!! Что вы, али злодеи, что я подкупать вас должен... Ах, Егор, Егор! какая же у тебя душа... жесткая да жадная!.. — вздохнул Очепенко.— Ты что не скажешь своего слова, Миша? — ласково обратился он к Захарченке.

— Верно! Умное слово! — взвизгнул маленький Жуков.— И жесткая у меня душа и малая,— всего три четверти десятины ее! и жадна, дьявол! вожу, вожу

навоз,— жрет, а не родит! Я скажу вот что! Я вот возьму с собой Грудю и пойду с ним. Я его направлю уж... возьмем с собой лопаты... для случая. А ты мне дай пятитку...

— Господи! — умилился Очепенко, возводя глаза к небу.— Вот так паробок! Эка смелость в сердце! Изволь! — он хлопнул его по плечу.— Пятитку? хорошо! Василий Лукич! — обратился он к старшему Жукову. — А нет ли с тобой тех денег, что ты мне за семена задолжал? Вот из них бы я и дал Мише пятитку. Нет? Ах ты... как это! И у меня на раз нет с собой. А может ты, Лукич, дома имеешь те деньги? Нет? Ну... как же это? Эхе, дурно свои деньги давать в люди, никак домой не загоишь... Вот что, Миша! приходи, когда хочешь, спрашивай на пятитку. Лучшее вино дам, всякие наливки... сколько хошь! А еще вот Гиря с тобой пойдет. Слышишь, Гиря, ты пойдь с ним... да, да, нужно, братик, твою вино исправить. Нужно! — внушительно добавил он Гире.

Жуковы шептались друг с другом, выйдя из-за стола и встав у двери кабака. Очепенко метнул в их сторону жадный и подозрительный взгляд и улыбнулся.

— Як мне итти?! Хиба ж се дило не грех? — не поднимая головы, сказал Гиря.

— Дурья голова! Али ты, старый боров, не расчу-хал, что я говорил? Что ж я с тобой поделаю? а? Те-те-те!.. А ведь я это знаю, пожалуй, почему ты за них стоишь. Да ей-богу ж знаю! Ага-га-га!.. То-то ты затвердил всё про грех да про грех! а-а-а!.. Братцы! — крикнул Очепенко, просверливая своими острыми глазками лицо Гири, который поднял теперь голову и смотрел на хозяина с тупым недоумением.

Все обернулись на крик. Михайло, объяснявший что-то знаками пастуху, махнул на него рукой и поднес ему к носу свой тугой, жилистый кулак, скорчив злое лицо и высоко вздернув свою верхнюю заячью губу, чем обнаружил длинные и острые зубы хищника.

— Братцы! — вдохновенно говорил Очепенко.— Вот я за что запнулся сейчас! Видано ли где это и слы-хано ли, чтобы человек так уж крепко спал, что и не слышал бы во сне, как через него двое людей, да три...

две! две лошади шагали? а? Экой же крепкий сон! — и он, ехидно улыбаясь, уставился на Гирию.

Маленький Жуков понял ход Очепенко и засмеялся. Остальные внимательно молчали. Глухонемой всё улыбался своей широкой улыбкой, оглядывая всех. Гирия подумал, разинул рот и, вдруг вздрогнув, махнул рукой.

— Дошел я до твоих думы, хозяин, дошел! Иду вже я з ними... Эх, иду что ли?!.— и он решительно встал с места.

— Ха! ловко прижали человека! — крикнул Жуков. Его большой брат весело усмехнулся.

— Егор! — громко сказал он.— Пойдем уж и мы за компанию, а? Хозяин нам зачет это... в долг, али угощенье выставит, коли что там?.. Идем?..

— Чего ж нам? Михайле пять рублей обещали, ему хоть выгода, а нам-то...

Маленький Жуков пожал плечами.

— Разве и нам Захарыч даст мало-мало за труды? а? Тоже время теряем... Да и опасно, что ни говори...

— Братцы!.. — и Очепенко указал на образ.— Вот господь свидетель вам, обижены не будете. Так угощу! ах!.. Идите-ка, идите! Доброе мирское дело будет, коли удастся! Подумайте, каких волков не станет больше! Покой ведь будет! рай! А угостить... Эх, и угощу я вас!..

Тогда вдруг все оживились и сразу заговорили вперевбой. Даже глухонемой показывал что-то знаками Очепенко, и тот в ответ ему часто кивал головой. Говорили, что нужно взять батоги, потому что идут ведь на отчаянных людей. Чего доброго, они тоже борониться будут!..

— Удавим мы их, вот что! бить не надо, знаки будут, а удавить, повесить на дерево, так не сразу поймут люди, как это вышло,— сами они, али кто...— докладывал меньшей Жуков Захарченке.

— А там увидим, как уже лучше! — сосредоточенно ответил Михаил и, отвернувшись к пастуху, быстро замахал перед его носом руками, показывая, как он бьет высокого человека с хромою ногой и как тот храпит и таращит глаза.

Глухонемой сначала долго и внимательно смотрел на руки, потом отрицательно замотал головой.

— Ну, что еще? Не так? А как бы? — раздраженно крикнул Захарченко.

Глухонемой стал рисовать на обеих сторонах своей груди маленькие кружки, обвел пальцем вокруг своей головы и, надув щеки, стал важно гладить свои усы.

— Вот, скотина чёртова! Экий вол тупой! К становаму!.. Да, боров чёртов, ведь... — и Михаил снова замахал руками у самых глаз пастуха, так что тот попятился назад.

Вышли на двор кабака. Сзади всех шел Гиря с тупым и мрачным лицом и заложенными за спину руками.

— Тьфу, урод дьявольский! — горячился Захарченко. — Ну, как я ему, чёрту, скажу, что улик нет? Ах, ты!.. Тьфу!..

— Огородами идите, а потом Казаченковой бахчой; тут ближе всего... — напутствовал их Очепенко, нервно потирая руки. — По дороге и колья найдете. Из Казаченкова плетня хорошие колья можно выбрать!

Вечерело. В степи плавал розоватый полумрак. Пятеро людей, тихо разговаривая, шли огородом и зорко смотрели по сторонам. А Очепенко смотрел им вслед, улыбался и вздрагивал, как бы от холода...

#### IV

В дожди по наклонной балке быстро текла вода, и от этого корни ветел были подмыты и обмотаны зацепившимися за них ключьями сена, сломанными ветками; на одном корне висел даже обруч, откуда-то занесенный водой. Ветлы были все такие старые, корявые, обломанные... По краю балки стояли две кузницы, и часто кузнецы сбегали на ее дно и рубили сучья ветел для своих надобностей. Их, этих ветел, и всего-то было девять, причем одна из них, самая большая и уродливая, уже давно засохла, должно быть оттого, что у ее корня когда-то развели костер, он был обуглен; но все-таки кругом него венцом тянулись молодые побеги, тоже, впрочем, объеденные телятами и козами села.



мал ему голову, бил его лицом о землю, весь вздрагивая, с налившимися кровью глазами и с открытым ртом, по углам которого текла слюна.

Гиря стоял за деревом и смотрел оттуда с бледным, вытянутым лицом... Маленький Жуков торопливо распутывал веревки, оскалив мелкие острые зубы, и покрикивал:

— Брось! Миша! Знаков не надо! Брось! я сейчас, вот... запуталось, чёртово гнездо! Эй, брось, мол!

Глухонемой искал чего-то глазами, весь вздрагивая, и исчез, не обратив внимания на происходящее. Большак Жуков стоял сбоку группы из Уповающего и сидевшего на нем Захарченко. Он смотрел, как Захарченко, прижав коленями руки Уповающего в локтевых сгибах, стряхивал с своих пальцев его волосы и уже бормотал что-то неразборчивое, скрипя зубами и брызгая слюной, — смотрел, и по его калмыцкому лицу расплывалась зверская, хищная улыбка. И вдруг он высоко взмахнул своей палкой и ударил ею по ногам Уповающего, с хрипом сказав:

— Чтобы не убежал!..

За звуком удара раздались два крика:

— Сеня! Убивают!.. Товарищ!.. Мучают!..

— Будет!.. Для господ... ах!.. хлопцы! Братики!.. Та ще може то и не воны!.. Э, боже-ж мий!.. — и Гиря, выскочив из-за дерева, не по-старчески быстро забежал вокруг двоих людей, истязавших третьего.

Но Жуков вошел в дикий раж. Его палка взлетала на воздух и со свистом падала на ноги Уповающего. Из-за рук, то и дело взмахивавших крепко стиснутой палкой, не видно было лица Жукова. Он кричал с каждым ударом: «Эх! Эх!..», а Уповающий вскрикивал: «А-ах!.. а-ах!..», и с каждым новым звуком его крик становился всё глуше... Один удар задел ногу Захарченко. Тогда он свалился со спины конокрада и с бешеным лицом, хромая, бросился на Жукова.

— Ты что... не видишь? ослеп?!..

Тот опустил палку, с недоумением посмотрел на Захарченко и, вытирая рукавом рубахи потный лоб, устало сказал:

— Разве я тебя... тожа задел?

— Тоже!.. Калмык!! — взревел Захарченко, дотрагиваясь до ноги, и замахнулся.

Жуков отступил, блеснув глазами, и снова взмахнул палкой, глухо крикнув: «Ну!..» Они подрались бы, но в это время к ним подскочил второй Жуков с длинной, извивавшейся по земле веревкой.

— Эй, эй, эй! Вы что? — зачастил он. — Разъело губы вам?! Кончим скорей... да другого... Ну-ка, Миша, ты высокий, закинь веревку на сук...

Около Уповающего, царапавшего пальцами вывихнутых рук землю, присел на корточки Гиря и, широко раскрывая при каждом слове рот, шептал, трогая его за голову дрожащими руками и всхлипывая:

— Хлопчик! Браточек! Молись вже... Пора вже... Воны тебя... докончат... Господу... грехи... скорее.

Уповающий тихонько стонал, и всё царапал землю пальцами, и поднимал голову, но тотчас же она падала у него, и он бился лицом о землю...

— Пшол ты... старый чёрт! — крикнул меньшей Жуков и, рванув Гирию сзади, свалил его на спину. — Нашел пору! Развел нюни!.. — он быстро накинул веревку на шею Уповающего, затянул сзади петлю и отбежал прочь к брату и Захарченке, державшим в руках другой конец веревки.

— Тяни! — ну!..

Тогда началось нечто странное и отвратительное. Голова Уповающего начала отделяться от земли так, как будто земля толкала ее... Потом начали подниматься плечи, тоже так, как будто их отталкивала земля, а голова стала, как бы прощаясь, кивать ей, и руки судорожно хватили уже воздух... Гиря побежал куда-то вдоль балки. Тело Уповающего встало на колени и вдруг опрокинулось назад с глухим звуком... Тянувшие веревку зарычали, засмеялись, взвыли... Уповающий пополз по земле головой вперед и вверх лицом к сухой ветле, дополз до нее, и снова его голова начала подниматься кверху. Теперь она как бы желала посмотреть в небо, опрокидываясь назад; но и это ей не удалось, она встряхнулась и повисла на груди... Уповающий отошел от земли... на аршин.

— Завязывай! — скомандовал меньшей Жуков.

— Да на что? — возразил брат, — издох, чай! — и, чтобы убедиться, он схватил палку и с размаха ударил ею повешенного по животу. Раздался глухой звук, и Уповающий завертелся. Руки у него были вытянуты по швам, а голова свесилась на грудь и влево, точно он отвернулся от палачей.

— Готов! — махнул рукой Захарченко. — А чем яму выроем?

Было еще очень темно...

— Эй! — вполголоса крикнул старший Жуков брату. — А лопаты забыл?

— За кузницами оставил... Сейчас! — он побежал.

Около трупа остались двое. Оба они молчали, не глядя друг на друга и отвернувшись от Уповающего. Раздались шаги со стороны противоположной той, куда пошел Жуков.

— Сенька! — прошептал Захарченко.

— Немой! — так же тихо произнес Жуков.

Это был, действительно, немой. Он шел медленной походкой и еще издали разочарованно разводил руками и мотал головой.

— Не нашел, значит, Сеньку... — комментировал его жесты Жуков.

Немой подошел вплоть к ним и вдруг взглянул вверх... В тишине балки раздалось как бы мычание вола... Пастух закрыл глаза рукой и опустил на корточки, мотая головой, точно по ней ударили камнем. Жуков и Захарченко разом же оба присели на землю, не сводя глаз с лица Уповающего. А он, раскрыв рот, показывал им длинный, распухший язык, глаза у него были широко раскрыты и, казалось, вот-вот упадут на землю, а из одной щеки фонтаном била тонкая струйка крови... И он покачивался, как бы желая прыгнуть на землю и не решаясь... Слышался странный звук, точно закипала вода, и мычал глухонемой...

— Яков!.. где ты?.. Эй! — вполголоса раздалось в балке.

— Беги, ребята! — взвизгнул где-то младший Жуков.

С двух сторон послышался быстрый топот. С одной стороны он удалялся, с другой приближался.

— Держись, Яшка! — ревел Пляши-нога, не видя

еще, что Уповающий и без его одобрения крепко держится.

Немой поднялся на ноги, всё еще закрывая рукой глаза, Захарченко и Жуков как бы приросли к земле. Они всё не могли оторвать глаз от Уповающего. Жуков только тогда сделал движение, не то желая бежать, не то оборониться, когда Пляши-нога вихрем налетел на него и, с размаха ударив его в ухо кулаком, сбил на землю. Тогда рванулся и Захарченко, но уже было поздно. Пляши-нога пнул его своей длинной ногой в живот и, сам свалившись на него всем телом, схватил его обеими руками за горло. Тот замолотил его снизу вверх кулаками по лицу, но Пляши-нога не уклонялся, а только хрипел:

— Где Яков?.. Яков?.. Яков?.. — и с каждым криком всё сильнее давил горло Захарченка. Но вот сзади него раздалось жалобное мычание, и его схватили за плечо... Он быстро вскочил.

— А, это ты! Ну... давай! Держись! — взмахнув кулаками и откинувши назад голову, он изогнулся в стремлении броситься на него. Но тот отрицательно покачал головой и указал ему сначала на свои глаза, из которых капали одна за другой слезы, потом куда-то вверх...

Пляши-нога взглянул туда.

— Яков!.. Ты... та-ак!.. — Пляши-нога сразу осунулся и опустил руки, отворотясь от дерева. — Та-ак!.. Вишь ты что... Ну... Режь веревку! — крикнул он немому.

Тот стоял неподвижно, как столб. Пляши-нога бросился к дереву, и Уповающий грузно упал на землю. Друг его низко наклонился над ним и тотчас же встал.

Раздался голос Жукова.

— Сенька! уходи, коли жив быть хочешь! Брат в село побег. Прибегут сейчас, чай, оттуда... И тебя тогда... рядом с ним...

Пляши-нога отряхивал с ладоней землю и, опустив голову, молчал. Застонал Захарченко. Было уже темно... Луна еще не взошла...

— Слышь, Сенька, ступай пока что... Брат, мол, в село побег... Видно тебе еще... не время...

— Молчать! — крикнул Пляши-нога. — Где ты там? Тебе что надо? Ну?

К нему подошел глухонемой и начал, толкая его куда-то вперед, рисовать пальцем по обеим сторонам своей груди маленькие кружки и указывать что-то у себя на боку, надувая щеки и мыча.

— Ну... понял! Урядник... Это ты меня к уряднику хочешь? Ишь ты! Умен! Я пойду с тобой... Ну... да... пойду, пойду! Вот! Леший ты... Я... на твое горе... пойду! Ага-га, друзья! По-опали! Эх!.. — он крепко выругался и, всплеснув руками, крепко стиснул их. — И устрою же я вам поминки по Якове!.. Ну, сволочь, дорого он вам станет!.. Ох, дорого! Втрескались вы в капкан! Ты, немой урод, бери его, Мишку! веди сюда... понимаешь! Ну?

Немой подошел к Захарченке и стал тормозить его. Пляши-нога оглянулся вокруг и спокойно крикнул:

— Василь Лукич! Иди сюда...

Из тьмы, шатаясь, явился Жуков.

— Ну, брат, ты тут, что ли, заправилой был? а?

— Тебе-то что? — вполголоса сказал Жуков, держась рукой за голову.

Пляши-нога пристально посмогрел ему в лицо.

— Ишь ты... рожа-то... Ну, ладно-ин! После скажешь... Всё узнают... А, Мишка!..

Немой подвел Захарченку.

— Ну, ты, чучело... держи их! Погоди, надо связать! Васька, вяжи товарища.

— Ты не шути, Семен! На нынешний день мне и того довольно... — глухо сказал Жуков.

— Вяжи! коли говорю, вяжи! А нет, скажу немому, — он свяжет.

— Да ты чего добиваешься? — спросил Жуков тихо.

— Вяжи! — Пляши-нога замахнулся на него кулаком. Жуков отшатнулся и опустился на колени перед Пляши-ногой, глухо заговорил:

— Ты меня пусти лучше, Семен... у меня семья, хозяйство... Я вижу, куда ты гнешь... Не по... христиански это... Я тебя не трогал... А ежели Яков... так ведь всё равно... не нынче-завтра... не мы — дру-

гие. А ты тоже... ударил меня. Вот как! Гирька была у тебя в руке, не иначе... Али можно гирькой?!

— Немой! — дернул Пляши-нога пастуха.— Это видишь? — он показал на Уповающего.— Ну, это вот они сделали. За это их надо в каторгу. И тебя, дурак, с ними... Понял. Скот... вол бессловесный... Ну!.. вяжи этого, а потом этого!.. Не надо! не тронь... придут другие, развяжут. Пора бы уж им и идти, али трусят? Ну, Василий Лукич, и ты, Мишка... до приятного свидания!.. в суде! Вы будете с почетной стражей, с саблями там, а я про вас рассказывать стану... Хорошо буду говорить — заслушаетесь меня! А немой мне поможет... Потом вспоминать обо мне да об Якове... На каторгу вас отправят... Бог даст. А то в тюрьму... и это ничего... Раззор, братцы мои, будет вам... гибелью погибнете!.. И семьям погибель... Эхма! Лежи, Яша, полеживай! поскрипят за тебя зубами живые люди, человек с пяток... Вы! сколько вас было? а? Не говорите, не надо! Всё узнается... всё! Лежи, спи крепко, Яков! Ну, немой, идем к уряднику... ну... ну... вот... пуговицы, погоны, сабля... Эге, эге! понятливый ты и здоровый. Хороший каторжник будешь... да, да!.. Казна будет довольна!

Немой мычал, улыбался и, плача, добродушно тряс за плечи Пляши-ногу. Он понял, что человек, которого он искал, чтоб свести к уряднику, сам, без понуждения, идет с ним туда. И он, потрясенный происшедшим и испуганный трупом Якова, радовался тому, что устроил всё так мирно и легко с этим человеком, некогда воровавшим у него лошадей и ныне пойманным им так просто... А Захарченко и Жуков, подавленные жестоким планом Пляши-ноги, глупо смотрели в землю и молчали, растратив всю свою энергию на убийство. Пляши-нога оскалил зубы волчьей улыбкой. Шапка у него была сдвинута на затылок и лицо, разбитое кулаками Захарченка, всё опухло и в крови. Он был страшен, и от его возбуждения веяло ледяным холодом. В блеске его суровых глаз сверкала несокрушимая решимость... И они, чувствуя это, были бессильны против него, холодного, спокойного, которого они незадолго перед тем собрались погубить и который теперь губил их. Пляши-

нога чувствовал себя властелином положения и наслаждался, молча разглядывая их. Село было в версте от места действия. Оттуда ясно долетали разные звуки, но они не приближались...

— Четвертый, который улепетнул, кто был? Егорка твой, что ли? Ну, ну, молчи... Узнаем кто и без тебя! Эхма! добрые вы люди, всё будет нам известно!.. Палачи... Ну... что же? Идите теперь куда охота... Доказчик у меня есть! — Пляши-нога хлопнул немого по плечу.

Тот добродушно замычал и взял Пляши-ногу под руку, боязливо взглянув на труп.

— Ишь, ластится! Думает, он тут прав... Скотина дурная... Ну, так вали, ребята, к женам... в последний раз! А завтра — приготовьтесь на казенную квартиру переезжать. Да смотрите, не удавитесь за ночь-то который! Не обижайте меня... Больно мне охота посмотреть на вас в арестантских халатах! Айда по домам, ребятишки! До скорого!.. — и, сняв шапку, он взглянул на Уповающего, перекрестился и, низко опустив голову, пошел было в сторону, противоположную селу. Немой остановился и потащил его назад.

— Чего? Дура!.. В волость идем... к становому. Чёрт! Это еще лучше... Понял? Не этот... — Пляши-нога показал размеры человека и указал рукой сторону, где он жил... А другой, вот такой... с бородой... который там!.. Ну вот, понял, чёрт дикий? То-то... Репа дряблая!

Немой действительно понял и даже показал руками да утверждающими и отрицающими кивками головы, что первый хуже второго, а второй выше ростом, грозней и важней.

— Ну, ну! Это самое. А в село я теперь не пойду, дудочки! Там убьют и меня... разума-то, чай, хватит на это. Ну, прощай, Яков! Лежи!.. Я уж справлю, что обещал. Сам сгину, а всё сделаю как надо... Так-то! Веселый ты был человек...

Четверо людей пошли по дну балки в разные стороны, в одну — двое и в другую — двое. Пляши-нога шел и всё говорил о Якове Уповающем, о своей мести и о палачах... Немой мычал и тихо улыбался, идя с ним

под руку. Захарченко и Жуков шли медленно, еле переступая ногами. Они старались быть как можно ближе друг к другу и, толкая один другого локтями и плечами, молчали, упорно не поднимая глаз от земли. Теперь эти двое убийц были просто жалкими, беспомощными людьми, раздавленными страхом за свое будущее...

Ночь крепла. Выходила луна. В степи было тихо, в балке еще тише. Яков Уповающий смиренно лежал с веревкой на шее под корявой ветлой, и лучи луны, уже проникшие на дно балки, горели в осколках стекла бутылки, из которой он попил водки в последний раз. Изломанный, исковерканный, мертвый Яков был в полной симметрии с уродливой и тоже мертвой ветлой, распростершей над ним свои голые и согнутые сучья. Ветер дунул вдоль по балке, и старые деревья печально и тихо зашумели.

Пляши-нога сдержал свое слово. Судили глухонемого, Очепенко, старшего Жукова и Гирко. Первого и последнего оправдали. Очепенко отправился в Сибирь с старшим Жуковым, но во время следствия он разорился на подарки нужным людям до того, что не мог даже заплатить адвокату, и его защищал казенный защитник. Захарченко удавился в ночь перед арестом. Младший Жуков умер в тюрьме от тифа.

Во время производства следствия по делу об убийстве Якова Иванова Таковского судебный следователь, со слов Очепенко, возбудил было другое следствие по подозрению Семена Николаева Сучкова в краже лошадей у Лаврентия Захарова Очепенко, но Пляши-нога выставил трех свидетелей, вполне доказавших его alibi в ночь кражи.

## КРАСАВИЦА

— Какая красавица!..

Это восклицание повторялось на пароходе чуть не ежеминутно. Все пассажиры были приятно взволнованы. Люди интеллигентные говорили:

— Какая красавица!..

А не интеллигентные ласково поругивались в восхищении от нее.

Она же, остановившая на себе общее внимание, стояла у борта парохода и грызла семечки подсолнухов. И она была действительно красива той русской здоровой, сочной красотой, которая, так сильно возбуждая чувство, ничего не говорит уму. Она стояла лицом к полукругу людей, любовавшихся ею, и благосклонно большими темно-синими глазами смотрела на всех, не скрывая того, как ей приятно чувствовать себя такой могуче-красивой.

Больше всех других был поработчен ею юноша с бледным, худым лицом и длинными русыми волосами. Очевидно, он был болен.

Глядя на нее, он вздрагивал, и его серые глаза блестили лихорадочно. Если б нужно было обрисовать его сравнением, следовало бы сказать, что он был похож на кучку пепла, в котором еще пробегали золотые змейки огня, эти красивые судороги угасания. Он весь ушел в свои глаза, любуясь ею, и всё шептал своему соседу, пожилому человеку с седыми усами:

— Заговорите с нею!.. Пожалуйста!.. У нее, должно быть, прекрасный звучный голос... Мне хочется видеть, что еще даст ей речь! Это, наверное, будет музыка, роскошная музыка. И тогда она, эта женщина... будет вдвойне красива.

И, весь вздрагивая от ожидания, он то и дело толкал соседа, хищно поведившего усами, разглядывая красивую женщину.

Но она заговорила сама звучным контральто, ровным и прерывистым от избытка силы и обилия звука:

— Вот так тепло сиди!..

Юноша вздрогнул.

— Вопрека я... бе-еды как!..

Юноша с печальным испугом в глазах взглянул на своего соседа. Тот вкусно улыбался и крутил ус.

— Да ищо кирасином воняет тут! И мухи тоже... Прорва их... Так жгут...

И она стала свирепо чесаться, отчего ее полная грудь вызывающе заколыхалась.

Публика весело и одобрительно хохотала.

. . . . .

Бледный юноша тихо повернулся и, наклонив голову, тусклый и печальный, отошел прочь, так поводя плечами, точно на них лилась ледяная вода...

## ПРОЩАЙ!

Прощай! Я поднял паруса  
И встал со вздохом у руля,  
И резвых чаек голоса  
Да белой пены полоса —  
Всё, чем прощается земля  
Со мной... Прощай!

Мне даль пути грозит бедой,  
И червь тоски мне сердце гложет,  
И машет гривой вал седой...  
Но — море всей своей водой  
Тебя из сердца смыть не может!..  
О, нет!.. Прощай!

Не замедляй последний час,  
Который я с тобой вдвоем  
Переживал уже не раз!  
Нет, больше он не сблизит нас,  
Напрасно мы чего-то ждем...  
Прощай!

Зачем тебя я одевал  
Роскошной мантией мечты?  
Любя тебя, я признавал,  
Что я себе красиво лгал  
И что мечта моя — не ты!  
Зачем? Прощай!

Любовь — всегда немного ложь,  
И правда вечно в ссоре с ней;  
Любви достойных долго ждешь,  
А их всё нет... И создаешь  
Из мяса в тряпках — нежных фэй...  
Прощай!

Прощай! Я поднял паруса  
И встал со вздохом у руля,  
И резвых чаек голоса  
Да белой пены полоса —  
Всё, чем прощается земля  
Со мной... Прощай!

## НЕСКОЛЬКО ИСПОРЧЕННЫХ МИНУТ

### I

Сад дремал чуткой весенней дремой, и на всем — на листьях деревьев, на цветочных клумбах и дорожках сада — лежали узоры теней и призрачные пятна лунных лучей. Свежий весенний воздух был полон сочного аромата сирени, резеды и свежей листвы.

Зелень, окутанная тенью, была бархатисто-мягка, кое-где на общем темном фоне сверкали приставшие листья серебристых тополей, освещенные луной, а в самой густой чаще зелени спрятался маленький павильон из березы в коре, которая белым атласом сверкала сквозь темные листья. Было так тихо, всё точно ждало чего-то неотразимого, но не страшного, и было грустно от полноты тишины.

Сквозь листья сада виднелось небо, где сияние луны скрашивало блеск звезд, всегда бледных и скромных при нем...

— Что же теперь будет? — испуганно и вопросительно воскликнул в павильоне звучный голос женщины.

За восклицанием раздался звук поцелуя, и тотчас же снова нервно и пугливо заговорила женщина.

— Нет, оставь... оставьте меня! Это... гадко! Я говорила, что это убьет меня. Пока я только любила вас, я чувствовала себя правой пред мужем... но теперь... я ваша любовница! Видит бог,— я боялась этого! Мне больно... и стыдно за себя и так тяжело... тяжело... о!

И она заплакала. Короткие звуки рыдания почти не нарушали тишины, утопая в ней.

Дунул легкий, теплый ветер, весь сад слабо вздрогнул, и тени странно заколебались, точно собираясь улечь куда-то.

А запах цветов, поколебленный ветром, стал острее.

В павильоне раздался сильный мужской баритон...

— Нина! Перестань, если ты любишь меня! Мне... неприятно видеть тебя такой... Полно же, Нина!

— Вам неприятно?! А! Вот вы уже начинаете требовать... ради любви к вам... — вздыхая, сквозь слезы сказала женщина.

— Я прошу, Нина! И буду просить, пока ты не перестанешь плакать. Ну... — И снова раздался сочный звук поцелуя.

— Оставьте же! Я уйду! — нервно вскричала женщина.

— Куда?! Не шали, моя милая Нинка! К чему всё это? Кому нужна драма среди такой чудной идиллии? Не мне, поверь. И не тебе, надеюсь. О чем ты, собственно, плачешь? О чем?

— А, вы не понимаете?! Да? — возмущенно заговорила она. — Ты думаешь, что замужней женщине так легко стать любовницей другого... Ты думаешь, что я в силах, мне возможно теперь открыто смотреть в глаза мужа? А дети? Мои милые детки! Ваша мамка... грязная... о!.. о!

— О! О! — откликнулось эхо где-то далеко в темном саду.

— Нина! Поговорим серьезно! Ну, будь же умной... Ведь ты идешь против здравого смысла. И твои слезы только результат пережитого волнения... Только! Поверь мне и не пытайся объяснять их себе как-либо иначе. Ты не докажешь мне, что они вызваны возмущенной совестью или там... сознанием вины... боязнью кары... Всё это не должно, не может иметь здесь места...

Он начал говорить мягким, успокаивающим тоном, но к концу тирады уже впал в решительный и веский, даже несколько сухой и подсмеивающийся тон хозяина положения.

— Вы что же? Не верите мне? Уже не верите? Уже моя боль непонятна и чужда вам? Скоро! О!.. А вы же так много говорили, — ведь это вы говорили о необходимости искать в любимом человеке его загадок и тайн... о возможности разрешить вдвоем непонятное одному?.. Я уже, кажется, наказана. Боже мой!

— Нина, Нина! Как же тебе не стыдно?! Уже упреки, уже! Да разве я сказал что-либо противное сказанному ранее?

— Что же ты говоришь? — оскорбительно просто поставила вопрос женщина. — Как ты смотришь на будущее?

— Ага, вот видишь! С этого и нужно было начать тебе... Что я говорю? Я говорю, что твои слезы вызваны не болью совести, а волнениями этой ночи. Я говорю, что не нужно рисовать себе фантастических страхов, разных там несуществующих преступлений и потому невозможных наказаний. Всё так просто! Разберись-ка: ты не любишь мужа, но хочешь любить и быть любимой. Ты полюбила меня. Не будь меня — явился бы другой. Ведь так?

— Нет! — твердо сказала женщина.

Он засмеялся.

— Да! Поверь мне — да! Ведь любовь — это нечто такое же роковое, как смерть. От нее не спрячешься. Любовь — это желание жить. Кто скажет, что он в силах и хочет бороться с желанием жить? Никто. Нынче не говорят уже абсурдов в таких важных вещах. Значение их понято точно. Нет, Нина, не нужно гасить в себе желаний, — напротив — нужно беречь их, дорожить ими, — они становятся так редки теперь. Ты хотела любить. И вот ты любишь. Да, ведь так! — Его голос спустился до шёпота — мягкого, вкрадчивого, но и торжествующего шёпота. Женщина долго молчала до того, как, тихо вздохнув, ответила:

— Так...

Тогда, вслед за ее словами, в тишине родилось много поцелуев. Они стремительно вспыхивали один за другим и звучали так тихо и странно, как звучат лопающиеся мыльные пузыри.

Сад стоял молча и неподвижно, но в каждом его листе и в каждом стебле травы чувствовалось много скрытой энергии.

Всё кругом росло и развивалось, окутанное теплыми тканями теней.

Безмолвное творчество природы не имеет ни секунды покоя, и никто не скажет, где ждут отдыха вечно творящие тайные силы ее...

## II

— Но как я скажу о всем этом мужу? — тихо прошептала женщина.

— Разве ты думаешь, что не сумеешь скрыть от него это? — тревожно спросил мужчина.

— Скрыть? Слушай... Как скрыть? Ведь я уже... И, снова встревоженная, она оборвала фразу.

Прошло несколько секунд молчания, прежде чем он отвечал ей своим твердым и уверенным голосом.

— Давай же посмотрим, что может из этого выйти. Прежде вспомним, в каком положении мы стоим теперь. Я хорошо принят у вас, Федор, мой старый приятель, верит в мою порядочность и стоит совершенно вне подозрений. Всё у нас так хорошо, тепло, родственно...

— И ты думаешь?.. — испуганно прошептала женщина.

— Подожди! Посмотрим, что выйдет, когда ты расскажешь всё это ему. Прежде всего — это удар. Заслуженный, незаслуженный — всё равно удар. Нужно бы жалеть человека... Потом: ты уедешь от него ко мне — ведь да? — Ну вот! Что же из этого получится? Тебе будет скучно без детей, а он не отдаст их. Что бы ему осталось, если бы он отдал их? Ты будешь тосковать о них, а я болеть за тебя... Дети — они всегда играют страдальческую роль в подобных комбинациях... Мы не должны допускать этого...

— Слушай! Что ты говоришь? Ведь это подло. Не благородно! Гадость, гадкий обман... И ты... — умоляюще зашептала женщина.

— А! Так говорят твои теории? Милая! Жизнь давно оставила их далеко позади себя... Нужно заботиться о возможном уменьшении общей суммы страданий в жизни, а не вводить в нее благородство, в котором, как я вижу, никто, кроме тебя, не нуждается. Оно дорого стоит и... слишком слабо для жизни. Будь оно сильно духом и нужно нам, — поверь, оно давно уже победило бы. Этого нет. И нужно брать от жизни то, что она дает нам. Ты ведь знаешь — она не часто делает нам честь дать что-нибудь приятное и вкусное. Для того чтобы жить, нельзя не обижать кого-нибудь.

Это не мы установили, и мы, очевидно, не в силах заменить этот порядок другим... лучшим... Имей мы силы — мы сделали бы...

— Однако! Как ты... циничен. Я не зна-ала...

— Да? Ты думаешь, это цинизм? Я считаю это здравым смыслом, возможным в жизни.

И они замолчали.

Снова пронесся ветер, и сад глубоко вздохнул от его дуновения. И когда листья тополя трепетали, то они казались роем белых бабочек, собиравшихся куда-то лететь.

— Впрочем, ты вольна, конечно, поступать по твоему желанию. Да... Но подумай обо мне — в какое положение ты ставишь меня пред Федором... Подумай-ка...

Она молчала, очевидно, думая об этом.

— И мне остается одно... Это уехать отсюда... Завтра же!

— Ты хочешь ехать? За...завтра же? А я?

— Что же мне делать? Я не могу портить отношений со старым товарищем и не хочу вступать в какие-то драматические коллизии. Я испытал уже их... Зачем искусственно усложнять жизнь, и без того до ужаса сложную?

Тогда женщина в павильоне засмеялась горьким и едким смехом, нервно сотрясавшим печальную тишину сада. И листья на деревьях задрожали от этого смеха или оттого, что ветер всё лился по саду теплой и легкой волной.

— Какое это несчастье — любить! — сквозь смех сказала женщина и замолчала. Медленно прошла минута молчания.

— Ну, что же? — нерешительно спросила женщина.

— То есть? — твердо переспросил ее собеседник.

— Как же ты хочешь поставить всё это? — усмехнулась она.

Он начал диктовать ей свои условия тоном, не допускающим возражения, тоном победителя.

— Отношения не изменяются, вот и всё. Я хожу к вам, и Федор ничего не знает. Да... Потом он... конечно... со временем догадается... И тогда... Силу удара ослабит постепенность его приближения... Та

медленность, знаешь... Ему будет легче примириться с фактом, если этот факт не бросят ему в голову, как камень...

Молчание, наступившее за его словами, продолжалось томительно долго.

Казалось, что деревья росли и, разрывая ткани теней, одевавшие их, становились зеленее и свежее... Это казалось потому, что свет луны уже померк и в воздухе повеяло острой свежестью весеннего утра. Запах цветов всё усиливался, и утренняя роса, упавая с неба невидимыми глазу каплями, окропляла бархатную зелень сада крупной серебряной пылью.

— ...Ну... я знаю тебя... кажется. И так... Он будет верить нам, мы же будем наслаждаться тайной любовью... Да... хорошо! Тут много романтизма... Но я не думала, что, идя к тебе, дойду до этого... — иронически заговорила женщина.

Он же молчал.

— А возвращаться назад... теперь?.. имеет ли это смысл? — задумчиво добавила она. — Да... пожалуй, что нет... Да я не могла бы... Я люблю тебя и теперь, когда ты вдруг стал уродом, — люблю больше, чем вчера, когда я еще уважала тебя... Но как же вы, мужчины, подлы! И ловки... Ты прости меня! Ведь я всё равно уступаю тебе. Знаешь... всё так запутано, что трудно понять, что хорошо и что дурно... Ты где же это вычитал такие... теории? Впрочем, теперь... так легко.

Он молчал...

— Ты сердисься... Брось! Всё уже... прошло! Ах, как мне смешно! Ты знаешь, ведь я верила в возможность чистой — пойми! — вполне чистой, порядочной любви! Но этого, оказывается, слишком много для человека. А однако... нужно любить. Жить без любви... скучно и тяжело! Ну... поцелуй же меня еще... мой философ... Я уже взяла реванш... Жалкий... Да?

— Вот видишь, дуручка! — заговорил он покровительно и солидно. — Зачем же ты испортила себе и мне несколько приятных минут? Затем, чтоб показаться мне еще более тонкой... порядочной и чистой? Не стоило!

И снова раздалась поцелуи... Много поцелуев...

### III

Через полчаса из павильона вышел человек в легком светлом костюме, высокий, мощный, с большими русыми усами на бледном и холодном лице...

Уходя в глубь сада, в темно-зеленую чащу кустарников, он, устало опустив голову на грудь, недовольно что-то насвистывал сквозь зубы...

А потом из кустов сирени и жасмина, окружавших павильон, на дорожку сада вышла женщина в длинном белом платье.

Она пошла в сторону, противоположную той, где скрылся ее собеседник, и шла она медленной, нерешительной походкой человека, который очень устал или глубоко задумался. Роса, упавая с листьев, задетых ею по дороге, кропила ее голову в густой массе черных волос и ее плечи, с которых кружевная накидка сползла и одним концом вилась по земле.

Пятна теней, лежавшие на всем вокруг нее, казалось, делались темнее и, проникая ей в душу, погружали ее в печально-сладкую дрему.

Рассветало уже, на вершины деревьев упали розовые пятна первых лучей солнца, и капли росы сверкали в них, как драгоценные камни. А тени, тонкие и прозрачные тени весенней ночи, тихо таяли и исчезали с земли и деревьев сада.

Женщина в белом платье тихо скрылась в густой листве, сад же, освеженный влагой ночи и утренней росой, неподвижно ожидал возрождения дня.

## ДЕЛЕЖ

От церкви на площадь падала большая и густая тень. Недавно перестал идти обильный летний дождь, и между выбоинами в мостовой площади скопились маленькие лужицы воды. Тусклые там, где их покрывала тень от церкви, они отливали серебром вне границ тени, отражая в себе лучи луны — полной, яркой и неподвижно стоявшей в мягком синем небе. Отошла всеобщая, и через площадь в разные стороны расходились темные фигуры людей. Они, осторожно обходя лужи, пропадали в улицах — пяти узких каналах, выходящих на площадь.

И вот на ней стало пусто, тихо и печально.

Тогда в тени около церковной паперти раздался слабый звук металла, упавшего на камни, и откуда-то выскочила маленькая фигурка. Она, странно подпрыгивая, побежала по мостовой и вдруг уменьшилась — не то наклонилась, не то упала на землю.

В то же время из одной улицы появилась крупная, немного согнутая фигура человека и, медленно шагая, направилась в сторону первой. Шла она, не разбирая дороги, и лужицы воды то и дело всхлипывали под ее ногами, разбрызгиваясь по сторонам. Вот они обе сошлись в одну массу, — вторая фигура скрыла собой первую, изогнувшись над ней.

— Ты чего шарить? — раздался хриплый, надтреснутый бас.

— Пятачок! — ответил звонкий детский альт, озбоченно и тревожно. — Стал считать, сколько всего, а он, еретик, вырвался из рук да и покатился. Сколько вот ищу! Ах ты!

— Верно знаешь — пятак? — меланхолично спросил бас.

— Ну, еще бы! Она всегда пятак дает... Это вот ее и был.

— Кто — она?

— Она-то? Барыня такая...

— И всегда пятак? — вздохнул большой.

— Всегда... — кратко и озабоченно кинул мальчик.

И всё так же плотно слитые в густое темное пятно, они оба замолкли, тщательно шаря по земле.

— Не найти! Вода. Грязь. А монета крупная. Жаль! — проговорил бас, вздохнул и выпрямился.

— А наплевать им! — вдруг решил маленький и тоже встал во весь рост. Он был горбат, а его собеседник высок, тонок и странно съезжен. Казалось, что его сильно ударили сверху по голове и она у него глубоко вошла в плечи.

— Наплевать? — задумчиво переспросил он. — Ишь ты! Много, значит, насбирал?

— Ежели без пятачка — двадцать две! — самодовольно ответил горбун.

— Хорошо дают, значит! А вот мне — не везет! Ступай, говорят, работай. В трудолюбивый дом. Вроде как бы в тюрьму. Хе! Разве я могу... со всякой рванью? Ты мал вот... ничего не понимаешь.

Он заговорил обиженным тоном, а кончил уже с раздражением. Оба они стояли неподвижно друг против друга.

— Это меня сцопали в дом-то, — оживленно заговорил горбатый мальчик. — Привел бутושник... а там этакой дяденька в очках. Бутושник говорит: «Вот, говорит, ваше благородие, — поймал! Получите!» Тот меня сейчас же мочало щипать засадил. Жарко. Беда! В глаза, в нос — пыль лезет. Уж я чихал, чихал! Ах ты! — И мальчик засмеялся, вспомнив, как он чихал.

— Ну? — с интересом спросил большой.

— Ничего. Убег на другой день.

— Убег?

— Убег...

— Ага! Вот видишь ты! — с большим торжеством в тоне заявил большой, но не пояснил, что именно нужно было тут видеть. Где-то в одной из улиц раздались дребезжащие звуки трещотки ночного сторожа. Вслед

за ними раздался удар в колокол. Печальный медный звук, волнуясь, поплыл в воздухе, медленно угасая и точно жалуясь на что-то.

— Идти уж! — сказал мальчик и двинулся вперед.

— Ты куда? Квартира — мать-отец есть, али так где? — спросил его собеседник, крупно шагая рядом с ним.

— Я-то? Так. Мать померла в холеру. Я тут у тетки.

— Родная?

— Тетка-то? Нету. Где уж ей? Так, злая пьяница... — ответил мальчик, очевидно, имевший высокое мнение о родных.

— Бьет?

— Ищо бы! Вот как дует... Чем попадя...

— Это уж всегда так, — утешил его спутник. Они вошли в узкую улицу и медленно шагали вдоль ее, держась в тени зданий... Кругом было пустынно и темно. Где-то громкий дребезг пролетки нахально врвался в печальную тишину ночи...

— А отец?

— Отца-то не было... — равнодушно ответил мальчик.

— А! Бывает и это. Часто бывает. У нас тоже вот горничная — родила сына, а отца нет! Почему такое? Где? Тю-тю! — юмористически печально рассказал старший из спутников.

Мальчик тихо рассмеялся и, помолчав, задумчиво проговорил:

— В нашей улице много ребят, которые без отцов родились. Это вот потому всё, что уж больно свободно матери-то их гуляли, — тоном взрослого и не без цинизма кончил он.

— Верно! А ты из какой улицы?..

— Я? Из Полевой. А ты?

— А я с той, на которой лучше. У меня, брат, нет квартиры-то. Была она... да вчера выгнали вот...

— А ты кто? — тихо спросил мальчик, поднимая голову и заглядывая в лицо своему спутнику.

— Я, брат, лакей был... Ха-ароший лакей! Большие жалованья получал. Ну... спился. От хорошей жизни... спился. Где бы держаться мне за фарт и руками

и зубами — я зачертил всюю. Потому — скучно жить... И больше ничего... Я и давай пить. Попил — и пропал. Здорово попил! Учись вот...

Мальчик молчал, должно быть, думая, чему можно учиться в этом рассказе. И его спутник тоже молчал. Так прошли сажен десять...

— Мальчик! — вдруг тихо и просительно начал бывший лакей и почему-то оборвался.

— А? — И мальчик, шагавший задумчиво и неторопливо, приподнял голову.

— Вот что, мальчик... Дал бы ты мне немного милостыни-то? а?..

— Ишь ты! — сказал мальчик, сухо усмехаясь. Потом он оттолкнулся в сторону от спутника и, весь съежившись, встал у тумбочки, облокотясь на нее и с усмешкой недоверчивого ожидания глядя на своего собеседника. Тот — тоже остановился и зачем-то поправил рваный картуз на своей голове, не переставая говорить:

— Ты рассуди, милый... Отдашь ты деньги своей скаредной тетке. Ну, что ей?.. Пропьет ведь. А избить тебя — избыет, так ты лучше сам первый сделай ей назло. А я бы поесть купил чего... И выпил бы тоже, за три копейки, например. Давно я не пил. Ни капельки не пил, брат! — с дрожью в голосе закончил он...

Мальчик вдруг пошел прочь от него через дорогу на другую сторону улицы. Когда он, колыхаясь на изогнутых рахитом ногах и выпятив вперед свой острый горб, вошел в полосу света от фонаря, — на мостовую легла черная уродливая тень, легла и исчезла, точно влажная земля растворила и впитала ее в себя. У панели он встал и оглянулся на лакея, смотревшего ему вслед, вытянув шею...

— Не дашь? — раздалось на улице безнадежно, укоряюще и робко. Раздалось и замерло среди тяжелых зданий, холодно смотревших друг на друга светлыми пятнами окон, похожими по своему тусклому блеску на глаза слепцов.

Лакей нерешительно тоже стал переходить улицу.

— Избыет уж больно, коли мало-то принесешь... — задумчиво произнес маленький горбун навстречу ему.

— Да ты немного! — чуть не шёпотом говорил лакей.— Дай пятак, и будет с меня! За три выпью, а на две хлеба съем... а?

Горбун поднес руки к своему лицу и стал пристально смотреть в них. И тоже что-то шептал. Послышался звон медных монет.

— Пять... три... восемь... семишник... Давай пополам! Чёрт с ней. Пусть ее лопнет со зла. Вздует, так вздует... Айда! На-ка! Одиннадцать все! — с удовольствием сказал он, протягивая руку.

— Ах ты! Вот мне... и праздник! Спасибо, брат! Вот так — ты! Н-ну! Как я теперь хвачу за пять? Ах ты, цыпленок! — радостно и смущенно забормотал лакей...

И вдруг он странно изогнулся и сорвался с места так быстро, как будто его больно ударили по животу... Горбун отшатнулся в сторону от него. Но он уже исчез, припрыгивая на ходу. Мальчик посмотрел ему вслед и молча пошел по улице в сторону, противоположную той, где исчез лакей.

Скоро и сам он исчез во тьме улицы.

А на улице было пустынно и темно, и всё так же равнодушно и холодно большие белые дома смотрели друг на друга своими слепыми стеклянными глазами...

И всё кругом было тихо и печально.

## В ЧЕРНОМОРЬЕ

Знойно. Тихо... Чудный вид!  
Там, далеко, — море спит.  
С берегов же в волны пали  
Тени тонких миндалей,  
И чинары в них купали  
Зелень пышную ветвей;  
И в прибрежной белой пене,  
Как улыбка — эти тени, —  
Как улыбка старых гор,  
Чьи угрюмые вершины  
Вознеслись туда, в пустынный  
Голубой небес простор,  
Где суровый их гранит  
От земли туманом скрыт.

Важно, молча и сурово  
В бархат неба голубого  
Смотрят главы старых гор,  
Сизой дымкою объаты.  
И пугают мысль и взор  
Их крутые к морю скаты.  
Им в дали небес не слышны  
Вздохи волн и пены пышной —  
Этот стройный плеск и шум,  
Полный нежной, сладкой ложью  
Шум, притекший к их подножью,  
Чтоб нарушить мир их дум.  
Но, безмолвны и угрюмы,  
Схоронили скалы думы  
Глубоко в гранит сырой.

И, одеты облаками,  
Так стоят они, веками  
Тешась шумной волн игрой.  
В мягком пухе нежной пены  
Волны скалам, как сирены,  
Что-то нежно так поют,  
Но в ответ на их набеги  
Тайн суровые ковчеги  
Ничего им не дают:  
Ни намека, ни полслова,  
Ничего из тайн бывшего...

Между камня выползали  
Полусонные кусты  
Роз, жасминов и азалий,  
И кадили их цветы  
Душной, сочною истомой  
Небесам, объатым дремой,  
Морю, серым грудам скал,  
На которых чинно в ряд  
Сели чайки и следят:  
Не дарит ли их тот вал,  
Что пришел из дали зыбкой,  
Золотистой вкусной рыбкой?

Но седой, на эти груды  
Набегая, им дарил  
Только брызги-изумруды  
И о чем-то говорил...  
И, взмахнувши гребнем белым,  
Вновь бросал движеньем смелым  
Разноцветных брызг каскад.  
А ему с вершины горной  
Лысый гриф свой крик задорный  
Вниз кидал... И вал назад  
Уходил, кипя сердито,  
О твердыни скал разбитый.



## ОТКРЫТИЕ

ИЗ МЕМУАРОВ СОВРЕМЕННОГО

...Сегодня, после обеда, жена, — когда мы сидели с ней у меня в кабинете, — тревожно и ласково сказала мне:

— В твоих отношениях ко мне, Поль, появилось что-то странное. Ты иногда смотришь на меня так вопросительно... точно ждешь чего-то от меня и хочешь узнать: когда же?.. скоро ли? И потом — ты стал как-то особенно внимателен ко мне... внимателен не как к женщине... этого я бы наверное не заметила... это так обыденно и привычно... нет, это опять-таки то же странное, спрашивающее и ожидающее внимание, как и твои молчаливые взгляды. Что с тобой? Меня пугаешь ты, Поль!

И, когда она сказала это, на ее глазах блеснули слезы — боязни и недоумения...

Какая она чуткая!..

Я тоже испугался ее вопроса и, как мог, стал утешать ее. На это пошло немного времени... — женщины во всем быстро утешаются, — и когда мне это удалось, то я с некоторым внутренним трепетом спросил ее: не пыталась ли она объяснить себе как-либо мое настроение?

— Да, — сказала она и смутилась. — Я думаю, что ты недоволен тем, что... вот уже пять месяцев... как мы с тобой... муж и жена... а я... всё еще...

Вся красная от стыда и волнения, она кончила свою фразу шепотом и, закрыв лицо руками, свернулась рядом со мною на диване в красивый мягкий комочек — чувственную и шаловливо подстерегающую позу, из всех животных возможную только для кошек и женщин.

Сквозь тонкие белые пальчики рук сверкали ее черные глазки, и платье цвета морской воды окутывало всю ее мягкими, пышными волнами.

Я объяснил ей мое настроение некоторым недоуманием, успокоил ее и успокоился сам, видя из ее слов, что она убеждена в моей любви и поэтому, при всей своей чуткости, неспособна понять, о чем именно я ее спрашиваю, когда смотрю на нее. И мне стало жалко ее. Потом я ушел гулять, предупредив ее не дожидаться меня, потому что я зайду в клуб. Она посетовала и отпустила меня с поцелуем, а когда я воротился, она уже спала.

...Я сейчас только отошел от ее постели, где просидел часа два, глядя на нее, эту маленькую женщину, мою жену.

Она лежит там на спине, полуприкрытая тонким одеялом, рельефно обрисовывающим все изгибы ее тела,— лежит и улыбается сквозь сон, а вокруг ее головы по подушке черным венцом раскинулись спутанные пряди ее волос. Одна из них легла ей на плечо и на горло, другая на розовую щеку, несколько волосков заползли во впадину глаза, к длинным ресницам... и густой локон осыпал ей левое ухо. Вся она — такая красивая, соблазнительно свежая, и ее кожа дышит острым, волнующим нервы ароматом женщины. В окно смотрит луна, на окне стоят цветы, и от них легли тени на ковер около кровати... на стену за ней. Ночь так тиха и тепла... зелень первого летнего месяца ласково шепчет о чем-то и наполняет спальню сочным, теплым наркозом, облекающим душу в ленивую негу...

Я — совершенно здоровый человек, может быть, несколько выше нормы впечатлительный, но здоровый. Впрочем — прочь и оговорку,— может ли быть речь о норме в сфере восприятия впечатлений? Итак, я, здоровый человек,— вот уже восьмую ночь провожу таким странным и смешным образом у постели моей жены, боясь дотронуться до нее и чувствуя, что, если я моей законной лаской потревожу ее сон, это оскорбит ее и меня, хотя она и не поймет этого оскорбления, а — как всегда — будет рада ему. С того момента, когда последний раз я, полный страсти, менялся с нею ласками, прошло тринадцать дней.

Что же случилось до этого времени?

Ничего особенного...

Всё шло так, как и должно было идти в первое время после свадьбы,— хорошо, ласково, горячо. Мы любовались друг другом, наслаждались друг другом, и часто она в восхищении говорила мне, что никак не ожидала встретить в любви столько новизны и счастья.

Я всегда с полной готовностью и чистым сердцем подтверждал ее слова.

И вот — вдруг откуда-то наплыла на меня тень, странная, холодная тень, обессиливающая чувство и изощряющая ум. В первый раз я ощутил ее присутствие тринадцать дней или, вернее, тринадцать ночей тому назад.

Это случилось так.

Я воротился домой из клуба, возбужденный и огорченный разговором с одним знакомым. Говорили мы о жизни и ее ехидной игре с человеком; эта тема всегда в конце концов дарит вас ощущением полного бессилия, одиночества и беспомощности.

И вот, войдя в спальню, где и тогда всё было так же вызывающе красиво, как сегодня,— я остановился у постели жены, чтобы прежде полюбоваться ею спящей, а потом уж разбудить ее. Мне хотелось много говорить с нею еще о этой жизни, которая ни над одним животным не смеётся так грубо, безжалостно и иронически и никого не преследует так беспощадно, как она делает это с человеком и преимущественно с лучшим человеком.

Я наклонился над спящей женой, чтобы поцеловать ее в лоб, после чего она обыкновенно просыпалась, наклонился и залюбовался ею. Она же улыбалась во сне, и от лучей луны ее лицо казалось мне прозрачным. Во всей ее маленькой фигурке было что-то игрушечное, детское, и улыбка ее была по-детски наивно хитра. Мне показалось сначала, что она не спит, а наблюдает за мною сквозь ресницы полузакрытых глаз, я уже хотел засмеяться над ее маленькой хитростью, но она дышала так ровно, и я знал, что она неспособна притворяться так долго.

Тогда мне стало жалко будить ее.

«Зачем, в сущности, я разбуджу ее? Чтоб сообщить ей, как трудно жить?» — спросил я себя.

И мне показалось глупым и смешным будить человека для того, чтоб жаловаться ему на жизнь, о сущности которой ни он, ни я не имеем ясного понятия...

«Поймет ли она то, что я скажу ей?»

И, подумав, я должен был ответить себе:

«Нет, не поймет! Она слишком молода, свежа и неопытна для того, чтоб уметь углубляться в бездну тех дум, которые охлаждают душу и оставляют на ней болезненные пятна ржавчины, — пятна тоскливого недоумения пред явлениями жизни. Нужно ли ей понимать всё это?»

Нет! Зачем же? Что даст такое понимание? Очень редко умение ориентироваться и избрать прочную точку в жизни — и всегда обессиливает душу.

И наконец — зачем я, именно я, который люблю ее, свою жену, и имею несчастье знать жизнь ближе и более, чем она, — зачем я должен посвящать ее в неприглядную и суровую суть происходящего пред нею и рассказывать ей о тех камнях и терниях, что лежат на пути человека, на его мучительно трудном, кровавом пути к неизвестному?

Мне выгоднее сохранить ее, полуробенка, возможно долгое время в этом состоянии свежести чувств и мысли, в состоянии приятного полусна ее души, так горячо чувствующей и так много верующей. Пусть она понимает меньше, — это даст мне возможность наслаждаться ею долее, как цветком.

И если я захочу, — могу доставить себе тонкое удовольствие подливать в светлую влагу ее чувствований капельки темного скептицизма, капельки острой горечи понимания. Она будет постепенно вянуть, а я буду наблюдать это и наслаждаться моей маленькой мезью жизни, которая отравила меня.

Я отравлен — и вот отравляю сам, отравляю ценное, свежее, еще не жившее существо... Наносу убыток жизни, лишая ее энергии, которая служила бы ее целям, если б я хотел этого».

И тут я снова протянул руку, чтоб разбудить жену.

Но... почему-то я снова откинулся на спинку кресла и, глядя в лицо жены, стал думать — теми странными думами, которые так трудно отличить от ощущений. В моей голове как бы катилась густая лавина чего-то, бросавшего на душу мне плотные тени. Было скучно мне. И долго я не мог добиться ясности и связи моих дум.

Но когда добился — мне стало холодно и страшно. Всё, о чем я думал, отлилось в твердую и резкую форму вопроса: люблю ли я свою жену? Тогда я встал, отошел к окну и, прислонясь лбом к переплету рамы, стал смотреть в сад. Он весь утопал в лунных лучах и тенях. И он молчал сосредоточенным молчанием существа, созерцающего тайны и уже много разгадавшего их.

«Жена...» — повторил я про себя и почувствовал, что это коротенькое слово, такое простое и, казалось бы, ясное, — звучит так холодно и ровно ничего не говорит ни уму, ни сердцу.

Таких звуков — много, они рождаются и умирают, не оставляя за собой ничего. Жена?! — Есть даже что-то рабски пошлое в этом.

Мы привыкли думать, что понимаем наши слова, и мы обманываем себя этой привычкой, — душа слов, значение их темны и незнакомы нам.

«Итак, люблю ли я жену?» — спросил я. Я любил ее глаза, ее поцелуй и улыбку, ее голос и жесты и еще много таких мелочей и, пожалуй, всю ее в этих мелочах. Но без них, как человека и живую душу, как сознание и загадку, как вечно вибрирующий в ответ на впечатления тонкий, чуткий гармоничный инструмент? Любил ли я ее такой?

Я не мог сказать себе, что искал в ней всё это, — искал и желал найти... Мы встретились... Она, живая и бойкая девочка, понравилась мне более других, мне же тогда жилось так скучно и тяжело, и я подумал, что, может быть, ничего не проиграю, если женюсь. Я заинтересовал ее собой и ощутил в себе желание быть горячо обласканным ею.

Заставил ее немного пожалеть себя. Это так просто — заставить женщину пожалеть себя. Особенно теперь,

когда мужество в мужчине так же редко, как и женственность в женщине. Но, утратив много женственности, женщина все-таки не разучилась жалеть — и в настоящее время любовь женщины, почти вся — сожаление к мужчине... слишком нищему духом и слабому телом для мужчины.

...Я всё забываю о главной теме...

Ответив на этот вопрос, я поставил себе другую...

«Что она любит во мне?» На это мне было труднее ответить, ибо — поистине — будь я на ее месте, будь я вообще женщиной, я не думаю, что мне удалось бы найти что-нибудь положительное и сильное, что-нибудь достойное внимания в человеке таком, как я... кроме разве способности думать какими-то бесконечными спиралями, увлекающими мысль куда-то в пропасть без дна и без намека на свет.

Но у женщин такая несчастная логика...

Порешив на этом с вопросом о ее любви, я спросил себя еще раз:

«Зачем, на что мы нужны друг другу, раз мы чужие, незнакомые люди?»

И тут я понял, что не люблю жену, ибо когда бы я любил ее хоть немного — я не в состоянии был бы так спросить себя... Мне стало холодно...

Что же будет дальше, когда она поймет меня? Что будет с нею тогда? И как скверно, скучно будет мне! Сколько, наверное, будет слез, сколько бесполезного, острого, рвущего нервы, отравляющего жизнь! Она вообразит себя сначала обманутой, потом мученицей долга, потом станет искать утешения и... заведет себе любовника... Фи!..

Я снова подошел к ней. Она всё спала, крепко, беспечно, и всё улыбалась мило, как дитя. Но теперь она не будила во мне тех приятных чувств, что были обязательны так недавно... еще вчера.

Я смотрел на нее и спрашивал себя:

«Зачем мне она, эта игрушка? Искать ли мне единения с нею теперь, когда я знаю, что его нет? Возможно ли оно для нас с ней... и вообще для людей возможно ли оно, это пресловутое «слияние душ», это понимание

друг друга?.. Единство интересов? Ба! Мы не сойдемся на этой почве. Я хотел бы, чтоб меня ничто не задевало, я хочу покоя — вот мой единственный интерес».

Я еще не прочь думать... но жить — нет, благодарю! Я уже жил лет десять и знаю, чего это стоит, жизнь — после двадцати пяти лет — это прогрессивная утрата сил, желаний, воображения... всего лучшего, в чем именно и есть жизнь. Ты создан для чего-то и должен делать что-то.

И всё, что бы ты ни делал, — должно, во-первых, согласоваться с существующими в данный момент моральными рамками, всегда достаточно тяжелыми и тесными для того, чтоб раздавить человека, а во-вторых, все эти твои деяния очень мелки, очень скучны, очень пошлы.

Ибо ты — не гений...

Итак, значит, это дитя, моя жена, в один прекрасный день спросит меня, люблю ли я ее, и с этого прекрасного дня у нас начнется прескверная жизнь.

Как же всё это назвать? Ошибкой? Недоразумением? Не знаю, право... Между прочим, всегда почти и, кажется, всеми делается именно так — женятся, потому что влюбляются, узнают друг друга и разочаровываются, затем начинают «влачить существование» — что и называется семейной жизнью... Влачат существование те, у которых в душу вбит этот гвоздь, называемый долгом, те же, что поумнее, — разбегаются в разные стороны с хорошей памятью в виде тоски о времени и злобы друг на друга. И то и другое — неизречно скверно.

Но «всё это фи-илософия, братец», как говорит один мой знакомый. А действительность — вот она — я боюсь моей жены как человека, который принесет мне в будущем много горя и беспокойства...

И теперь я смотрю на нее и думаю:

«Вот человек, который скоро заявит о своих правах на мое внимание к нему и на весь мир моей души... Станет рыться во мне, изучать меня, следить за мной, думать обо мне, и всё это затем, чтобы узнать, — что есть я. Я же сам так смутно представляю себе то, что есть мое „я“».

И мне кажется, что когда детские глазки моей жены смотрят в мои глаза,— они пытаются проникнуть в бездонную яму, полную едкого тумана.

И мне жалко немного мою жену, она испортит свой ясный взгляд на человека и жизнь, рассматривая своего мужа. Я знаю ее мнения обо мне,— она считает меня очень оригинальным, очень тонким и умным человеком.

Дурочка...

Я немного циничен, кажется? Ну что ж?! Право, это неважно. Да и ничто не важно для человека, кроме веры в себя. И, в сущности... всё это гораздо более смешно, чем грустно. Да... И все-таки я смотрю на мою жену и жду... ее приговора? Нет, конечно! Ей ли судить меня? Но я жду дня, в который женщина почувствует себя человеком — это будет, чёрт возьми! — и заявит свое право на мой внутренний мир.

И начнет хронически портить мою жизнь.

А в конце концов она, наверное, сама погрязнет в трясине тоски, смутных желаний, неясных идей... и скептических экскурсий в область души мира, души своей, души своего мужа... Ха-ха... тоже и ее ждет кое-что!..

...Ах, кажется, что я скоро начну понемногу ненавидеть ее, мою милую жену... так сладко спящую пока женщину...

...Уж хоть бы она никогда не просыпалась больше, что ли!

## НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В РОЛИ РЕДАКТОРА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

ПРЕКРАСНАЯ ТЕМА ДЛЯ ОСТРОУМНЫХ ЛЮДЕЙ

*Перевод с американского*

Судьба вообще очень неблагоприятна ко мне, но все-таки я не ожидал, что она сыграет со мной такую скверную штуку.

Я вступил в жизнь — в активную жизнь — учеником маляра, затем пек булки, писал иконы, пас лошадей, копал землю для разных надобностей — между прочим для покойников, — был крючником, ночным сторожем, корчевал пни, был садовником, испытал еще много свободных профессий, везде чувствовал себя более или менее не на своем месте, дожил до такой степени выносливости, что стал считать безделье утомительнее труда, нажил себе «нервы», боль в груди, некоторый житейский опыт, еще несколько неприятных вещей, — наконец, однажды вдохновился, нечто смело написал, робко снес в редакцию, меня благосклонно напечатали, мне это понравилось, я решил остановиться на этом труде, близко родственном по своей сущности к корчеванию пней, — занятие, к которому я всегда питал особенную слабость, — решил и — стал провинциальным литератором.

И успокоился на этом, не порываясь больше никуда, убежденный, что пост литератора обеспечивает голодную смерть не хуже и не менее, чем всякий другой пост.

Мне очень нравится быть литератором: ты пишешь, а тебя читают, и хотя ты не знаешь, каковые отсюда вытекут результаты, но, при некоторой наивности, вправе предполагать, что они будут очень почтенны и солидны; а если природа позабыла наделить тебя скромностью, то ты можешь даже и мечтать о том, например, что люди тебя послушают и, согласно твоим

советам и доказательствам, станут относиться сами к себе и друг к другу внимательней и благородней...

Я лишен этих удовольствий,— жизнь темна, я довольно потолкался в ней, и крылья моей мечты сло-мались.

Это очень печально, ибо преждевременно. Но я взялся за гуж литератора с благими намерениями и с успокаивающим убеждением, что ведь могло быть и хуже... Я наивно полагал, что мне не будет хуже, чем было. И вот однажды, поутру, я встал с постели редак-тором газеты.

Сначала я ничего не почувствовал, кроме некоторого лестного ощущения, и, преисполненный сознанием важности возложенной на меня задачи и крупного общественного значения моего как руководителя орга-на, имеющего целью влиять на общественное мнение,— отправился в редакцию...

Но уже дорогой я подумал — как же я буду руко-водить общественным мнением, в которую сторону позволено направлять его, где оно у нас есть, и знаю ли я, в чем оно выражается?

«Мне нужно прислушаться к голосу публики», — решил я и по дороге стал прислушиваться.

Но голоса не услышал — была какая-то разного-лосица и этакое туманное мычанье, хотя и близко на-поминающее человеческую речь, но без всякого намека на гражданственные звуки.

Два, по внешности вполне приличных, господина рассуждали так.

Один горячо спрашивал:

- Да ведь он украл общественные деньги?
- Растратил, то есть, — спокойно поправлял другой.
- Ну, всё равно... все-таки виноват он?
- Нет!..
- Как?!
- Так!
- Да ведь это преступление?!
- Нет, увлечение... несчастное увлечение...
- Да деньги-то крестьянские пропали?
- Пропали!
- Ну, так как же?

— Э, брат!.. это ригоризм у тебя. Нужно быть мягче, вдумчивее, гуманней...

— А у тебя отсутствует инстинкт общественности. Да! Общественный интерес выше...

Мне показалось, что человек, утверждавший, что растрата есть преступление... жалеет, что ему самому не удалось растратить, и потому так зол и строг, а его противник уже растратил, боится быть открытым и потому так человеколюбиво мягок...

Чтоб окончательно не убедиться в этом, я не стал больше слушать и прошел дальше...

Но мне не везло... Везде, где я видел двоих, я слышал два мнения... а иногда даже три и более. Это противно логике, но русскому человеку, очевидно, нимало не противно...

Мне стало немножко скверно, и я от души пожалел о том, что забыл справиться у старого редактора о цвете, форме и направлении общественного мнения, которым он руководил до своего отъезда в отпуск. Не имея представления — по неопытности моей — о том, каково оно у нас — это общественное мнение, — я готов был предположить, что оно тоже уехало в отпуск из русской жизни. Но в это время мне в глаза бросилась спокойная фигура полицейского, а в голову вскочила одна преоригинальная идея. Я подошел к нему...

— Послушай, служивый, — сказал я... — Не знаешь ли ты, какое у нас сегодня общественное мнение?

— Время? — переспросил он.

— Нет — мнение... Знаешь — разговор... О чем и как говорят...

— Говорят? Про цирк говорят...

— Ну? Что же именно?

— Говорят — очень интересно! Во-первых, ломка... и потом — можно корову выиграть... али самовар...

— Нет, это не то...

— То самое... Оно и есть... Уж нам это известно, мы за непотребством и безобразием обязаны следить... публичные развлечения нам известны.

Нет, он, очевидно, не понимал меня...

И, в смущении, я направился в редакцию, думая, что, может быть, по старым номерам газеты мне удастся

определить вид и суть существующего общественного мнения, а также и направление, по коему я должен буду его вести...

В редакции меня ждал некто, очевидно, забывший в этот день вымыть руки, выбрить лицо и почистить костюм. В правой руке у него была палка, в левой рукопись, и на одном усе висело перо какой-то птицы...

— Имею удовольствие видеть нового редактора? — очень басовито, но вежливо осведомился он. Я убедил его в этом.

— Пр-принес р-рукопись... одну... Ррекомендуюсь — брранд-майор в отставке — Терсит... впрочем, наплевать! Здешний обыватель... свой дом на Грязной улице... но это чепуха! Учился в гимназии... четыре класса... служил... познал несправедливость... и вот принес вопль оскорбленного сердца... Выпиваю и в пьяном виде — дерусь!

Я не смел сомневаться во всем этом, осторожно взял его рукопись, весом не более двух фунтов, и сказал, что — прочитаю ее... непременно...

— Д-да... буду обижен, если не прочитаете. Прежний редактор ничего не понимал в литературе... Трижды я приходил и предлагал ему: «Печатай!» — «Нецензурно», говорит. — «Сокращу!..» — «Всё равно нельзя». Раз даже смел сказать мне, что выгонит вон. Хотел его бить... но он осторожен...

— Вы... бьете редакторов, которые... отказывают вам в помещении ваших произведений? — осведомился я, чувствуя, что это высоко интересно для меня.

— Всегда! — кратко и внушительно сказал он. — Бью и публично изрыгаю на них хулу. Заслуживают! 12 лет тому назад написал вещь — и не могут напечатать! В двадцать редакций посылал, наверное, — и — ни одна! «Братья-писатели!» и так далее... Нужно поощрять таланты, а вы, редакторы... чёррт!

— Я прочитаю... я вот сейчас возьму и прочитаю... — умиротворяюще произнес я.

— Подожду... — И он сел на стул, грозно насунив брови.

— Нет, знаете что? Вы лучше идите...

— Куда?

— Домой... или куда вам угодно...

— Как эт-то понимать? а? Хорошо, не бойся — пойду... а ты мне дай двугривенный в счет гонорара...

Я дал ему два пятиалтынных, и он ушел. Я отер пот со лба и посмотрел на рукопись. Она была довольно сильно потрепана и называлась: «Взгляд на мир с высоты каланчи. Откровенно философский взгляд на вещи, предметы, факты и события, а также и очерки из быта местной жизни и всякая всячина общежития, изложенная в форме отдельных сцен и в трех отделениях. Часть (отделение) первая... Сверху вниз. Взгляд высокопоставленного человека на низшие потребности людей и необходимость их».

Я отложил «Взгляд» в сторону, чувствуя, что сразу, с первого дня, мне не по силам чтение таких мудрых вещей...

Пришел хроникер и мрачно заявил, что хроники нет.

— То есть — это как же?

— Событий нет...

— Но ведь в городе случилось же что-нибудь за сутки?

— Ничего не случилось. Никто не удавился, не утопился, ниже иным родом покончил с собой. Привыкли все к такой жизни... Живут, живут и привыкнут... Не только по собственному почину не умирают — силком не заставишь.

— Но ведь за сутки в чем-нибудь да выразилась же общественная жизнь! — огорченно воскликнул я.

— Ничего нет... Ни драк, ни краж, никакого озорства. Ничего...

— Да, может, хоть лошадьми переехали кого ни то?

— Говорю вам — нет. Знал бы уж...

— Как же мы без хроники? а?

— Да я чего ни то напишу...

— То есть?

— Выдумую какое ни то событие...

«Да... вон оно что! Значит, для оживления зеркала жизни газете иногда события-то выдумывать приходится», — сообразил я и в душе восхитился человеческой находчивостью...

Вошла барышня... Совсем молоденькая барышня,

с бумажной трубочкой в руке. Она вошла и, покраснев, остановилась у двери.

Я спросил ее, что ей угодно.

— Я, видите ли... написала стихи...

И она уже так покраснела, что мне даже стыдно стало чего-то. Я начал, как мог, утешать и ободрять ее, говоря, что пусть она не смущается — нынче это поветрие, все ныне этим грешат, и что, в сущности, если говорить объективно, так поступок не особенно зазорен и даже может быть прощен ввиду ее молодости. Пусть она доверится мне, — я не буду строг.

Грудным ребенком я сам писал стихи «к ней...»

И даже пробовал трагедию.

— Ах! — сказала она тогда и подала мне свою бумажку...

Крылья ночи

Мне на очи

Темный бросили покров;

Засыпаю

И мечтаю

Про объятья, про любовь...

Читал я и смотрел на нее. А ей было лет так около тринадцати. Увы! скорбно в такие молодые годы испытывать неудачи... и разочарования! Но она испытала их...

Виноват в этом я... Думаю все-таки, что я не до смерти убил младенческую душу...

Потом принесли еще стихи. Тоже девица, но уже лет на тридцать старше первой.

Она была одета в розовое платье, а ее стихи начинались словами:

О, сколь в душе моей сокрыто страсти бурной

И сколько в голове надежд на счастье чада!

Зубы у нее были черные оттого, очевидно, что чад надежд, переполняя голову, выходил из нее через рот...

Потом еще пришли длинные стихи в клетчатых брюках и в желтых башмаках. Очень странные. Потом явилась поэма в серенькой кружевной накидке. Еще по почте получено четыре пакета стихов. Наконец

я разделался с ними и взялся за корреспонденции. Корреспонденции были разные. Большинство из них были длинные, безграмотны и таинственны — никак нельзя было понять, о чем они именно трактовали. Некоторые были кратки, ясны и грамотны — но в силу этих причин неудобны для печати. Были также серенькие корреспонденции, кисло-сладкого характера и невинного содержания. Мне, по неопытности моей, самыми удобными для газеты корреспонденции показались краткие, ясные и грамотные. Их я решил сдать в набор. Хроникер преподнес несколько событий. Подкинул трех младенцев, обличил мостовые, пустил в городскую пыль несколько стрел остроумия и полил всё это водой пространного рассуждения о женщине, покончившей с собой самоубийством. Вышло очень хорошо.

Затем я прочитал фунтов тридцать беллетристики. Несмотря на легкость содержания, она довольно сильно подавила мой дух, и точно я болотной воды напился — так неловко было мне.

Потом пришел некий почтенный человек, просивший обличить своего соседа, удивительного мерзавца, убившего у него камнем курицу. Я отказался от обличения, ссылаясь на его голословность. Тогда он ушел, обещая мне подтвердить факт трупом курицы, который он завтра готов принести в редакцию.

— По моему мнению, — сказал он мне на прощание, — долг прессы в том именно и заключается, чтоб доводить до сведения общества факты такие вопиющие, как вот этот, и защищать обывателя от злодейских посягательств на жизнь его домашних животных. Я, милостивый государь, человек семейный.

Мне его взгляд на задачи прессы показался несколько односторонним, и я задумался по поводу его. Но в то же время мне льстило то, что вот обыватель обращается к прессе и ищет у нее защиты. Значит, он доверяет ей и считает ее в некотором роде силой. Это хорошо.

Пришел человек с желчным лицом и с опровержением.

— Это вы и есть редактор? — кислым тоном спросил он... — Вы... ну да... теперь я понимаю, каким обра-

зом в вашей газете печатается разная голословная чепуха. Вы слишком молоды для ответственной роли редактора... вот что, милостивый государь! В одном из номеров вашей газеты было напечатано скандальное сообщение о том, что я будто бы прибил свою горничную. Какой дурак сообщил вам такую чушь? Удивительно! Она сама меня прибила туфлей, моей же туфлей и отшлепала,— каков цинизм, а? Но как бы то ни было — я ее или она меня — это неважно... важно вот что: с какой это вы стати взяли, что мои отношения к горничным подлежат контролю прессы? а? Да вы понимаете, что я с вами могу за это сотворить? У меня, батенька, т-такие связи, что если мне цыкнуть, так вас в двадцать четыре часа...

— Позвольте, но ведь сообщение сделано на основании полицейского протокола... — заметил я.

— А вам какое дело до этого?

Я стал убеждать его, что мне есть до этого дело, ибо это рисует нравы.

— Задача прессы, государь мой, не в том, чтоб рисовать что-то такое, а в том, чтоб проводить в жизнь идеи добра, справедливости и благородства. Да. Вот вы этого не знаете, а беретесь за редакторство.

Я возразил, что не считаю драку с горничной туфлями благородной дракой и...

— А что же, на шпагах мне с ней драться? — сердито и ядовито спросил он.

Я сообщил ему, что, на мой взгляд, вовсе не следует драться, а...

— Вы ничего не понимаете в житейских отношениях! Ваш долг — восстановить истину в ее первобытном виде...

Тогда я спросил его, какова она была, эта истина в первобытном виде, но оказалось, что в этом виде ее нельзя было напечатать, не нарушая устава о благопристойности, о чем я и заявил ему.

Тут он обругался и убежал, сильно хлопнув дверью.

У меня уже немножко кружилась голова, когда явился человек, заявивший, что он есть не кто иной, как убийца курицы.

Я сделал строгое лицо.

Оказалось, что курица была возмездием за ухо, оторванное сыну убийцы собственником курицы. Затем оказалось, что долг прессы — защита детей с оторванными ушами.

Я принял это к сведению.

Всё это мне нравилось — я видел, что обыватель признает прессу, даже говорит о ее долге. Голова побаливала...

Пришел очень приличный и весьма любезный человек. Он раскланялся, сел, высморкался и начал:

— Я к вам, господин редактор, с просьбой о некотором одолжении. Видите ли, в чем дело: принесут вам тут одну инсинуацию на меня, плод творчества некоего туземного писаки... Будет он там распространяться о том, что у меня недочеты и что я будто бы... употребляю средства Общества на устройство пикников. Не верьте и не помещайте... Ложь из зависти. Пикники действительно люблю, вот скоро устраиваю еще один и буду почтительно просить вас принять в нем участие. С веселыми дамами, с шампанским... Превесело будет, чёрт возьми!.. Пожалуйте?

Ах, какое милое, простосердечное отношение к прессе! Как ошибаются те, которые утверждают, что обыватель и пресса — непримиримые враги!

— Знаете,— продолжал он,— мое мнение такое: долг прессы — стоять как можно ближе к жизни и ее интересам... Жизнь — это каждый из нас. Знаете, как говорит Гейне, «человек — это вселенная, под каждым гробовым камнем погребена целая всемирная история». Я вселенная, вы вселенная, он вселенная, — таким образом, интересы прессы — интересы каждого из нас, и наоборот,— верно? Значит, вы должны защитить мои интересы, правильно?..

Экая прямая логика у этого милого человека! Приятно поговорив с ним с полчаса, мы радушно распростились. Я, собственно, не согласен несколько с ним, но после выясню мою точку зрения...

И наконец я пошел домой. Так разнообразно истек первый день моего редакторства. Я был немного утомлен с непривычки и, придя домой, лег спать. Снились мне несколько странные вещи.

Будто бы вокруг меня витает рой младенцев, дам, дев, девушек и юношей, и все сразу читают мне разнообразные стихи. Рифмы сыплются мне в уши, как горох, фальшивые цезуры пилят меня, как... тупой пилой... Потом являются зрелые и незрелые мужи и жены в фантастических одеяниях и читают загробными голосами поэмы, романы, повести, рассказы, этюды, эскизы, очерки, памфлеты, опыты, статьи, кроки, сцены...

Еще снилось мне, якобы иду я по вековому лесу, растущему на болоте, и сквозь тьму и ветви деревьев за мной, вкусно чавкая челюстями, следует крокодил. Следует неотступно и почему-то плачет. Физиономия у него как бы знакомая...

И еще снилось мне, будто бы мне велят петь сладкие кантаты, а у меня для оных голоса нет. И, разевая рот, я безмолвствую.

Тогда мне втыкают в спину иглу, и я издаю соответствующий случаю звук, но глотку мне немедленно затыкают, я задыхаюсь и... просыпаюсь...

Второй день моего редакторства был весьма чреват событиями.

Прежде всего судьбе угодно было познакомить меня с литератором-туземцем. Это был господин неопределенных лет, но весьма определенной физиономии и сильно потертый временем. Будь я романистом — я сказал бы: «Преступления и страсти отметили его чело роковой печатью», но я не романист и говорю просто: физиономия его была хищна, жалка и изношена; в силу гармонии этих причин она не вызывала никакого доверия к себе.

— Имею удовольствие видеть нового редактора? — спросил он, уставив мне в лицо серые острые глаза.

— Да! — вздохнул я.

— Езоп Фаланга! Бывший сотрудник органа, которого вы в данный момент имеете быть редактором. Корреспондирую во многие столичные и крупные провинциальные издания с того момента, как ушел из вашей газеты. А ушел я из нее потому, что редактор, бывший до вас... как бы это вам определить мягче? Гм! Ну, одним словом, мы с ним принципиально разошлись. Он, знаете, слишком легко относится к принципу —

фундаменту жизни... Он, в сущности, знаете, так себе был...

— Чем бы я мог вам служить?—спросил я, ибо не чувствую любви к биографиям... Скучный род литературы.

— Пришел предложить вам свои услуги как сотрудника. На любое амплуа. Я со всем справляюсь. И мы бы сошлись, я не ригорист... и люблю мир. Мои условия... обыкновенные.

Но это было не совсем верно. Его условия, с моей точки зрения, были далеко не обыкновенны... Так, например, статья, написанная просто, — стоит две копейки, с жаром — уже три, с жаром и негодованием — три с половиной и так далее, пока, наконец, он не дошел до статьи с благородным гневом по пяти копеек за строчку и до статей с гражданским мужеством — по гривеннику.

Я возразил ему, что столь разнообразная и сложная котировка, пожалуй, поставит в большие затруднения нашу контору...

— Это ничего! Я помогу ей сам... обязательно, — воскликнул он. — Когда я работал в «Карболке»...

— «Карболка»?! Вы работали в ней? Но ведь ее принципы противоположны нашим...

— Это ничего! — повторил он... — Я могу изменить принципы по вашему желанию... Для такого опытного работника, как я, это не составит затруднения. Знаете, какой случай был со мной года три тому назад?

И он пустился рассказывать мне о случае...

Воистину, это дьявольски интересный случай! Он в одно и то же время сотрудничал в пяти газетах противоположных направлений... В понедельник ему нужно было быть радикалом — он был им, во вторник либералом — он был им, в среду консерватором — он был и им, в четверг он был только спиритом и христианином, в пятницу ему нужно было быть чистым эстетиком и язычником-пантеистом... он был! И, наконец, субботу и воскресенье он был пьян, что нельзя поставить ему в вину, принимая во внимание каторжный труд, которому он посвящал пять дней своей недели...

Я видел пред собой интереснейшего человека... и я очень пожалел, что не могу предложить себя ему как антрепренера...

Я бы стал возить его по ярмаркам и показывать публике как образец редкой разносторонности.

Мне казалось, что на его теле есть «пунктики», этакие, знаете, чувствительные местечки, регулирующие его словоистечение: подавить один из них — он заговорит тако, подавить другой — он скажет инако, третий — он заговорит в другом тоне...

Не знаю, насколько это удобно для газеты, но мне столь современно усовершенствованный человек не понравился.

Человек, внутреннее содержание которого свободно формируется посредством внешних нажимов, — неудобен для литературы, по моему мнению.

Я так и высказался, а он удивился.

— Я не понимаю, право, что вас смущает. Ведь я могу действовать всецело в вашем духе.

Но мы не сошлись с ним все-таки.

И он ушел, мне показалось, разочарованный и сердитый.

Я же погрузился в думы о жизни, которая так разнообразно prepares человека к смерти. Сначала частями вытравит из него душу, потом примется за ум, затем постепенно превращает в прах тело. Веселенький процесс...

Затем на меня пошел начинающий литератор, всех видов. Он наступал рассыпным строем. Первый застрельщик, которого я увидал, был старенький старичок. Ему было лет восемьдесят, и он выстрелил в меня стихами о козочке и розочке. Приходили беллетристы, драматурги и поэты без счета.

Был фонарщик, написавший стихи о могилах, и могильщик, сочинивший нечто о звездах. Приходил человек с трактатом о геморрое как причине распространения пессимистических теорий. Приходил человек, сразу попросивший аванс.

— Вы что-нибудь написали? — спросил я его.

— Нет... Но я, пожалуй, могу... Вам что нужно — стихи или проза?

Я испугался, что он и в самом деле, пожалуй, напишет что-нибудь, и дал ему аванс — в огромном размере пятнадцати копеек.

Он принял это как должное и ушел. Благородный человек! Как он дешево берет за то, что ничего не делает. Я рекомендую его гуманный поступок со мной за образец всем начинающим литераторам. И все редакторы, я уверен, единодушно присоединятся к моей рекомендации.

Обилие начинающих литераторов, в конце концов, совершенно подавило меня и повергло в мрачное уныние. Я думал: зачем природе, в которой, что бы там ни говорили любители гармонии, приписывающие природе разумное стремление к какой-то таинственной цели, в которой и без начинающих литераторов ужасно много совершенно лишних и никуда не годных вещей, — зачем природе нужны начинающие литераторы в таком грандиозном количестве?

Пришел будочник. Он был огненно-рыж и сугубо мрачен.

— Их благородие помощник частного пристава прислали! — заявил он гробовым голосом.

— Что они прислали? — осведомился я.

— Меня вот. Они говорят, что вы пропечатали неправду насчет женщины... Такого происшествия не было в нашей части. У нас живет народ смирный. Точно, что была драка, а самоубийств не было. А вот драка, это точно, была. Только дрались не женщины, а сапожники, и один другому ухо откусил. Вот вы, видно, и смешали эти дела. Их благородие говорит, что надо это исправить. Они бумагу прислали, вот...

И он сунул мне бумагу. В ней кратко опровергался факт самоубийства. Меня это огорчило, хотя я и не забыл о том, что этот факт — результат свободного творчества нашего хроникера.

— Господин газетчик! А то вот еще было у вас напечатано про буйство... Нельзя ли и это исправить?

— А разве и буйства не было? — с унынием спросил я.

— Нет, оно верно... мордобой был.

— Ну, вот видите! — с гордостью заметил я.

— Верно... — Он вздохнул... — Только все-таки нельзя ли исправить? Потому как люди это мне знакомые...

— Ну?

— Знакомые... кум один-то... а другой сродни... и третий — тезка... Зазорно им... Жили-жили... люди всё семейные, и вот — в газету попали.

У него был предвзятый взгляд на газету. Он говорил «в газету» таким тоном и с такой гримасой, что это оскорбило меня.

— Солдат! — сказал я строго и внушительно поднял палец кверху. — Говори о газете без гримас и почтительно. Ибо ты — о, солдате! — не понимаешь ее значения... Ты видишь, я в газете, и однако...

— Ведь это, конечно, кому какая доля, — вздохнул он. — Мало ли что случается с человеком... Не уберешься...

— Это ты о чем?

— Да вот насчет вас... Вы сказали — сам я в газете, я и говорю.

Он не понимал меня. И он ушел недовольный мной. Но я был рад, что так говорил со мной. Я боялся, что он будет строг.

Пришел хроникер. Он улыбался. Довольство светилось в каждом волоске его усов, и они подрагивали.

— Какой вам аванс закатали! — с восхищением изрек он, пожимая мою руку.

— Аванс? Издатель?

— Нет, не издатель, а «Карболка».

Я взял номер газеты из его рук и прочитал в ней: «Мы искренно поздравляем подписчиков „Саламандры“ — этого приюта моральных и интеллектуальных калек, — поздравляем их с новым надзирателем за сотрудничающими в ней убогими людьми. Мы говорим о новом редакторе „Саламандры“, господине, подписывающем свои туманные измышления за недостатком собственного приличного имени пошлым псевдонимом Паскарелло — что значит площадной гаер. Это новое приобретение „Саламандры“ несколько знакомо нам, и мы считаем необходимым поделиться с публикой некоторыми данными из его биографии — кладбищенский могильщик, некогда подозревавшийся в ограблении трупа, за что он и был лишен должности, вполне соответствующей его природным способностям...»

Далее шли еще несколько фактов из моей жизни и сведений обо мне, совершенно новых для меня, и статья была заключена патетическим восклицанием:

«Вот кто ныне руководит общественным мнением! О времена! О нравы!»

Мне показалось, что земля разверзлась подо мной и образовала вулкан, сразу обдавший меня волной липкой и пахучей грязи. Но я быстро сообразил, что это открыт исландский гейзер газетной полемики... не больше...

— Вы как... вам это нравится?!— спросил я хроникера...

— Подло, конечно... но хорошо! Бойко, ядовито! Распишитесь в получении...

— То есть?..— спросил я уныло...

— Будете отвечать?..

— Н-нет, знаете... я недостаточно... усвоил себе такие приемы... Я еще неопытен в полемике...

— Следует поторопиться...

— Да?

— Конечно!.. А то вам перервут глотку...

— Разве это... принято в прессе?

— Как же?.. Во всяком торговом предприятии необходима конкуренция...

— Но мне кажется, что пресса преследует не исключительно коммерческие цели...

— Это в идеале пока еще... На самом же деле присмотритесь к отношениям ее органов друг к другу, и вы увидите, что эти отношения регулируются конкуренцией: на популярность в публике — цель явная, на увеличение подписки — цель скрытая и первенствующая...

— Вы давно работаете...— я не решился назвать место, где он работает, так, как мне хотелось назвать его в тот момент...

— Третьи зубы съедаю...— кратко ответил он.

Я понял его жаргон. И я пожалел его. Несчастный!.. Он ничем никогда не возмущался и ничему и никогда не выражал каких-либо иных чувств. Я начинал постигать психический процесс, который привел его в состояние такого одеревенения...

Потом пришел человек, объявивший мне, что он хотел бы поговорить со мной о необходимости изменения тона газеты. Я попросил его объясниться...

— Видите ли что... Постоянные указания людям на их пороки... едва ли в состоянии исправить кого-либо. Людям нужна ласка, теплая ласка матери... Ну, и с этой точки зрения ваш орган — не удовлетворяет своей задаче... Зачем говорить всё только о темных и горьких вещах? В жизни есть явления светлые и сладкие...

У этого господина был трехэтажный подбородок и славные, глазированные жирным румянцем щеки. Я вспомнил желтые и худосочные физиономии всех известных мне представителей прессы. У этого господина была недурная эрудиция и громадный запас светлых фактов, которыми он поддерживал ее. Факты поражали своей свежестью — казалось, они только что создались в его воображении. Очевидно было, что пункт, с которого наблюдал жизнь этот человек, — замечательно удобный пункт для сохранения чистоты души.

Он долго говорил, он много сказал... Задача прессы, по его мнению, — во что бы то ни стало поддерживать дух общества и его надежды на будущее. Отсюда вывод: с печальными явлениями нужно обращаться осторожно и не часто рассказывать о них обществу, это ведет к пессимизму. Мы не сошлись с ним. Мое мнение: надежды, позволяя думать о будущем, мешают правильно понимать настоящее и даже развивают индифферентизм к нему. Господин рассердился на меня за всё это и ушел, сказав мне, что он прекращает подписку...

И еще пришел господин с опровержением. В пылу гнева он раздробил своей горничной челюсть, бросив в нее машинкой для снятия сапог. Наша газета нашла необходимым заметить по этому поводу, что машинки для снятия сапог не могут быть применяемы к делу воспитания порядочности в прислуге. Господин не соглашался с этим... и приводил в доказательство ложности нашего взгляда тот факт, что он уже усадил одного редактора в тюрьму.

— Задачи прессы — не оглашения скандалов, а проповедь культуры, культуры, культуры, милостивый

государь!— И, грозя побить меня палкой при первой же встрече со мной, он убежал взбешенный.

А я остался на своем посту. Меня радовало то обстоятельство, что у каждого обывателя есть свой взгляд на прессу, но я огорчился, что обыватели не имеют общего взгляда на нее. Впоследствии я увидел, что это разнообразие взглядов скрывает в себе очень хорошо построенный общий взгляд... и это еще более огорчило меня.

Затем я получил письмо по городской почте. В нем было кратко и ясно сказано следующее:

«М. г.

Вы приглашены на пикник известным вором и шантажистом Х. У.!!! И вы дали согласие ему!!!! Это подло! И это рисует вас как...»

Я не выговорю, как, по его мнению, это меня рисует...

Я только почувствовал, что всё тело мое ноет, ноет так, как будто б меня уже вздули.

Мимо окон редакции ходили какие-то мрачные фигуры. От контролера принесли гранки завтрашнего номера. Оказалось, что я неудачно выбрал корреспонденции, много послал хроники... Оказалось, что вообще я не имел точного представления о контроле... Это печальное обстоятельство привело к тому, что все статьи, посланные мною к контролеру, были им гильотинированы.

Он отчертил им начала, четверговал их и вытянул из них жилы смысла. В красных рубцах лежали предо мной гранки, и мне казалось, что это их до крови высекли.

Кое-как склеив изувеченные остатки некогда вполне здоровых статей, я отправился домой, стараясь пройти так, чтоб менее бросаться в глаза прохожим. Благополучно придя домой, я сел в кресло, пытаюсь подвести итоги дня. Но я тотчас же погрузился в кошмар... Мне начало казаться, что из всех углов моей комнаты на меня смотрят суровыми глазами разные чудища.

Ах, как страшно быть предметом их внимания!

Затем мне показалось, что будто б я и издатель, взяв друг друга за руку, в мирном молчании и живо-

писно нищенских костюмах шествуем по пустыне куда-то в глубь ее, где тьма и голод.

Затем на макушку мне сел ворон и стал методически продалбливать мой череп. Иногда он заглядывал в мои глаза, и его клюв, красный от моей крови,— я ждал — лишит меня зрения.

Потом при звуках торжественного марша меня повесили вверх ногами на высокое дерево, а люди, которых я видел за день, танцевали подо мной фантастический танец торжествующих победителей. Я же висел без движения, и единственное желание, которое мешало мне погрузиться в нирвану, было желание высморкать нос. Но, повешенному так неудобно, мне и этого нельзя было сделать.

Но если б я знал, что будет дальше со мной! Если б я знал, что я, редактор «Саламандры», вступлю в полемику с «Карболкой»! Если б я знал это — я застрелился бы ранее, чем допустил себя пережить это... Ибо в конце полемики я все-таки ведь застрелился же!

И вот! Я дожил до «полемики».

Началось с того, что однажды утром, подавая мне чай, моя кухарка оповестила меня:

— Приходил какой-то...

— Ну?

— Прохвост, надо быть...

— Почему?

— Да так. Разговор у него пустой...

— Говори толковее.

— Да я скажу... Про вас спрашивал... «Водку пьет твой барин?»— «Пьет», мол.— «Много?» — «Разно, говорю: когда больно много, когда поменьше». — «А насчет женского полу как?»— «Это, мол, нам неизвестно». — «Тебе, говорит, никаких зазорных предложений не делал?!» Рассердилась я: «Что ты, говорю, анафема? Смеешься, что ли?» А он уговаривать: «Ты, говорит, бабушка, не сердись и говори всё как есть по правде. Вот тебе...» — и дал мне три двугривенных. «Сколько, говорит, у него белья, и какое это белье?..» И вообще спрашивал про домашнее житье ваше... Я говорю: «Вам, господин, зачем всё это?» А он: «Это, говорит, секрет покаместь. А вот коли ты грамотная, то во втор-

ник узнаешь». И чего уж это он — не могу в разум взять! Так, не сказавши, и ушел.

Я задумался. Любопытство этого господина было очень странного характера, с этим, я полагаю, всяк согласится... Но, подумав немного, я скоро забыл обо всем этом, обремененный своими обязанностями.

Я принимал опровергателей, прочитывал пудами творения начинающих литераторов, выслушивал от обывателей их разнообразные взгляды на прессу... И мне казалось, что я живу в густом и тесном болоте, засасывающем меня всё глубже и глубже в свой неприятно пахучий ил; в нем цвели разные цветы благородных намерений, корни которых питала влага грязненьких побуждений, в нем кишели массой бесхвостые и безголовые, невероятно уродливые существа, — и это были обывательские мысли. В нем было еще много всякой дряни, и вся она кипела, разлагалась и наполняла воздух ароматами необыкновенно крепкими.

Седые волосы, появившиеся у меня на висках, всего лучше свидетельствовали о сладости моего бытия...

Мрачные видения смущали мой сон...

И вот — я дожид до некоего вторника.

В этот день я пришел в редакцию и увидел на моем столе номер «Карболки». Он был развернут, и его фельетон был заботливо и любезно очерчен красным карандашом. Я взял в руки номер и стал читать его...

«Прогулка по городскому саду при благородном свете беспристрастия» — называлась эта статья...

«Читатель! — гласила она... — Позволь мне рекомендовать тебе ту кучку монстров и раритетов, которая всегда торчит в городском саду и вызывает у тебя изумление своим размахистым поведением и той намеренной эксцентричностью костюмов, которая всегда достигает своей цели, сразу обращая на себя внимание людей, действительно благомыслящих и неподкупно любящих свою родину. Ты, наверное, уже давно заинтересован внутренним содержанием этих лиц, всячески ухищряющихся импонировать тебе и во что бы то ни стало желающих быть популярными... И вот мы — не стесняясь приличиями в нашем искреннем желании помочь тебе правильно оценить этих господ, претендующих на благо-

родное звание русских людей, — раскрываем пред тобой их прогоркшие, развращенные души и срываем маски благородства и оригинальности с их хамелеоновских физиономий... Ты видишь этого громадного детину в шляпе турецкого бандита или плантатора восточно-американских штатов? В руках его толстущая палка, — может быть, на ней есть и запекшаяся кровь, — и он бросает фиолетовые взоры животной страсти на проходящих мимо благородных матрон...

Читатель, не бойся его! Не так страшен чёрт, как его малюют! Мы имеем подробные сведения об этом господине».

И далее сообщалось об этом господине, что он женолюбив и всегда склонен к прелюбодеянию, что он бил и забил в гроб свою жену, что он ныне склоняет на прелюбодейный блуд свою кухарку, невинную девицу пятидесяти восьми лет и семи месяцев от роду, что он никогда не покупает носовых платков, но тем не менее имеет оные, что у него нет белья, что он трижды в своей жизни не заплатил денег извозчикам за провоз его громоздкой туши... что, наконец, его развращающий пессимизм расцвел на почве хронического расстройства желудка и что в пользу истинности последнего обстоятельства автор имеет в своих руках вещественные доказательства своей правоты и болезни «этого господина».

Я читал и изумлялся. «Боже мой, какие люди есть на свете!» — думал я в тоске и страхе. А правдивая статья звенела медным звоном, поражая мой слух благородством своего тона и едкостью речи.

«И это человек!» — гласила она.

И я про себя восклицал:

«И это человек!»

Я был переполнен пылким негодованием к нему — этому человеку. Уважение к автору громовой статьи росло в груди моей и буквально распирало ее. Я хотел крикнуть ему: «Бис! браво!» Но — увы! — я сообразил, что он не услышит меня.

Ах, я люблю людей, пылающих благородством!

Мне решительно всё равно, чем они были до того, как их прорвало горячей тирадой по адресу порока. Я по отношению к ним — читатель и слушатель, мне

не нужно знать, гармонирует ли их слово с их делом; требовать этого от людей — бесполезно, это чрезмерно роскошное требование! И если пылкое слово защитника добродетели проникает мне в душу и зажигает в ней искорки стыда за ее слабость, — я ценю человека, успешшего сказать такое слово. Да, я ценю его и всегда готов прибавить ему от моего скудного заработка еще по копейке за печатную строчку, помимо того семишника, который платит издатель за изложенное на бумаге благородство взглядов.

Человек любит быть благородным в свободное от непосредственных обязанностей время...

Я был в восторге от этой прекрасной статьи, написанной в высшей степени живо, образно и метко, стилем ясным, простым и вполне достигающим своей цели. В ней было еще несколько живых характеристик представителей нашего общества, и все они поражали своей мудростью, знанием человеческой души и полным забвением приличий, столь необходимых в сношениях людей друг с другом, но в данном случае смело, с истинно гражданским мужеством принесенных на алтарь правды и чести автором этого фельетона, человеком, действительно в поте лица зарабатывающим свой семишник.

О, семишник, источник благородства, главный стимул наших деяний и роковой рычаг, столь часто свергающий нас с почвы, и без того шаткой, в гнилую пропасть бесстыдного служения Мамону, в область подлости, где мы теряем всякое представление об истинных потребностях духа нашего, всякие заботы о растленной жизнью душе нашей!

Много, много лирических дум возбудила во мне статья этого благородного человека!

И вдруг!.. О, будь я проклят!

И вдруг пришел наш хроникер — мой злобный гений.

По его сияющей физиономии, по его танцующим усам я сразу заключил, что он «на седьмом этаже блаженства», как любил выражаться один мой приятель.

— Читали? — спросил он меня.

Я утвердительно кивнул головой.

— Славно вас отделали!.. — восхитился он.

— Где?

— Как — где? В «Карболке»... в «Прогулке»...

— Да разве это меня? Р-разве это я?

— Ну вот еще! Сам автор фельетона говорил мне, что это вы! — резонно сказал хроникер.

Сам автор фельетона! Мне оставалось поверить, что этот, столь жестоко описанный «турецкий бандит» — я и есть, раз сам автор фельетона категорически утверждает, что это так.

— Но он, может быть, ошибся? а? — робко выразил я надежду.

— Не понимаю, как это можно тут ошибиться! — пожал плечами хроникер. — Раз я пишу о вас — значит, я пишу про вас... А вы почему не верите, что это вы?

— Да мне, видите ли, кажется, что я не такой уж...

— А! А вы присмотритесь к себе попристальнее...

Я почувствовал, что меня «оглушили», выражаясь новейшим литературным языком, или — меня «взбуктенили», говоря тем же стилем, меня «взъерепенили», «подмазали», «задали фёферу» и показали мне полемическую «коку с соком».

Я почувствовал себя нехорошо и отправился домой.

Там я взял зеркало, поставил его против себя и с холодным ужасом в душе стал рассматривать отраженную в нем физиономию — мрачное вместилище всевозможных гнусных пороков. Так вот каков я! До сей поры я не знаком был с собой — значит... И я смотрел, смотрел на себя, пытаюсь открыть на лице своем печати совершенных мною преступлений... Но я видел мало.

Лунообразное лицо мое не отражало на себе ничего, кроме гнетущей тоски. И тогда во мне пробудилось горячее желание насладиться лицезрением автора фельетона, на роже которого — автора, конечно, а не фельетона — должны были сиять разноцветные добродетели. О, сколько бы я дал ему за одно рассмотрение на благочестивый лик его! Но, сообразив, что мой ядовитый взор мог омрачить сияние его младенческой рожицы, — я испустил тяжкий вздох разочарования и погрузился во мрак скорби о себе... Я припомнил всё, свершенное мной...

Но, сосчитав мозоли на руках, я не нашел пятен преступлений на душе моей. Ах, это меня не утешило!

Я знаю, что человек почти слеп, когда он смотрит на себя, я знаю, что он не видит теней на сердце своем, и только светлые пятна бросаются ему в глаза.

Но вдруг я подумал: «Однако... однако, откуда автор фельетона собрал столь точные сведения о количестве моего белья, о моих увлечениях дамами и о прочем, что поставлено им в столь тяжкую вину мне и что так омрачило репутацию мою?»

И тогда я вспомнил о господине, собиравшем обо мне справки у Акулины Ивановны, моей почтенной кухарки. Я удивился и умилился: вот что значит быть апологетом истины! Человек ничем не брезгает ради торжества ее...

И я позвал кухарку и сказал ей:

— Ивановна! Когда в другой раз придет этот достойный человек, расспрашивавший тебя обо мне и о жизни моей, — ты отнесись к нему с почтением! Пригласи его на кухню к себе и напои его чаем — он заслуживает этого...

— Вчера опять был... для воскресного фальстона какого-то спрашивал про вас. Я говорила ему: «Войди, мол, миленок, попьем кофю вместе...» — «Вдругорядь, говорит, приду, бабушка...» Неколи, вишь, ему было.

Отдав это распоряжение, я — чёрт меня дернул! — вздумал написать маленькую поправку к фельетону...

Мне хотелось объяснить, что обвинение меня в женолюбстве построено только на почве моих платонических чувств к одной женщине и что, на мой взгляд, оно не особенно прочно построено, а что касается до носовых платков, то я в опровержение каких-либо подозрений предлагал прийти ко мне и посмотреть оплаченный мной счет из магазина. Там четко было написано, что платки я покупал и деньги за них полностью платил.

Но — увы! Через день появилось опровержение моего опровержения. Оно озаглавлено: «Честь по представлению о ней редактора „Саламандры“».

«Эта убогая газета, — говорилось в статье, — всё понимает по-своему. Обратите внимание на ее правописание — она не пишет „честь“, а пишет „честь“».

И затем начиналось разъяснение, что такое честь с мягким знаком на конце и как надо понимать честь

с твердым знаком. Выходило, что твердый знак, хотя он и был поставлен к чести по вине корректуры, радикально изменяет представление о чести.

Порядочный человек должен иметь при себе честь с мягким знаком на конце, люди же, употребляющие честь с твердым знаком, — душегубы и разбойники. Я возразил кратко и ясно, сказав, что это только корректурная ошибка.

Мне ответили, что за недостатком аргументации я, конечно, не мог найти иного оправдания своей моральной нищеты и духовной извращенности. Кстати, было упомянуто и о том, что моя бабушка собирала на папертях церковей милостыню, а мой дед был горчайший пьяница, а незадолго перед смертью сошел с ума.

Я немного разгорячился и заявил, что как моя бабушка, так равно и дедушка никакого отношения к прессе не имели и даже всю свою жизнь и не знали о ее существовании.

Тогда мне сказали, что человек, публично сознающийся в своем незнании задач прессы и в то же время состоящий руководителем одного из ее органов, — достоин быть за это повешенным.

Я взбесился и ответил кратко:

«Вы сами все висельники!»

Это было принято за оскорбление. В новой статье мне ответили внушительно и тяжело. Перечислив все свои будущие заслуги пред обществом, «Карболка» напечатала мою подробную биографию, по прочтении которой на моей голове сразу образовалась внушительная лысина. Я стер себе зубы, скрежеща ими, и разбил руку, стуча ею о стол. В заключение статьи мне представлялась на разрешение такая дилемма: или быть избитым палками, или публично покаяться во всех моих преступлениях и благоразумно предать себя в руки правосудия.

Я чувствовал себя квартирующим на раскаленной сковороде и вкушающим горячие угли. Я чувствовал себя неспособным к такой полемике, хотя во дни моей юности и славился как ловкий и смелый кулачный боец.

. . . . .  
. . . . .

По всем вышеизложенным причинам я впал в отчаяннейшую тоску. Это было мучительное состояние, выход из которого, я знал, один — самоубийство. Я всегда в такие моменты и прибегал к самоубийству и не знаю лучшего средства против сплина. На самоубийство обыкновенно смотрят ошибочно — считают его весьма часто преступлением и всегда почти малодушием. Это безусловно неверный взгляд. Самоубийство — великодушный поступок, и если б разные, никому не нужные и слабосильные для жизни люди были несколько вдумчивее и более серьезно относились к жизни — она была бы гарантирована от таких громадных скоплений элементов, никуда не годных в смысле продуктивности их бытия. Самоубийство — это самодействующий запасный клапан, выпускающий из жизни излишки дурных испарений. И только.

И вот я решил покончить с собой. Я с трудом решаю, но не привык медлить, раз уже решил.

А посему я вынул свой револьвер, тщательно зарядил его, нащупал рукой сердце и уже готов был прекратить его биение, как вспомнил, что «Карболка» может опередить нашу газету сообщением о моей трагической кончине.

И, движимый чувством любви к моей газете, я, отложив револьвер в сторону, взял в руки перо, чтоб написать о себе несколько теплых слов. Ибо, по совести говоря, кроме себя я не знаю человека, который имел бы так много права почтить меня парой теплых слов. Да, в течение моей жизни я сделал себе много совершенно бескорыстных услуг и могу вполне искренно сказать себе: «Спасибо, брат! Ты мог относиться ко мне гораздо хуже и не относился так — спасибо же, брат!..»

И вот я сел за стол и написал хронику.

«Трагическая смерть М. Г. Паскарелло.

Вчера ночью, в 11 ч. 55 м., мало известный в настоящем литератор, наш уважаемый сотрудник (имя рек), — лишил себя будущего выстрелом из револьвера в левую сторону груди. Пуля, раздробив ребро, вошла в сердце, — сердце было мягкое и хранило в себе много тяжелых воспоминаний, а потому, не желая увеличивать собой общей суммы тяжести в сердце покойного, пуля, пробив его навывлет, впиалась в спинку кресла.

Покойный был человек крупного роста и носил широкие одежды, за что раз подвергся ядовитому обличению в печати.

Но мы надеемся, что теперь, ввиду его смерти, — не будут ставить ему в вину любовь к некоторой эксцентричности в костюме; не надо забывать, что, как бы мы ни одевались, в конце концов всех нас ждет один и тот же универсальный костюм — саван. Мы не будем говорить о заслугах покойного перед обществом, мы обойдем молчанием и его личные свойства, — но уже один тот факт, что он решился умереть в таких молодых летах, ясно свидетельствует, как неустанно этот человек до последнего момента своей жизни боролся со всем, что ненужно в жизни, и как последовательно он истреблял его. Этот же факт рисует и недюжинный ум покойного. Что сказать еще о нем?

Скажем главное — он умер. Мы все тоже умрем со временем — это факт. Все люди, покойные и беспокойные, будут абсолютно покойными, ибо всем, рано или поздно, придется лечь в могилу. Ввиду этого обстоятельства, также и в силу нашего полного незнания о том, что нас ждет за гробом, мы рекомендовали бы публике, — как нашим читателям, так равно и собратьям по искусству просвещения, — быть, елико для них возможно, порядочнее.

Вот всё, что мы имеем сказать по поводу роковой кончины нашего сотрудника. Мир душе его!»

Написав это, я расстегнул рубашку и выстрелил себе в грудь.

Всё произошло так, как написано мною, — пуля пробила меня насквозь, и вслед за ней из меня выскочила душа.

Вследствие этого я умер.

## СКАЗКА

Жила на земле девушка, прекрасная, с белокурыми кудрями, с голубыми добрыми глазами, с нежным, чутким сердцем, в котором не было ни лжи, ни тщеславия, ни низких желаний, и было много чистых, поэтических грез,— вы видите теперь, что я рассказываю сказку.

Та девушка не была дочерью короля, она была просто хорошая девушка, притом очень бедная. И вот однажды, когда она, кончив работу, возвращалась с поля домой, с ней произошло следующее:

Под деревом, у дороги, на пыльной земле сидел старик, высокий, сухой, весь в морщинах,— старик, каких много в жизни; только глаза у него были очень глубоки и умны для обыкновенного старика. Он произвел на девушку, когда она поравнялась с ним, впечатление тяжелое и печальное. Ей захотелось скрасить чем-нибудь хотя бы одну из последних минут, и вот она сорвала цветок и с улыбкою протянула его старику, сказав ему ласково-грустно:

— Больше я ничего не могу сделать для тебя: у меня ничего нет!

Старик посмотрел на нее своими умными глазами и, усмехнувшись, сказал:

— А это неправда! У тебя есть прекрасное сердце, девушка! Поверь мне: это первое и лучшее сокровище из всех доступных человеку. Твой цветок я возьму, благодарю тебя. Но вот что,— в награду за него проси у меня, чего хочешь, ибо я волшебник и могу дать всё. Ты понимаешь — всё! Проси же!

Тогда девушка задумалась,— она была не глупа,— что попросить ей? Что нужнее всего в жизни для

девушки? И она долго думала, не зная этого, так что старик наконец стал подсказывать ей желания.

— Ну вот, например, не хочешь ли ты быть мудрой?

— Да, да! — вскричала она, вспомнив, что люди, которых считают мудрыми, пользуются всеобщим почетом и вниманием. — Да, я хочу быть мудрой!

— Но разве ты не хочешь быть счастливой? — спросил ее старик, ласково улыбнувшись.

— Счастливой? — повторила она в недоумении, — ибо до сего дня никогда не чувствовала себя несчастной и не могла понять разницы между мудростью и счастьем.

— Нет, всё равно, сделайте меня мудрой! — попросила она его.

— Поистине ты, девушка, еще ребенок! Но мне жаль тебя, и я не могу отказать тебе. Ты будешь мудрой. Когда же тебя устроит это, ты приходи ко мне. Может быть, тебе захочется быть чем-либо иным, когда ты устанешь быть мудрой. Но знай — я даю только раз.

— Только раз? — с сожалением сказала она. — Но разве быть мудрой страшно и утомительно?

— Видишь ли что? Как только ты станешь мудрой — ты почувствуешь себя жалкой и ничтожной по сравнению с временем, его тайнами и его силой, увидишь, что вся ты — только маленькая искра в необъятном и вечно горящем пламени мысли, и хотя ты легко можешь, ценою мудрости, приобрести славу, но слава не нужна мудрецу. И еще на тебе будет лежать обязанность учить людей и ответственность за всё, чему ты научишь их.

Он еще долго говорил ей о мудрости, но она не понимала его и наконец, чувствуя, что мудрость — не по силам ей, сказала:

— Тогда уж лучше что-нибудь другое дайте мне!

— Хорошо, но что же? Любви? — Тебя полюбят и без моей помощи. Золота? Я не предложу тебе его, я не хочу, чтобы ты была рабой; богатство же есть рабство. Красоты? Но у тебя она есть уже, как есть и здоровье.

— Нельзя ли мне быть еще немножко больше красивой? Или вот что, — это самое лучшее! Нельзя ли мне быть только на время такой мудрой или понятливой,

чтобы видеть вперед? Вы понимаете, старичок? Чтобы видеть мою жизнь всю раньше, чем я проживу, а? Можно это? да?

— Это, пожалуй, можно. Но я думаю, что лучше бы тебе не делать этого.

— О нет, пожалуйста! — в трепете ожидания и любопытства вскричала она.

— Хорошо! — сказал старый волшебник. — Сядь тут!

И когда она, повинувшись ему, села, он спросил ее:

— Хочешь ли ты видеть свою жизнь или видеть и вместе понимать ее?

— Да, да! — ответила девушка.

И вот что она увидела, когда от прикосновения руки волшебника к ее головке она как бы впала в сон.

Теплый летний вечер, и она, девушка, гуляет рядом с тем, кто только что сказал ей «люблю» и кого ее сердце давно уже встречало, сладко замирая. Она счастлива, ей так хорошо, он кажется ей более близким, дорогим и нужным, чем ее отец и мать. Она мечтает о будущем, слушая его горячую и нежную речь, что звучит в ее ушах мелодично и красиво, как звон горного ручья. В ее сердце смело и пышно расцветают бутоны дивных грез, еще недавно такие бледные и робкие, — и, следя за их ростом, вся объятая сладким трепетом, она вскрикивает и пылко и наивно:

— Как хорошо любить!!

— О, в том, что чувствуешь ты теперь, еще не вся любовь, нет, не вся! — говорит он ей и еще говорит, что в любви есть моменты такого блаженства, таких сложных чувств и дивных наслаждений, которые поднимают людей высоко-высоко над землей и делают их родными и близкими небу. Она слушала его, и ей самой хотелось говорить о том, чем живет теперь ее сердце — роскошный цветник пробужденных любовью ощущений и дум. И она заговорила сбивчиво, волнуясь и ища новых слов для выражения новых чувств. Он же слушал ее внимательно, но как старший, и часто мешал ей говорить своими поцелуями. Тогда ей показав-

лось, что он относится к речам ее сердца, как к бреду любви; это ее укололо, и она еще горячей заговорила о себе, а он назвал ее наивной дурочкой. Это было обидно и больно для нее, и она, потемнев, замолчала. Он же понял это молчание, как волнение и наплыв новых желаний, стал целовать ее, и когда привел в опьянение, то сделал ее женщиной раньше, чем она поняла, что произошло с ней. Перерожденная, она очнулась и, видя, что он смотрел на нее взглядом торжествующего победителя, почувствовала, что цветы ее сердца все памяти бурей страсти, отчего ей стало грустно и страшно. И она заплакала слезами обиды и разочарования.

Тогда он, утешая ее, сказал:

— Не плачь, это необходимо, и всегда так бывает. Это закон, видишь ли, всё же прочее — мечты.

— О, но тогда зачем же нужно было так высоко подняться, чтобы пасть? Потому что, мне кажется, я пала и утратила что-то, чего уже никогда не приобрету. Так нищенски мало дано мне и так много взято. Почему это момент, отделяющий прошедшее от будущего, так краток, что почти не заметен сердцу и уму? Что ждет меня в будущем?

— Не бойся, я с тобой и всегда с тобой буду, — сказал он покровительственно и важно, как король. — Ты только старайся ясно понять меня и тогда сама будешь и близка и понятна мне. Я люблю тебя — этого достаточно для твоего счастья, поверь мне!

И, говоря это, он всё целовал ее поцелуями, которые теперь получили силу подчинять ему эту девушку. И она подчинялась, простирая к нему свои уста, вся охваченная страстью, страдая от стыда, страха, боли и от этой страсти, разгоравшейся всё сильнее.

Вот она почувствовала, что под сердцем ее бьется новая жизнь, и в радостном страхе стала прислушиваться к ней в длинные бессонные ночи, утомляясь от дум и ожидания.

Жизнь ее текла до этого времени смутно и однообразно; то же, что она раньше понимала как высшее выражение любви, обратилось в привычку. Ее муж действительно сильнее ее духом и телом и лучше, чем она, знал жизнь, но, гордясь своей силой и знанием, зачем

он отказывал ей в знакомстве с его борьбой и целью в жизни? Это ее обижает, ей скучно, и часто странные, фантастические и грешные мысли роятся в ее голове, порождая и в сердце ее смутные чувства и острое желание новизны.

Но теперь она скоро будет матерью,— это наполняет всю ее сознанием серьезности положения и страхом пред будущим. Это мирит ее и с тем, что горячее чувство ее мужа стало только теплым.

И дни и ночи ее тревожат полумысли, полуощущения о том, кто живет под ее сердцем. И вот, разрываясь от боли, она производит его на свет, маленького, жалкого, живого, но бездушного; буря новых мыслей, чувств и острых, колющих сердце, как иглы, забот о нем наполняют ее грудь и голову. Сосредоточиваясь вся на нем, беспомощном, бессильном, она начинает с дрожью страха за него следить за каждым его вздохом, за каждым движением, отстаивая эту жалкую и слабую жизнь против ряда покушений на нее и быстро теряя силы в борьбе за его существование. Он растет, сознает внешний мир, который всюду ставит ему преграды и рождает в нем боль, а она всё сильнее трепещет... А красота ее незаметно тает в огне забот о муже и сыне.

Еще не успел подняться на ноги этот первый, как уже рождается второй, и ее заботы о них делаются всё напряженней. А первый день ее любви уходит всё глубже в прошлое, стираясь в ее памяти быстрее, чем тонкие, изящные арабески мавров на стенах их дворцов стираются под рукой времени, не знающего ни любви, ни сострадания. Радость же видеть детей своих сознающими и начинающими думать редко вспыхивает в ее груди и тотчас же глохнет под бременем забот и опасений за них.

Они встают на ноги и видят жизнь из окон комнат, и в этих комнатах всё, куда ни смотрят они,— всё вокруг них живет, шумит, бьется. Они смотрят на всё с жадным любопытством лисят, в первый раз идущих на охоту и не умея отличить дурное от хорошего, больше потому, что оно обильнее и ярче, хорошего меньше, потому что оно тусклее и его мало. А жизнь кипит

вокруг них бешено и заманчиво, могуче и всюду проникающая, как воздух.

Тогда она, мать, видя, как ее детей поглощают желания, смысл которых темен для них, но уже ясен для нее,— тогда она в тоске и страхе учит их понимать, где кончается хорошее и начинается дурное, учит их всему, чему принято учить детей, но что для самой нее неясно и загадочно и что было взято самой ей на веру давно уже, еще в детстве.

С той поры до этого момента в жизни прошло время и холодно указало ей, что большинство ее верований, ее морали не нужны для жизни и вредны для нее, но она скрыла от детей это указание, ибо, если б она не скрыла его, чему бы стала она учить?

И вот она говорит своим детям: живите так, тогда как жизнь тысячами голосов и примеров возражает на ее учения, возражает, указывая на глупых и подлых, которые покойны и счастливы, и на умных и честных, которые изнемогают от борьбы, озлоблены, измяты жизнью и потеряли доверие к людям. Охраняя души своих птенцов, которых ей необходимо видеть самыми лучшими и счастливыми на земле, борясь и день и ночь с тлетворным влиянием жизни,— она, мать, раба своих детей и служанка мужа, неустанная воительница за их права на жизнь, она впадает в отчаяние, видя, что ее усилия бесплодны, что ее любви к детям мало для их счастья, что у нее, при отчаянном героизме, нет знания врагов, что ее борьба мучительна и бесплодна и что, наконец, у нее нет главного — знания, зачем человеку нужно быть честным, если это так трудно и невыгодно.

Почему нужно ставить цели, если вся жизнь — момент и всё хорошее только улыбается и тотчас же исчезает, не позволяя удержать его так долго, чтоб насладиться им? Зачем так много труда? Выпиваешь целое блюдо гниющей воды, чтобы достичь до кристально чистой капли истинного счастья, — до капли, которая редко бывает вкусной, ибо пахнет потом, ибо испорченный по дороге к ней вкус и потраченная сила жизни убивает удовольствие иметь ее и наслаждение пользоваться ею!

Зачем нужно подняться высоко и видеть внизу, у ног своих, всё это низкое, настолько яркое, понятное тебе более других и делающее тебя одиноким, отколотым от других?..

Быть одному — это мучение; человек создан для жизни, он всегда раб ее, потому что ей служит, и она всегда смотрит на него, как на раба, даже иногда смотрит так, когда он впереди ее и она идет за ним.

И вот она, мать, в бессонные ночи, наполненные думами о детях, делается из любви к ним философом, яростно отрицает, с тоской убеждается, изменяет всю жизнь так, как это нужно для счастья детей, разрушает, созидает, любит страстно, любит с холодным отчаянием, любит со слезами скорби и со смехом разочарования, истязает себя все ночи, чтоб придумать пути и места для своих детей. А жизнь жестоко смеется над ней, заставляя ее производить еще и еще. И красота ее всё та же незаметно.

Днем трудно представить ее, мать, много думающей, она больше напоминает рабочую машину, автоматическую, заведенную раз на всю жизнь. А дети растут, делаются чутки и восприимчивы всё более. Мысль родилась в них и работает — мать должна быть осторожна, ибо дети могут свободно пробить не одну брешь в картонной крепости ее обыденной морали. Когда она сдерживает их смелые порывы, дети резво брыкаются, как молодые животные, и часто делают ей больно. Они уже начинают находить, что мать стара для того, чтобы понимать их, и недостаточно жила для того, чтобы учить.

И она, сначала оскорбляясь, постепенно всё с большим вниманием вслушивается в их почти всегда снисходительно насмешливые заявления о непонимании ею нового времени.

Новое время? Да, оно изменилось, оставаясь по существу таким же всепожирающим бесплодным чудовищем, каким было и в ее время, — во время ее молодости. Тогда оно требовало одного, теперь требует другого. Сущность та же, но иные формы, иные для выражения чувств и мысли, иные для любви, иные для обыденных отношений. А ведь она, мать, потратила свои

силы на что-то такое, что считалось ею неизменным, вечным и всегда нужным для человека. И вот она делает печальное и горькое открытие, что в своих поучениях она отдавала предпочтение формам перед сущностью.

Это ошибка. И ей, матери, больно за эту ошибку. Новая ее жизнь с рождения первого ребенка была болью, и она привыкла к ней, широкой темной полосе забот, кое-где бедно украшенной блестками иллюзий и надежд. Но пусть! Все-таки ее дети — лучшие дети земли, несмотря на все их недостатки, недостатки, которых у них опять-таки меньше, чем у всех других. Все-таки в глубине ее души свил себе теплое гнездо страх за себя, мать, творца душ и тел своих детей. Она боится, что они не удовлетворят требований, предъявленных к ним, и она будет обвинена в неумении воспитать. Она будет обвинена и тогда, если они будут подлы, и тогда, если они будут честны, т. е. смешны, т. е. несчастны. Это ведь синонимы в глазах большинства людей, умеющих пользоваться жизнью.

Так, вечно озабоченная судьбой своих детей, дрожащая за их счастье, мать, серая, скромная героиня, слепая в своей любви и в своих желаниях, мечется в тоске и сознании своего бессилия очистить путь жизни своим детям и указать им, в чем счастье и где та незыблемая истина, которая нужна для борьбы за право жить, не угнетая другого.

А красота ее исчезает, и мужа, как друга, уже нет...

Иногда она спрашивает себя:

— Что связывает меня с этим человеком?

И сердце грустно отвечает ей:

— Привычка!

И она спрашивает еще:

— Где же любовь?

Но на этот вопрос ее сердце молчит.

И ей холодно и грустно, она одинока, одинока.

Но вот они взрослые, ее дети, они взрослые и теперь, конечно, заплатят ей любовью и покоем за заботы о них в течение почти четверти столетия. Теперь уже они бу-

дут нянчиться с ней,— она заслужила это, посвятив им всю свою жизнь, все свои силы, всю себя...

Но тут начинается старая и вечно новая история,— любовь является на сцену.

Приходят юноши и девицы, не стоящие ногтей ее собственных юношей и девиц. Она чувствует, что в жизни ее детей она, их мать, занимает меньше места, чем эти только что явившиеся на сцену с своей любовью, краткой, как весна. Но она, мать, как мать, быстро мирится с этим, наполняясь страхом за ошибки, которым нигде нет столько места, как в любви. Ее возмущает, но больше тревожит это предпочтение чужим со стороны ее детей; и вот она указывает им, своим детям, что истинные свойства тех людей, которые только что пришли и уже сразу так много у нее взяли,— совсем не таковы, как полагают ее дети, и что она боится за них, дорогих ей. Но дорогие ей еще дороже самим себе, они спорят, убеждают, ссорятся, побеждают, и мать со страхом принимает к себе чужих ей людей и отдает своих детей чужим ей людям. Трепет за возможные ошибки не оставляет ее, то увеличиваясь, то уменьшаясь, но она уже жаждет покоя.

Она одна, ибо в жизни ее детей ей тесно, они уделяют ей любви, сколько могут уделить, не обижая своих жен и мужей. И та холодная любовь к матери, любовь по обязанности, та любовь, которая есть почти милостыня, оскорбительная любовь без огня,— вот что дают ей дети, которым она отдала всю свою жизнь. А их долг ей за жизнь, отданную им? Они уплатят ей после, когда устроят свою жизнь, свое счастье. Ей нужно еще ждать. Но она мирится с этим, мать со всем мирится. И, брошенная, высосанная, старая, она кормит свою голодную душу тем, чем кормила ее всю жизнь,— иллюзиями и теми крохами внимания, которые мимоходом, торопливо уделяют ей ее дети.

В одиночестве она порой пробует подвести итоги своей жизни и, роясь в воспоминаниях, как в грудке тяжелых камней, продолжает обманывать себя, находя в них осколки мимолетных радостей материнства. Это ее тешит, как ребенка. Жалкая, старая, ограбленная жизнью, она все-таки гордится сознанием того, что

задача, возложенная на нее жизнью, выполнена. Дети ее уже сами теперь отцы и матери, и она может быть покойна и счастлива.

Но покоя еще нет, ибо ее дети, забывая о ней, когда им хорошо, бегут к ней за помощью, чуть только им плохо. И она делится с ними своим последним, до поры, пока смерть не вспомнит о ней. Тогда она умирает, и на пороге в другую жизнь еще успевает принять некоторое участие в жизни своих детей, которые остаются, чтоб выполнить свою программу существования. Она умирает, и память о ней живет в ее детях как раз до той поры, пока не исчезнет под плевелами обыденных забот. На ее могилу ходят сначала часто, потом реже, и ее забывают... Наконец она покойна!..

...Когда девушка очнулась от этого сна, то она в страхе и тоске спросила:

— А где же моя жизнь? Где же я? Разве это и всё, что мне будет дано жизнью? Где же моя жизнь?

Но старика уже не было около нее.

Он был мудр, старик-то, — открыл будущее и ушел, не дожидаясь за это благодарности, — он знал, что за это не скажет ему девушка спасибо.

И девушка, не найдя ответа, заплакала.

А когда устала плакать, то пошла домой, на встречу будущего... Ибо другого пути — нет.

## МА-АЛЕНЬКАЯ!..

...«И была она, браток, телом-ту ма-аленькая!..»

Каждый раз, как я вспоминаю эту фразу, из дали прошлого мне улыбаются две пары подслеповатых, старческих глаз, улыбаются такой тихой, ласковой улыбкой любви, сожаления, и в ушах звучат два надтреснутые голоса, одинаково характерно подчеркивавшие то обстоятельство, что «она» была ма-аленькая!..

И мне делается так хорошо и легко от этого воспоминания, лучшего за все десять месяцев моего хождения пешком по кривым дорогам нашей родины, такой большой и такой печальной...

По пути из Задонска в Воронеж я догнал двух богомольцев — старика и старуху. Обоим им с виду было лет полтора; они шли так медленно и неумело, тяжело двигая ступни по горячей пыли дороги, и оба имели в физиономиях и в одежде еле уловимое нечто; это нечто сразу позволяло заметить, что старики идут издалека.

— Из Тобольской губернии шагам... со господней помощью! — подтвердил старик мое предположение.

А старуха на ходу ласково оглянула меня добрыми, когда-то голубыми глазами и, добродушно улыбаясь, добавила, вздыхая:

— Из самого Н-ского заводу, деревеньки Лысой будем мы с отцом-то!

— То-то, чай изустали?

— Мы-то? Ничего! Пока двигаемся... ползем божьей милостью!..

— По обету, что ли, али так, старости ради?

— По обету, браток... Обещанье, значит, дали киевским и соловецким угодникам божьим... Да... — снова

подтвердил старик.— Мать! посядем, вздохнем маленько? — обратился он к спутнице.

— Ну что ж? — согласилась та.

И вот мы сели в тень от старой придорожной ветлы. День был жаркий, небо безоблачно, впереди и сзади нас извивалась дорога и уходила в дали, завешенные знойной мглой. Кругом было пустынно и тихо. По оба бока дороги неподвижно стояла чахлая рожь.

— Высосали землю-то!..— сказал старик, подавая мне несколько сорванных колосьев.

Мы заговорили о земле и о жестокой зависимости от нее крестьянской судьбы. Старуха слушала нас и вздыхала, порой вставляя в наши речи хорошее, опытное слово.

— Кабы жива была она, сколько бы нанудила сердечко свое на таком-ту поле! — вдруг сказала старуха, оглянувшись вокруг на полосы низенькой выгоревшей ржи, испещренные плешинами.

— Да-а! уж порадела бы...— качнул головой старик.

И оба они вдруг замолчали.

— О ком это вы? — спросил я.

Старик добродушно улыбнулся.

— Тут... вспоминаем об одной...

— Стоялка наша была... барышня...— вздохнула старуха.

И вдруг оба они, глядя на меня, точно сговорясь между собой, протянули медленно и жалостно, в унисон друг другу:

— Ма-анинькая така была телом-ту!..

Это было странно и очень больно резнуло меня по сердцу. Нечто зауспокойное звучало в их старых голосах... А они вдруг, торопясь и перебивая друг друга, стали рассказывать так быстро, что мне, сидевшему среди них, оставалось только поворачивать голову от одного рассказчика к другому.

— Привез ее к нам урядник и сдал, значит, старосте. «Определи ее на постой», говорит...

— На квартиру, стало быть, кому-нибудь! — пояснила старуха.

— Ее к нам и определили...

— Глядим,— красная вся... дрожит с холоду-то...

— А сама така ма-анинькая...  
— Аж в слезы мы...  
— Господи, думаем, куда ее таку заслали?  
— На какую ее потребу? За каку таку провинность?..  
— А она, слышь ты, отколе-то отсудова...  
— Из России, стало быть...  
— Мы ее первым делом на печь...  
— Печь-то у нас бо-ольша... да тѣ-епла...— сокру-  
шенно вздохнула старуха.

— Ну, потом, значит... кормить ее!  
— Смеется!  
— Глазенки-те че-ерные... как у мыша...  
— И вся-то она, как мыша... гладка да кругла...  
— Отдышалась... плачет... Спасибо, говорит, родимы!  
— И учала вертеть!!  
— Уж и начала же!..— с восхищением выкрикнул старик и засмеялся, сощутив глаза.

— Кататся тебе по избе-то, как клубок, и гоношит, и гоношит... И то и это... и то поставит так, и это эдак... «Лохань с помоем вон, свиньям, говорит, тащите...» Да сама ее ихвати ручонками-те, да осклизнулась... да по плечи руки-те в по-омои-то будух! Ах ты...

И оба они засмеялись, задыхаясь и кашляя до слез.

— Поросята опять же...  
— Целует их прямо в рыла!..  
— «Невозможно, говорит. — Вон поросёв!»  
— В неделю умучила вот как!  
— В пот, бывало, вгонит...  
— Хохоchet, кричит, ножонками топает...  
— А то вдруг потемнится вся, заробет...  
— Как умрет!..  
— Да в слезы... Уж ревит, ревит, так это ее сподымя бьет. Кружишься, кружишься около-то ее... Чего ей? Непонятно... Хоть сама плачь. И плачешь, бывало... не знай о чем. Обоймешь ее да и залъешься вместе...

— Известно... дитѣ как бы... А живем-то мы одни. Сына в солдаты сдали, а другой на золотых промыслах...

— А ей-то осьмнадцатый, кажись, годок...

— Какое! С виду ежели давать, никак не больше двенадцати...

— Ну, уж ты больно!.. двенадцати!.. тоже!..

— А больше — скажешь?.. Как бы!

— Чего? Девушка она была сочная... А што мало-росла, так это рази что в упрек ей?

— А я в упрек говорю? Эко!

— То-то!..— добродушно уступила старуха:

Поспорив, старики оба и сразу замолчали.

— Ну, а что же дальше? — спросил я.

— Дальше?.. ничего, браток!..— вздохнул старик.

— Умерла она... Огневица ее изожгла,— и по морщинистым щекам потекли две слезинки.

— Да-а, брат, умерла... Два годочка только с нами и пожила... Вся ее деревня знала. Чего вся деревня!.. Многие знали. Грамотейка была. На сходы хаживала... Кричит себе, бывало... Ничего, умница!..

— А главное дело — душа!.. Ах, ка-акая душа андельская!.. Всё-то до нее доходило, всё-то ее сердечушко ведало!.. Барышня ведь как есть городская, в бархатной кофточке... ленточки... башмачки... Книжки читает и всё это, а крестьянство понимала, ах, как просто! Всё знала! «Откуда толь ты это, милушка?» — «В книжке, говорит, прописано!..» Н-ну уж!.. Чего бы ей это, зачем? Замуж бы вышла, барыней была, а тут вот заслали — и померла...

— И чудно!.. Учит всех... така-то манинькая!.. да всех это так сурьезно... То не так, друго не так...

— Грамотница... что толковать... Раделица про всё да про всех... Где кто болен — бежит, где кто...

— Умирала-то без памяти... бредила только. «Мама, говорит, мама!..» — жалостно таково... Поехали было за попом, может, мол, придет в себя... А она, милушка, не подождала... скончалась.

По лицу старухи текли слезы, и мне было так хорошо, точно это обо мне плакали...

— Вся деревня собралась к нам... Толкутся на улице и на дворе... Как?!. Как?!. Все ее любили, души не чаяли в ней...

— Эх, девчурочка была золотая!..— вздохнул старик.

— Всем миром и похоронили... А потом к масляной сорок дён вышло, и сообразились... айда-ка, мол, помолимся за нее!.. И суседи тоже... «Чего вы, говорят,

и в самделе? Идите-тко! Люди вы, значит, свободные, не рабочие... А ей авось зачтется». Мы и тронулись.

— Так это вы за нее? — спросил я.

— За нее, девочку, родной, за нее! Авось, мол, господь бог батюшка примет нашу грешну молитву, простит ей! И пошли вот на первой поста, как раз во вторник вышли...

— За нее!..— повторил я.

— За нее, друг!— подтвердил старик.

Мне хотелось еще много раз слышать, что, именно желая помолиться за нее, они прошли тысячи верст. На мой взгляд, это было так хорошо, что казалось неправдоподобным. Я подсказывал им другие побудительные причины, желая еще более убедиться, что они пошли именно «за нее», маленькую девочку с черными глазами... И к великому моему удовольствию, я, наконец, убедился в этом.

— Неужто пешком всё идете?

— Нет, куда нам!.. когда и присядем... Поедем с денек, а потом опять... трудимся помалу. Стары уж больно мы пешком-ту всё идти... Господь видит, стары... Кабы нам ее ножки-то... ну, так ино дело!

И оба они опять вперебой принялись говорить о ней, маленькой девочке, заброшенной судьбой далеко от дома и мамы и умершей от огневицы.

.....  
Часа через два мы встали и пошли. Я думал о маленькой девочке, но не мог представить ее себе... и мне было до боли обидно это бессилие воображения.

Русский человек плохо умеет представлять себе хорошее, светлое...

Скоро нас догнал хохол на телеге. Он меланхолично оглянул нас и, приподняв шапку на наш поклон, крикнул старикам:

— Садитесь, подвезу до деревни!

Они сели и исчезли в облаке пыли... Я долго шел в нем и смотрел, как вдали исчезала телега, увозя стариков, прошедших многие тысячи верст, чтоб помолиться о маленькой девочке, которая заставила их полюбить себя...

## ВОЗВРАЩЕНИЕ НОРМАННОВ ИЗ АНГЛИИ

ПО ТЬЕРРИ

Среди певучих пышных волн Германского моря, по Дороге Лебедей, от берегов Зеленого Эрина к суровой Скандинавии, быстро летят корабли белокурых людей севера; как гордые белые птицы, летят они, широко распустив паруса, и мачты их пышно украшены богатыми одеждами саксов и пиктов, побежденных скандинавами в кровавом бою.

Сияет солнце, и ветер дует на Зунд, вздымая стаи волн, и пена их плещет на кожаные щиты победителей, на изрубленные мечами островитян щиты суровых воинов Скандинавии, гордо развешанные ими по бортам своих кораблей.

Вдали уже тонут во мгле зеленые горы Шотландии, и на прибрежном песке догорают костры победителей, синий дым тихо клубится там и прозрачными струями плывет над морем за ладьями викингов, плывет над веселыми волнами, заглушающими плеском своим о щиты на бортах могучую песню воинов, облеченных славой многих битв.

Впереди всех других, как лебедь, несется по гребням волн к фиордам родины разукрашенный трофеями корабль Гаральда Гунка, потомка знаменитого Рагнара Кожаные Штаны, неукротимого конунга, морского орла, которого сакс Эрих скормил змеям своего острова, кинув его, покрытого ранами, в яму к ним.

Умирая от ран и ядовитых жал змей, сотнями вонзавшихся в его могучее тело, Рагнар пел свою предсмертную песню; сам Один заслушался ею тогда, и вплоть до сей поры она всё еще звучит в устах скандинавов, не забывших старых саг своей родины ради новых скучных песен, сложенных на ней.

И теперь ее, эту песню храброго Рагнара, поют воины Гунка, столпившись на носу корабля вокруг статуи Одина, вырезанной из черного дуба, молчаливой и мрачной статуи, задрапированной в римский пурпур и шелк, отнятый у богатых рыцарей саксов.

Юноши с мягким пухом на лице, с глазами молодых орлят и в пышных коронах русых кудрей, пожилые воины с рыжими усами до плеч, в глубоких шрамах ран на суровых лицах, овеянных всеми ветрами морей, старики, чьи седые волосы, заплетенные в мелкие косы, падали им на щеки, шею и плечи и чьи шрамы и морщины говорили о многих битвах и трудах, понесенных ими для славы родины,— все воины Гаральда собрались вокруг Одина и бочки саксонского вина, сняли брони, бросили на палубу боевые топоры и палицы и, черпая вино шлемами и турьими рогами, пьют и поют.

Ветер осыпает пылью волн их раскрытые груди, цвета кости слона, крепкие, как наковальни, и их лица, возбужденные гордостью, песнью и вином.

Звуки их пения опережают бег корабля и несутся по ветру впереди его к суровой родине людей, крещенных морем, воспитанных в битвах и не знавших иных гимнов, кроме песен скальдов, и других наук, кроме науки поражать врага прямо в грудь.

Вот как звучала она, руна битв, песнь о крови и железе, о смерти храбрых, о славе подвигов их, о счастье быть норманном и о любви к родине,— к родине, которую люди только в старину умели любить,— вот как звучала песнь, в которой волки моря черпали мудрость для жизни и силу для подвигов:

Мы рубились мечами в пятьдесят одной битве.  
Много пролито нами алой крови врагов!  
Мы на копьях служили скоттам, бриттам обедню,  
Много мы положили в землю храбрых людей,  
И в чертоги Одина много мы проводили  
В битвах с людом Эрина храбро павших норманн!  
Облеченные славой и с богатой добычей  
От потехи кровавой мчимся мы отдыхать.  
Крики боли, проклятья — позади нас остались,  
Ждут нас женщин объятья, ждут нас песни любви.

Битвы, трупы, руины — позади нас остались.  
И — морей властелины — мы рабы впереди.  
Славой воинов горды, женщин ей мы оделим,  
И родные фиорды будут храбрых венчать.  
Дни пройдут, и норманны, молодые орлята,  
Снова ринутся в битвы на Зеленый Эрин.  
Мы живем только в битвах, мы хотим только славы,  
Чтоб в Валгалле с Одним было весело нам.  
Мы рубились мечами в пятьдесят одной битве,  
Много пролито нами алой крови врагов!

В такт песне воины топают ногами о палубу ладьи, и некоторые ударяют рукоятями зазубренных в битвах секир; грозный шум широкой волной лился над морем, и плеск волн спорил в силе с ним.

А у мачты, в тени парусов, лежит группа женщин, пленных островитянок, в разорванных одеждах, в тяжелых коронах рыжих и белокурых волос, развеваемых ветром.

Белые тела их испещряют темные пятна ударов — знаки борьбы, их руки связаны, и женщины не могут поправить своих одежд, открывающих солнцу, ветру и глазам победителей их упругие груди и плечи, белые, как молоко.

И, стараясь прикрыть наготу друг друга своими телами, они плотно сбились одна к другой, и над белой массой их развеваются огненно-золотые пряди волос и лоскутья льняных саксонских одежд, и глаза женщин, серые, зеленоватые и голубые, то разгораются гневом, то гаснут и смотрят в даль моря тупо и безучастно, с покорностью судьбе...

На корме у руля ладьи стоит суровый старик Сигурд; его седые усы опускаются на грудь, перерезанное шрамом лицо важно и холодно, его серые глаза, не отрываясь, смотрят вдаль, правая рука лежит на руле, а левую он опустил на плечо сидящего у ног его юноши Готвальда из славного рода амалов, от Одина ведущих свой род.

Смотрит юноша Готвальд нежными голубыми глазами, подернутыми тенью печали, туда, к мачте, где лежат пленные жены и девушки саксов, часто поднимая

голову, взглядывает в лицо старого Сигурда, знатока рун, сына мудрых валькирий, и снова печально опускает голову юноша Готвальд...

Песня гремит и волны шумят...

— Что ты не идешь, Готвальд, пить вино саксов с товарищами? — спрашивает старый Сигурд.

— Не хочу я пить. И пить не хочу. Я смотрю на саксонок и жалко мне их. Не вернутся ведь они на свою родину...

Тихо говорит юноша и вопросительно смотрит в лицо рулевого ладьи.

А тот неодобрительно качает своей седой головой и сквозь зубы бросает своему воспитаннику:

— Не будешь ты воином, если жалость совет гнездо в сердце твоём. Воин не жалеет... он должен быть крепок и холоден, как его боевой топор...

Юноша тихо вздыхает и смотрит на топор, лежащий у ног его. Холодно блещет на солнце металл топора.

— Жалей врага, когда он поражен тобой, но не убит. Его жалей, — калекой будет жить он до могилы, не выйдет больше биться в поле и будет жить, тоскуя о подвигах и завидуя товарищам своим. Только сильные, когда они обессилены чем-либо, достойны жалости, для слабых же не должно быть ее в твоём сердце. Слабость — это сила, страшнейшая силы удара молота Тора. Все слабые опаснее сильных врагов, ибо они хитры, и эта хитрость сила их. Слабый не встанет грудью к тебе, и не рукой отобьет он твой смертельный удар, но он может отбить его и поразить тебя своей хитростью. Ему нечем больше защищаться и нападать, это одно его оружие, но он умеет владеть им. Сильный простодушен и доверчив, он всегда идет вперед грудью. Скоро можно возбудить жалость сильного — и она губит его. Слабые — злы. Они не умеют щадить, не знают великодушия. И их не нужно щадить, это опасно для воина.

— Слабейшие из слабых — это женщины, и именно поэтому они сильнее сильных. Они много губят воинов, — не меньше, чем в битвах, гибнет людей в их объятиях. Те, что ходили с Аларихом за славой в жаркие страны, туда, еще дальше, за Рим, через море, — те говорили, что где-то есть дерево, каплей своего сока

убивающее человека. В каждой женщине есть такой яд, как яд этого дерева, но только он убивает медленно. Это хуже, чем быть убитым сразу. Не надо жалеть женщин и не следует долго и пристально смотреть им в глаза — через них они впускают яд в сердца воинов. Я знаю это.

И старый Сигурд замолчал, а юноша Готвальд перевел свой взор с группы женщин в даль моря, покрытого бесчисленными гребнями волн, рождающимися из моря так же странно, как речи людей, и так же бесследно исчезающими, тогда как земля не изменяется и ничто на ней не исчезает без следа.

«— Вот послушай, я расскажу тебе сагу о гибели судна Хакгарда, одного из славнейших варингов старины. Как и мы теперь, раз он возвращался с Эрина после многих славных битв и, как мы, вез на родину много пленниц с островов. Был и юноша на корабле, звали его Орл,— юноша с мягким сердцем, как ты, и долго смотрел он на пленниц, среди которых одна, как вещая дева Альруна, была хороша. Он подошел к ней, на несчастье своих товарищей, подошел и стал говорить с ней. И ночью одолело его вожделение к ней, потому что так хотела она, та саксонка. Вот Орл потребовал от нее поцелуев и ласк, но она, хоть и разожгла его,— сказала так:

— Только мертвой возьмешь ты меня!

Он был великодушен и не хотел убить ее за отказ. И просил ее.

— Развяжи меня! — сказала она. Он сделал это.

— Уйдем же теперь в трюм! Чтобы и звезды не видели нас.— Ей, хитрой змее, нужно было это. Они ушли. И там, сев на пол, она спросила Орла:

— Силен ли ты, как мой брат?

— А как силен был твой брат?

— Он перерубал одним ударом топора бревно вот такой толщины! — И она указала ему на пол судна, на толстый дубовый скреп.

— Вот! — сказал Орл. И взмахом одной руки разбил бревно, ударив его тупым концом топора.

Тут она поцеловала его.

— Люблю силу! — сказала она.

Лесть женщины так же сладка, как и поцелуй ее.  
Он закипел всей кровью — молодой Орл.

— Ударь-ка еще пол, но острием топора.

И он — глупый — ударил, как того просила она.

Как только он ударил, она бросилась на грудь ему и своими поцелуями закрыла глаза его, и сейчас же снова увела его вверх.

Там она приняла его в свои объятия, и он наслаждался ею, а корабль с прорубленным дном уже шел на дно моря, а не к берегам родины.

И когда его, Орла, отуманенного достигла вода, он хотел подняться, но не мог, — она непустила его.

Уже воины проснулись, уже все поняли, что тонут, и был великий шум на корабле, а Орл всё еще не понял, что он погубил викинга, его корабль и товарищей...

И они оба, эта саксонка и юноша Орл, не разжимая рук, которыми обнимали друг друга, — ушли на дно моря...

Всё погибло из-за женщины. Всегда много погибает от них. Не жалея же их, Готвальд, не жалея слабых рукой, но сильных хитростью».

Юноша Готвальд задумчиво смотрит в даль моря на гребни волн, и ему кажется, что оба они там — и саксонка и Орл, — носятся они в объятиях друг друга по морю и качаются на пуховых гребнях его волн.

Тоска и желание щемит его грудь и, украдкой кидая взгляды на пленных саксонок, он завидует Орлу, и стыдится своей зависти, и боится выдать чувства свои суровому Сигурду, знатоку саг и рун, старому воину у руля ладьи.

Солнце садится, и яркий пурпурный блеск догорающих лучей ложится на пену волн.

Песня гремит, волны плещут о щиты на бортах ладьи, вино возбуждает скандинавов всё более, и саксонские женщины плотнее жмутся одна к другой.

...Среди певучих волн Германского моря, по Дороге Лебедей, от берегов Зеленого Эрина к суровой Скандинавии, быстро летят корабли белокурых людей севера; как гордые белые птицы, летят они, широко распустив паруса, и мачты их пышно украшены богатыми одеждами саксов и пиктов, побежденных норманнами в кровавом бою.

# КОЛЮША

## НАБРОСОК

В самом бедном углу кладбища, среди осыпавшихся, размытых дождями и распыленных ветром могильных холмов, на одном из них, под кружевной тенью двух чахлых березок, сидела пожилая женщина в старом ситцевом платье и в черном платке на голове.

Прядь полуседых волос спускалась ей на левую щеку, сухую и морщинистую, тонкие губы были плотно сжаты, и их углы опускались книзу, образуя скорбные складки по обеим сторонам рта, и веки глаз ее тоже были опущены книзу, как всегда это бывает у людей, много плакавших и не спавших много тоскливых ночей.

Она сидела неподвижно всё время, пока я наблюдал за ней издали, и не пошевелилась, когда я подошел к ней; она только подняла на меня большие тусклые глаза и снова равнодушно опустила их, не выразив ими ни вопроса, ни смущения, ничего, что бы позволило мне догадаться, как она отнеслась к моему появлению пред ней.

Я поздоровался с ней и спросил, кто здесь лежит у нее?

Она отвечала покорно и равнодушно:

— Сын...

— Большой?

— На тринадцатом году...

— Давно умер?

— Пятый год пошел...

Она вздохнула и заправила волосы со щеки под платок. Было жарко. Солнце беспощадно палило город мертвых; тощая трава на могилах побурела от солнца и

пыли, и жалкие деревья, уныло торчавшие кое-где среди крестов, тоже покрытые слоем пыли, стояли неподвижно, точно и они были мертвы...

— От чего он умер? — спросил я женщину, кивнув головой на могилу ее сына.

— Лошади раздавили... — кратко сказала она и погладила землю холма своей морщинистой рукой.

— Как же это случилось?

Я чувствовал, что я не деликатен, но равнодушие этой матери и интриговало и раздражало меня. Мне, в силу какого-то таинственного каприза, хотелось видеть слезы на ее глазах. Это ее равнодушие было неестественно, в то же время я видел, что она нисколько не сдерживает себя.

Мой вопрос заставил ее снова поднять глаза на меня. И молча, тщательно оглядев мою фигуру с головы до ног, она тихонько вздохнула и стала рассказывать задумчиво и ровно...

— А видите ли, как это случилось. Отец-то его в тюрьме сидел года полтора за растрату казенных денег, и в это время мы все достатки свои и проели. Мало их было, достатков-то. И к тому времени, как выйти отцу из тюрьмы, я уж печку-то хреном топила. Подарил мне огородник один воз негодного хрена — я его высушила да пополам с кизяками и жгу. Угарно. И от варева запах. Колюшка учился в ту пору. Бойкий он был... и домовитый. Идет, бывало, из училища — щепку, полено где увидит, сейчас под мышку его и домой. Да... Весна была, таяло уж, а сапожнишки-то у него еще валяные были. Бывало, намокнут... Снимет он их, а ножонки-то кра-асные. В эту самую пору отца из тюрьмы выпустили и привезли на извозчике домой. Паралич его разбил в тюрьме-то. Лежит это он, улыбается таково кисло, а я стою над ним и думаю: «Чем я его-то еще, погубителя моего, кормить буду? Так бы в лужу на улицу и вышвырнула». А Колюша-то смотрит и плачет. Побледнел весь, смотрит на отца, а по щекам-то слезы — крупные, крупные — так и бегут. «Мамочка, говорит, что это он?» — «Дожил», говорю... Да. И пошло с этого дня. И пошло-с. Мечусь я, как угорелая, а больше двадцати копеек, да и то в счастливый день, достать не

могу... Смерть моя... хоть руки на себя наложить. А Колюшка-то смотрит... и такой темный становится... Как-то не стерпела я... «Окаянная жизнь, говорю. Издохнуть бы... А то помирали бы хоть вы который...» Это на них я, на отца-то с Колюшей... Отец-то кивает головой: я, дескать, скоро помру, не ругайся, потерпи. А Колюша... посмотрел на меня да и ушел из дому-то. После опомнилась я... ну, опоздала уж. Опоздала, да. Потому что часу, сударь вы мой, не прошло с той поры, как он, Колюша-то, ушел,— является полицейский на извозчике. «Вы госпожа Шишенина?» Я уж сразу почувяла несчастье... «Пожалуйте, говорит, в больницу, сына вашего, говорит, лошади купца Анохина зашибли...» Поехала я в больницу. На пролетке-то точно на раскаленных гвоздях сажу. Думаю про себя: «Окаянная ты женщина, анафема!» Приехали. Лежит он, Колюша-то, обвязанный весь. Улыбается... и слезы у него из глаз текут... Тихонько так шепчет мне: «Мамочка, простите! Деньги у околоточного». — «Какие, говорю, Колюша, деньги, бог с тобой?!» — «А те, говорит, деньги, которые публика мне набросала и Анохин дал...» — «За что?» — «А вот, говорит, за это...» — и застонал он... тихонько так. Глазки-то большие у него... Я говорю: «Колюшенька, да как же ты это, батюшка, не видал?» А он, сударь вы мой, ясно таково и говорит мне: «И видел я ее... коляску... да... мне не хотелось уйти-то. Я думал — коли раздавят, — денег дадут. И дали...» Вот... так он сказал... Поняла я, уразумела его, ангела, но поздно. Поутру он и скончался... В памяти скончался. Говорил всё: «Мамочка, купите, говорит, папе того-то и того-то, и себе, говорит, купите...» Денег, дескать, много. Денег действительно — сорок семь рублей было. Ходила я было к Анохину, но он дал пятишницу... и ругается: «Мальчишка, говорит, — все это видели — сам под лошадой бросился, а ты ходишь клянчишь?» Я уж и не пошла больше. Вот как всё это случилось, сударь вы мой.

Она замолчала, такая же равнодушная и сухая, как и до своего рассказа.

На кладбище было тихо и пустынно; кресты, чахлые деревья между ними, холмики земли и равнодушная

женщина, сидевшая в скорбной позе на одном из них, — всё напоминало о горе людей и о смерти.

А безоблачное небо было ясно и изливало сухой зной.

Я достал из кармана сколько-то денег и протянул их этой, еще при жизни омертвевшей от несчастий женщине...

Она кивнула головой и странно медленно сказала мне:

— Не беспокойте себя, сударь мой, у меня на сегодня хватит... Мне ведь немного надо, одна я... теперь уж... Один человек на свете...

И, глубоко вздохнув, она снова плотно сжала свои тонкие, искривленные скорбью губы.

## ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ

Это очень грустная история.

Когда моя муза — маленькая, бледная и нервноболезная женщина с белокурыми волосами и глубокими голубыми глазками, в которых вечно горит огонь неосуществимых желаний, огонь, медленно, но верно сжигающий ее душу сомнением и тоской, — когда моя муза рассказывала мне эту историю, она горько рыдала, и мое сердце тоже плакало, вторя ей, что, впрочем, к делу не относится.

Герой мой был поэт. Когда-то на земле были истинные поэты... Не будем говорить на такую печальную тему, в этой истории и без нее много грусти.

Герой мой был поэт. Как большинство поэтов, он писал стихи, что, конечно, еще не говорит за или против его достоинств. В этих стихах он воспевал природу, любовь и женщин, свои желания, грезы и свои страдания, то есть страдания человека, который, имея счастье быть поэтом, подвержен несчастью жить на земле, где даже подлецам живется нелегко. Он говорил в своих стихах, что его сердце всё изъязвлено сомнением и что черви тоски неустанно гложут его грудь, и хотя трудно было понять, в чем он сомневается, в торжестве ли всего прекрасного или в том, что слава со временем увенчает его чело и тем отличит его от тысяч собратьев по перу, — тем не менее его читали.

Его читали... Из всех способов, которыми люди убивают время, этот еще не самый худший.

Его описания мук души и язв сердца, благодаря обильной лексики и умелой архитектонике, выходили довольно правдоподобны и даже, казалось, были искренни... Затем, печальные песнопения были в духе

времени, и потому на моего героя возлагались надежды; предполагалось, что он способен сказать новое слово, редакторы платили ему сорок копеек за строчку, критики ласково называли симпатичным талантом, барышни, читая его стихи, мечтали о нем, томно закрывая глаза, дамы же, не имея надобности закрывать глаз, просто мечтали.

И он был молод,— вот его главное достоинство. Он был молод, и поэтому порой в его стихах звучали живые, энергичные ноты надежд и желаний, ноты угроз и упреков...

И я рассказываю о том грустном происшествии с ним, моим героем, после которого эти жизнерадостные и сильные ноты в его песнях исчезли,— о том, что окончательно и навсегда убило его молодую душу, его мечты и надежды, его веру в жизнь и людей, силу его любви и остро-ту его ненависти. Я рассказываю о том, что он есть...

Я начинаю с того времени, когда он, посещая свою музу, вдохновлялся, целуя ее розовые щеки, пунцовые губки, голубые глазки, беленькие ручки,— вот как красочно я пишу его музу!..— вдохновлялся и разряжался крошечными грациозными картинками жизни природы и своей души, здоровыми и свежими, как весенние цветы, когда он благосклонно и гордо принимал от всех, кому угодно было засвидетельствовать пред ним дань удивления его таланту, а в свободное от всего этого время думал о том, что, пожалуй, пора ему совершить нечто такое, что перевело бы его из разряда «симпатичных» талантов в разряд «выдающихся», «замечательных», а пожалуй, хоть и в разряд гениальных,— он ничего не имел и против этого. Я начинаю...

Однажды, славной летней ночью, он возвращался от своей музы, маленькой русой шалуньи, жившей в уютной светлой комнате, где всё гармонировало между собой и где его муза, среди массы дорогих, изящных безделушек, неоспоримо и законно главенствовала над ними, как самая изящная... Эта муза не была одной из девяти, не служила Аполлону и не владела лирой златострунной, она была одной из трех сестер-модисток

строго мещанского происхождения, весело служила Венере и, ловко владея иглой, вышивала своими пухленькими ручками и разноцветным шелком инициалы моего героя на его носовых платках.

Он шел, а на его лице еще порхали огненные мотыльки — ее поцелуи, в его сердце ярко пылало могучее пламя вдохновения, и сама собой слагалась светлая и могучая песнь во славу любви и в утешение вам.

Темно-синее бархатное небо, усеянное бриллиантами и изумрудами трепетно сверкавших звезд, тихо и ласково улыбалось ему, а легкий ветер, полный аромата цветов, овеяла его горевшее от волнения счастья лицо, причесывал ему мягкие кудри, растрепанные теплыми и пышными ручками его музы.

Он был одет в изящный широкий летний костюм, и в этом широком костюме таилось его несчастье, — в чем вы скоро убедитесь. Он шел, и в сизом сумраке ночи пред очами его, сиявшими светом божественного вдохновения, в фантастическом вальсе кружились дивные образы, и его мысль, мощно связывая их в одно целое, творила чудные, полные огня жизни, поэмы, которым недоставало только слов, звучных, красивых слов, чтоб в стройной гармонии созвучий вырваться из его груди и понестись над землей, зарождая в сердцах людей стыд за прошлое и ярые потуги и поползновения к совершению поступков положительного свойства.

И эти поэмы, уже созданные его сердцем и наполнявшие его грудь мучительно сладкой жаждой формы, рождали в нем божественное чувство сознания его силы и мощи, вознося его туда, в родное его духу небо, где тени уже умерших поэтов-гениев, невидимо носясь в голубом сиянии нежной луны, — он слышал — шептали ему звучные и ободрявшие его слова.

Он шел, чувствуя себя творцом, равным богу, связывая в душе своей дивные образы, облакал в них свои мысли, и небо казалось ему голубой грандиозной поэмой, совместившей в себе все великие идеи вселенной, поэмой, рифмованной живым блеском звезд и проникнутой торжественным сознанием своего совершенства.

— О жизнь! — вскричал он, мой поэт, в восторге от созерцания неба и жизни своей души. — О жизнь! —

повторил он и, задыхаясь от желания произнести хвалебную речь жизни, не сказал ничего.

Он молча весь излился в улыбку неземного блаженства и восхищения,— и звезды с небес ответили ему ободряющей улыбкой. Он задумался и почувствовал, как на душу ему пахнуло легкое дуновение сладкой печали, той тихой печали, которая не омрачает чела, но облагораживает его...

В этот момент моего героя в первый раз укусила блоха \*.

Она укусила его в локтевой сгиб левой руки... Он почувствовал укус, но не отдал себе отчета в нем и, машинально почесав укушенное место, снова погрузился в восторженное созерцание.

Мой герой шел — и тишина вокруг него, казалось, чутко вслушивается в волнения его сердца и мысли... Он шел и, чувствуя себя центром мироздания, мечтал, мечтал, мечтал... Он мечтал о славе и любви и прозревал в тумане будущего себя из бронзы на пьедестале из мрамора...

— Я заслужу это! — шептал он в восторге.— Я сокрушу гидру лжи и драконов злобы уничтожу. Я укажу человечеству дорогу к счастью и славе, я выведу его из мрачного леса сомнений в силах к жизни на сияющую долину веры в высокое призвание его! Я докажу ему его первородство и докажу, что пошло и трусливо продавать это первородство за чечевичную похлебку иллю-

---

\* О, читатель! не подумай, что это аллегория, а не блоха. Уверю тебя, клянусь тебе, что это блоха, а не аллегория, не символ, как принято говорить теперь...

Это просто блоха, та самая блоха, которая описана Бремем и которая водится в белье. Темно-коричневая, легкомысленно скачущая, она кусается... Ты знаешь, как она кусается... Она дьявольски зла и создана природой для того, чтобы дать пессимистам один из несокрушимых доводов в пользу положения: «Жизнь — страдание». Ты, читатель, может быть, не знал, для чего она создана? Так знай же теперь и преклонись пред объективизмом природы, которая не забывает и философов в своей заботе о людях. Знай это и извини мне маленькое прыгающее неприличие, выпущенное мною на сцену,— извини мне его! Тебе так легко сделать это, ибо другим авторам ты извиняешь и более крупные неприличия...

зорных моментов!.. Несокрушимо сильное желание жизни — залог успеха во всем, чего хочешь... Будь же тверд духом, человек! — скажу я и заставлю поверить мне. И тогда...

Он почувствовал, как что-то впилося ему под мышкой, и вздрогнул от неожиданности и боли... Но этот эпизод не прерывал его мечтаний.

— Я создам новую боевую философию, в которую вмещу весь цикл великих идей, выработанных человечеством, связав их величием человеческой души, величием, которое я докажу, как никому еще не удавалось до меня. Я разбуджу гордость в людях, поражающе ясно показав им то великое, что они делали уже, и убедив их, что при желании они могут сделать и всё остальное для счастья и славы...

Ему кусали грудь... Он нетерпеливо почесался.

— ...Разбудить гордость людей — вот моя задача! И я разбуджу ее! Я напишу поэму «Битва титанов» и в ней воспроизведу всё то, что пережило человечество до сего дня. Этого достаточно для того, чтобы убедить людей повысить цену своих способностей. И моя поэма будет лучшей и вечной системой этики, несокрушимой ничем, ибо в основе ее будет лежать гордость богов, творивших жизнь...

Его кусали ожесточенно, больно и часто... Кусали грудь, спину, ноги, руки... И не успевала угаснуть боль одного укуса, как уже в другом месте в его тело вонзалась как бы острая раскаленная игла. Он, то и дело вздрагивая, раздражался.

— Да, люди мало ценят свои силы, — вот причина их слабости!.. Проклятие ей!..

Тут он бешено скрипнул зубами, ибо почувствовал, что в его грудь как бы воткнули тонкое и острое шило, воткнули и повертывают его... Но, увлеченный своими думами, он пока еще терпел боль, не пытаясь исследовать ее причину.

— Итак, вперед — за работу для славы, для жизни, для людей!.. Муза, зову тебя! Иди и дай мне славы, блестящей, как огонь, я полн желания петь, я полн идей и страсти... О музы, жду я вас! идите мне на помощь!..

Но музы не шли... Наша обязанность — извинить им это; мало того, мы даже должны пожалеть их. Бедная Эрата, бедная Эвтерпа, бедная Каллиопа!.. Только подавленная обилием практики земская акушерка может понять вас, несчастные дочери Аполлона! Бедные музы! Думали ли вы, что на земле настанет время всеобщих эстетических потуг и поползновений, и вы, прекрасные и величавые жрицы чистого искусства, будете служить искусству родовспоможения, употребляя сверхъестественные усилия для того, чтобы помочь сотням тысяч психопатически настроенных смертных разрешаться от бремени языкоблудия чудосочными поэмами и рахитическими сонетами? Бедные музы! Бедные музы!

Я понимаю, почему вы не явились на зов моего поэта. Можно ли успеть вам удовлетворить всех, ныне зовущих вас на помощь!.. Бедные изнасилованные и истязуемые музы! Вы не пришли на зов моего поэта, и я не поставлю вам в вину этот поступок, хотя и дорог сердцу моему загрызенный жестоким насекомым мой герой... Ибо, дожидаясь, он наконец вскричал:

— О-о! Будь я проклят, кто это так ест меня?

Он имел право обратить внимание на свое тело, измученное и принесенное в жертву духа тело, ибо уже достаточно долго дух его парил в надзвездных сферах мечты.

Итак, мой герой почувствовал боль и таким образом спустился из сфер мечты в сферу суровой действительности.

— Кто меня грызет? — спросил он, чувствуя, что в его тело как бы тысячи ос вонзили свои жгучие жала и оставили их там.

И, в недоумении, он стал яростно... чесаться.

Я прошу прощения у читателя с тонко развитым чувством изящного, но... факт — он стал чесаться. Ведь поэты тоже люди. «Когда хорошенько подумать, ведь все мы голыми торчим в наших платьях...» — сказал весельчак Гейне, всю жизнь свою страдавший от тоски. Мой поэт тоже голым торчал в своем платье и поэтому свирепо чесался...

— Однако, чёрт возьми! Это ведь, кажется, не что иное, как блохи! — воскликнул он и, сделав это открытие, как бы успокоился несколько, а потом решил, что в

следующее посещение своей музы он подарит ей коробку хорошего порошка для истребления вредных насекомых. Затем — он возвратился к своим думам.

— Те, для кого жизнь представляет только удивительное разнообразие форм и полное отсутствие сущности, увидят в моих творениях...

Тут блоха его типнула под ложечкой, и он снова принял меры к уменьшению боли, причем потерял нить своей мысли... А она все-таки кусалась... Стараясь не обращать внимания на боль, он снова попытался вознестись туда, откуда только что слетел.

— Жизнь бесформенна от разнообразия форм, наполняющих ее... И тот человек, чей могучий ум, уловив в каждой отдельной форме одно и то же истинное и общее всем им содержание, даст всей жизни твердую форму, тот сделает жизнь доступной пониманию всех людей. Это сделаю я в моих песнях!.. И когда я это сделаю, всем и каждому будет ясно видно его место в жизни, его задача и пути к счастью... Ах ты, запятая, поставленная сатаной на пути моем!.. погоди же!.. — И он ожесточенно ущипнул себя там, где она его укусила.

— Мои песни будут сиять и греть, как солнце, в холодном мраке сомнений, отягчающих души людей... Ты, черное несчастье... прыгающее зло... живой яд!.. Я же поймаю тебя, погоди!..

И, не имея более сил терпеть, он принялся, дрожа от злобы, искать ее. Но когда он ловил ее на груди, она кусала ему спину, и когда он подстерегал ее на плечах, она грызла его колени...

Ночь бледнела, и, убегая от рассвета, по небу быстро плыла угрюмая, сизая туча. Вот из нее упало несколько крупных капель, точно она плакала о чем-то... Весьма вероятно, что и тучи могут плакать, ведь они так хорошо должны знать дела земли, плавая в небе вокруг нее...

Он не мог поймать ее, неутомимо скачущую и сладострастно истязавшую его, то и дело вонзая свои челюсти в тонкую кожу моего героя, измученного борьбой с ней. Она была слишком мала для того, чтобы быть быстро побежденной, и неустанно колола его то тут, то там, точно смеясь над его бессилием. О, эти мелочи! Эти чуть заметные глазом ядовитые пылинки действи-

тельности, разрушающие грандиозные и величественные здания мечтаний и отравляющие цветы грез!.. Нужно быть почти великим, чтоб уметь успешно бороться с мелочами. А что, если бы Геркулесу предложили, вместо совершения известных двенадцати подвигов, выдержать одну битву с дюжиной блох?.. Я полагаю, что, по безрассудной храбрости своей, он согласился бы на это, но... затем?..

Мой герой дорого ценил себя; он по крайней мере час искал ее и не нашел, хотя она была тут и кусала его, кусала лениво и как бы смеясь над ним. И тогда, утомленный и подавленный сознанием своего бессилия, он, печально вздохнув, опустил на землю, чувствуя, что на его теле выступает холодный пот отчаяния и ужаса.

— О жизнь! Коварное чудовище, не знающее сострадания, насмешливое, холодное и злое!.. Я повял твою бесстрастную игру! Ты увидела во мне непримиримого врага твоей разнузданности и победила меня в то время, как я собирался вступить в битву с тобой! Это неблагородно, но предусмотрительно. Да, ты сильна, и я чувствую это. Я признаю себя побежденным, мне больно, но не стыдно, ибо я боролся, сколько мог! Больше я не могу. Я не виноват в моей слабости. Если маленькое черное пятнышко заслоняет предо мною весь необъятный горизонт моей мысли... если каждый раз, как я подымаю очи в небеса, я, не достигая их головой, теряю из-под ног почву и бессильно болтаюсь в пространстве... кто виноват в этом?..

Но тут она впилась ему под правую лопатку с такой яростью, точно пыталась прокусить его насквозь. Он побледнел от боли и тоски...

— О жизнь, не мучь меня, я сдамся без борьбы! — патетически вскричал он, в то же время стараясь схватить ее рукой, но она уже исчезла и щекотала его поясницу, очевидно приготавливаясь снова куснуть...

— Я полчаса назад тому был орел и, червь теперь, познал, как мало нужно жизни времени и усилий, чтоб сломить гордость человеческого духа. Что поставлю я против всеокрушающей силы действительной жизни? Где почерпну я гордого духа для битвы с ней? Мне ли ничтожною крупницею мозга проникнуть в тайный смысл

ее намерений? О жизнь, таинственное чудовище без сострадания и любви к детям твоим!

А блоха-то всё кусала его... Увы! где нужна персидская ромашка, там ничто самые роскошные цветы риторики!.. Ах, непременно нужно понимать, что к чему!.. И мой герой погиб, изглоданный блохой.

Он низко, низко опустил голову и пошел домой, чувствуя, что всё тело его как бы горит в огне, и не обращая внимания на то, что небо над ним уже было покрыто предрассветным румянцем и земля чутко молчала, как бы замерев в ожидании первых лучей солнца. И вот они брызнули, разорвав легкую тучку, мешавшую им свободно излиться в мягкую голубую пустыню небес... Они брызнули, и земля отрадно вздохнула им навстречу. И запели птицы, и зашумели деревья, и небо засияло так ласково и нежно над пробудившейся к жизни землей...

Но мой герой не видал ничего этого, ибо душа его угнетена была скорбью и тело истерзано болью. Он шел, опустив голову, и, когда пришел домой, разделся, тщательно обыскал и перетряс свое платье и белье, не нашел ничего и лег спать, чувствуя себя разбитым и больным. Он спал мало, тревожно, и ему снились всё такие страшные сны... Он видел, как одна громадная блоха, прокусив ему грудь, грызла его сердце... И видел еще много подобных ужасов. А поутру, проснувшись, он долго лежал в постели и смотрел в потолок глазами, полными грусти. И когда наконец он встал, умылся, попил чаю, то сел за стол, охваченный тоскливым вдохновением, с холодом в сердце и с огнем отчаяния в голове,— сел за стол и написал:

Я жизнью жестоко обманут,  
И столько я бед перенес,  
Что больше в душе не воспрянут  
Рои погребенных в ней грез!  
Их много там! Склеп им так тесеп!..  
Я в саваны рпфм их одел,  
И много над ними я песен  
Печальных, как стоны, пропел...  
Пропел — и теперь не нарушу

Я больше их мертвого сна...  
Господь! Упокой мою душу!  
Она безнадежно больна...

Ни капли я счастья не пил,  
И ждать я его не могу!  
Нет, сердце, сожженное в пепел,  
Надеждой я вновь не зажгу!  
Обманов и грез мне не надо —  
Пусть мир их отраден и мил,  
Милей мне бокал того яда,  
Который всё время я пил!  
Я жизнь мою смело разрушу,  
Когда его выпью до дна...  
Тогда... упокою ли душу,  
Что так нестерпимо больна?

Мне жизни игра непонятна —  
Я пасынок грубой земли;  
На сердце мне темные пятна  
Глубокой печали легли.  
И жизнь прохожу я фатально,  
Не нужен я в ней никому;  
В ней сердцу живется печально  
И слишком в ней темно уму!  
Я встречи со смертью не трушу,  
Пусть смерть холодна и темна.  
Господь! Упокой мою душу!  
Она безнадежно больна!

И, написав такое стихотворение, он его вскоре напечатал. Те из публики, которые раньше читали его стихи, прочитав эти, говорили:

— Несчастный! Давно ли еще он был так жизнерадостно настроен? О, проклятые условия жизни! Как быстро они давят всё мало-мальски талантливое и живое! Какая драма разыгралась в душе этого симпатичного таланта?

Говорили и многое другое... Ведь публика всегда много говорит, это ее специальность, и я не ставлю ей это в вину, твердо памятуя, что всякий делает то, что может. Никак не больше того, что может.

Так печально погиб мой герой!.. Вот как гибнут лучшие силы и мысли наших поэтов! Вот почему печальные песнопения так обильны и громки!..

Погиб мой поэт!.. Я описал один только эпизод из его жизни, но и этот эпизод ясно говорит о том, какой грандиозный и непосильный труд — жизнь для человека, который с понятием «жить» соединяет необходимость быть чем-нибудь в жизни!

А если этот эпизод не говорит ничего подобного? Всё равно! Вообразите, что он говорит именно это. Мне, видите ли, нужно, чтоб в моей истории лежала какая-либо мораль. Вам же ничего не стоит вообразить так мало... Воображаете же вы, читатель, что, при данных ваших свойствах, вы все-таки достойны лучшей участи в жизни!..

Погиб мой герой!.. А если кто-либо подумает, что я неверно осветил причины его гибели, — тот ошибается. Мне нет надобности делать его лучше или хуже, чем он есть. Я — покорный слуга истины, он — поэт. Мы с ним чужды друг другу; он хочет быть знаменитым, я не люблю пошлости... Затем мы оба все-таки люди. Да помогут же нам боги быть более мудрыми, чем мы есть, и тогда, может быть, он не будет писать своих стихов, а я — моей прозы. Аминь!

## ЖЕНЩИНА С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ

### I

Помощник частного пристава Зосим Кириллович Подшибло, грузный и меланхоличный хохол, сидел в своей канцелярии, крутил усы и сердито таращил глаза в открытое окно на двор части. В канцелярии было сумрачно, душно и тихо, только маятник больших стальных часов, взвизгивая, отсчитывал монотонными ударами минуты. А на дворе было так заманчиво, ярко... Три березы среди него бросали от себя густую тень, и в ней на куче сена, недавно привезенного для пожарных лошадей, свободно раскинувшись, спал унтер-офицер Кухарин, недавно сменившийся с дежурства. Зосим Кириллович смотрел на него и злился. Подчиненный спит, а вот он, его несчастный начальник, должен торчать в этой дыре и дышать сырыми испарениями ее каменных стен. И, представив себе, с каким бы удовольствием он сам растянулся отдохнуть в тени на душистом сене, если бы время и служебное положение позволило ему это, Зосим Кириллович потянулся, зевнул и еще более обозлился. Он почувствовал непреодолимое желание разбудить Кухарина.

— Эй, ты!.. Эй... скот! Кухарин! — зычно рявкнул он.

Отворилась дверь, и в канцелярию кто-то вошел. Подшибло смотрел в окно, не оборачиваясь назад и не чувствуя ни малейшего любопытства к тому, кто вошел, стоит зади его у двери и заставляет скрипеть половицы под своей тяжестью. Кухарин не повернулся от его окрика. Закинув руки под голову и вздернув бороду в небо, он спал, и Зосиму Кирилловичу казалось, что он слышит сочный храп подчиненного, этакий насмешливый, вкусный храп, возбуждающий еще более желание отдыха и злобу на невозможность предаться

ему. И Подшибло захотелось сойти вниз, чтоб дать хорошего пинка ногой в выпяченный живот подчиненного, а потом взять его за бороду и вытащить из тени на солнце.

— Эй, ты... дрыхни там! Слышишь?!

— Ваше-скородие, — дежурный — это я! — проговорили сзади его обольстительно сладким голосом.

Подшибло обернулся, злым взглядом смерил дежурного, таращившего на него большие тупые глаза и готового моментально устремиться, куда прикажут.

— Я тебя звал?

— Никак нет!

— Спрашивал? — повысил голос Подшибло, поворачиваясь на стуле.

— Никак нет!

— Так поди же ты к чёрту, пока я тебе в башку не пустил чего-нибудь! — И он уже начал судорожно шарить левой рукой чего-нибудь на столе, а правой крепко вцепился в спинку стула, но дежурный быстро юркнул в дверь и исчез. Помощнику частного пристава показалось недостаточно почтительным это исчезновение, и ему во что бы то ни стало хотелось сорвать всё сильнее вскипавшую злобу на эту духоту, службу, на спящего Кухарина, на близость ярмарочной страды и еще на многое неприятное и тяжелое, почему-то вспоминавшееся ему сегодня невольно, помимо его желания.

— Эй! Поди сюда... — крикнул он в дверь.

Дежурный вошел и вытянулся у двери с лицом испуганным и ожидающим.

— М-морда! — угрюмо адресовался к нему Подшибло. — Ступай на двор, разбуди Кухарина и скажи ему, чтоб он, осел, не смел дрыхнуть среди двора. Безобразие... Ну... ступай...

— Слушаю! Там дама до вас...

— Что?!

— Дама...

— Какая?

— Высокая...

— Дурак! Чего ей?

— До вас...

— Спроси, пошел...

— Я спрашивал... Не сказывает... Мне, говорит, самого их благородие...

— О, чёрт их! Зови... Молодая?

— Так точно...

— Ну зови... Ворочайся! — уже мягче приказал Подшибло, оправился и зашелестел бумагами на столе, изобразив на угрюмой физиономии строго начальническую мину.

Сзади его раздался шелест платья.

— Что вам угодно? — вполоборота спросил Подшибло, критическим оком измерив посетительницу. Та молча поклонилась и медленно поплыла к столу, исподлобья поглядывая на полицейского серьезными голубыми глазами. Одета она была просто и бедно, помещански, в платочке, в серой сильно поношенной накидке, концы которой она мяла длинными смуглыми пальцами маленьких красивых рук. Высокая, полная, с сильно развитым бюстом, с большим нахмуренным лбом, она была как-то особенно, не по-женски серьезна и сурова. С виду ей можно было дать лет двадцать семь. Двигалась она так задумчиво, медленно, точно думала — не воротиться ли ей назад.

«Ишь чёрт какой... Гренадер,— подумал Подшибло вслед за своим вопросом.— Кляузить станет...»

— Можно мне узнать у вас... — заговорила она густым контральто и остановилась, нерешительно уставив свои голубые глаза в усатое лицо полицейского чиновника.

— Садитесь, пожалуйста... Что, собственно, вам нужно узнать? — официальным тоном спросил Подшибло, продолжая думать про себя: «Экая ядреная женщина! Хе!»

— Насчет книжек... — договорила женщина.

— Квартирных?

— Нет, не этих...

— А каких?

— Вот тех, которые... по которым... женщины гуляют... — спуталась женщина и вдруг покраснела.

— То есть это как?.. Какие женщины гуляют?.. — спросил Зосим Кириллович, поднимая брови и игриво улыбаясь.

— Разные женщины... которые гуляют, ночные...

— Те-те-те! Проститутки? — приятно осклабился Зосим Кириллович.

— Да! Вот они. — И, глубоко вздохнув, дама тоже улыбнулась, точно ей стало легче, когда она услышала это слово.

— Ага! Ну-с? Н-да? Так что же-с? — начал спрашивать Зосим Кириллович, чувствуя что-то очень интересное и пикантное впереди.

— Так вот, насчет этих книжек я пришла, — проговорила женщина и опустилась на стул, вздыхая и как-то странно встряхнув головой, точно ее ударили.

— Ну-с... Заведеньишко открываете? Так...

— Нет, я для себя... — И женщина низко опустила голову.

— Ага... А где же старая книжка у вас?.. — спросил Зосим Кириллович и, пододвинув свой стул поближе к посетительнице, простер свою руку к ее талии и оглянулся на дверь.

— Какая? У меня не было... — вскинула та на него глазами, но не сделала ни одного движения, чтоб уклониться от его руки...

— Тайно промышляли, значит? Незарегистрировано? Бывает! Желаете быть на счету? Это хорошо... Безопаснее, — становясь смелее в своих поползновениях, ободрил ее Зосим Кириллович.

— Да я еще впервой... — окнула дама и смущенно опустила глаза вниз...

— То есть как впервой? Не понимаю, — повел плечами Подшибло...

— Только еще хочу... Первый раз. На ярмарку приехала, — объясняла дама тихим голосом и не подымая глаз.

— Вот оно что! — Зосим Кириллович, отняв руку от ее талии, отодвинул свой стул и несколько смущенно откинулся на его спинку.

Помолчали...

— Вот оно как... Да... это вы... что же? Нехорошо ведь. Трудно... То есть, конечно... Но все-таки... странно! Я, признаться, не понимаю... как это вы решаетесь. Если действительно правда...

Опытный полицейский, он видел, что действительно — правда: она была слишком свежа и порядочна для женщин известной профессии. У ней не было тех характерных признаков продажности, которые необходимо отпечатлеваются на женской физиономии и жестах даже после ничтожной практики.

— Ей-богу, правда! — вдруг доверчиво склонилась она к нему. — На такое поганое дело иду — и стану я врать. Чего уж? Просто надо вести дело. Видите что — вдова я. Овдовела — муж-от лоцман, утонул в апреле в ледоход. Дети у меня, двое, — сын девяти годов да дочь семи. Достатков-то нету. Родных тоже. Сирота я взята была. А его, покойниковы, родные далече. Да и нелюбимая я ими... Как они достаточные, а я вроде нищей пред ними. Толкнуться-то некуда. Работать бы, конечно. Да много денег надо мне, не выработаешь с эстоль. В гимназии сын-то. Конечно бы хлопотать, чтобы без платы, но куда же мне, бабе? А сын-то, мальчонка... такой, знаете, умница... Жалко отрывать-то от ученья... Также и дочь... и ей чего ни то надо дать. А работой-то такой, ежели честной... много ли ее? Да и сколько добудешь? И чего работать опять же? Кухарка ежели... то, конечно... пять рублей в месяц... Не хватит! Никак не хватит! А на этом деле — ежели кому счастье — сразу можно окормиться на год. Прошлую ярмарку наша же одна женщина чегыреста с лишком схватила! Теперь за лесника вышла с деньгами-то, и барыня себе. Живет... А ежели стыд... конечно, зазорно... Но только... и то ведь рассудите... Судьба, значит... Всегда уж судьба. Пришло вот мне на ум такое дело — так, значит, и надо — указание это мне от судьбы... И удастся оно — хорошо... не удастся, а только муку да позор приму... тоже судьба. Да...

Подшибло слушал ее и понимал всё до слова, ибо у нее говорило всё лицо. Было в нем сначала что-то испуганное, а потом оно стало просто, сухо и решительно.

Зосиму Кирилловичу сделалось скверно и чего-то боязно.

«Попадись такой ведьме в руки дурак... всю кожу она с него сдерет и всё мясо до костей снимет», — формули-

ровал он свой страх и, когда она кончила, сухо заговорил:

— Я-с тут ничего не могу. Обратитесь к полицеймейстеру. Это полицеймейстера дело и дело врачебной инспекции. А я ничего не могу...

И ему захотелось, чтоб она ушла скорее. Она тотчас же и поднялась со стула, наклонилась и медленно пошла к двери. Зосим Кириллович, плотно сжав губы и сощурив глаза, смотрел ей вслед, и ему хотелось плюнуть ей в спину...

— Так к полицеймейстеру мне, говорите? — дойдя до двери, оборотилась она... Ее голубые глаза смотрели решительно и невозмутимо. А поперек лба легла суровая, глубокая складка.

— Да, да! — торопливо ответил Подшибло.

— Прощайте! Спасибо вам! — И она ушла.

Зосим Кириллович облокотился на стол и минут десять сидел, насвистывая что-то про себя.

— Экая скотина, а? — вслух произнес он, не поднимая головы. — Тоже — дети! Какие тут дети? Х-ха! Этакая гадина!

И опять долго молчал...

— Но и жизнь тоже... если всё это правда. Веревки вьет из человека, можно сказать... Н-да... Сердито обращается.

И, еще помолчав, резюмировал всю работу своей мысли тяжелым вздохом, решительным плевком и энергичным восклицанием:

— А и погано ж!

— Что прикажете? — вернулся в дверь дежурный чин.

— А?

— Что прикажете, ваше-скородие?..

— Пошел во-он!

— Слушаю-с.

— Осел! — пробормотал Подшибло и взглянул в окно...

Кухарин всё спал еще на сене... Очевидно, дежурный забыл разбудить его...

Но Зосим Кириллович забыл о своем гневе, и вид свободно развалившегося солдата не возмутил его нима-

ло. Он чувствовал себя испуганным чем-то. Пред ним в воздухе стояли голубые, спокойные глаза женщины и решительно смотрели ему прямо в лицо. Он чувствовал тяжесть на сердце от их упорного взгляда и некоторую неловкость...

Взглянув на часы, он поправил портупею и пошел вон из канцелярии, глухо проговорив:

— Чай, встретимся еще... Наверное уж.

## II

И действительно встретились.

Как-то раз вечером, стоя в наряде у Главного дома, Подшибло заметил ее шагах в пяти от себя. Она двигалась по направлению к скверу своей медленной плывущей походкой, упорно глядя куда-то вперед себя голубыми глазами, и во всей ее фигуре, высокой и стройной, в движениях бюста и бедер, в серьезном покорном взгляде было что-то, отталкивавшее от нее; чересчур покорная, фатальная складка на лбу, еще более резкая теперь, чем в первую встречу, портила ее большое, полное русское лицо, делая его резким.

Зосим Кириллович покрутил ус, дал простор некоторой игривой мысли, сразу зародившейся в его уме, и решил не терять из вида эту женщину.

«Ах ты, крокодил! Подожди...» — мысленно послал он ей вслед многообещающее восклицание.

И минут через пять уже сидел с ней рядом на одной из скамеек сквера.

— Не узнаете? — улыбаясь, спросил он.

Она подняла на него глаза и спокойно смерила его ими.

— Нет, помню. Здравствуйте, — тихо, подавленным голосом сказала она, но не протянула ему руки.

— Ну что, как? Выхлопотали себе книжку?

— Вот! — И она стала шарить в кармане платья, всё с той же покорной миной.

Это несколько смутило полицейского.

— Да нет, мне не надо, не кажите, я верю. Да я и не имею права... то есть... Вы лучше расскажите, как

успели? — спросил он и тотчас же подумал: «А очень мне нужно это знать! Вот уж! И чего... манерничаю? Ну-ка, Зосим, валяй прямо».

Но, несмотря на то, что он подбодрил себя этой думой, он все-таки не решился пойти прямо. Было в ней что-то такое, что не допускало стать сразу близко к ней в известные отношения.

— Успехи-то? Ничего, слава... — и она, не договорив, оборвала речь и густо покраснела.

— Ну вот и хорошо. И поздравляю... Трудно с непривычки? а?

Она вдруг всем корпусом двинулась к нему, лицо у нее побледнело, исказилось, рот как-то округлился, точно она хотела крикнуть, и вдруг снова откинулась от него, — откинулась и приняла старую позу...

— Ничего... Привыкну, — ровно и ясно сказала она и, вынув платок, громко высморкалась.

Зосим Кириллович почувствовал, что у него щемит в груди от всего этого, от ее движения, от ее соседства и голубых, спокойных, неподвижных глаз.

Он разозлился на себя за что-то, встал и протянул ей руку, молча и сердито...

— Прощайте! — ласково сказала она...

Он кивнул ей головой и быстро пошел прочь, зло ругая себя дураком и мальчишкой...

«Погоди, матушка! Я тебе задам фефферу! Уж я тебе покажу себя. Ты у меня перестанешь корчить из себя недотрогу», — грозил он ей неизвестно за что. И все-таки чувствовал, что ни в чем она не виновата пред ним.

А это еще более злило его...

### III

Недели полторы спустя Зосим Кириллович шел от караван-сарая по направлению к Сибирской пристани и был остановлен визгом женщин, ругательством и иным скандальным шумом, лившимся на улицу из окна какого-то трактира.

— Полицейский! Караул! — орал задыхавшийся женский голос. Слышались какие-то страшные лязгаю-

щие удары, стучала мебель, и кто-то восхищенно, басом, покрывавшим весь шум, гудел:

— Так ее! Еще... раз! Прямо в морду. Э-эх!

Зосим Кириллович быстро вбежал вверх по лестнице, растолкал публику, столпившуюся в дверях трактирного зала, и его глазам представилась такая картина: перегнувшись корпусом через стол, его знакомая, женщина с голубыми глазами, ухватила левой рукой за волосы другую женщину, притянула ее к себе и своей правой рукой беспощадно, частыми ударами била ее по испуганному, уже вспухшему от ударов лицу.

Голубые глаза теперь были жестко прищурены, губы плотно сжаты, от углов их к подбородку легли резкие морщины, и лицо его знакомой, раньше так странно спокойное, теперь было беспощадно-зло-зверское, — лицо человека, готового бесконечно долго истязать себе подобного, и истязать с наслаждением.

Женщина, которую она била, уже только мычала, рвалась и нелепо махала по воздуху своими руками.

Зосим Кириллович ощутил в груди прилив злого чувства — дикого желания мстить кому-то и за что-то, — бросился вперед и, схватив сзади за талию истязавшую женщину, рванул ее к себе.

Опрокинулся стол, загремела разбитая посуда, публика дико завывала, загоготала.

Зосим Кириллович в каком-то опьянении видел, как в воздухе мелькали разнообразные, дикие, красные рожи, держал буянившую в своих объятиях и зло шептал ей в ухо:

— Ах ты! Буянить? Скандальить?.. Ах ты!

Избитая женщина валялась на полу в осколках разбитой посуды и, истерически взвизгивая, рыдала...

— Она, значит, вон та, говорит этой, ваше благородие: «Ах ты, говорит, мразь уличная, паскудница!» А эта как ее дербулызнет... Та в нее стакан с чаем и запусти, а эта — ухватила ее за косы, да и давай и давай! Ну, и так, я вам скажу, била, что вчуже завидно! Силища-с! — объяснял ход скандала Зосиму Кирилловичу какой-то юркий человек в чуйке...

— Ага! Вот как?! — рычал Зосим Кириллович, всё сильнее сжимая женщину в своих объятиях и чувствуя, что ему самому хочется драться...

— Извозчик! Давай, извозчик! — ревел кто-то с красной шеей из окна на улицу, напрягая широкую спину и странно выгибая ее.

— Ну, иди... На гауптвахту! Марш!.. Обе! Ты! Вставай... А ты где был? Ты к чему приставлен? Р-рожа! Вези на гауптвахту. Живо! Обоих... ну!

Бравый полицейский, подталкивая то ту, то другую женщину в спины, вывел их из зала.

— Дай-ка мне... коньяку и зельтерской, живо! — обратился Зосим Кириллович к половому и грузно опустился на стул у окна, чувствуя себя утомленным и озлобленным на всех и на вся.

Поутру она стояла перед ним такая же решительная и спокойная, как в первую встречу, — смотрела прямо в глаза ему своими голубыми глазами и ждала, когда он заговорит с ней.

А Зосим Кириллович швырял бумаги по столу, раздраженный и невыспавшийся, и, несмотря на это, не знал, с чего начать с нею. Обычные в этих случаях шаблонные пристрастия и ругательства как-то не срывались с языка, хотелось найти в себе что-то более злое и сильное и бросить ей в лицо.

— С чего у вас началось?.. Ну, говори скорее!

— Она меня обругала... — веско произнесла женщина.

— Велика важность... Скажите! — сыронизировал Подшибло.

— Она не смеет... я не чета ей.

— Ах, батюшки! Кто же ты такая?..

— Я по нужде... ежели что... А она...

— Н-да?! А она из удовольствия, что ли?..

— Она?..

— Н-ну, она. Да?

— Что ж она? У нее детей нет...

— Ты вот что... ты молчи, гадина! Ты меня не мажь по губам твоими детьми... Ты иди, но знай, коли я тебя

еще раз встречу, — в двадцать четыре часа вон! С ярмарки вон! Поняла?! Н-ну! Я вас знаю! Я тебя... награжу! Скандалить?! Я те поскандалю... дрянь!

И слова, одно другого оскорбительнее, поскакали с его языка в лицо ей. Она побледнела, и ее глаза сузились так же, как вчера в трактире.

— Вон! — гремел Подшибло, грохая кулаком в стол.

— Бог вам судья...— сухо и угрожающе произнесла она и быстро ушла из канцелярии.

— Я тебе покажу — судья! — ревел Зосим Кириллович. Ему нравилось оскорблять ее. Его выводило из себя это спокойное лицо и прямой взгляд голубых глаз. Чего она притворяется и корчит из себя какую-то фуффуру? Дети?! Чуть. Наглость. При чем тут дети? Гулящая баба приехала на ярмарку продавать себя и ломается зачем-то... Страдалица, по нужде... дети. Кого она хочет этим надуть? Нет силы на открытый грех, она и прикрывает его нуждой. Ф-фа! Скажите!..

#### IV

А они все-таки были — мальчик, беленький и робкий, в старой затасканной гимназической форме, с подвязанными черной косынкой ушами, и девочка в клетчатом, не по росту большом, ватерпруфе. Они оба расположились на досках у пристани Кашина и, вздрагивая от осеннего ветра, вели между собой тихий детский разговор. Их мать стояла сзади их, прислонясь спиной к клади какого-то товара, и сверху вниз смотрела на них голубыми, ласкающими глазами.

Мальчик был похож на нее: у него глаза тоже были голубые, он часто поворачивал свою головку в картузе с надорванным козырьком назад к матери и, улыбаясь, что-то говорил ей. Девочка была сильно ряба, востроноса, с большими серыми глазами, сверкавшими живо и умно. Вокруг их на досках были разложены какие-то узелки и свертки.

Был конец сентября; с утра шел дождь, набережная была покрыта жидкой грязью, и дул ветер, холодный и сырой.

По Волге ходили мутные волпы и шумно плескались о берег. Всюду стоял шум, глухой, тяжелый, сильный... Сновали разные люди, озабоченные, стремившиеся куда-то... И на общем фоне жизни бойкой набережной улицы — группа из двоих детей и их матери, спокойно ожидавших чего-то, сразу бросалась в глаза.

Зосим Кириллович Подшибло давно заметил эту группу и хотя держался в стороне от нее, но пристально наблюдал за ней. Он видел каждое движение каждого из троих, и ему было чего-то стыдно...

С Сибирской пристани шел кашинский пароход, через полчаса отправлявшийся вверх по Волге...

Публика стала сбиваться на дебаркадер.

И женщина с голубыми глазами наклонилась к детям, выпрямилась, вся увешанная свертками и узлами, и пошла вниз по лестнице, сзади своих детей, шедших, взяв друг друга за руки, и тоже нагруженных чем-то...

Зосим Кириллович должен был тоже идти на дебаркадер. Ему не хотелось этого, но было нужно, и через некоторое время он стоял неподалеку от кассы.

Его знакомая покупала билет. В руках ее был толстый желтый бумажник — оттуда смотрела пачка кредиток.

— Мне бы,— говорила она,— видите ли, так нужно... Их вот, детишек, во второй класс, до Костромы нам, а я в третьем. Можно им для обоих один билет?.. Нет? А то уступите? Покорно благодарю! Дай вам бог...

И она отошла с довольным лицом. Дети вертелись окло нее и, хватая ее за платье, о чем-то просили... А она слушала их и улыбалась...

— Ах, батюшки, да куплю же, сказала!.. Разве жалко мне? По два? Ну... Пойдите тут.

Потом она отправилась на мостки, где торговали разной галантереей и фруктами.

И через несколько времени уже снова стояла около детей, говоря им:

— Вот тебе, Варя, мыло... Душистое! На-ка, понюхай. А тебе, Петя,— вот нож... Вишь ты, помню, не бойсь. А вот апельсины — целый десяток. Кушайте... не сразу только...

Пароход подошел к пристани. Толчок. Все закачались. Женщина с детьми схватила их руками за плечи и прижала к себе, тревожно взглянув вокруг себя. Все были покойны, и она, успокоившись, засмеялась. Дети вторили ей. Положили трап, и публика хлынула на пароход.

— Стой! Куда прешь! Осел!..— распоряжался Зосим Кириллович, пропуская мимо себя публику и обращаясь к какому-то плотнику, сплошь увешанному пещером, пилой, топором и другими инструментами.— Чёрт! Пропусти даму и детей... Экой ты несуразный, братец мой! — добавил он уже мягче, когда дама, его знакомая с голубыми глазами, проходя мимо, улыбнулась и поклонилась ему, проходя на пароход...

...Третий свисток.

— Подбирай носовую!..— раздалась команда с мостика. Пароход дрогнул и медленно пошел...

Зосим Кириллович окинул глазами публику на палубе и, найдя свою знакомую, почтительно снял фуражку и поклонился ей.

Она ответила ему низким русским поклоном и стала истоиво креститься.

И поехала в Кострому с своими детьми.

А Зосим Кириллович, посмотрев ей вслед еще немного, глубоко вздохнул и пошел с дебаркадера на свой пост. Был он хмур и подавлен.

## «ГОСТЬ»

### ВОЛЖСКАЯ КАРТИНКА

...Прижавшись к крутому обрыву берега, стоит караван барж, ожидающих груза.

Ночь лунная, и от мачт на холодную воду реки легли длинные полосы теней, как узкие тропинки куда-то во тьму, где утонул противоположный берег и где далеко, сиротливо блестит огонек.

Река медленно льется в черную даль, волны ее гладят борта пустых барж, и внутри барж раздаются протяжные, гулкие вздохи.

На берегу недвижно замерли кусты лозняка, и от них на воду и берег луна тоже бросила узорчатые недвижные тени.

В одном месте кустарника чуть тлеется костер — освещает корни, вымытые водой из земли, и ветки, опустившиеся над ним. Он смотрит меж них, как большой красный глаз какого-то чудовища.

На носу той баржи, что стоит первая против течения, медленно движется неуклюжая фигура дежурного матроса; иногда он останавливается у борта, долго смотрит вдаль по спокойной воде и снова начинает ходить поперек баржи. В тишине ночи его шаги ясно слышны и на берегу и везде, далеко вокруг каравана, а под ним, в пустых трюмах судна, всё вздыхает река, глядя просмоленное дерево баржи...

Звездное небо смотрит в спокойную воду, и звезды, отражаясь в ней, сверкают, как маленькие, золотые рыбки.

Ночь холодна, тиха... и ясна.

Иногда всплескивает рыба и где-то далеко поют

песню и плачет гармоника; слов не слышно, но одна за другой, по сырому, холодному, осеннему воздуху, тянутся печальные ноты, тянутся и бесследно исчезают во тьме и молчании...

Дежурный на передней барже остановился у борта, посмотрел на воду и вдруг, обернувшись лицом к баржам сзади него, закинул голову и уныло-протяжно закричал:

— Го-ость!..

Потом он наклонился, поднял с палубы длинный шест и, истово перекрестясь, опустил его за борт...

Раздалось журчание воды, разрезаемой встреченным ею препятствием.

И на следующей барже, еще ранее, чем успел замереть первый возглас, — тоже раздалось монотонное, певучее слово:

— Го-о-ость!

Потом у борта ее также появилась фигура дежурного матроса с шестом в руках и так же, как и первая, она, крестясь, спустила в воду шест...

— Го-ость! — плакал звонкий фальцет где-то вдали...

Эхо на берегу отчетливо повторяло ноющее, печально выпеваемое вахтенными слово...

— О-го-о-о-сть!..

Вахтенный передней баржи вдруг энергично стал воорочать багром, и скоро снова воздух огласился его печальным криком:

— При-иня-а-а-л!

Опустив в воду шест, он пошел по борту баржи к корме и, когда подошел к рулю, с силой толкнул что-то в воде и вполголоса бросил на следующую баржу:

— Проводил....

И вслед за тем вытащил свой багор из воды.

Тогда в промежутке между кормой первой баржи и носом следующей за ней, в полосе воды, освещенной луной, появилось что-то белое и круглое, как шар, утвержденное на темной массе, по очертаниям похожее на человеческую фигуру...

Оно появилось и скоро исчезло в тени от борта баржи...

— При-и-ня-а-а-л! — заплакал в воздухе возглас вахтенного.

И вахтенный второй баржи так же, как и первый, — опустив шест в воду, — пошел по борту к корме...

Вскоре раздался и его короткий возглас:

— Проводил...

На последней барже «гостя» дожидались двое: один стоял с багром в руках, в выжидательной, сторожкой позе, другой рядом с ним склонился за борт, опираясь руками о колено, и любопытно смотрел вверх по течению...

— Не подойдет к нам? — спросил он тихо товарища.

— Поди, не подойдет...

— А коли подойдет?

— Тогда, брат, табак дело! Сейчас полиция — как, откуда да что?.. Всю душу вымотают. Не дай ты, господи!

Он идет...

Покачиваясь на воде, «гость» подплывал под нацеленный в него багор вахты...

Он плыл вверх лицом, и оно, очень белое на темном фоне воды, покачивалось, глядя в звездное небо. Так странно покачивалось, точно было недовольно приемом вахты барж и хотело сказать ей:

«Ах вы, братцы мои! Как же вы это так? Нехорошо!»

— Попал!.. — тихо произнес вахтенный и, как все другие ранее его, пошел с опущенным в воду багром на корму...

Его товарищ, скосив голову к воде, шел за ним.

— В сапогах... — сказал он, когда дошли до середины кормы.

— Чай, поди, наш брат, матросик, — отводя багром «гостя» от борта, ответил его товарищ.

— Надо быть, так...

— Про-о-во-о-дил! — выхватив шест из воды, запел вахтенный на передние баржи...

— А к берегу его поблизости от нас не прибьет?.. Тогда всё едино — склока будет...

— Не бойсь! Теперь до мыска-то дойдет, а там его отшибет в фарватер. Выше как на двадцать верст от нас ему не пристать теперь. Да еще, гляди, на тот берег перекинет...

— Это бы ладно было!..

С минуту они молча посмотрели вслед уплывавшему «гостю»...

Потом вахтенный бросил на палубу багор, стащил с себя рваную шапку и вполголоса, крестясь, произнес:

— Упокой, господи, душу раба твоего... Избави, господи, и помилуй нас от нечаянныя смерти!

Его товарищ истово крестился, сильно стучая себя пальцами по плечам и по лбу...

А «гость», неизвестный раб божий, плыл дальше по реке, плыл, покачивался на волнах, и белое лицо его всё смотрело в звездное небо, как бы желая спросить его:

«А что, далеко еще мне, утопшему, плыть-то?»

## ОДИНОКИЙ

— Вы никуда не пойдете, барин?

Барин сидит в глубоком кожаном кресле, перед большим письменным столом, почти сплошь заставленным разными безделушками, всё реликвиями прошлого. С каждой из них связано какое-либо воспоминание, а над столом висит акварельный портрет пожилой красивой женщины, с лицом строгим и освещенным глубокой мыслью,— это самое дорогое воспоминание.

И везде кругом барина в маленькой уютной комнате нет ничего, что не вызывало бы теней прошлого. Барину с лишком семьдесят лет, у него трясется голова, и все члены давно уже с трудом подчиняются велениям изработавшегося мозга.

Его кухарка,— экономка и единственный в мире близкий ему человек,— стоит в дверях комнаты и, стараясь скрыть зевоту, спрашивает сонно и равнодушно:

— Вы никуда не пойдете, барин?

В семьдесят лет некуда идти, кроме того места, куда необходимо пойдет каждый из нас.

Но все-таки барин справляется:

— Сколько времени?..

— Четверть десятого...

Он знает, что его старуха прибавила времени с полчаса, но не обращает на это внимания. Пожалуй, ему даже приятно, что полчаса как бы скинуты с общей суммы тех часов, которые ему остается провести в одиночестве и печальном ожидании конца концов. Он крото говорит:

— Никуда не пойду...

Дверь бесшумно затворяется, и он снова один на один с самим собой. Перед ним раскрытая Библия, на ней ле-

жат очки, но он не читает, а курит трубку на длинном чубуке, курит и рассматривает так хорошо знакомые ему вещи на столе и фотографии, пожелтевшие от времени.

Дым табака сизыми волнами носится в воздухе, образует голубоватые фантастические узоры, застывает на минуту в виде легкой, еле заметной глазу ткани — и исчезает. Веки старых, тусклых глаз дремотно опускаются, — но это от слабости, а не от желания спать. Сна нет, как нет сил, нет тепла в крови и ясности в мозге.

Там медленно-медленно формируются давно пережитые и уже перепутанные временем образы прошлого, и ослабленная память напрягается, стараясь найти в них хронологическую и внутреннюю связь.

Иногда — точно искра в груди пепла от угасшего костра — в старой, много думавшей голове сверкнет мысль и быстро гаснет, не успевая зажечь другую.

Снова являются образы, а клубы дыма из трубки становятся всё гуще и стоят мягким лиловатым облаком над старческой, трясущейся головой, с лицом, исчерченным глубокими морщинами и украшенным пушистой рамой седых волос.

Время тянется медленно, маятник больших стенных часов строго аккуратно отсчитывает секунды.

Много проходит времени между одним и другим его ударом. С портрета на стене в лицо старика сосредоточенно и важно смотрят темные глаза женщины и как будто ждут чего-то от старого одинокого человека.

А от него, как и ему самому для себя, нечего ждать, кроме смерти.

За окном дождь шумит и печально воет осенний ветер.

...Каждый день вечером повторяется эта сцена. Отворяется дверь, и старуха-слуга равнодушно спрашивает:

— Вы никуда не пойдете, барин?

Тон, которым она говорит свою фразу, звучит скорее как напоминание, чем как вопрос.

«Вы никуда уж не пойдете больше!» — вещает старуха, как бы напоминая своему барину закон времени, которое не щадит жизни даже и тогда, когда она хороша и нужна.

А трясущаяся голова старика точно подтверждает своим движением этот закон:

«Да, мне некуда больше идти...»

Иногда в ней медленно слагается печальная мысль.

«Семьдесят лет жизни! Уметь много думать, много понимать, много чувствовать и делать — и за всем этим не уметь оставить по себе никакой тени в жизни, никакого яркого, поучительного, памятного другим пятна... Родиться, пройти свой путь, снести свой крест и одряхлеть и остаться одному во всем мире, остаться в маленькой комнате над землей и дожидаться в ней переселения в маленькую яму в земле...»

И старик, напрягая память, вспоминает ход своей жизни.

Он жил, как большинство тех серых и скучных людей, которых снисходительно принято называть «порядочными людьми».

Он имел представление о законах морали и никогда без необходимости, по своей воле не шел против них — он желал сохранить то внутреннее равновесие, которое зовут покойной совестью, и без необходимости не нарушал его.

В работу свою, сначала полную огня и оригинальности, он постепенно ввел формализм привычки. Что же? И Везувий потухнет со временем.

Приблизясь к окончательному завершению того внутреннего склада, который называют мирозерцанием, — он стал отдаляться от понимания духа времени и потом совершенно перестал понимать его, явился по отношению к нему консерватором, застыл в рамках тех понятий, что уже остались далеко позади.

Работал и иногда вносил в свою работу частицу личного «я», — если это позволяли.

Потом был женат, любил жену, пока мог любить, после уважал ее как подругу, но если она как-либо восставала против его желаний и поступков, как-либо стес-

пяла его «я», он давал ей это чувствовать и в ссорах никогда не щадил ее самолюбия.

Были дети, некоторые уже умерли, другие так далеко и так давно не видали отца, что едва ли приедут, если их позвать для того, чтоб скрасить их присутствием одиночество, и едва ли будут способны искренно пожалеть о нем, умирающем.

И как их позвать? Он еще жив и, пожалуй, здоров; приехав к нему теперь, они могут теперь подумать о нем про себя:

«Вот беспокойный старик! Еще ведь не умирает, зачем же было беспокоить людей, заставляя их ехать так далеко для того, чтобы показать им себя...»

Они, может быть, и неспособны думать так про отца, это «порядочные люди», и стоили отцу много забот, но они люди все-таки... И время, время! — вот что надо помнить всегда. Оно излечивает все недуги, потому что всё убивает — и то, что зовется симпатиями, любовью.

Друзья... В большинстве случаев это — судьи, учителя или опекуны, — старость не нуждается в них. В виде редких исключений встречаются друзья, слишком точно отражающие тебя в себе, как в зеркале; очень интересные и ценные сначала — они скоро становятся скучны и исчезают, превращаясь в знакомых. Лучшие друзья — это люди, которые не любят говорить и умеют понятно молчать. Но эти так редки.

У одинокого старика не сохранилось друзей.

Веки глаз его становятся всё тяжелее, и ему всё труднее поднять их.

Он глубже уходит в думы, и от этого ему так нехорошо, точно он погружается в холодную влагу, еще более расслабляющую его дряхлое тело.

Сердце бьется слабо, кости ноют тихой болью. Это оттого, что он долго не переменил позы. Он перемениет ее и снова думает всё о том, чем бы скрасить последние дни жизни. Куда пойти, где можно бы оживиться и хотя на пять минут забыть, заглушить неотвязное чувство близости конца.

Знакомые? Что может он принести людям такое, что дало бы ему право на их внимание?

Чем он может возбудить интерес к себе?

Рассказами о прошлом? — Рассказано всё...

Изложением своего взгляда на настоящее? — Он не понимает его наполовину, а другую не хочет понять. Не хочет — потому что он все-таки веровал в то, над чем ныне стали смеяться. О будущем старики не говорят — у стариков нет будущего.

От него веет смертью. Он знает это...

И у него есть своя гордость — гордость человека, который видит нечто фатальное, ожидающее его; оно уже близко, и бесполезно жаловаться людям на законы, управляющие ими, но не ими созданные.

И у него нет веры в то, что люди способны искренно жалеть друг друга — он слишком много жил для того, чтоб сохранить эту веру до сего дня, бесконечно длинного дня, полного тупой боли в костях, тяжести в желудке и в голове и занятого наблюдениями за процессом разрушения организма.

Две старческие мутные слезы выливаются из-под закрытых век и медленно текут по щекам, обвислым и морщинистым.

Голубые клубы дыма поднялись к потолку и исчезли, потому что трубка потухла, и ее чубук, выпавши из руки старика, уже лежит на полу.

Откинутая на спинку кресла седая голова с морщинистым лицом в раме серебряных волос всё вздрагивает, руки, протянутые вдоль туловища, неподвижны, желтые и сухие кисти их с крючковатыми пальцами лежат на коленях.

В комнате тихо, только часы с медленностью, в которой можно заподозрить насмешку, считают секунды, бесследно капающие в вечность.

Со стола на старика в кресле смотрят выцветшие фотографии, статуэтки и разные безделушки, со стены смотрит на него портрет женщины.

Старик неподвижен уже.

Но он не умер еще, нет.

Из-под закрытых век его одна за другой катятся слезы.— это мелкие слезы, но от них мокры обе его дряблые щеки.

По резким морщинам, опустившим книзу конвульсивно вздрагивающие углы губ старика, слезы сливаются ему в бороду, с бороды капают на грудь.

За окном дождь шумит и печально воет осенний ветер.

## НЕПРИЯТНОСТЬ

Эскиз

Миляев, поэт из признанных, дописавшийся до эпитета «маленький, но симпатичный талант», мужчина лет под тридцать, с пышной шевелюрой и темными карими глазами, пришел в гости к своим знакомым, но застал дома только сестру хозяйки дома, гимназистку седьмого класса, Верочку.

Ему некуда было идти, и он решил посидеть несколько времени с девочкой, тем более, что она заявила ему:

— Сестра скоро воротится.

Он заметил в ее меланхоличных серых глазках желание задержать его, снял пальто, прошел с нею на террасу, любуясь ее смущенным и довольным личиком.

Там они сели за стол друг против друга, и он стал ждать, как девочка будет играть роль хозяйки дома, нарочно не говоря ничего, чтобы продолжить ее замешательство, которое льстило ему.

Он пользовался у женщин репутацией «неотразимого», знал это и никогда не прочь был лишний раз убедиться в этом. Конечно, Верочке еще только семнадцать, но почему не поиграть и с котенком? Иногда это забавно.

Было часов около девяти августовского вечера. Темнело. Сад одевался тенями, деревья стояли неподвижно, всё кругом точно задумалось в предчувствии близкой осени. В воздухе стоял тонкий аромат цветов, в небе красивым узором раскинулась прозрачная группа перистых облаков, а на террасе царило молчание, грозившее стать неловким, если оно затянется еще минуты на две.

Миляев смотрел на бледное личико Верочки, нервно перебиравшей пальцами концы легкого платка, накинутого на ее плечи, смотрел и думал:

«О чем бы с нею заговорить? Вот неудобство знакомств с этими барышнями, болтать они еще не умеют, ничем не интересуются, ничего не понимают».

И, опытный ловелас, он сам начинал чувствовать некоторое смущение перед ребенком, который, сидя против него, украдкой наблюдал за ним глазами, полными не то каким-то серьезным вопросом, не то только желанием как-нибудь прекратить это неловкое молчание.

Он рассмотрел уже ее всю до мельчайших деталей, умелым взглядом знатока, и нашел, что в общем она, эта девчурочка, отнюдь не дурна. Странно, что раньше он не замечал этого.

— Петр Николаевич! — вдруг робко заговорила она, кутаясь в платок.

Он с вопросительной улыбкой на губах ждал продолжения, изучая ее лицо, вспыхнувшее яркой краской волнения.

— У вас много стихов? Дома... не напечатанных еще?

— Да... есть... А что?

— Так... Я бы хотела все, все прочитать их.

— Это мне лестно слышать. А вы читали уже мою книжку?

— О, да! Сколько раз. И много знаю из нее наизусть. Некоторые стихи мне ужасно нравятся. Ужасно! Я вся дрожу, когда читаю их.

— О! Вот как даже. Это какие — можно знать?

— Много! Особенно нравятся мне те, в которых вы говорите о себе и о... своем горе... Они такие красивые, грустные... как вечера, то есть как последние солнечные лучи, пред тем как угаснуть, — я не знаю, как сказать!

— Да вы поэтесса! Вы сами, может быть, пишете? А? Ну, скажите! Или нет, вот что, скажите мне те стихи, которые вам больше других нравятся. Пожалуйста!

— Да я не знаю... у меня так много любимых! — И она снова вся зарделась от смущения.

— Говорите первое, которое вспомните! Мне будет крайне приятно послушать вас. Вы, как птичка, прощечете. Ну, прошу же вас, Верочка!

Она откинулась на спинку садового кресла, закрыла глаза, ровно качая головой, очевидно, в ритм стихов,

повторяемых ею про себя, и через минуту, смущенно улыбнувшись, неуверенно начала:

— Вот...

Дремлет сад... И небо дремлет...  
И, впивая аромат  
Сонных роз, высоко в небе  
Крошки-звезды тоже спят...  
Вот плывут куда-то тени,  
Тихо, медленно плывут,  
И мое больное сердце  
В даль с собой они зовут.  
Под окном моим сквозь дрему  
Шелестит ветвями клен,  
У корней его левкой  
Погрузились в сладкий сон.  
И, когда над садом ветер  
Вдруг задумчиво вздохнет,  
Мне лицо их тонкий запах  
С тихой лаской опашнет.  
Но зачем? Я этой лаской  
Не утешен, не согрет.  
Что цветы мне, что мне звезды,  
Если в сердце жизни нет?

— Это мне нравится потому, что просто так. Просто и грустно очень. И потом рифмы через строчку и так отрывисто, — видно, что это прямо из сердца, как осколки чего-то разбитого, упало на бумагу.

— А вы хорошо, тонко понимаете, — сказал Миляев, сильно польщенный и заинтересованный ею. — Знаете, скажите еще что-нибудь. Прощу вас, вы так мило и умно читаете!

— Еще вот эти мне очень нравятся, — ободренная похвалой и теряя смущение, с блестящими теплом и светом глазами сказала она. — Вот эти, я их не совсем понимаю, но они тоже такие грустные. Вы просите кого-то:

Подожди еще немножко!  
Поласкай меня, помучь  
До поры, пока в окошко  
Не заглянет солнца луч!

Он заглянет — ясно станет,  
Что здесь были ночь и ты...

Он быстро остановил ее, боясь быть скандализированным... Стихотворение было нескромно, и она, очевидно, не понимала его соли.

— Ах это? Но скажите...

— Что мне нравится в нем? — перебила она.

— Нет, то есть, пожалуй, да.

— Видите ли, вы говорите далее, что луч солнца разрушит ваши грезы и мечты о неземном счастье, снова возвратив вас к действительности, и что снова грустные песни раздадутся в вашем сердце. Вы не любите действительности, и днем вам всё кажется грубым и дурным... И в то же время вы говорите, что вам всегда приятно видеть, как первый солнечный луч возвращает вас к реальному, убивая своим светом ночные видения и чувства... Я не понимаю — почему это? Почему вам «сладко видеть разрушение светом солнца ночи грез».

«Скажите! — подумал про себя Миляев. — Вон что она открыла, непременно воспользуюсь ее толкованием, как темой для стихотворения».

Думая, он сделал себе грустное лицо — он всегда, говоря о себе, делал грустное и убитое лицо человека, обиженного жизнью и разочарованного в ней. Это не ново, но всегда производит впечатление на женщин.

— Почему, говорите вы? А видите ли, не знаю, поймете ли вы меня... Постараюсь быть понятным. Для людей моего типа всегда есть и будет:

...наслаждение в бою

И бездны мрачной на краю...

Я не умею верить, и, право, мне нечего ждать от жизни. Я одинок. Меня не понимают. В то же время я многого горячо хочу и знаю — не найду я ничего, ничего! Но, по свойственному человеку стремлению к лучшему, я увлекаюсь, воображаю, несколько минут живу миражами воображения и — сам разрушаю их. Сам, — раньше, чем это сделает жизнь. Опережая ее, я чувствую горькое довольство самим собой. И это всё, чем я живу.

Он сделал паузу, думая про себя:

«Немного топорно, но всё равно! Девочка ничего не понимает и, конечно, не станет ловить меня на противоречии с самим собой или читать мне мораль».

Девочка, опустив головку, молчала, слушая его. Пауза заставила ее вздрогнуть, и она быстро вскричала с печалью и болью в голосе:

— Так! Я так и представляла вас себе. Но это... страшно! Какой вы...— она оборвалась, бледная и робкая.

— Какой я? — мягко спросил он, наклоняясь к ней.

— Несчастный...— тихонько сказала она, снова печально опустив головку. И несколько спустя прибавила еще тише: — Но хороший!..

Он улыбнулся, рассматривая ее хрупкую фигурку и порозовевшие кончики ушей, так красиво осыпанные шелковинками русых волос.

— Да... живется нелегко... Из любопытства живешь, говоря поистине.

— То есть как? — широко открыв глазки, переспросила она испуганно и робко.

— Живешь единственно из холодного желания знать, какой мелочью завтра будет отлучено от сегодня? А настоящего, горячего желания жить... даже желания желать чего-либо — нет. Душа опустошена жизнью. Холодно и скучно. Позвольте, что вы, Верочка! Простите... я вас расстроил?

Да, она плакала. Она приняла все его слова за чистую монету и плакала. Он забыл, что имеет дело с ребенком еще, и несколько пересолил. Это было уже неприятно. И неприятность увеличилась еще тем, что ее лицо, всё в слезах, перестало быть красивым, по-детски сморщилось, потеряло всё привлекательное. Плечи у нее уже дрожали, и можно было ожидать, что она разрыдается. Он не знал, что делать с ней. Если бы это была женщина, он подошел бы и взволнованно начал благодарить ее за эти святые, бескорыстные слезы, за это участие к нему, одинокому страдальцу-поэту, поцеловал бы ее руку — почтительно, с глубоким уважением, шею — благоговейно и кончил бы страстным поцелуем в губы; это всегда так начиналось и заканчивалось.

Но это девочка! Что ему делать с ней?

«Вот идиотское положение! — мысленно ругался он, чувствуя себя способным надрать ей уши за эту сцену. — Дернул же меня чёрт говорить с ней. Вот что значит привычка. Извольте, сердце мое, пользоваться плодами сей победы! Ф-фу!»

— Если бы... я... могла... — тихонько шептала она сквозь слезы.

— Успокойтесь, Верочка! — молил он, вертясь около ее стула и ожидая, что вот раздастся звонок, воротится сестра этой плаксы и — это будет картина!

— Я всю бы... себя... вам... жизнь...

«Начинается истерика!» — трагически воскликнул он про себя.

— Верочка! Я уйду! Успокойтесь же! Молю вас.

Но ей трудно было успокоиться. Она была так взволнована, ей было так жалко никем не понятого поэта, стихи которого так музыкально-грустны и так близки, знакомы ей...

— Прощайте! До свидания!

Она не отвечала. Он уходил... Куда? Ей представилось, как он медленной походкой человека, несущего в своей груди много горя, которого ему не с кем разделить, идет один по темной улице и тень его движется рядом с ним по земле. И ему так грустно, больно и боязно своей тени, единственно близкой ему.

Верочка, быстро отирая лицо, просительно заговорила:

— Не уходите! Я не буду больше плакать. Оставайтесь со мной.

Ей так хотелось броситься на его грудь и целовать его долго, много, крепко.

Но когда она подняла голову, его уже не было на террасе. Издали доносились торопливые шаги по полу комнат.

— Петр Николаевич! — умоляюще крикнула она.

Потом, подождав немного ответа, снова бросилась в кресло и заплакала.

А он быстро шел по улице и чувствовал себя скверно. «Зачем я заговорил с ней об этом? Вызвал слезы.

К чему мне они? Кража, вымогательство из любви к искусству. Вот уж сыграл дурака! Но все-таки она премиленькая шельмурочка! И если ее сестра умнее ее, то... Ну это, положим, глупости! А, впрочем, почему бы? Возня. Женщины — проще. Однако как я бегу!»

Он пошел тише.

«А все-таки она взволновала меня. Лестно, чёрт возьми! Нужно будет посвятить ей маленькие стихи, с раскаянием и с преклонением пред ее девственной чистотой. Нет, лучше не нужно. А то она и в самом деле вторится по уши. Однако как всё это скучно! Куда бы пойти?»

Луна всходила.

Ночь была такая теплая, ясная, звездная.

Но было еще не поздно, в воздухе над городом носился глухой шум жизни — жизни, в которой так много лишнего и так мало необходимого.

## КАК ПОЙМАЛИ СЕМАГУ

Семага сидел в кабаке, один за своим столиком пред полбутылкой водки и поджаркой за пятиалтынный.

В прокопченном табачным дымом подвале с каменным сводчатым потолком, освещенным двумя лампами, подвешенными к нему, и лампой за стойкой, было страшно накурено, и в тучах дыма плавали темные, рваные, неопределенные фигуры, ругались, разговаривали, пели и делали всё это очень возбужденно, очень громко и с полным сознанием своей безопасности.

На улице выла суровая вьюга поздней осени, носились крупные липкие хлопья снега, а в кабаке было тепло, привычно пахуче и шумно.

Семага сидел и зорко сквозь пелену дыма наблюдал за дверью, особенно зорко, когда она отворялась с улицы и в кабак входил кто-нибудь. Он в этом случае даже нагибался несколько вперед своим крепким и гибким корпусом, а иногда приставлял к бровям ладонь руки, как щит, и долго пристально всматривался в физиономию вошедшего — на что у него были весьма основательные причины.

Рассмотрев нового гостя подробно и, очевидно, убедившись в том, в чем ему нужно было убедиться, Семага паливал себе новую рюмку водки, опрокидывал ее в рот и, насадив на вилку с полдюжины кусков картофеля и мяса, отправлял ее вслед за водкой и долго, медленно жевал, смачно чавкая и облизывая языком свои щетинистые солдатские усы.

От его мохнатой большой головы на серую и сырую стену падала странная взъерошенная тень, и, когда он жевал, она содрогалась; это было похоже на то, как бы она кому-то усиленно, но безответно кланялась.

Лицо у Семаги было широкое, скуластое, бритое, глаза большие, серые, прищуренные, над ними темные мохнатые брови, и на левую бровь спускался, почти прикасаясь к ней, курчавый клок волос какого-то неопределенного, сивого цвета.

В общем Семагино лицо не возбуждало к себе доверия и даже несколько смущало выражением решимости, напряженной и неуместной даже и посреди той компании и обстановки, среди которой Семага находился.

На нем было надето рваное драповое пальто, подпоясанное веревкой, рядом с ним лежали шапка и рукавицы, а к спинке стула он приставил свою дубинку, довольно внушительных размеров, с шишкой из корня на одном конце.

И так он сидел, кейфовал и, допив свою водку, собирался спросить еще, как вдруг дверь с дребезгом и визгом распахнулась, и в кабак вкатилось что-то круглое, лохматое и похожее на большой раздерганный пук пакли, — вкатилось и закричало по-детски звонко и очень возбужденно:

— Стрема! Подбери голяшки, дяденьки!

Дяденьки все вдруг осеклись, замолкли, озабоченно засуетились, из среды их раздался густой и несколько смущенный вопрос:

— Не врешь?

— Лопни глаза, с обших сторон валят. Конные и пехтурой... Двое частных, околodoшники... множество!

— А кого им надо, не знашь? Не слыхал?

— Семагу, должно. Никифорыча про него спрашивали... — звенел детский голос, в то время как шарообразная фигурка его обладателя суетилась под ногами дяденек, всё ближе подкатываясь к стойке.

— Рази Никифорыч попал? — спросил Семага, напаяливая на свою мохнатую голову шапку и неторопливо поднимаясь со скамьи.

— Втюрился... сейчас цопнули.

— Где?

— В Стенке у тетки Марьи.

— Ты оттуда, что ли?

— Э-э! Я огородами задал лататы да сюда; а сейчас улепетну в Баржу, там, чай, тоже есть кто.

— Валяй!

Мальчик мгновенно выкатился вон из кабака, и вслед ему раздался укоризненный возглас сидельца, благообразного седенького старичка Ионы Петровича, богобоязненного и сухенького человечка в больших очках и в черненькой скуфеечке.

— Экая протобестия, иудин сын! А? Хамово окаянное семя! На-ко! Целую тарелку слизал!

— Чего? — спросил Семага, идя к двери.

— Печенки... всё с тарелки-то счистил. И как ему, анафемскому змеенышу, доспелось? Хап — и чисто!

— Ну, разорил он тебя! — сурово заметил Семага, скрываясь за дверью.

Вьюга, сырая и тяжелая, глухо шумела, крутясь над улицей и вдоль ее, мокрые хлопья снега летали в воздухе такой густой массой, точно каша кипела и пенилась.

Семага постоял на одном месте с минуту и прислушался, но ничего не было слышно, кроме тяжелых вздохов ветра да шуршания снега о стены и крыши домов.

Тогда Семага пошел и, пройдя шагов с десять, перелез через забор на чей-то двор.

На него залаяла собака — и, как бы в ответ на ее лай, где-то фыркнула и стукнула копытом лошадь. Семага решительно перекинулся вновь на улицу и пошел по ней, направляясь к центру города, уже быстрее.

Через несколько минут, заслышав впереди себя какой-то глухой шум, он снова метнулся через забор, благополучно прошел по двору, дошел до отворенной калитки в сад и вскоре, без приключений миновав еще несколько заборов и дворов, шел по улице, параллельной той, на которой стоял кабак Ионы Петровича.

Идя, Семага думал о том, куда бы ему отправиться, но не мог ничего придумать.

Все надежные места в эту ночь, когда чёрт дернул полицию делать обход, являлись уже ненадежными, а провести ночь на улице в такую пургу, с риском попасть в лапы обхода или ночного сторожа, — это не могло улыбаться Семаге.

Он шел медленно и, сощуриив глаза, смотрел вперед себя в белую муть вьюжной ночи — из нее навстречу

ему выползали молчаливые дома, тумбы, фонарные столбы, деревья, и всё это было облеплено мягкими комьями снега.

Странный звук раздался в шуме выюги — точно будто тихий плач ребенка где-то впереди. Семага остановился и, вытянув шею вперед, стал похож на хищного зверя, насторожившегося в предчувствии опасности.

Звуки замерли.

Семага качнул головой и снова начал шагать, глубже нахлобучив шапку и вобрав голову в плечи, чтобы меньше снега нападало за воротник.

У самых ног его что-то запищало. Он вздрогнул, остановился, наклонился, пошарил руками на земле и выпрямился, отряхав что-то, завязанное в узел, от снега, засыпавшего эту находку.

— Вот так фунт! Ребенок... Ах ты, сделай милость! — в недоумении прошептал он, поднося находку к своему носу.

Находка была теплая, шевелилась и была вся мокрехонька от растаявшего на ней снега. Рожца у нее была намного меньше Семагиного кулака, красная, сморщенная, глаза закрыты, а маленький рот всё открывался и чмокал. С мокрых тряпок на лицо и в этот беззубый ротик текла вода.

Семага совершенно оступел от недоумения, но, чтоб избавить ребенка от неприятной необходимости глотать снежную воду, — догадался, что нужно оправить тряпки, и для этого перекувыркнул ребенка вниз головой.

Тому это, должно быть, показалось неудобным, и он жалобно запищал.

— Нишкни! — сказал Семага сурово. — Нишкни! А то я те задам. Я чего вот с тобой сделаю? А? Куда мне тебя нужно? А ты реवेशь? Ишь ты, дурачина.

Но на находку Семаги нисколько не подействовала его речь — ребенок всё пищал, и так жалобно, так тихо, что Семаге сделалось неловко.

— Это, брат, как хошь! Я понимаю, что тебе мокро и холодно... и что ты мал ребенок. Но, иначе, куда ж я тебя дену?

Ребенок всё пищал.

— Совсем даже мне некуда тебя девать,— решительно сказал Семага, закутал свою находку плотнее в тряпки и, наклонившись, положил ее на снег.

— Так-то вот. А то куда ж я тебя дену? Я, брат, и сам вроде как подкидыш в моей жизни. Прощай, значит... Больше никаких!

И, махнув рукой, Семага пошел прочь от ребенка, ворча про себя:

— Кабы не обход, мог бы я тебя куда ни то сунуть. А то вон — обход. Что я тут могу сделать? Ничего, брат, не могу. Прости, пожалуйста. Невинная ты душа, а мать твоя — шкуреха. Кабы мне ее узнать, я бы ей ребра обломал и все печенки отбил. Чувствуй и понимай, да вдругорядь не дури. Знай край, да не падай. Эх ты, дьяволица треклятая, проклятая душа, ни дна бы тебе, ни покрывки, чтоб тебя земля не приняла, анафемскую дочь, чтоб тебя тоска-сухотка измаяла! А! Родишь? Бросаешь под забор? А за косы хочешь? Да я тебя... свинья ты! Должна ты понимать, что в такую пургу да мокроть нельзя ребят по улицам швырять, потому они слабые, как в рот снегу нанесет — они и задохнутся. Ду-ура, выбери сухую ночь и бросай свое дитя. В сухую ночь и проживет оно дольше и, главная вещь, увидят его люди. А разве в такую ночь люди ходят по улицам?.. Э-эх ты!

Когда именно, в каком месте своей реплики Семага воротился к находке и снова взял ее на руки, он этого не заметил в увлечении своим негодованием по адресу матери подкидыша. Он сунул его себе за пазуху и, снова на все корки отчитывая мать, двинулся вперед, охваченный чем-то тоскливым, смятенный и от жалости к ребенку уже и сам жалкий, как ребенок.

Находка слабо возилась и глухо пищала, придавленная тяжелым драпом пальто и могучей рукой Семаги. А под пальто у Семаги была только одна рваная рубаша — отчего скоро Семагина грудь почувствовала живую теплоту маленького ребячьего тельца.

— Ах ты, живой! — ворчал Семага, идя сквозь снег куда-то вперед по улице. — Нехорошо твое дело, братец мой! Потому куда мне тебя? Вот оно что! А мать твоя... ты не возись, лежи! Вывалишься.

Но он возился, и Семага чувствовал, как сквозь дыру в рубашке теплое личико ребенка трется о его, Семагину, грудь.

И вдруг Семага, как пораженный, остановился и громко прошептал:

— А ведь он это грудь ищет! Матернюю грудь... Господи! Матернюю грудь?!

Семага задрожал даже от чего-то — не то от какого-то стыда, не то от страха — от странного и сильного, больно и тоскливо щемящего сердце чувства.

— Я... как бы мать! Ах ты, братец мой! Ну, и чего же ты ищешь? И что ты со мной делаешь?.. Я, брат, солдат, вор я, коли говорить правду...

Ветер шумел глухо и так тоскливо.

— Заснул бы ты. Ты засни. Ну, баю. Спи! Ничего, брат, не вычмокаешь. Спи ты... Я те песню спою. Мать бы спела. Ну, ну, ну... О, о, о! Баю, бай... Я не баба. Спи!

И Семага вдруг тихо и, насколько мог, нежно и протяжно запел, наклонив свою голову к ребенку:

Ты, матанька, дура, шкура,  
Не велика ты фигура.

Это он пел на мотив колыбельной песни.

Белая муть на улице всё кипела, а Семага шел по тротуару с ребенком за пазухой, и в то время как ребенок, не умолкая, пищал, вор сладко над ним мурлыкал:

Как приду я к тебе в гости,  
Обломаю тебе кости.

И по его лицу от глаз текло что-то — талый снег, должно быть. Вор то и дело вздрагивал, у него щеко-тало в горле и щемило в груди, и было ему до слез тоскливо идти по пустынной улице, среди вьюги, с этим ребенком, пищавшим за пазухой.

Он всё шел, однако...

Сзади его раздавался глухой топот копыт, показались в мутной мгле силуэты всадников, и вот они поравнялись с ним.

— Кто идет?

— Что за человек? — раздались сразу два оклика... Семага дрогнул и остановился.

— Что несешь, говори? — подъехав вплотную к тротуару, спросил его один всадник.

— Несу-то? Ребенка!

— Кто таков?

— Семага... Ахтырский.

— Приятель! А тебя ведь и искали! Ну-ка, айда, становись к морде лошади!

— Нам надо сторонкой идти. За домами-то меньше дует. А середь дороги нам не с руки. Мы и так уж.

Полицейские едва поняли его и позволили идти сторонкой, а сами поехали рядом, не сводя с него глаз.

Так он и шел вплоть до части.

— Ага! Попал, сокол. Ну, вот и отлично! — встретил его частный пристав в канцелярии.

Семага тряхнул головой и спросил:

— А как же теперь ребенок? Куда мне его?

— Что? Какой ребенок?

— Подкидыш. Нашел я. Вот.

И Семага вытащил из-за пазухи свою находку. Она дрябло перегнулась на его руках.

— Да он мертвый уж! — воскликнул частный пристав.

— Мертвый? — повторил Семага и, посмотрев на ребенка, положил его на стол.

— Ишь ты, — сказал он и, вздохнув, добавил: — Сразу бы мне его взять. Может бы, он и не того... А я не сразу. Взял да опять положил.

— Ты чего ворчишь? — с любопытством спросил частный.

Семага сумрачно оглянулся вокруг себя.

Со смертью ребенка в нем умерло многое из того, с чем он шел по улице.

Вокруг него была казенщина, впереди тюрьма и суд. Семаге стало обидно. Он укоризненно взглянул на трупик ребенка и со вздохом проговорил:

— Эх ты! Задарма, значит, я втрескался из-за тебя! Я думал и впрямь... ан ты и умер... Штука!

И Семага ожесточенно стал скрести себе шею.

— Увести! — приказал частный пристав полицейским, кивая на Семагу головой.

И увели Семагу под арест.

Вот и всё.

## БАБУШКА АКУЛИНА

НАБРОСОК

В осеннюю гололедицу, возвращаясь домой со сбора милостыни, бабушка Акулина поскользнулась, упала и сильно разбилась. Когда она барахталась на панели, пытаясь встать, ее увидел знакомый полицейский, подошел к ней и, думая, что она по обыкновению «выпимши», стал ругаться.

— Ишь, старая чертовка, — говорил он, — опять наклюкалась! И скоро ли только ты издохнешь? Сколько из-за тебя я разного беспокойства принял! Ах ты...

Он смотрел на нее сурово, тон его голоса был зол и резок, но бабушку Акулину всё это не смущало. Она знала, что он добрый солдат, зря ее не обидит, в часть не отправит — разве первый раз ему приходится поднимать ее на улице?

Он никогда не отправляет ее в «каталажку», а всегда домой, если же ругается, так это ничего, — нельзя же, в самом деле, не ругать человека, который причиняет беспокойство.

И, стараясь загладить свою вину, она собрала все силы, желая подняться на ноги, но застонала, сморщилась и снова вытянулась на панели, охая и кряхтя.

— Старая швабра! — сказал полицейский и стал поднимать ее.

— Никифорыч, голубчик, не тронь! Разбилась я, видно.

— Ну! Вставай! Разобьешься ты... как же...

— Ми-илый ты мой, Никифорыч, ноженьку можжит... правую ноженьку... не тронь, погоди! Умираю.

— Что ты, в самом деле, старуха! Как я тебя тут не трону? Лежишь на видном месте и орешь, ну ин в уголок вон отползи, коли исправду что у тебя.

— Никифoryч, смерть моя пришла! Отвез бы ты меня домой!

— Возись с вами, черти мохнатые! Извозчик!

Через несколько минут они оба уже ехали на извозчике. Бабушка Акулина сидела внизу пролетки и охала, а Никифoryч, мрачно насупившись, поддерживал ее голову и уговаривал старуху:

— Эй, чёртова перечница! Будет уж... не скули!..

— Больно, голубчик.

— А кто виноват?

— О-ой! И деньги просыпала. Все, старая шкура, потеряла.

— Какие такие?

— Милостыню... семь копеек!

— Эка сумма! Ф-ф! — фыркнул Никифoryч в свои рыжие усы.

— Да ведь, ми-илый! у меня народ на руках... Всякая кроха в дело идет. Ой! вели ты извозчику-то потише ехать!

— Ты! — внезапно озлился Никифoryч, по-видимому, без всякой причины. — Деревня чёртова! Аль не понимаешь, что больную везешь? Пошел ровней.

Он смерил спину извозчика суровыми глазами и продолжал говорить старухе уже более мягко, чем раньше:

— «Народ на руках». Очень ты глупая старуха. И что тебе дался этот народ? На-арод! Рвань разная, жулье да девки, а она народ! Дура ты, старуха, вот что, и вредная дура,— потому портишь людей... Без тебя они, глядишь, работали бы, а ты их пичкаешь... Они рады,— бабушка Акулина, бабушка Акулина! — а сами верхом на бабушкиной шее катаются. Черти! Пороть бы их! Да и тебя заодно с ними, не балуй народ. Н-да! Эй! ты... святая душа на костылях! Уснула ты? а?..

Но бабушка Акулина, откинув голову на колено полицейского, лежала неподвижно и не отвечала ни слова. Ее лицо посинело, беззубый рот был полуоткрыт, глаза ввалились, и из-под сбитой с головы рваной серой шали выбились пряди полуседых волос, еще густых и волнистых.

«А она, должно, и впрямь расшиблась...» — догадался Никифoryч, пристально посмотрев на нее. —

А может, она это умерла? — вслух сказал он, обращаясь к извозчику.

Тот через плечо окинул нищую взглядом и кратко ответил:

— А бог ее знает! Кажись бы, нету еще.

— Верно, тепла потому. Все-таки, пожалуй, ее надо в больницу свезть.

— Н-ну! — сказал извозчик, — до дому-то ближе. Вон он, чай!

Никифорыч ничего не сказал. Извозчик поторопил лошадь:

— Ну ты! Плесень...

Бабушку Акулину привезли домой.

Не считая бабушку, лежавшую кверху лицом на приставках из досок, в маленькой, сырой и темной комнате подвального этажа народа было человек восемь. Адвокат — сивый и рваный мужчина, лет под пятьдесят, с опухшим от пьянства лицом, — сидел на столе; рядом с ним помещалась Марька Прощелыга, его сожительница, полная женщина с серыми тупыми глазами, полудиотка, которую все, кому было не лень, колотили шутки ради, на что она никогда не обижалась, но чем всегда бывала изумлена, круглыми глазами осматривая шутника, только что кончившего мять ей шею или щупать ребра. На полу сидели четверо: семнадцатилетний Ярлык, уже трижды судившийся за кражи; его учитель Мамочка, сухой и длинный оборванец с совиными круглыми зелеными глазами, в рваном халате; Петр Исаич Бух, человек, с неделю тому назад только что отбывший три месяца тюремного заключения за растрату денег у своего хозяина, представительный молодой человек в бороде и усах, с бледным нервным лицом, и Настенька.

Они играли в карты «на пустышку». Настенька держала банк и, обращая то к тому, то к другому партнеру свое довольно миловидное, но очень избитое лицо, всё в ссадинах и кровоподтеках, возглашала хриплым голосом:

— Мечу! Сколько? Тыщу рублей? Идет! Сотку? Бита! Я вас всех, миляги, обтеклешу!

Остальная публика жалась у стен в темноте, а на подмостках, в ногах у бабушки Акулины, сидел Отец Дьякон — какой-то послушник, флегматичный и громадный мужчина с большими черными глазами и с вихрастой шевелюрой, осыпавшей его крупную голову жесткими прядями черных волос, украшенных соломинками, мочалками, перьями и тому подобным мусором.

— Кабы теперь достать тертого картофеля с хлебом да к ноге-то ей и приляпать! — раздалось откуда-то от стены.

— Глина с уксусом, ежели ее в чулок напихать да к ушибу приложить, тоже хорошо действует! — заявил с пола Мамочка и громогласно высморкался.

— Водка — вот первое лекарство от всяческих немощей человеческого естества! — возгласил Отец Дьякон.

— Голубчики мои!.. — заговорила бабушка Акулина так кротко и жалобно, что в подвале сразу сделалось тихо. — Родные... внучатки... бедные вы мои головешки... Сделайте вы со мной Христа ради что-нибудь!.. прирежьте меня... приколите меня... мочушки моей больше нет!.. огнем горю живая... о-ох!..

Среди игроков произошло некоторое замешательство, все куда-то двинулись, а Настенька дважды кряду сбросила карту налево...

Отец Дьякон стал сумрачно чесать свою лохматую голову, Адвокат закашлялся и для чего-то ткнул свою соседку локтем в бок, на что та, по привычке, не обратила внимания.

Но скоро все оправились...

— Смотри, что делаешь!.. — строго сказал Ярлык Настеньке. — Мечи сначала...

Настенька со вздохом собрала карты и стала их тасовать. Адвокат поднял глаза и засвистал что-то унылое.

— Ничего, бабуся, потерпи, — заговорил Отец Дьякон и густо отхаркнулся, точно собираясь петь.

— Моченьки моей нет... Родимые детушки!.. — ныла старуха.

— Про-ойдет, не беспокойся... ты у нас бабушка крепкая... — обнадежил ее Мамочка.

— Можжит меня всю.

— Ничего не поделаешь, ты стони шибче, от этого легче бывает, боль-то обманывай криком,— посоветовал Дьякон.

— Господи! Иисусе Христе! О-ой! Что со мной будет... Умереть бы ин...

— Бита! — радостно возгласила Настенька. — Сколько бы я выиграла, ежели бы это на деньги играть.

Бабушка Акулина вдруг перестала охать и с полчаса молчала, совершенно неподвижно вытянувшись на своей постели.

— Уснула старуха! — сказал Дьякон и, подойдя к игравшим в карты, присел около них на корточки и что-то замурыкал про себя.

Адвокат нахмурил брови, слез со стола и занял место Дьякона на койке. Он пристально всмотрелся в лицо бабушки и хрипло подтвердил:

— Верно... Спит!..

Но он ошибся.

Бабушка открыла свой беззубый рот, с сожалением почмокала губами и жалобно заныла:

— Никифорыч, друг! собери милостыню-то, Христа ради... ведь ждут ее люди... И семь копеек найди, тут они, тут, шарь около забора-то... два семишника... один старый, другой поновее... Батюшка-барин! Убо-о-гой старухе на хлеб копеечку по-одайте! Семья у меня. Детушки! вон он, кузовок-то... кушайте, много его сегодня... хлеба-то. А на выпивку нет! Тюх! не подают деньгами-то... уж разве за всенощной.

Л-ларийон мой дорогой!  
В-выходи гулять со мной,  
Я девчонка молода  
На мо-орозе жду тебя...

Голос у старухи порвался, и она заметалась из стороны в сторону, дрыгая здоровой ногой и приговаривая в такт движениям:

— Тюх! Тюх! Тюх!

— Бредит... — сказал Адвокат, почесывая переносицу.

Игравшие в карты все встали с пола и столпились около больной, с любопытными улыбками разглядывая ее.

— Ишь ты, пляшет! — догадался Ярлык и захохотал.

— Запляшешь, — хмуро протянул Адвокат. — А надо нам, братцы мои, чего-нибудь с ней сделать, она, видно, и в самом деле захворала.

— Водки бы ей дать. Этакой солидный стакашек, — со вздохом заявил Дьякон, облизывая губы.

— В больницу отправить, — сухо кинул Мамочка, отходя от койки.

— Так ее и примут, держи карман шире... — скептически усмехнулся кто-то.

— Это верно, бумаг нет... и, тоже, как отправить? Извозчика надо... и прочее, а деньги? — подтвердил Адвокат.

— А ежели, как прошлый раз Федяшку, — отвезть ее к больнице, да и подбросить там... небось, так-то примут! — предложила Настенька.

— Отвези... Ты бы лошадь была хорошая, жаль вот пролетки нет, — съехидничал Ярлык.

— Детушки мои, кушайте! пирог там есть с капустой, целый он, грешница... с лотка я его сперла, он загляделся, а я... Никифорыч! не бей ты меня, старую пьяницу...

— Эх ты, старуха! — вздохнул Адвокат.

— Есть-то как? Имеем? — раздался голос из угла каморки.

— А и впрямь, поесть бы! — поддержал Мамочка.

— Где старухина торбочка? — спросил Ярлык у Настеньки.

Стали искать торбочку и не нашли.

Это обстоятельство произвело на всех неприятное впечатление.

— Эх, чёрт! — выругался кто-то.

Переглянулись друг с другом и замолчали все, думая, очевидно, об одном и том же.

— Как же мы теперь, братцы мои, питаться будем, ежели старуха-то того? — жалким голосом спросил Дьякон. Молчание прервалось.

— Н-да-а?

— И вправду?

— Ведь ежели говорить начистоту, — старухиной милостыней мы живы-то были!

— Ну, теперь надо будет самим о себе заботиться: старуху заездили, — сурово произнес Адвокат.

И все съежились и потемнели.

— Кушайте, детушки, пока я жива... я вас... — бредила бабушка Акулина.

А ее почтенные внуки чувствовали себя весьма смущенными развернувшимся перед ними истинным смыслом события.

Бабушка Акулина была филантропкой Задней Мокрой улицы. Она собирала милостыню, а в виде подсобного промысла иногда, при удобном случае, немножко воровала. Около нее всегда ютилось человек пятьдесят «внучат», и она всегда ухитрялась всех их напоить и накормить. «Внучатами» являлись самые отчаянные пропойцы-босяки, воры и проститутки, временно, по разным причинам, лишённые возможности заниматься своим ремеслом.

Бабушка Акулина не умела делить людей на достойных и не достойных ее внимания и одинаково тепло и радушно относилась ко всякому, кого судьба толкала в ее землянку.

Вся улица знала ее, и слава о ней выходила далеко за пределы улицы. Но все-таки, на языке босых и загнанных людей, «попасть во внучата» значило дойти до самого печального положения; поэтому бабушка Акулина как бы знаменовала собой крайнюю ступень неудобств жизни и, пользуясь большой известностью за свою филантропическую деятельность, не пользовалась любовью со стороны опекаемых ею людей.

Пребывание около нее имело еще и очень крупное неудобство, — она слишком хорошо была известна полиции, и, когда последняя искала какого-нибудь интересующего ее субъекта, она почти всегда начинала поиски с землянки бабушки Акулины. Те из босяков, которые еще могли как-нибудь перебиваться, сторони-

лись от бабушки, и только самое отчаянное стечение обстоятельств и перспектива голодной смерти загоняли к ней людей.

Ко всему этому, бабушка Акулина имела крайне отталкивающую наружность. Низенькая, всегда почти полупьяная, в невероятно рваных и грязных лохмотьях, с морщинистым и обезображенным шрамами от разных увечий, нанесенных ей ее же «внуками», лицом, среди которого возвышался разбухший багровый нос, и красными слезящимися глазами, — она, по справедливости, заслужила эпитет «киевской ведьмы», который давным-давно укоренился за ней в улице. Когда она шла по улице, согнутая временем в дугу, стучая в панель своей палкой, вечно улыбаясь беззубым черным ртом и о чем-то скрипуче разговаривая сама с собой, она представляла собой отвратительный ком живой пахучей грязи. Да, она никак уже не могла надеяться возбудить к себе симпатию. И при всем этом старуха, к несчастью, которого она, может быть, не чувствовала, не могла жить без людей около себя, и если иногда судьба не загоняла к ней «внучат», — бабушка Акулина старалась исправить этот недосмотр судьбы и сама затаскивала к себе всех, кого могла.

В мире «отбросов общества» — в этом печальном и грустном мире — есть свои отвергнутые, и бабушка Акулина принадлежала к последней категории их.

— Вот так фунт с походом! — воскликнул Ярлык, разрешая общее напряженное молчание.

— Дела наши — табак! — сказал Дьякон.

А Адвокат мрачно подтвердил:

— Последнего приюта мы лишились!

— Н-ну, приют-то останется за нами, — успокоительно протянул Мамочка. — А как и чем мы сегодня будем питаться, — вот это штука.

— Н-да, на сей день мы лишены пищи, — грустно проговорил Дьякон.

— Попищишь, попищишь, да с пустым брюхом и ляжешь! — сострил Ярлык.

— Детушки... водицы бы! — открыв глаза, прошептала больная...

Настенька дала ей воды. Старуха напилась, перекрестилась дрожащей рукой и обвела всех глазами. Потом она тяжело вздохнула и странно двинула головой по куче тряпья, на которой она лежала.

— Господи, сколько вас! — заговорила она своим скрипучим голосом, дрожащим от слабости и еще более неприятным поэтому. — Того вон я не знаю... кто это ты?

— Я — Бух...

— Ну, Бух, так Бух, бог с тобой... всё равно человек. Все мы люди одинаковые. А я вот умираю, братцыньки... Умираю — старуха, господь с вами! Жила, грешила, пьянствовала, воровала... Вот умру и ничего такого больше не буду делать...

— Это ты правильно, — мертвому человеку, должно быть, и выпить никогда не хочется, — шутливо подтвердил Дьякон.

С возвращением к бабушке сознания к нему возвратилась надежда на возможность чего-нибудь поест сегодня.

— Ничего не хочется, да! А вы простите меня... И вас всех господь простит. Не любили вы меня, старуху, ну, это ваше дело. Я любила вас, ей-богу!.. Прощайте, спаси вас царица небесная!

Старуха снова перекрестилась.

— Ну, это ты, баушка, брось! — хмуро сказал Адвокат. — Поднимешься... полежишь и встанешь...

— Нет, уже не встану. Вся как есть разбилась, — видно, печенки отбила. Вон как горю... Прощайте!

— Бабка! — остановил ее Мамочка, — брось-ка ты это, — лучше вот что скажи: ты собрала сегодня чего?

— Я-то? Отшибло память, не помню. Кажись, собрала... Как, чай, не собрать? Всегда ведь собирала...

— А куда оно делось? — осведомился Дьякон.

— Не знаю... Кто меня поднял? Никифорыч? У него, поди...

— Добеги-ка, Настенька, узнай.

— Пойду я на улицу с такой-то битой рожей!

— Я те швырну, так ты полетишь, а не пойдешь!

— Дьявол!

— Не ругайтесь, дети... не нужно... дайте мне другие какие слова услышать... Умираю ведь... поверьте — умираю... Вот что, детушки: в головах у меня в коробочке трешна есть бумажкой... Так это я на гроб себе... припасла... Выньте... как помру я... и...

Она задыхалась,— и на лбу у нее выступил пот.

Публика молчала, пристально и сосредоточенно рассматривая ее, и это молчание продолжалось минуты две.

— Бабушка Акулина...— глухо начал Дьякон.

— А?

— Вот что, ты не обижайся на меня. Только я скажу... вот что,— мертвому человеку всё равно... он ничего не хочет, а мы живые. Тебе что? Ты в гробу или без гробу... всё равно; гроб-то всегда от полиции будет. Ты дай-ка нам треху-то,— мы бы поели.

— Не надо... что ты? — шепнул Адвокат.

Дьякон посмотрел на остальную публику.

Она ждала конца его предприятия,— жадно ждала, он видел это.

— Нам-то тоже, что ли, помирать? — шёпотом же ответил Дьякон и, наклонясь к старухе, спросил: — Как же? Возьмем мы?

Бабушка Акулина раскрыла рот, почавкала губами и еле слышно проговорила:

— Берите, берите, дура я старая... Ишь ведь, перед смертью-то забыла про вас было... берите... вот тут... Конечно... гроб от полиции... дура.

И замолчала.

— Ярлык! Лети! Духом! — торжествующе шептал Дьякон, выволакивая из-под изголовья белую аптечную коробочку с трешницей.

Ярлык сделал гримасу и исчез.

— Отойдем от нее, братцы, надо покой дать человеку,— предложил публике догадливый Дьякон.

Публика отхлынула от бабушки Акулины. Она осталась одна на куче тряпок. Ее серое лицо ярче выделялось на их фоне. Лежала она неподвижно и лишь иногда слабо стонала.

Никто не заметил, когда именно она умерла.

А хоронили ее на другой день. Гроб стоял на телеге, извозчик без шапки шел рядом с телегой и протестующе говорил, обращаясь к Никифору, шагавшему с разносной книгой в руках по другую сторону катафалка бабушки Акулины:

— Говорю я правду. Али это порядок? Хвать человека — вези! На, везу! А кто мне рубль додаст? А-а?! Я бы работал на хлебном базаре за полтора рубля, — а здесь мне полтину сунут. А опосля-то не попадешь. На сколько время проваландаюсь с вами? А мне на полтину-то лошадь не прокормить, — вот оно что, друг.

Но Никифорыч не обращал внимания на воркотню извозчика. Рядом с ним, старым солдатом, выдавшим виды на своем веку, шел Адвокат, согнувшись в три погибели, без шапки, с завязанными грязной тряпкой ушами и засунув руки глубоко в рукава какой-то рваной кацавейки. Никифорыч внушительно говорил ему:

— Старуха была для вас, чертей, — мать. Зашибала она, но это ничего. Воровала — опять для вас. Видишь? И вот я ее провожаю и ты. И, если бы меня не послали, выпросился бы и пошел проводить старуху. Понял? Я, брат, людей вот как вижу — насквозь. Н-да. А вот ты умрешь, а умрешь ты ско-оро, брат. Уж меня не обманешь, нет, я по роже вижу: скоро ты умрешь! Но тебя я провожать не пойду, коли меня не пошлют. Ни-ни! Потому, что ты такое? Плесень.

Адвокат вскинул свои бесцветные глаза на Никифору и криво улыбнулся.

— Мне не надо, не ходи...

— И не пойду. И поезжай ты в могилу один.

— Ну так что? И поеду.

— И поедешь, — потому, что ты есть? А старуха была мать вам... Сердце у ней было. Понял?

Была оттепель, шел снег.

Крупными, тяжелыми и мокрыми хлопьями он падал на гроб бабушки Акулины, и весь этот простой, сосновый некрашенный гроб был мокр от снега, таявшего на нем.

Так-то вот хоронили бабушку Акулину, воровку, нищую и филантропку Задней Мокрой улицы.

## ИЗВОЗЧИК

### СВЯТОЧНЫЙ РАССКАЗ

Предпраздничная сутолока, дни всеобщей чистки, мытья и расходов — масса мелких расходов к сочельнику, почти дочиста опустошающих карман человека, живущего на жалованье, — эти два-три дня сильно расстроили и без того не особенно крепкие нервы Павла Николаевича. Проснувшись утром в сочельник, он чувствовал себя совсем больным и полным острого раздражения против всех этих условностей жизни, превращающих праздник, время отдыха, в какую-то бестолковую суету, против жены, придававшей этой суете значение чего-то необыкновенно важного, против детей, отчаянно шумевших без призора над ними, прислуги, утомленной, озабоченной и ничего не делавшей так, как бы следовало.

Он хотел бы стоять вне всей этой «идиотской толкотни», но такая характеристика времени вызвала ссору с женой, и, чтобы успокоить ее и себя, он принужден был вмешаться в события: его откомандировали в магазин, потом на базар за елкой для детей, потом в оранжерею за цветами для стола, и наконец, к пяти часам вечера, сильно утомленный, плохо пообедавший, с тупой тоской на душе, он получил возможность отдохнуть. Плотно затворив за собой двери, он забрался в спальню, лег там на кровать жены и, закинув руки за голову, стал пристально, ни о чем не думая, смотреть в потолок.

В чистенькой и уютной спальне царил мягкий сумрак от зажженной пред образом лампы, на пол и стены падали мягкие тени, падали и колебались. С улицы доносился шум полозьев по снегу, какие-то крики, стуки, но всё это звучало мягко, убаюкивающе.

— Ах, Коля! Отстань ради бога!

«Это жена кричит на сынишку, он, наверное, ни в чем не виноват, но она устала, и он платится за это. Воспитание детей! Глупо говорить о воспитании детей, если мы сами еще не воспитаны», — подумал Павел Николаевич.

«Я давеча тоже накричал на нее... Свинство! Впрочем, она поймет, что это болезненное раздражение, не больше. Она мирится с тем, что я нервничаю. Вполне естественно нервничать, когда положение так незавидно. Жить, вечно работая для того, чтобы достать в месяц сотню рублей, оставляющих неудовлетворенными более сотни твоих потребностей, да еще уметь быть здоровым при такой жизни, — это не по силам современному человеку. Терпение хорошо, когда есть надежды на лучшее будущее. И как всё это глупо, мелко, пошло! А между тем вся жизнь в этих мелочах. Работаешь для того, чтобы есть, и ешь для того, чтобы завтра снова работать. Семья. Кто-то предлагал законодательным путем запретить жениться беднякам. Несомненно, что это был сострадательный человек. Что я, с моим заработком, могу дать семье? Ни сноской в смысле удобств жизни жене, ни достаточно хорошего воспитания детям. Глупо всё! И непоправимо глупо, ибо сумма потребностей человека переросла сумму его сил. Это не исправить распределением богатства без того, чтобы не выбросить из жизни нашего брата нейрастеника. Зачем это я философствую? Вот тоже милая культурная привычка, что-то вроде пьянства по ее воздействию на организм!..»

Он повернулся на бок, поправил подушку под головой и, крест-накрест положив ладони рук на плечи, закрыл глаза.

Ему вспомнился разговор с извозчиком, который вез его давеча с базара. Это был обтерханный, хлипкий мужичонка, какой-то несчастный, унылый, разбитый.

— Али я такой мизгирь был год-другой тому назад? Эх ты! Куда те! Я в дворниках в ту пору жил у одной купчихи, у Заметовой. Слыхали? У нее, значит. Житье было очень даже приятное. Подручный был, работы мало. Ну, я у безделья и задумался... Над чем? А так,

вопче... надо всем... Рази, ежели правильным-то глазом посмотреть на жизнь, — не задумаешься? Дьявол, первое дело. Чуть ты что — а он тебя своим духом и опахнул. Ну, ты сейчас, первое дело, точку свою и потеряешь, с линии, значит, сшибешься, и пошел колобродить. Будто чего ищешь; а чего искать? Первое дело — себя самого надо найти, свое, значит, приспособление к жизни. Нашел ты это — ну и здравствуй. Так-то.

— Купчиха эта, верно, скупающая. Но и деньжищев у нее — страхи! Ужаси! Накопила, дьявол. Капитолина Петровна звать-то ее. А куда вот накопила? Спросите ее — не скажет. Не знат, ей-ей, не знат! Умрет ведь, как все люди; уж это первое дело! А рази для смерти-то деньжищи требуются? Очень даже маленько для смерти человеческой нужно! Так-то, сударь мой?

— Чево-с? Так точно... Сродственников у ней нет. Одна как перст. Как сова в дупле, в своем-то дому. Прислуга вся у нее — трое. Кучер да я, дворник, значит, да Маришка такая есть; злющая стерва — в кухарках... Только всего! Гостят там и разные монашки, странницы и прочие эдакие народы. И как только они ее не придушат однажды — богу известно. А надо бы ее придушить, — потому как она совсем бесполезная тварь для господа. Но его воля, и ему это знать. Мы не судьи. А что сохранно живет, это даже очень удивительно. Одна ведь, судите сами! Хлясть ее по чувствительному месту разок и — твои капиталы. Надо думать, кто-нибудь догадается про это. Счастлив будет, коли умно сделает! Ну, но, ты, трясогузица!

Извозчик болтал, чмокал на лошадь, ерзал по облучку и то и дело оборачивал к Павлу Николаевичу свое маленькое, опухшее от пьянства лицо. Глаза у него были серенькие, живые, с красными воспаленными веками, нос, как луковица, и на обеих щеках сине-багровые пятна от мороза.

— Здорово я пил водку! — восхищенно восклицал он и улыбался во всю рожу от сознания своего удалства.

Павлу Николаевичу казалось, что этот мозглявый философ, мужичонка, где-то тут близко от него, и он

ощутил беспокойство от сознания этой близости. Извозчик как бы мешал чему-то. Но это беспокойство, смутное и неопределенное, заставило его только глубже сунуть голову в подушку и поежиться.

— Баба старая уж, много ли ей надо? Долбануть ее разик — она и готова! — говорил извозчик.

— Ну вот, возьми и долбани! Убирайся! — сказал Павел Николаевич, раздражаясь.

— Я не могу. А ты сам — вот это так! Ты барин умный, значит, тебе это сручней.

— Пошел вон! Чего ты прилез и мелешь ерунду? Я ведь заплатил! — крикнул Павел Николаевич.

— Точно что, — спокойно сказал извозчик. — Я уйду, не сердись. Я для тебя ведь больше. Дело очень даже простое и совсем уж верное. Ты это обмозгуй. Куда она? Подумай... Совсем ни к чему она. А ты человек живой. Средств у тебя нет. А тут сразу ее!

— Хорошо, ступай! Я усну вот немного, — сказал Павел Николаевич просто и спокойно.

— Ну, ну, усни, отдохни. Это хорошо. Прощай.

И извозчик исчез.

— Он не глуп, — сказал Павел Николаевич, садясь на постель. — Да, он прав. Я не Раскольников, не идеалист. Дело верное. Ставка рискованная, но выигрыш велик. О, если бы мне даже десять тысяч... Я сумел бы на них жить! Независимость — вот что такое деньги. Свобода-а! Разве я не хочу свободы? А удовольствия? Это ведь иллюзия того, что зовут счастьем и что незнакомо никому. И всё это я беру одним ударом. Моя ставка — жизнь плохая, серая, скучная, выигрыш — жизнь независимая, богатая, полная всего, чем я захочу ее наполнить. Мучения совести? Это пустяки, это фантазия. Совесть — это едва ли ощутимо, едва ли есть. Да что мне думать об этом, раз я решил, как поступить.

Когда он решил, он не заметил этого, это вышло как-то между дум, но он всем своим существом чувствовал, что уже решил, и бесповоротно.

— Как мне это сделать? — задал он себе вопрос. И тотчас же оттолкнул его прочь от себя.

— Нет, не надо обдумывать, ничего не надо. Пусть

это удастся сразу или не удастся совсем. Сразу, без думы — это лучше. Сейчас же начинать!

Он ощутил в себе страшный прилив энергии, энергии спокойной, уверенной в успехе предприятия, готовой на борьбу со всевозможными препятствиями. И, готовый к делу, он встал с постели, потянулся, напрягая мускулы рук, и озабоченно посмотрел вокруг себя.

— Однако чем бы мне ее убить? Тем топориком, которым колют сахар? Легко. Утюгом? Завернутым в полотенце утюгом! Да, да, это очень удобно. Я читал где-то. Прекрасный способ. Мне нужно выйти так, чтоб меня не заметили. Утюг я возьму на окне в прихожей. Еще нужен ридикюль или какой-нибудь мешочек для денег. Это есть у жены. Она наверное стала бы отговаривать меня, знай она, что я решил. Гм... Это так. Но общепринятые точки зрения не могут удержать меня, человека, с такой энергией и с таким светлым духом берущегося за дело, с этих точек зрения — преступное. Человек — мера всему; первый раз я сознал это и сознал так ясно. Из всех философов только софисты назвались мудрецами, и одни они имели на это право. Да, человек — мера всему. Законы во мне, а не вне меня. Я не колеблюсь — значит, я прав. Иду. Это любопытно, помимо всего прочего. Но что так переродило меня? Поистине, никто из нас не знает, что будет с ним в следующую за этой минуту жизни!

Перед дверью купчихи Заметовой Павел Николаевич остановился и пристально посмотрел на фасад дома. Двухэтажный, старый, с облезшей штукатуркой, дом равнодушно смотрел своими четырьмя окнами на улицу и на человека перед ним. А человек стоял и думал:

«Как всё это будет — ужасно любопытно. Меня могут схватить, и тогда всё будет так глупо и так жалко. В сущности, я на пороге к новой жизни. Кто мне отперет дверь, что мне делать с ним? Ага, конечно. Это будет пробой, первым уроком».

И он сильно дернул ручку звонка, после чего его сердце как бы перестало биться в ожидании будущей минуты. Минут прошло много, пока за дверью не слышались шаги и звонкий голос спросил:

— Кто там?

«Это кухарка Маришка», — сообразил Павел Николаевич и ошупал под полой своего пальто оружие.

— Сосипатра Андреевна дома?

— Дома. А вы кто?

— Скажите... из... от Бирюкова, — вспомнил Павел Николаевич фамилию хозяина лучшего гастрономического магазина в городе.

Щелкнул ключ, дверь отворилась, и перед Павлом Николаевичем встала молоденькая девушка с черненькими живыми глазками. Это его обескуражило.

— А разве Марины нет дома? — спросил он, не переступая порога.

— Она в баню пошла. Проходи, — сказала девушка, еще шире растворяя дверь и доверчиво рассматривая лицо гостя.

— А! — задумчиво сказал Павел Николаевич, покусывая свою бороду, — знаете, это очень жаль. Вы такая молодая и... пожалуй, я ворочусь!

— Да господи! Разве не всё равно? — воскликнула девушка, широко открывая глаза.

— Всё равно, вы говорите? Гм! А, пожалуй, вы правы. Хорошо, я иду дальше. Заприте дверь.

— Сейчас запрю; не так же оставлю, — усмехнулась она, и снова щелкнул ключ и загремел какой-то железный крюк.

Девушка наклонилась к ногам Павла Николаевича, желая помочь ему снять калоши, и в этот момент он, высоко взмахнув утюгом, с силой опустил его на ее затылок. Удар был верен и прозвучал так тупо. Девушка глубоко вздохнула, ткнулась лицом в пол и вытянулась на нем. Павел Николаевич слышал, как что-то треснуло и потом еще что-то металлическое покатилося по полу.

«Это, должно быть, у нее пуговица от корсажа оторвалась, — подумал он, глядя на стройное тело, лежавшее у его ног в складках розового ситца. — Однако я ведь убил человека. Это не трудно и не страшно. А говорят и пишут, что убить... Ха-ха-ха! Сколько лишнего на свете, сколько лжи! И для чего лгут, говоря о благородстве человека? Для того, чтобы сделать его благородным посредством этой лжи».

— Аннушка, кто пришел? — раздался сверху женский голос, сухой и твердый.

— Это я! — быстро ответил Павел Николаевич и пошел вверх, шагая по две ступеньки.

— Что вам угодно, батюшка?

Наверху лестницы стояла высокая и худая старуха в темном платье, с длинным костлявым лицом и длинной же шеей. Она несколько наклонилась вперед, пылливо всматриваясь в идущего к ней человека.

«А уют-то я оставил внизу!» — и на мгновение Павел Николаевич замер на месте. Это не укрылось от взгляда Заметовой.

— Что вам угодно? — громче, чем в первый раз, спросила она и отступила шага два назад. Сзади нее было зеркало, и Павел Николаевич видел шею Заметовой сзади.

— Я от Бирюкова! — сказал он, усмехаясь чему-то и идя на старуху.

— Постой, постой! — произнесла она, простирая обе свои руки.

Павел Николаевич развел их так, что они охватили его бока, и быстро схватил старуху за горло.

— От Бирюкова! — повторил он, глубоко втискивая в ее шею свои пальцы и нащупывая под кожей позвонки. Старуха хрипела и цапалась за его пиджак то на груди, то с боков. Лицо у нее посинело и вздулось, изо рта вываливался смешно болтавшийся язык. Своими локтями он сжал ей плечи, и она не могла достать костлявыми пальцами до его головы и лица, но пыталась сделать это. Ей удалось наконец схватить его за ворот — из рубашки у него вылетел запонок и покатился по лестнице.

«Улика, — мелькнуло у него в голове, — надо найти».

Старуха уже шаталась, но всё еще боролась, толкая его своими коленями и разрывая на нем платье.

— Перестаньте! — вскричал он повелительно и громко, чувствуя ее ногти на коже своей груди, и, крикнув, он сильно стиснул руками ее горло. Она зашаталась и рухнула на пол, увлекая за собой и его. Он свалился на нее и чувствовал предсмертный трепет старческого тела. Затем, когда ему показалось, что она

мертва, он разжал свои руки, освободил ее шею и, отирая с лица пот, сел на полу рядом с нею. Он чувствовал себя усталым и раздраженным чем-то — не злым, не зверем, но именно раздраженным и только. Старуха не двигалась, лежа в изломанной позе. Павел Николаевич смотрел на нее и не чувствовал ничего: ни жалости, ни боязни, ни омерзения к трупу. Он был совершенно равнодушен. Он сидел и думал:

«Однако как легко люди умирают, и как им мало для этого надо. Удар куском железа, и человека нет. Всё — смысл, слово, движение — исчезает от грубо ясной причины — и всё это само по себе так неясно. Скверно умирать. И стоит ли жить для того, чтобы умереть в конце концов; стоит для этого делать что-либо — убивать, например? Глупо и пошло! Ну, зачем я всё это сделал? Я уйду, чёрт с ними, с деньгами! Это всё проклятый извозчик».

— А! Ты здесь?

Он действительно был тут; он сидел на перилах лестницы, побалтывая в воздухе ногами и с любопытством смотрел на Павла Николаевича. В одной руке у него был кнут, другой он держался за перила.

— Мы давно здесь! — сказал он спокойно. — Управился с делами-то?

— Скотина ты, зверь! Спрашиваешь ты о чем... Ведь я людей убил! Хочешь — я и тебя убью? Ты хоть заслуживаешь этого, зверь! — возмущался Павел Николаевич.

— Что ты убил людей — это верно. Но сердиться на меня за это не надо. Ведь тебе их не жалко?

— Нет, но все-таки.

— Коли тебе их не жалко — так и говорить не о чем. Да потом, чего жалеть мертвых? Живых бы — другое дело. Живой человек достоин жалости. Это так.

— Ну, ты не философствуй! — сурово сказал Павел Николаевич. — Ты уходи, и я уйду. Глупо всё это.

— А деньги-то? Деньги возьми! Возьми, попробуй. Может, ты с деньгами-то и счастье найдешь твое. Деньги надо взять, за этим ты и пришел сюда.

— Да-а! Это верно. Я возьму.

Павел Николаевич, сидя на полу, схватил голову руками и покачнулся. Одна мысль поразила его.

— Как же это я так равнодушен, я — убийца? Ведь я убил сейчас людей — лишил их жизни? Как же это? Где же мои чувства? Совесть? Разве во мне нет закона? Никакого внутреннего закона? Что же это такое? Извозчик, что ты со мной сделал? Ведь я совершенно равнодушен, а? Пойми же, я — равнодушен!

Извозчик хладнокровно сплюнул в сторону и ударил себя кнутовищем по колену. Потом он посвистал, пристально оглядев Павла Николаевича. Он тоже был совершенно равнодушен. И еще лежал на полу труп задушенной старухи. Павел Николаевич почувствовал не ужас от присутствия смерти около себя и от мертвого равнодушия извозчика и от того, что все чувства в нем самом тоже замерли, — нет, его охватила тупая леденящая душу тоска, только тоска! Ему захотелось закрыть глаза и вытянуться на полу так же, как мертвая женщина. Она хотя и была задушена им, но он чувствовал ее как бы сильнее себя. И он никак не мог взглянуть в лицо извозчика, который всё что-то насвистывал такое грустное и в то же время насмешливое. Вот он перестал свистать и заговорил.

— Это ты напрасно жалобные-то слова говоришь. Я в них не верю... Да, брат. А что ты равнодушен, это я знаю. Чего тебе беспокоиться чувствами? Причины нет к тому. Убил ты, это точно. Так ведь сразу убил. И это хорошо по нынешним временам. Без терзаний разных, ахнул — и готово. Медленно, с прохладцей убивать — это действительно подлость, ежели по совести говорить. А сразу — ничего! Кабы человек говорить мог после смерти, он тебе спасибо бы за это сказал. Потому все-таки облегчение ты ему сделал, сразу угомонил. А ты бы об живых подумал. Сколько народу через тебя, через каждого из нас медленными муками умирают? Жены наши... Али мы их не мучим? Друзья... Али мы их не терзаем? Всякие разные люди, которые около нас толкаются... Али они от нас мук не принимают? И всё ты это видишь, и всему этому ты препон не кладешь. Ну и загрубел ты в этой жизни, оравнодушел. Это я понимаю.

— Что ты такое говоришь? — тихо спросил Павел Николаевич, перебивая странную речь извозчика.

— Дело говорю. Посмотри чистым глазом на жизнь-то. Какой в ней есть порядок? Никакого уважения у человека к человеку нет. Жалости друг к другу тоже нет. Никто никому не спомогает жить-то. Свалка идет за кусок, и все мы грыземся. Дележу правильного нет, любви нет. Ты — человек, а прочие все до тебя не относятся? Ну и что? Вокруг-от нас с тобой сотни и тысячи гибелью гибнут... И все мы это видим, и все мы это за порядок принимаем. Чего же? Коли это возможно, — и убивать возможно, была бы сила в руке. Конечно, опасно убивать, потому судят за это, но ежели бы не судили, то мы очень даже свободно стали бы друг друга убивать. Потому, хоть спинжаки на нас и модные, но все мы притворяемся больше хорошими людьми, а сердца-то у нас каменные. И никакого в нас закона нет. Поодаль нас законы-то, а в сердцах мы их не носим. Чего же ты захилел? Переступил ты закон, смог это — значит, ты себе верен. Ум у тебя есть, суда — ты убежишь, изловчишься скрыться от него. А людей ты и раньше не жалел. Потому, если бы ты их жалел, рази бы они так трудно жили? Вона! Чай, ты облегчал бы им судьбу-то из жалости. А не облегчаешь, так вот прекращаешь ее. Нет в тебе самом никакого запрету — и нечего толковать. Пустые слова одни. Снаружи тебя ничем не свяжешь, коли в нутре у тебя разнузданность. Перед самим собой не умеешь стыдиться; люди тебе ни почем. Так-то. Ну и действуй как хошь.

— Ты осуждаешь меня? — спросил Павел Николаевич.

— Мне что! Али это мое дело? Я ведь тоже человек, как и ты. Чего я тебя буду осуждать, коли и во мне закону нет.

— Что же мне теперь делать? — задумчиво спросил Павел Николаевич.

— Додельвай уж, что начал, — всё равно!

И вдруг извозчик исчез куда-то.

Павел Николаевич глубоко вздохнул и поглядел вокруг себя. Рядом с ним лежал труп старухи, внизу лестницы труп девочки.

По лестнице был разостлан красный ковер с черными каймами. Где-то далеко, во внутренних комнатах, звенела канарейка. Павел Николаевич встал с пола и громко спросил:

— Это сон?

По комнатам прокатился гул, но никто ничего не ответил ему. Он пошел вперед по коридору и в дверь одной комнаты увидал кровать.

— Это спальня старухи. Здесь деньги. Возьму деньги. Всё равно! — вслух сказал он.

Под кроватью стояла старинная низенькая укладка. Павел Николаевич, как вошел в комнату, тотчас же увидал угол укладки, высывавшийся из-под простыни. Он наклонился, выдвинул ее, — она была заперта, но ключ был тут же. Павел Николаевич отпер ее, причем замок звучно зазвенел.

Укладка была до верха полна денег, и Павел Николаевич стал их аккуратно переключивать в свой ридикюль. Потом он насовал их себе в карманы. Они были такие тяжелые, эти пачки кредитных бумажек. Он долго рылся в них, и их много осталось в укладке, но он без малейшего сожаления закрыл ее крышку.

Потом он вышел из комнаты, спустился с лестницы, равнодушно пройдя мимо двух трупов, и вышел на улицу.

Улица была пуста, шел снег, и дул сильный ветер. Но Павел Николаевич не чувствовал холода, медленно шел и всё думал — почему это он так много пережил и ничего не чувствовал?

...Восемь лет прошло со дня поступка Павла Николаевича.

Его старшему сыну Коле уже минуло девятнадцать лет, одна дочь была невестой, другая обещала через год стать ею, жена Павла Николаевича превратилась из нервной женщины, вечно обремененной заботами о хозяйстве и детях, в солидную даму-филантропку, а сам Павел Николаевич пользовался общим почетом в городе и был первым кандидатом в городские головы.

Деньги старухи пошли ему впрок — он умно распорядился ими. Не боясь ничего, жил покойно, почетно, много работал. Но его характер, простой и общительный, — стал портиться, по общему замечанию знакомых. Павел Николаевич перерождался из нервного, искреннего человека — в человека необщительного, задумчивого, вечно занятого какой-то одной мыслью.

Не угрызения совести терзали его душу, нет, он никогда не давал себе отчета в том, что сделал, — но его со дня убийства старухи подавлял вопрос:

«Есть во мне внутренний закон или нет?»

Чем более удачно укладывалась его жизнь, тем более сильно давил его душу этот вопрос. В день рождества Христова, восемь лет тому назад, весь город говорил о таинственном убийстве старухи и дочери, и Павел Николаевич, оживленно вступая со всеми в разговоры по этому поводу, зорко следил за собой, ожидая, что вот-вот в нем шевельнется страх или раскаяние. Но таких чувств не зарождалось в его душе, и тогда он спрашивал себя:

— Да неужели же во мне <нет> закона, который принудил бы меня почувствовать себя преступником?

Очевидно, что такого закона не было в его душе. Но он не мог забыть о том, что человеку свойственны такие ощущения, как угрызения совести, раскаяние, сознание своей преступности, и всё искал их в себе, — искал, не находил и холодно удивлялся сам себе.

«Куда же всё это исчезло из меня?..»

И жизнь казалась ему странной — не то бредом, не то фантастической жизнью человека, у которого умерло сердце.

Однажды, когда он задал себе вопрос о том, куда исчезли из него человеческие чувства, — пред ним внезапно появился извозчик.

Он был всё такой же замухрышка, как и раньше, и такой же равнодушный философ; время не действовало на его обтерханную фигуру, не положило заплат на его рванный азям и не увеличило количество дыр на этом азяме. Он появился в кабинете Павла Николаевича, сел на ручку кресла, сдвинул концом кнутовища шапку набок и, поглядев на своего седока, вздохнул.

— Это откуда? — усмехнулся Павел Николаевич. Ему казалось только забавным это неожиданное и таинственное появление извозчика. Это нисколько не смущало и не пугало его.

— Я-то? Я из разных мест... — равнодушно ответил извозчик. — Живешь?

— Живу, как видишь. А ты кто, чёрт или Агасфер? — снова усмехнулся Павел Николаевич.

— Зачем? Так я, просто себе... творение. Ну, как — закону-то не нашел в себе? Ищешь всё?

— Ищу, — уже вздохнув, ответил Павел Николаевич. — Ищу, брат, но не нахожу... Странно это, да?

— Очень даже просто, — сказал извозчик. — И не ищи — не найдешь. Изжил ты законы-то.

— Да почему? — воскликнул Павел Николаевич.

— А потому, что не применял. Не пускал его в ход, в дело. Всё больше рассуждал — какой закон лучше, да так ни одного себе в сердце-то и не вкоренил. Ну, а жизнь-то тебя давила и всё из тебя выдавила. И вот ты дошел до того, что не только равнодушно смотришь на смерть вокруг тебя, но и сам спокойно убил и спокойно рассуждаешь, зачем убил. Видишь ты вокруг себя одну мерзость, и скверну, и тьму, а в самом тебе никакого свету не возжег господь. То есть господь-то возжег, да ты его погасил, мудрствуя лукаво. Ну, и отсохло у тебя сердце и все лучшие чувства с ним. И стал ты как дерево.

— Стой, ты врешь! Я действую. Я тружусь...

— А для че? Можешь и бросить всё да так столбом и стоять в жизни-то. Тебе ведь всё равно. Разве твоя работа — истинно есть работа? Поди ты! Ты не от сердца делаешь свои дела, а с точки зрения всё.

— Как это с точки зрения? — изумился Павел Николаевич.

— Как? Не понимаешь ты будто! У вас тут есть разные точки зрения — на этом месте одна, на этом другая. Вот коли ты городским головой будешь, для этого места есть своя точка зрения, а полицеймейстером сделаешься — другая... Тебе главное, чтобы почет был, чтобы отвечать той точке зрения, с которой на тебя товарищи привыкли смотреть. А огнем ты никаким не

пылаешь — делаешь свои дела по мерке да по обязанности. Так ли?

— Пожалуй... Но почему это я такой?

— А ты подумай...

— Ведь я — как мертвый, поистине говоря.

— А то как же? И в самом деле — мертвый.

— Что же со мной будет?

— Умрешь, время придет.

— Это и все другие сделают.

— Еще бы не сделали! Само собой — сделают.

— А при жизни-то что со мной будет?

— Не зна-аю! — протянул извозчик, покачав головой. — Скверная твоя жизнь, без чувств-то, а? Не говори — знаю, скверная. Жалко тебя, паря. Да я сам тоже равнодушен к жизни-то.

— Что же делать? — задумчиво спросил Павел Николаевич.

— А я почему знаю? Кричи всем, что в тебе закону нету, авось люди услышат...

— Ну, так что?

— Ничего. Услышат — посмотрят в самих себя, может, увидят, что и в них тоже закона нет, и они все, как ты сам, такие же пустые и равнодушные к жизни. Им это на пользу.

— А я?

— А ты жертвой будешь. Это хорошо, жертвой-то быть, за это, слышь, грехи отпускаются...

И он исчез так же странно, как явился. Вдруг исчез. Но и это не поразило Павла Николаевича, как не поразило его появление извозчика. Он слишком был поглощен вопросом о том, почему этот разговор не наполнил его ничем, ни одной думы не зародил в его душе. Он слышал слова, отвечал словами — и звуки не возбуждали в нем чувств. Много в жизни вокруг него раздается разговора о жизни, о смерти, о судьбах всего живущего, о будущем и настоящем — во всех этих разговорах он сам принимает участие, но молчит его душа, отсутствует его сердце. Его не пугала, впрочем, и эта внутренняя пустота; но все-таки странно было ощущать ее в себе.

И он думал, усмехаясь:

«Бедные люди! Как они плохо знакомы друг с другом и как мало проникательны. Вот я убийца, но никто не догадывается об этом, и я пользуюсь даже почетом среди людей».

И глядя на своих семейных, любивших его, он тоже думал:

«Жалкие люди... если б вы знали!»

Но никто ничего не знал, и человек без чувств всё жил и поступал так, как будто бы у него были в груди чувства.

Так и текла его жизнь изо дня в день. Он становился всё более внутренне равнодушен к жизни, но продолжал действовать по примеру, по привычке, по обязанности. Мертвый духовно, он творил мертвые дела и знал, что они безжизненны. У него не было души, и он не мог вложить в жизнь душу. А пустота в нем всё росла и развивалась — и это становилось мучительно неловко.

С внешней стороны ему не на что было жаловаться. Его почитали и уважали, считая честным, деятельным человеком. Но это не удовлетворяло его. Все ощущения гибли в нем, как маленькие камешки, брошенные в бездонную пропасть, — прозвучат и исчезают бесследно.

— Неужели нет во мне закона? — всё чаще и чаще спрашивал он себя.

Приближался день его выборов в городские головы. Он не радовался, хотя знал, что его выберут. Откуда-то текли к нему деньги, и слава о нем, как о человеке почтенном, достигала его ушей. Но это не приносило ему с собой ничего. Ему нечем было чувствовать, нечем радоваться, нечем плакать. Люди, у которых жизнь высушила сердце, знают цену такого существования.

Не чувствовать в себе желаний — значит не жить. И Павел Николаевич иногда говорит себе:

— Хорошо бы иметь какое-нибудь желание!

Но некуда было вместить его — у человека отсохло сердце оттого, что он увлекся возможностью быть равнодушным к жизни и был равнодушен к ней, сначала не замечая этого за собой, а потом потому, что умертвил свое сердце равнодушием ко всему, кроме себя.

И вот наступил день итога; от него никогда и никуда не уйдет человек. Это был день выборов в головы, когда Павла Николаевича уже выбрали и толпа знакомых горожан собралась к нему с поздравлениями и на обед. Сели за стол, и ели, и говорили похвальные речи. Было шумно и весело, как всегда бывает в таких случаях.

Павел Николаевич принимал поздравления и тосты и презрительно думал о людях, собравшихся вокруг него.

Все слепые, жалкие, все живут вне действительной жизни — жизни сердца. Ни у кого нет чутья — того чутья, которое издали отличает хорошее от дурного. Но есть ли хорошее и дурное?

Как шумят все эти люди! Зачем?

И вдруг в голове его вспыхнула острая мысль, наполнившая сразу всё существо его безумным желанием испугать, изумить, раздавить этих людей... Он взял в руки бокал вина, встал и, когда все замолчали, ожидая, что он скажет, он сказал:

— Господа! Мне глубоко лестно, меня глубоко трогает ваше внимание — так обыкновенно начинаются речи людей в моем положении. Я не могу так начать свою речь, не могу. Я полон других чувств... Господа! Меня глубоко изумляет и страшно возмущает всё то, что вы тут говорите. Глупо всё это и неуместно, совершенно неуместно. Вы меня не знаете... Положим, я тоже не знаю о вас ничего, кроме того, что все вы духовно слепы и жалки; поэтому жалки вы мне. Слышите? Знаете ли вы, кто я? Я, уважаемый всеми вами, как вы говорите, я — убийца! Это я восемь лет тому назад убил девочку и старуху Заметову... Я... Что? Ха-ха-ха! Это я, я! А вы целовали меня, преклонялись предо мной, сначала как богачом, потом как общественным деятелем... А разбогател-то я с денег старухи... Вы меня не считаете сумасшедшим, нет ведь?

Все чувствовали себя страшно оскорбленными его речью и поэтому не сочли его помешанным, каким наверное сочли бы, если б он покаялся пред ними смиренно и тихо. Но он оскорблял, издевался, и глаза его блеснули огнем внутренней силы, а не безумия. Сильные всегда возбуждают ненависть у слабых.

Все заволновались, затолпились.

— Полицию! — крикнул кто-то, и явилась полиция.

Опьяненный своим подвигом, Павел Николаевич всё говорил, решительно и громко:

— Во мне закона нет, и сердце мое умерло! Храните сердца ваши от разрушения — вкорените в них закон. Не будьте равнодушны, ибо равнодушные смертоносно для души человека!

Но он был преступник... Как могли видеть в нем пророка? На него смотрели со злобой и ненавистью, а он отвечал всем презрением и сарказмом сильного.

— Вот это так! — сказал извозчик, вдруг появляясь перед ним с улыбкой восхищения на своем маленьком морщинистом лице.

— Вот это так, это дело! Так и надо было давно бы еще. Теперь ты будешь страдать. И страдай — это хорошо! Теперь у тебя есть крест. Всегда надо иметь крест на вые своей. Это — первое дело для жизни! Страдай, неся его, и воспитаешь душу свою чисту... Без креста невозможно. А с ним всегда в жизни точку найдешь, твердую точку. Теперь ты оживишься страданием-то твоим. И путь есть у тебя: к богу ты придешь... Убил? Ничего! Разбойника помнишь? Прощен был, а всего восьмью словами господу помолился. Теперь ты, брат, осмыслился. Иди себе, страдай. Про людей не забудь. Не многим они лучше тебя...

Всё стало как-то линять вокруг Павла Николаевича: всё исчезало куда-то, и появлялся свет, красный, дрожащий, — свет, от которого глазам было больно.

Земля сотрясалась...

Перед Павлом Николаевичем, когда он открыл глаза, явилась фигура жены в ночном дезабилье, с утомленным лицом и нервно дрожащей верхней губой; в одной руке она держала лампу под розовым абажуром, другой трясла мужа за плечо.

— Павел! пусти меня... Иди к себе... и разденься. Как это удобно спать столько времени одетым!

— Подожди...

— Пожалуйста, нечего... Пойми, что я утомлена.

— Юля! Что я пережил!

— Переспал.

— А? Да... Верно. Это сон — и прекрасно. И знаешь ли ты...

— Я хочу лечь...

— Нет, послушай... Как фантастично! Этот извозчик, пойми — извозчик! Почему именно извозчик?

— Потому, что ты не выспался и бредишь. Уходи же!

— Но, Юленька, я расскажу всё...

— Завтра...

— Ну, хорошо. Чёрт знает, что иногда снится! Но знаешь — во всем этом есть смысл. Мы действительно слишком равнодушны и слишком легко поддаемся жизни.

— Дай мне заснуть и философствуй потом. Только нельзя ли про себя? Ты не хочешь понять, что я встала сегодня в восемь утра, а теперь третий час ночи.

— Голубонька! Не стану... Молчу...

Он перебрался на свою кровать, и чуть только голова его коснулась подушки, как уже почувствовал сладкое предчувствие обнимающей его дремы.

— Сон, ей-богу, интересный... И с моралью. Послушай же, Юля... А то я забуду всё.

Жена не отвечала ему. Огонь лампы подпрыгнул, тени на стенах дрогнули, и комната наполнилась тьмой.

— Осмыслиться. Да, осмыслился... — шептал про себя Павел Николаевич, засыпая.

С улицы в комнату глухо доносилось медное пение праздничных колоколов и порой стук ночного караульщика.

# СТАРЫЙ ГОД

СКАЗКА

В последний день своей жизни Старый Год — пред тем как возвратиться к Вечности — устраивает нечто вроде торжественной встречи своему преемнику: он собирает пред свое лицо все человеческие свойства и беседует с ними до двенадцати часов — до рокового момента своей смерти, до момента рождения Нового Года.

Вот и вчера было так же — вечером в гости к Старому Году стали собираться странные и неопределенные существа — существа, чьи имена и формы известны нам, но чьи сущности и значения для нас мы еще не можем представить себе ясно.

Раньше всех пришло Лицемерие под руку со Смирением, за ним важно выступало Честолюбие, почтительно сопровождаемое Глупостью, а вслед за этой парой медленно шла величественная, но истощенная и, очевидно, больная фигура — это был Ум, и хотя в его глубоких и пронизательных очах много сверкало гордости собой, но еще более было в них тоски о своем бессилии.

За ним шла Любовь — полураздетая и очень грубая женщина, с глазами, в которых было много чувственности и ни искры мысли.

Роскошь, следуя за ней, предупреждающим шепотом говорила:

— О Любовь! Как ты одета! Фи, разве такой костюм соответствует твоей роли в жизни?

— Ба! — откликнулось Суемудрие, — чего вы хотите от Любви, сударыня? Вы всегда были и всё еще остаетесь романтичкой, вот что-с скажу. По мне — чем проще, тем яснее, тем лучше, и я очень доволен, что мне удалось сорвать с Любви покровы фантазии, в которые ее одевали мечтатели. Мы живем на земле, она

тверда, и цвет ее грязен, а небеса так высоки, что никогда между ними и землей не будет ничего общего! Не так ли?

А сама Любовь молчала — язык ее давно уже почти нем, нет у нее прежних личных слов, ее желанья грубы и кровь жидка и холодна.

Явилась также Вера — разбитое и колеблющееся существо. Она кинула взгляд непримиримой ненависти в сторону Ума и незаметно скрылась от его очей в толпе, пришедшей к Старому Году.

Потом за нею мелькнула, как искра, Надежда, мелькнула и скрылась куда-то.

Тогда явилась Мудрость. Она была одета в яркие и легкие ткани, украшенные массой фальшивых камней, и насколько ярок и блестящ был ее костюм, настолько сама она была темна и печальна.

И вот пришло Уныние, и все почтительно поклонились ему, потому что оно в чести у Времени.

Последней же пришла Правда, робкая и забитая, как всегда, больная и печальная; она, тихо и не замеченная никем, прошла в угол и одиноко села там.

Вышел Старый Год, посмотрел на своих гостей и усмехнулся усмешкой Мефисто.

— Здравствуйте и прощайте! — заговорил он. — Прощайте потому, что я умираю, как то предписано Судьбой. Я смертен, и я рад, что смертен, ибо, если б время жизни моей продолжилось хотя на день один, — не вынес бы я тоски бледной жизни моей. Так скучно жить всегда, имея дело только с вами! Искренно жалею вас — вы бессмертны. И за то еще жалею, что в день рождения моего все вы были более сильны, свежи и цельны, чем сегодня, в день смерти моей. Да, я искренно жалею вас — все вы страшно истасканы людьми, обесцвечены ими, измельчены, и все вы так близки друг другу в общем вашем уродстве. И это вы-то — человеческие свойства? Вы — без сил, без цвета, без огня! Жалею вас и людей.

И Старый Год усмехнулся и потом снова, осмотрев своих гостей, спросил у Веры:

— Вера! Где сила твоя, двигавшая людей на подвиги и одухотворявшая жизнь?

— Это он ограбил меня! — глухо сказала Вера, показывая в сторону Ума.

— Это я ей обязан тем, что до сей поры люди всё еще не уверены в моем могуществе. В борьбе с ней я растратил лучшие силы мои! — гневно откликнулся Ум.

— Не ссорьтесь, несчастные! — снова бесстрастно улыбнулся умирающий Старик и, помолчав, сказал еще: — Да, страшно бледны и изжиты все вы. Как, должно быть, тошно быть человеком и иметь с вами дело день за днем в течение многих лет? Кто это там утвердительно качает головой? А, это ты, Правда! Ты всё такая ж... не в чести у людей... Ну, что же?.. Прощайте, бывшие спутники мои. Прощайте, мне нечего больше сказать вам... Но... среди вас я не вижу кого-то? Да? Где же Оригинальность?

— Ее давно уж нет на земле, — робко ответила Правда.

— Бедняга земля! — пожалел Старый Год. — Как скучно ей! Жалки и бесцветны люди, если они потеряли оригинальность дум, чувств, поступков.

— Они даже костюма не умеют себе создать такого, который хотя бы несколько скрашивал уродство их форм, лишенных древней красоты, — тихо пожаловалась Правда.

— Что с ними? — задумчиво спросил Старый Год.

— Они потеряли желания и остались жить только с похотями... — объяснила Правда.

— Разве они тоже умирают? — изумился Старый Год.

— Нет, — сказала Правда. — Они еще живут. Но как живут? Большинство по привычке, некоторые из любопытства, а все — не отдавая себе отчета, зачем именно живут.

Старый Год холодно засмеялся.

— Пора! Еще минута, и пробьет мой час — час моего освобождения от жизни. Уходя, я немного скажу... Я существовал и нашел, что это очень грустно. Прощайте же еще раз и последний. Жалею я вас, жалею, что вы бессмертны и что вам недоступен покой. Сын Времени — я бесстрастен, но всё же жалею я вас и людей.

Первый удар! Два...

Что это?

Ударив дважды — часы остановились бить.

В изумлении все взглянули на них, и странное увидели они.

Некто, с крыльями на голове и на ногах, стоял у часов, прекрасный, как один из богов Эллады, и, придерживая рукой минутную стрелку часов, смотрел в очи Старого Года, угасавшие в предчувствии смерти.

— Я — Меркурий и послан сюда от Вечности, — сказал он. — Она сказала: зачем Новый Год ветхим людям? Скажи им, что Нового Года не будет до рождения новых людей. Останется с ними тот, что уже был, — пусть он переоденется из савана в платье юноши и живет.

— Но это пытка! — сказал Старик.

— Останешься ты! — непреклонно повторил Меркурий. — И доколе люди не обновят дум и чувств своих, ты останешься с ними, Старик! Так сказала Вечность, — живи!

И он исчез — посланник Вечности... И, когда он исчез, часы бросили в тишину изумления десять глухих ударов.

И Старый Год, умиравший с торжеством, остался снова жить с Унынием, скорбно улыбавшимся в его морщинистое лицо.

Тихо и печально расходились гости Старого Года.

И Надежда, уходя, — молчала, а Лицемерие, выражая на лице своем скорбь, заигрывало с Суемудрием, говоря с ним что-то об Уме, что-то о Терпении, и говоря, всё боялось, как бы Уныние не подслушало речей его и не выразило ему порицания за его речи.

И наконец все ушли.

Остался только Старый Год, уже переодевшийся в платье Нового, да Правда — всегда и везде последняя!

## ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

Она мечтала, что выйдет на сцену и просто, ясно, без аффектации ремесленников сцены будет говорить публике слова из своей маленькой роли, и, слушая ее, эта публика будет думать про себя:

«Как это верно! Вот истинное искусство! Вот как надо изображать жизнь души для того, чтобы все понимали, как живет душа».

Ей, дебютантке, еще девочке, мало знавшей толпу, казалось, что нужно быть только искренней для того, чтобы тронуть душу толпы, — только искренней!

Она думала, что ее роль говорит сама за себя своей простотой и наивностью, что истинно красивое — просто и что нужно быть простой и верной правде, чтобы тронуть сердца зрителей.

И она была уверена, что тронет их; и внутреннее чувство говорило ей, что она идет на большое и важное дело, ибо говорить толпе просто и хорошо о душе и о сердце и о всем, чем живут они, — это крупное и важное, это мучительное и честное дело для того, кто верит в хорошее и доброе.

А она, эта дебютантка, верила, потому что она была молода.

И вот она вышла на сцену, только занавес отделял ее от публики.

Он взвился, дебютантка встала лицом к лицу с ней, и ее охватил трепет, оковавший холодом всё ее тело и язык.

Сотни глаз смотрели на нее, и в зале царила выжидающая тишина — тишина, точно подстерегавшая что-то; все люди, казалось, поглощены одним желанием — же-

ланием слышать нечто такое, что оживило бы их, — и казалось, что все они, создав эту тишину, впали во власть ее и омертвели в ней.

Не глядя на публику, дебютантка чувствовала сотни глаз, которые точно щупали ее, исследовали, смаковали, — и прикосновение их было холодно и возбуждало страх в сердце.

А когда она взглянула в зал, то увидала, что все смотрят на нее с любопытством, только с холодным, безучастным любопытством людей, жаждущих развлечения, — и больше нет ничего во взгляде толпы; нет той духовной связи, которая должна бы быть между толпой и тем, кто вещает ей правду о жизни сердца.

Это было страшно.

А глаза толпы всё продолжали ощупывать ее, дебютантку, не ожидавшую, что взгляд толпы обладает этой силой взгляда гремучей змеи.

Секунды были невероятно длинны, и каждая из них, исчезая, уносила у дебютантки частицу ее уверенности в смысле своего деяния.

Толпа же ждала, холодная, как всегда, жадная, как всегда, поглощающая своих слуг, как Молох, и расплачивающаяся хлопаньем в ладоши за сок нервов и кровь сердца тех людей, которые добровольно обрекли себя на мучение служить ей словом.

Громадное стоголавое животное, она молчала и, скептически осматривая маленькую фигурку дебютантки, этим молчанием как бы говорила:

«А ну-ка, чем ты и как пощекочешь мои утомленные нервы?»

И всё гипнотизировала дебютантку своим взглядом гастронома на новый соус.

Пресыщенная и разочарованная в своих исканиях новизны, она смотрела на предложенную ей новинку царственным взглядом какого-то чудовища, могучего, всепожирающего, вечно алчущего и сознающего свою страшную власть над человеком, который в ее глазах ценен только как щепочка, поддерживающая ослабевающий огонь ее интереса к жизни.

Артист, кто бы он ни был, — раб толпы, если он не гений.

И нет для человека рабства тяжелей и мучительней, чем служение толпе.

Она капля за каплей сосет его соки, холодно наблюдая, как он утрачивает свежесть таланта и силу своего сердца, — она всё это поглощает, всё поглощает, и — где оно?

Она много пожрала, много пожирает, еще больше пожрет и всё живет, как раньше, — черствая, грубая, воспаляющаяся на момент и тотчас же угасающая, живет холодная, серая и скучная, сильная, но бездушная, громадная, но умственно низкая...

Она жалкая все-таки — жалкая, и вот почему люди приносят себя ей в жертву, пытаясь облагородить ее, но превращаясь в ее игрушку — в игрушку, которая постольку и интересна, поскольку нова и сложна.

Стесненная, сжатая, раздавленная тяжелым взглядом толпы, дебютантка лишила свою роль жизни, торопливо скомкала ее и бросила в скучающее, безучастное лицо зрительной залы.

Сидя в своей уборной, она рыдала, вся содрогаясь от боли сердца, чувствуя себя как бы опозоренной, загрязненной сотнями взглядов, только что щупавших ее... как щупальцы спрута.

Она плакала, чувствуя себя оскорбленной и униженной, а зрительный зал был уже пуст, — все ушли, и никто не знал, что, уходя из театра, оставил в маленьком сердце великую боль.

Она долго плакала.

Ах, пред лицо толпы должен выходить только тот, кто уверен в своей силе и в том, что поработит толпу своей силой. А если не так — толпа изломает и пожрет человека.

## ПОЧТАЛЬОН

...Подходя к домику в три окна, красиво спрятавшемся за палисадником, он замедлил шаги, поправил свою сумку, фуражку на голове, переложил письма из руки в руку, а когда поравнялся с средним окном дома, — предупредительно кашлянул и остановился...

Тотчас же в зелени цветов на окне и между веток сирени в палисаднике показалось лицо молодой женщины, и голосом, полным тревоги и надежды, она спросила:

— Письмо?

— Вам и сегодня нет, — с сожалением сообщил почтальон, вежливо прикладывая руку к козырьку фуражки.

Лицо женщины скрылось; почтальон поднялся на цыпочки, заглянул в окно, вздохнул и пошел дальше, махнув рукой и сурово наморщив брови. Сделав шагов десять, он вдруг плюнул и довольно громко проговорил:

— Ах, брандахлыст чёртов! Такую женщину и... — Он сконфузился, не кончив фразу, оглянулся вокруг и, дернув себя за ус, быстро пошел дальше.

Был ясный июньский день; с безоблачного неба на землю лился зной. Улица была пустынна; за заборами садов стояли деревья, и листья их были неподвижны, точно замерли в знойной истоме.

Часов в девять вечера почтальон снова шагал по этой улице мимо домика в три окна, но уже без сумки, неторопливо, как человек, вышедший на прогулку. На нем был белый китель, только что выстиранный и

выглаженный, о чем свидетельствовали блестящие швы. Молодое усатое лицо смотрело озабоченно, и густые брови над большими серыми глазами — нахмурены. Он уже не кашлянул, когда поравнялся с окнами серенького домика за палисадником, а только взглянул на него и, не изменяя походки, прошел мимо.

С начала весны он носил письма в этот дом часто — почти каждый день; потом они приходили реже, наконец, стали появляться раз в неделю, а вот теперь их нет уже десятый день...

Их всегда ждали с нетерпением и, принимая, — оживлялись, тотчас же разрывали их и читали тут же у окна с веселым, сияющим радостью лицом.

Почтальону всё это доставляло большое удовольствие; он подавал письма с улыбкой, ему в ответ тоже дружески улыбались; иногда он, подавая письмо, слышал такой хороший, душевный смех; раза два его даже спросили. Один раз:

— Вы, наверное, очень устаете?

А другой:

— Не правда ли, как жарко сегодня?

Оба раза он с веселым смехом согласился и с тем, что он устает, и с тем, что ему жарко.

А теперь ему больше не улыбаются и если спрашивают, есть ли письмо, так всегда таким сухим и сердитым голосом, точно это он виноват в том, что писем больше нет.

Это ему очень обидно и неприятно, и, когда в конторе он разбирает свою долю почты, ему ужасно хочется встретить письмо с адресом, написанным твердым мужским почерком:

«Город Н. Крайняя улица. Вере Даниловне Сосиной».

Но такого письма всё нет.

Выйдя из улицы в поле, почтальон пошел к роще, рисовавшейся недалеко от окраины города темно-зеленой полосой. Нужно было перейти через овраг, поросший густым кустарником; он спустился в него по крутой тропинке, сорвал по дороге ветку и пошел по дну

оврага, сдвинув шапку на затылок и похлестывая себя прутом по голенищу сапога.

Иногда он на секунду закрывал глаза, и тогда перед ним вставало овальное бледное лицо женщины с тонкими бровями, всё в пепельных кудрях, падавших и на лоб и на розовые щеки. Голубые, светлые и веселые глаза улыбались так ласково и хорошо, точно гладили по сердцу. Он вздыхал и тоже улыбался, покачивая головой от удовольствия вспоминать лицо этой женщины.

Вдруг он услышал недалеко от себя в кустах что-то, похожее на вздох. Он остановился и, изобразив на лице внимание, вслушался. Звук раздался снова.

Слева от него, сквозь зелень, он увидел кусок розовой материи, и что-то толкнуло его туда — ближе...

— Вера Даниловна! Встаньте, сделайте божескую милость! — говорил он взволнованным шёпотом, стоя над женщиной, бившейся в рыданиях на земле. — Ну разве это возможно — посудите сами! Позвольте вас поднять?

Она всё рыдала, не отвечая ему. Он стал нелепо размахивать руками, не зная, что делать...

— Ах, господи! Ну какое здесь место для вас? Пойдемте, Вера Даниловна! А? Да... разве можно так убивать себя? Земля сырая к тому же... можете насморк схватить...

— Уйдите прочь! — кинула она ему между рыданиями.

— Разве я теперь могу уйти! — с изумлением пожал он плечами и опустился перед ней на землю. — «Уйдите!» Как это можно? А вы тут... Я каждый день... всё насчет вас думаю, как и что... Такая вы, можно сказать... красавица и добрая... Я-с все ночи... то есть, так сказать, — вами живу... Пойдемте отсюда Христа ради!

— Оставьте меня...

— Вера Даниловна! Да... невозможно это! Я всей душой, а вы одна здесь останетесь, и в таком плачевном положении. Да... чёрт с ним, с анафемой! Стоит убиваться о всяком шарлатане! Будь ему неладно... Мало нашего брата — вам? Такая-то красавица! Да любого...

только пальчиком поманите... А ему, этому вашему писателю... Позвольте узнать, кто таков? Я ему все ребра искрошу... всю морду... в кровь-с!

— Дурак! — вдруг, вскочив на ноги, крикнула она ему. Глаза, опухшие от слез, гневно сверкали, и бледные губы тряслись. — Нахал!

Он так и остался на коленях, на земле, с открытым ртом и вытаращенными глазами.

Мимо него мелькнуло розовое платье и скрылось, сопровождаемое тихим шелестом кустов. Темнело. В овраг сползали и ложились на зелень кустарника ночные тени; сильно пахло сыростью, и где-то щебетала птичка. А на небе, бархатно-мягком и ясно-синем, вспыхивали звезды.

— Господи! — прошептал почтальон, садясь на землю и обнимая колена руками.

Потом он печально покачал головой и снова вполголоса произнес:

— Ах, господи!

И после этого долго сидел без движения.

Было уже совсем темно, когда он поднялся с земли и оглянулся вокруг. В овраге всё было мертвенно-тихо.

— Ну и ловко она меня обтяпала! — сказал почтальон и стал подниматься в гору, уходя из оврага.

На рассвете он шел по одной из городских улиц, пьяный, сильно шатаясь, и громко бормотал:

— Да, так вы этак со мной? Ага, понял! Покорно благодарю! Я, значит, к вам с развернутым сердцем, а вы сейчас р-рыло в сторону и неприлично лаетесь? Очень хор-рошо! А поз-вольте узнать, за какую провинность? а? Нет,— подождите-с! Почему-с? Я — что? Вы рыдаете — разве я бесчувственный скот? Я с развернутой душой иду и говорю... Пошлите его к чёрту, если он вас не мог понимать... т-такую м-милую женщину... значит, он — мерзавец! Прохвост! В харю дам ему — имею пр-раво.

— Не ори ты, ваше благородие, а то в часть,— сказал ночной сторож, являясь у самого носа почтальона.

— Это что? Тоже человек? Прекрасно... прощай; ты, наверное, тоже скотина; ухажу... я не буду больше обращать внимания... на скотов... Я сам скот, но я с чувством. Понял? Я чего хотел, скажи?

— Выпить ты хотел, ну, и выпил, а теперь иди домой,— благодушно посоветовал сторож.

— И пойду, непременно... Но жалеть я тебя не стану — дудки! Издыхай ты — плюну и пройду мимо. Не хочу больше... да... Потому я тебя могу жалеть, но ты меня за это можешь оскорбить. Ах ты, м-морда! Не хочу тебя жалеть — ты свинья!

Раздался трескучий, оглушающий свисток, и в ответ ему недалеко прозвучал другой.

— Вот мы те сейчас утихомирим,— сказал сторож, взяв почтальона за локти и припирая его к забору.

А тот, вырываясь из рук сторожа, плачущим голосом говорил:

— За что? За что? а?

## У СХИМНИКА

ЭСКИЗ

...По каменной лестнице, узкой и темной, сдавленной сырыми стенами, еле освещенными дрожащим светом лампы в руке сопровождавшего меня монастырского послушника, я спустился в склеп под полом церкви и, когда почувствовал, что лестница кончена, остановился, охваченный смущением и тяжелым сырým воздухом этой каменной могилы.

Молчаливый послушник, весь в черном, с сухим и желтым лицом аскета, которое он почему-то всё старался не показывать мне, протянул вперед руку с лампой, и свет, упавший в угол склепа, обрисовал прежде всего дубовую крышку гроба, приставленную к серой стене... Потом я увидел низенький аналой с закрытой книгой на нем; медные застежки книги блестели, как чьи-то глаза, безучастные и созерцающие.

Раздался странный шорох, будто то шелестели сухие листья,— на полу у крышки гроба обрисовалась темная фигура, медленно поднимавшаяся кверху, а на стене, у которой мы стояли, зашевелилась тень, как бы исходящая из пола склепа.

— Богомолец...— глухо произнес послушник, низко кланяясь в угол, и звук его голоса родил на лестнице, по которой мы спустились, сдавленное и краткое эхо.

— Оставь лампу...— прозвучал тихий и дрожащий старческий голос из угла склепа, прервался и после глубокого вздоха закончил: — И с миром иди.

— Подойдите ближе,— шепотом сказал мне послушник, бесшумно согнулся, снова кланяясь подвижнику, и исчез, как тень.

Я оправился от смущения и освоился с воздухом, наполненным, кроме запаха сырых камней и земли, еще

запахом ладана и масла, но все-таки дышать было трудно, сердце усиленно билось, и в голове раздавались глухие толчки.

Неверными пагами я пошел вперед пять шагов, опустился на колени перед гробом, стоявшим на полу, и склонил голову пред маленькой темной фигуркой, сидевшей в гробу.

— Благословение божие... с тобой, сыне мой...

Холодная костлявая и шероховатая рука дотронулась до моего лба, вызвав дрожь во всем теле, и снова склеп наполнился странным шелестом, уже замеченным мною раньше. Голос схимника дрожал и прерывался и как-то всхлипывал, произнося слова. Мне было холодно; сырость этого каменного погребца всасывалась в меня, и робость, постепенно связывая мой язык и мою волю, овладевала мной.

— Сядь вот тут...— снова дотронулся старик до моего плеча.

Не вставая с колен, я поднял голову, и глаза мои встретились с маленькими, живыми и блестящими глазами схимника, до того пытливо смотревшими в мое лицо, что я почти ощущал на себе их взгляд — точно кололи они меня легкими холодными уколами. Это было похоже на то ощущение, которое испытываешь, когда ветер бросает в вас кристаллики снега. Предо мной было длинное, фантастически худое старческое лицо, всё в морщинах, с заостренным и опустившимся к подбородку носом; нос и подбородок разделяла тонкая черта губ, провалившихся в беззубый рот. Черная материя схимы резко оттеняла всё это химеричное лицо. Свет лампы падал теперь прямо на фигуру старика и в его ложе.

Оно было наполнено стружками — я понял происхождение шелеста, — и к одежде подвижника тоже кое-где пристали стружки; они лежали на ней, как большие желтые черви на полуистлевшем трупце. Одна из них прилепилась на груди, как раз над белым пятном черепа, вышитого на схиме. Старик молчал, глядя на меня, одна рука его опиралась о край гроба, другая, дрожа, творила крестное знамение. В полу церкви было отверстие, закрытое железной решеткой, и в него вид-

по было, как в церкви от огня лампад колеблется сумрак, наполняющий ее; в куполе ее сбоку в окно можно было, присмотревшись, видеть маленький кусочек неба.

— Откуда ты, сыне мой... пришел в обитель нашу? — спросил старик.

Он говорил немного в нос, и его подбородок при этом дрожал. Я пристально смотрел в его глаза, и меня смущал и удивлял их живой и спокойный блеск.

Восемнадцать ступенек вели в этот склеп, полный могильной сырости и тишины. Не менее семидесяти лет лежало на худых плечах старика-подвижника, и его кости, наверное, много впитали в себя ревматических болей из камней, в которых он заживо похоронил себя.

И несмотря на всю эту мрачную обстановку, каждой своей деталью символизировавшую смерть и полное отречение от жизни и мира, глаза старика так живы и так уверенно блестят, как они не блестят у меня и многих других, живущих в миру и на земле. Было в них много спокойного, ровным светом сияющего огня и много силы, покорявшей меня, опустившегося в эту яму из любопытства — из злого любопытства, в котором была и частица желания смутить мир души человека, отрешенного от жизни.

Что же поддерживает в его полуистлевшем теле жизнь и чем питается огонь, сияющий в его глазах, — в его глазах, целый год лишенных солнечного света, ибо, как сказали мне монахи, он только раз в год выходит из-под земли — в светлый день воскресения Христа!

Чем живет этот человек, заживо положивший себя в гроб и в гробе живущий, — чего ради? Эти думы, как искры, вспыхивали в уме моем и гасли, и под взглядом старика сердце мое наполнялось щемящей тоскою.

А он говорил своим дрожащим голосом с паузами, вызываемыми его физической слабостью; но чем более говорил он, тем более лицо его оживлялось и тем ярче горели глаза. Опустив голову, я покорно слушал его и старался подавить в себе мои мысли, старался сосредоточиться на смысле его слов, ибо я чувствовал, что, воспламенив в душе подвижника огонь и заставив его

жить для меня, было бы нечестно мне не хотеть понять его речь. Он говорил сначала о том, что, видно, болит душа моя, если я в годах еще юных пошел странствовать по святым местам и ищу бесед с людьми, подобными ему; и голос его звучал наставнически кротко и важно. Я не могу, конечно, точно передать его речи, но (он говорил со мной, положив свою холодную и сухую руку на голову мне) общий смысл его слов хорошо отпечатался в памяти моей. На земле в это время гудел колокольный звон; к нам под землю медные звуки чуть доносились, похожие на чьи-то тяжелые вздохи, раздававшиеся как бы из стен склепа. Сумрак, тяжелый и сырой, обнимал нас; лампа, поставленная на кирпич, выступивший из стены, горела тускло, и дверь из склепа на лестницу смотрела на меня, как чья-то черная пасть...

— Сыне мой! — говорил мне подвижник, — не падай духом, ибо всё скоропроходяще, и как за ночью всегда следует день, за мрачной тревогой души — верь мне — наступит спокойствие, и возродятся надежды...

— Не падай духом еще и потому, что человек ты есть и частицу бога вмещаешь в себе; не забывай это, и всегда в душе твоей будет жить гордость первородством твоим на земле, а эта гордость не дает места отчаянию, и не будешь ты тогда рабом жизни, а господином ее.

— Учись отличать временное от вечного, ибо всё, что во времени, не прочно, подлежит разрушению и смерти; душа же твоя — вечна, охраняй душу твою от растления, береги огонь ее и голоса ее слушай.

— Соразмеряй силу разума твоего с твердынею тайн жизни и с нежностью существа души твоей; не оскорбляй себя сомнением в родстве ее с господом, творцом всех и вся, создавшим и тебя, частицу мира, и в то же время целый мир. Ибо образ вселенной зависит от чистоты ума и чувства твоего; ибо всё существующее познается тобою чрез самого же себя.

— Держи сердце свое в чистоте, но и, загрязнив его, не отчаивайся, а вспомни, кто ты есть, и ты очистишься. В тебе всегда имеется искра великого огня, зажженного в душах людей десницею господа: не гаси же ее сомнением в самом себе и в бессилии твоём творить жизнь.

— Верь в великое назначение человека — существа, созданного богом для владычества на земле, для прославления имени его подвигами во славу его; верь, и возгорится сердце твое желанием жизни, дух твой воспрянет, жаждой подвига запылает грудь твоя. И не будет тебе равных на земле, ибо святые подвиги на пользу земли прославляют могущество божие и делают человека владыкой жизни.

— Но если и отчаяние охватит сердце твое, не падай духом, сын мой, а борись с ним и воспитаешь в себе мужество; не бойся и отчаяния и не говори о тоске твоего сердца с воплями боли, — радуйся страданию его, ибо оно к блаженству веры приведет тебя.

— И если бы даже презирал ты себя за слабость души твоей — не падай духом! От презрения твоего к самому себе другие выиграют и придут помочь тебе, видя, что ты не скрываешь от них того, что ты еще хуже, чем они.

— Человек — как бы низко ни пал он — всегда хочет быть лучше других, и не смотри на то, что пути, которыми он идет к этому, ложны. Цени желание его! Не унывай: есть жизнь — есть время сделать себя владыкою ее. Цени желания твои, — они залог твоего успеха, и чем больше их, тем многообразнее жизнь твоя, тем ценнее ты для круговорота жизни.

— Помни: жив бог — жива душа твоя!

— Но если умер бог в сердце твоём — нет тебе спасения, и погибнешь ты, яко червь.

Вдруг что-то холодное и быстрое, как удар кнута, упало мне на руку, обнаженную по локоть. Настроенный мистически в этом склепе, под вдохновенные речи старика и под протяжные, печальные звуки звона колоколов, — я вскрикнул и вскочил на ноги в ужасе, от которого едва не потерял сознание. Помню колкий холод, пробежавший по моей коже с ног до головы, и никогда не забуду его; и помню гулкое эхо крика моего, долго раздававшееся в пустынных сводах церкви.

— Это ящерка, ящерка... Шш! Где ты? Ах ты! Иди-ка, иди-ка сюда... — говорил старик, роясь в стружках.

— Не бойся, человече, это безвредное божие создание, друг дней моих убогих. Вот ты... а... а... а..! Испугала человека! Нехорошо. Мышь еще навещает одиночество мое... Мышка.

— А вон и братия с богомольцами собирается на всенощное бдение. Заговорит сейчас дом божий, а я, недостойный слуга его, буду, сидя здесь, вкушать сладость моления богу моему.

Через решетку в своде sklepa из храма к нам упала широкая полоса мутного света, — упала и вдруг исчезла, точно погашенная сыростью этой могилы, и тотчас же снова явилась, осветив аналой и книгу на нем. Храм наполнился шорохом, и на решетку то и дело наступали ноги молящихся...

Раздался гулкий, переливчатый возглас диакона.

— С миром иди, сыне мой... Благословит тебя господь, отец наш... — отпустил меня старец.

На последней ступеньке лестницы уже стоял послушник, подозрительно оглядывая меня.

— Возглас был... тревожный... — робко произнес он...

— Был, был... да... это ничего... С миром идите...

— Владыко дней моих! Пошли мне сил воздать тебе, господи, благодарственное моление мое за жизнь мою, щедрый дар благодати твоея!.. — раздался сзади меня молитвенный шёпот старого подвижника, благодарившего бога за жизнь в могиле и за отдых в гробу.

...Через полчаса я лежал у опушки монастырского леса в тишине и вечернем сумраке на траве, уже покрытой росой, под шатром из ветвей старого дуба.

Из открытых окон храма, стоявшего в ста шагах от меня, несло в вечернее небо пение монахов.

Над самым храмом, высоко в небе, столпилась группа легких облаков, точно слушая молитвы на земле. Было тихо. Лес стоял неподвижно: ни один лист не дрожал над моей головой. На западе вспыхнула и затрепетала вечерняя звезда.

Передо мной в вечернем сумраке всё блестели ясные глаза человека, заживо схоронившего себя, и худое лицо его отчетливо рисовалось мне воображением моим.

Он был там, в земле, под храмом, в котором каждый день многие души, молясь, изнывали под тяжестью грехов своих, и мне казалось, что вся масса их страданий и скорбей падает сквозь отверстия в полу храма в сырой склеп подвижника, падает и давит собою дряхлое тело его. И он молится денно и ночью за этих людей, собирающихся в храме над ним, молится за них богу, господину своему, в силу и благость которого он непоколебимо верует,— молится из-под земли и уверен, что молитва его дойдет до небес...

Я всегда ближе к небу, чем он, но зачем же душа моя дальше от господя, чем душа старика, схоронившего тело свое под землей?

## ЧАСЫ ОТДЫХА УЧИТЕЛЯ КОРЖИКА

ОЧЕРК

Когда старые настенные часы в комнате учителя Антона Петровича Коржика с хрипом и шипением пробьют десять вечера, он медленно встает из-за своего стола, потягивается и с улыбкой удовольствия и презрения, окинув взглядом грудку ученических тетрадок, исправленных им, берет в руку лампу и идет с ней в угол комнаты.

Там он ставит лампу на другой стол, открывает замаскированный обоями маленький шкаф в стене, достает из него четвертную бутылку водки, тарелку с ломтиками черного хлеба, всё это тоже ставит на стол и, тщательно затворив дверцы шкафа, садится в большое кресло, против стола, боком к окну, в которое, сквозь голубоватые узоры мороза, смотрит в комнату лунная зимняя ночь.

На столе, кроме водки, закуски и лампы, стоят три рамки: одна из черного плюша, и в ней портрет пожилой дородной женщины с широким лицом и раздвоенным подбородком — доброе и мягкое лицо матери; из другой, бронзовой рамки смотрит на учителя улыбающееся лицо девушки, в короне темных волнистых волос, с миндалевидными глазами и пухлой, задорно приподнятой верхней губкой; в третьей рамке — гравюра, изображающая человека в тоге римлянина; у него круглая, гладко остриженная голова, острое лицо и маленькие глазки, глубоко ушедшие в орбиты. Хотя это лицо и выбрито, как лицо актера, но оно слишком глубоко-мысленно для человека этой профессии...

Учитель Коржик сидит несколько секунд неподвижно и смотрит на эти портреты неопределенным, но сосредоточенным взглядом человека, которому трудно уловить свою мысль.

Потом он наливает рюмку водки, медленным жестом подносит ее ко рту, выпивает и на секунду защуривает глаза, откидывая голову на спинку кресла и как бы смакуя ощущение жгучей влаги, стекающей по пищеводу...

Вслед за этой рюмкой он наливает другую, а за ней третью и уже после этой берет с тарелки маленький кусочек хлеба и медленно жует его, прищуривая глаза и всё рассматривая портреты на столе.

И лицо его, незадолго перед тем сухое и угрюмое, лицо сорокалетнего чиновника-холостяка, желтое, в усах и маленькой эспаньолке, с тонкими, плотно сжатыми губами, концы которых характерно опущены книзу, — его лицо вспыхивает красными пятнами, глаза, обыкновенно нелюдимо сощуренные и тусклые, расширяются и приобретают тот внутренний блеск, который так облагораживает физиономию, придавая им выражение жизни и мысли...

— Начинаю, мама... — вполголоса, почти шёпотом говорит учитель, облакачиваясь одной рукой на стол, а другой наливая еще рюмку.

И при этом он улыбается улыбкой, несколько виноватой и очень печальной, улыбкой фаталиста, видящего роковые последствия своего деяния, но не считающего возможным не совершать его...

До четвертой рюмки порядок отдыха учителя Коржика установился раз навсегда, — он всегда таков, до последнего жеста таков; но с этого момента учитель варьирует свое время всеми доступными ему способами...

Иногда он обращается с речью к Аннею Сенеке, — ибо римлянин с маленькими глазами это он, знаменитый стоик, — и вполголоса начинает хвалебную речь философу, придерживаясь стиля «писем к Люцилию»:

— Ты хорошо сказал, Сенека, что «всякий путь имеет свой конец», и еще больше мудрости в твоих словах — «Как басня, так и жизнь ценятся не за длину, но за содержание». Ты умел учить терпению, и ты был мудр и прозорлив, но все-таки ты в твоё время не мог бы представить себе, что через восемнадцать веков после смерти твоей люди дойдут до искусства жить без какого-либо содержания и будут более равнодушны к жизни, чем ты хотел этого, поучая терпеть. Потому что,

хотя ты и говорил Люцилию: «Ошибаются, о Люцилий, те, которые думают, будто судьба посылает нам благо и зло», — но ты в то же время утверждал, что «душа наша сильнее судьбы». Ныне же люди равнодушны ко благу и злу и силы в душе своей не имеют, подчиняясь первым ударам судьбы и покоряясь ей в рабство без борьбы, без стыда за себя... Таков, о Сенека, я, и таких много...

Среди речи учитель делает паузы, наливает водку и пьет, с каждой рюмкой всё более краснея.

Жесты его становятся порывистее, но они еще тверды: он аккуратно до краев наливает рюмки, и рука его не дрожит, когда он подносит их ко рту. Иногда, выпив рюмку, он шёпотом, в котором уже слышится пьяная хрипота, говорит:

— Пью, мама...

И, виновато улыбаясь, кивает головой портрету дородной женщины.

Потом он смотрит в окно...

Окно выходит в сад, и он видит там неподвижные темные стволы лип и кленов, ветви вишен и сирени, опущенные инеем, голубовато-серебристый снег; всё это неподвижно, и всё это молчит...

Когда же за окном воеет выюга, стволы деревьев и ветви кустарников то и дело скрываются за тучами снега, мягко ударяющего в стекла окна; скроются и появятся снова, появятся только на мгновение и снова исчезнут в мутных облаках снега. Кажется, что они не стоят, а мечутся по саду в ужасе. И выюга так грустно поет... А иногда она поет зло и смеется, обрывая свою песню.

Учитель смотрит на всё это, потом отворачивается от окна, выпьет рюмку и снова смотрит. И снова пьет.

В лунные тихие ночи он любит сидеть без огня. Когда он погасит лампу — на момент вся комната точно вздрогнет и сразу наполнится тьмой... Но уже в следующий момент в окно льется волна лунного сияния, она падает на стол, через него на пол и дальше, на широкий диван... На полосе этого света чуть намечены узорные тени от веток кленов — там, в саду, под окном.

Учитель смотрит на них долго и пристально, как бы желая догадаться, зачем они тут, эти вечные тени, и

что они говорят своими узорами. А когда в саду деревья колебает ветер, тени в комнате — на столе, на полу, на диване — движутся...

Антон Петрович вздыхает и крепко трет лоб.

— Извини, мама... Еще выпью.

И выпивает еще... Часы уже давно пробили одиннадцать, и вот снова хрипят, задыхаются и отсчитывают двенадцать медленных и громких ударов, после чего где-то внутри их долго еще звучит пружина унылым эхом истекших суток...

— «Жизнь идет неустанной стопой, предавая забвению былое, разрушая и снова творя...» — декламирует учитель в такт ударам часов... и протягивает руку к бутылке.

Но уже рука его неверна, и он не сразу наливает рюмку. Стекло задевает за одну из рамок, и грустный звук раздаётся в комнате...

— Извините, Женья... Это я, кажется, вас задел? — еще внятно шепчет учитель, склоняясь к столу, и, облокочиваясь на него, улыбается портрету девушки, улыбается улыбкой доброй и как бы просящей прощения. — Какая вы славная девушка... И как щадит вас время... оставляя вас жить в моей памяти так долго. Уже двенадцать лет... Я всё прекрасно помню... Вы мне понравились сразу, и сразу же вы увидели это. Вам было приятно мое поклонение... Я понимаю. Да... Вы — умница, держали меня на большом расстоянии от себя и... Я выпью, мама... Прости...

— ...И вы уехали, исчезли, пропали... Я не успел вам в эти два месяца ничего сказать... Но я много думал о вас... Вы исчезли... да... осталась ваша карточка и я... Это хорошо... Было бы хуже, наверное, если бы вы стали моей женой... К жене не сохраняют того уважения, которое имеют к возлюбленной... Вот вас нет... Где вы?... А я живу и помню вас такой, какой встретил. Вы, наверное, позабыли обо мне и...

— ...Я еще выпью... мама! Твой сын спивается... Ничего... Он это понимает... он еще не совсем... Ты не беспокойся, мама, он не уронит себя ниже, чем уж есть... Достаточно!..

— ...Быть может, вы, Женья, даже вовсе и не тот

человек, каким я вас знаю... Наверное, так... Вы, конечно, и злы, и неряшливы, и злоязычны, и пошлы, и мелки... как все женщины... Но я не успел увидеть в вас ничего этого... и до сей поры... двенадцать лет... считаю вас совершенством среди женщин... Уважаю вас и берегу воспоминание о вас в себе... храню его как единственную порядочную вещь, данную мне когда-то жизнью... Я не жаден... И не хочу ничего... Впрочем — выпью.

— ...Страшно пью, мама, это так... Я знаю — мерзко пью, по-свински напиваюсь, потом сплю, потом просыпаюсь... потом...

Тут Антон Петрович откидывается на спинку кресла и хмурит лоб, делая страшные глаза.

— Большая подлость. Я иду учить «малых сих»... Малые сии — большущие болваны, феноменально тупоголовые... И зачем их учат так рано? Они решительно не в состоянии понимать, что учиться необходимо... для того, чтобы быть чем-нибудь... и что знать полезно... а познавать — наслаждение... как говорил Сенека... Чёрт с ними, — я их ненавижу... Они, наверное, как и я, вот... то есть большинство их... это несомненно!.. У них к этому все задатки... В сущности, они заслуживают сожаления... да! Они не только не знают... не хотят знать жизни через других... Свой опыт! Он стоит дорого и... чем они будут платить за него, бедняги?.. Мне их жалко, этих мальчишек...

— Но... я уже достаточно пьян. Мама, я знаю, что это очень мерзко... но ведь мне сорок шесть лет, и нет никого на свете, кто бы нуждался во мне! А, мама? Ни души! Я не нужен никому! Никому! И мне, пожалуй, уже никого не надо. Потому что я... гм? Что я? Женя? Я?.. Пьяница... но еще что?.. Еще... Я скоро кончу мой путь... Достаточно?.. Что такое?

Учитель оглядывается вокруг себя, — ему кажется, что кто-то перебил его пьяное бормотанье тяжелым вздохом... В комнате полутьма и тишина. Взвизгивая, маятник часов отсчитывает секунды. Одинокий человек уже сильно пьян.

Он крепко трет лоб одной рукой, а другой, упираясь в ручку кресла, пробует подняться и не может.

— Напился, мама... как скот!

И он печально опускает голову на грудь...

— Ты говорил, Сенека,— пусть даже жизнь великое и несомненное благо... н-но я не куплю его... за сознание собственной гнусной слабости... Ты не купил... ты благородно умер. А я покупаю... И зачем мне н-ужна жизнь? Зачем? Мне и сотням тысяч подобных?.. Ты сказал: «Жизнь плохо сторожит нас...» Да, но мы довольны... ловко избегаем смерти... Кто это говорит?

И он снова оглядывается вокруг расширенными и налитыми кровью глазами. Никого нет.

— Н-да... Никто не говорит... а между тем я слышал голос... Я знаю, что это... Я понимаю... хотя я и пьян... Зачем я пью... зачем? Мама, зачем?.. Ведь так я погибаю, мам...

Пьяное бормотанье обрывается плачущей нотой, чем-то вроде визга. И учитель, наклонив голову на грудь и упираясь руками о ручки кресла, тихо плачет сам о себе, ибо чувствует страшную жалость к себе, постепенно погибающему человеку, и жалость эта тем более горька и тяжела, что во всем мире есть только один человек, которому действительно и искренно жалко его. И как он ни пьян, как ни больно ему, все-таки в нем живо некоторое чувство, и оно сквозь слезы заставляет его говорить такие речи:

— Разве это я сам? Разве я погиб бы... если бы... кто-нибудь... хоть однажды... Только ты, мама... умела, бывало... обласкать твоего сына... только ты, дорогая моя... Голубушка!

И при воспоминании о матери слезы еще сильнее льются из его пьяных воспаленных глаз.

А в комнате темно и тихо, потому что луна уже высоко и лучи ее больше не смотрят в окно.

Глаза учителя устремлены на стол; на бутылке с водкой виднеется тусклое пятно, точно чей-то большой глаз с бельмом...

— Спать...

Он пробует подняться на ноги, долго возится и не может встать.

— Вот как напился! — громко говорит он, и голова его понуро опускается на грудь...

— Каждый человек есть вселенная... под каждым надгробным камнем погребена целая всемирная история... Парадокс работы романтика Гейне... Почему все знаменитые евреи — идеалисты и романтики?.. Да... что такое?..

— ...Могила... и в ней я... всемирная история... Это смешно... Я пьяница... а вселенная — чёрт знает что такое... но я в ней один...

Лицо у него то и дело перекашивается от тех усилий, с которыми он говорит, борясь с рыданиями, подступающими к горлу. И его щеки мокры от слез... Концы усов опущены книзу, галстук съехал на сторону, и расстегнувшаяся рубашка обнажает неровно дышащую грудь...

Бывают моменты, когда в комнате слышны только визги и удары маятника да хриплое дыхание пьяного.

Но они кратки, потому что учитель всё хочет сказать что-то и всё бормочет свои бессвязные речи.

Он просит прощения у мамы, и жалуется ей на жизнь, и оправдывает пред нею себя...

Потом обращается к Жене с почтительной речью, не без нотки горького скептицизма, и говорит со стойком Сенекой тоном уважения о понимании жизни...

И вдруг начинает хохотать диким и пьяным смехом. Он никого не разбудит своими речами: к нему уже привыкла его квартирная хозяйка, а кроме ее, никто не может услышать его.

И часто, не имея сил добраться до своей постели, он так и засыпает в кресле вплоть до утра...

# КОЛОКОЛ

## НАБРОСОК

Церковь Трех святителей стояла на горе, а по склону горы раскинулся маленький уездный городок; он сползал к ее подошве, омываемой речкой, и с церковной колокольни был виден весь до последней лачужки.

Маленький, утопавший в зелени город, при взгляде на него сверху, производил странное впечатление: казалось, что некогда он стоял на вершине горы и чьей-то силой был сброшен вниз с нее.

Смятенная толпа однообразных домиков ринулась под гору и остановилась в хаотическом беспорядке, удержанная и разъединенная деревьями и кустами, покрывавшими гору веселой, живой массой.

И вот на пышном ярко-зеленом фоне тут и там сквозят темные пятна крыш и стен. В центре их стройно вздымается кверху колокольня другой городской церкви; металлический крест ее, отражая лучи солнца, сияет над плененным городом, как маяк, указывающий его жителям пункт, к которому они должны стремиться.

Эта колокольня и еще пожарная каланча — две высшие точки в море зелени, а над ними высоко на горе, в густой чаще лип, стоит Трехсвятская церковь — белая, яркая, с золотыми главами. Она построена уже давно каким-то богачом-помещиком, выбравшим местом для нее старый парк на краю горы. С трех сторон ее окружают могучие старые липы, осеняя своими пахучими ветвями ее стены; с четвертой, к городу, липы срублены. Церковная паперть гостеприимно смотрит на город, и кажется, что лес расступился пред ней для того, чтобы не препятствовать людям издали видеть тяжелую дверь в дом божий.

Лет пять тому назад ее ремонтировал заново первый городской богач — купец Антип Никитич Прахов. Он расширил ее, вызолотил иконостасы и главы, возвысил колокольню и пожертвовал колокол — очень большой, в шестьсот с лишком пудов. Такого колокола еще не было в городе.

Когда его поднимали на колокольню, это стоило больших хлопот жертвователю и немалого труда горожанам, — колокол шел очень тяжело — «нехотя», как говорили в городе.

Народ выбивался из сил, поднимая его, он то задевал за карнизы здания, то веревки путались и рвались... В толпе людей, уставших трудиться в жаркий летний день, то и дело слышались возгласы:

— Еще бы он легко пошел! Надо помнить, кем и на какие деньги он слит...

И, говоря так, горожане искоса поглядывали на суетившегося среди них Прахова. А он, возбужденный и энергичный, властно и ласково покрикивал на них:

— Ну-ну, ребятушки, дружно-о! Дружнее бери, православные! Для господа бога трудитесь.

Охая и ухая, с напряженными, потными лицами, горожане тянули веревки и вполголоса говорили друг другу:

— Для бога, как же! Рассказывай! Знаешь ты, живодер, бога. Для похвальбы, скажи...

— Бери-и! — возбужденно кричал Прахов, сам хватаясь за веревку.

Это был человек лет пятидесяти, высокий, плотный, с черными волосами, уже густо посребренными сединой, с большими умными глазами, смотревшими на всё из-под густых бровей сухо и иронически недоверчиво. Его крупный горбатый нос придавал широкому лицу в густой черной бороде выражение хищности и силы; высокий морщинистый лоб, властный громкий голос, уверенные жесты — всё это сразу же заставляло чувствовать в Прахове натуру, непреклонно гордую, цельную и незнакомую с мучительными колебаниями духа, с угрызениями совести.

Его, как человека очень богатого и черствого, никто не любил в городе, но он был силен своим богатством

и характером, и все боялись его, что еще более усиливало нелюбовь к нему.

И хотя, поднимая колокол, о Прахове говорили много нелестного, но громко раздавались только такие речи:

— Дай, господи, здоровья Антипу Никитичу, — радеет он у нас о храме божием!

Но Прахов был слишком умен для того, чтобы верить в искренность таких речей; он оставался равнодушен к похвалам и не сердился на порицание. Только когда колокол был уже поднят и укреплен, Прахов услышал нечто, сильно встревожившее его тогда.

Кто-то из горожан, присевших отдохнуть на церковной паперти, не замечая, что Антип Никитич стоит неподалеку, задумчиво и как-то особенно серьезно сказал:

— А должен бы этот самый колокол треснуть...

Прахов нахмурил брови, потом усмехнулся себе в бороду и молча ушел домой.

В день успения пресвятой богородицы колокол ударил первый раз к ранней обедне. Антип Никитич, замирая от тревожного желания услышать его звук, сам трепетными руками раскачал язык, и когда густой, певучий удар, сотрясая воздух, поплыл над городом за реку, в луга, — у Прахова замерло сердце и подогнулись колени от гордости и восторга. Могучий, удовлетворенный, он стоял на колокольне, широко расставив ноги, и, раскачивая язык по локоть засученными мускулистыми руками, бил тяжелым железом звонкую медь, — бил, пьянея от удовольствия, яростно ударяя языком, весь в поту, дрожащий, сверкая глазами.

И могучие звуки благовеста плыли в свежем воздухе летнего утра, плыли, далеко разнося свой призыв.

А когда благовест был кончен, Прахов сел на перила в прорезе колокольни и, чувствуя, что внутри его всё еще звучат плавные медные удары, стал, тяжело дыша, смотреть вниз на город, только что обрызнутый первыми лучами солнца.

Он видел, как по улицам шли люди и смотрели вверх на гору и на колокольню, где сидел он. Их голоса ему, конечно, не было слышно, но иногда они указывали вверх руками, и ему было приятно видеть это.

А еще приятнее для него было то, что все эти люди, там, внизу, были такие маленькие, жалкенькие, подленькие. Он довольно улыбался, сознавая, что каждому из них было бы так же, как и ему, приятно звонить в свой колокол, находясь высоко над землей, в свежем утреннем воздухе — выше всех. Только он один во всем городе имеет право на это наслаждение. Теперь весь город будет говорить о колоколе и о Прахове.

Вспомнят, конечно, все грехи купца.

Пускай! У него есть свой колокол, который гудит громче всех людских речей, — гудит, призывая людей к службе божией в храм его... А их речи — что ему их речи?

«Не судите, да не судимы будете». «Кто из вас безгрешен — пусть первый возьмет камень...» Они все там, внизу, считают себя безгрешными, все швыряют в него грязью разных сплетен... Что толкает их на это, как не зависть к его достатку, к его умению с пользой трудиться?

И с той поры, как он поднял колокол, он стал еще более горд, жесток и насмешливо недоверчив в отношениях к людям.

«Погодите! — думал он про себя, сухо улыбаясь. — Вот скоро выборы, посмотрим, кто будет городским головой!»

Он знал, что выберут его. Иначе невозможно, потому что большая часть людей, имеющих влияние в городе, стоит на его стороне. Тот ему должен, этот от него кормится, третий желает заручиться его дружбой, — все они уступят ему первое место в городе, потому что для них выгоднее уступить, чем самим занять это место. Найдутся упрямые люди, которые положат ему в урну и черных, но их мало.

Он будет головой, будет. Весь город попадет ему в руки, и захочет Антип Никитич Прахов, — будет жать из города все его соки досуха; он будет делать это умненько, и никто не помешает ему. А может быть, он захочет быть добрым и славным человеком, — тогда он всё свое состояние вложит в дело благоустройства города. Настроит богаделен, еще церковь выстроит, замостит и выровняет улицы. Всё в его воле, потому что он богат. Деньги — это сила, сильнее которой только один

господь бог на небе. Но бог милостив к нему; жизнь его вся сплошной труд и вся полна удач.

Часто Антип Никитич задумывался, вспоминая, сколько людей на его глазах плакало, жаловалось и ругало его. Многие, по его милости, испытали и испытывают нужду и горе, разоряясь под давлением его капитала. И когда он вспоминал это,— сердце ему неприятно щипало какое-то едкое чувство. Но вскоре он бодро встряхивал своей большой головой и вполголоса говорил:

— Бог того хочет, видно. Али я виноват в том, что удачливый родился? Живешь на земле, так не моргай. Я тут ни при чем. Бог того хочет...

И он снова принимался за свои операции, всё расширяя их круг. Он скупал, перекупал, продавал; его рука, как сеть железная, покрыла весь уезд. Он знал его, как свой карман.

Так вот он и жил, всё шире развертывая свои желания, всё более желая сосредоточить в своих руках силы — денег.

...Пять лет все двенадцатые праздники и все воскресные обеды Антип Никитич сам звонил в свой колокол и наслаждался его звуками.

Наступала пасха. В этом году она была поздняя: уже все деревья распустились, а липы, окружавшие нагорную церковь, готовы были зацвести и струили тонкий аромат. Земля дышала сочной влагой, и город весь утопал в молодой, светлой зелени. Речка еще не вошла в берега, но уже в лугах образовались зеленые острова. На страстной Антип Никитич говел. Строго относясь к этому обряду, причастившись святых тайн, он только выпил чаю с просфорой и — как всегда это делал — решил до утра не есть ничего. Весь день он провозился дома, готовясь встретить праздник, как подобает христианину и видному лицу в городе. К вечеру лег отдохнуть, приказав жене разбудить его в десять часов, чтобы отправиться в церковь и хорошенько посмотреть, всё ли там в порядке. Прахов любил блеснуть перед прихожанами красотой и богатством своей церкви: он с утра велел убрать ее с внутренней и наружной стороны зеленью, накупил массу разноцветных шкаликов и

фонарей и подрядил плотников сделать побольше «фигур» — звезд, крестов, сияний...

В одиннадцатом часу он был уже в церкви и, обойдя ее кругом, нашел, что всё сделано прекрасно. Это настроило его на благодушный, общительный лад.

— Всё в порядке, Лука? — спросил он у церковного прислужника, угрюмого старика-солдата, возившегося около паникадила, стоя на высокой лестнице.

Лука, редко говоривший что-либо утвердительно и обыкновенно долго думавший, прежде чем сказать свое слово, посмотрел с лестницы вниз, держа в руках зажженную восковую свечу, и хмуро ответил:

— Кажись, всё бы.

— А ты воском-то на меня не капай!

— Али я капаю?.. — равнодушно молвил Лука.

— А для чего же я говорил бы? Видишь — на рукав попало...

— Ишь ты... Только мне отсюда не видать.

— Слезь да погляди... — улыбнулся Антип Никитич, считавший Луку человеком придурковатым.

— А... пожалуй, слезу.

— Ну-ну, чучело! Делай дело-то. Доделывай, — проворчал Прахов, отходя от лестницы.

В церкви было сумрачно и жутко. Кое-где горели лампы; от их дрожащих огоньков по стенам, по полу и образам бегали тени. Пахло свежей зеленью, ладаном и горелым льном светилен.

Выпуклости иконостаса блестели в сумраке, как чьи-то большие тусклые глаза, и темные лики икон в металле риз смотрели сумрачно и важно. Каждый шаг будил гулкое эхо, и всё в храме было таинственно, казалось сосредоточенным на одной думе, охватывавшей собою каждую деталь. И чуткая тишина точно ждала чего-то. Пророк Исаия смотрел с левого клироса огненными глазами; лицо его было строго вдохновенно, и что-то карающее скрывалось в глубоких морщинах его выпуклого лба. А на правом клиросе Иеремия сидел на камне, изможденный, задумчивый и скорбный; он смотрел на церковного старосту печальными глазами, наклонившись вперед, и точно хотел сказать что-то трогательное и простое.

Прахов вздохнул и перекрестился. Потом он вспомнил, как ездил заказывать иконы и как торговался с мастером за пророков на боковые двери в алтарь. Мастер всё просил триста. И Антипу Никитичу еле-еле удалось выторговать на пророках сорок рублей. Евангелисты поменьше и гораздо худшей работы и то стоили почти четыреста рублей.

Полумрак и мертвенная тишь храма тяготили Антипа Никитича; он посмотрел на часы: было двадцать минут двенадцатого. Но ему хотелось уйти на воздух.

— Лука! Коли кто спросит меня, скажи, что он, мол, на колокольню полез! — кинул он старику и пошел из церкви.

— Я скажу,— внятно прозвучал вслед ему ровный голос Луки и расплылся по церкви в гулкий, продолжительный звук, от которого Прахову стало жутко...

— Экий несуразный этот солдат. Сменить его надо...— недовольно сказал он, поднимаясь на колокольню.

...Ночь была темна и торжественно тиха.

Луна зашла, и в темном мягком небе задумчиво сияли лучи звезд. Вдали над лучами медленно, чуть заметно поднималась вверх, гася звезды на пути своем, пышная, черная туча, и край ее точно дымился густым опаловым дымом. Ветви деревьев над городом тоже казались темным облаком; кое-где в нем сквозили полосы огней, вырывавшиеся из окон домов. По белому фону стен церкви там, в городе, двигались какие-то черные пятна.

«Это мальчишки готовят иллюминацию...» — подумал Антип Никитич и, вынув часы, наклонился к фонарю, стоявшему на балюстраде в прорезе колокольни. Было уже без десяти минут двенадцать.

Это обеспокоило Прахова, и он, тревожно нахмутив брови, бросил взгляд на городскую церковь. Ему было бы обидно, если б там ударили к заутрене прежде его: он уже пять раз кряду первый возвещал сбор к пасхальной заутрене могучим ударом в свой колокол. Он сбросил с себя поддевку и, засучивая рукава рубахи, гулко крикнул вниз:

— Ребятишки! Зажигай иллюминацию!

Потом он, поплевав на руки, встал под колокол, и одной рукой потихоньку раскачивая язык, другой взял часы и стал наблюдать за движением минутной стрелки, искоса поглядывая на городскую колокольню, по стенам которой уже вспыхивали фонарики, образуя из себя огненные изображения звезд и крестов. К нему вбежали трое мальчишек с зажженными фонарями и тоже начали, оживленно перетаптываясь, зажигать стаканчики на деревянных крестах, вставленных в окна колокольни.

Было без трех минут двенадцать. Антип Никитич решил ударить, быстро сунул часы в карман жилета, перекрестился и толкнул язык вправо, поймал его обеими руками и с замиранием сердца толкнул сильнее, еще сильнее...

..Густой, торжественный медный звук поплыл с колокольни на город, и, оглушенный, опьяненный его силой, Прахов, улыбаясь и зажмурив от удовольствия глаза, раскрыл рот и стоял, глубоко дыша, точно желая вместе с воздухом еще впитать в себя гул меди, содрогавшейся над его головой от нанесенного им удара. И там, внизу, ударили в колокол.

— Эхма! — с сожалением вздохнул Антип Никитич, слушая, как печально и слабо вибрирует звук трехсотпудового городского колокола. И он ударил еще раз, ударил и снова ждал ответа.

Два колокола точно разговаривали между собой монотонными, но полными разной силы и значения гулками голосами.

Колокол Прахова звучал густо и важно; каждый удар его с силой сотрясал воздух, и звон властно тек вниз широкой, могучей волной. В ответ ему раздавался более тонкий и более вибрирующий звук, он плыл в воздухе не так долго, как первый... и что-то стонущее, подавленное было в нем.

Антип Никитич, улыбаясь, пьяный от сотрясавшего его нервы гула меди, всё с большей силой бросал язык о края колокола, всё чаще и чаще ударял его. Он желал бы совершенно заглушить колокол городской церкви, хотя и теперь удары снизу долетали до его ушей слабыми, как воздух. Прахову стало жарко. Широко рас-

ставив ноги и утвердив на них свой сильный корпус, еще не потерявший гибкость молодости, он во всю силу свою бросал железо в медь и вместе со звуком ее вполголоса восклицал:

— Э-эх!

В глазах у него всё качалось, и огни на колокольные внизу прыгали вместе с ней то вправо, то влево. Ему казалось, что пол под ним тоже ходит из стороны в сторону и сама колокольная, вместе с языком колокола, раскачивается в воздухе.

Звон гудел торжественно и важно; всё сотрясалось, и Антип Никитич чувствовал себя блаженно летающим в воздухе...

Но вот еще удар — и колокол его как-то странно брякнул. Прахов приписал это слабости удара и со всей своей силой бросил язык в стенку колокола. Тогда родился странный, болезненный, дребезжащий звук. Он был так краток, жалок, раздался и умер, сразу же и погас, он уже не тек ровной волной туда, вниз, где по-прежнему взывал и рыдал к небу маленький, бедно вибрирующий колокол.

На Антипа Никитича откуда-то пахнуло холодом, и он замер, выпустив из рук язык. Ему не верилось... Медь над его головой как-то странно хрипела... Он протянул к ней руки и тихо стал водить пальцем по ней. Она была теплая, но он уже чувствовал, как она охлаждается под его рукой. Колокол внизу звучал как бы громче с каждой минутой.

Прахов вздрогнул с ног до головы. Он нашел. Теперь у него не было сомнения — колокол треснул: тонкая щель разорвала его край, и Антип Никитич, крепко сжав его обеими руками, прислонился к нему лбом и замер...

У него болела поясница, в голове шумно гудело эхо звона, и колени его дрожали. Он смотрел на город... В нем бродили какие-то странные, маленькие огоньки; они появлялись отовсюду и всё плыли во тьме по одному направлению — в гору. Это горожане шли к заутрене с фонарями в руках.

Все они, наверное, уже знают, что колокол треснул.

— Наказал ты меня, господи! Жестоко наказал... Сломил гордыню мою, — покорно и тихо сказал Прахов, робкими глазами глядя в темное небо, где туча уже погасила все звезды.

Завтра весь город будет говорить о колоколе, и никто не пожалеет Антипа Никитича Прахова, никто не знает, как больно и невыносимо ему стоять тут на колокольне и чувствовать себя сверженным на землю, разбитым. Он вспомнил слова, которые услышал пять лет тому назад на паперти, когда колокол был еще только поднят:

«А должен бы этот самый колокол треснуть...»

...Долго терпел господь жертву человека, но стала она противна ему, и он отринул ее от себя.

Огни, мелькая во тьме, всё выше вползали в гору. Слышны были звуки людского говора; они рождались и исчезали так быстро, как тени в солнечный, но ветренный день.

— Господи! — молился Антип Никитич, всё оцупывая дрожащими от волнения руками трещину колокола. — Господи! Жестоко возмездие твое! Зачем ты сегодня, в самый радостный день из всех дней твоих, наказал меня? Или уж я так грешен, как никто на земле? Все будут ликовать воскресению твоему, — меня же ты предал поруганию и смеху. Враги мои насмеются надо мной... ехидно насмеются. Все будут с восходом солнца радостны и веселы, я же, по милости твоей, — убит буду. Царю небесный, утешителю души!.. Остави мне долги мои!.. Разве я грешнее других?.. Вон Елизаров у брата своего родного жену отбил... с дочерью его даже... с племянницей родной... да разве мало грешников на земле? Неужели же только я один достоин быть покаранным в светлый день воскресения твоего?! О господи... разве я по своей воле? Жизнь такая... не я сотворил ее, господи, — все мы грешны пред тобою... Прости меня: сердцем каюсь тебе. Как иначе жить мне, коли есть многие, живущие хуже меня, и не наказываешь ты их?

Он стоял, прижавшись к металлу колокола, и бормотал вполголоса иссохшим от волнения языком свои молитвы и жалобы, подавленный вихрем мыслей, воспо-

минаний, вспыхивавших и угасавших в нем наподобие искр. Он чувствовал себя несправедливо обиженным, не по вине наказанным. В нем билось какое-то сильное слово к богу, но он никак не мог сказать его. Предупреждения свежесть охватила его разгоряченное тело; он вздрогнул и надел поддевку, отойдя от колокола... Когда он уходил, то погладил его рукой, как бы жалея гулкую медь. Он сел на верхнюю ступеньку лестницы и, спустив ноги вниз, задумался, глядя вдаль и чувствуя внутри себя щемящий сердце тоскливый холод.

...Снизу кто-то шел... Вот на повороте лестницы показалась лысая голова Луки. Он чуть не наткнулся на Прахова, остановился, почесал поясницу и равнодушно заговорил:

— А я было... к обедне ударить иду... Как колокол-то? Лопнул, говорят?

— В полиелей ударь... — кратко бросил ему Антип Никитич.

— Это можно... Лопнул, видно, и в самом деле... Оказия-то! Под светло Христово воскресенье и — вдруг... Грехи, видно, наши... Не стерпела медь-то...

По мере того как он спускался всё ниже по скрипучим ступеням лестницы, спокойный голос его становился всё слабее и наконец замер. Прахов, когда Лука уходил, смотрел сверху вниз на его лысину и думал — жалеет его Лука или нет? И, так как лысина блестела металлически холодно, — Прахов заключил, что Луке всё равно и что он ничуть не жалеет его.

— Господи помилуй! — вздохнул он.

В голове его неумолкаемо звучало эхо колокольного звона, и каждый удар имел странное свойство будить прошлое.

Возникали в памяти картины и события, давно уже забытые им. И едкое чувство тоски жгло его сердце, всё усиливаясь и возрастая. Вспоминая прошлую жизнь, он видел в ней много такого, чего бы он мог и не делать и что не отягощало бы теперь его душу. Много было в его жизни излишней жестокости к людям и жадности к деньгам...

...А уже день наступал.

Там, на горизонте, откуда выплыла в небо туча, светилась бледно-розовая полоска света, и тусклые пятна воды на лугах стали светлее, точно пыль лежала на них и теперь поднялась.

Туча в небе над колокольней разорвалась на пышные темные куски, и они медленно расплзались в пространстве, открывая голубые пятна неба со звездами, уже терявшими свой блеск в предчувствии рассвета...

— Христос воскрес! — чуть донесся до колокольни возглас священника.

Антип Никитич дрогнул и встал на ноги... Там, внизу, раздался странный гул, похожий на внезапный порыв ветра, налетевший на лес.

Прахов знал, что это прихожане отвечают священнику:

— Воистину воскрес!

Потом в воздухе полились звонкие голоса певчих, и среди них гудел бас, как проволока телеграфа во время зимней вьюги. Всё это долетало до слуха Антипа Никитича слабо и не трогало его сердца... Он стоял без шапки, держась за перила лестницы, и, глядя вдаль, думал:

«Господь простит меня... люди не забудут! Не с богом я живу, а на земле с людьми... И вот они завтра скажут про меня друг другу: „И медь, скажут, не вынесла грехов Прахова...“ Какие они мне судьи? А будут судить... Я же буду слушать их, и будет это мне... господи, боже мой! Неужто ж я и есть самый тяжкий грешник в городе и, кроме меня, некого было тебе наказать в день воскресения твоего?»

Ему представилось, как завтра все горожане с сияющими лицами будут целоваться друг с другом, говоря:

— Христос воскрес!

И отвечая:

— Воистину!

И к нему придут и тоже будут целовать его, и, наверное, все они, целуя, подумают о нем:

«Что, брат? Пришиб тебя господь-то? В самую светлую заутреню угодил тебя... А ты-то возносился! Ну, вот и свержен ныне — радуйся!»

А иные, быть может, лицемерно пожалеют его... И все поцелуи будут Иудиными...

«Говорил я этому, анафеме, там на заводе — толще лей! „Звон, говорит, не тот будет — нельзя!“ Ну, вот, завтра и будет звон!» — с тоской подумал Прахов, потирая себе грудь...

— О господи, господи! — вздохнул он и закрыл глаза. Он, в сущности, не упал духом, но ему было тошно и больно от волнения самолюбия его, пораженного этим случаем с колоколом. И он хотел бы, чтоб день не наступал.

Но уже брызнули лучи солнца и, как огненный веер, распростерлись в синеве небес. Пятна яркой зелени и воды в лугах отразили в себе солнце, на зелень точно пыль золотая упала, и вода заиграла радугой. Огненный край солнца поднимался из-за тучки, и вся она, пышная, как дым, была расцветчена в пурпур и золото. Необъятное пространство заливала река в половодье, и теперь далеко, вплоть до горизонта, по лугам были разбросаны серебряные пятна, точно зеркала разнообразных форм были разбросаны по зелени лугов и отражали в себе голубое небо.

В городской церкви звонили «во все». Лука тоже ударил «во все». Город точно трепетал, весь облитый ярким светом; зелень, окружавшая его, тихо колебалась под дуновением утреннего ветра; казалось, город колеблется, хочет поплыть туда, в широкое, просторное заречье, сплошь залитое солнцем и испещренное пятнами изумрудной зелени и перламутровой воды.

...Народ выходил из церкви, раздавался смутный говор, и в нем то и дело вспыхивали отдельные восклицания:

— Христос воскрес!

Сгиснув зубы, Антип Никитич смотрел вниз с колокольни. Из церкви лилась волна людей и, разбегаясь на отдельные струйки, уходила под гору. Звонкие голоса ребятишек звучали так же весело, как и колокола в умелых руках Луки. Полиелей гудел...

Прахов с тоской прислушался к веселому шуму, присмотрелся к яркому свету и тихо пошел вниз по лестнице, чувствуя страстное желание встретить человека, такого же обиженного, как он сам, или самому

обидеть кого ни то... Больно обидеть, так, чтоб тот человек тоже не чувствовал праздника.

Лицо Антипа Никитича было сурово, брови нахмурены, губы сжаты и нос опустился на усы. Он шагал через две ступеньки сразу и так смотрел своими хищными глазами из-под крутых бровей, точно на бой выходил.

— Христос воскрес! — всё звучнее неслоь на встречу ему...

— Господи! Жестоко! — вздохнув, сказал Прахов, на секунду остановился и потрянул головой...

А потом так же, как и раньше, твердо и уверенно, с боевым видом, пошел далее.

# СВАДЬБА

ОЧЕРК

...Поиграв во все известные им игры, они наконец решили обвенчаться. Эта идея пришла в голову Пете. Он разрушил четырехэтажную башню, возведенную сестренкой из игральных карт, и, оставив девочку несколько раздраженной его поступком, со скучным видом отошел к окну, влез на стул и, прислонясь лбом к стеклу, стал молча смотреть на улицу.

Шел дождь, небо было хмуро, и был слышен скучный, однотонный звук хлюпающей воды.

По лужам, среди улицы, ехала телега, на ней сидел мужик, закрывшись рогожей, и стук колес по камням мостовой казался Пете мокрым. А окна противоположного дома смотрели так, как будто дом был старый и слепой. Соня, сидя на полу, медленно собирала карты и, надув губки, посматривала в спину брата глазами, в которых ясно светилось желание побраниться с ним.

— Знаешь что? — обратился он к ней, не слезая со стула. — Давай венчаться!..

— Я с тобой играть больше не хочу... — решительно ответила Соня.

Тогда Петя спрыгнул со стула, подошел к ней и, сунув одну руку в карман панталон, другую положил ей на голову, а потом начал увещевать ее тоном человека, сознающего свое превосходство, тогда как она с руками, полными карт, мотала из стороны в сторону головкой, желая сбросить с нее руку брата.

— Какие вы глупые, все девочки... Ну разве можно сердиться за карточный домик? Он всё равно упал бы... А вот лучше давай венчаться...

— Не буду, не хочу...

— Сонечка! Ну, пожалуйста, давай... Это очень хорошо. Мы наденем на головы абажуры с ламп...

потом я надену красную шаль... потому поп — это буду тоже я. Поп и жених — оба я. А ты невеста, ты возьмешь белый абажур из гостиной и вязаную скатерть с круглого стола из маминой комнаты... Мы составим стулья и будем ходить вокруг них и петь... Хорошо? А потом будем устраивать себе квартиру, и всё у нас будет, как у горничной Аннушки... Помнишь,— когда она венчалась, тоже шел дождик, и папы с мамой не было, а у тетки Мани болела голова... А няня прищемила Верному хвост дверью, и он бегал по двору и визжал... няня ругалась!

Это воспоминание вызвало улыбку на личико Сони и смягчило ее.

— Невеста должна быть в кисее... а где кисея? — солидно заявила она, взглядывая на брата.

Он задумался, осматриваясь кругом.

— Если бы можно было снять с окна занавеску! Не достанешь...

— Порвешь — и будут ругать нас.

— Да... — согласился Петя и сел на ковер рядом с сестрой.

Они помолчали. Было скучно... Снизу, из кухни, глухо доносилась какая-то возня, иногда крики.

— Это Аннушка ругается с Фаддеем... — сообщила Соня.

— Они всегда ругаются и дерутся... Папа говорит, что нужно одного из них прогнать.

— А когда Фаддей был просто кучером, а не венчался с Аннушкой, он не бил ее,— задумчиво сказала Соня.

— Тогда нельзя было, она могла пожаловаться,— резонно объяснил брат.

— Кому?

— Папе...

— А теперь?

— А теперь уж всё равно... Они обвенчались.

— Разве когда обвенчаются, то можно драться? Петя помолчал.

— Фаддей говорит — можно... Он очень сильный. Он боролся с соседним дворником и повалил его...

— Аннушка тоже сильная...

— Но женщины не могут драться с мужьями...

— А почему?

— Грех! — сказал Петя, подумав.

Соня встала с пола и, поевшись, заявила, что ей холодно.

— Это оттого, что скучно, — объяснил Петя. — Если бы мы играли, а не сидели бы, как деревяшки, нам было бы и весело и тепло. Давай играть!

— Венчаться? — спросила Соня из глубокого кресла, куда она забралась с ножками и откуда выглядывал ее белый лобик в светлых кудряшках...

— Да! Ну, пожалуйста! Это ничего, что нет кисен, мы будем бедная свадьба. Мы возьмем в руки по большому карандашу у папы со стола, и они будут как свечи... Карандаши очень похожи на свечи, черненькое в них как светильня, а дерево как воск...

— Нужно, чтоб у меня был шлейф, — договаривалась Соня.

— Но ведь мы — бедная свадьба; зачем же шлейф?

Петя начинал раздражаться настойчивостью сестры. Эти девочки всегда капризничают.

— А где у нас будет квартира?

— За трельяжем, мы его немного отодвинем и заставимся ширмами... Потом устроим постель из пуфов, снимем у мамы полочки со стола — и это будет у нас комод. А вместо стульев — подушки с дивана...

— А потом?

— Что? — нахмури брови, спросил Петя...

— А что же мы будем делать потом?

Петя несколько смутился. Сестренка смотрела на него пылливо, видимо, игра начала интересовать и ее... Ее глазки сверкали огоньком оживления...

— Потом — это уже после... Там увидим... Будем жить... принимать гостей, можно притащить Жужу и кошку, и они будут гости... Будем ездить в театр — в мамину комнату... И вообще будем жить, как женатые; я буду с книгой уходить на службу, как папа, а ты будешь готовить обед и всё убирать, как...

— Мама ничего не делает... — внесла Соня поправку в порядок семейного дня...

— Я хотел сказать — как Аннушка... Потом я буду дуться, как папа, а ты уйдешь в комнату и будто бы за-

прешься... А я буду кричать на тебя, помнишь, как папа в воскресенье? Он даже кулаком стучал по столу и плевался,— оживленно рассказывал Петя...

— И ногой опрокинул стул... Я очень испугалась тогда,— задумчиво добавила Соня.

— Помнишь, как мама крикнула на него? Я смотрел в щелочку из детской и видел,— глаза у нее были большие, большие, а губы черные и дрожали. И вся она качалась...

— Страшно! — сказала, ежась в кресле, Соня.

— Это ничего... Мы, если хочешь, не будем делать этого... Мы будем просто жить. Потом, ведь ссориться только тогда нехорошо, когда ссоришься, а после ничего! Ведь папа и мама всегда после ссор добрее... Когда они помириятся, у них можно просить всего, чего хочется.

— Да... — согласилась Соня.

— Значит, будем играть?

— Давай! — и Соня соскочила с кресла.

Через несколько минут комната представляла из себя картину разрушения и хаоса. Мебель была сдвинута почти вся в один угол; и только посреди пола стоял стул, накрытый скатертью. К спинке его была прислонена раскрытая тетрадь нот.

— Это книга, которую читает поп, когда венчаются,— объяснил Петя сестре.

А она одевалась к венцу. Вытащив из буфета большую скатерть, она запутывала в нее свою фигурку и улыбалась, видя, что у нее будет прекрасный шлейф. На голове ее уже болтался большой зеленый китайский абажур; край его то и дело опускался ей на нос, и она взмахивала головкой, чтобы сдвинуть этот убор на затылок. На ее личике, в светлых кудрях, легли тени, и оно сделалось таким серьезным.

Петя устраивал себе ризу из бархатной скатерти, которую стащил со стола в гостиной. И на его голове позвякивал абажур, голубой, стеклянный. Пете было очень неловко в нем.

— Я буду архиерей, а не простой поп. Хорошо?

— Всё равно,— согласилась Соня, прикалывая себе булавкой к плечу цветы, оторванные от абажура.

— Ну, скоро ты готова? Я уже совсем... Вот еще нужно бы перчатки и галстух... Женихи это надевают... помнишь, ехали мимо двое.

— Это они ехали не венчаться... а просто на извозчике.

— А впереди их ехала же невеста!

— Это не их, а того, который сидел в ней рядом, в круглой шляпе...

— Ну... это ничего. Я без перчаток... Потому что ведь я же еще и архиерей.

— Что же теперь? — спросила Соня.

— Готова? Давай руку...

Он взял ее за руку и повел вокруг стола, надув щеки и сделав важное лицо...

— Го-споди помилуй! Господи... — пел он, закатывая глаза и раскачивая левой рукой так, как будто бы кадил. Соня шла за ним, потупив в землю глазки, жеманно склонив головку к его плечу и поддерживая свободной рукой шлейф.

— Спаси, господи, рабу твою Софью! — пел Петя и споткнулся о шлейф невесты. — Ну вот, напугала ты тут себе... Я так упаду... Подбери еще немножко...

— А у нас нет колец... — вдруг остановилась Соня... — Потому что нужны кольца.

Петя вопросительно посмотрел на нее, поправляя на голове абажур...

— Да, — кивнула она ему головкой, — нужны!

— Ну, ничего... Уж мы кончили... обвенчались. Теперь идем домой.

Они пошли в угол комнаты, изображавший собою их дом. Пришли туда и сели на двух пуфах рядом друг с другом и держась за руки.

— Давай же разговаривать, — предложил Петя...

— А о чем? — спросила сестра.

— О чем-нибудь... Нельзя же, обвенчавшись, сидеть и молчать.

— Мне не хочется говорить... — задумчиво сказала Соня.

— Ну, уж вот ты и капризничаешь... Совсем нельзя играть с тобой...

Соня осторожно высвободила свою руку из руки брата и стала откалывать булавки своего венчального наряда.

Петя, завернутый в складки пестрой скатерти, с абажуром на голове, с скучным лицом смотрел на нее, хмурия брови.

— Ты раздеваешься?

— Да... А что же уж? — спросила Соня.

— Я не хочу, чтоб ты раздевалась...

— Какой! — сделала гримаску Соня.

— Я могу не хотеть этого! Потому что теперь я твой муж, как папа мамин. Я...

— Я не играю ведь!

— А я не хочу, чтоб ты не играла... Ты моя жена и должна меня слушаться... Не раздевайся...

— Не кричи... Дурак!

— Ты не смеешь ругаться, — дура! — злобно вскричал Петя.

Но она вскочила на ноги, сбросила с плеч скатерть и абажур с головы и, топнув ножкой, раздражительно, обиженно, побелевшими и трясущимися губками бросила ему:

— Я скажу маме... Ты ругаешься... Дурак, чужак, дурак, болван.

— Ах ты... таракашка! — вскрикнул Петя и толкнул новобрачную в грудь.

Она не выносила, когда ее называли таракашкой. От толчка она покачнулась, опустилась на пуф и так неловко, что свалилась с него на пол к ножкам трельяжа... Ее розовая от гнева мордочка смотрела на Петю из-за большого листа филодендрона, а Петя, топая ногами по полу, склонился над ним и озлобленно кричал:

— Таракашка, таракашка! Скверная букашка!

Она, не вставая с пола, повернулась на бок, закрыла лицо ручками и горько заплакала.

— Плачь, плачь! Мне тебя не жалко... А мама воротится, она еще задаст тебе. Потому что я скажу, что это ты развозила всё по комнате... Да, скажу, и тебя поставят в угол, и оставят без пирожного, и не возьмут в цирк.

Бедной девочке показалось, что для первого дня брака всего этого чрезмерно много. Она взвизгнула и застучала ножками по полу.

— Уйди, Петька!

Он отошел к окну, довольный своей мезьтью. Там, сняв с головы абажур и скатерть с плеч, он снова стал смотреть на улицу.

Дождь всё еще шел. И было скучно...

За стеклом хлюпала вода, а в комнате дрожали рывдания сестры. Пете стало горько...

— Ну, не плачь... — не оборачиваясь, сказал он.

Она заплакала сильнее.

— Я тебе подарю пять сводных картипок, — хочешь? — спросил Петя, помолчав.

Она завизжала.

— Ну, Соня! — подошел он к ней... — Не плачь!

— Буду...

— Ну пожалуйста! — Он сел на пол рядом с ней и положил ей на плечо руку. Она сбросила ее, открыв на минутку свое красное от слез лицо.

— Сонечка! Ну, хочешь еще — буду читать тебе вечером сегодня?.. И выпачкаю няню чернилами?

И то и другое ей всегда очень нравилось; особенно хорошо было, когда Петя под предлогом, что няня запачкала чем-то себе лицо, прикоснулся пальцем, заранее выпачканным чернилами, к ее щеке или к кончику носа и на физиономии няни оставалось маленькое черное пятнышко. Представив себе это, Соня стала утихать.

— Погоди! — вдруг весь вспыхнул Петя. — Соня! Какая ты глупая! Разве я серьезно толкнул тебя? И ругал — разве серьезно?

Она открыла лицо и села рядом с ним, глядя на него недоверчиво, но заинтригованная его горячим тоном.

— Ведь мы играли, да?

— Да...

— Как? В мужа и жену, да?

— Ну?

— Так чего же ты плачешь?.. Дурочка!

Он расхохотался.

— А что? что же? — улыбаясь, спросила Соня.

— Какая ты глупая, какая ты глупая! — забил в ладоши Петя.

— Это ты не в самом деле ругался? — спросила Соня, уже сконфуженно улыбаясь.

— А ты думала — в самом деле? Взаправду? Ах ты — чучелка!

— Петя... ты...

— Да ведь уж это такая игра, что нужно ссориться! Всегда ведь ссорятся муж и жена, — ну, и игра в это если, то тоже нужно ссориться. Ах, как я тебя обманул! Ты подумай — ведь это же уж всегда...

— Какая я... — сказала Соня и вдруг, неудержимо засмеявшись, обняла брата и ткнулась ему головой в колени. У нее плечики даже вздрагивали от смеха. И Петя хохотал, приговаривая:

— Таракашка моя, баракашка ты моя!

Но Соня уже не обижалась на него за это.

И, сидя на полу, среди сгруженной мебели, они хохотали искренно и долго над этой смешной игрой в мужа и жену...

## ГРИВЕННИК

ЭПИЗОД ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО РОМАНТИКА

...Мне хочется рассказать самый грустный случай из моей жизни, рассказать о первой насмешке судьбы надо мной, о том, что впервые познакомило меня с тоской и заставило сердце мое в страхе задрожать от жестокой иронии случая, — иронии, которую так часто и так безжалостно действительность бросает в лицо мечтателей.

Это было весной; только что распустились деревья. Они стояли в пышном уборе зелени, еще бледной и девственной, и густой запах ее был так сладок, точно с неба он струился вместе с песнями невидимых глазу жаворонков.

Всё вокруг меня было свежо и ново — даже земля, на которой я лежал у опушки леса, казалась обновленной и как бы обещавшей людям много чего-то такого, что еще неведомо им.

Был полдень.

Партия рабочих, производившая технические изыскания для железнодорожной ветки, расположилась среди поля на отдых, а я, в то время двадцатилетний «практикант», студент-технолог, отошел от рабочих в сторону сажен на двести, лег у опушки леса и, облокотившись на старый пенек, смотрел в небо.

Ощущение новизны и свежести, веявшей от всего, что окружало меня, и та весенняя нега и мечтательность, с которыми знаком каждый, кто любит одиночество и природу, — всё это погрузило меня в состояние полудремоты, в призрачное нечто, сплетенное из многих полудум, полуощущений, сладко усыпляющих чувство бытия и в то же время как бы расширяющих границы сознания.

Иногда ветер тихо колыхал лес, и мягкий шум его ветвей еще более убаюкивал меня, уплывая в бесконечность небес, заглушая живые трели жаворонков и исчезающая в голубой пустыне, ласкавшей мои глаза нежным тоном своей окраски.

Мне было хорошо, и, как всегда бывает в такие моменты, я не сознавал времени. Бог знает, сколько минут или часов прошло в грезах до той поры, пока мой слух не уловил звуков песни, доносившейся из леса. Вместе со всем остальным, что звучало вокруг, я вдыхал в себя и эту песню, не разбирая ее слов, и мне было лень открывать глаза, чтобы посмотреть, кто это поет.

Но я сознавал, что это поет женщина, — поет и всё приближается ко мне. Сочный, сильный контральто лился широкой вибрирующей струей, и тихий шелест листвы как бы служил фоном ей.

«Должно быть, красавица...» — подумал я, открывая глаза.

Я не ошибся. Она как раз в этот момент вышла из леса и, вздрогнув, остановилась на опушке его. Одной рукой она схватилась за ветвь дерева, другую быстрым движением прижала к груди...

Высокая и стройная, в белой пуховой пелерине на плечах, в тяжелом сиреневом платье, плотно охватывавшем ее бюст и пышными складками падавшем от бедер к ногам, — она стояла неподвижно, устремив на меня большие темные глаза, и между ее тонких бровей легла резкая складка.

Она испугалась меня, испуг сверкал в ее глазах, и щеки ее сначала вспыхнули розовым огнем...

С пылающим лицом, готовая защищаться, царственно хороша была она! Боязнь не всю гордость убила в ней, и немножко презрения все-таки сверкало в ее взгляде на меня.

А я, очарованный ее красотой, неподвижно и не сводя глаз с ее лица, смотрел на нее и, не будь ее волосы черными, быть может, принял бы ее за фею...

Секунду, не более, наверное, она оставалась неподвижной против меня, но я много пережил в эту секунду. То хорошее, что падает в жизни на нашу долю, всегда измеряется секундами.

Великое наслаждение смотреть на красивую женщину глазами, не затемненными туманом низменных желаний.

Я именно так смотрел на эту женщину, и я не мог смотреть иначе, ибо не был уверен, действительно ли это женщина — существо из костей, крови и нервов — или же это воплощение неуловимых грез моих — всего, что я ощущал до момента ее появления предо мной.

Но вот она улыбнулась чуть-чуть, только углами губ, и пошла, и, когда она проходила мимо меня, край ее платья едва не коснулся моей головы, и легкое веяние опахнуло мне лицо.

Я был невыразимо счастлив, что мог смотреть на нее: поистине, она была дивно хороша! И особенно врезался в память мою ее лоб — высокий мраморный лоб, с тонкими выгнутыми бровями и резкой, гордой, царственно гордой складкой между ними. Это придавало ей вид богини, оскорбленной тем, что смертный осмелился не упасть ниц пред ее красотой.

Она уходила медленно, плавно и бесшумно; мне казалось, что стебли травы не сгибаются под ее ногами, и мне становилось грустно по мере того, как она уходила. Вот она уходит, и я не вижу уже больше ее дивного, гордо-прекрасного лица!

С каждым шагом ее грусть моя всё увеличивалась и сердце билось всё сильнее, точно стремясь вослед ей... Я уже готов был крикнуть что-нибудь, чтобы она обернулась и — хоть раз еще, один только раз еще — взглянула на меня.

И вдруг она действительно оглянулась. Тогда, повинаясь какому-то внутреннему толчку, весь вспыхнув от счастья, я поднялся с земли и протянул к ней одну руку...

Она, улыбаясь ласково и ясно, пошла ко мне. С чувством благоговейного трепета я ждал ее, и в глазах моих всё темнело и странно вращалось. Восторг, неведомый мне до той поры, охватил меня, я дрожал; быть может, я даже плакал от счастья...

Вот она подошла ко мне, я ощутил тонкий запах духов, что-то холодное капнуло мне в руку... я судорожно сжал ее.

И я долго потом смотрел вслед красавице, — долго, пока она не скрылась вдаль за придорожными кустами. Мне было до боли сладко смотреть вслед ей, и я чувствовал, что она не ушла от меня, — воспоминание о ней, прекрасной, великодушной, чуткой и гордой, как о символе всего лучшего в жизни, осталось в моем сердце навсегда вместе с отпечатком ее дивного лица...

Но вот я разжал руку, чувствуя, что в ней осталось что-то...

Лучше бы ослепнуть мне пред этим!

В моей руке был гривенник, маленький серебряный гривенник, но он был так страшно тяжел! Невыразимо тяжел!

Лучше бы она ударила меня, эта красавица!

Зачем, зачем она была так добра?

Я чувствовал, что душа моя неизлечимо ранена...

Я понял: моя грязная блуза и весь костюм рабочего заставили ее принять меня за бродягу; мой жест она истолковала как прошение милостыни...

Зачем она была так сострадательна?

...Мне не раз в течение жизни приходилось вспоминать об этом пошлом, маленьком, мещански скромном и блестящем гривеннике.

Я имел храбрость искать в любви высоких и чистых духовных наслаждений, ждал от нее возрождения духа, новой жизни, и когда та, которой я отдал душу, раскрыла предо мной себя, — я с болью вспомнил о гривеннике, легонькой, пошло блестящей монетке.

Я многого искал и много раз ждал... Но находил мало и всегда вспоминал об этом пошлом гривеннике.

И вот теперь, когда жизнь моя иссякла, стала пуста и скучна, — ибо нет больше у меня желаний, нет уже их! — и вот теперь, оглядываясь в прошлое, туда, где некогда ярко загоралась заря бытия моего, в даль, где остались надежды и желания, я спрашиваю себя:

— Не была ли эта женщина Судьбой: не была ли она Жизнью, которая всегда, когда приближается к нам, обещает так много, но, охватив нас, как нищим, бросает крохи и гроши и, исчезая, оставляет нас такими же нищими и убогими, каковы мы и в первый день рождения?

## ТРОНУЛО

С НАТУРЫ

Наступает ночь.

Уже вода реки впереди и сзади парохода потемнела и кажется густой, как масло, потемнела и яркая зелень кустарника, пыльным ковром покрывшая крутые скаты горного берега, поднимается ветер, сырой и холодный, небо сплошь покрыто тучами, неподвижно застывшими над широкой рекой, луговой берег далеко вглубь залит спокойной, блестящей пеленой воды, кое-где ее прорвали большие темные пятна островов, образовавшихся от убыли,— но разлив еще широк, и всюду на горизонте холодно блестят полосы воды, невозмутимо спокойной и ясно отражающей тяжелые лохматые облака.

А вокруг парохода, в фарватере, ветер поднял на реке шумную жизнь, маленькие волны идут друг на друга и плещут о борта парохода, разбивающего их в брызги и пену тяжелыми плицами колес; от кормы к берегам двумя пышными грядами разбегается вспененная вода, и тяжелые вздохи машины, вместе с неумолчной, навевающей скуку музыкой волн, наполняют сырой и гулкий воздух весенней ночи глухим шумом, таким же однообразным и мутным, как и это облачное небо над взволнованной ветром и судном многоводной мощной рекой.

Иногда на горном берегу вдруг появится огонек рыбацкого костра, от него ложится на воду алая кружевная лента отражения,— ложится и весело играет на гребнях волн, потом вдруг пропадает, скрываясь за камнями в углублении берега, за группой деревьев.

И опять слева от парохода молчаливо движется темная стена горного берега, а справа разворачиваются луга, уходя к горизонту, где темно и мрачно и откуда на

небо, точно рожденные землей, медленно вползают облака, тяжелые и темные, странных очертаний, грозящие дождем и молниями и громом.

Ночь всё приближается, и глухой шум на реке становится более гулким.

Горы вторят ему слабым эхом...

По террасе парохода, мимо окон общей мужской второго класса, то и дело заглядывая в них, медленно прохаживается старик, низенького роста, с седой клочковатой бородкой, с ястребиным носом и с маленькими жесткими глазками, ушедшими глубоко в орбиты.

По его сухим морщинистым щекам пробегает судорога каждый раз, когда он кидает острый взгляд в окно рубки; он крикает и еще глубже старается засунуть закинутаые за спину руки в рукава теплого пальто, надетого на нем. На ногах у него валяные сапоги, от этого его шагов почти не слышно, и это еще более усиливает хищность его фигуры. Кажется, что он подстерегает кого-то и сильно борется с нетерпением, охватившим его. Он весь как-то пожимается, — но не так, как жмутся от холода, а так, как это делают в волнении. На голове у него теплый картуз, съехавший на затылок, и старик то и дело встряхивает головой, как бы желая поправить его.

Из каюты доносятся громкие голоса и хохот, звучат стаканы, и из окон ее на террасу парохода и на воду реки падают полосы света.

Старик бесшумно шагает по ним и всё кидает острые взгляды в окна каюты.

В ней за столом сидит большая компания мужчин, — председательствует, что-то оживленно рассказывая и поминутно заливаясь смехом, полный и румяный господин в дворянской фуражке. Он, подложив под себя ногу, сидит на стуле и держит в одной руке стакан вина, другой бойко жестикулирует. Рядом с ним, с живым любопытством глядя ему в лицо, поместился высокий молодой человек, худой, с узкими, насмешливо прищуренными глазами и с тонкими бескровными губами.

Еще несколько фигур в разных позах свободно расположились за столом. Им весело. Варывы хохота то и дело доносятся до ушей старика...

— Тьфу, псы! — энергично и злобно плюнул он, когда публика в рубке расхохоталась особенно сильно.

С носа парохода на террасе появилась и пошла навстречу старику высокая фигура человека в долгополом меховом сюртуке.

Широкоплечий, солидный, с широким, чисто русским лицом в темно-русой окладистой бороде — этот человек поравнялся со стариком, добродушно улыбнулся ему и густым басом спросил:

— Что, Иван Петрович, операцию новую задумывашь?

— Куда же! Со старым дай бог до смерти управиться.

— Чего ж ты не в рубке, а топчешься тут, на ветру?

— Выжили...

— Кто?

— Вон эти! — И старик зло кивнул головой на окно рубки... Его знакомый с добродушно презрительной улыбкой посмотрел в окно, помолчал и, хлопнув старика по плечу, успокоительно заговорил:

— Ничего, Петрович, пуцай их бесятса... А ты знай сам себя и больше никаких... Давай-ко, сядем вот... Здесь не больно ветрено...

Они сели и молча стали смотреть на берег.

Плыли мимо какой-то деревеньки, выстроившейся по гребню горы... Жалкие огоньки мигали в окнах изб, ветлы печально качали вершинами над их кровлями, лаяли собаки, и слышалась, то появляясь, то исчезая, песня; странно ныряли и ее тягучие звуки в шуме парохода и реки. И по горе кое-где торчали избенки, в зарослях тоже сверкали огни, и из-за кустов возвышались трубы...

— Марьевка, надо быть... — кивнул головой на берег высокий и звучно зевнул.

Старик ничего не ответил ему и поежился.

Длинной черной точкой на воде мелькнула лодка — как большая рыба — и пропала из глаз, нырнув в тень

берега. Песня на горе звучала всё громче — пели в два голоса, и можно было безошибочно сказать, что пели в одной из изб, освещенной ярче, чем другие, — свет был во всех трех окнах ее и четырехугольным пятном смотрел на реку из отворенной двери.

— Кабак... — сказал знакомый старика, на этот раз указывая пальцем на гору.

Но старик и тут не ответил ему.

Тогда его спутник повернул голову и, наклонясь, взглянул ему в лицо... Старик вздохнул и отвернулся.

— А здорово же они, видно, тебя доняли!.. — полупросительно заметил высокий.

Старик дрогнул и, как-то подпрыгнув на лавке, вдруг быстро сухим трескучим шепотом заговорил:

— Понимаешь, — этот, оленинский-то барин, какую штуку загнул? Язва, пес. От Казани он всё утрафлял, как бы это меня кольнуть... То так, то этак подцепляется... Я молчу. Пес с тобой, анафемой, думаю себе, — валяй! Как ты меня ни трогай — не тронешь! Потому хоть ты и барин — да в кармане-то у тебя грош, а я, хоша и вторая гильдия, но могу тебя со всей твоей требухой купить. Молчу. А он всё измывается. Видно, не забыл еще, как я его сестру обставил... Из помещиц-то в город в емназию смотрительшей попала...

— Как же он тебя тронул? — полюбопытствовал собеседник старика.

— А вот... Спросил я себе прибор и хочу, это, чай пить. Вынул из мешочка чай, сахар, сухарик был у меня сдобный, — в Саратове купил, — апельсина кусочек. Вот, это, я налил чаю на блюдце, помакиваю сухарик и грызу себе тихо, смирно. Только он шаст в каюту, садится супротив меня и со смешком этак смотрит. Ангорном этот, длинный, с ним едет. Пассажиры привыкли уж, видят — будет потеха, поднимают башки, смотрят. Пассажиры всё прощелыга народ, студентишки и разные этакие баре, из голодающих... Которые с куска на кусок живут... У всех, это, на брюхе-то шелк, а в брюхе-то щелк... Ну, пью я... Пью и думаю: «Поехал во втором классе — зачем поехал? Какая мне может

в нем быть компания! Ни одного православного — всё шантрапа народ...»

— Ну, ну,— поторопил старика его слушатель.

Старик сделал паузу, вздохнул, плюнул, аккуратно растер ногой плевков, почесал спину о спинку дивана, еще раз вздохнул и начал, уже спокойный и ровный:

— Ну, вот он, оленийский-то барин, подперся, это, локтями на стол, оглядел публику и начинат: «Смотрите, говорит, господа, на его степенство Ивана Петровича Зверева и учитесь грошу цену знать. Вот, говорит, вам русский человек во всей его красоте, и такой, говорит, человек, который, значит, на смену нам, дворянам, пришел. Владеет, говорит, он сотнями тысяч денег, пароходы у него и баржи, мельницы и земли... дерет, говорит, он с живого человека шкуру... и всё такое... и до сей, говорит, он поры, честные господа, порядочно жрать не выучилси. Извольте, говорит, посмотреть, как он на свои сотни тысяч питается. По питанию его — голубь он, воробушек, малая птица, а аппетит у него — всё ж таки волчий... Как, говорит, это понимать? На что, говорит, он живых людей до нищенской суммы объедает, ежели он сам так мало и так скверно ест?»

Голос старика всё понижался и опустился до шёпота.

— Потом ко мне он... «Иван Петров! Пожалей, говорит, себя и Россию, закажи себе котлету за два двугривенных... А то ты, говорит, с голоду подохнешь, этак-то питаючись! А ведь тебе нужно беречь себя, потому ты, говорит, купец — первейшее по нынешним временам лицо в жизни... Поучись же ты, как порядочному человеку есть надо!» И пошел, и пошел. Хохот! Ржут все — как лошади. Меня аж лихоманка бьет... Покрыл я, это, стакан на блюдечко и говорю: «Проесть деньги, барин, не трудно, мол, а ты вот накопи их попробуй...» А он мне: «А для чего их копить?» — «Именье, мол, может оправдать, а то банк-то скушает его у тебя...» Воззрился, это, он на меня за такие мои слова зверем, а я картуз надел да и был таков... Вот и теперь всё грохочут — рассказывает он им про меня. Как да что... Охальник...

Старик сделал паузу и нервно погладил свои бока руками.

— Да,— сказал, улыбаясь, его собеседник,— на счет еды они точно — что мастера... Умеют это...

— Нет, погоди! — воскликнул старик,— а рази мы им в этом уступаем? Да ежели я захочу...

— У нас пища тяжелая,— перебил его собеседник.

— Тяжелая? Кто мне может помешать на мой капитал есть, ежели я захочу ее, легкую пищу? Вот пойду в буфет и скажу — давай мне всего на четвертной билет! Весь стол уставлю пищей... и не есть я ее буду, а влезу на стол и буду по ней ногами ходить! Всё испорчу — посуду, салфетки, и за всё чистыми деньгами заплачу! Как он, острожник, может говорить, что я, православный человек, не умею есть? Врет! Я, при моем капитале, всё умею! Я всего могу. Я шестьдесят три года хребет гну, работаю, благодарение богу,— сыт тем, что ем, и он не может меня за это попрекать. Есть я, вишь ты, не умею! Эх ты...

— А ты не так сделал — надо было ему по-другому нос-то утереть, — посоветовал старику его слушатель.— Надо было сейчас заказать самое дорогое...

— Поди! — махнул рукой тот.— Тоже сказал! На смех ему, что ли, я дался?

Он замолчал, вздыхая и возмущенно теребя свою бороду. Вдали, по реке, вдруг вспыхнул нестройный ряд огней.

— Пристапь...

— Нет, я думаю теперь — чего они кичатся, чего форсят? Исхиз ведь народ, а всё нос держит к небу. Житья им нет, прямо петля — дело, а они хоть бы что! Смеются... Везде, где ни послушай,— швах барские дела,— а баре всё живут с веселым духом. Какая тому причина?

— Не думают про завтрашний день...

— Разве что...

— А то как? Мы за рублем-то целый день гоняемся, гоняемся — глотку перехватывает с устатку, все жилы в работе...

— А они — не так... Они, это верно, они — птицами живут.

Собеседники замолчали...

Огни впереди разгорались всё ярче, и во тьме были видны постройки, баржи у берега, лодки...

— Иван Петрович! А не поужинать ли нам?

Старик, смотривший по направлению к пристани, живо обернулся и сухо спросил собеседника:

— То есть как это?

Тот засмеялся.

— Не бойся, не по-ихнему... Мы по-свойски, по-русски. Уху спросим, телятины, а то поросенка холодного... а? Еще чего-нибудь...

— Давай... Только не тово... не этово... не тут,— он кивнул головой на рубку,— мы давай в третий класс сойдем...

— Ну, ин так. А тронул он тебя, Оленин-то?

— Еще бы! Есть, говорит, не умеешь... а? Есть! Да понимает ли он, что я даже его самого могу съесть за эти самые насмешки? Мне Варзкин кумом приходится, а у него есть закладная на оленинскую рощу да на весь куртумский участок. Вот я скажу Варзкину — прижми! давни! Оленинского барина! До слезы его дави... Он сичас рраз?! Что ты тогда есть будешь, барин? Совсем тебе нечего будет есть, хоша ты на это дело мастер...

— Плюнь на него... Не сердись... Наше будет наше, а ихо будет ихо...— добродушно усмехаясь, сказал собеседник старика.

— И ихо будет наше...— твердо и сурово сказал старик...

Они встали и пошли. Старик шел своей крадущейся, хищной, бесшумной походкой, его собеседник стучал по террасе кожаными калошами, скрипел, харкал, сморкался и вообще создавал вокруг себя какой-то разнообразно нелепый шум...

Пароход пошел тише... На берегу, на темном фоне зелени ветел, обрисовалась белая церковь. Ее колокольня возвышалась высоко в облачное небо, и с нее слетали печальные звуки ударов в сторожевой колокол. Где-то играли на гармонике... Борт парохода ударился о пристань, раздался жалобный скрип дерева. Под колесами глухо бурлила вода.

## АРТИСТ

С НАТУРЫ

Толпа рабочих-крючников расположилась у железнодорожной насыпи в ожидании, когда им подадут вагоны для разгрузки, и, лениво перебрасываясь односложными замечаниями, скучала. Лица утомлены, в поту и грязи, позы вялые, разговор не клеится, большинство полудремлет, забросив руки за голову... Издали, с выставки и из гостиниц, до них доносятся бойкие звуки бравурной музыки, глухой шум голосов, шипение струй фонтана, с другой стороны от них с грохотом и пронзительным свистом несутся взад и вперед паровозы.

— Скучища... — замечает колосс с рыжей бородой, в студенческой фуражке...

— А ты вон слушай — музыка, — позевывая, советует ему рябой коренастый товарищ.

— Веселятся люди... которые имеют время на этот предмет, — сентенциозно говорит пожилой мужичок с лысиной и лицом суздальского типа...

Пауза. Солнце то спрячется в облако, то снова выглядывает, и рабочих то и дело одевает тень. Гул музыки несетя всё задорней, и грохот паровозов точно гаснет в нем...

— Ишь как заяривают, — с улыбкой зависти говорит молодой круглолицый парень...

— Поди-ка туда да и спляши им под музыку-то. Авось тебе дадут...

— В шею... — доканчивает бородач речь лысого.

Некоторые из толпы хохочут.

— Это самое их веселье не нашего характеру... не понимаемое, значит, нам, — кивая головой на выставку, говорит рябой и коренастый рабочий. — Нам бы вот

ежели Мирон кузницу представил, это бы очень нашему брату приятно, — доканчивает он.

— Могу! В рот те кол с сучками! — раздается из толпы, и этот веселый возглас сразу навевает на нее оживление... Все сдвигаются около кривого вихрастого мужичонки с морщинистым лицом и с редкой, кустиком, растительностью на шее, подбородке и щеках...

— Ну-ка, Мироша, разыграй! — поощряют его, улыбаясь и немножко заискивая пред ним. Он уселся на корточках в центре толпы, с любопытством окружившей его сплошным кольцом, взял в руку горсть песка, поднес кулак ко рту и визгливо крикнул:

— Кую! Бум!

Из его горсти вылетела струйка песку.

— Лум! Пш-ши! Бум! Трр...

Он дул в свой кулак углом рта, из кулака вылетал в виде искр песок, другой рукой он колотил себя по выпяченному животу. Раздавались гулкие удары, лицо его вздрагивало, глаз сверкал, ноги отбивали по земле частую дробь. Он весь содрогался и подергивался, точно в пляске святого Витта, и то басом кричал: «Бум! Ох!», то шипел, кривя лицо.

А из кулака во все стороны летели струйки песку, и живот звучал, как барабан. Издали неслась мечтательная мелодия вальса. Легкие, ласкающие душу звуки плыли в воздухе и таяли. Мирон делал такой удивительно разнообразный шум — он шипел, высвистывал, гулко ударял себя в грудь и живот — целая какофония самых странных звуков... Шипело железо, погружаемое в воду, искры трещали, падали глухие удары молота... курился дымок... Пот выступил на лбу артиста...

— Бум! Кую! Ш-ш-ш!.. Всё!

— Вагоны подали!

Смеясь, толпа рабочих, оживленная, с пробужденной энергией, пошла выгружать товары. Мирон торжествовал, сверкая своим глазом...

Издали всё плыли тихие звуки мелодии вальса.

## СКАЗАНИЕ О ГРАФЕ ЭТЕЛЬВУДЕ ДЕ КОМИНЬ И О МОНАХЕ ТОМЕ ЭШЕРЕ

ПО ХРОНИКЕ О БИТВЕ ПРИ ГАСТИНГСЕ \*

... Уже солнце, всегда такое яркое и такое равнодушное к делам людей, — уже солнце давно взошло над полями аббатства Гастингского, а норманны еще спали, изнуренные боем, длившимся до полуночи, так что люди обеих стран только по языку узнавали, кто враг, и во тьме сокрушали друг друга роковыми ударами топоров и мечей.

Первым проснулся рыцарь Этельвуд де Коминь, один из храбрейших графов Завоевателя, проснулся и вышел из лагеря, чтобы посмотреть на жатву смерти и порадоваться успеху своего короля и знамени. Много нанес вчера граф Этельвуд ударов саксам, и болело плечо его, часто взвивались вчера тяжелые топоры островитян над головой храброго рыцаря, но святой Георгий сохранил его для славы знамени и помощи королю.

Взошел граф де Коминь на окопы аббатства и увидал он: пред окопами лежат все храбрейшие из норманн, — верно били топоры саксов, и среди норманн нет раненых; а в окопах трупы побежденных — мать божия, как много их! И вот среди светлых кольчуг баронов и их людей лежат тринадцать трупов в черных длинных одеяниях, — это аббат Гиды и монахи его. Храбрые были люди — все убиты ударами в грудь. Вот лежит могучий

---

\* В 1066 году король норманнов Вильгельм, прозванный впоследствии Завоевателем, переплыв с многочисленными рыцарями из Нормандии через Ла-Манш в Англию с целью ее завоевания, сразился с королем саксов Гарольдом при Гастингском аббатстве и, разбив островитян наголову, укрепился в их стране.

Тайлефор с головой, разрубленной до плеч, — страшно тяжелы топоры саксов, и есть-таки сила у этих храбров — железо они разрубает, как дерево.

Вот знаменосец Вильгельма Тустен де Блон, сражен ударом прямо в грудь — бедный юноша: даже сердце его видно чрез рану... И всюду, куда достигает глаз рыцаря Этельвуда, всюду лежат храбрые, и им уже не поднять больше своих мечей, и как бы ни светило ярко солнце, не оживит больше оно этих юношей. Нет, не оживит...

И стало грустно на душе у рыцаря графа Этельвуда де Коминь.

«Восходит солнце и нисходит солнце, а земля пребывает вовеки, как говорил мудрый аббат Терульд из Булони», — печально подумал граф, отирая слезу.

«И вовеки царит вражда на земле между людьми, которые братья между собой, как учил Христос. Братья — а зачем же столько трупов лежит на земле и столько крови впитала она, что вот я вижу — пар поднимается от полей, и запах идет от них, и испорчено им святое дыхание широких небес? Зачем нужна была эта земля королю моему, и не было ли бы праведнее всем нам оставаться в Нормандии, а саксов оставить спокойно жить на их островах? Но вот мы пришли и убили, и много нас убито, тогда как в книгах сказано: „Не убий!“... И я убивал иного с гневом, иного с наслаждением; над потерявшим оружие — с жалостью заносил я мой меч и все-таки убивал его. Вон тот человек — смеялся мне вчера в лицо, когда я упал с коня, а он готов был разрубить мне грудь, но я успел отразить его удар, и мой меч выбил все его зубы и отсек всю верхнюю часть головы. Он на меня упал, выронив из рук свой страшный топор, и когда он падал, руки его были так распростерты, точно он хотел обнять меня, а кровь его лилась мне на грудь. И теперь она на мне. Много славных ударов нанес я вчера, и барды расскажут о них по всей земле. Много славы добыл я королю моему, и он не забудет обо мне, когда станет оделять рыцарей ленами. Богат я и славен, и еще много силы в руке моей, — но почему же эта тень пала на сердце мое, когда солнце и будущее так ярко улыбаются мне?»

И он, смотря на жатву смерти, долго думал так, и всё тяжелее было на сердце графа, которое раньше никогда не знало страха и которому печаль была неведома.

Ныне же произошло это потому, что рыцарь остался один и задумался над вопросом более глубоким, чем его ум, а Соломоном, мудрейшим из царей, в книге Экклезиаст сказано: «Во многом ведении много и печали, и кто умножает познания — умножает скорбь».

И когда скорбь графа Этельвуда стала невыносима ему, стала тяжелее рыцарских доспехов его, — он решил пойти к епископу байескому, который по матери был братом короля Вильгельма и отличался большой мудростью. И вот граф пришел к нему и рассказал о боли своего сердца мудрому епископу. Молча, со вниманием, выслушал его тот и потом так сказал:

— Я понимаю вас, храбрый рыцарь, сын мой, я очень хорошо понимаю вас. И я вот что могу сказать вам на вашу речь: человек, кто бы он ни был, должен следовать влечению своего сердца, граф. Итак, если сердце ваше получило отвращение к войне и подвигам рыцарским, — идите служить крестом, а копьё ваше подарите кому-либо достойному его, и этому же человеку отдайте ваш меч и другое вооружение, ибо очевидно, что ваше сердце, сын мой, утомилось славой ваших подвигов, и, значит, рука ваша не в состоянии будет с честью держать рыцарское оружие, потому что мощью руки двигает сила сердца. Итак, доблестный граф, сын мой, вот что я сказал вам. И если на вас лежат какие-либо обеты рыцарские, я разрешаю вас от них во имя отца, его сына и святого духа! С миром идите, граф Этельвуд! Но я думаю, что еще снова увижу вас под знаменем короля с вашим добрым мечом в руке и за столом короля с кружкой эля пред устами.

Сумрачен, как день поздней осени, вернулся граф де Коминь под свой шатер. Там лежал на богатом ковре, работы рук саксонских женщин, пьяный рыцарь Дарси — человек этот только тогда не пил, когда дрался, — а рядом с ним стонал и бредил раненный в голову храбрец дю Вернуа, еще молодой, но уже славный, еще юный, но уже умирающий. Рядом с шатром графа

де Коминь пел нежным голосом де Руссель — дамский угодник, должно быть, закручивавший свои рыжие усы, чтобы пленять ими сердце голубооких саксонок. Он был крив — стрела выбила ему правый глаз, — но он был силен и гибок, как молодой дуб. На родине много женщин поссорилось между собой из-за его усов.

Граф Этельвуд подумал про всех этих добрых рыцарей, что они идут к смерти дурной дорогой, и не знают этого, и не могут стремиться найти другую, лучшую, а вот он, граф Этельвуд де Коминь, знатный человек в войске короля, он уже стремится на иной путь. И он почувствовал в себе гордость своим намерением и презрение к товарищам прежней жизни — жизни, которую не хотело уже больше выносить его сердце, желавшее новых подвигов на новом пути. И в мечтах своих граф видел себя епископом — вот он идет впереди пилигримов под знойным солнцем святой земли, ко гробу господу. Тысячи людей сзади его... И он — король этой неисчислимой армии бога — армии, проливающей слезы о господе, а не кровь людей, у которой стягом служит хоругвь, а не знамя, и девизом — не победа над ближним, а победа над самим собой...

И скоро после всего рассказанного простился с королем и товарищами граф Этельвуд, отдал свои доспехи сиру Русселю и, оседлав коня, без шлема, меча и щита, без всякого, кроме ножа, оружия, отправился в путь, стремясь в Марсель, где собирались тысячи людей, желавших поклониться гробу господу, и где на берегу моря в скалах жил Томас Эшер — отшельник, слава о котором гремела на континенте давно уже и который воистину был мудр, как Соломон, ибо он знал не только учение господу нашего, но и все премудрости латинян, эллинов и других язычников древности, с успехом пользуясь ими для прославления истины. Граф Этельвуд хотел поучиться мудрости у Тома Эшера, дабы потом отправиться к епископу Одберту и просить себе у него посвящения в сан диакона...

Но все мудрствования человека пред таинственной мудростью судьбы его — веяние ветра пред горой, вершина которой в облаках, а подножие из гранита, ни с чем не сравнимого в своей твердости. И вот читатель

увидит, что будет с графом Этельвудом де Коминь, человеком смятенного ума.

Томас Эшер, мудрый отшельник, был человеком весьма преклонных лет, уже седой весь и сильно согбенный бременем опыта, но никто из беседовавших с ним людей — какой бы он знатности и силы ни был — не выдерживал блеска глаз Тома Эшера. Он, этот славный отшельник, жил над морем в скалах, склонивших свои вершины над волнами, неугомонно бившими в их основания. Всегда слушая ропот моря и созерцая беспредельность его, отшельник имел взгляд задумчивый, глубокий и такой острый, что каждому, кто посещал его, казалось, будто взгляд отшельника проникает в недра сердца и видит все сокровенные его тайны. И всё это почувствовал на себе граф Этельвуд, когда он, утомленный своим путем, сел на камень в пещере отшельника, против него, и почувствовал его взгляд на своем лице.

— Что ты хочешь от меня, сын мой? — спросил его Том важным, но ласковым тоном. — Вижу, что ты из знатных господ, а так как нега и знатность очень редко ищут мудрости, — не понимаю я, зачем ты пришел.

— Достопочтенный отец, — ответил покорно граф, — я пришел искать у тебя ответа на вопрос, как мне жить и что делать, чтобы дух мой был покоен, ум тверд и чувства чисты и человека достойны. Я — рыцарь короля Вильгельма и долго жил, как все, — сражался и убивал, пил и пел, любил женщин и ничем не отличался в моей жизни от всех прочих людей. Но однажды пала тень тоски на душу мою, и я увидал, что путь мой к смерти — ложен. Я хочу иной жизни и иных подвигов, отец мой, и вот я пришел к тебе, известному мудростью, спросить тебя, как мне жить и что делать, чтобы чувствовать себя звеном в цепи событий жизни, а не былинкой, носимой повсюду игрою судьбы...

— Сколько лет ты прожил уже? — спросил его Том.

— Тридцать и один год, почтенный мудрец.

— Продолжай свою жизнь, не ломая ее, ибо это едва ли тебе будет по силам, — спокойно сказал ему Том.

Задумался рыцарь Этельвуд.

«Я не так, видно, судил о мудрецах, — думал он. —

Я полагал, они говорят больше и речи их не похожи на речи простых людей. Что он советует мне? Разве я уже не думал об этом?»

И он сказал вслух:

— Я думал так, но не могу воротиться на путь, с которого ушел.

— Тогда поступи, как я, — удались от жизни. Вот видишь, как я живу, — надо мною небо, предо мною море — и то и другое необъятно и безгранично; под ногами моими земля, но в этих скалах я чувствую себя как бы на краю ее, как бы на пороге в вечность. Я не вижу иного волнения, кроме волнения моря, и иной борьбы страстей, кроме бури. Мысль моя сосредоточивается на великих тайнах жизни, и я думаю над ними дни и ночи, всё мое время. Иногда мне кажется, что я проник в смысл того, что до меня не было доступно умам людей, — тогда восторг, — тихий восторг, — охватывает меня, и я чувствую душу мою близкой богу. Светила небесные плывут над морем и, когда оно покойно, отражаются в нем, а я смотрю на них и думаю о великом творце всего видимого и невидимого и стараюсь проникнуть в цель его вечного творчества. Иногда же мне кажется, что меня уже нет, что я растворился в мире и всюду, в каждой точке его пространства есть частица моей души, иногда весь мир я чувствую в моей груди. Так покойно и просто я живу, и у меня нет желания жить иначе, у меня даже не возникнет и желания желать чего-либо, ибо душа моя и ум мой всегда заполнены. Берег здесь усеян рифами — и поэтому ни корабли, ни какое-либо движение не нарушает покоя моего созерцания; всё, что творится в море, — творится там, за чертой горизонта, и недоступно моему глазу. У меня нет прошлого, — находясь всегда пред лицом бога, неба и моря, я позабыл его. Поэтому же у меня нет настоящего и не будет будущего, — ибо чем я могу отметить течение времени, если вокруг меня нет жизни, и что мне до будущего, если настоящее мое сладко, как сон ребенка, — сон, полный невыразимых словами грез? Вот — поступи, как я, удались от жизни и создай себе в душе своей новую жизнь.

И опять глубоко задумался рыцарь Этельвуд.

«Может быть, это хорошо — всё, что он сказал, но хотя я и храбр — я не чувствую себя способным умереть ранее, чем смерть придет за мной».

И он сказал вслух:

— Достопочтенный отец! Кровь в моих жилах красна и горяча, — я люблю жизнь, я хочу жить. Но я хотел бы очистить душу мою от страстей и избавить себя от борьбы с силой их. Вот чего — теперь я понимаю, это так, отец мой, — вот чего я ищу. Страсти надо победить в себе, не так ли, мудрый?

Широко открыв глаза, странным взглядом посмотрел Том Эшер на рыцаря.

— Страсти победить и жить там, в той жизни? — спросил он Этельвуда.

— Да, да, вот именно, как сделать это?

Восхищался умом граф де Коминь, потому что сам нашел исход себе, хотя и искал его у мудреца, но нашел раньше его и гордился собой. Совсем ребенок по уму был он, этот граф Этельвуд!

— Рыцарь! скажи, сын мой, — это для того тебе нужно, чтоб отличиться от людей, не походить на них?

— Да, ибо ты, отец, знаешь, что все они грешны и что жизнь их не устроена, а пути жизни темны и непонятны им. Куда они идут?

— А ты куда? — спросил Том Эшер и улыбнулся улыбкой мудрого.

— Я совершенства жажду!

— И хочешь убить страсти? Слушай, рыцарь, что я скажу тебе, — ты выдумал боль своего сердца, а не дожил до нее и не выносил ее в себе, как женщина свой плод. Подумай, — чего ты хочешь для себя, и для других ты хочешь того же?

— Да, мудрец!

— Неразумно желание твое, сын мой. Ибо страстью творимый человек — страстями творит жизнь свою, и всё, что существует, как созданное им, — страстями его создано. Они двигают жизнь силой своей, и ими жизнь расширяется. И чем горячее они, тем быстрее совершается круговорот жизни; если же вырвать их из сердец людей, движение жизни остановится. И потому нужно с ними бороться не с целью победить их, а с

целью слияния их с духом. В чем совершенство? В сфере — ибо в ней полная гармония частей, и к гармонии человек должен стремиться, округляя свои чувства и ум. Развивай то и другое и соразмеряй ум и чувства в себе так, чтобы получалось равновесие в душе твоей, и увеличивай страсти твои, ибо они творят и разнообразят жизнь, а в разнообразии жизни — счастье людей. Все люди никогда не будут ни праведными, ни благородными, они никогда не родятся на одно лицо, и чем они разнообразнее, тем разнообразнее дела их. К воспитанию духа должны стремиться они и духу святому поклоняться, ибо в самой жизни, помимо их усилий, есть течение, неуловимое умом, но оно клонится к разнообразию форм и должно быть освящено духом, единой сущностью. Сочетать в себе дух и чувство в благородной гармонии — вот задача человека, а желание твое — убить страсти — неразумно, сын мой, ибо ты есть человек жизни и жизни жаждешь, уйти же от нее — нет у тебя сил... Вот моя речь, сын мой!..

Задумался сир Этельвуд: никогда раньше он не слышал таких мудрых речей и, подумав, спросил Тома Эшера:

— Как же я достигну этого?

— Не бойся смотреть в глубину сердца своего, — оно всегда и у всех хранит в себе искру справедливости, и ум его светлее ума головы.

— Что же я должен делать?

— Нет у человека учителя более мудрого, чем он сам.

«Хорошо это! — подумал граф Этельвуд де Комиль. — Посмотрю же я в глубину сердца моего».

А Том Эшер говорил ему:

— Я скажу тебе, рыцарь, кто ты. Видишь ли что: есть много людей на свете, у которых сердце, как арфа Эола, послушно звучит при каждом порыве ветра, но оно никогда не дает музыки лиры Орфея. Это твое сердце, сын мой. Таких людей много, у них никогда нет в душе своего, и так как пустота невозможна, они наполняют души свои чужим. Они, как пчелы, со всех цветов собирают соки, но меда из них не делают. Часто они ошибочно впитывают в себя чужое горе и тоже выдают его за свое, но скоро выбрасывают его из себя, как

нечто беспокоящее их. А когда душа их подолгу пустует, они выдумывают себе что-нибудь и долго живут выдуманным. И пока оно есть в них, они чувствуют себя людьми, а когда растеряют его, снова стремятся чем-либо пополнить пустоту души своей. Вот этого избегай, сын мой, имей самого себя всегда дома — и ты не почувствуешь влечения к тому, к чему ты неспособен по рождению твоему. И не станешь выдумывать ничего такого, что не нужно тебе для тебя самого, а нужно только для возвышения твоего над прочими людьми.

«А ведь истинен слух об этом человеке: мудр он и хорошие слова сказал мне. Смотрю я в сердце мое и вижу: скучает рука моя без меча. Хорошо поют псалмы в аббатствах, но я привык к трубадурам и их пению. А женщины — разве они не хороши уже? Ведь нельзя мне быть сразу епископом... Да, воистину мудр этот старый монах. Хорошо ему известно, кто за чем рожден... Там, на поле Гастингса, я подумал не то, что может быть частью души моей. А все-таки эта поездка к пустыннику заставит моих товарищей задуматься о моем благочестии... Да, намного я выше их!»

И сказал он Тому Эшеру:

— Да, ты трижды прав, мудрый муж! Возвращаюсь я к королю моему...

Засмеялся Том Эшер смехом мудрого.

— Почему же ты смеешься, отец? — спросил его сир де Коминь.

— Сын мой, сын мой! Не выдержал ты и трети моего испытания! Польстил я страстям твоим, чтоб изведать силу их, и вот — они взяли тебя, как охотники оленя, и ведут, куда им хочется! И это ты хотел знать, как жить, дабы чистым выйти из жизни и возвратиться к отцу твоему?! Жалко мне душу твою, бедный сын мой, жалко мне слабую душу твою...

Вспыхнул гневом сир Этельвуд.

— Ты, пустынник, пытал и обманывал меня, ты смеялся надо мной? Ты говорил мне неправду — не то, как ты думаешь?

— В каждом слове, сказанном человеком, есть правда, рыцарь, — спокойно сказал Эшер гневному графу.

— Нет, старик, ты заплатишься мне! Я не хочу, чтобы люди знали, как ты пытал душу мою, и слова, которые я сказал тебе, никто не услышит на земле.

И, схватив Тома Эшера, он, как камень, бросил его в волны, и они, набегая на подножья скал, разорвали тело Эшера и раздробили кости его. Посмотрел туда вниз сир граф Этельвуд де Коминь и сказал он гордо морю у ног его и небу над ним:

— Никогда и никто не смеялся безнаказанно над рыцарями из рода де Коминь!

И ушел из пещеры Эшера, и снова возвратился в Англию, ко двору короля своего, где долго и славно жил. Умер же он в 1083 году — от раны, полученной им в схватке с венграми, и умер, как и подобает славному и христианскому рыцарю, причастившись святых тайн и раскаявшись во всех своих прегрешениях епископу байескому, из хроники которого я и взял этот, неумело изложенный мною чудесный рассказ из времен сильных людей.

Здесь конец сказания о сире графе Этельвуде де Коминь, славном рыцаре, и о мудром отшельнике Томе Эшере.

## ВОР

### С НАТУРЫ

Мальчонка, лет семи, давно уже вертелся у лотка торговца разной мелочью — гребенками, щеточками, мылом, портмоне. Торговец был занят продажей кошелька каким-то двум парням, с озабоченными лицами рассматривавшим вещь. Они, недоверчиво слушая убедительные речи торговца, поочередно то ковыряли пальцами замок кошелька, то, подняв его к носу, рассматривали на свет, потом клали его на лоток и твердо говорили:

— Сорок копеек!

Они как-то копировали друг друга — один до подробностей повторял движения другого и все его ужимки. Торговец с негодованием говорил им:

— Сорок? Э-эх вы! Да он мне самому стоит шесть гривен! Ну погоди, — удерживал он их, — пятьдесят пять — желаете?

— Сорок копеек! — монотонно повторяли покупатели.

И снова начинался торг.

Но как ни занят был торговец — высокий рыжий человек, с плутоватыми глазами и с цепкими пальцами в густой шерсти на суставах, — он одним глазом упорно следил за всеми движениями мальчика. Около лотка, следя за торгом, стояло, кроме парней, еще человека три, и мальчик, вертясь меж ними, тоже следил за продавцом. Он был босой, в грязной и рваной рубашке, без пояса, в штанах, которые когда-то были плисовыми, а теперь казались сшитыми из мешка; на его рябом, загорелом и чумазом лице сверкали исподлобья серые бойкие глазенки, и блеск их был жаден...

— Ну, ин сорок пять! — решительно махнув рукой, сказал один из покупателей.

— Сорок пять! — как эхо повторил его товарищ, и оба они с ожиданием в глазах уставились на продавца. Тот криво усмехнулся и жалобно заговорил:

— Ребята, али мне в убыток торговать? Чай, я тоже ем, пью, жену, детей имею, — должен я копейку нажать, али нет?

— Как хошь! — сказали покупатели и двинулись прочь от лотка. За ними пошли и зрители. Воспользовавшись этим движением, мальчишка согнулся, нырнул между двумя парнями, моментально вытянул вперед руку, схватил с лотка кусок мыла и... опрокинулся назад, на землю.

— Ага, сынок! — торжествуя сказал торговец, держа его за ногу и таща по земле к себе. Он схватил его снизу из-под лотка, и теперь мальчишка, извиваясь, как уж, упирался в мостовую руками и, болтая свободной ногой, с испуганным красным лицом ехал на животе под лоток. Вот рыжий мужик поймал и другую его ногу, дернув мальчика к себе, — причем тот ударился подбородком о камень мостовой, — и наконец мальчик очутился лицом к лицу с ним. Стоя между его колен, крепко сжатый ими и цепкими пальцами рыжего мужика, лежавшими у него на плечах, мальчик сосал разбитую губу и, сплевывая в сторону кровь и слюну, покорно ждал, опустив руки по длине туловища и положив их ладони на колено торговца.

Тот, с удовольствием в больших темных глазах, с оскаленными улыбкой зубами, сверкавшими из густой рыжей бороды, осматривал мальчишку и молчал, очевидно, придумывая наказание для вора.

У вора же неровно вздымалась маленькая грудь и вздрагивали плечи... А на рябом лице его были отражены испуг, и тоска, и ожидание...

— Н-ну... — начал торговец, хмуря брови и стискивая зубы, — и что же я теперь с тобой сделаю, а?

Мальчик повел плечом.

— В острог мне тебя запрятать или рвачку дать? Выбирай... что тебе по вкусу...

— Прости, дяденька, — тоскливо сказал вор.

— Про-ости-ить? Скажи на милость! Ишь ты! Как же так, сынок, я тебя могу простить? Ты, вор, украл

у меня товару. Значит, следовало тебя упечь в тюрьму. А ежели я тебя, одного вора, прощу, другой — другого простит, — кто тогда в тюрьме сидеть будет, скажи, а?

— Дяденька, я больше не бу-уду... — со слезами на глазах и с дрожащими губами вполголоса, убедительно вытянул мальчишка.

— Это мне нипочем! Нет, ты скажи — кто будет в остроге темном сидеть, ежели воров прощать?

Мальчик беззвучно заплакал, и слезы, стекая по его щекам, оставляли на них полосы...

— Говори, чертеныш, — кто? — зло сверкнув глазами, крикнул торговец и дернул вора за ухо...

— Ра-а...збойн...ики... — сдерживая рыдания, тихо сказал мальчик.

Это, должно быть, понравилось торговцу — он засмеялся довольно и громко.

— Ах, жулик! Ловко отрезал! Разбойники... шустрый ты мальчонка — быть тебе арестантом. Ну, говори, ты зачем мыло стянул?..

— Дяденька! Вот те Христос — не буду я больше! Никогда уж не буду! — звонко крикнул мальчик.

— Шш! Не орать! Может, я тебя еще и прощу, а будешь ты орать, придет свистун с селедкой — тогда, брат, шабаш твое дело. Возьмет он тебя и засадит в острог, в яму пхнет, а там крысы, лягушки, змеи, и каждый день тебя будут из ямы вынимать и — пороть!

Плечи мальчишка судорожно задрожали, а в широко раскрытых глазах отразился ужас. Вор рванулся из колен торговца, но тот крепко тиснул его плечи своими цепкими пальцами и дал ему щелчок в лоб.

— Вот, на-ко отведай! Ишь ты — бежать захотел... Ну, говори — куда тебе мыло?

— Про-одал бы... — покорно ответил мальчик.

— Так... Продал бы... Ну, а деньги куда бы ты девал?

— Купил бы... фунт весового... хлеба...

— Н-ну?

— Баварского... квасу... полбутылки...

— Ишь ты! — усмехнулся торговец. — А еще?

— Больше ничего нельзя уж... — вздохнул мальчик. — Только восемь копеек дают за мыло.

— Ага! так ты не в первый раз его воруеть? Н-да! Как же мне тебя простить, ежели ты такой злодей?

Вор поник головой и замолчал.

— А разве хлеба дома у тебя нет?..

Вор вздохнул и покачал головой, размазав рукой слезы по лицу.

— Разве отец-мать хлебом тебя не кормят?

— Нету отца...

— А где он?

— Не знаю...

— А мать?

— Пьет она всё...

— Та-ак! — протянул торговец. Ему уже становилось скучно возиться с этим вором. Он даже зевнул.

— Дяденька! Пусти меня... — тихо сказал мальчик и, вертя головой, поцеловал сначала одну, потом другую шершавую руку рыжего торговца. Тому понравились эти поцелуи. Он улыбнулся себе в бороду. Он бы и еще помучил мальчонку ради своего развлечения, но это было уже скучно. К тому же издали на лоток с его товаром поглядывали две бабы с маленькой девочкой. Торговец вздохнул.

— Пожалуй, иди...

Вор рванулся, и лицо его вспыхнуло радостью...

— Ку-уда! Нет, погоди, наперед я тебе надеру уши...

И методически, равномерными движениями руки, рыжий человек стал болтать головой мальчика из стороны в сторону. Надрвав одно ухо, он принялся за другое. На лице его не отражалось ни удовольствия от этой операции, ничего, — оно было равнодушно, и только потом он дал мальчишке шлепка по затылку и сказал ему:

— Ну, иди! Да помни меня.

Тот, с красным лицом, держась руками за горевшие уши, отошел на несколько шагов в сторону и вдруг повернулся назад... Торговец удивился.

— Али мало? — спросил он, поднимая брови.

— Дяденька... — тихо заговорил мальчик, умоляюще глядя в его красное лицо... — Дай мне копейку!

— Подь сюда... — сказал торговец, хмурия брови. — Никита Егорыч! — крикнул он кому-то через улицу,

держа мальчика за плечо. Тот посмотрел по направлению голоса и вздрогнул. Через улицу переходил суровый полицейский, придерживая рукой пашку...

Мальчик вскинул глаза на лицо торговца. Оно было тоже сурово. Тогда он заплакал, сжавшись и вздрагивая. Голова у него как-то уходила в плечи.

— Кум! Будь другом, отправь ты мне его в часть! — тыкая пальцем в голову вора, сказал торговец.

— Что слямзил? — просто спросил полицейский, взяв вора за руку.

— Мыла кусок... Травленный мальчишка.

— Знакомы мы, — кивнул головой полицейский. — Пойдем, Мишка, или как, бишь, тебя там?

— Митька, — покорно сказал вор.

— Митька... Айда!.. Тут мы с тобой пеше дойдем — близко.

Они пошли. Не поспевая за полицейским, мальчик подпрыгивал по камням. А торговец, глядя им вслед, зевал и крестил себе рот.

## ТРУБОЧИСТ

Звали его Федька; это был парень лет восемнадцати, светло-русый, с голубыми ясными глазами, с круглым лицом, шесть дней в неделю вымазанным сажей, хорошо сттенявшей два ряда частых белых зубов, всегда открытых веселой и доброй улыбкой толстых губ. Проводя ббольшую часть своего рабочего дня на крышах, Федька, несмотря на трехлетнюю жизнь в городе, еще не успел вполне утратить деревенской наивности; шум и бойкая жизнь города не заглушили в нем застенчивости дикаря, и среди печников, своих товарищей, уже просвещенных городом, он пользовался репутацией дурака и «облома».

Почти всегда над ним смеялись — он давал к этому слишком много поводов: не пил водки, не ходил в веселые дома, не играл в орлянку и аккуратно каждый месяц посылал отцу в деревню свой заработок, стараясь тратить только те деньги, которые изредка перепали ему «на чай» за то, что он вымажет глиной чело печи, выправит «под» или вставит вывалившийся из трубы кирпич.

Над ним смеялись, он в ответ конфузливо улыбался или тоже вместе с товарищами весело хохотал над собой. Это их уже прямо-таки злило, и тогда их шутки над ним принимали всё более обидный характер, а его это отталкивало от них и, мешая ему войти в колею их жизни, оставляло Федьку простым и славным парнем среди артели разгульных и циничных печников. Он всегда уходил от артели с ббольшим удовольствием, чем возвращался к ней, и ему очень нравилось лазить по высоким крышам городских зданий, откуда пред ним развертывалась красивая картина города, утопающего

в зелени садов, омываемого широкой рекой, за которой могуче развернулись и убежали вдаль, к небу, ярко-зеленые луга с темными островами деревень на них, с черными полосами леса, с серебряными пятнами воды, оставшейся от разлива.

Широкий горизонт всегда ласкает глаз и душу и как бы расширяет ее восприимчивость. Иногда Федька, усевшись на трубу и покуривая самодельную папиросу, долго просиживал в молчаливом созерцании жизни внизу, у его ног, и ему казалось очень забавным то, что чем выше он поднимался над землей, тем более суетливыми, маленькими и какими-то несчастными становились все эти люди, бегавшие взад и вперед по улицам города, тем шире и дальше разворачивались луга за рекой, чище и глубже было небо над ним. С высоты вся жизнь кажется не такой, какова она на самом деле... И только небо всегда одинаково недосыгаемо для человека. Развивало ли созерцание ум Федьки и какие мысли рождались в его голове, когда он смотрел вниз и вдаль со своих обсерваторий, — кто знает? — но несомненно, что на чувства его эти наблюдения действовали, развивая у трубочиста мечтательность...

И, быть может, благодаря именно взаимодействию всего этого, однажды с Федькой случилось вот что.

Он работал в одном из самых скученных кварталов города, на крыше высокого трехэтажного дома; опуская в трубу веревку с гирей и тряпками, он напевал вполголоса песню и поглядывал по сторонам. Откуда-то снизу к нему тоже неслась песня — такая хорошая, веселая, ясная, точно этот день, весь из солнца и чистой синевы небес. Федьке захотелось узнать, кто это и где поет; он, гремя железом, спустился с конька крыши и заглянул во двор.

Песня была ближе к нему — она неслась из окна чердака противоположного дома. На окне стояли два горшка цветов, и сквозь их листву Федька увидел русую голову девушки, склоненную над работой, длинную косу, перекинутую через плечо и свесившуюся на колена, белые маленькие руки, круглое плечо, обрисованное тонкой белой материей кофточки, ухо с кудрявой прядью волос над ним, бровь, темную и густую,

маленький, задорно вздернутый нос и угол румяных губ. Видна была еще стена комнаты, оклеенная голубыми обоями, кровать с белыми подушками и в ногах кровати — вешалка с одеждой. Девушка усердно, не поднимая головы, шила и пела, а Федька уселся на краю крыши и, обняв колепа руками, с улыбкой смотрел на нее.

А ее головка, точно в рамке, рисовалась в окне и цветах... Солнце не заглядывало еще к ней в комнату, и она сидела в тени, такая белая, красивая. Трубочист, наверное, долго бы сидел так, разглядывая ее, но вдруг она подняла голову и взглянула в окно. Черная рожа с оскаленными белыми зубами смотрела с крыши прямо на нее. Она отшатнулась. Сконфуженный Федька встал на четвереньки и снова, гремя железом, полез на конек, к трубам.

И вот с этого момента в его памяти запечатлелась эта русая головка девушки в окне и цветах. В ближайшую субботу он чисто вымылся в бане, а в воскресенье, надев на себя свой праздничный костюм, отправился к этому дому с чердаком и почти целый день дежурил около него. Он не имел никакой определенной цели, но ему было бы очень приятно увидеть ее, эту девушку.

Но он не видел ее... И ушел к себе на квартиру с чувством какой-то странной скуки, неведомой ему до той поры. Он знал, что долго не увидит ее — до следующей чистки труб в том доме. В нем трубы чистились два раза в месяц, и Федька едва дождался следующей чистки, и то ускорив ее на день.

Он снова долго просидел на крыше, с мечтательной улыбкой уставив к ней в окно свое черное лицо. Он смотрел на нее и ничего не думал, но ему было хорошо. В этот раз она не пела, а шила молча и, очевидно, торопясь. Федька следил, как быстро сверкает иголка в ее руках, слушал треск разрываемой руками девушки материи и всё улыбался. Ему казалось, что никто не умеет шить так ловко, как эта девушка.

Но вот он нечаянно задел ногой за жёлоб крыши — звук железа заставил девушку вздрогнуть и взглянуть в окно. Федька смутился и притворно пачал рыться

в жёлобе, как бы что-то делая, а когда он искоса взглянул в окно — девушка уже снова шила, не обращая на него внимания. Ему захотелось снова привлечь к себе это внимание; он был бы очень доволен, если б ему удалось рассмотреть, какие у нее глаза. И вот, чтобы заставить ее еще раз взглянуть на него, он изо всей силы стал громыхать ногами по железу крыши, сделав себе озабоченное лицо, хотя это и было излишним, ибо густой слой сажи на щеках и на лбу скрыл бы даже и выражение ужаса.

Его прием оказался недействительным: больше она не взглянула на него.

Неохотно, опечаленный, полный какого-то смутного и грустного чувства, слез Федыка с крыши. Потом он еще видел ее раза два — всё там же, с крыши; но на улице — как усердно он ни дежурил по праздникам перед домом, где она жила, — он ни разу не встретил ее. А ее головка всё ярче и рельефнее вырезывалась в его памяти; он почти всегда имел ее перед своими глазами; следовало только закрыть их — она тотчас являлась, как живая. И, представляя ее себе, Федыка довольно улыбался, как бы сам перед собой хвастался силой своего воображения, — а среди его товарищей его улыбки еще более укрепляли за ним репутацию какого-то блаженного.

Однажды, счастливый предвкушением видеть ее, он быстро, как кошка, взобрался по лестнице на крышу, торопливо съехал на другую ее сторону, радостно взглянул в окно... Медленно отклонился назад, уперся ногами в жёлоб и замер, глупо и смешно раскрыв рот.

Был вечер уже. Красноватые и косые лучи солнца падали через окно в комнату, прямо на белую постель у стены и на обнаженную грудь девушки, сидевшей на ней. И постель и белое тело казались посыпанными розовато-золотистой пылью, на листьях цветов в окне тоже трепетало солнце летнего вечера. Рядом с девушкой сидел мужчина с черными большими усами, он обнимал ее одной рукой за шею, а другой отклонял ее голову назад, подолгу целовал ее прямо в губы, и при этом один его ус ложился к ней на плечо; она же сжалась вся в маленький комочек и, прильнув плечом к его груди, глядя руками то его щеки, то голову и шею, улыба-

лась ему, и губы ее — когда Федьке было видно их — всё двигались.

Не вычистив трубы, Федька слез с крыши и пошел на квартиру. Пришел, разделся, вымылся и лег спать. Но не мог уснуть.

Ему всё чудилось это давешнее. С удивительной ясностью возникала в его голове эта картина счастья, и наконец ему стало тошно и душно в сарае, где он спал. Он вышел к воротам дома, на улицу, и всю ночь, до рассвета, просидел, прижавшись к стене, неподвижный, прислушиваясь к тому, что делалось внутри его, и ничего не понимая. Так чувствовал он себя года два тому назад, когда кто-то украл у него семь рублей с полтиной — первый его заработок, который он хотел послать отцу, в деревню. Но тогда все-таки было будто бы легче. Прошел день и другой, но память Федьки не хотела освободиться от этого впечатления. Ни работа, ни утомление, ни обидные шутки товарищей, говоривших ему, что он с каждым днем становится всё более бестолковым, — ничто не стирало из его памяти той красивой сцены.

Пришло воскресенье. После обедни Федька, по обыкновению, отправился с артелью пить чай в трактир и вдруг, ко всеобщему изумлению, спросил себе бутылку пива. Это вызвало смех и ряд глумлений над дурковатым парнем с бледным лицом и большими, печальными, широко раскрытыми глазами, смотревшими как-то неопределенно, точно за всем, на чем они останавливались, им рисовалось что-то другое. Он выпил один стакан, другой, потом ему поднесли водки — любопытно было посмотреть, каков этот дурень пьяный. Но он оказался совсем неинтересным — напился и вдруг заплакал. Молча, ни слова не говоря никому, он сидел за столом, поставив на него локти, и его слезы, падая со сморщенного лица на залитый пивом, чаем и водкой поднос, — смешались со всем этим. Некому было пожалеть этих слез, достойных лучшей участи, но кто-то, после долгих измывательств над этим парнем, отвел его на квартиру и там уложил спать.

С этого дня Федька всё чаще и чаще прибегал к единственному источнику забвения для простой, темной

души, — к жидкому, бесцветному огню, быстро и верно выжигающему из человеческого сердца всё человеческое. В глазах товарищей это возвышало его — он становился угрюм и драчлив в пьяном виде, они даже несколько побаивались его и уже не смеялись над ним так, как прежде. Это всегда так бывает — чем ниже и хуже человек, тем он нам понятнее и ближе; дурные люди всегда пользуются у нас бóльшим вниманием, чем хорошие, ибо для каждого из нас сравнение с дурным человеком выгоднее, чем с хорошим.

Прошло много времени для Федыки, три раза уже он был на той крыше и все три раза устоял от искушения взглянуть в окно к этой девушке. А хотелось...

В четвертый — не устоял. Это было в начале сентября... Дыхание осени позолотило зелень деревьев, и по небу всё чаще бродили обрывки туч, а воздух стал прозрачней и даль горизонта — глубже.

В день, когда случилось это с Федькой, шел мелкий, спорый дождь, и всюду — на земле и небе — было скучно, серо и сыро. Однообразно окрашенные, тяжелые тучи закрывали всё небо своим хмурым пологом, и из них сыпался бесконечный, точно сквозь сито просеянный, уныло шумевший дождь. Железо крыши было мокро и скользко. Федька, стоя у трубы, весь мокрый, чувствовал, что воздух какой-то прелый и тяжелый, что у него, Федьки, с похмелья болит голова и что, сойдя с крыши, нужно будет еще раз зайти в кабак и еще раз выпить.

И вдруг его ноги как-то сами собой поехали вниз по крыше, туда, к окну... За ним с грохотом катилась гиря. Федька доехал до края крыши, уперся в жёлоб ногами, как это он делал, бывало, раньше, заглянул в окно...

Его сердце радостно забилося, и он чуть не захохотал от удовольствия. Она была там, эта русая девушка, и он, ее черноусый, был с ней, но она прижалась боязливо к стене, а он, выштявив грудь колесом, стоял перед ней и, поднеся к ее лицу большой кулак, грозил ей. Она спрятала руки за спину и была вся такая расстроенная.

— Не дашь? — густо, вполголоса, крикнул ей человек с усами и подвинулся на шаг ближе к девушке,

как бы намереваясь втиснуть ее в стену своей выпяченной грудью.

Она, молча вынув одну руку из-за спины, протянула ее к нему, а другую подняла над своей головой.

— То-то! — сказал он ей. — Испугалась, бестия. А теперь — прощай! Опять придешь, поклоняешься мне; тогда, может быть, я приду... Ну — целуй!

Она, обняв его за шею, поцеловала в губы. Тогда он ушел, ни слова больше не сказав ей, а она бросилась грудью на стол перед окном и крикнула сдавленно и глухо:

— Господи!

Федька видел, как ее толстая коса метнулась в воздухе, как она хлопнула себя ладонями по щекам, как потом задрожали ее плечи. Он слышал воюющие звуки ее рыданий. Сначала ему понравилось видеть ее так. Сладкое, новое для него чувство защемило ему сердце, и он хотел что-нибудь гаркнуть ей с крыши, но когда она заплакала — ему стало до боли жалко ее. Ведь он по себе знал, что чувствуют люди перед тем, как у них потекут из глаз слезы. Горячее желание сказать ей что-нибудь ласковое охватило его.

— Барышня! — прошептал он, наклоняясь с крыши.

Она, конечно, не могла слышать его шёпота.

— Барышня! — громче, и больше наклоняясь, крикнул он.

Она не шевелилась, а плечи ее всё дрожали, и она схватилась руками за голову.

— Гляньте-ка сюда, барышня... — тревожно крикнул Федька.

Тут она вздрогнула и подняла голову, но он был несколько выше ее, а ее глаза были затуманены слезами — она не видала его, свесившегося с крыши к ее окну.

Он же всё ближе к ней старался вытянуть свое лицо — в этот день не особенно черное, — шел дождь, и Федька после каждой работы умывался из водосточных труб.

Она снова бросила свою бедную голову на руки, и снова раздались воюющие звуки...

— Э-эх! — крикнул Федька, — и что...

Теперь она увидела его — большим черным комом он пролетел в воздухе мимо ее окна и на секунду скрыл собой свет...

Потом снизу до нее долетел глухой, тяжелый звук. Она бросилась вон из комнаты вниз и скоро стояла на дворе, глядя изумленными и заплаканными глазами на Федьку. Он лежал на спине, глаза его были открыты, одна рука на груди, другая отброшена в сторону.

Около него уже стоял дворник и задумчиво чесал поясницу, какая-то кухарка с воплем мчалась по двору, всюду на дворе раскрывались окна.

— Сверзился... — сказал дворник, вздыхая.

— Я видела, как он летел мимо моего окна... Какой молодой... глаза-то какие... большие, добрые... — вздрагивая всем телом, говорила девушка.

Но Федька не мог уже слышать ее слов — он умер от того, что разбил себе грудь и переломил позвоночник...

Он лежал неподвижный, в грязи, и печальное небо осени кропило его своими холодными слезами...

# ОТКРЫТИЕ

этюд

## I

...Папироса погасла.

Михаил Иванович положил ее в пепельницу и стал сосредоточенно мять пальцами бумагу мундштука. Он делал это с таким усердием, как будто бы, уничтожая окурок, мог вместе с ним уничтожить неотвязное ощущение беспокойства, смутное предчувствие чего-то неприятного, тяжелого, готового вторгнуться в его жизнь, которая, он полагал, уже установилась навсегда.

Покончив с окурком, он отряхнул пальцы, поднес их к глазам, нашел, что они выпачканы, и, вынув из кармана платок, тщательно стал вытирать их, откинувшись в глубь кресла и высоко подняв свои красивые черные брови. По мере того как стиралась сажа с пальцев, с выразительного, тонкого и самоуверенного лица Михаила Ивановича исчезала неопределенная задумчивость, уступая место выражению решительности.

«Надо объясниться... Это глупо — сидеть здесь и воображать бог знает что... Просто у нее нервы», — подумал он, чистя ногти маленьким ножичком.

Смеркалось, и в кабинете — большом, высоком, тесно заставленном мебелью, — стало как будто еще теснее. Какая-то мгла наполняла его, точно тут было сильно накурено, и дым — опаловый, чуть видный глазу, — висел в воздухе недвижимой легкой пеленой. Окна были закрыты спущенными драпри, кое-где, сквозь материю, блестели маленькие кусочки темневшего неба, и с улицы доносился гулкий шум чьих-то шагов по панели. Больше не было слышно никаких звуков, и это раздражало Михаила Ивановича, — ему хотелось бы воспринять какое-нибудь впечатление, чтобы оживить

им свою мысль, остановившуюся на этом... вчерашнем, отвлечься от него как-нибудь.

«Всего лучше идти и спросить... Прямо спросить — что такое?.. Гм? Неужели мы вступаем в пояс семейных сцен, идя по тропинке брачной жизни? Пойду к ней... Кстати, здесь темно и душно...»

Он встал с кресла, пошел к двери и остановился, вдруг ощутив в себе желание снова, еще раз и точно, со всеми деталями, вызвать в памяти эту вчерашнюю сцену, нарушившую его внутреннее равновесие.

Вчера он с женой был в гостях у журналиста Худатова, и там, как всегда бывает в этом доме, — поднимали и решали разные вопросы. Общий тон разговоров был либеральный, а Михаил Иванович, человек иного настроения, терпеть не может либерализма Худатова и его компании. Он думает, что это либерализм профессионалистов, либерализм по привычке и по обязанности, — нечто старое, узкое и поросшее плесенью традиции, сквозь которую в него не проникает дух новых веяний, быть может, и нежизненных, но все-таки требующих, чтобы с ними считались.

Его раздражают и вызывают в нем чувство иронии эти давно знакомые речи, эти ссылки на авторитеты, довольно таки поношенные, и на книги, порядочно уже устаревшие. И вот он, со свойственным ему скептицизмом, сказал пару слов о печальной способности русской мысли застаиваться на некоторых излюбленных ею пунктах, об ее склонности к сектантской нетерпимости и обо всем другом, что, на его взгляд, сильно вредит ее росту и лишает ее мощи и оригинальности. Ему возразили на это тем, что довольно ехидно попросили его точнее изъяснить свою мысль. Это его задело. Он никогда не прочь развить свое положение, если это нужно и если его слова будут приняты с достаточной дозой внимания к ним, но он хотел бы знать: при чем тут этот тон, за которым он уже чувствует ярое стремление во что бы то ни стало вступить с ним в ожесточенную полемику?

Он, конечно, отдает должное такому стремлению; ему приятно видеть, что журналисты готовы и в гостинной защищать свои тезисы с той же горячностью, с какой

они делают это на столбцах своих газет, но он находит, что по отношению к нему это совершенно излишне, — ведь он солидарен с их общими принципами.

В ответ на его слова Худатов — маленький нервозный человек, в очках и с клинообразной бородкой — как-то странно пожевал своими тонкими и сухими губами и холодно, тоном человека, сознающего себя более сильным умственно, чем его противник, сказал:

— Отложим в сторону ваш вопрос, как побочный и, смею думать, основанный на ложном впечатлении, — суть дела не в нем. Вы говорили о новых веяниях, якобы не проникающих в сферу работы русской интеллигентной мысли, подозреваемой вами в косности и в узости. Было бы желательно знать, какие именно новые веяния вы имеете в виду — декадентство?

И он так посмотрел через свои очки в лицо Михаила Ивановича, точно говорил своими серыми острыми глазами:

«Знаю я тебя, брат! И новое твое знаю. Много вас таких нынче, и что желаете вы провести в жизнь под флагом новых веяний, — тоже знаю».

Михаил Иванович почувствовал себя злым после этого взгляда; ему захотелось наговорить этой компании целую кучу раздражительных вещей, назвать им книги, которые они еще не нюхали, идеи, с которыми не успели познакомиться, явления, которые они упорно игнорируют, оставляя их вне сферы своих спекуляций в области мысли. Всё это, по его мнению, существовало, якобы было ново, не исследовано, и он был готов развернуть пред ними картину их недосмотров и пропусков... Но именно в этот момент его глаза встретились с глазами его жены.

Она смотрела на него с таким обидным для него сожалением, таким новым, чужим ему взглядом, с такой странной миной на лице, — что он изумился, смутился, готовая речь как-то рассеялась в нем, мысли перепутались, и он едва не спросил ее вслух:

«Что с тобой?»

Но вовремя сдержался и тотчас же внутренне вознегодовал на нее за этот взгляд и на себя за это смущение. Поправившись, он развернул фронт своих мыслей и дал

неприятелю маленькое сражение, но, споря, чувствовал, что он не в ударе, и, следя глазами за женой, всё встречался с этим ее взглядом. Она первый раз за все полтора года смотрит на него так. Что она думает? Она своими глазами положительно мешала ему говорить, и он говорил, плохо следя за собой, впадал в противоречия, волновался, позволял себе софизмы, парадоксы, резкости.

А когда он с ней вышел на улицу и они медленно пошли домой по пустынным панелям, на которых лежали тени от стен домов и от деревьев, перевешивавших свои ветки через забор, — у них, несмотря на его усилия, не клеился разговор. Жена была задумчива, отвечала односложно, но уже не смотрела на него больше «новыми глазами», как он с усмешкой внутренне определил ее странный взгляд. Определил и — испугался чего-то. А вдруг в самом деле — это новые глаза.

— Аня, что с тобой? — тревожно спросил он.

— Что? — вздрогнула жена.

— Ты так... скучна сегодня... так задумчива... Что это? Ты нездорова?

— О, нет! это... так! — неопределенно сказала она и меланхолично улыбнулась ему...

Эта улыбка успокоила его, он даже отпустил несколько едких шуток по адресу Худатова и его единомышленников, назвав их староверами нетова согласия, потому что у них нет умения схватывать новое в жизни и, в сущности, нет интереса к какой-либо иной жизни, кроме своей, журнальной. Но у них зато есть умение симулировать чувства, быть, например, горячими, когда это требуется трактуемым ими вопросом, хотя искренней горячности, горячности сердца в них уже нет, — профессия, ремесло погасили ее.

— Оставь их... — тихо сказала ему жена.

— С удовольствием, — весело крикнул он.

И, придя домой, они мирно разошлись по своим комнатам, она, как всегда, поцеловала его, и в этом поцелуе он, право, не заметил ничего особенного.

Но сегодня весь день она вела себя так странно... Какая-то задумчивая, холодная, невнимательная к нему, сосредоточенная на какой-то большой внутренней

работе, — сколько раз она задевала его этим чуждым ей видом, этими ответами не попадая и после долгой паузы...

— Ты что — плохо спала ночь? — спросил он у нее за обедом.

— Да! — сказала она и даже кивнула головой в подтверждение своего ответа.

— Вот видишь, — я говорил тебе вчера, что ты нездорова...

— Ну, пустяки... — махнула она рукой, и этим жестом она, казалось, просила его не мешать ей думать свои думы. Тогда он ушел в кабинет и вот сидел в нем почти четыре часа, куря и думая — что с ней?

Теперь, восстановив в памяти весь вчерашний день, он почувствовал, что его охватило беспокойство еще более острое.

«Неужели, чёрт возьми, их выдохшиеся речи о меньшем брате и добродетели — действуют на нее? Вот был бы сюрприз!»

Михаил Иванович криво и бледно усмехнулся и взъерошил себе волосы нервным движением руки.

Он всегда отрицал пользу разговоров о народе страны, в которой нет людей — нет «ядра», истинно «культурной группы», тесно сплоченной на почве общего принципа, обладающей солидными знаниями, имеющей в жизни определенный вес и место, одушевленной сознанием своей силы, пониманием своей задачи и ясным представлением о пути, вернейшем к ее разрешению. А эти «тропари и кондаки, распеваемые по адресу народа либералами по профессии» и по неумению или, вернее, по неимению сил быть чем-либо иным, более определенным и ярким, эти бедные люди, для которых их «застарелый» либерализм, наверное, так же неудобен и тяжел, как хронический ревматизм, — всё это казалось ему ненужным, не имеющим цены, даже смешным немного...

«Неужели? — думал он, потирая себе лоб. — Ну! Не может быть! Она умнее, выше всего этого... Она — натура тонкая, изящная, с сильным наклоном к эстетике, чуткая ко всему красивому. А они — даже говорить мало-мальски сносно и то не умеют. Она не поддается этому „гражданскому“ тону...»

Он иронически подчеркнул «гражданский тон» и направился к двери.

«Вот я тепло и славно поговорю с ней, и всё это пройдет у нее», — уверенно подумал он, взявшись за ручку двери, и зачем-то окинул взглядом кабинет.

А в нем было уже совсем темно. Ветер колыхал драпри у окон, и они чуть слышно шелестели, как бы шепча о чем-то. Луна всходила, и уже один ее луч лег на стол и блестел на металле рамки с портретом жены Михаила Ивановича. Темно и скучно, жутко было в этой большой комнате. Михаил Иванович вздохнул, толкнул дверь и ощутил, как у него дрогнуло сердце, когда петли двери тихонько и так жалобно взвизгнули.

## II

Жена, улыбаясь неопределенной улыбкой, встретила его на пороге комнаты. Он быстро окинул ее взглядом с головы до ног. Она была сегодня очень интересна с своим овальным мечтательным лицом, крупные черты которого так хорошо оттенялись рамкой вьющихся, темных волос. Глаза ее — большие, серые, миндалевидные глаза — были немножко прищурены от улыбки сочных, крупных губ. И пеньюар, пышный, белый, так красиво лежал на ее стройной, высокой фигуре, с округленными плечами и полной, роскошно развитой грудью.

— О, какая ты сегодня... важная! — с удовольствием сказал Михаил Иванович, обнимая ее за талию и чувствуя себя очень влюбленным в эту красивую женщину. Она просто, грациозным движением освободилась от его руки, положила ему свою левую на плечо и, закинув правой шлейф пеньюара, сказала:

— А я шла к тебе. Мне сделалось скучно...

— Представь! И мне то же самое сделалось! — весело воскликнул Михаил Иванович, идя рядом с ней к софе, стоявшей у раскрытого окна, выходявшего в сад.

— Мне захотелось поболтать с мужем, — всё улыбалась она.

— Вот — говорят, что единение душ невозможно! Я шел к жене именно за тем же. Впрочем, нет, — я собирался говорить серьезно.

— Ты, кажется, был ведь против серьезных разговоров с женщиной? — спросила она, уютно устраиваясь на софе. Он заметил в ее тоне новую нотку и подумал, что, пожалуй, серьезный разговор нужен и будет, — хотя он уже решил было не начинать его, видя ее такой славной.

— Это не касается жены.

— А! Я забыла, что жена уже не считается мужчиной за женщину, — небрежно бросила она, и опять в ее словах звучало нечто новое.

В нем снова проснулась неопределенная боязнь чего-то неотвратимого, — и, осложненная любопытством, она заставила его поторопиться разрешить свои сомнения. Он сел в ногах у ней, на низенький пуф, и, взяв ее руку, голосом, в котором было много задушевности, немало любви и немножко боязни, — начал:

— Слушай, Аня, — я хочу спросить тебя... почему ты вчера, у Худатовых, во время спора так странно смотрела на меня? а? Ты можешь это сказать мне?

Если бы в комнате был огонь, муж увидел бы, что его жена и теперь так же странно смотрит на него, как она смотрела вчера. Но огня не было, в окна светила из сада луна, и ее молочно-голубое сияние фосфорическими бликами лежало на всем — на белых чехлах мебели, на паркете пола, на пеньюаре женщины, лежавшей на софе, — и кружева пеньюара от света луны стали как бы пышнее, облекая стройное тело, как пеной.

— Знаешь — не будем говорить об этом, — попросила она его, сдвигая брови.

— Не говорить? Смотри — удобно ли это? Так понемногу, ощущение за ощущением, мысль за мыслью, в тебе может сложиться нечто такое, что лишит меня возможности понимать тебя, что может вырасти между нами в гору, которая в конце концов помешает нам видеть друг друга, разъединит нас. Ведь вот именно потому-то люди и становятся чуждыми друг другу, что забывают или стесняются выговаривать вслух свои мысли, не

формулируют вовремя своих впечатлений и позволяют себе замалчивать то, что нужно бы сказать. Я не настаиваю на моем желании, Аня, но скажу прямо: я хотел бы, очень бы хотел, чтоб ты ответила мне.

В саду тихо, чуть слышно, так нежно шумели листья деревьев, и оттуда пахло цветами, землей и травой. Какая-то скромная птичка задумчиво щебетала и посевывала в глубине темных деревьев, с вершинами в свете луны.

Женщина молчала, сосредоточенно сдвинув брови. Михаил Иванович поцеловал ей руку и стал гладить ее ладонь, с ожиданием глядя ей в лицо.

— Как ты сегодня хорошо говоришь... и нежен... — медленно, лениво выговаривая слова, точно в полусне, протянула она.

— Так ты не станешь отвечать? — кротко спросил он, уже глядя ее рукой свои усы.

— Пожалуй, скажу... Но так хорошо сегодня, что, право, не хочется ни о чем говорить.

— Прекрасно — не говори! Поцелуй меня, и этого мне достаточно...

«На сегодня», — закончил он про себя, потому что она всё более казалась ему новой и непонятной.

— Нет, — вдруг повернулась она на софе, с тем капризным и властным лицом, которое так часто бывает у женщин, сознающих себя сильными, и с той резкой переменой настроения, которой обладают в совершенстве только женщины и которая иногда заставляет думать, что их душа обладает способностью в одну секунду переживать года.

— Нет, я буду говорить, хотя и чувствую, что испорчу настроение и себе и тебе... Хочешь?

Она села теперь и склонилась к нему, упираясь руками в его плечи, а он смотрел на нее снизу вверх и чувствовал неодолимое желание обнять ее. Он и сказал ей это.

— После будем целоваться, подожди. В самом деле — я буду говорить. Слушай и, пожалуйста, я очень прошу тебя, не мешай мне, не перебивай меня, не спрашивай о том, чего не поймешь. Но ты всё поймешь: это ясно, очень ясно. Я ведь уже давно думаю

об этом. Слушай — я сделала открытие... нет! я сделала несколько открытий — в себе самой, в тебе, в людях, в жизни...

В ней вдруг точно закипело что-то. Ее лицо вспыхнуло, глаза сузились, на лбу появились морщины, ноздри стали вздрагивать, — это всё не шло к ней, ее лицо было более красиво, когда оно было покойно...

— Открытия, да, — торопливо говорила она, спяв с его плеч руки и теперь теребя своими красивыми пальцами кружева. — Начну с тебя — я посмотрела на тебя достаточно. Я хотела узнать — сильный ты? Оказалось — ты скептик, а скептик не может быть сильным. Умный ты? Не умнее других. А вчера был... очень не умнее. Не обижайся — это правда. Быть может, ты добрый? Ты сам знаешь — нет! Кто мне ты добр, ты еще любишь меня.

— А ты? — воскликнул он.

— А я просила не перебивать меня. Что есть в тебе своего, оригинального, такого, чего нет в других людях? Я заметила только одно — это твоя манера надевать перчатки. Больше ничего пока не заметила. Людей ты не любишь, они тебя — еще больше. Говорят, что ты карьерист... это, положим, не важно для меня. Самолюбив ты... это не порок, если человек умеет быть самолюбивым, не теряя своего достоинства, ты — не всегда умеешь, ты вчера... Но это после. Вообще ты довольно таки неинтересен, если говорить беспристрастно. Любишь ты меня... это чье достоинство — твое или мое? Ну... и что же? Я чувствую уже, что скоро я захочу чего-то такого, чего ты мне не дашь. Я буду искренна, я именно для того и говорю все эти неприятные вещи, что хочу быть искренней. Меня утомляет эта жизнь, — она, видишь ли, пуста очень, несмотря на то, что вся заполнена. Пить чай, гулять и завтракать, читать, обедать и гулять, пить чай, играть, идти в гости, принимать гостей, идти в театр... это довольно таки скучно! Я как-то раз, недавно, на днях, вспомнила, что ведь не может быть, чтобы я родилась и воспитывалась для всей этой... скуки. Заняться мне филантропией? Ты знаешь, я всегда была против комедии и фарсов, мой жанр — драма...

— Да,— усмехаясь и кусая усы, сказал Михаил Иванович.— Ты хочешь драмы... Ты уже, кажется, начинаешь ее...

— Вот видишь?! — Она погрозила ему пальчиком с тем комически важным выражением на лице, которое гораздо более шло бы ребенку, чем ей.

— Бывали уже моменты, когда, сидя за обедом, я чувствовала желание вылить тебе на голову суп, стащить на пол скатерть и вообще сделать что-нибудь грубое и экстравагантное. Потому, что скучно, пойми ты это. Этот вчерашний вечер! Эти их мысли, их речи, которые даже я, не слушая их, слышала уже более пятидесяти раз, твой спор с ними — зачем всё это? Какой во всем этом смысл? Какие значение, результат, пользу, красоту имеют эти либеральные собрания, на которых говорят так много и всегда так мало скажут? Наконец ты! Фи! Ты умнее, свежее их, разнообразнее; но каждый раз, когда ты ввязываешься в их споры,— они бьют тебя, несмотря на остроту твоего ума, более чуткого, чем их умы. В круге их идей — ты чужой, их настроения — тебе непонятны, а они-то все очень хорошо понимают тебя, и еще знаешь что? У них есть почва, да, есть, что хочешь говори, все-таки есть. Даже я, которой всё равно — существуют они или нет,— даже я чувствую в них много скрытой силы, силы сдавленной, но цельной и здоровой. Тебе бы не надо состязаться с ними в эристике; ты ведь это делаешь ради ощущений, только ради того, чтоб бороться, и в надежде победить. Я думаю, что это ты напрасно, ты — как и все люди твоего настроения — неспособен к победе. Ты видишь, я так думаю кое-что и понимаю кое-как жизнь... Но и у меня, как у тебя, нет направления... Хотя, знаешь ли, я никогда не стану такой жалкой, как ты вчера был и часто бываешь. Сколько ты потерял в моих глазах во время споров с ними, и как я порой бывала зла на тебя, когда они побивали тебя! Ну, скажи, зачем ты это делаешь, зачем, когда это понижает твою ценность?

— Слушай, Аня, оставь это... это не понято тобой... — тихо сказал Михаил Иванович, чувствуя, что у него внутри творится что-то странное: то горит, то

холодеет. Он не сводил своих широко раскрытых глаз с ее оживленного лица, теперь своеобразно красивого... Таким он еще не видал его.

— Не понятно? О! Но что же? У меня нет жизни, живой, интересной жизни — жизни, которая охватывала бы меня всю сразу и причиняла мне много боли, радости, приносила бы мне всё такое острое, новое... Вот как надо жить — ведь да? Ты сам говорил не раз, что достоинство жизни в разнообразии ее впечатлений и, чтобы жизнь была интересной, нужно обогащать ее впечатлениями. А где я их возьму? Я уже чувствую потребность в новизне и, мало этого... я понимаю, что эта потребность может сделать меня несчастной и, наверное, сделает и тебя таким. Смотри — мы прожили с тобой полтора года, как вполне порядочные буржуа, детей у нас нет, ты меня любишь... мне скучно! Мы обеспечены. Это тоже скучно, мой друг. И вот я смотрю в будущее — там тоже скучно. Ты так легко исчерпаем. Ты ничего ведь не дашь мне нового, разве вот теперь станешь бояться и ненавидеть меня за то, что я была с тобой искренней...

— Это — все твои открытия? — тихо спросил Михаил Иванович. Он давно уже слушал ее, опустив голову и не глядя ей в лицо. В саду всё шелестели листья, шепча о чем-то грустном, и луна, выплывая всё выше в небеса, скрадывала своим сияньем блеск звезд. А птичка уже молчала.

— Это — все мои открытия. Я резюмирую их. Скучно жить даже и тогда, когда любишь. Непременно нужно еще что-то. Что? Если бы я знала, я так бы и сказала тебе — нам нужно вот что! Я не знаю, ничего не знаю, — я только чувствую, что всё — и твоя любовь — мне не дорого. Я сочла нужным сказать тебе всё это, потому что ведь это предисловие к семейной драме, не так ли?

Она смотрела на него сверху вниз, и в глазах ее светились и смех, и любопытство, дьявольски острое любопытство, холодное, беспощадное. Он всё еще не поднимал головы.

— Я не понимаю тебя... Это... творится что-то странное. Я слишком уважаю тебя, чтобы тебе не верить, и

боюсь поверить, что ты говоришь именно о том, что чувствуешь. Это твое желание сорвать со стола скатерть и вылить на меня суп... Я думал над ним... мне кажется, оно всего ближе к истине твоего настроения. Но почему? почему, Аня?

Он схватил ее за руки и сжал их крепко и больно. Она даже побледнела от такого пожатия.

— Пусти!

Он не пускал. Она точно маленьких змей набросала ему в сердце своим языком, и они шевелились там, внутри его, и наполняли его горьким ядом. Ему хотелось закричать на нее, затопать ногами, ударить ее по лицу, унижить, заставить ее почувствовать самое себя жалкой, нуждающейся в сострадании... Она бы пришла к нему тогда... а он ее выгнал вон и так отомстил бы ей за эти минуты. Но он только думал о таких чувствах, он только воображал их — в нем их не было. Он просто чувствовал себя как бы измолотым каким-то тяжелым жёрновом. В голове его ясно было одно — жизнь изломалась!

И, глядя на ту, которая так спокойно и так просто изломала ее, эту жизнь, он изумлялся силе женщины. Да, так вот как это опасно — любить! Он всё еще ждал ее руки, бессмысленно уставившись в ее лицо широко открытыми глазами, а она вырывала их из его пальцев и билась, и уже шептала:

— Пусти!

Наконец он выпустил их, поняв, чего она хочет. Он снова сел на пуф, она же встала с софы и гневно сказала ему:

— Грубо! Это непорядочно! Грубо — слышишь?

Он смотрел на нее: она стояла среди комнаты, в пене кружев, облитых луной, с суровым лицом, сверкая глазами, и потирала онемевшие от боли руки.

— Извини! Я не хотел... — тихо сказал он. — Мне ведь тоже больно...

— Бедный... я тоже не хотела бы этого. Но вот что — ты не думай много — я еще не всё сказала. Я только дала тебе понять, что у меня народилось новое настроение и что оно вот какое: я думаю, что это я хочу новой, иной жизни, жизни с каким-нибудь

смыслом... Тебе надо остаться одному и подумать. Я уйду...

Всё это так звучало в его ушах, будто доносилось откуда-то издали. Потом щелкнул замок двери — гулко так щелкнул. Он обернулся — ее уже не было. Ему хотелось бы плакать, но мужчинам это всегда удается с трудом. Ему не удалось. А вокруг было так странно тихо и пусто, только шёпот деревьев из сада всё лился в окно такой ласковой, задушевной волной.

Михаил Иванович, чувствуя, что голова у него страшно тяжела, положил ее на софу и долго сидел так, неуклюжим комком, сжимая руками виски и всё стараясь отдать себе отчет в происшедшем. И уже когда рассветало, он медленно поднялся, наклонился к окну и, вдохнув в себя много свежего воздуха, вполголоса, очень тихо, почти шёпотом, с глубокой болью в глазах спросил:

— Что же теперь будет?

### III

«Что же теперь будет?»

Этот вопрос неумолкаемо звучал в голове и в сердце Михаила Ивановича всю ночь, после его разговора с женой, весь следующий день, и вот снова наступил вечер, а впереди его снова была бессонная ночь, полная предположений о том, что может быть между ним и женой, скоро ли это будет и как, в какой форме произойдет оно.

«Собственно говоря — что случилось?.. — лежа на диване, думал Михаил Иванович, глядя сквозь цветы на окне в синий кусок неба, на котором уже зажгались звезды. — Женщина заявила мне, что у нее родилось настроение, чего-то требующее от жизни нового, настроение, отодвигающее меня, первую величину ее жизни, куда-то вдаль от ее чувств и ее внимания ко мне, куда-то вглубь... Заявила об этом... предисловии к измене долгу жены... и спокойно, с чистой совестью уехала на дачу на целый день, оставив меня с самим собой... и с этим проклятым предчувствием близкого разрыва

с ней... моей женой, которую я... люблю теперь больше и глубже, чем любил три-четыре дня тому назад. С какой это стати теперь, именно теперь, когда она вдруг, без всякой вины моей, незаслуженно, несправедливо нанесла мне этот удар, дала мне столько тоски и боли, — она стала дороже... ближе мне, необходимее?»

Ему казалось, что в каждый данный момент она может войти в комнату, свежая и красивая, с запахом соснового леса, привезенным ею с дачи, войдет, сядет к нему на диван и скажет:

— Продолжим наш вчерашний разговор...

И в результате этого разговора — его жизнь окажется изломанной, его жена — чужой ему, он сам превратится в соломенного вдовца — смешное и постыдное амплуа для человека с положением в обществе! Оно довольно снисходительно относится к мужьям, бросившим жен, но всегда так обидно подсмеивается или глупо жалеет мужей, брошенных женами. Как ему, Михаилу Ивановичу, жить, когда случится это? Уехать придется отсюда... А она что будет делать? Она так красива... Явятся поклонники, ухаживатели, и... один из них займет его место...

Михаил Иванович почувствовал, как волна холодного бешенства охватила его, и он задрожал от гнева, предчувствуя то оскорбление, которое ждет его впереди, полный зверской ревности и ненависти к своему будущему сопернику.

«Я... убью ее!» — стиснув зубы, подумал он, садясь на диван и хватая себя за голову руками.

Где-то близко, должно быть, у соседей, играли на скрипке с аккомпанементом рояля. Тоскливые рыдания терции носились в тишине вечера, о чем-то прося, на что-то жалуясь, и струны рояля вторили им глухими звуками, задумчивыми и полными чего-то тяжелого, неотвратимого.

«О, как это глупо! — с тоской подумал Михаил Иванович. — Как это лживо, как опасна и ядовита эта красивая музыка, трогающая душу, смягчающая сердце... Он водит смычком по струнам, она бьет пальцами по клавишам, звуки гасят их умы... и вот они тоже... как я когда-то, полюбят, будут говорить друг с другом о но-

вом счастье, о новой жизни... о всех этих сантиментальных чувствах... И женятся потом. И потом она подстержет его, когда он будет безоружен, когда он поверит в нее, в ее любовь, в возможность дружбы и новой жизни и во всё это... и вдруг — удар! Я чувствую, что хочу не тебя, нет, а чего-то другого! Дай мне иную жизнь! Как это благородно — сказать прямо в глаза человеку, через полтора года после первого поцелуя, что любви нет уже и что нужно что-то другое! Иную жизнь! Новую жизнь? Быть может, вы, сударыня, хотите просто-напросто новых губ, которые целовали бы вас, новых объятий, да? Вы, может быть, нового мужа хотите, а думаете, что вам нужно новой жизни?.. О, вы!»

Он скрипел зубами и повторял про себя все злые афоризмы, сказанные о женщинах людьми, почему-либо потерпевшими у них фиаско и поэтому ставшими в отношениях к женщинам скептиками и пессимистами, циниками и зоилами. Будь его жена в этот момент тут, с ним, он наговорил бы ей грубостей, — быть может, прибил бы ее. В нем кипело страстное негодование против этой женщины, с которой он связал свою жизнь, против всех женщин, таких загадочно странных в своих чувствах, в своей логике, всегда неуловимо капризных в своих настроениях, повинующихся чему-то неопределенному, какому-то романтизму, вечно жаждущему новизны впечатлений, никогда почти не примиряющемуся с действительностью надолго...

«В каждой из них скрыт яд, разлагающий семью, каждая из них носит в себе зародыш несчастья, и блаженный Августин, сказавший о женщине, что она „горше зла, и душа ее пустынна, как Фиваида, и открыта всем ветрам“ — прав! Именно — пустынная душа!»

А скрипка всё пела, и так много было чарующей ласки в ее мечтательной мелодии, что казалось: за окном именно потому и тихо так всё, что всё — и сад, и небо, и улица слушают эту ласковую музыку, обещающую так много чего-то хорошего, светлого, одухотворяющего. Михаил Иванович снова лег на диван, закинул руки за голову и без дум несколько минут слушал скрипку. Под окном стояли деревья, не шелестя лист-

вой, на окне — цветы, и сквозь них просвечивало далекое спокойное небо с огоньками звезд на нем, разгорающихся всё ярче...

«Никогда не надо показывать женщине, как много любишь ее... — снова думал Михаил Иванович, и сердце у него было полно щемящего чувства. Одиночество смотрело на него темными глазами из всех углов комнаты, и когда он заглядывал вперед, — там рисовались ему такие гадкие, шумные, злые сцены со слезами, с истерикой, с взаимной ненавистью друг к другу. — Из-за чего всё это? Только из-за того, что у человека явилось какое-то неопределенное настроение, смутное желание чего-то... И эта туманная эмоция разрушает установившуюся жизнь, коверкает ее, заставляет думать о будущем тяжелые и черные думы. Чего же нужно этой женщине?»

Он чувствовал, как в нем постепенно и всё настойчивее возникает ненависть к жене, ему хотелось бы унижить, оскорбить ее и наслаждаться слезами ее боли. Где-то вддали глухо задребезжали колеса пролетки по камням мостовой.

«Она? — приподнялся Михаил Иванович на диване и вытянул голову по направлению к окну. — Едут... Всё ближе... Это она... Не надо показывать ей, как мне больно. Я и вчера не должен был бы... Она!»

Пролетка остановилась у дома, и слышно было, как дышала лошадь, щелкнул замок кошелька, как дернули за ручку двери и нетерпеливо топали ногой по каменным плитам крыльца.

«С кем она была там?» — возник вопрос в голове Михаила Ивановича, и, прислонясь к спинке дивана, он приложил руку к сердцу и раскрыл рот так, как будто задыхался.

Сейчас она должна прийти сюда. С каким лицом войдет она, что скажет? Болезненно острое любопытство кололо сердце Михаила Ивановича, и чувство ненависти уступало место ощущению боязни, страха пред этой женщиной, зачем-то так усложнившей его жизнь, приятную и спокойную до этого разговора... Идет!

— Ты здесь, Миша? — раздался ее спокойный голос с порога кабинета.

Он помедлил ответить ей и, рассматривая ее стройную фигуру в пышном светлом платье, стоявшую в дверях, старался догадаться, чего ему от нее ждать. Она увидела его и с ноткой неудовольствия заметила, идя к нему:

— Что ж ты молчишь?

— Так... замечтался... — тихонько ответил он.

У нее выражение лица, движения, тон — всё было так властно, в ней чувствовалось много сознания силы, и когда она, шелестя платьем, села на диван рядом с ним, Михаил Иванович вздрогнул и отодвинулся от нее, чувствуя, что эта боязнь женщины, ранее незнакомая ему, теперь всё более охватывает его...

— Что ты делал сегодня днем? — спросила она, заметив его движения и пытливо глядя ему в лицо. — И почему ты не велишь зажечь огонь? Здесь так мрачно...

— Не надо огня, — мягко попросил он ее и, стараясь не выдавать своего волнения, ровным тоном сказал, что он ничего не делал, а так вот, лежал всё и думал. Он несколько нездоров, должно быть, чувствует какую-то апатию ко всему, в голове как-то тяжело и туманно...

— А я, — как бы извиняясь пред ним, начала она, — очень весело провела время.

— Кто... там был?

— Много... Приехал к Марье Ивановне из Томска какой-то кузен — суровый горный инженер, громадный, лохматый, великолепный экземпляр сибиряка. Говорил низким басом что-то о переселенцах и с высоким пафосом о задачах интеллигентного общества в деле помощи переселенцам. Это, конечно, было скучно, но сам он... интересен.

«Вот!» — с холодом в сердце подумал Михаил Иванович, и мучительное чувство ревности, охватившее его, выразилось в горьком, сдавленном, злом смехе. Он закинул голову и смеялся, защурив глаза и нервно хрустя пальцами. Она же, удивленная этим смехом, отодвинулась от него, привстала и, пытливо глядя ему в лицо, тихо спросила:

— Что это? Что с тобой?!

— Ничего... Ха-ха-ха! Продолжай не обращать на меня внимания.

— Нет, Мишель, что с тобой? — В голосе ее звучала тревога...

Он замолчал и, полный нестерпимой боли, закрыл лицо руками. Она ждала ответа, всё ближе склоняясь к нему. Она слышала, как он дышал, и видела, что что-то истерическое было во всей его фигуре. А ее близость усиливала его боль. И в муках своих, не глядя на нее, он чувствовал ее красоту, чувствовал, что его любовь к ней всё растет, обращается в страсть, что теперь, когда он теряет ее, — она неизмеримо дорога ему, страшно нужна для его жизни... И он теряет, теряет ее. Картины первых дней их совместной жизни всплывали в его памяти; он вспоминал слова и фразы, полные страсти, которыми они щедро обменивались друг с другом тогда...

— Миша! Ты должен сказать мне, что с тобой! — уже строго сказала она ему.

— Не лги! — зло крикнул он, вскакивая с дивана. — Как будто ты не знаешь! О, ты! — Ему хотелось найти такое слово, которое уничтожило бы, раздавило ее, и он с глазами, налитыми кровью, сжал кулаки, бешеный, готовый ударить ее, склонился к ее лицу и задыхаясь спросил:

— За что? Чем... скажи, чем я вызвал всё это? Разве я...

— Успокойся... — сказала она властно, как человек, сознающий свою силу. Спокойствие ее лица и тона как-то оттолкнуло его от нее, он отошел в глубь кабинета, бросился там в кресло и утонул во тьме. Она удобно уселась на диване, оправила платье, сняла с рук браслеты и, загадочно улыбаясь, играя ими, посмотрела в его сторону.

В комнате стало тихо, — только звук золотых цепочек чуть слышно дрожал в тьме. За окном тоже было тихо и жутко. С неба, сквозь цветы, смотрела в кабинет яркая звезда.

— Ты торопишься... — раздался ее голос, ровный и убедительный. — Ты слишком быстро пошел навстречу событиям, которые могут и не иметь места в на-

шей жизни. Нельзя, мой друг, с намека создавать драму, из слов делать факты, — это наше, женское дело, как говорят мужчины, а не дело мужчин. Мне очень грустно видеть тебя так мало мужчиной, так мало способным отстаивать свое я... С чего ты так... взвинтил себя на драматический лад? Право, Миша, у тебя нет оснований для этого... Что сделала я такого, что могло бы дать тебе право показывать мне такие страшные гримасы? Подумай...

Он молчал.

— Странные вы стали, — задумчиво продолжала она, — вы чересчур... нищи духом; бонтесь драм и сами создаете их этой боязнью. Мы сильнее вас... как ты думаешь?

— Скажи мне, — раздалось из тьмы глухо и как-то бесцветно, — чего ты хочешь? Что такое это «новое», которое там зародилось у тебя? Что это? И откуда эта «скука»? Ну, скажи мне кратко, определенно, — чего мне ждать от твоего открытия?

Она опять загадочно улыбнулась... Браслеты всё звенели в ее руках... Они долго молчали — он там, в углу комнаты, скрытый тьмой, она — на диване, в грациозной позе, вся утопая в складках платья...

Вдруг решительным и сильным движением она встала с дивана и пошла к нему. Вслед ей мягко звякнули браслеты, брошенные на сиденье дивана. Когда она подошла к нему, туда в угол, контуры ее фигуры как-то сгладились тьмой, и она стала белым, туманным пятном.

— Тебе очень больно? — раздался ее ласковый, матерински нежный шёпот.

В ответ раздалось что-то вроде стога.

— Бедненький мальчик! А ты очень любишь меня?

— Уйди! Это жестоко и... и низко, да! Мучишь меня ты... Уйди! — Он кричал...

— Миша, успокойся! — тоном сильного сказала она. Послышалась какая-то возня, точно они боролись там во тьме. Потом раздался звук поцелуя...

— Успокойся... послушай, что я скажу тебе...

— Еще! — с горечью воскликнул он.

— Но это тебя излечит, поверь мне!..

— Всё равно! Говори, говори что-нибудь! Скажи, что это будет не скоро еще... что у тебя еще нет... тебе еще некем заместить меня... что пока я...

Она, должно быть, зажала ему рот рукой — его речь так странно оборвалась. Снова наступила тишина, изредка прерываемая шорохом ее белого платья...

— Вот послушай... и подумай, каким путем додумалась я до того, что скажу тебе, и мог ли быть легок этот путь. Я опять буду говорить об открытии, сделанном мною,— но не бойся! Я прошлый раз ничего не открыла тебе... я не о нем говорила, видишь ли... или, вернее,— я не говорила о нем, а применила его к жизни, желая видеть, насколько оно... как это сказать? Нет, это совсем не надо говорить. Видишь ли что... ты спрашиваешь, зачем я сказала тебе это? да?

— Говори... — прошептал он.

— Ну, представь себе, что я сделала это не потому, что хотела быть искренней с тобой, а потому, что хотела узнать, как сильно ты меня любишь. Предположи, что у меня нет никакого нового настроения и никаких запросов в жизни,— ничего, кроме любви и интереса к тебе.

Раздался глубокий вздох...

— Ты слишком привык ко мне, слишком мало уделял мне внимания в последнее время, я уже стала обычной вещью твоего жизненного обихода и — от этого мне стало скучно. Вы, мужья, изучив манеру ваших жен мешать ложечкой в чашке чая, думаете, что уже совершенно постигли, поняли, уразумели и исчерпали всё существо подруг вашей жизни, что уже, если все жесты и вкусы их вам известны,— вы знаете и всё то, что творится в глубине души женщины. Мы, однако, живые существа, воспринимаем впечатления и, как все люди, с каждым днем становимся сложнее... Вы забываете об этом... И ты забыл, что я живая. Ты последнее время уже довольно часто бывал не только непростительно невнимателен ко мне, а и прямо-таки чужд мне. Ты начинал прятаться от меня в самого себя, решив, очевидно, что со мной можно только целоваться и что говорить уже, пожалуй, не стоит. Я показалась тебе

близко и хорошо знакомой, истерпанной... пустой для тебя...

— Неправда! — горячо крикнул он.

— Быть может. Но мне показалось, что это так. Иногда я думала, что напрасно мы, женщины, позволяем себе сразу открываться пред вами. Нужно всегда стараться поддерживать интерес к себе, нужно оставаться всегда загадкой для мужа и поражать его неожиданностями и именно в то время, когда он теряет интерес к жене. Видишь, как я открываю пред тобой мои карты? Я не должна бы делать этого, знаю, но... мне так жалко тебя.

— Жалко! — с горечью воскликнул он.

— Не бойся — в любви женщины всегда есть много жалости... особенно в настоящее время, когда вас не полюбишь, не пожалев сначала... Уж очень вы все бесцветны... почти настолько же, насколько корректны... внешне, конечно. Ну, так я продолжаю. Я сказала сама себе — нужно подогреть его — твой интерес ко мне... И именно в этом было мое открытие... понимаешь? В этом, а новое настроение я выдумала. Ведь ничем не разожжешь вас так, как ревностью, как боязнью потерять жену. И вот я вселила в тебя эту боязнь, чтоб посмотреть — каков-то ты будешь? Ты, оказывается, даже пересаливаешь... я увидала это, и — вот видишь, мой дрянной мальчишка, мне стало жаль тебя, и я открыла тебе мои карты... Всё открыла, совершенно искренно... Ты извинишь мне этот маленький опыт, да? Конечно, ведь ты же любишь меня! Один неприятный день, и я спокойна, я знаю, что ты любишь меня, что я еще дорога тебе, что мы можем славно жить с тобой... Но — знай! чуть только ты начнешь очень привыкать ко мне, — я снова устрою тебе один такой день... Понял ты меня, да?

— Понял... — глухо сказал он.

— Ну, и нужно забыть это всё... Забыть и не negligировать своей женой, которая любит...

— Подожди!.. — остановил он ее. — Скажи мне, когда ты лгала: вчера или сегодня, сейчас?

Она засмеялась ясным, торжествующим смехом и смеялась долго...

— Бедный! Как я напугала его,— воскликнула она сквозь смех...

— Скажи! — просил он ее со страстью в тоне.

— Боишься, да? — весело воскликнула она. — Милый, как давно я не видала тебя таким!

Она целовала его...

Луна взошла, и пятна света лежали на полу, столе и на диване...

.....

А когда всходило солнце и первый луч его, пройдя сквозь цветы на окне, упал на пол,— Михаил Иванович встал с кресла, подошел к окну и опустил гардину, боясь, что солнце разбудит его жену, спокойно спавшую на диване. От окна он, осторожно шагая, направился к ней. Она улыбалась во сне такой загадочно красивой улыбкой и была крайне интересна, вся в белых складках платья — точно в пене.

Он пристально, хмуро и пытливо посмотрел на нее, вздохнул и снова сел в кресло, упорно думая:

«Когда она лгала — вчера или сегодня?»

## ОТОМСТИЛ...

### НАБРОСОК

Свободной походкой завсегда в зал шикарной ярмарочной гостиницы вошел молодой человек, одетый во все черное, высокий, сутуловатый, с серыми, холодными, насмешливо прищуренными глазами и с высоким, изрезанным морщинами лбом. Он прошел к столику, у двери на балкон, сел и, плотно сжав сухие и тонкие губы, окинул зал острым и всё охватившим взглядом.

Было шумно и тесно. Всюду за столами сидела подвыпившая, крикливая публика: пестро одетые мужчины, с возбужденными, красными лицами и порывистыми, но уже неверными движениями; женщины в экстравагантных костюмах, чрезмерно напудренные, громко смеявшиеся, сверкая вызывающими взглядами. С открытой сцены лилась задорно-томная музыка, то исчезая в шуме голосов и звоне стаканов, то поглощая собой все звуки и носясь по зале вихрем страстных, разжигающих воображение нот. Пахло вином, пряностями, духами, и от этого смешанного аромата, музыки и пьяного смеха у нового гостя кружилась голова. Он спросил себе кофе и коньяку и, медленно мешая ложечкой в дымящемся стакане, исподлобья следил за молодой, эффектно одетой брюнеткой, то и дело с демонстративно развязным видом проходившей взад и вперед мимо его столика, ища возможности поймать его взгляд своими жгучими и темными глазами южанки.

Видя ее неуспех, чувствуя, что ее злит его невнимание, он чуть-чуть улыбался, покручивал свой ус и с рассеянным видом поглядывал вокруг себя, как бы не замечая этой женщины... И со стороны очень трудно было определить, кто из них двух зверь и кто охотник.

Скрипки звали и плакали, флейта меланхолично выпевала задумчивые рулады, кларнеты, сдерживая звук, пели под сурдинку что-то нежное, и глухо рокотал контрабас.

— Не угостите ли вы меня стаканом чая? — вдруг, опускаясь на стул против сутулого господина, сказала дама. Прищурив глаза, он посмотрел на нее и, пожевав губами, ничего не ответил ей.

— Вы думаете? Разве вам так трудно ответить на мой вопрос? — вызывающе и ласково, смело и просительно сказала она, откинувшись на спинку стула и исследуя его лицо своими томно прищуренными, много обещавшими глазами...

— Спросите... — холодно ответил он.

Его возмутила ее навязчивость, он с удовольствием ответил бы ей грубостью, но вокруг их тесно сидели люди, и было бы неловко обратить на себя их внимание. Она спросила у лакея чаю и заговорила с ним бойко, перескакивая с одного предмета на другой. У нее хороший грудной голос, и, слушая его, он узнал, что сегодня ей скучно, что она вообще чувствует себя утомленной этой шумной жизнью, с которой она знакомится впервые, что бывают обстоятельства, заставляющие женщину броситься в первое попавшееся место, взяться за первое предложенное дело, и что именно в силу таких обстоятельств она попала в хористки на ярмарку из своей родной Полтавы...

Он слушал ее и думал про себя:

«Как все они однообразны! Вечно одни и те же истории падения, вечно один и тот же тон подчинения жизни — рабский тон — и всегда стремление выдать себя за порядочную женщину, за жертву обстоятельств... В то же время эти шикарно одетые торговки гораздо более низки и развратны, чем их грошовые подружки из Канавина и с Самоката, они служат даже и не разврату, а просто мошенничают на почве разврата, они гораздо чаще играют роль продажных и наедаются на счет мужчины, чем действительно продаются. Такие холодные, такие лгуньи...»

Он презрительно усмехался, слушая ее... А она всё говорила:

— Почему у вас такой скучный и утомленный вид? А? Вы чем занимаетесь?.. Это не секрет? Знаете что — я могу заказать себе антрекот? Да? Благодарю вас! — Она подвинула свой стул ближе к нему. — Мне кажется, что я где-то видела вас...

— Быть может...

— Право! У вас такое оригинальное лицо... что наверное я не ошибаюсь...

Он рассматривал ее с любопытством и презрением, скользя глазами по ее стройной и эффектной фигуре, а в ее глазах всё чаще вспыхивал вызывающий, задорный огонек, и запах ее тела щекотал его ноздри.

— Не пойти ли нам на балкон? — предложила она. — Здесь так шумно... Туда нам принесут бутылку вина, и мы за ней побеседуем... быть может, там вы станете разговорчивее. Я так рада говорить с вами... здесь редкость порядочный человек...

«Но, голубушка, порядочный человек не скормит тебе более десяти рублей... хотя бы ты была еще милее...» — поднимаясь со стула, подумал он и сухо улыбнулся.

На балконе действительно было лучше — свежее, не так шумно. Сквозь парусину, которой он был обит, просвечивало голубоватое сияние электрических фонарей, и откуда-то с улицы доносились вздохи музыки...

— Сколько музыки здесь! — вздохнула она. — Вы любите музыку?..

— Хорошую — да...

— Разве эта плоха? Вот сейчас на сцене играли Штрауса... я очень люблю его... У него всегда такой нервный звук, так много любви, и страсти, и неги... Хочется любить и быть любимой, слушая его... — задумчиво говорила она.

«Ишь, старается! — думал порядочный человек. — Как ее, наверное, злит моя холодная мина и моя неразговорчивость... Ничего! Я с удовольствием посмотрю, что будет дальше. Во всяком случае, тебе недешево достанется сегодняшний твой ужин... паразитка!»

— Чокнемтесь! — предложила она, когда принесли вино. Чокнулись и выпили. На самом деле ее злила его неприступность. Она истощила все свои темы и уже

не говорила теперь так бойко, как начала. «Чего нужно этому человеку? Чем его можно расшевелить? Господи! какая дрянь эти мужчины! Являются они известно ведь зачем, и еще требуют, чтобы у них возбудили желание наслаждения, вызвали его...» На минутку она задумалась.

«Выдохлась!» — подумал он, усмехаясь и холодно глядя на ее склоненную над столом голову и на обнаженную до плеча красивую белую руку, пальцами которой она тихонько барабанила по донышку бокала.

— Вы видели синемаатограф?

— Нет еще... — ответил он, дав себе слово как можно меньше поддерживать разговор. «Посмотрим, как это подействует на тебя, моя радость!»

— О! Посмотрите! Это преинтересно! — оживилась она. — Как это дивно... Особенно мне нравится одна картинка. Молодые супруги... муж и жена... такие, знаете, здоровые, красивые, завтракают и кормят бебе... миленького такого! Он ест и строит рожи... ах, как это мило! Вы непременно обратите внимание на эту картину... она такая многозначительная... и, знаете, здесь эта картина как-то особенно хороша... то есть не хороша, а сильна.

Она запуталась и искала выражения, нетерпеливо стуча пальцами по столу. Он заметил, что ее глаза стали как-то глубже, яснее... Это возбудило его любопытство.

— Почему вам нравится именно эта картина? — спросил он.

— Семейная жизнь? — воскликнула она искренним звуком. — Боже мой, ведь я же женщина!

В этом «я женщина» — прозвучало что-то близкое к укору. Порядочный человек подумал, уловив эти две нотки:

«Ба! у тебя, кажется, есть слабое место! Если ты только не притворяешься. Попробую...»

— Извините! — вслух сказал он простым и дружеским тоном. — Я действительно нелеп с моим вопросом. Я как бы позабыл о том, что женщина — хотя и не всегда мать, но всегда хочет быть матерью...

— Честное слово — это так! — вспыхнула она и даже ударила по столу кулаком.

Тогда он тихо и задушевым тоном начал говорить, как бы про себя, о прелестях, о поэзии, о значении семейной жизни и с неопределенной улыбкой всё следил за выражением ее лица, мельком, исподлобья бросая на него быстрые взгляды своих серых глаз. Оно менялось, становилось проще, и вызывающее выражение глаз погасло в чем-то туманном; облокотясь одной рукой на стол, она неопределенно смотрела пред собой, слушая его ласковый и задумчивый голос, умело рисовавший картину за картиной...

Там, в зале, гремел оркестр музыки и шумно билась бешеная, кипучая, разнузданная жизнь,— здесь, на балконе, из-под груды наносного хлама в душе женщины возникали «погибшие мечты» о другой, простой, тихой, серенько-счастливой жизни.

Женщина вдруг плотно сжала губы и, как бы вострепнувшись от дремоты, решительно сказала:

— Однако — достаточно об этом! Тема довольно скучная! Выпейте еще вина!

Он мельком взглянул на нее, сделал паузу и снова, задумчиво, продолжал:

— А когда маленькое, теплое, трепещущее от смеха тельце прижимается любовно к груди матери и ясные глазенки смотрят в ее глаза...

Он точно сказку рассказывал...

Ее рука, протянувшаяся к бутылке, унала на стол, и она, с бледным лицом, с потухшими глазами, тихо сказала:

— Э! Будет вам!..

— ...Сколько счастья в этот момент ощущает мать, сколько сладкого трепета сердца и могучей любви кипит в ней...

Она покорилась. Откинувшись на стул, бледная, с выражением глубокой тоски в темных глазах, она так смотрела ими, точно эти красивые, яркие картины счастья были видимы им, точно они были тут где-то, близко. А он всё говорил, и хорошо говорил, образно, ярко, задушевно...

Всегда приятно несколько поглумиться над человеком, — это всякий знает. А «порядочный человек» слишком хорошо, по его мнению, знал «этих», для того чтобы

верить одной из них — той, которая сидела против него и, с увлажненными глазами, слушала речи о тихом счастье, скромной жизни, о теплом огне семейного очага и о всем другом, о чем он мог сказать ей, но в чем сам он едва ли мог видеть счастье. И, говоря ей всё это, он одновременно думал, глядя на ее облагороженное грустью лицо:

«Вижу — тыходишь в роль кающейся, но этим меня не проведешь, и больше десяти рублей я на тебя не истрачу... нет! Но если б за пятнадцать я мог задеть твое больное место, заставить тебя несколько опомниться, быть может, я истратил бы пятнадцать».

Ему казалось, что он вправе отомстить ей за ту бесцеремонность, с которой она напросилась на его угощение, и за профессию, которой она служит, наказать ее, заставив пережить скверный, тяжелый час, час искреннего покаяния, час горьких воспоминаний о прошлом. Наконец, она просто злила его тем, что не могла возбудить в нем желания обладать ей, и, несмотря на это, — все-таки пила и ела за его счет.

— В семье, в уютно обставленной теплой комнатке... так хорошо сидеть вечером бок о бок с любимым мужем... читать, разговаривать, чувствовать на себе его ласковый взгляд и знать, что он ждет поцелуя и примет его с наслаждением.

Она вздохнула и как-то странно качнула головой... Он заметил, что из ее левого глаза на скатерть стола упала слеза. Острое чувство удовлетворения охватило его. Он сузил свои глаза, скрывая усмешку в них, и, еще понизив тон, уже задумчивым шёпотом будил в ней то, о чем она давно уже забыла.

«Едва ли ты когда-нибудь ужинала с такой приправой, голубушка!..» — воскликнул он мысленно.

Ему положительно было приятно мучить эту женщину; было время, его тоже мучили и они, не таким мучением, но мучением ожидания, неизвестности — более острым, чем это. Он видел, что она искренна, и не сомневался в этом; теперь ему хотелось, чтобы в этой пьесе ее финал был так же пошл и груб, как увертюра.

А она, эта женщина, смотрела на него широко открытыми, влажными глазами, облокотясь на стол, и

пальцы ее рук были крепко стиснуты. Жалкое что-то отражалось на ее бледном, осунувшемся лице...

И вот он вдруг встал, оборвал свою речь на полуслове, холодно и сухо усмехнулся ей в лицо, бросил на стол десять рублей и сказал:

— Прощайте, мне пора! Вы уплатите, тут хватит.— И быстро пошел к выходу, не дав ей опомниться.

Она вздрогнула и бросилась за ним, сильным движением всего тела, но снова опустилась на свой стул, раскрыв рот, будто она задыхалась, и схватившись рукой за левый бок...

Фамильярно улыбаясь, к ней подошел лакей.

— Получить?

— Принеси мне...— шёпотом начала она, но у нее порвался голос, и она, растерянно улыбнувшись, странно покачала головой из стороны в сторону.

— Чего? — спросил лакей.

— Водки! — шепнула она, — водки!..

А когда он пошел, истерически крикнула вслед ему:

— Больше... больш-шой стакан!

## СОЛО

ЭТЮД

— Саковский! Ради бога — не так громко! Ведь у нас пианиссимо! Ти-та-та... та-ти-та-та! Тра-дда-а-а! И звук совершенно гаснет... умирает... поглощается общим мягким и ласковым шумом пробуждающегося леса... Понимаете?

— Угу, — кивнул головой бритый и усатый поляк, солист на английском рожке, и снова меланхолично запел свою партию.

Репетировали «Пробуждение леса» — музыкальную картину, недавно написанную молодым капельмейстером бального оркестра Шарковым. Антрепренер сада, в котором играл Шарков, задумал угостить публику «грандиозным» гуляньем, и Шарков, приурочив к этому гулянию свое «Пробуждение леса», волновался и горячился, спешно разучивая новую пьесу. Он возлагал на удачное исполнение своей пьесы большие надежды. У него была «она», пока еще мало обращавшая на него внимания, и он надеялся, выступив пред «ней» в роли композитора, победить ее. Это было бы дважды хорошо: во-первых, сама она была очень лакомым куском — вдова двадцати пяти лет, всегда со вкусом одета, всегда жива и весела, чуть-чуть скептична, с такими красивыми, ясными глазами, с роскошным бюстом; во-вторых, у нее после мужа осталось тысяч пятьдесят денег и доходный каменный дом.

Он давно, но безуспешно ухаживал за ней и теперь полагал, что «Пробуждение леса» разбудит и ее сердце.

— Вот так, Саковский, так, даже еще слабее... да. Тимпаны тихо-тихо начинают сейчас же за вами — это порыв ветра, потом скрипки... кларнеты... так! Валторны! Прекрасно!.. Кларнеты... скрипит старое, су-

хое, дуплистое дерево... поют птицы — флейты! Пикколо... вот! Теперь, Ильков, вы вступаете... вы, как ваше соло?

Ильков, баритон, молодой человек с длинным лицом и большими печальными глазами, надул щеки, приложил свою трубу к губам и заиграл мечтательно и тихо красивую мелодию густым, дрожащим, как бы доносящимся откуда-то издали звуком. Капельмейстер, помахивая палочкой, с удовольствием на лице слушал его и, когда последняя нота, задрожав, порвалась, живо вскричал:

— Я был уверен, что вы мастерски справитесь с этой вещью!.. Теперь, господа, пожалуйте, еще раз сначала... Ну-с...

— Павел Борисович,— сказал Ильков,— я могу уйти?

— А вам очень нужно?

— Да... мою партию проведет вот он.— Ильков кивнул головой на своего соседа.

— Да... у него пауза в этом месте... Гм? Хорошо, идите... я надеюсь на вас.

И с видом командира композитор жестом разрешил Илькову идти. Тот встал, задумчивый и скромный, надел было шляпу на голову, потом снял ее и, рассеянно оглядывая своих товарищей, замер на месте. Вокруг него текли широкой волной тихие плавные звуки, точно шептавшие о чем-то торжественном и важном. Капельмейстер, возбужденно дергая левой рукой свою бородку, дирижировал, и, казалось, раковины его ушей двигаются от напряжения, с которым он прислушивался к оркестру. Порой его лицо вспыхивало от удовольствия.

Ильков смотрел на товарищей, внимательно читавших ноты, и потирал себе лоб, а брови его беспокойно двигались.

— Не дашь ли ты мне три рубля? — обратился он к контрабасу, высокому хохлу Янченке, когда тот делал паузу.

— Это для конфет ей? — ухмыльнулся Янченко. Ильков кивнул головой.

— Так тогда не дам... потому глупо кормить козу конфетами — для этого капуста есть.

Ильков вздохнул, нахмурил брови и пошел со сцены садового театра, где происходила репетиция. Вслед ему грустно пел свою партию английский рожок.

Через полчаса Ильков сидел на скамье в глухой аллее сада и чертил тростью на песке дорожки разные фигуры, кусая усы и наблюдая, как конец трости бороздил песок. Иногда он, с ожиданием в глазах, смотрел вдоль аллеи. Но она была пустынна, в ней было прохладно и сыро, и деревья стояли неподвижно, бесшумно. Кое-где сквозь них просвечивало небо, и чирикали птички в густой темно-зеленой листве, а порой из театра доносились обрывки звуков музыки, с улиц города — глухой дребезг пролетов, звон колоколов. Было уже часов пять — благовестили к вечерне.

Ильков вздрогнул, быстро встал со скамьи и пошел навстречу девушке в сиреновом платье, с зонтиком в руках и в кокетливо сдвинутой на затылок шляпке, открывавшей личико — круглое, розовое, веселое. Шла она неторопливо и улыбалась задорной ясной улыбкой...

— Аккуратный, — сказала она, когда он поравнялся с ней и взял ее за руку. — А конфеты? Опять нет?

— Сонечка! Право, ни гроша денег! — умоляюще и сконфузившись, сказал Ильков, взяв ее под руку и возвращаясь к скамье, на которой сидел.

— А говорит — люблю! Занять рубля не мог?

— Соня, пробовал!

— Ну уж молчи... Не верю, — и она шаловливо ударила его по плечу ручкой зонтика.

— Вот тебе за то, что ты неслух и не любишь свою девочку...

Ильков плотно сжал губы, как бы желая удержать то, что хотел сказать ей. Она шла рядом с ним и что-то напевала, сбоку глядя в его бледное лицо.

— Ну, что же ты молчишь? И куда мы пойдём?

— Посидим здесь, Соня... Здесь прохладно и никого нет... Мне нужно серьезно поговорить с тобой...

— Опять серьезно? Какой... серьезный. Я знаю, о чем... — и она усмехнулась.

— Конечно, знаешь... Я всё про старое хочу сказать тебе, Соня... Как же, решилась ты? — У него вспыхнуло лицо, и он крепко сжал ей руку, а она отрицательно качнула головой, садясь на лавку, рядом с ним...

— Нет? Сонечка, когда же? Ведь это мне уже не в силу стало. Сколько времени я терплю, жду, когда ты скажешь мне, что согласна. А ты... так странно... ведь ты любишь меня?

— Конечно! Но, голубчик, куда торопиться? Успеем еще быть мужем и женой. А теперь мне страшно решиться... Как мы будем жить на 30 рублей в месяц?

Лицо у нее стало холодно и серьезно, а глаза как бы острее... Ильков несколько отодвинулся от нее и поник головой.

— Живут люди и на двадцать... — тихо сказал он.

— Так ведь как живут?

— Лучше, чем ты теперь, — тихо сказал он.

— Это почему?

Она нахмурила брови и отняла у него свою руку...

— Видишь ли... Ты не сердись, я всё тебе скажу попросту, дружески... Теперь на тебя смотрят как на девушку... сомнительную... знаешь? Около тебя всегда вьются разные черти... этот писарь Харламов.

— Ну что же? Харламов очень интересный, и мне с ним весело, — пожалала она плечами, — а ты всё выдумываешь... Сомнительная! Знаешь — другая за такое слово раззнакомилась бы с тобой, да!

— Соня, милая?! Разве я так думаю? — испуганным полушёпотом заговорил Ильков. — Ведь я вижу это, ну и говорю. Хочу предупредить тебя...

— Меня нечего предупреждать... я сама себе большая... — обижалась она и отодвигалась от него всё далее. Он, наклонясь к ней, горячо говорил, сжимая ее руку.

— Сонечка, да не сердись же! Вот погоди... Завтра вечером я играю соло... очень трудное, в этой новой пьесе — знаешь? Я хорошо исполню его и выпрошу у Шаркова себе прибавку... Он даст! Он тоже, как я, влюблен, в одну богатую вдову... и завтрашний день для него — роковой!

— Кто она, а? Скажи! — с любопытством в глазах

подвинулась к нему Соня и заглянула в его взволнованное лицо.

— Она? Это неважно! — махнул он рукой.

— Вот видишь — такого пустяка не хочешь сказать... а говоришь глупости... — снова обиделась она.

— Да разве в ней дело! — с отчаянием воскликнул он. — Ведь судьба моя решается. Ну, скажи мне, милая ты моя, скажи, — если Шарков даст мне сорок — ты обвенчаешься со мной? Соня? Ну, скажи!

Она долго молчала, думая о чем-то про себя и шевеля губами, как бы считая что-то.

— Соня! — шептал он, склоняясь к ней и нервно сжимая ей руку.

— Сорок... — задумчиво начала она. — Это, пожалуй... хватит. Потом еще прибавят или так уж всегда будет сорок? — осведомилась она.

— Прибавят! — горячо шепнул он. — Я буду солистом... дадут и пятьдесят... и семьдесят пять... Поступлю в хороший оркестр, одевать тебя буду, как куколку... лелеять, Сонечка!

Воздух вокруг них был влажный, душистый, теплый; было тихо, деревья стояли неподвижно, и небо розовело сквозь их листву, на вершинах уже позлащенную лучами заката.

Соня, положив головку на плечо Илькова, закрыла глазки, а он целовал их и возбужденно шептал ей о своих надеждах на будущее...

— Пойдешь, Соня, — если сорок?

— Пойду... — шепнула она.

— Родная! на свадьбу я займу сто, и... господи! как это всё будет хорошо! Уж тогда эти дьяволы, которые выются около тебя, не будут говорить о тебе разных подлостей! Ты будешь моей женой, и я... задам им! А теперь — ах, Соня, иногда они... Янченко, например, такое говорит!

— Ну, что мне сделается от разговоров! — сказала она.

— Ах, ты не слышишь! А каково мне! Я люблю тебя, а они...

— Так ты, — перебила она его, — завтра будешь просить прибавку?

— Нет—послезавтра. А завтра я так сыграю это соло! Вот увидишь... услышишь... У тебя цела контрамарка?

— Да... я приду слушать... Ты смотри — отличись!

— Уж будь покойна! Мы завтра оба — и я и Шарков — должны отличиться...

У него весело горели глаза, и руки его дрожали от радостного возбуждения, а она с улыбкой смотрела на него, и было что-то загадочное в этой улыбке. Прядь темных волос ее выбилась из-под шляпки и красиво лежала на розовой щеке. Ильков, любуясь ее личиком, всё ближе склонялся к ней... Она посмотрела в даль аллеи — там по-прежнему было пусто... Тогда она бросила свои руки на плечи ему и прошептала:

— Поцелуемся и пойдем!

Она оттолкнула его.

— Будет! Хорошенького понемножку.

Они встали и пошли по аллее под руку друг с другом. Она была ниже Илькова, и, говоря ей о чем-то на ухо, он шел, наклонив голову к ее плечу. Слушая его шёпот, она ясно и весело смеялась, вызывая своим смехом улыбку на бледном лице своего спутника.

Они шли, сзади их всё гуще ложились вечерние тени; подул легкий, влажный, пахучий ветер, и деревья аллеи таинственно зашумели вслед им.

«Пробуждение леса» начали струнные инструменты нежным, мечтательным пианиссимо. Казалось, что брезжит рассвет, еще солнце далеко, но уже лес чувствует утро и сонно трепещет навстречу ему. Свистнула пикколо-флейта — проснулась какая-то птичка. Флагот запел — как будто филин прощался с тьмой ночной. Гобой вторил ему, как эхо; альт-горны вступили в эти звуки, и всё смелее пела пикколо-флейта. А лес шумел — тимпаны, контрабас, виолончели лили в воздух густые, но тихие красивые звуки.

Шарков, с бледным лицом, следил за оркестром и публикой, — публика молчала, густой толпой собравшись вокруг эстрады, и внимательно слушала пьесу. На первой скамье сидела «она», с лорнетом в руке и с веером в другой. Шарков видел ее, когда вставал

у своего шопитра, и чувствовал теперь ее, стоя к ней спиной. Иногда он оглядывался назад, и в его глазах мелькало ее серьезное, внимательное лицо... Ему было жутко от этого внимания — она понимала музыку и была очень строгим критиком его способностей...

И Ильков видел свою Соню... Она сидела у столика, в стороне от эстрады, под деревом, от которого на нее и на ее подругу падала густая тень. С ними сидел и Харламов, крутивший свои усы, и еще какой-то, тоже военный писарь. Илькову было очень удобно наблюдать за этой группой, и, судорожно перебирая клапаны своего инструмента, он горячими глазами, с жгучим чувством ревности в груди следил за каждым движением лица Сони. Вот она делает глазки Харламову... Вот он что-то сказал ей, и она тихо смеется... А вот Харламов встает... зачем? поправляет накидку ей и... садится с нею рядом, почти закрывая ее от глаз Илькова. Накидка — только предлог сесть ближе. Ильков понимает это, и ему больно. А Соня всё смеется.

Английский рожок меланхолично запел тихую мечтательную мелодию, и скрипки, под сурдинку, вторили ему. Скорбно загудел фагот и замер. Звуки скрипок становились всё яснее и красивее... Солнце всходило, первые лучи его уже скользнули по небу, над лесом, и лес всё полнее шумел встречу утру.

А в саду было темно, душно, горели керосиновые фонари, от них на публику и дорожки ложились полосы света, темные деревья стояли неподвижно и бесшумно, где-то звенело стекло посуды и дребезжали колокольчики, призывая лакеев.

Порыв ветра пронесся по просыпавшемуся лесу. Печально застонали старые деревья, уже равнодушные к солнцу, шумно зашелестела листва, весело защебетали птички. И в саду точно шумнее стало от этой утренней здравицы леса могучему солнцу.

Ильков приподнялся со своего стула и, вытянув вперед шею, с бледным лицом, закусив губы, злыми воспаленными глазами смотрел. Соня облокотилась о стол рукой — Харламов тоже... где их другие руки? Харламов говорит что-то, она отрицательно качает головой...

он встает... прижав руку к сердцу... кланяется ей, уходит? Уходит!

Ильков сладко вздохнул.

— Ильков, приготовьтесь! — слышит он шёпот капельмейстера. Он знает — до него еще около двадцати тактов. Он готов уже. И, глядя на свою Соню, Ильков легко и ясно улыбается. Красная фуражка Харламова тут, но уже не рядом с Соней.

Звучно поют корнет-а-пистоны, валторны вторят им — Ильков пробует клапаны своего инструмента и, улыбаясь, подносит его ко рту... Раз, два... три!

Грудным, густым, полным сдерживаемой страсти, дрожащим от напряжения тембром Ильков взял первые ноты своего соло. Это вышло так сильно и красиво — на широкой полосе звуков остальных инструментов оркестра, игравших в полтона, баритон Илькова рисовался рельефно, ясно.

Но — Соня?! Куда она? Куда она идет?

Баритон сорвался на середине ноты, но это вышло очень уместно, красиво — от силы страсти не хватило голоса.

Шарков одобрительно кивнул головой солисту.

А Соня рядом с Харламовым. Они идут туда... в аллею, где вчера... Она так близко, плотно прижалась к этому писарю, и он... наклонился к ней так фамильярно... Неужели правда то, что говорили о Соне и Харламове, неужели правда? Она смотрит в его усатое лицо, закинув головку кверху... ему стоит наклонить немного свою голову, и он поцелует ее... там, где потемнее аллея... Проклятая! Гадкая девчонка!

Дикий, неистово громкий, металлический звук раздался в саду, покрыв собой оркестр и весь шум, все звуки, какие были вокруг эстрады.

Большая медная труба ревела, как раненый зверь, а Ильков с налившимися кровью глазами всё дул в нее, напрягая легкие, задыхаясь от усилий, обратив жерло своей трубы туда, вслед Соне.

Оркестр перестал играть, и пораженные музыканты смотрели на Илькова. Он стоял на эстраде у края ее и трубил в сад... Вокруг эстрады грохотал смех — рев баритона заглушал его. Шарков сумасшедшими

глазами смотрел на своего солиста и, чувствуя, что он провалился в глазах «ее», сжимал себе голову руками, боясь оглянуться назад, слыша, как «она» смеется, взвизгивая от наслаждения.

Хохот из сада перенесся на эстраду, музыканты хохотали, глядя на своего товарища, неистово гремевшего в свою трубу. А Ильков звал назад, проклинал, жаловался, плакал, и всё это одним звуком — резким, свирепо-громким, смешным.

Он видел как сквозь туман, что Соня остановилась, стоит рядом с Харламовым, всё так же под руку с ним, и смеется...

Смеется!

Труба выпала из его рук, и он сам упал на стул. Вокруг него грохотал хохот, а он чувствовал, что он умирает от острого чувства обиды, тоски, горя...

— Что вы со мной сделали? — бешено шипел над его ухом капельмейстер.

— Соло... — шепнул Ильков, задыхаясь, чувствуя, что в нем всё разрастается боль, что он сделал что-то скверное или с ним сделали что-то...

У него текли и слезы из глаз, и сердце билось с страшной силой.

— Вы погубили меня — понимаете? Что вы сделали?

Хохот публики, кажется, всё усиливался или Ильков стал яснее слышать его.

— Я вас спрашиваю — болван вы!

— Соло... — шептал Ильков, махая рукой.

А публика всё хохотала — все хохотали: ужасно смешно было смотреть на этого музыканта, трубившего, как ангел в день страшного суда.

## ДИПЛОМАТИЯ

### КАРТИНКА С НАТУРЫ

Сапожник Федька Скроботов был в унынии. Квартирный хозяин поставил ему вчера строгий ультиматум — или давай деньги, или уезжай с квартиры. Жена и мать Федьки по сему поводу с утра неистово пилили его, попрекая пьянством, ленью и всеми другими пороками, коренившимися в Федьке, по их словам, со дня его рождения. Наконец они, дружно предав его анафеме, замолкли, мать ушла куда-то, жена села к окну и стала шить, а Федька ковырял шилом старый башмак и, чувствуя, что ему хочется есть, — никак не мог решиться попросить у жены обедать. А в желудке давно уже сосало, и голодная слюна наполняла рот. Наконец он решился...

— Ка-акие я малосольные огурцы видел в лавке! Гробовое молчание со стороны супруги.

— А что, у нас нет огурцов? — дипломатично продолжал Федька.

— Ты покупал? — сухо, не поднимая головы от работы, спросила жена.

«Нет, он не покупал. Хотел купить, но не успел, ибо проиграл деньги в три листика. Однако в следующий раз он обязательно купит огурцов, и даже сразу тысячу...»

Он подумал это про себя, а жене доложил:

— Не успел я намедни... Нужно было дратвы, вару...

— Молчи уже, варвар... — укоризненно бросила ему супруга.

Федька засмеялся, изобразив на лице нечто вроде удовольствия.

— Какие эти самые женщины умные... когда они разозлятся. Даже удивительно! Ей миролюбно скажешь — вар! А она тебе сейчас на это слово запалит — варвар! Каждое твое слово помножит и к щеке твоей приложит!

Обыкновенно от балагурства Федьки его супруга «поджимала животик», но в данном случае она только плотно сжала губы и, помолчав, тоном сухим и колким спросила:

— Как будешь с хозяином-то?

Федька вздрогнул и поежился, но решил не терять присутствия духа, надеясь храбростью ускорить обед. Он многозначительно поднял кверху палец и таинственно заговорил:

— Не извольте тужить — мы сумеем прожить! Мы, хорошие слуги, проживем и без потуги... Пусть только на нас не рычат, яко звери, наши любимые супруги!

Победа! Жена улыбнулась!

— Сколько это у тебя их, супруг-то?

— Одна! Да и та, должно быть, больна, я выпью пенножко вина, а она делается пьяна и колотит меня колодками по башке... чего делать не должна!

Федька пересолил. Супруга снова нахмурилась и кратко заявила:

— Убить даже тебя, болтуна, и то мало!

Обед опять отодвинулся далеко куда-то. Федька угнетенно вздохнул.

— Насчет хозяина ты не беспокойся! Я его сегодня вечером укрощу... как только в голове нужных слов найду...

— Что у тебя слова-то ползают в голове? — оппо-нировала супруга.

Опять неудача!

— Видишь ты, ему я, этому самому хозяину, уже такую подпущу дипломатию, что он, не токма что денег с меня просить — благодарить меня будет, да! — вдохновенно начал врать Федька. — А пока что собрала бы ты по...поесть чего-нибудь!

— Иди за щепками, надо щи разогреть... — сверх ожидания сказала жена.

Федька живо вскочил и бросился в сарай за щепами.

Задняя стена сарая выходила частью в сад домохозяина, а частью на соседний двор, и на нем, как раз у стены, слышался говор. Любопытный Федька прильнул к щели, желая знать, кто и о чем говорит. Говорили, стоя у забора, трое мальчиков; один из них был сын учителя, жившего рядом, двое других — его товарищи. Федька знал их всех. Они смотрели в сад домохозяина Федьки на яблоки, еще незрелые, но уже крупные, зарумянившиеся, отягощавшие ветки и дразнившие вкус...

— Полеземте,— предлагал сын учителя товарищам, кивая головой на яблоки.

Те подозрительно огляделись вокруг, не решаясь. У Федьки блеснула в голове идея.

— Мальчики! — вполголоса позвал он.

Мальчики шарахнулись было в сторону, но сын учителя остановил их.

— Это — сапожник,— успокоительно сказал он.

— Это действительно — я! Я знаю лаз,— ах, как удобно! Айдайте вместе? И напорем мы этих самых яблоков — пуды! Идет?

Мальчики оживленно заговорили друг с другом, быстро составив что-то вроде военного совета. Нервозный сын учителя горячо убеждал товарищей в безопасности набега, а Федька слушал и трепетал от ожидания. Решили наконец.

— Вот и превосходно! Я сейчас же там буду!

Действительно, через минуту он сидел за сараем верхом на заборе и, глядя, как по саду, крадучись, в тени веток, двигались фигуры мальчиков, руководил их действиями, громким шёпотом командуя:

— Левее берите... к малиту! Он теперь вкусный, малит-то!

Потом он спрыгнул в сад, видя, что мальчики подошли к «малиту», подошел к ним и, спросив: «Идет работа?» — взял учителя сына за плечи. Тот обернулся и вопросительно посмотрел на него. Федька сделал строгое лицо.

— Теперича, господа, у нас пойдет серьезный разговор. Вы двое бегите, а вы, Николай Николаевич, пожалуйста со мной.

Товарищи Николая Николаевича, бледного от охватившего его испуга, поняли, в чем дело, и моментально скрылись. А их товарищ попытался вырваться из рук сапожника, но понял, что это ему не удастся, и глухо прошептал:

— Отпусти, Федор, я тебе завтра двадцать копеек дам!

— Я еще не обедал, а вы меня уже завтраком кормите! Не-ет, это удочка плохая! А за воровство положено наказание — тюрьма. Пожалуйте — идти!

Федька говорил громко и был строг, как Катон. Он вел своего пленника по дорожке сада и чувствовал, как дрожит его плечо, как холодеет рука. Лицо пленника было бледно, губы беззвучно шептали что-то, он инстинктивно упирался ногами в землю, Федька подталкивал его вперед и чувствовал, что ему жалко мальчика. Ему хотелось отпустить его, но — дипломатия! Федька очень много надежд возлагал на свой план для того, чтобы не попытаться довести его до конца.

— Извольте идти! — уговаривал он пленника очень любезно и доброжелательно. — Ничего не поделаешь... отпустить я вас не могу, а должен представить домохозяину... вот он! Здравсте, Платон Михайлыч! В то время как вы ругаете меня разными тяжелыми словами и гоните вон с квартиры, — я-с оберегаю ваше имущество и добро! Извольте видеть? Поймал вора-с! С поличным в руках имею честь передать его вам! Получите!

Домохозяин, сырой и толстый человек, страдавший одышкой, взял пленника за подбородок, поднял кверху его голову и грозно захрипел:

— А!.. Давно уж я... добирался...

— Вы добирались, а я подобрался — хап! И готово! Я тоже давно слежу за ними... мне ваше, Платон Михайлыч, добро дорого! Я, бывало, ночи не сплю — всё слежу. Сад моего хозяина тр-рогать не смей! Я — вот он! И я уж услежу...

— Я больше не буду... отпустите меня! — молил пленник со слезами на глазах.

— Нет... я тебя к отцу, и пусть он тебя выпорет... ага?! — хрипел Платон Михайлович, страшно вращая глазами.

— Я готов изувечить человека ради вашего спокойя! И вот — извольте видеть — поймал! — убедительно говорил Федька, вертясь ужом вокруг массивной фигуры своего хозяина.

— Спасибо! Ты и вперед... смотри!

— Всегда согласен! — с готовностью воскликнул дипломат.

— Хотя ты тоже... ворище!

Федька выразительно пожал плечами и сказал:

— Ах, зачем опять такие тяжелые слова!..

Их пленник горько плакал, ожидая решения своей участи. Он уже не просил отпустить его и не пытался осветить предательскую роль Федьки в этом деле.

— Я, кажется, вот показываю вам себя при всем солнышке! Зачем бы это мне гоняться за грабителями вашего сада? Иной бы на моем месте, после вашего вчерашнего разговора, еще сам же подучил — идите, ребята, охлаждайте сад!

Тут Федька кинул косой взгляд в сторону своего пленника и, убедившись, что тот совершенно не в состоянии понимать что-либо, свободно вздохнул.

Было жарко и душно. С жирного лица Платона Михайловича обильно тек пот, и ему надоело всё это. Он даже зевнул от истомы. Федька дипломатично замолчал, ожидая дальнейшего.

— Вот что,— сказал ему домохозяин, свирепо отдуваясь, — отведи ты этого... воришку к отцу... знаешь?

— Знаю! — кивнул головой Федька.

— И расскажи там всё...

— Понял! Это я — в момент! Извольте путешествовать за мной, молодой злодей!

Когда Федька вышел со своим спутником за ворота, он дернул молодого злодея за рукав, подмигнул ему и расхохотался.

— Идите вы, Коля, теперь, куда вам хочется! Напугались? Ничего не поделаешь... дипломатия, вот в чем гвоздь. Ну, идите!

Коля не верил своему предателю. Он посмотрел на него заплаканными глазами и снова понурил голову.

— Иди-и-те, говорю! — убедительно протянул Федька и даже толкнул его в плечо.

Тогда, медленными шагами, мальчик, оглядываясь на сапожника, пошел по панели. Федька, улыбаясь, смотрел ему вслед. Вдруг мальчик быстро наклонился, выпрямился, взмахнул рукой, и мимо головы Федьки со свистом пролетел камень. Федька дрогнул и сделал движение вперед, но мальчик был уже далеко.

— Злой... Обиделся... — вслух сказал Федька и пошел на свой двор.

— Ну, что? — спросил его домохозяин.

— Отвел, и всё как следует. Сейчас его ухватили за вихры и повели пороть! — убежденно врал Федька.

— Так и надо, — сказал домохозяин.

— А то как же? Непременно пороть! А кстати, Платон Михайлович, как вы решили с чемоданчиком-то?

— Дорого просишь...

— Нет! Но ежели желаете — полтора рубля, и зачесь это за квартиру. А остальные два с полтиной, будьте столь великодушны, подождите... Приставлю я вскорости одному приказчику головки, и получите всё до копеечки! Желаете?

— Ну... — буркнул домохозяин, — чёрт с тобой!

— Стеснения мне и угрозы выгоном вон из квартиры не будет? Превеликолепно! Ведь я, ежели говорить по совести, какой квартирант вам? Редкость! Тих и... оберегаю ваше добро, не смыкая глаз, могу сказать! Ей-богу! Хоть бы вот теперь — сколько я время потерял, ловя воров в саду и прочее такое?!

— Ну... отстань уж! За это спасибо... а все-таки деньги за квартиру надо платить в срок...

— Да господи! Ежели бы я...

Но домовладелец, грузно покачиваясь, уже шел в сад... Федька, улыбаясь вслед ему, подмигивал жене, смотревшей на него из окошка и тоже улыбавшейся...

Через полчаса Федька сидел за столом и, жадно глотая вчерашние щи, оживленно и пылко говорил:

— Ум, почтенная наша мамаша и дорогая супруга, ум-с, — вот что есть главное в жизни! Дипломатию надо уметь делать с людьми. Человек на тебя с оглоблей лезет, а ты его норови дипломатней опутать... Ведь

вот сегодня утром какая была моя жизнь? Хозяин меня съесть готов, супруга меня кусает, маменька жует... оставалось мне повеситься или сбежать! Полчаса действия моего ума, и все стали очень даже ласковы! Какво-с?

— А ты ешь, ешь,— поощряла его мать.

— Я могу и есть и говорить... И даже мне это выгоднее! Я говорю, вы меня слушаете... и не видите, что я давно уже с говядиной черпаю, а вы всё еще пустые щи буздыряете!

И все трое за столом разразились веселым хохотом.

## СЛЕПОТА ЛЮБВИ

### ЛЕГЕНДА

...Есть много рассказов о том, как слепа любовь, но, поистине говорю, мне более всех нравится вот этот, помещенный в одной средневековой хронике.

«Однажды рыцарю Гастону де Курси, благородному барону из Кутанса, сказала дама его сердца, прекрасная Бианка де Монфор:

— Довольно песен и вздохов, барон! Товарищи ваши давно уже бьются за святой крест на полях Палестины, и многие из них уже не возвратятся назад во Францию, ибо мечи неверных, как и ваш меч, кованы из стали, и стрелы их нередко попадают в цель! Боюсь, что, слагая в честь мою песни, вы забыли об этом, барон.

Вспыхнули щеки рыцаря краской стыда, но он был горд и храбр.

— Клянусь вам, госпожа, святым крестом,— я поеду в Палестину и не устану быть там до той поры, пока правая рука моя со мной и меч мой в ней. Клянусь вам, прекрасная Бианка, что первое, после имени пресвятой девы, будет ваше имя на моих устах, до поры, пока они владеют словом!

И, поклонясь ей, как то следовало, он поехал в свой замок, чтоб собрать вассалов и ехать в Маресечь и в Сирию, где в то время уже был Барбаросса с его войсками.

И вот приехал туда, в святую землю, храбрый Гастон де Курси и, вынув меч свой из ножен, десять лет не влагал его в них. С громким криком: „Во славу пресвятой девы и Бианки де Монфор!“ — он врубался в толпы врагов креста и с яростью низвергал их в прах, смеясь от радости, когда видел голову мусульманина,

падающую на землю, как спелый плод поздней осенью упадет с ветви дерева.

Но при осаде Птолемаиды, находясь среди рыцарей короля Филиппа Августа, сразился сир Гастон де Курси с одним из лучших воинов Саладина и получил в кровавой схватке страшный удар по правому плечу от меча сарацина. И вот от этого удара стала сохнуть правая рука рыцаря; ни молитвы, ни мази не помогали ему, и когда болезнь ослабила руку храброго до того, что не мог уже он больше поднять ею меча своего,— он решил вернуться во Францию, к берегам своей родины, и у ног своей дамы кончить богатые подвигами дни.

Осенью, в дождь и бурю, утомленный и вымокший, остановился он со свитой у ворот замка Монфор, и затрепетало его сердце огненной радостью, когда он увидел, что Бианка, в свите дам, идет встретить его. Опустясь с коня на землю, он преклонил колено пред той, которую так любил, а она, радостно улыбаясь, но со слезами на глазах, протянула ему для поцелуя руку свою, и еще больше слез показалось на щеках ее, когда она увидела, что он принял ее руку своей левой рукой. Оба они молчали при этом, ибо бесполезно говорить, когда в сердце много чувств. Но свиты их шептали за их спинами, когда рыцарь и дама шли в зал замка.

— Да она седая и в морщинах вся! — изумленно говорили рыцари барона де Курси.

— Господа! — возразил им барон, — вы видите то, чего нет, ибо любимая женщина не стареется!

И сконфуженные рыцари умолкли.

— Боже мой! Этот бедный Курси! — со слезами говорили дамы свиты Бианки де Монфор, — у него нет руки и всё лицо изрублено неверными; как он стал уродлив и страшен, этот храбрый барон!

— Что такое говорите вы? — удивилась прекрасная Бианка. — Он всё так же красив и молод, как и был. Впрочем, тот, кто не любит, всегда видит то, чего нет! — прибавила она с сожалением.

...Вот этот рассказ о слепоте любви. Из него же видно, как сильна любовь, если она спорит даже с непобедимой силой времени.

## ЛЕГЕНДА О ЕВРЕЕ

В одной старинной книге, переведенной с арабского языка, написано:

«Рафаил Абен-Талеб, почтенный и ученейший еврей, многие годы жил при дворе халифа Йезида, пользовался его высокими милостями и доверием даже до того, что был назначен хранителем сокровищ халифа. Вся Кордова знала мудрого еврея, и когда он ехал на муле по улицам ее, задумчиво глядя свою седую и длинную бороду, опускавшуюся даже до гривы животного, жители города — и арабы, и несториане, и единоверцы Талеба — почтительно и низко склонялись перед ним.

Слава об его мудрости, о справедливости его сердца и о многих других достоинствах еврея, которыми наделил его аллах по недоступной уму человека воле своей, далеко распространялась за пределы халифата, и многие правоверные говорили об этом деле бога так:

— Велик аллах и Магомет, пророк его! Красоту он мешает с глупостью и горбатого наделяет высоким умом. Вот мы видим неверного, ум которого равен уму Аверроэса и знания наук превышают знания Авиценны... Велик аллах!

И была у Рафаила Абен-Талеба семья весьма обширная, виллы и виноградники и много сокровищ, приобретенных им по великой милости халифа, сосуды, статуи, драгоценные камни и одежды. Так жил он и ни в чем не нуждался, ибо и друзьями он был одарен по воле аллаха, — друзьями, высоко чтившими душу и ум еврея.

Но, имея всё это, он не имел главного, что красит жизнь: никто никогда не видал, как смеялся еврей.

Спрашивали его часто — почему это с ним? Почему уста его не слагаются в улыбку и сердце не трепещет радостно от смеха?

Он отвечал, вздыхая:

— Слишком хорошо вижу я жизнь, для того чтобы мне могло быть весело.

Удивлялись ему...

И вот однажды этот человек явился пред лицо халифа в обычный час, когда весь двор, присутствуя перед тронем повелителя, слушал мудрые речи его, — явился Абен-Талеб и, склонясь пред владыкой Кордовы, твердо и решительно, как всегда он говорил пред халифом, сказал ему:

— Тебя, которого царь царей сделал моим властелином и владыкой этой цветущей земли, — я прошу о великой милости!

— Говори, — сказал халиф, — говори, но не забывай, что даже и щедрот царя мало для вознаграждения заслуг истинной мудрости...

— Я малого прошу — отпусти меня!.. Навсегда отпусти...

— Разве есть кто-нибудь, чье сердце лежит к тебе больше, чем мое, и чья рука обещает тебе более богатств? — нахмурился халиф.

— Нет, не оскорбляй меня подозрениями в алчности! Довольно мне почета и богатств, я хочу дать душе моей что-либо. Я ищу удовлетворения тоски души, — тоски, смущающей жизнь мою, преждевременно посеребрившей мою бороду. Я искать жизни иду, ибо не может быть, чтоб бог, сотворивший всё, не создал на земле страны лучшей, чем та, в которой мы живем, людей более совершенных, чем мы, и желаний более благородных, чем те, которым повинемся мы. Помнишь ты, мудрый наместник бога на земле, рассказ о готах, которые ехали в лодке вверх по Нилу, великой реке твоей родной страны, стремясь к Асгарду — городу, в котором живет их Один? Каждый народ имеет свой Асгард, но стремление к нему глохнет в бурях жизни, как глохнет куст роз, окруженный репейником. Вот во мне проснулось желание найти мой

Асгард, и я прошу тебя — отпусти меня к нему, ибо нет мне жизни иной, чем в этом искании...

— Иди, — сказал, задумавшись, халиф, — иди и возьми с собой спутников, дабы, если ты погибнешь в пути, было от кого узнать мне об этом.

И, бросив семью, сокровища и друзей, ушел Рафаил Абен-Талеп на искание жизни совершенной.

Люди так преданы самим себе, а время всегда полно явлений, занимающих их умы, и хотя среди явлений жизни редки крупные, но всегда зато слишком много мелочи, и поэтому забыли в Кордове о еврее Абен-Талебе.

Но однажды, когда много лет уже прошло с той поры, как еврей ушел от жизни, так привычной всем, — пред халифом Кордовы, выходящим из мечети, пал путник, весь в пыли и лохмотьях, — пал и, прославив имя аллаха, объявил:

— Я один остался из всех назначенных тобою, милостивый халиф, провожать Рафаила Абен-Талеба.

— Говори мне о нем, говори! — с любопытством воскликнул халиф.

И человек рассказал:

— Ходили мы по местам, населенным людьми и известным из книг и рассказов, были у франков, гуннов и алан, у германцев и у людей, живущих на трех островах; переправлялись через реки и моря, и бесконечно много стран видели наши глаза, но нигде не нашел еврей того, что искал. Пустыни, томясь от жажды, проходили мы, всходили на горы и с них снова спускались на поля, и чем более земли попирали наши ноги, тем мрачнее становился еврей. «Там!» — говорил он, — когда видел горы вдаль, и глаза его загорались надеждой. «Там!» — восклицал он, смотря с вершины горы вниз к се подножию. Утомились мы и озверели, сопровождая его, а он всё искал. Много любопытного и мудрого есть на земле, и, если б еврей не думал о себе более, чем человеку это нужно, для того чтобы удовлетворять себя и других, он нашел бы жизнь на земле. Но он всё шел вперед, восклицая: «Там!» — И мы шли за ним, смущенные его гордостью и удивляясь его упорству. Однажды мы пришли в чудесную страну

и шли по равнине, поросшей сочной зеленью, прорезанной многими ручьями вкусной воды, — шли, восторгаясь красотой и богатством природы. Но еврей был мрачен — он не видел среди роскошной природы совершенных людей. С каждым шагом вперед всё богаче была страна, все краски и цвета сияли вокруг нас, и на горизонте стояли лиловые горы, упираясь вершинами в небеса.

«Там!» — воскликнул еврей, и первый раз мы услышали в его голосе звук радости. Он вдруг точно вспыхнул весь и быстро повлек нас за собой. Хорошо нам было смотреть на него, и это поднимало наши силы. Подошли к горе и пошли на нее. День шли, и два, и много дней — еврей всё больше воспламенялся надеждами, и не гасла в нем удивительная сила его. Вот уже близко и вершина горы — еще несколько шагов, и пред нами откроется то, что скрывает она.

«Адонай!» — вдруг воскликнул радостно еврей и упал на землю и был мертв, когда мы стали поднимать его...

— Что было за горой? — спросил нетерпеливо халиф.

— Песчаная пустыня, повелитель...

Задумался халиф.

— Видел ли ее еврей? — спросил он опять.

— Нет, повелитель, он еще не мог видеть ее.

И снова задумался халиф.

— Видите ли вы, как великодушен аллах и как он был милостив к Абен-Талебу? — сказал халиф, подумав, свите, окружавшей его. — Он не отнял жизнь еврея ранее, чем не увеличил его надежд на открытие совершенной страны, и не убил его, показав ему пустыню, чем дважды бы убил. Он дал человеку миг радости за труды его жизни и в этот миг радости погасил его жизнь. Велик аллах и Магомет, пророк его! Пусть казначей раздаст нищим города пять тысяч серебряных монет в память Абен-Талеба. Этот мудрый человек заслуживает памяти как всякий, кто ищет лучшего в жизни. Да пребудет аллах и впредь милостив и так же великодушен ко всем людям, ищущим счастья, как он был великодушен к Абен-Талебу».

Здесь конец легенды.

## СОН

...Пароход шел вниз по течению. Перед ним стояла гора, а над ней собрались густые тучи. Тени ночи ложились на воду, она была спокойна и казалась впереди парохода широкой полосой темного бархата, а сзади его, разрезанная железным килем и разбитая плицами колес, — волновалась, была покрыта пеной, и над ней плывал такой звук, точно она роптала на это железное чудовище, нарушившее ее покой.

Глухие, ритмически правильные удары плиц и этот ропот недовольной реки порой позволяли уловить еще один звук — он доносился откуда-то издали и был слаб и печален. Должно быть, это волны бились о берега. Небо было покрыто обрывками облаков, и глаз не мог уловить, куда они плыли, — пароход шел быстро. Между облаками на синих пятнах неба поблескивали звезды, — казалось, они только что проснулись. Впереди парохода было очень темно, и река как бы упиралась в гору и уходила под нее. Кое-где по берегам мигали огоньки, иногда доносился лай собак; печальный звук деревенского колокола вздыхал протяжно и уныло.

Угрюмо работала машина парохода, и корпус его вздрагивал в напряженном стремлении вперед. На воде, взволнованной и вспененной, отражались огни. Светлыми пятнами, лишенными форм, они скользили по пене волн, и, если долго смотреть на них, утомленному глазу они рисовались в форме стаи полурыб-полуптиц, молчаливых и любопытных, — плывших около борта парохода и готовых взлететь на него. Что-то мечтательное, смягчавшее ум и душу, смутное и ласковое, несла с собой приближавшаяся ночь. Всё, чего она касалась своими темными крыльями, становилось мягче; звуки, долетавшие

с берегов, были так меланхоличны, а звезды блестели всё светлей...

В шумном стремлении огромного здания из дерева и железа — в стремлении, таком обычном для глаза и ума днем, — было что-то фантастическое этой ночью. Впереди так темно, небо так печально, шум парохода мрачно глух, и голоса его пассажиров разнообразны. И всё это слито в одну гармонию, сильную и полную странных намеков на что-то. Там, далеко во тьме, чуть виден огонек, и кажется, что это к нему именно стремится по реке судно, полное людей. А он что-то обещает...

Сидя на галерее парохода, я смотрел на него, охваченный мечтательным настроением, и, отдаваясь разным фантазиям, возникавшим в мозгу, полной грудью вдыхал влажный и теплый воздух ночи. В такие моменты всегда хочешь счастья и ждешь его с чувством тихой грусти о нем и со странным упорством, совершенно забывая, что оно не только никогда не идет навстречу, но еще требует усиленных и долгих и большей частью бесполезных поисков его. Едва ли кому известно, но всеми желаемое, оно неуловимо, как мечта.

...Я долго сидел, охваченный этим настроением, как вдруг она снова явилась на галерее.

Она — это девушка, которую я заметил еще на берегу и несколько раз в течение дня встречал на пароходе. Не скажу, чтоб она была очень красива, — нет. Высокая, тонкая, гибкая, она ходила мимо меня беззвучно, как тень, лицо ее было овально, строго, бледно, глаза, темные и большие, были задумчивы, и вот в них именно, в их рассеянном, неопределенном взгляде было что-то, что возбуждало во мне желание выдвинуться пред этой девушкой, обратить на себя ее внимание и остановить на себе ее взгляд. Почему-то думалось, что, если этот взгляд остановится — ласковый, внимательный и нежный — на моем лице, — в этом и будет мое счастье. Оно сразу, вместе с ее взглядом, проникнет в мое сердце, оживит, освежит его, зажжет многими желаниями, возбудит мой дух, изощрит ум. Даже и тогда, когда поиски счастья трагичны, — человек несколько смешон, гоняясь за ним, я же просто мечтал. Я насвистывал нежные мелодии и принимал красивые позы, но она не обращала на меня внима-

ния. Мне было обидно это, как и всякому мужчине было бы обидно. Но затронутое самолюбие не подавляло собой моих фантазий, и мысленно я уже очень близко подошел к этой девушке. Я говорил с ней об одиночестве, и она, еще не глядя на меня, уже слушала мои речи. Вокруг нас была элегия, и я старался гармонировать с ней. Я говорил о том, как это бывает мучительно, когда человек удаляется от жизни вследствие недоверия к ней, непонимания ее или вследствие того, что он оскорблен ею. Она, равнодушная к его думам и чувствам, кипит вокруг него, а он, не умея слиться с ней, сидит в своей маленькой комнатке, и из всех углов этой комнаты на него смотрят темные глаза одиночества. Гибнут мысли, потому что их некому высказать, вянут чувства, ибо их не с кем разделить, и человек умирает ранее, чем его коснется смерть...

Один ласковый взгляд, слово, сказанное сердцем, быть может, со многим помирили бы его.

Рука товарища-женщины указала бы ему место в жизни; ободренный, облагороженный дружбой, согретый любовью, он мог бы жить и делать жизнь, а не медленно умирать и только думать о ней.

Потом я говорил этой девушке о ней самой. Что в том, что я ее вижу впервые? Она мне кажется именно той, которая могла бы помочь мне жить. Я с первого взгляда почувствовал, что именно она может сделать это. Я уже люблю ее, да, люблю! Разве на это много нужно времени? Хорошо любят именно сразу. Пусть она позволит мне быть ее рабом, если думает, что я не стою ее любви и дружбы. В ней так много скрытой внутренней силы — это видно по ее темным глазам. Пусть же она, богатая, будет и щедрой, пусть она поделится со мной тем, чего у нее много, а у меня — нет...

Я погибну, я чувствую, что именно она, только она могла бы оживить меня, и я погибну, если она не поможет мне.

— Послушайте... — начала она, не поднимая головы и не глядя на меня, — послушайте, ведь согласитесь, что всё, что вы говорите, по меньшей мере странно...

Какой у нее был мягкий, глубокий, за сердце хватающий голос! Я с наслаждением дождался, когда его последний звук погас, и мне стало жалко его и себя. Я всё

горячее продолжал убеждать ее. Я говорил ей, что она одним пожатием руки и взглядом может пробудить во мне силу и сделать способным на подвиги.

Да, я и теперь уже способен на них — ее близость оживила меня. Разве это не доказательство моей любви? Пусть она испытает меня! Я готов на всё ради того, чтобы заслужить ее ласковый взгляд. Чего она хотела бы?

— Я верю вам... — тихо шепнула она.

Я громко крикнул от восторга и бросился к ее ногам.

И в тот же момент, как бы в виде стоустого эха моего восклицания, по всему пароходу пронесся крик ужаса и сматения:

— Горим!

— Пожар!

Тысячи змей шипели в воздухе, гулко грохало какое-то железо, ревел свисток парохода, рыдали женщины, кричали мужские испуганные и грубые голоса, слышались всплески воды, точно в нее падали тяжелые камни. На темном небе пылало зарево, и сзади парохода было неестественно светло для этой ночи без луны, — там, на корме, где громко топали ноги по палубе, что-то шуршало, как будто тяжелый кусок материи волочили по дереву. Детский звонкий голос пронзительно кричал:

— Мама-а! — и тонул в этом адском шуме.

Гремели цепи. И всё шипели змеи — это огонь сладострастно пожирал судно. Я оцепенел. Мимо меня неслись и куда-то прыгали во мрак люди. Их волосы развевались по ветру, рты были открыты, они хрипели, кричали, и страшно сверкали в дрожащей тьме белки их широко раскрытых глаз.

Клубы дыма то и дело опахивали меня, становилось жарко и тесно на носу парохода, где я стоял, прижавшись к стене кают.

Человек в белой куртке и в колпаке повара, размахивая перед собой тяжелой кастрюлей, добежал до перил галереи, вскочил на них и, бросив вперед себя кастрюлю, прыгнул в реку вслед за ней. Полураздетая женщина хотела сделать то же, взглянула через перила в темную воду и с криком отчаяния, закрыв лицо руками, опрокинулась назад. Кто-то вскочил ей на грудь, чья-то нога наступила на ее белую руку и скрыла ее под собой.

А пароход всё мчался вперед, и всё яростней шипел и трещал огонь на его корме. Река сзади его стала багровой, пена ее волн казалась кровью, и черные точки плавали в ней, неистово взывая о помощи. Снопы искр летали в воздухе и падали на эти фигуры.

Высокая женщина, с распущенными по плечам черными волосами, взмахнула над своей головой чем-то маленьким, белым и плачущим, и это, мелькнув в воздухе, исчезло с пронзительным криком за бортом. Человек в соломенной шляпе, которая тлелась на его голове, испуская от себя струйки дыма, сел у моих ног и стал раздеваться. Кто-то большой, хрипло кричащий, наскочил на него и с проклятием покрыл его своим телом, кто-то еще вспрыгнул на них, на перила и исчез...

— Руби топором! — грозно ревели внизу...

Слышались удары, вода всё всплескивала, и огонь шипел, монотонно, однообразно, не торопясь, уверенный, что всё, что хочет он пожрать, — он пожрет.

Происходило что-то неуловимое глазом, но грандиозно трагическое. Люди являлись, исчезали, сбивали друг друга с ног, дрались, вырывая один у другого из рук какие-то доски, стулья, тащили тяжелую скамью и бросали ее за борт, откуда раздавался дикий крик о помощи, которой все просили и никто не давал.

Толстая полуобнаженная старуха в белых лохмотьях, развевавшихся по ветру, медленно шла ко мне, держась рукой за стену, и заунывно пела. Подбородок ее трясся, открывая беззубую нижнюю десну, и в глазах не было ничего, кроме ужаса. Кто-то ударил ее сзади, и она упала, и тотчас же на нее упали другие, образовалась куча барахтавшихся людей. Они выли, как звери, били друг друга, на них падали еще и еще люди. Вот эта гора живого мяса подкатилась к перилам галереи... Треск — и все упали вниз, воя и рыча.

Становилось нестерпимо жарко, вода шипела, соприкасаясь с огнем, в воздухе летали горящие головни, и их отражения в воде мелькали, как золотые рыбы.

— Господи, спаси! — отчаянно воззвал кто-то.

Два мальчика, взяв друг друга за руки, мелькнули мимо меня, как птицы. Люди всё метались, полные животного ужаса, действуя без признака ума, толкая друг

друга, ударяя, ругая, бросаясь с воплем в воду. Где-то лопались стекла с надрывающим душу тоскливо-громким звуком. Пароход всё летел вперед, и казалось, что теперь он идет еще быстрее, подгоняемый огнем на его корме.

Огонь опрокидывался назад и развевался в воздухе, как громадное знамя цвета крови, и вода под ним была тоже пурпурная.

— Руби! Спускай! — ревели внизу.

И вдруг предо мной впереди встало что-то высокое, черное, страшное, уходящее вершиной в небо. Оно быстро приближалось ко мне, и я понял, что буду раздавлен, когда оно столкнется с пароходом. Но я не мог сделать ни одного движения, хотя мне было жарко и уже над головой моей где-то шипел и свистал огонь. У моих ног возилась и стонала раздавленная сумасшедшая старуха. Всё ближе, ближе надвигалось то, что было впереди... это горный берег реки, почти отвесный...

Удар, и страшный треск, и толчок. Я был сорван с места и, пролетев, как камень, сквозь пелену пламени, упал в воду...

Во мне как бы разорвалось что-то с глухим шумом... Вода свистела мимо моих ушей, выбрасывая меня на свою поверхность.

Я вижу пароход, весь объятый пламенем, вонзившийся в берег, исковерканный... Час тому назад он был бел и красив, как лебедь! Вокруг меня борются с водой, поглощающей их, люди. Но они уже не кричат. Они тяжело дышат, хрипят странно, ухают и исчезают в воде. Иные держатся за какие-то доски, скамьи...

О, если бы и мне доску! Я жадно смотрю вокруг, и мне так трудно удержаться на воде под градом огненных искр, осыпающих меня. И вдруг она сама толкнула меня в грудь. С радостным рычанием, счастливый и жадный, я крепко обнял руками кусок дерева и прижал его к себе со страстью, с негой, так, как бы это была моя возлюбленная. Я смеялся даже... Но доска стала погружаться в воду.

— Мы утонем оба... — вдруг услышал я дрожащий, тихий голос.

Кто это говорит? Кто это? На другом конце доски, в расстоянии не более четырех аршин от своего лица, я

увидел лицо... ее лицо! Лицо той девушки, которая была со мной там, на пароходе, которой я говорил о любви... Ей, этой девушке, я обещал совершить подвиги... Неужели она сейчас будет требовать от меня их? О!

Я опустил глаза, чувствуя, что она пристально смотрит в мое лицо... Доска всё погружалась в воду.

— Возьмите себе другую... — услышал я.

Но когда я посмотрел вокруг, то не увидел ничего, за что можно бы было ухватиться.

— Мы не удержимся вместе... — говорила девушка.

Разве я не понимал этого?

— Кто-нибудь должен рискнуть собой...

Да, один из нас должен выпустить доску из рук, это так. Но ведь права всех людей на жизнь одинаковы...

Я захлебывался уже. Мне очень хотелось с силой дернуть доску к себе. Тогда она выпустила бы ее из рук. Но, может быть, где-нибудь близко плавает другая доска?

Вокруг нас была гладкая поверхность воды, и кое-где на ней порой виднелись какие-то черные пузыри. Это были головы утонувших. Я тоже утопаю...

Пароход горел так, как бы это цвел колеблемый ветром громадный куст красных и желтых цветов.

Вода шумела у меня в ушах, и голова моя кружилась. Я медленно погружался в воду...

— Ну, так тогда я... — едва коснулся моего слуха тихий шёпот.

И вслед за тем я почувствовал... что доска поднимается кверху... Пора было! Пора, ибо еще момент, и я вырвал бы ее из рук этой девушки. Вырвал бы...

Ее голова еще раз мелькнула на поверхности воды. Потом показалась рука.

Потом всё исчезло. Остался я и много спокойной, темной, тяжелой воды вокруг меня. Она тянула меня книзу, коварно лаская мне плечи и щеки.

Но я уже не боялся ее — доска могла свободно удерживать меня... Я спокойно плавал с ней, ожидая помощи. Она должна была скоро прийти — ведь видят же с берега этот догорающий пароход, слышат, как шипит вода вокруг него и как свистят языки пламени. Вода всё толкала меня книзу. Она тихонько так упиралась в мое левое плечо и сотрясала его...

— Вы уроните за борт шляпу... проснитесь!

Я вздрогнул... вскочил... И изумился — утопленница, мягко улыбаясь, стояла на галерее сгоревшего парохода и смотрела мне в лицо мягким, ласковым взглядом темных глаз...

— Вы уронили бы вашу шляпу в воду,— повторила она.

— Сударыня, простите...— умоляюще начал я,— то есть благодарю вас, сударыня!

— Не за что...— ласково сказала она и, кивнув мне головой, бесшумно ушла...

Я с волнением посмотрел ей вслед. Как я был рад, что не утопил ее!

Светало. На небе загорался румянец утра, а река блестела, как сталь, вся такая холодная и важная. Зеленый горный берег был так приветно ласков, вдали туман носился...

На небе гасли звезды. В душе горела радость.

Так я не утопил эту девушку?!

## СОЮЗНИКИ

ФЕЛЬЕТОН

Жорж Сарсэ, ресторанный повар, с улыбкой удовольствия на бритом и красном круглом лице, сложил лист газеты «Le Petit Journal», весело блеснул своими серыми глазами и, щелкнув пальцами, произнес:

— Très bien! La belle France et la grande la Russie! <sup>1</sup>— как говорил веселый король Генри... Это парочка, для которой земной шар будет тесен, если она захочет повальсировать...

Жорж Сарсэ — сангвиник и любитель выпить — был ярый политик, убежденный сторонник франко-русского alliance'a и большой почитатель исторических фантазий Дюма-père... В свободное время он устраивался где-нибудь в уютном уголке, доставал номер своего «Petit Journal» и за бутылкой вина тщательно прочитывал эти серые листы, отражавшие лихорадочную жизнь его родины. Статьи, подписанные Эрнестом Жюд, всегда приводили в восторг Жоржа и служили компасом для его взглядов.

Теперь он как раз прочитал именно такую статью и выпил бутылку вина. И то и другое настроило его на радужно-общительный лад, и вот он, желая перекинуться парой слов на родном языке о делах своей страны, решил отправиться к знакомому парикмахеру выпить еще бутылку и еще раз почитать Жюда.

До парикмахера недалеко — стоило только перейти через городской сквер. У Жоржа было в распоряжении почти два часа свободного времени; там, в кухне, работали его помощники, завтраки начнутся еще не скоро.

---

<sup>1</sup> Отлично! Прекрасная Франция и великая Россия! (*франц.*).

Закурив сигару, с видом равные Жорж вышел на улицу и сразу окунулся в целое море шума ее жизни и блеска вешнего солнца. Это еще более приподняло его настроение — он шел и улыбался, прищуривая глаза и смакуя чувство бытия, пропитавшее его, как вода губку.

Бледно-сипее небо, молодая, пахучая зелень деревьев, нервный шум бойкой улицы большого города, радостный блеск солнца, щедро разлитый всюду, — вся эта живая звучная симфония, имя которой — жизнь, заставили француза вспомнить о бульварах родного Парижа... Вот уже с лишком четыре года он не видал его. И он вздохнул. Но не в его натуре и не при таком настроении думать на грустные темы, и мосье Жорж в следующую секунду уже плутовато, с манерой истого вивёра подмигнул глазом встречной швейке. Вокруг все куда-то так быстро идут и едут, — и этот ускоренный весенний темп жизни так хорош, кажется, что вместе с мелодией, зеленью и ярким солнцем в жизнь влилась струя новой энергии...

В сквере всюду по дорожкам бегали дети, красивые и ярко нарядные, как живые цветы, бойкие, гибкие и шумные, какими умеют быть только дети. Поглядывая на кормилиц и молоденьких гувернанток, достойных взгляда француза и парижанина, мосье Жорж медленно шагал по скверу, наслаждаясь запахом своей сигары, кипящей вокруг грациозной жизнью детей и думая, что пройдет еще год и сумма его сбережений округлится настолько, что, быть может, даже наверное, в следующем мае он будет в Париже...

— Господин Жорж!

— А! Коллега! Добрый день!

Сидя на одной из скамеек сквера в важной позе независимого человека, Жоржа позвал Андрей Карпович Пилкин, повар из ресторана, конкурирующего с рестораном мосье Жоржа. Андрей Карпович — корепастый волжанин с широким, монгольского типа скуластым лицом и с серыми глазами, несколько прищуренными, как бы пресыщенными всем видимым ими. У него на круглом животе — толстая серебряная цепь, на пухлых, коротких пальцах — кольца, в руке — трость с серебряным набалдашником.

— Куда изволите держать ваш путь, господин Жорж?— спросил Андрей Карпович, когда Жорж, с улыбкой пожав ему руку, опустился рядом с ним...

— Иду прогулять себя!..

— Променад, значит, по-вашему, сделать. Это очень полезно для желудка и вообще для здоровья всего корпуса, в такое приятное время, как майское утро,— сентенциозно и поджимая губы, заметил Андрей Карпович.

— О да! Я пил вино, читал газету и пошел,— широко улыбаясь, рассказал мосье Жорж и игриво потрепал колено коллеги...

— Пили вино? Так-с.— В прищуренных глазах Андрея Карповича что-то блеснуло.— То-то вы идете, а я смотрю и вижу — вид у вас этакий одушевленный.

— Это — газета! Вино — три бутылки пью, и ничего! — возразил мосье Жорж, произнеся «ч» так, как будто у него в горле сидела змея... — Это статья о союзе... о Франции и России... Вы читает газеты?

— Иногда в свободное время балуюсь, отчего же? Но больше заставляю одного ученика — очень бойко читает, бестия, так и трещит, как котлеты рубит. А у меня — слабы глаза... Сами знаете, при нашей жаркой жизни очень портятся глаза от плиты...

— О! — качнул головой мосье Жорж,— это так! Что у вас пишут о союзе?

— У нас? — Андрей Карпович посмотрел на конец своего ботинка, потом поднял глаза к небу и помолчал...

— Ничего, мы пишем благосклонно... Но теперь больше насчет итальянца идет, а с вами уже покончили, дело прошлое.

— Как покончили? — спросил мосье Жорж.

— Ну, перестали питать к вам интерес, стало быть. Вы к нам приехали, мы к вам тоже — и дело в шляпе!

Француз весело засмеялся и потрепал Андрея Карповича по плечу.

— Навсегда!? Вот! — сказал он с искренним чувством в глазах.

Андрей Карпович наморщил брови и пососал усы.

— Ежели вы супротив нас никакого бунта не намерены поднимать и вообще будете в покорности, то, конечно,

нам это очень приятно, и мы всегда готовы вздуть и немца, и англичанина, ежели он вас будет теснить или что-нибудь этакое...

— Бунта? Вы говорите что — революция? — напряженно наморщив лоб, спросил мосье Жорж.

Андрей Карпович строго поднял палец кверху и потряс рукой.

— Ни-ни! Этого — не позволим. Сейчас полицию и — капут...

— Что — капут?

— Вам капут, в Сибирь!

Мосье Жорж усиленно стал тереть лоб, поглядывая на своего собеседника. Он чувствовал, что они оба не понимают друг друга, но не мог уяснить себе, где начало этого непонимания. Его знание русского языка было не таково, чтоб он мог, не путаясь, излагать свою мысль. Но вот в голове его блеснула одна идея, он выхватил из кармана «Journal» и, помахав им у носа коллеги, начал, торопясь и несколько волнуясь, излагать свою мысль.

— Ma patrie... Я говорю мое отечество и ваше...

— Карпов я по отцу... — солидно заявил Пилкин и высморкался с сознанием своего достоинства.

— Non... Я не говорю от-че-те-ство — я говорю моя страна и ваша.

— Понимаю, — мотнул головой Андрей Карпович, — ваша сторона — Франция, город Париж, а моя — Ярославская губерния, город Углич. Пространство места весьма обширное между нашими сторонами...

— О! — воскликнул мосье Жорж. — Очень велика Россия! Да, я знаю — обширна! Но...

— Это справедливо, — важно подтвердил Пилкин. — Ежели взять ее только по Волге, то и то окажется она длиною не менее как до десяти тысячей верст и даже более... Вам это очень трудно понять — а нам, русским, просто плевое дело. Потому, ежели ее взять от Петербурга до Ташкенту, то она еще длиннее. И в ней еще много разных направлений — от Архангельска до Астрахани — уйма места! В нее, в Россию, ежели взять и опрокинуть, например, Каспийское море — то оно будет просто лужа для порядочной губернии.

Андрей Карпович солидно плюнул и, заложив ногу на ногу, с сознанием своего превосходства посмотрел на француза.

Тот понимал, что его коллега говорит не о том, о чем хочется ему, мосье Жоржу... И, наморщив лоб, он задумался о том, как и какими словами можно передать коллеге глубокое значение политического и дружеского союза двух наций...

Пилкин внимательно взглянул в его красное лицо и откашлялся...

— Каково поторговываете, господин Жорж? Бон?

— О да,— сказал француз, ища нужных ему слов.

— Гм... Протаньер у вас очень хорош... и бордолез тоже... Вообще супы ваши — ах, хороши! И как это вы достигнули в супах такого тонкого эффекту? Франция — одно слово! Пикан — работа! По части кухни — Франция действительно очень удивительная страна...

Мосье Жорж поймал только два последние слова. Он схватил коллегу за руку, крепко сжал ее и потряс...

— Этот союз — имеет великий будущей. Это истории незнакомый взрыв чувств у двух разных наций. Мы — родные по душам. Вы согласны? Да? — с чувством говорил он...

— Ничего, что же! — отвечая ему пожатием, солидно сказал Пилкин, не понимая его волнения и объясняя его себе бутылкой вина, выпитого мосье Жоржем.

— Я согласен. Мы, русские, народ — рубаха. Нам сжели не противоречить, мы на всё пойдём...

— Француз — я рад за моё... страну. И я всегда с душой крикну: vive Россия! Здравствуй, страна друзей!

На них обращали внимание, и Пилкину, такому корректному, это не нравилось.

Но у него была тоже своя идея, и ему не хотелось расстаться с французом, не попробовав кое-чего...

А экспансивный мосье Жорж всё возбуждался... речами о союзе и его значении.

— Ты теперь скажешь: Европа — это мы! Вы и мы — это вся красота и сила Европы! Да? И все — не противоречат нам? Да?

— Ну-ка, попротиворечь, попробуй! — грозно нахмурил брови Пилкин. — Гибель устроим, разрушения и содом! А все-таки... насчет кухни вы нас обогнали! И когда это вы, господин Жорж, овощи запускаете в протаньер, что он у вас имеет такой дух и пикан? а? — Пилкин лстыиво посмотрел в возбужденное лицо француза и мило, как влюбленный, улыбнулся ему.

Француз изумленно поднял брови, не уловив перехода от судеб отечества к овощам.

— Почему — овощи? — спросил он...

— Не почему, а когда, я говорю... — поправил его Пилкин. — Когда вы их засыпаете в бульон? Я так думаю, что в этом, во времени, значит, весь секрет.

— Вы хотите мой секрет?

Мосье Жорж вздрогнул и отодвинулся от собеседника. Потом плотно сжал губы; он, сузив глаза, как-то особенно тонко свистнул. Пилкин смутился и заерзал по скамье...

— Действительно, если ваша нация и наша нация, взявшись за руки, да...

— О, вы очень хитрый человек! — тихо сказал мосье Жорж.

— Да, пойдут по земле устанавливать свои порядки, — продолжал Андрей Карпович, будто не слыхав фразы мосье Жоржа.

— Adieu! — сухо сказал мосье Жорж, поднимаясь со скамьи...

— Уходите уже? — любезно осведомился Пилкин. — Жаль — такая интересная беседа... А пожалуй, и мне пора... Вы куда?

Мосье Жорж ткнул ему руку и с холодным лицом, повернувшись от коллеги, пошел направо по дорожке сквера.

Пилкин прищуренными глазами посмотрел ему вслед, и усы его шевелились, как у кота.

— Обойдешь вас, чертей, как же! Скорее чёрта поддеюлишь, чем француза.

Он взмахнул в воздухе палкой и пошел в сторону, противоположную той, куда отправился мосье Жорж.

Всюду вертелись дети, их смех, их звонкие голоса так хорошо звучали в чистом воздухе, в ярком солнце, в молодой зелени. На дороге Пилкина стояла девочка, в белом платье, с цветами на шляпке, из-под которой по плечам у нее рассыпались золотистые кудри. Она заразительно-весело хохотала, держась за бока, вся пропитанная солнцем...

— Нельзя стоять на дороге... — сказал недовольно Пилкин, обходя ее...

## ЗА БОРТОМ

### ЭЛЕГИЯ

Даже и мертвый на кладбище покоится  
среди подобных ему — подумайте, как му-  
чительно живому быть одиноким!

*Луиза Аккерман*

Тоскливый дождь осени, не умолкая, стучит в стекла окон, и сквозь них ничего не видно, кроме тьмы, неподвижной и густой. Как будто жалуясь на что-то, звучит вода, сбегая с крыши, и этот унылый звук, вместе с тихим шумом дождя, — это всё, что напоминает о существовании движения и жизни за окном, во тьме, скрывшей собою и небо и землю.

В кабинете, уютно убранном и освещенном рабочей лампой с зеленым абажуром, за столом, в глубоком кресле, лицом к окну, сидит человек, высокий и полуседой, и, не отрывая глаз от тьмы за стеклами, упорно смотрит в нее большими серыми глазами из-под нахмуренных бровей. Его изрытое морщинами, сухое, длинное и серое лицо — неподвижно, губы плотно сжаты, и он так держится пальцами за ручки кресла, точно ожидает, что какая-то сила оторвет его от кресла и бросит в эту тьму, навевающую на душу холод и тоску. В окно дует, пламя лампы колеблется, и по стенам кабинета бесшумно ползают странные тени — целый мир бесформенных, полупрозрачных, дрожащих пятен. Они так дрожат, точно им хочется вырваться из комнаты туда, за окно, и они не могут этого сделать и страдают от бессилия...

И человек, сидящий у стола, порою вопросительно смотрит на них, как бы ища в их движении ответа на думы, поглотившие его. Из всех углов его комнаты на него смотрят темные глаза одиночества, и все предметы вокруг, погруженные в полумрак, изменили свои контуры

и утратили свой обычный вид. Человек хотел бы пойти куда-нибудь, где более светло и где есть жизнь; но он — человек тяжелого и необщительного характера, он никогда не прочь слушать, что говорят другие, но сам не находит нужным много говорить, ибо он знает, что слово — слишком бедно не только для того, чтоб точно передать все оттенки мысли, но и для того, чтобы хоть схематично оформить эту мысль, не оставляя за нею в душе ничего недосказанного, никакой тени и осадка. Да и совестно как-то говорить о том, что сказано не раз уже и много раз сказано гораздо лучше, чем можно сказать.

Среди людей, в гостиных, он — точно *memento mori*<sup>1</sup>, его не любят за его постоянно сосредоточенный вид и те холодные улыбки, которыми он отделяется от попыток завязать с ним разговор. Он знает, что он только с трудом терпим и что без него его знакомые чувствуют себя свободнее. Он знает, что его считают человеком, слишком много думающим о себе, что на его скептицизм смотрят как на стремление быть оригинальным, что его подозревают в болезненном пренебрежении ко всем и ко всему, в мании величия.

Его не оскорбляет всё это, и он далек от желания разубеждать людей в их ошибочном взгляде на него. Он уверен, что всё, что люди думают и делают, — вполне достойно их, что человека медленно изменяет только время и что никакие доводы рассудка не в состоянии заставить его изменить даже те привычки, которые заведомо вредны ему. Несомненно, что каждый человек заслуживает всё то, чем он живет, но есть люди, которые любят быть более несчастными, чем определено для них судьбой, — он принадлежит к этой категории людей и никого не винит в том, что он остался за бортом жизни.

Что бы человек ни делал — в конце концов он почувствует в себе роковую пустоту и горько пожалеет о той энергии, которую он растратил за свою жизнь; а тот, кто, углубясь в самого себя, лелеет в себе свое страдание, до конца жизни будет чувствовать себя полным мысли и героем. Иметь в себе что-либо прочное — вот гарантия от нищеты духа, и нет ничего прочнее страдания.

---

<sup>1</sup> Здесь в значении: напоминание о смерти.

Но все-таки он пошел бы к людям, все-таки пошел бы, хотя они и не понимают его и хотя он понимает их. Обычно они собираются в группы для того, чтоб лгать друг пред другом, для того, чтобы говорить о вещах, которые стоят далеко от будничной жизни, но могут позволить каждому блеснуть своими знаниями и умом, некоторое время покичиться пред самим собою и друг пред другом. Это так же обычно для всех компаний, как и неискренно.

Эти словесные турниры, сформированный тон суждений, искусственная горячность — всё это только праздничные наряды. Ими люди запасаются в юности и живут с ними часто всю жизнь, не обновляя их, отчего большинство человеческих взглядов так потрепано и ветхо, так пошло и изношено... Как и вообще все другие костюмы людей — их убеждения и взгляды должны быть насколько возможно чаще проветриваемы и очищаемы от плесени времени щеткой скептицизма. Это гарантирует их свежесть на долгое время, и об этом следует заботиться каждому, кто хочет, чтоб его убеждения не превратились в предрассудки. Не нужно забывать, что каждый предрассудок — обломок старой истины, но следует помнить, что чем свободней ум, тем богаче человек.

Люди забывают это и судят друг о друге и о всех явлениях жизни по шаблону, приобретенному ими давно и не расширенному сообразно с потребностями времени. Жизнь идет, она всегда движется — и так легко разучиться понимать ее, измеряя ее старой меркой. Люди плохо понимают это, и вот почему они не понимают друг друга, все так чужды друг другу, черствы и так мало обращают друг на друга внимания...

...Но все-таки хорошо уметь жить с ними, уметь быть довольным ими, их речью, их вкусами, их действиями... Почему это так приятно, и почему этого порой так страстно хочется?

Любимые темы их разговоров — политика, литература, искусство, — и когда они говорят об этом, их еще можно слушать. Но когда темой разговора является человек — как больно становится за людей! Сколько желчи, иронии, злобы, непонимания, сколько равно-

душия, и как мало желания понять, как мало тепла в суждениях о человеке...

А между тем «истинный шекинах — есть человек». Да, именно он святая святых, он целый мир — мир сложный, интересный, глубокий... Выучатся ли когда-либо люди если уж не понимать, то хоть молча уважать друг друга? Поймут ли они когда-нибудь, что кроме человека — в мире нет ничего интересного и что только человек — мера вещей и творец жизни?

Было время — он делал попытки сблизиться с людьми, войти в круг их интересов и жить, как все. Но это требовало уступок, а на них он не был способен. Приходилось интересоваться тем, что не интересовало его, слишком часто нужно было кривить душой для того, чтобы быть, как все. Те люди, которые присвоили себе эпитеты людей порядочных и интеллигентных, слишком увлечены всем тем, что может поддержать и упрочить за ними право на эти эпитеты, и, вечно поглощенные стремлением казаться не тем, что они есть, равнодушны и холодны друг к другу. Жизнь каждого — тайна для каждого другого, — тайна, которую одни боятся открыть, другие не хотят отгадать, — и люди живут, соединенные друг с другом только словами, каждый носит в себе целый мир чувств и дум, болеет ими, живет, живет и умирает, не высказавшись. Никто не замечает печальной странности нашей жизни, никто не видит того, что сам он — неразгаданная загадка — всю жизнь вращается среди таких же загадок и что знакомство человека с человеком только пустое слово — слово без содержания. Никто никого не знает и не хочет знать. Есть несколько слов, которыми люди определяют друг друга, но, когда говорят: «это человек умный», такое определение не охватывает человека, ибо оттенки ума слишком разнообразны, как и характер его деятельности. Когда же ум человека слишком изощрен, или дальновзорок, или впечатлителен, тогда говорят: «это человек больной», что так же справедливо, как было бы справедливо сказать о Наполеоне, что он только солдат. Живость ума принимается за легкомыслие, и всё, что оригинально, носит название ненормального. В общем жизнь представляет собой картину безумной суеты очень несчаст-

ных, очень нищих духом существ, говорящих на разных языках и, не понимая друг друга, торопливо осуждающих и определяющих друг друга. Все слишком заняты собой, и каждый стремится показать, что его интересует еще что-то. Показать это нужно для того, чтоб обратить на себя внимание, вызвать по отношению к себе у других больше хороших чувств. И ложь жизни, привычная всем, как воздух, всё увеличивается и разъедает людей.

Но порой бывают моменты, когда среди людей — так хорошо и жизнь полна чарующей прелести, когда душа полна трепетом ожидания чего-то нового, в дали будущего ярко горят огни надежд на что-то благородное, великое, и в душе человека играет ясная радуга страстных дум и чувств. Эти моменты редки... Но они есть. Они есть и, хотя бы они были только «нас возвышающий обман», — ими можно жить... Но теперь поздно уже возвращаться в жизнь тому, кто сам себя выбросил за ее борт, поздно и не с чем. Туда нужно всегда приносить с собой что-нибудь, а он что принесет? Свои полуседыя волосы, и темные думы, и недоверие к людям? С этим плохо примут.

Остается сидеть здесь одиноко и слушать скорбный шум осеннего дождя, и ждать того дня, когда вместе с солнцем и воздухом, которые принесут для тысяч людей жизнь и счастье, возможное на земле, к нему явится смерть. Она придет и одним дыханием сотрет из книги жизни одну из ее страниц — человека. Эта страница вся сплошь исписана событиями и думами, на ней много можно бы прочесть интересного... Но она исчезнет не прочитанной никем, исчезнет, не оставив за собой в жизни никакой тени, никакого воспоминания...

«Зачем же нужно было мне родиться, жить, так много думать, так много знать и внутренне гордиться собой за то, что я, стоя в стороне от жизни, видел ее глубже других, изучил подробнее и... теперь хотел бы погрузиться в нее, насытиться ее шумом, вдыхать ее в себя всеми порами, быть таким же тупым, узким и пошлым, как большинство людей, жить с ними их чувствами, говорить их словами, делать всё, что они делают, и, как они, незаметно для себя приближаться к смерти, встре-

тяться с ней и — угаснуть? Зачем, кому нужно было всё это? И вообще — кому нужна жизнь каждого человека? Цветы, расцветая и увядая, радуют глаз человека — можно думать, что это их назначение. Но человек живет, обогащается опытом, с каждым днем становится всё полнее и внутренне богаче — в чем же его назначение? Для кого он живет и вечно созидает и уходит в землю с земли, оставляя все свои труды в наследие оставшимся, которые тоже исчезнут в час, назначенный для них? Зачем вообще нужно жить?»

Тоскливый дождь осени, не умолкая, стучит в стекла окон, и сквозь них ничего не видно, кроме тьмы, неподвижной и густой. Человек упорно смотрит во тьму своими серыми глазами, и морщины на лице его вырезаются всё глубже. И тени на стенах комнаты всё колеблются безмолвно и таинственно, точно живые иероглифы, рассказывающие смутную историю одинокой и отверженной, гордой и слабой человеческой души.

Человек цепко держится своими сухими пальцами за ручку кресел и сидит, как изваяние, подавленный своей тоской, лицом к лицу с безмолвной тьмой осенней ночи. Сидит и чувствует, что он только человек и что тайны бытия необъемлемы умом его и недоступны его пониманию. Ему жаль жизни, которая идет в стороне от него и с которой теперь у него нет сил слиться. И все думы, отягощавшие собою его мозг, сливаются в конце концов в один простой и ясный, оскорбительно простой и обидно ясный вопрос:

«Зачем я счел себя умнее, порядочнее, сильнее духом всех остальных людей и не умел установить с ними прочной связи, не умел жить среди них?»

...Дождь стучит в окна, и тьма смотрит в них.

«И вот я прожил мою жизнь только для того, чтоб убедиться в моей ошибке, и, думая три десятка лет, додумался только до иронии вопроса — зачем я счел себя лучше других?»

Дождь и тьма...

«Да, жизнь умеет наказывать того, кто не хочет слушать ей...»

По стенам комнаты безмолвно движутся полупрозрачные тени. Всюду одиночество. И вода, стекающая с крыш, звучит, как реквием...

## КАК НУЖНО УСТРАИВАТЬ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО

Я полагаю, что знать это далеко небезынтересно для людей, желающих вступить в брак или уже вступивших, но еще не устроивших хозяйства, и, полагая так, я нахожу необходимым посвятить новичков в тайны этого сложного дела.

Мне легко сделать это; я постиг эти тайны, мы с женой устроили наше хозяйство в течение одного дня и ныне так же счастливы и довольны, как Адам и Ева во дни своего пребывания в раю. Между нами и ими только та разница, что они не платили за квартиру, тогда как мы платим за месяц вперед. Затем мы, конечно, более праотцев обращали внимание на наши костюмы, к чему нас понуждают осень и условия современного социального быта. В раю до Адама и Евы не было никаких социальных условий, и эти милые люди не успели еще создать их, как уже были изгнаны с квартиры за нарушение контракта... Впрочем, это старая история...

Мы начали устройство нашего хозяйства с обсуждения вопроса, как именно его устраивать. Жена утверждала, что следует сначала устроить гостиную и кухню, я стоял за столовую и спальню. На этом вопросе в первый раз обнаружилась некоторая разница наших вкусов, но я тотчас же уступил супруге, полагая, что мы еще успеем поссориться. Впереди у нас целая жизнь, и ее необходимо нужно будет наполнять чем-нибудь.

— Итак, — сказал я, — я согласен. Начинаем с кухни. А с чего именно начинают устраивать кухню?

Жена сделала лицо пифии и пространно объяснила мне.

— Начинают с покупки сурового полотна для кухонных полотенец. Потом покупают корыто для стирки

этих полотенец и мыло. Нужно также ведро для помой, ведро для воды, корчаги для того, чтоб парить белье и квас, коромысло, корзины, нужна скалка, терка и мутовка — это для того, чтоб делать пироги. Нужен совок для углей, щипцы для них, самоварная труба, несколько горшков и кастрюль из глины; потом нужно много кадок: кадка для воды, кадка для огурцов, капусты, кваса, моченых яблоков, брусники, соленых арбузов, углей...

Я спросил: в каком виде угли хранят в кадках — в моченом или соленом?

— Все нет! Их кладут в кадку просто в том виде, в каком они рождаются. Это делается в видах экономии... в кадках угли дольше хранят в себе углерод...

Тут я преехидно подмигнул глазом в сторону тех господ, которые говорят, что гимназии не дают девушкам никаких знаний. Моя жена училась в гимназии, и, видите, она знает кое-что!..

— Прелестно, — сказал я, — мы купим эту армию кадок... тут все они?

— Нет еще, наверное, нужно еще несколько, но я забыла, для чего еще употребляются кадки. Потом нужно кочергу, сковородник, ухваты, мороженицу, утюги, гладильную доску, тряпки и... мебель. На первый раз, я думаю, будет достаточно одного дивана, шести стульев, трех кресел, кушетки, нескольких пуфов и двух-трех легоньких оригинальных стульчиков...

— Это всё в кухню? — спросил я.

— Нет, это уже для гостиной... Кто же ставит в кухне такую мебель? — с укором сказала жена.

Действительно, я до сей поры ни разу не встречал кухни, обставленной мягкой мебелью, и еще более проникся доверием к знаниям моей жены.

— Итак, — сказал я, подавая ей руку, — идем! Идем покупать кадки, мутовку и кочергу!

И мы отправились в поход на рынки.

Через некоторое время мы подъехали на извозчике к дверям нашей квартиры, а за нами следовал ломовик, нагруженный кадками, корчагами, корзинами, кочергами и прочими атрибутами, существенно необходимыми для семейного счастья. Оба мы с женой были увешаны

с ног до головы разнообразных величин свертками, наш извозчик имел в руках две половые щетки, в ногах — ассортимент кастрюль; всё это гремело и дребезжало, и в общем картина нашего возвращения с рынка носила настолько торжественно-триумфальный характер, что с этого момента и до сей поры мы служим предметом неиссякаемого интереса всей нашей улицы. Аборигены нашего околка, очевидно, за всю свою жизнь не видали еще людей, которые бы с таким велелепым шумом устраивали свой семейный очаг, и почему-то прозвали нас «итальянцами». Почему именно итальянцами? Не знаю, но они настолько убеждены в этом, что не раз уже спрашивали у нашей прислуги, привезли ли мы с собой шарманки и как скоро намерены ходить по улицам «с музыкой»? Нам не особенно льстит такое внимание, тем более что мы еще не успели до сей поры повесить на окна штор, и поэтому наши окна служат для всей улицы чем-то вроде окошечек бесплатной панорамы. Но я отвлекся в сторону...

Итак, мы купили кухню и привезли ее домой. Затем мы стали разбираться. Я ничего не знаю веселее этого удовольствия. Вам кажется, что всё, что вы купили, вы купили сверхъестественно дешево, и корчага, ценой в семь копеек, приобретает в ваших глазах значение художественной вещи. От половой щетки пахнет не клеем, а молодостью и свежестью, и блестящие эмалированные чугуны, кажется, улыбаются вам одобрительной улыбкой, хотя они и не вступали в брак...

Весело разбираться в вещах для хозяйства, только что купленных вами и вашей женой! Она объясняет вам, что машинка для рубки мяса не имеет ничего общего с кофейной мельницей, и вы чувствуете, как расширяется круг ваших знаний. Вы с интересом выслушиваете целую лекцию о том, почему именно веер непригоден для сбивания яичных белков и почему нельзя засовывать окурки папирос в землю цветочных банок.

Мы разбирались уже с полчаса, как вдруг в окно нам постучали наши извозчики.

— А, это извозчики! — сказала жена. — Заплати им.

— Заплатить? Хорошо!.. А у тебя нет мелких? — осведомился я.

— У меня? Нет! Я всё истратила!

— Гм?! И я... тоже всё истратил!..

— То есть?

— Мне кажется, что у нас нет ни копейки! — сообщил я.

— Но? — воскликнула жена и смущенно взглянула на меня.

Я тоже посмотрел на нее, и... мы начали хохотать, потому что совсем не знали, что еще можно делать в нашем положении. Извозчики за окном тоже хохотали. Им, впрочем, это надоело скорее, чем нам, и они с упорством людей, совершенно лишенных понимания поэзии, стали требовать с нас деньги за провоз и на чай, за ожидание.

Я вышел к ним и объяснил, что у меня нет ни гроша, а с их стороны очень нехорошо так увлекаться деньгами, ибо счастье — не в деньгах. Это, к моему изумлению, не подействовало на них, и они стояли на своем, несмотря на то, что я говорил горячо и убедительно. В конце концов я предложил этим жалким людям взять в уплату за труды мои брюки, и они, тщательно рассмотрев все достоинства этой важной части костюма, оставили нас в покое.

Тогда мы снова принялись за разборку вещей, причем оказалось, что мы позабыли купить некоторые из предметов первой необходимости. Так, например, мы не купили самовара, и это очень удивило нас.

— Не надо было так торопиться покупать, — сказал я жене.

— Ну что ж? Самоварная труба уже куплена, и в следующий раз мы, конечно, не забудем купить самовар! — ответила она.

У нее положительно светлая голова! Мы решили кипятить чай в кастрюле и отложили вопрос о самоваре на будущее время.

— Зато у нас есть всё остальное, что нужно для хозяйства! Смотри, какой прелестный совок для углей! И как хороша эта мясорубка!

— А мясо мы...

— Также позабыли! — воскликнула жена. — Но это не беда, ведь необязательно же пускать в дело мясорубку с первого дня.

— Мне кажется, что мы вообще не купили ничего, что можно бы съесть, — меланхолически заметил я.

— Ты уже хочешь есть? И это всего через неделю после свадьбы?! Однако! — И она так укоризненно покачала головой, что мне стало стыдно.

— Дорогая моя, — с жаром сказал я, — я совершенно не хочу есть. Я вообще не люблю есть! Это скучное занятие. Но я имел в виду тебя, мой ангел...

— Я никогда не захочу есть, — с пафосом сказала она... — Разве иногда... самый маленький кусочек торта... Я могу быть сытой запахом свадебного букета. Потом, со временем, я, конечно, не спорю и не отрицаю... Может быть, я что-нибудь съем... Но сейчас это меня не беспокоит!

— Уверяю тебя, что я ни крошки не беспокоюсь! — говорил я.

— Но если ты так уже привык есть, что не можешь отказаться от этого даже и в таком важном случае жизни, как данный, то ты можешь есть конфеты и благословенные хлебы, которые остались от свадьбы.

— Дорогая моя, я съем всё это, и не будем больше говорить о таких пустяках! Но скажи мне лучше вот что: денег у нас больше нет, и когда они будут — это дело аллаха. Провизии и дров также нет. Нет у нас и ничего такого, на чем можно бы сидеть... Но за всем этим у нас есть кухня...

— Ну — и?

— И вот я хотел бы знать, что, собственно, ты намерена делать и как мы устроим наше хозяйство?

Поставив этот вопрос, я в ожидании замолчал. Я твердо верю в практический ум женщин и вполне согласен с тем восточным мудрецом, который в критических случаях рекомендовал обращаться за советом к женщине и поступать как раз наоборот тому, что она скажет. Я ждал... Она сосредоточенно думала. Ужасно приятно видеть жену думающей, но далеко не каждому доступно это удовольствие!

Моя жена до того долго думала, что я наконец спросил ее:

— Не кажется ли тебе наше положение несколько затруднительным?!

— Совсем нет! — воскликнула она. — Нисколько. Вот посмотри: у нас есть кухня, но в ней пока нечего стряпать — так?

— Бесспорно!

— Ну, так мы утилизируем ее как гостиную!

— О?

— Конечно!

— Но как?

— Очень просто! У нас есть кадки?

— Много кадок!

— Ну, мы из них сделаем столы и стулья. Низенькие кадки будут стульями, а высокие — столами! Стоит только их задрапировать моими юбками. А если корыто поставить на две корчаги, положить в него подушки и задрапировать голубым капотом — из всего этого получится прелестная кушетка! И вообще можно прекрасно устроиться, имея уже кухню. Хочешь попробовать?

Я был поражен и повергнут во прах заслуженно прославленной изворотливостью женского ума. Я молчал и смотрел на жену благодарно-изумленными глазами. Мы принялись за работу.

И через два часа одну из комнат нашей квартиры нельзя было узнать. Кадки — да благословит небо бондарей! — прекрасно играют роли столов и стульев, а корыто точно было сделано для кушетки. Большие чугуны великолепны в роли пуфов, для этого их стоит только набить разной мягкой рухлядью.

Мы оба чрезвычайно довольны нашей гостиной и нашим маленьким хозяйством, которое мы устроили так дешево и оригинально.

Лучшие кадки — в щепном ряду, третья лавка от Софроновской, лучшие корчаги — на Мытном дворе.

Вот и весь рассказ о том, как нужно устраивать домашнее хозяйство.

# III

---

НЕ ПУБЛИКОВАВШЕЕСЯ АВТОРОМ



## «СИМ ДОКЛАДЫВАЮ ВАМ...»

Сим докладываю вам,  
Что рассказа я не дам,  
Ибо нынче утром вновь  
Показалась горлом кровь,  
Так что мне запрещено  
Пить чернила и вино,  
А приказано лежать  
И покой свой — уважать.  
Сим приказам следуя,  
Не скоро уеду я  
В горные селения  
Для увеселения  
Тамошних читателей,  
Для обогащения  
Тамошних издателей,  
А пребуду здесь — здоров  
Для забавы цензоров.

〈Е. П. ПЕШКОВОЙ〉

Уж ночь давно, и темный сад  
Так странно смотрит мне в окно...  
Стоят деревья и молчат.  
И тишь вокруг... Но всё равно —  
В душе моей нет тишины.  
Мечты мои — тобой полны,  
Тобой, мой славный, нежный друг...  
Но тьма вокруг и тишь вокруг,  
И нет тебя, далеко ты!  
Моя душа — полна тоски.

⟨ЭПИГРАММЫ  
НА Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО⟩

1. НА ПОЭМУ «СМЕРТЬ»

69

Здесь кончил я мою поэму  
О суетности бытия.  
Зачем я взял такую тему?  
Увы! Ей-ей, не знаю я!  
Должно быть, мне шепнули черти:  
«Димитрий! Напиши о смерти!»  
Я сел за стол и взял перо,  
И, обмакнув его в чернила,  
Писал и чувствовал — старо!  
Но думал — лишь бы гладко было!  
Ведь мир наш тоже очень стар...  
А мне... так нужен гонорар!

70

Без гонорара жизнь поэта  
Скучна, увыла и пуста!  
Идеи, люди, слава — это  
Одна банальность... тьфу! Мечта!  
Одна мечта, хотел сказать я.  
Ах, господа! Ведь все мы братья!  
Поэты — это люди тоже.  
Представьте ж ваших вы супруг.  
Чуть что — сейчас упрек на роже  
Изобразят, порою вдруг  
Плевков слетает с пышных губок...  
Да! Кисл и горек жизни кубок!

## ⟨2.⟩ НА ПОЭМУ «ВЕРА»

О господи! Помилуй нас!  
Здесь в настроении игривом  
Заехал Митя на Парнас  
С фрегатом и локомотивом!

Он ради вящего комизма  
Здесь мистицизмом накурил,  
И храбро в бездне пантеизма  
Здесь здравый смысл он уморил!

# IV



DUBIA



## ДЛЯ ХРОНИКИ

АМЕРИКАНСКИЙ РАССКАЗ

— Будь я проклят, мистер Грэгам! — вскричал Дэвис Юнг, секретарь вечерней газеты «Сноб» в Бостоне. Весь красный и потный, бомбой влетел он в кабинет редактора, кинулся в кресло и повторил с холодным отчаянием:

— Будь я проклят, мистер Грэгам! Мы сегодня без хроники! а? Не думаю, что на свете когда-либо выходил такой уродливый номер, каким выйдет сегодня «Сноб»!

— Без хроники? — спокойно переспросил редактор и медленно покрутил свой рыжий ус.— Выпейте воды со льдом, Дэвис. Сильно кутнули вчера в клубе, а?

— Я свеж, как только что сорванный с дерева персик, застрелите меня, если я сказал букву лжи! Но мы сегодня без хроники! Это так! Пари — десять долларов против одного, если это не так! Идет, пари, мистер Грэгам? — горячо проговорил Дэвис.

Мистер Грэгам знал, что Дэвис Юнг не предлагает пари иначе как наверняка.

— Что с Гарли? — быстро спросил он секретаря, и его усы дрогнули.

— Он влюбился! Влюбился первый хроникер Бостона! Фи! Никогда не прощу ему этого поступка, не имеющего ничего общего с газетным делом.

— А Джон Фай?

— Он тоже болен. Любовь и инфлюэнца губят газету, мистер Грэгам!

— Да... Если так, я готов согласиться с вами, Дэвис,— мы сегодня без хроники...

Они оба посмотрели друг на друга, ошеломленные странным стечением обстоятельств.

— Я, пожалуй, соглашусь с вами, Дэвис,— тихо сказал редактор,— и в том, что номер будет уродство. Я не представляю себе номера. Я думаю, что он будет похож на торт без начинки.

Дэвис Юнг безнадежно мотнул головой. Его насколько не утешало всё это...

— Чёрт! Я готов сам поджечь Бостон для хроники,— сказал он редактору...

Тот встал и прошелся по кабинету.

— Проще попробовать купить хронику. Попробуйте-ка, Дэвис!

— О! Посмотрел бы я, кто нам продаст ее... Все здешние — ни за что! Ни за всю Калифорнию. Нас не любят за успех.

— А что есть из хроники?

— О голубях мистера Рэтль. Лошади и собаки англичанина... Бокс... Но ничего сенсационного! ни одной сенсационной буквы! Ах, чёрт меня возьми! Не будь я сам сыном женщины — я сказал бы, что они не дают миру ничего порядочного и вечно мешают жить!

— Сколько времени? — задумчиво спросил редактор.— Три сорок семь. Номер выходит в четыре двадцать. Мы имеем тридцать две минуты пять секунд для хроники, Дэвис...

Дэвис хлопнул себя по колену, потом крепко потер лоб. Редактор смотрел на него...

— Мы ничего не предпримем, Дэвис? — спросил он.

— Да, конечно! Если только мы еще американцы... — пробормотал секретарь и бросился вон из кабинета. Редактор посмотрел ему вслед.

«Готов держать пари — он сделает хронику». — И редактор весело улыбнулся.

— Вы нужны только для хроники, сэр! — долетел до его ушей ликующий голос Дэвиса Юнга, раздавшийся где-то на лестнице.

— Вот хроника! — повторил он, показываясь в дверях кабинета и таща за собой кого-то.

Мистер Грэгг крепко потер руки и отступил в сторону, блестя холодными глазами.

— Рекомендую — мистер Джим Грэгам, редактор. — Мистер, встреченный мною на бульваре... Мистер Грэгам! — торопливо говорил Дэвис, крепко держа за руку стоявшего рядом с ним очень старого и немного потерявшегося джентльмена.

— Мистер! Я не знаю вашего почтенного имени. Но я не сомневаюсь, что оно почтенно. У нас нет хроники и двадцать девять минут времени. Выпустить номер без приличной сенсации — это, сэр, позор!

— Мистер! Если вы американец и честь родной прессы дорога вам, — дайте нам хронику!

— Джентльмены! Я не знаю, где она у меня... — растерянно сказал старик, делая попытку пошарить в кармане сюртука... — Если я что-либо имею...

Но Дэвис перебил его:

— Надеюсь, что вы ничего не имеете, ни пенни! Не трудитесь, сэр, — хроника не рождается в карманах. Но вы можете дать ее.

— Я готов, джентльмены... Но, право... — заговорил старик.

— Очень хорошо. Ваше слово, надеюсь, крепко! Благодарю вас, сэр! Вы спасаете честь нашей газеты! О, это много, сэр!

— Что же я должен сделать?

— Не беспокойтесь, сэр, я научу вас. Вот револьвер. Пожалуйста, не задержите номера!

— Что же я должен?

— Стреляйте себе в висок, сэр...

— Что-о?

— Или в грудь — всё равно. 500 долларов — вашим наследникам.

— Но я не хочу! Позвольте! Это дико!

— И пятьсот долларов и похороны за счет редакции!

— Но, джентльмены... Это же безумие!

— Остается двадцать пять минут семь секунд... Прошу позволения помочь вам. Вот так. До свидания, сэр!

Щелкнул курок револьвера, раздался выстрел. Старик слабо поднес руки к голове, грузно свалился на пол и вытянулся на нем без стога.

Дэвис бросился за стол редактора и стал лихорадочно писать, командуя мистеру Грэгам:

— Зовите мальчика из типографии... Посмотрите в бумагах джентльмена его имя и адрес... Известите по телефону через полицейское бюро вдову джентльмена.

И он всё писал. Мальчик из типографии отдавал в набор листки. Мистер Грэгам диктовал по бумагам убитого джентльмена данные о его положении в свете, летах, семейном состоянии и проч.

— Ну, я кончил. Вот идут полисмены. Ага, всё прекрасно! — потирая руки, сказал Дэвис и развалился на стуле, победоносно глядя на редактора.

— Это убийство, Дэвис, если не ошибаюсь? — улыбаясь, спросил редактор своего секретаря.

— Да... для хроники...

— Вы знаете публику, Дэвис, и хорошо служите ей!

— Я люблю газету, мистер Грэгам...

— И скажу откровенно, вы умеете любить ее, Дэвис.

— Ведь это не женщина, мистер Грэгам.

Редактор с чувством пожал руку секретаря и, помолчав, с сожалением сказал:

— А ведь я сделал крупную ошибку, не приняв ваше пари, Дэвис! Крупную ошибку, будь я проклят!

— Я погорячился тогда, мистер Грэгам! Да, погорячился и проиграл бы... — улыбнулся Дэвис.

Вошли полисмены.

Номер «Сноба» вышел с опозданием на пять минут сорок три секунды... Но, как всегда, его хроника была высоко интересна. Она имела своим «гвоздем» «Эксцентрическое самоубийство старого джентльмена в редакции газеты „Сноб“».

Четыре столбца убористого петита рассказывали факт с массой самых тонких и точных подробностей.

.....  
Так ведутся газеты в Америке.

# ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА ЧАРЛЬЗА КРЭК

АМЕРИКАНСКИЙ РАССКАЗ

(Посвящается Д. Я. Д.)

<I>

Это приключение, которое вы никак уж не назовете заурядным, случилось с мистером Чарльзом Крэк, председателем «Стандарта нефтепромышленников Южной Пенсильвании», в мае месяце, самом обильном приключениями, что было однажды доказано цифрами в «Нью-Йорк Геральде». Мистер Крэк, джентльмен цветущего возраста и очень корректной наружности, всегда обращавшей на себя внимание дам, мистер Чарльз Крэк шел по Лоунг-Стрит, курил сигару и думал о репортерах нью-йоркских газет как о неприятности, с которой он, казалось ему, рассчитался пока. Сегодня они могут съесть свои зубы со зла на него, утвердившего в прошлом заседании «Стандарта» постановление членов о поголовном изгнании представителей печати из зала заседания «Стандарта», сегодня они могут, если хотят, обкусать себе ногти до плеч,— он, мистер Чарльз, ничего не имеет против этого, и ему даже, если хотите, приятно посмотреть на репортеров без рук. И без языка, если можно это устроить...

Ба! Как газеты кричали об этом редком факте неуважения к печати! Предполагалась демонстрация. Но всё обошлось благополучно, благодаря вовремя истраченной кучке долларов. Сегодняшнее решительное заседание, которое наверняка положит в лоск целую армию мелких промышленников и сразу поднимет дела «Стандарта», сегодняшнее заседание избавлено от зоркого ока прессы. Ни один репортер, если только он не догадается превратиться в комара, не проникнет в зал, где сегодня будет идти дело о монополизации целого штата.

Мистер Чарльз бросил потухшую сигару и закурил другую.

Был, как сказано, май — четверг 20-го мая 1894 г., пять часов пополудни. Садилось солнце, от деревьев бульвара ложились тени, ехали кэбы, шли деловые люди, прогуливались разные лэди и джентльмены, — совершалось всё то, что каждодневно круглый год совершается на Лоунг-Стрит. Мистер Крэк ощутил полное довольство собой и порядком на улице... Приятно корректному джентльмену созерцать порядок!

«Ба! Однако, чёрт меня поberi! Это не часто встречаешь! Она смотрит на меня, клянусь честью!» — воскликнул про себя мистер Крэк и вынул часы. Было пять минут шестого. Заседание имеет быть в шесть. Пятьдесят пять минут — это очень много времени для американца и человека, знающего себе цену.

Мистер Крэк решительно направился к одной из скамеек бульвара и, остановившись пред дамой, сидевшей на ней, почтительно, как и следовало сделать это джентльмену, снял шляпу.

— Я надеюсь, что не особенно обеспокою миссис, если попрошу у нее позволения сесть рядом с ней? — приятно улыбаясь, спросил он.

Дама утвердительно кивнула головой.

Лицо дамы было закрыто вуалью, но сквозь прозрачную ткань смотрели такие огненно-жгучие глаза южанки, блеска которых было бы вполне достаточно для того, чтоб с первого же взгляда воспламенить миллионный бак нефти, не говоря уж о сердце джентльмена, убежденного в том, что женщина есть лучшее украшение мира и что ни с кем — что ни говорите! — нельзя провести время более приятно, чем с женщиной.

— Сегодня довольно жарко... Миссис! Прошу простить мне ту вину пред вами, что я не знаю вашего прелестного имени! — снова вежливо поднял шляпу мистер Чарльз. Именно в этот момент дело и приняло характер очаровательного приключения. Дама встала. Она встала быстро. Она была певысока ростом, стройна, как трость бамбука, и так же гибка.

Мистер Чарльз был несколько смущен ее движением. Но она сделала торопливый жест, имевший очевидное назначение успокоить мистера Крэка, и быстро, волнуясь, с отуманенными глазами, заговорила:

— Monsieur! Вы джентльмен! Вы не поставите мне

в вину того, что я взглядом пригласила вас сесть со мной... да, monsieur? Monsieur! Клянусь вам именем моей матери, я честная женщина! Но мой муж! О monsieur! Это изверг! Это...

— Миссис! Они все такие, эти мужья! — рыцарски заговорил мистер Чарльз, хорошо осведомленный о качествах мужей, в силу обширного знакомства с их женами.— Они все, взятые вместе,— уж поверьте мне! — решительно не заслуживают того, чтоб вы так сильно волновались по поводу одного из них.

— Monsieur!.. Я француженка! Мы приехали вчера из Марселя с мужем... жить здесь... Но он... бьет меня!

— Годдэм! — в ужасе воскликнул американец, — в ужасе, который не мешал ему восхищаться дамой, еще более прекрасной от волнения...

— Да... бьет за то, что я... мешаю ему... его прихотям... разнузданным инстинктам. Вы джентльмен. Я убежала от него... Он, наверное, уже ищет меня... С минуты на минуту он явится... Спасите меня! Возьмите меня с собой. Спрячьте меня, если вы джентльмен.

Кто отказался бы взять и спрятать даму, взять и спрятать хорошенькую женщину, которая со слезами на глазах просит ни о чем другом, как именно о том, чтоб ее взяли и спрятали? Не знаю, право, кто он... и как должен выглядеть такой джентльмен. Не думаю, чтоб он мог иметь умную физиономию...

— Миледи! мне... я... мне некогда... то есть мне невозможно отвезти вас к себе... Но в контору... в мой кабинет, в доме, где заседает «Стандарт»... если вы хотите? Это вполне приличное место для дамы, миледи! Несколько скучное, но и только... Клянусь честью... Угодно вам? Вы можете положиться на слово Чарльза Крэк, миледи!

— О, да... я... готова на это... на всё! Я верю вам, — сказала она, пугливо оглядываясь по сторонам...

На них начинали обращать внимание. Чистильщик сапог с улыбкой чёрта, довольного собой, что-то рассказывал собравшейся вокруг него публике, кивая головой в сторону оживленной и взволнованной пары.

— Кэб! Эй, кэб! — несколько громче, чем бы это

следовало джентльмену, крикнул мистер Чарльз. Дама благодарно взглянула на него и взяла его руку.

— Прошу вас, миледи! Браунинг хауз № 3. Скорее! Успокойтесь, миледи!.. Вы так прекрасны... Я не встречал женщины, которая была бы хотя немного похожа на вас по благородству и красоте...

Кэб быстро катился вперед и заглушал речь мистера Чарльза.

## II

«У нее немного груба кожа рук... и для женщины несколько резки манеры, но ее бюст!» — думал мистер Чарльз в то время, как секретарь читал доклад о действиях агентов по скупке керосина.

«У нее сухи губы... и вообще она холодна несколько. Это странно для южанки. Ведь она из Марсея. Но она целуется так крепко, точно мужчина... Мне кажется... у нее есть усики... маленькие усики, чёрт возьми!.. Это преоригинально — повесьте меня! Ах, как я был умен, когда брал закрытый кэб!»

— Мистер Крэк!? Вы слышите?.. Дело соединения в наших руках запасов нефти идет медленно...

— Дело идет медленно, сэр? Не нахожу, простите меня! О, нет, не нахожу! Едва ли кто другой сумеет достигнуть таких результатов... в пятьдесят пять минут! Не беспокойтесь, сэр!

«Нет, куда мне повезти ее после заседания? А долго еще? Девять минут! Ага, всё идет прекрасно».

— Наши соперники предупреждены кем-то. Они твердо держат в руках свои партии, мистер Чарльз!

— Ба! Это не должно удивлять вас, джентльмены. Проклятые газеты своими предположениями о наших намерениях сделали тут дьявольский шум! Но теперь, когда никто уже не узнает наших задач, всё пойдет прекрасно, джентльмены! Нужно еще подождать немного. И нужно строго держать тайну. Главным образом, тайну всего, что выработано сегодня... Закрываю заседание в приятной уверенности видеть вас здесь, джентльмены, завтра в 6 часов вечера.

— Вы не идете, мистер Крэк?

— Нет, благодарю вас, мистер Файф! Я остаюсь кое-что сделать тут... Да!..

Члены «Стандарта» разошлись один за другим.  
Мистер Чарльз Крэк живо направился во внутренние комнаты...

### III

— Дик! Где миледи? а? — несколько растерянно спросил мистер Крэк, выходя к швейцару. — Миледи, с которой я приехал, Дик?

— Она вышла, мистер Чарльз! Две минуты тому назад вышла. Вот записка, которую она...

— Давай сюда записку и говори короче... «Она вышла... которую она... тому назад». Можно выпататься в то время, пока вы вытаскиваете из себя ваши сажженные фразы. Что тут написано? Гм...

Тут, в записке, было написано не особенно много...

«Мистер Чарльз Крэк!» было написано в ней. А дальше следовало:

«Благодарю вас, сэр, за данную вами мне возможность слышать всё, что говорилось в сегодняшнем заседании „Стандарта“. Не премину завтра поместить отчет о нем. Весьма, весьма благодарен вам, сэр! Я заработал 10 фунтов. Вы недурно целуетесь, но у вас дурно пахнет изо рта... Мне кажется, что я в другой раз не буду в состоянии вынести этот запах. И потому беру на себя смелость рекомендовать вам мятное полоскание д-ра Пакуэля. Очень помогает.

С почтением Гарли Гук, репортер газеты „Сноб“.

Р. С. Простите, что я так плохо брился! Надеюсь, вы не накололи себе губ? В следующий раз я обреюсь как следует...

Г. Гук».

Мистер Чарльз Крэк, очень корректный джентльмен, широко вытаращил глаза.

— Дик! Ведь это была не женщина, а репортер! — в ужасе вскричал он.

— Репортер? Может быть, чёрт, сэр?

— Дурак! «Стандарт» завтра взлетит на воздух! Мы закупили много, но далеко не всё... Нужно платить... Ах, чёрт побери!

И в первый раз в жизни мистер Чарльз Крэк упал в обморок.

## «СОЛОВЕЙ»

НАБРОСОК

...Пароход шел между Казанью и Козловкою.

На Волге было тихо и свежо. Наступал вечер. Горный берег облекался в лиловатый туман, луговой, залитый половодьем, был отодвинут далеко к горизонту. Местами из воды поднимались зеленые острова затопленных деревьев. Шум колес парохода звучал глухо в сыром и густом воздухе, полном запаха свежей зелени. За пароходом тянулась широкая лента вспененной воды, и к обоим берегам катились волны. Впереди парохода догорал закат, сзади на него надвигалась ночь, — и уже кое-где в темневшем небе слабо вспыхивали звезды.

Группа пассажиров на террасе первого класса была настроена минорно под влиянием меланхолического вечера, рождавшегося на реке. Сидели четверо: старик, высокий и сутулый, в мягкой широкой шляпе, закрывавшей своими полями всё его лицо вплоть до седой бороды, рядом с ним барышня, плотно закутавшаяся в толстую серую шаль и мечтательно смотревшая голубыми глазами на горный берег, покрытый лесом. Неподалеку от них, на той же скамье, сидела еще пара: сухощавый господин в сером пальто и дама, полная, стройная, с правильными чертами лица и большими темными глазами. Ее сосед, нервно покручивая холеную французскую бородку, несколько наклонился вперед и всё как-то подергивался, дама же, откинувшись на спинку скамьи, сидела неподвижно, как изваяние. Старик оперся руками на палку и, положив на них подбородок, сгорбился и пристально смотрел на пол.

Все молчали.

Пароход вздрагивал и быстро шел вперед. Где-то внизу назойливо звенела посуда, топали ногами, смеялись; с кормы доносилась тихая, точно вздыхающая

песня, то и дело заглушаемая шумом, сливавшимся в ровную, монотонную волну оборванных и недосказанных звуков.

— Свежо... Не идти ли нам в каюты, а? — предложил старик, поднимая голову.

В это время откуда-то издали приплыл странный густой свист, похожий на томный, долго сдерживавшийся вздох чьей-то маленькой, но сильной и полной чувства груди.

Пассажиры подняли голову.

— Соловей! — сказал старик, усмехаясь.

— Вот... рано бы... еще.

— Давайте останемся слушать, папа... — предложил девушка.

— Ну что ж? Ты оставайся, и они вот тоже не прочь, наверное. А я уж пойду. Мне соловьи... — но, не договорив фразы, он снова опустил на скамью.

Звонкая, радостная, возбуждающая нервы трель соловья звенела и переливалась в воздухе. Ноты неслись одна за другой так торопливо, горячо, точно певец боялся, что не успеет сказать своей песнью всего, что сказать ему хочется. Нервно дрожащие рулады вдруг прерывались густыми, вздыхающими звуками, как бы рисующими томление сердца, полного страстью. Снова рассыпалось в воздухе судорожное пиччикато и вдруг исчезало, уступая место минорной мелодии, тоже обрывавшейся на каких-то щелчках, точно певец сам смаковал свою песню...

На пароходе стало тихо... Всякий шум, кроме однообразного стука колес по воде, исчез куда-то.

Песня лилась и царила над рекой, над пассажирами, молча слушавшими ее. Барышня улыбалась, как во сне, лицо дамы стало менее серьезно и строго... Старик вздохнул и заговорил:

— Вот она, игривая и странная мудрость природы! Маленькая, ни на что не годная птичка наделена таким богатством оттенков в голосе... а корова — полезное человеку животное — способна издавать только неприятное, однотонное мычание... Мы настолько привыкли к этим странностям, что не замечаем их, считаем их законными... А между тем в природе и в жизни то и

дело видишь, что полезное человеку грубо и неприглядно, а бесполезное красиво, приятно... умиляет душу...

— Погоди, папа, мешаешь! — недовольно сказала ему дочь, передергивая плечами. Он скептически усмехнулся и снова заворчал:

— Ну, слушай, слушай... Но согласишься, что, если б коровы пели, как соловьи, это было бы недурно, а? Или тогда мы не ценили бы пения коров и восхищались бы чем-нибудь более грубым, худшим. Красиво только редкое, сказал один из Гонкуров... Пожалуй, это правда... А мы все, люди, наверное, оказались бы плохими ценителями истинно красивого, если б нам показали вечный его идеал и мы могли бы сравнить его с тем, что мы считаем красивым теперь... Ведь у нас нет вечного идеала, если посмотреть пристально. Мы сами создавали образцы... а мы не вечны, и всё, созданное нами, не может быть вечно.

— Да перестань же, папа! — взмолилась дочь.

— Ну, ну... молчу! Вот и он перестал... этот певец любви... Насладились?

— Ну, что же, идемте в каюты?

— Посидим еще... — тихо и медленно проговорила дама.

Соловей еще пел. Но теперь его песнь была такой слабой, замирающей... Закат угас. Вода реки стала темной и как бы густой. Выходила луна, и от горного берега на спокойную поверхность Волги падали черные тени. Во впадине горы сверкал костер, и на реке блестела и трепетала алая лента отраженного огня. Было тихо и так хорошо...

Песнь соловья порвалась.

На террасе появился матрос.

Он появился немного на одном месте, потом снял с головы кожаную фуражку, посмотрел на пассажиров и решительно подошел к ним...

— Не желаете ли соловья послушать? — сказал он и почему-то сконфузился.

— Что такое? — брезгливо скосил лицо старик...

— Соловья-с не угодно ли... Мальчишка тут один... свистит... как заправский соловей... Ей-богу-с! — объяснял матрос, пятясь назад под строгим взглядом старика.

— Приведи, — кратко сказала дама...

Ее сосед нервно заерзал на скамье.

— Зачем это, Нина? — кисло сморщился он...

Девушка, широко раскрыв глаза, смотрела на матроса.

— Прикажете привести? — переспросил тот.

— Ну, да... Я сказала уж... — сердито кинула дама.

— Он сам придет! — радостно пояснил матрос и исчез.

— Чёрт знает что такое! — поднял брови старик, усмехаясь презрительно и остро... — Какой-то мальчишка свистит, как заправский соловей... Мы слушаем его в убеждении, что это действительно соловей, и, слушая, некто пускается философствовать... Этакая дичь! — И он укоризненно тряхнул головой, чувствуя себя несколько сконфуженным этой дичью.

На террасу вошел мальчик лет четырнадцати.

Он был одет в пиджачок, узкие брючки, на голове его несколько вбок сидел новенький картуз. Его веснушчатое лицо, развалистая походка, толстые, коротенькие пальцы рук и выцветшие жёлтые волосы изобличали в нем жителя деревни. Он подошел к группе, снял картуз, поклонился, тряхнул головой и, не покрывая ее, молча стал играть козырьком картуза, выгибая его... Пассажиры осматривали его тоже молча. В глазах девушки светилось недоумение. Он бойко перебежал серыми глазами по их лицам и спросил:

— Прикажете посвистать?

— Это ты свистел соловьем? — спросил старик.

— Я-с! Буфетчик заказали...

— Что же ты... только свистишь?..

— Так точно... В Козловке сяду и до Казани... а в Казани снова назад...

— Н-ну... — и старик замолчал, не зная, о чем еще спросить.

— Ну, свисти... пожалуй.

— Не надо, папа... — тихо сказала барышня.

Мальчик вопросительно посмотрел на нее...

Заговорила дама густым контральто.

— Кто это тебя выучил?..

— Я сам-с... Подпаском я был... Я вот тут, — он махнул рукой куда-то на берег, — из деревни... Пасешь, бывало, и целый день слушаешь разную птицу... Подсвистываешь ей... ну, и выучился помаленьку... Чижом умею... малиновкой... Только это всё не так хлестко, как соловьем. Соловьем я так наострился, что охотников на эту птичку в обман ввожу. Засяду в кусты и валяю! Как есть, настоящая птица, ей-богу-с!

По мере того как он говорил, его веснушчатое лицо оживлялось гордым сознанием своего мастерства и самодовольством артиста.

— А как наострился я — деревенские которые и говорят: вали, говорят, Микишка, на пристань да и свисти... Господам, которые на пароходах едут, можешь пондравиться. Авось чего добьешься. Я и пошел... Потом вот на пароходах стал ездить... Ничего, мне хорошо. Иной раз так дадут, что глаза выпучишь. У господ деньга дешевая...

Он понял, что заговорился, осекся и уже робко спросил.

— Прикажете посвистеть?

Прошло несколько секунд молчания, прежде чем дама кратко сказала:

— Свисти...

Мальчик бросил картуз к ногам, приставил пальцы ко рту... и выгнул горло... Лицо у него почему-то улыбалось, и он долго не мог начать, вынимая изо рта пальцы, отирая губы, шмыгая носом и строя всякие гримасы.

Наконец снова раздался томный свист-вдох... Он прозвучал, замер, и вдруг в воздухе зазвенела переливчатая трель соловьиной рулады. Барышня вздрогнула и печально вздохнула... Дама усмехалась недовольно и презрительно, ее сосед всё ежился и нервно гримасничал, старик был серьезен и пристально смотрел в лицо мальчика. Оно же было красно от напряжения, надулось, и глаза, расширенные, но тупые и ничего не выражавшие, — не освещали его. Соловей щелкал, пере-

ливался и, задыхаясь, останавливался на миг, и снова пел, звал... томно вздыхал... Подражание было изумительно точно.

— Папа, скажи ему... перестать... — тихо попросила девушка. И вдруг встала и ушла с бледным лицом и со слезами на глазах.

— Будет! — махнул рукой старик. Соловей порвал песнь, вытер рукой губы, поднял картуз и протянул его навстречу руке старика. Прошелестела бумажка...

— Покорно благодарю! — сказал мальчик и быстро исчез, спустившись куда-то вниз. Дама проводила его глазами и усмехнулась. Ее сосед что-то проворчал про себя и поднял воротник пальто... Ночь крепла и становилась гуще и темнее. Вода стала черной, берега скрылись во мраке, на небе уже сверкали звезды, и по-прежнему глухо и монотонно гудела вода под колесами парохода.

— Артист! — сказал старик, меняя позу. — Еще одна жертва публики... Ничего — публика всё пожрет... как она пожирает Свифта и Оффенбаха, Гейне и «бойкое перо» из уличного листка. Ей всё доставляет удовольствие... упражнение циркового силача с пятипудовыми гирями и игра виртуоза на скрипке. Она все-таки не гоголевская свинья, — нет, она более осмысленное животное — настолько же более осмысленное, насколько и более крупное... Она неразборчива в том, как ей служат и кто ей служит... но она умеет наслаждаться самым процессом служения ей... Ей льстит, когда она видит, что ради того, чтоб заслужить ее внимание, человек готов на всё... всячески коверкает себя ради ее пяточка и ее ласки. Она любит чувствовать себя владыкой личности...

Его, должно быть, не слушали, ибо никто не отвечал ему.

— А не приди этот матрос... — сделав паузу, снова начал он, — мы бы остались в убеждении, что слушали излюбленную поэтами птичку, а не чумазого деревенского мальчишку-фальсификатора. Н-да! Знать истину — не особенно большое удовольствие, когда обман красивее ее...

— Пойдемте...— сказала дама, вставая... Все поднялись и пошли в каюту...

— А Лена, наверное, уже плачет... Она такая нервная. Но ничего... пусть понемногу привыкает к маленьким шутливым пошлостям жизни... легче будет справляться с серьезными и крупными... Ты что дрожишь, Соня? Свежо?..

— Нет, ничего... Не беспокойся,— тихо сказала дама...

Ее нервный спутник окинул ее равнодушным взглядом бесцветных и иронически прищуренных глаз, и все скрылись за дверью каюты.

Всходила луна, и на темную воду реки упали ее отражения и, слабо сверкая, дрожали на зыбкой поверхности волн.

Вдали показались дрожащие точки каких-то огней. На сонной реке было грустно.

## ПРИМЕЧАНИЯ

---



Во второй том настоящего издания вошли произведения, написанные Горьким в период со второй половины 1894 г. по сентябрь 1896 г. Из них «Челкаш», «Песня о Соколе», «Однажды осенью», «На плотях», «Дело с застежками», «Тоска» включались, начиная с ДЧ<sub>1</sub>, а «Вывод», «Товарищи» и «Хан и его сын», начиная с Зн<sub>1</sub>, во все авторизованные собрания сочинений. Кроме «Вывода», каждое из них вышло также отдельным изданием в ДБЗ. Рассказ «На плотях» включался автором в одно-томник Грж.

Остальные произведения этого тома в собрания сочинений Горьким не включались. Большинство они были опубликованы при жизни автора и вошли в Собрание сочинений в 30 томах. Произведения «Самоубийство», «Друзья», «Красавица», «Сказка», «Возвращение норманнов из Англии», «У схимника», «Сказание о графе Этельвуде де Коминь и о монахе Томе Эшере», «Соло», «Слепота любви», «Легенда о еврее», «Союзники», «Как нужно устраивать домашнее хозяйство» включаются в собрание сочинений впервые. «Самоубийство», «Сказка», «Одинокий», «Как поймали Семагу», «Трубочист», «Сон», «Как нужно устраивать домашнее хозяйство» после первой публикации редактировались, но не перепечатывались Горьким. Стихотворения «См докладываю вам...», «Е. П. Пешковой», «Эпиграммы на Д. С. Мережковского» были напечатаны после смерти автора; в собрание сочинений включаются впервые, как и приписываемые Горькому рассказы «Для хроники» и «Приключение мистера Чарльза Крэк», а также набросок «Соловей».

Основные принципы построения настоящего издания изложены в предисловии (т. I). Там же указаны принятые сокращения источников, используемых при подготовке текстов данного издания и вариантов к ним, а также сокращенные обозначения применяемые в разделе примечаний.

Тексты второго тома подготовили и примечания к ним составили: *С. Я. Бродская* («Для хроники», «Прпключение мистера Чарльза Крэк»); *И. И. Вайнберг* («Самоубийство», «Красавица», «Прощай!», «Несколько испорченных минут», «Дележ», «В Черноморье», «Сказка», «Возвращение норманнов из Англии», «Грустная история», «Гость», «Одинокий», «Неприятность», «Как поймали Семагу», «Бабушка Акуллина», «Старый год», «Первый дебют», «Колокол», «Свадьба», «Трубочист», «Слепота любви», «Союзники», «Сим докладываю вам...», <«Энграммы на Д. С. Мережковского»>); *Л. А. Евстигнеева* («Однажды осенью», «На плотях», «Хан и его сын», «О мальчике и девочке, которые не замерзли», «Друзья», «Открытие. Из мемуаров современника», «Ма-аленькая!», «Кюлюша», «Женщина с голубыми глазами», «Извозчик», «Почтальон», «У схимника», «Часы отдыха учителя Коржика», «Гривенник», «Тронуло», «Артист», «Сказание о графе Этельвуде де Коминь и о монахе Томе Эшере», «Отомстил», «Соло», «Дипломатия», «Соп», «Как нужно устраивать домашнее хозяйство»); *В. Н. Ланина* («Песня о Соколе», «Товарищи», «Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты»); *Ф. Н. Пицкель* («Вывод», «Дело с застежками», «Тоска», «Вор», «Открытие. Этюд», «Легенда о еврее»); *А. А. Тарасова* («Челкаш», «Два босяка»); *В. Ю. Троицкий* («За бортом», <«Е. П. Пешковой»>, «Соловей»).

Тексты рассмотрены и утверждены Текстологической комиссией под председательством В. С. Нечаевой.

В редакционно-технической и организационной работе, связанной с подготовкой тома к печати, принимала участие *И. И. Соколова*.

## ЧЕЛКАШ

(Стр. 7)

Впервые, с подзаголовком «Эпизод», напечатано в журнале «Русское богатство», 1895, № 6, стр. 5—35.

В Архиве А. М. Горького хранится текст рассказа  $Z_{H10}$  с правкой автора для  $K$  (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту  $K$  со следующими исправлениями:

*Стр. 9, строка 26:* «встал» вместо «стал» (по  $ДЧ_2$  и  $Z_{H1-3}$ ).

*Стр. 9, строка 36:* «возвышался» вместо «помещается» (по  $ИТ$ ,  $ДЧ_{1-2}$ ,  $Z_{H1-9}$ ).

*Стр. 19, строка 34:* «покойно» вместо «спокойно» (по тем же источникам).

*Стр. 27, строка 12:* «опутанными» вместо «окутанными» (по  $ДЧ_2$  и  $Z_{H1-9}$ ).

*Стр. 34, строка 38:* «подтвердил» вместо «подтверждал» (по  $ДЧ_2$  и  $Z_{H1-3}$ ).

*Стр. 38, строка 29:* «с него» вместо «с ним» (по смыслу).

Рассказ написан в августе 1894 г. в Нижнем Новгороде. История его создания и опубликования теснейшим образом связана с именем В. Г. Короленко, который внимательно следил за развитием молодого писателя и понял раньше других, что «это самородок с несомненным литературным талантом» (*Г и Короленко*, стр. 201). В одну из встреч Короленко предложил начинающему автору написать «что-либо покрупнее, для журнала». «Я пришел домой и тотчас же сел писать „Челкаша“, рассказ одесского босяка, моего соседа по койке в больнице города Николаева; написал в два дня и послал черновик рукописи В. Г.» (*Г-30*, т. 15, стр. 41). Прочитав рассказ, Короленко сердечно отозвался о нем: «Вы написали недурную вещь. Даже прямо-таки хороший рассказ! Из целого куска сделано...» (там же).

Так родилось произведение, с которым Горький впервые вошел в «большую литературу».

Рукопись рассказа, посланная в журнал «Русское богатство», была возвращена автору. Редактор журнала Н. К. Михайловский в письме Горькому отмечал, что «рассказ задуман превосходно», но считал, что он «местами очень растянут», «страдает отвлеченностью». Михайловского не удовлетворил, в частности, образ Гаврилы, который не отвечал требованиям изображения «мужика» в народнической литературе: «Гаврилу я себе представить не могу, не психологию его — она понятна, а как бытовую

фигуру <...> Не пахнут жизнью, „бытом“ и все разговоры Гаврилы» (Г, *Материалы*, т. II, стр. 353—354). Михайловский предложил Горькому прибегнуть к редакторской помощи Короленко, но дорабатывал рассказ, по-видимому, сам автор. «Многие считают, — писал Короленко, — что благодаря моему покровительству Горький стал писателем. Это басня. Он стал писателем благодаря большому таланту. Я только прочитывал (да и то не все) его первые рассказы и откровенно говорил свое мнение» (Г и Короленко, стр. 220). В воспоминаниях Горького приводятся следующие слова Короленко, сказанные в связи с «Челкашом»: «В рукописи у вас есть несколько столкновений с грамматикой, очень невыгодных для нее, я это поправил. Больше ничего не трогал...» (Г-30, т. 15, стр. 42). Наконец, на вопрос И. А. Груздева, не исправлял ли Короленко рассказ, Горький ответил: «...кажется мне, что Кор<оленко> не правил „Челкаша“, а только посоветовал мне выбросить сцену: Челкаш наблюдает игру уличных детей, что я и сделал» (*Архив ГХI*, стр. 108).

13 декабря 1894 г. Короленко писал Михайловскому: «„Челкаша“ в исправленном виде посылаю (посылкой в контору). Ах, как хорошо бы его напечатать в ближайших книжках. Рассказ хорош, а автор болен и бедствует» (Г и Короленко, стр. 204). А Горькому он сказал: «„Челкаша“ напечатать в „Русском богатстве“, да еще на первом месте, это некоторая отличка и честь» (Г-30, т. 15, стр. 42).

Но прошло еще полгода, прежде чем рассказ был напечатан в журнале. Рассказом действительно открывалась книжка, на обложке которой впервые появилось имя Короленко как издателя журнала.

В основу рассказа «Челкаш» положен действительный жизненный случай. Позднее писатель вспоминал о босяке, послужившем прообразом Челкаша: «...изумлен был я беззлобной насмешливостью одесского босяка, рассказавшего мне случай, описанный мною в рассказе „Челкаш“. С этим человеком я лежал в больнице города Николаева (Херсонского). Хорошо помню его улыбку, обнажавшую его великолепные белые зубы, — улыбку, которой он заключил повесть о предательском поступке парня, нанятого им на работу...» (там же, т. 24, стр. 498). В письме Груздеву от 15 августа 1926 г. Горький подтверждал, что фабулу рассказа дал ему босяк — «„ракло“ — б<ывший> солдат гренадер», а имя — Гришка Челкаш — птицелов из Канавина (*Архив ГХI*, стр. 66).

Знакомство Горького с одесским босяком произошло в июле 1891 г. Время действия в рассказе также можно отнести к этому «голодному году» (см. стр. 12, слова Гаврилы: «Голодающий этот самый припелел...»).

После публикации рассказа в «Русском богатстве» автор несколько раз редактировал его, начиная с подготовки для ДЧ<sub>1</sub> (см. варианты).

Существенной авторской правке рассказ подвергся в 1902 г., при подготовке его для Зн<sub>4</sub>. Здесь редактура впервые коснулась

идеи рассказа, существа образов, особенно образа Челкаша. Эта работа явилась как бы своеобразным полемическим ответом писателя на выступления буржуазной печати, намеренно искажавшей, не понимавшей или не принимавшей основных мотивов произведения. Горький вычеркнул или смягчил места, которые можно было истолковать в народническом духе. Так, перед словами: «Король ты на своей земле!..» (стр. 30, строка 19) вычеркнута фраза: «Курица у тебя своя, яйцо свое, яблоко свое!», а после них убран текст: «И потом порядок... Утром встал — работа... весной одна, летом другая, осенью, зимой — опять иная. Куда ни пойдй, воротишься в свой дом. Тепло!.. Покой!.. Король ведь?» Подчеркнув еще сильнее бесперспективность босняка, Горький в то же время убрал некоторые «снижающие» его образ портретные и характеристические черточки, более резко противопоставив Челкаша жадному и продажному Гавриле.

В последний раз и особенно тщательно «Челкаш» редактировался автором по тексту  $Z_{n10}$  для *К*. Редактирование имеет ярко выраженный стилевой характер. Точность описания, пластичность и предметность изображения становятся важнейшими стилевыми требованиями писателя. Сокращение текста, начатое Горьким еще в ранних редакциях рассказа, проводится теперь последовательно и с возросшей требовательностью. Иногда целые абзацы и фразы, а чаще отдельные слова устраняются из текста. Сокращаются повторы, резко уменьшается количество эпитетов, к которым был пристрастен молодой Горький. Писатель очищает текст от излишнего употребления неопределенных местоимений и наречий, служебных слов — от всего, что делает фразу аморфной и мешает ясности восприятия (см. варианты).

В письме к А. Е. Богдановичу от 4 августа 1925 г. Горький назвал «Челкаша» «топорным» рассказом (*Г-30*, т. 29, стр. 436). Однако эта суровая фраза свидетельствует скорее о чрезвычайной требовательности и постоянной неудовлетворенности собой, нежели об объективной оценке писателем своего раннего рассказа.

Сразу же после появления в печати «Челкаш» был замечен критикой. «Сып отчества» в номере от 4 июля 1895 г. назвал рассказ «небезынтересным эпизодом», а «Биржевые ведомости» писали о «бытовой правде» произведения молодого автора, «жизвости и даже поэтичности изложения» и «чистых зернах таланта» (1895, № 197, 20 июля). «Русская мысль» отметила «подлинный» талант автора, идущего «прямым путем искусства» (1895, № 8, стр. 410). В статье «Литература в 1895 году», опубликованной в «Русских ведомостях» 1 января 1896 г., «Челкаш» был упомянут в числе талантливых произведений сезона. В. А. Поссе писал в журнальном обзоре: «У Горького, судя по „Челкашу“ и „Тоске“, налицо все признаки крупного художественного таланта. Герои его в одно и то же время и типичны и индивидуальны <...> Это не случайные фотографии, но и не безжизненные схемы» («Образование», 1896, № 9, стр. 105). А в письме к Горькому от 22 июля 1897 г. Поссе повторял: «Я Вас считаю (не обижайтесь!!)

крупным талантом, „Челкаша“ ставлю выше и много выше чеховских „Мужиков“» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-9). Сам же Чехов 26 февраля 1903 г. писал о Горьком А. И. Сумбатову-Южину: «...таких рассказов, как, например, „Мой спутник“ или „Челкаш“, для меня достаточно, чтобы считать его писателем далеко не маленьким» (Чехов, т. XX, стр. 58).

Более развернутый анализ «Челкаша» критиками был дан только после выхода первого тома «Очерков и рассказов», когда определились творческое лицо писателя, его художественная манера, его стиль. В мае 1898 г. появились газетные рецензии А. М. Скабичевского в «Сыне отечества» (№№ 116 и 123, 1 и 8 мая), Н. Минского (Н. М. Виленкина) в «Новостях» (№ 138, 21 мая), А. В. Амфитеатрова — под псевдонимом Old Gentlemen — в «Новом времени» (№ 7959, 27 мая), а затем — рецензия А. Басаргина (А. И. Введенского) в «Московских ведомостях», в которой талант Горького был назван «тоскующим» (№№ 279 и 286, 10 и 17 октября).

Отозвались на выход «Очерков и рассказов» и журналы 1898 г.: «Русская мысль» (№ 1 и № 8), «Русское богатство» (№ 7), «Мир божий» (№ 7). В последнем Богданович обращал внимание на «типы бродяг», «мир босяков» у Горького. И, наконец, в №№ 9 и 10 «Русского богатства» за 1898 г. появились статьи Н. К. Михайловского: «О г. Максиме Горьком и его героях» и «Еще раз о г. Максиме Горьком и его героях», в которых критик, отдавая должное таланту молодого автора и подвергая подробному разбору его рассказы, оцепивал их с точки зрения своих народнических убеждений. В «Челкаше» он увидел «унижение мужика» и воспевание босяка. Критика больше всего возмутило «глубокое презрение к мужику и деревенскому житью» у Гришки Челкаша. Михайловский не мог простить Горькому отрицания народнического идеала — «власти земли».

Вслед за Михайловским и другие критики стали отрывать горьковских босяков от реальной жизни, конкретной среды, выдавать их за идеал самого писателя, рассматривать как плод авторского «романтизма», «нищестанства», увлечения модной темой. Горький был объявлен «певцом босячества». Ф. Д. Батюшков так и озаглавил свою статью — «В мире босяков» («Космополис», 1898, № 11); А. Вольтский (А. Л. Флексер) считал основной темой произведений Горького «поэзию босяцкой вольности» («Северный вестник», 1898, №№ 10—12); Андреевич (Е. А. Соловьев) исследовал типы босяков у Горького («Жизнь», 1900, тт. 4, 6 и 8).

В 1898—1900 гг. появилось очень много статей о Горьком, рецензий на вновь выходящие издания его произведений, и почти в каждой из них отдавалась дань теме босячества у Горького. Первые книги о нем также в основном посвящены этой теме: А н д р е е в и ч-С о л о в ь е в Е. А. Книга о Максиме Горьком и А. П. Чехове. С приложением автобиографии Горького, СПб., 1900; Ф. Д о б р о н р а в о в. Прогорькший романтизм Максима Горького. СПб., 1902; А л. Н е д о л и н. Психология босячества (по сочинениям М. Горького). Одесса, 1900.

Позднее Горький, опровергая легенду буржуазной критики о босяке как подлинном герое его произведений, писал: «Я, разумеется, никогда и никого не звал: „идите в босяки“, а любил и люблю людей действующих, активных, кои ценят и украшают жизнь хоть мало, хоть чем-нибудь, хоть мечтою о хорошей жизни». И тут же подчеркивал: «...страшен человек этот прежде всего и главнейше — невозмутимым отчаянием своим, тем, что сам себя отрицает, извергает из жизни» (*Г-30*, т. 29, стр. 148). Показав в босяке вовсе не «сверхчеловека», а прежде всего социальный тип человека, протестующего против установленного общественного порядка, Горький объяснял свое «пристрастие к „босьякам“ — желанием изображать людей „необыкновенных“, а не людей нищеватого, мещанского типа» (там же, т. 24, стр. 498).

Критика конца 90-х — начала 900-х годов прошла мимо главного в рассказе Горького — его реалистической основы, современное звучания, общественно-исторической сущности. Исключение составили лишь выступления марксистов. В 1902 г. о Горьком написал статью В. В. Воровский. В ней критик стремился показать, как и в какой социальной среде родился тип босяка, выведенный в рассказах писателя. Статья не была опубликована в то время и увидела свет лишь в советские годы (см. *Воровский*, стр. 49). Считая, что Горький стоит «наряду с первоклассными литературными силами современности» (там же), Воровский подчеркивал, что «для автора герои его представляют не реальную общественную ценность», а важны «как носители известных общественных качеств», «...и нужно удивляться только беззастенчивости некоторых господ, приписывающих ему не только взгляды и мораль, но и поступки бродяг и воров» (там же, стр. 66). В другой статье о Горьком, написанной в 1910 г., Воровский утверждал: «...оценка М. Горького, как идеализатора босяцкого пролетариата, глубоко ошибочна» (там же, стр. 257).

Однако оценка, подвергнутая критике Воровским, продолжала еще долго существовать в литературе о Горьком. Так, Д. Н. Овсяннико-Куликовский в обширной работе «Итоги русской художественной литературы XIX века» («Вестник воспитания», 1911, №№ 6—10, 1912, №№ 1 и 2), в главе «Излюбленные герои Горького», назвал рассказ «Челкаш» — «босяцко-крестьянской поэмой».

Советское литературоведение научно истолковало горьковские рассказы о «босьяках», показав их огромное социальное значение, отметив тесную связь с жизнью, критический пафос, направленный против устоев буржуазного мира, а также устремленность в будущее, предчувствие очистительного революционного «взрыва».

Демократизм и революционизирующее значение рассказа подчеркивал в воспоминаниях о своей юности А. С. Макаренко: «...мы старались понять, почему „Челкаш“ забирает нас за живое <...> Мы чувствовали, что Максим Горький искренней и горячей рукой лезет в нашу душу и выворачивает ее наизнанку <...> Разве мы все не были обречены пережить нищенские идеалы

Гаврилы? <...> Мы поняли, что наша жизнь действительно гнусная, что вся наша история — сплошная мерзость <...> Так началось новое мое сознание гражданина. Я не могу отделить его от имени Горького» (А. С. Макаренко. Максим Горький в моей жизни. Архив А. М. Горького, МоГ-9-17-1). А студент Высшего художественного института А. Булычев писал в 1928 г. Горькому: «Когда-то „Челкаш“ меня, крестьянина, полоснул так, что я тут же запоем написал маслом большой портрет автора „Челкаша“...» (там же, КГ-ди-1-51-1).

## ПЕСНЯ О СОКОЛЕ

(Стр. 42)

Впервые, под названием «В Черноморье» с подзаголовком «Песня», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 50, 5 марта, в серии «Теневые картинки».

Печатается по тексту *К* с исправлениями:

*Стр. 43, строка 24:* «могуче размахнувшееся море» вместо «могучее размахнувшееся море» (по *ПТ*, *ДЧ*<sub>1-2</sub>, *Зн*<sub>1-9</sub>).

*Стр. 46, строка 1:* «и поживешь ты» вместо «и поживешь» (по *ПТ*).

Написано в 1894 г. Дата устанавливается по авторской пометке к тексту *Зн*<sub>10</sub>. При подготовке этого текста для *К* Горький в подзаголовке исправил дату «1896» на «1894» (Архив А. М. Горького, ХПГ-44-14). Как указывал автор, при первой публикации песни в основу ее был положен фольклорный источник<sup>1</sup>.

«Песне о Соколе» автор придавал особое значение. Возвратившись весной 1896 г. в Нижний Новгород, он настойчиво просил работавшую в «Самарской газете» Е. П. Волжину, впоследствии ставшую его женой, прислать газетную вырезку. «Мне,— писал он 22 мая 1896 г.,— очень важно иметь фельетон „В Черноморье“. Он напечатан в начале 95 года, написан белым стихом, и речь в нем идет об Уже и Орле <Соколе>. Пожалуйста, найди этот фельетон, если сможешь, в двух экземплярах. Один вырежь и пришли мне, другой — спрячь. Если не найдешь его в старых газетах — вырежь из комплекта за 95 г. Очень важно это» (*Архив ГЧ*, стр. 20). 4 июня 1896 г. он снова пишет ей же: «Ты напрасно переписывала, мне не это надо — мне нужен *печатный* фельетон, пожалуйста, вырежь — его необходимо иметь» (там же, стр. 28). Еще 15 дней спустя снова напоминает: «Как же мой фельетон об Уже и Орле <Соколе>? Он положительно необходим мне <...> Вырежь его, пожалуйста!» (там же, стр. 35). И вновь в письме от 20 июля 1896 г.: «Ради бога, достань фельетон о „Соколе и Уже“!»

---

<sup>1</sup> Об этом и других источниках см.: С. Д. Балухатый. Песня о Соколе.—*Г, Материалы*, т. III, стр. 174; А. Овчаренко. О положительном герое в творчестве М. Горького. М., 1956, стр. 272—273.

(там же, стр. 39). 30 июля 1896 г. он пишет ей же: «Не обижайся на меня, но вот еще что я скажу тебе. Фельетон об Уже — кусок моего ума, кусок сердца, он хорош и дорог мне, я его потерял и вместе с этим теряю право собственности на него. Я так долго просил тебя выручить у Костерина эту вещь — и ничего не добился» (там же, стр. 43). Получив наконец в августе желанную вырезку, Горький горячо благодарил за это Волжину (там же, стр. 44).

Столь настойчивая просьба непременно достать газетные вырезки объяснялась не только тем, что Горький боялся потерять особенно дорогое ему произведение, но и тем, что именно в этом году он стал подумывать об отдельном издании своих рассказов.

В процессе подготовки «Песни о Соколе» для последующих изданий, начиная с ДЧ<sub>1</sub> и ДЧ<sub>2</sub>, первопечатный текст ее подвергся весьма существенным изменениям.

Наиболее важными из них оказались изменения, внесенные для ДЧ<sub>2</sub>:

1. Добавление — после фразы: «— О, если б в небо хоть раз подняться!..» (стр. 44, строка 34) — текста: «Врага прижал бы я... к ранам груди и... захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..»

2. Новая редакция конца песни («Блестело море, всё в ярком свете, и грозно с Безумству храбрых поем мы песню!..» — стр. 47, строки 2—16), первоначально звучавшего так:

«Блестело море, всё в южном солнце, и с шумом волны о берег бились.

В их тихом шуме звучала песня о смелой птице, любившей небо:

„О смелый Сокол! Ты, живший в небе, бескрайнем небе, любимец солнца!

О смелый Сокол, нашедший в море, безмерном море себе могилу!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь купаться в небе, свободном небе, где нет помехи размаху крыльев свободной птицы, летящей кверху!..»

При подготовке текста произведения для ДЧ<sub>1</sub> Горький дал новое заглавие — «Песня о Соколе», опустил подзаголовок «О Соколе и Уже», предшествовавший песне Рагима, и подстрочное примечание: «Хотя форма песни значительно изменена, но содержание ее передается целиком».

В дальнейшем — через 3 и через 23 года после создания второй редакции — Горький еще дважды редактировал «Песню о Соколе». Это была главным образом стилистическая правка.

Замена или исключение некоторых эпитетов связаны с общей эволюцией Горького-художника и, возможно, с критическими замечаниями А. П. Чехова, указывавшего Горькому на частое употребление слов «совсем неудобных». «Аккомпанемент, диск, гармония — такие слова мешают», — писал ему Чехов 3 декабря 1898 г. Горький в ответном письме назвал «метким» это замечание о «вычурных словах» (Г-30, т. 28, стр. 51). В тексте «Песни о Соколе» автор опустил или заменил эпитеты «меланхолично»,

«фантастически», «бархатистое», «исключительное» и т. п. (см. варианты).

При подготовке для *К* текст «Песни о Соколе» почти не испытал изменений.

В процессе редактирования «Песни о Соколе» автор углублял и прояснял основной образ произведения. Изменения в обрисовке Сокола явились выражением идеологического роста писателя и связаны с общественным подъемом конца века. Существенно, что образ Ужа, противопоставленный образу Сокола, не испытал никаких изменений. Образ мещанина сложился у Горького очень рано — раньше, чем образ революционного борца за светлое будущее.

Публикация «Песни о Соколе» в «Самарской газете» не была замечена критиками. Отклики появились после выхода *ДЧ*<sub>1</sub>. Вначале критики, увлеченные «босяком», почти полностью игнорировали в произведениях Горького другие образы, в том числе и образ Сокола. Н. К. Михайловский писал: «Лойко Зобар, Радда, Сокол, Чиж, Данко, Ларра — вот вся портретная галерея идеальных, очищенных от грязи босяков г. Горького. Что это именно они — преображенные Челкаши, Мальвы, Кувалды, Косяки и пр., в этом едва ли кто-нибудь усомнится» («Русское богатство», 1898, № 10, стр. 81).

Эта выдержка взята из статьи «Еще раз о г. Максиме Горьком и его героях», где, сконструировав единый положительный образ Горького, Михайловский сопоставлял его с высказываниями Ницше: «...Ницше со всем своим нравственно-политическим учением не был бы чужим среди философствующих босяков Горького» («Русское богатство», 1898, № 10, стр. 84). Горький обратил внимание на статьи Михайловского. В ноябре 1898 г. он писал С. П. Дороватовскому: «Не скажете ли чего-либо по поводу статей Михайловского, особенно по поводу второй? Очень бы интересно знать мнение публики об этих статьях» (*Г-30*, т. 28, стр. 44—45).

«Могучим и оригинальным» назвал талант Горького В. А. Поссе: «Горький — это живительный протест против скуки и покоя общинно-деревенской русской жизни <...> это реакция против славянской расплывчатости, мягкости и покорности <...> Стремление к подвигу ради подвига, поклонение силе как силе особенно ясно выражено в поэме „Макар Чудра“ и в двух стихотворениях в прозе: „Песня о Соколе“ и „Сказка о Чижѐ“» («Образование», 1898, № 11, стр. 57).

В критических статьях, появившихся вскоре после выхода в свет второго издания «Очерков и рассказов», по-прежнему отмечались талант Горького, шумный успех его книг, положительно оценивалась «Песня о Соколе». Исключением было только выступление М. О. Меньшикова, проповедника «культурничества» и «малых дел», в последующие годы скатившегося на крайне реакционные позиции <sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В письмах и статьях Горький не раз упоминал Меньшикова. Так, в октябре 1900 г. в письме к Чехову он писал, что

В статье «Красивый цинизм» Меньшиков писал, что «Песня о Соколе» кажется ему «необыкновенно фальшивой и слабой» («Книжки „Недели“», 1900, № 9, стр. 235). Он вспомнил стихотворение «По небу полуночи ангел летел» и, сравнив его с «Песней о Соколе», выразил недовольство тем, что ангел заменен хищной птицей. Отметив, что молодежь бешено аллодирует «Песне о Соколе», когда слышит ее со сцены, он пояснял: «...от одного звука „борьба“ в кое-каких слоях принято приходиться в восторг» (там же, стр. 236). «В век шигилизма, дарвинизма, нищенства, марксизма — да чтобы не найти оправдания злу!» Отрицая, что Горький говорит голосом народа, Меньшиков утверждал: Горький — это «перебежавшая искра между двумя интеллигенциями — верхней и нижней, соединяющая их в грозное „безумство храбрых“» (там же, стр. 251).

В. Ф. Боцяновский в своей книге — первой критической книге о Горьком — пришел к заключению, что главное для писателя — стремление ввысь, стремление к совершенству. Он пахнул, что до Горького никто еще не выступал с такой «смелой и яркой проповедью самого широкого индивидуализма» (В. Ф. Б о ц я н о в с к и й. Максим Горький. СПб., 1901, стр. 91), и считал, что к Горькому можно отнести слова Лежнева о Рудине: «В нем есть энтузиазм... спасибо тому, кто хоть на миг нас расшевелит и согреет» (там же, стр. 94).

Горький озакомился с книгой Боцяновского до ее выхода в свет. В письме к автору в ноябре 1900 г. он одобрил книгу за любовь к литературе, которая в ней чувствуется, и пожелал ей успеха; «...относительно себя самого в Вашем изображении я ничего не умею сказать», — заметил Горький (*Г-30*, т. 28, стр. 139).

Почти все критики, рассматривавшие «Песню о Соколе», так или иначе говорили о неопределенности идеалов, неопределенности цели, стремиться к которой призывает Горький.

Вспоминая настроения молодежи в конце прошлого века, П. С. Коган в статье 1927 г. писал о нескончаемых спорах по поводу литературных событий, в частности дискуссиях о том, «за что бился в „бескрайнем небе“ Сокол, кто был его врагом. Помню, — свидетельствовал Коган, — Протопопов, эпигон писаревской традиции, и Михайловский, последний могикан потускневшего народничества, требовали от Горького, чтобы он представил общественную и политическую программу Сокола. Но и „тогдашние начинающие марксисты“ не любили „бесплодных полетов в небо“ <...> были среди нас такие, которым казалось предпочтительнее мужество разумное, планомерно направленное». Сам Коган считал Горького конца века «поэтом необузданного индивидуализма», хотя и находил, что «в нем было что-то созвуч-

---

Меньшиков злой, хотя несомненно обладает недюжинным и страстным талантом (*Г-30*, т. 28, стр. 135—136), а в статье 1933 г. назвал Меньшикова «пошлейшим лицемером» (там же, т. 26, стр. 424).

пое начипающемуся марксистскому движению» («Известия ЦИК СССР и ВЦИК», 1927, № 220, 25 октября).

В. В. Воровский также отметил в статье «О М. Горьком» недостаточно четкое воплощение передовых общественных сил в раннем творчестве Горького. Эту особенность он поставил в связь с историческим периодом, дав при этом объяснение «культу силы» в творчестве Горького, — объяснение, в корне исключающее приписываемый писателю индивидуализм.

«Г-н Горький не нашел или, по крайней мере, не изобразил в своих рассказах такой общественной силы, которая могла бы воплотить излюбленные им нравственные качества, — писал Воровский. — Причина этого, на мой взгляд, та, что сила эта только нарождается. Из пор общества медленно, но неуклонно выделяются элементы со своеобразной психологией, с недовольством сущим, с тоской по будущему и с культом силы, необходимой для этого будущего. Такие безыменные личности проскальзывают иногда в рассказах г. Горького, но в неопределенных контурах» (Воровский, стр. 67).

Сам Горький в 1928 г. писал, что давление на него «томительно бедной жизни» заставило его «попытаться внести в „бедную“ жизнь такие вымыслы, „выдумки“, как „Сказка о Соколе и Уже“, „Легенда о горящем сердце“, „Буревестник“...». Рассуждения писателя об «активном романтизме», призывающем к действию, поясняют, что именно он разумел, говоря об этих вымыслах (Г-30, т. 24, стр. 473, 475, 477, 499). Это согласуется с принципиальным утверждением Горького: «Я начал свою работу возбудителя революционного настроения слабой безумству храбрых» («Коммунистический Интернационал», <1920>, № 12, <июль>, стр. 1935).

Именно так и воспринималась «Песня о Соколе» широкими массами. Цель стремлений Сокола становилась четкой, приобретала определенность в читательском восприятии как призыв к борьбе по мере нарастания революционных «волн». Последующее творчество Горького, в первую очередь «Песня о Буревестнике», проливалось свет и на более ранние произведения. Характерно, что по мере назревания в России революционной ситуации реакционные критики всё чаще называли «Песню о Соколе» революционной прокламацией. С другой стороны, революционно настроенный критик В. В. Стасов в 1906 г. сказал, что «Песня о Соколе» принадлежит к лучшим созданиям Горького и «останется навеки» (см. Вл. К а р е л и н. Владимир Стасов. Очерк его жизни и деятельности, т. II. Л., 1927, стр. 682).

«Песня о Соколе» была взята на вооружение революционным движением. Весной 1902 г. в Петербурге распространялась адресованная «Товарищам горным студентам» гектографированная листовка с эпиграфом: «Безумству храбрых пою я славу!» (ЛЖТ<sub>1</sub>, стр. 372—373). Бакинский комитет РСДРП в августе 1903 г. выпустил прокламацию по поводу убийства в тюрьме Ладо Кецохвели. Эпиграфом взяты слова: «О смелый Сокол, в борьбе с врагами истек ты кровью» (там же, стр. 445—446).

Своеобразный, «доработанный» вариант «Песни о Соколе» выпустило издательство Иоанна Рэдэ (Берлин, 1903): «М. Горький. Революционные песни и баллады. С предисловием М. Суkenникова». «Песня о Соколе» здесь напечатана с подзаголовком: «В редакции, воспрещенной русской цензурой». Текст «Песни...» воспроизводит прежние издания с многочисленными добавлениями предложений и слов, причем настойчиво повторяются слова «свобода» и «тираны». Например, после предложения: «Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!» вставлено: «Тобой вдохновившись, они сбросят иго тиранов, тобой вдохновившись, они завоюют свободу».

Мимо «Песни о Соколе» не прошла царская цензура. В 1902 г. Варшавский цензурный комитет, рассмотрев вышедшую на польском языке книгу Горького «В степи», «Песня о Соколе», «Челкаш», постановил исключить «Песню о Соколе» целиком, как произведение, которое «заключает в себе аллегорическую идеализацию революции» (*Г, Материалы*, т. III, стр. 408).

В 1904 г. царская цензура запретила «к обращению в России» вышеупомянутое берлинское издание книги Горького «Революционные песни и баллады», особо оговорив, что «Песня о Соколе» «представляет собой в аллегории борьбу за свободу против высшей власти» (там же, стр. 410).

По распоряжению цензурного управления, с выставки картин членов Общества петербургских художников, открывшейся в феврале 1906 г. в Петербурге, было удалено несколько картин, в их числе картина М. Г. Малышева «Безумству храбрых поем мы славу» («Русское слово», 1906, № 49, 20 февраля).

Черносотенец Пуришкевич опубликовал «Список книг как орудия растления», среди них — «Песня о Соколе» («Прямой путь», 1914, № 7).

Но всё это не могло, конечно, помешать распространению «Песни о Соколе» и влиянию ее на широкие массы. П. А. Заломов — прототип Павла Власова — вспоминал: «„Песня о Соколе“ была для нас ценнее десятков прокламаций» («Молодая гвардия» <Курск>, 1938, № 43, 28 марта).

В Архиве А. М. Горького хранится много писем читателей с восторженными отзывами. Старый коммунист-рабочий А. И. Шаповалов писал Горькому 14 июля 1923 г.:

«И вдруг <...> Вы заговорили о гордых, смелых, находящихся в самых низах, людях. Что такое? — спрашивали себя многие. А ответ появился позднее. Ответила Великая Российская пролетарская революция.

Вы заговорили о „счастье битвы!“ Ваши слова, что „безумство храбрых — вот мудрость жизни!“, уже осуществились.

Наша страна теперь, по словам Гоголя, „то гнездо, откуда вылетают все те гордые и смелые, как орлы!“ — тот смелый Сокол, о котором говорили Вы.

Я пришел в восторг, когда прочел Ваши „Песню о Буревестнике“, „Песню о Соколе“ и „Прекрасную Францию“ (Архив А. М. Горького, КГ-п-88-3-1).

«...Ваши песни о „Соколе“ и „Буревестнике“, — писали Горькому в 1914 г. московские рабочие, — всегда и в особенности в тяжелые минуты жизни ободряли нас и звали к борьбе за лучшую жизнь...» (ЛЖТ<sub>2</sub>, стр. 413). «Нет никакого сомнения в том, — писал Ем. Ярославский, — что эти воззвания Горького и его пламенные боевые песни: „Буревестник“, его „Песнь о Соколе“ — имели не меньшее революционное воздействие на массы, чем прокламации отдельных революционных комитетов партийной организации» (Рев путь Г, стр. 10).

На знаменах красноармейцев, уходявших в 1919 г. на фронт, были слова: «Безумству храбрых поем мы песню!» («30 дней», 1936, № 8, стр. 66).

«Песню о Соколе» любил В. И. Ленин. «Особенно нравились ему „Мать“, статьи в „Новой жизни“ о мещанстве, — сам Владимир Ильич ненавидел всякое мещанство, — нравилось „На дне“, нравились песни о Соколе и Буревестнике, их настрой...» — свидетельствовала Н. К. Крупская («Комсомольская правда», 1932, № 222, 25 сентября). Свою статью о Горьком, написанную в 1914 г., В. И. Ленин назвал «Автору „Песни о Соколе“».

## ОДНАЖДЫ ОСЕНЬЮ

(Стр. 48)

Впервые, с подзаголовком «Рассказ бывалого человека», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 154, 20 июля, и № 156, 22 июля.

В Архиве А. М. Горького хранится текст *Зн*<sub>10</sub>, правленный автором для *К* (ХПГ-44-11-4).

Печатается по тексту *К* с исправлением по *ПрЗн*: «п я чувствовал» (стр. 52, строка 40) вместо: «и чувствовал».

Рассказ датруется 1894 г. на основании пометы Горького в наборном тексте *К*: автор исправил «1895» на «1894» (ХПГ-44-11-4). По другим, тоже принадлежащим автору, сведениям рассказ написан в 1895 г. В письме Д. Д. Протопопову (конец февраля — март 1900 г.), перечисляя свои ранние рассказы, Горький поместил «Однажды осенью» после «Старухи Изергиль» и поставил дату «1895» (Архив Г<sub>VII</sub>, стр. 13). Ту же дату Горький указал и в письме И. Е. Репину от 23 ноября 1899 г. (Г-30, т. 28, стр. 101).

Рассказ «Однажды осенью» автобиографичен (см. том I наст. изд., стр. 537 — примечания к рассказу «Мой спутник»). 28 декабря 1925 г. Горький писал И. Б. Галанту: «Впервые я „познал женщину“, когда мне было 18 лет; случилось это при условиях, совершенно правдиво изложенных в рассказе „Однажды осенью“» (Архив А. М. Горького, ПГ-рл-10-3-6). В черновике того же письма говорится, что Горькому было тогда 19 лет (там же, ПГ-рл-10-3-3). Рассказ, видимо, был дорог Горькому как страничка его юности. 21 октября 1899 г. он читал его на литературно-музыкальном вечере. «С большим чувством он прочел

странничку, по-видимому, из своей прошлой жизни», — говорится в отчете газеты «Одесские новости» (1899, № 4782, 3 ноября).

В октябре 1898 г. автор послал текст рассказа С. П. Дороватовскому для третьего тома «Очерков и рассказов» (*Г-30*, т. 28, стр. 33). Но в декабре того же года Горький попросил вернуть рассказ обратно: «...среди рассказов, посланных мною Вам для III тома, есть один, озаглавленный „Однажды осенью“. Возвратите его мне; так как он автобиографического характера, я должен буду, изменив, включить его в то, над чем работаю теперь для „Жизни“» (там же, стр. 50).

В это время Горький писал «Фому Гордеева», который начал публиковаться в журнале «Жизнь» с февраля 1899 г. Дороватовский выслал рассказ, уведомив об этом Горького 15 декабря 1898 г. (Архив А. М. Горького, КГ-п-26-9-16). Но для «Фомы Гордеева» рассказ не пригодился. В конце апреля 1899 г. Горький возвратил рассказ Дороватовскому, сообщив: «Посылаю „Однажды осенью“, — кажется, это можно напечатать, вещь-ка колоритная. Владимир Александров <Поссе> говорил мне, что Вы готовите третий том к печати, — пожалуйста, пришлите список вещей, которые войдут в него» (*Г-30*, т. 28, стр. 72). В конце мая 1899 г., окончательно договариваясь с Дороватовским о составе третьего тома, Горький писал: «...„Варенька“, „Артем“, „Дружки“, „Однажды осенью“, „Кирилка“ — пришлите корректуру...» (там же, стр. 81).

На основании приведенной переписки можно сделать вывод, что за период с 15 декабря 1898 г. до конца апреля 1899 г. Горький работал над рассказом «Однажды осенью», изменяя его. При сравнении текста III тома *ДЧ* с первопечатным выявляются значительные разночтения. Горький убирает большие куски,носящие узко личный характер, вносит изменения, связанные с обстановкой действия и описаниями пейзажа, резко сокращает финал рассказа, в газетной редакции заканчивавшийся обширным рассуждением о женщине (см. варианты).

Начиная со *Зн*<sub>1</sub> рассказ печатался без подзаголовка, с датой 1895.

Довольно значительна авторская правка 1922 г. для *К*. Горький уничтожает смысловые повторы, утяжеляющие фразу; устраняет бытовые детали, уводящие повествование в сторону; называет Наташу «соучастницей», а не «подругой» героя. Общее направление правки сводится к тому, чтобы нарушить «ритмичность» прозы (сокращение определений, повторов, соединительных союзов).

Мнения первых критиков о рассказе «Однажды осенью» разделились. Некоторые причислили его к произведениям, обнаженно трактующим тему босачества. Л. Е. Оболенский писал: «Из всех босачков, выведенных Горьким, наиболее симпатичными кажутся: Коновалов, Челкаш, Наташа (из рассказа „Однажды осенью“), Мальва и рыжий рыбак Серсжка» (Л. Е. Оболенский. М. Горький и причины его успеха. СПб., 1903, стр. 79).

М. А. Протопопов нашел у Горького «стремление к идеалу», хотя заметил, что не видит у него определенной цели, а одно лишь «протестующее уныние» («Русская мысль», 1899, № 5, стр. 149).

Рассуждения Горького о «сытых» и реорганизации социального строя были замечены реакционными «Московскими ведомостями», где появилась статья А. Басаргина (А. И. Введенского) «Развивается ли талант г. Горького?». Критик противопоставил «Однажды осенью», как «балладу с тенденцией», рассказам «Дружки», «Каин и Артем» и «Кирилка», выполненным якобы «в прежнем тоне, — безо всяких особенных „задач“ и тенденций» («Московские ведомости», 1900, № 117, 29 апреля).

Концепцию рассказа с ожесточением пытался развенчать Е. А. Ляцкий. Он ставил знак равенства между героями рассказа и самим писателем, не без основания, однако, уверяя, что Горький проповедует начала бунта («Вестник Европы», 1901, № 11, стр. 287—288).

Иронически пересказывая содержание статьи Ляцкого, В. В. Воровский заметил, что критик устроил «публичный суд» над Горьким.

«— А помните ли, г. Горький, как вы однажды осенью воровали с голодной проституткой хлеб из ларя? — начинает г. Ляцкий „с поразительной откровенностью“ <...> Скомпрометировав сразу нашего автора в глазах своей аудитории обвинением в подкапывании главного устоя — собственности, г. Ляцкий переходит к другим пунктам:

— Вы подрывали великий принцип *свободы*, смешивая его с понятием бродяжеской, беспаспортной жизни» (Воровский, стр. 52).

В другой статье о Горьком Воровский назвал рассказ «Однажды осенью» трогательным, отнеся его к произведениям, где «изображено доброе, мягкое, человеческое...» (там же, стр. 259).

## ВЫВОД

(Стр. 57)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 44, 26 февраля, в серии «Теневые картинки». В новой авторской редакции опубликовано в «Крестьянской газете», 1935, № 35-36, 8 марта.

В Архиве А. М. Горького сохранились: 1) печатный текст  $Z_{H10}$  с авторской правкой для *K*; 2) машинопись, представляющая собой перепечатку текста *K* с большой правкой автора и припиской новой концовки. Это — редакция, предпринятая в 1935 г. в связи с новой газетной публикацией. (Архивные шифры: ХПГ-44-11 и ХПГ-44-11-2а).

Печатается по тексту «Крестьянской газеты».

В серии «Теневые картинки» «Вывод» был напечатан под цифрой II и шел после напечатанного под цифрой I рассказа «Красавица». Это были первые беллетристические публикации Горь-

кого в «Самарской газете» непосредственно после его приезда в Самару, где, став постоянным сотрудником газеты, он должен был еженедельно публиковать воскресный беллетристический фельетон.

Очерк написан в 1895 г. (в изд. *Эн*<sub>1-10</sub> и *К* ошибочно датировался 1896 годом). В основу его положен подлинный факт. Весной 1891 г. Горький покинул Нижний Новгород. Это было началом его большого странствия по России, продолжавшегося полтора года. От Днепропетровщины он шел по Херсонской губернии равнинами Сагайдака и Ипгула, направляясь к Николаеву, и 15 июля 1891 г.<sup>1</sup> в селе Кандыбине встретил «вывод» — публичное истязание женщины, Горпыны Гайченко ее мужем Сильвестром Гайченко. Он вмешался в эту дикую расправу и был до полусмерти избит крестьянами. В письме И. А. Груздеву, спрашивавшему об этом случае, Горький писал: «Меня сильно избили, вывезли из села Кандыбовки — 27—30 верст от Николаева — и бросили в кусты, в грязь, чем я и был спасен от преждевременной и „поносной“ смерти, ибо получил „компресс“. В Николаев меня привез шарманщик, ехавший с какой-то сельской ярмарки, кажется из Повлиша или Новой Праги» (*Архив ГХИ*, стр. 66).

Горький неоднократно рассказывал об этом случае много лет спустя. Об одном из таких рассказов вспоминал Н. Н. Асеев, гостивший у Горького в Сорренто в ноябре 1927 г.:

«Вот давнее воспоминание, уже вошедшее как материал в его произведения: о выводе неверной жены на общественный суд. Это было на самом деле, и Горький был, как оказывается, не бесстрастным свидетелем происшествия, о чем в рассказе не упомянуто <...>

Горький был в этой деревне прохожим человеком, вступить за женщину было бессмыслицей, и он направился к попу, чтобы тот уговорил озверелых людей. Поп ответил ему текстом из священного писания о повиновении жены мужу. Возражать на текст можно было только кулаком. Горький смазал попа по постной рожке, с размаху, не выдержав елейно-лицемерного нравоучения. На крик попа сбежались односельчане, увидели чужого, дерущегося с попом, и, не входя в существенный разбор возникшего инцидента, скопом бросились на чужака, отмахивавшегося от них длиннейшими руками. В результате со сломанным ребром Горький очнулся уже поздно в сумерки; этого конца нет в написанном им рассказе.

Когда я спросил Горького: любим ли был поп на селе и потому ли вступился за него крестьяне, Горький ответил, что поп был ненавистен всем, а помнили его за то, что чужой осмелился ихнего попа бить» (Горький. Сборник статей и воспоминаний о М. Горьком. М.—Л., 1928, стр. 467—468).

---

<sup>1</sup> Дата эта, приведенная в 1935 г. самим Горьким (см текст рассказа), оспаривается Н. Ф. Немудровым в работе «Из Нижнего в Тифлис». Приход в Кандыбину Немудров относит к середине августа (*Г Чтения*, 1966, стр. 385).

Вышедший 8 марта 1935 г., в Международный женский день, номер «Крестьянской газеты», в котором помещена последняя авторизованная публикация очерка, был целиком посвящен сравнению положения женщины в старом и новом Кандыбине. В параллель к очерку Горького здесь же напечатан рассказ под названием «Под редакцией Великого Октября». В нем описана сцена процесса, во главе которой женщина-трактористка ведет первый в Кандыбине трактор. Контраст этих двух сцен в старом и новом Кандыбине подчеркнут широким использованием выразительных описаний из «Вывода»: «„Идет толпа народа, идет густо и медленно, — движется, как большая волна, а впереди нее“ так же медленно движется величавый трактор <...> На высоком сиденье его ловко и уверенно сидит „маленькая женщина, почти девочка“. Она сидит гордо, голова ее, в густых коротко остриженных волосах, „поднята кверху и немного откинута назад, глаза широко открыты“ <...>

„А небо, южное небо, совершенно чисто — ни одной тучки, солнце щедро льет жгучие лучи“...»

Рассказ завершается следующим пояснением: «Поправку к рассказу Алексея Максимовича внес Великий Октябрь. Если бы Алексей Максимович проходил по Кандыбину не в 1891 году, а в 1926-м, когда впервые в Кандыбине пришел трактор, он видел бы и описал бы именно то, что описано здесь. Только, разумеется, неизмеримо лучше».

Вслед за этим опубликовано факсимильно воспроизведенное «Примечание Алексея Максимовича Горького», помеченное 3 марта 1935 г.:

«Прочитал Горький этот рассказ в рукописи и завистливо сказал сам себе:

— Эх, Максимыч, побывать бы тебе еще разок в Кандыбове, полюбоваться на людей, пожать могучие их руки!

Но — староват Горький, слабоват стал. И может только заочно приветствовать новых людей удивительной родины нашей.

М. Горький»<sup>1</sup>

В газете опубликовано письмо Горькому кандыбинских колхозниц:

«Нашему первому заступнику.

Дорогой наш, любимый Алексей Максимович!

Пишут тебе, нашему родному, колхозницы села Кандыбина. <...> 44 года назад ты видел, как Гайчепко Сильвестр зверски издевался над своей женой Горпыной, и впервые прозвучало тогда в селе Кандыбине смелое слово в защиту женщины-рабыни. То было твое слово, родной наш Алексей Максимович.

---

<sup>1</sup> В Архиве А. М. Горького хранится машинопись названного рассказа с поправками Горького; на последней странице — автограф «Примечания» (ХПГ-43-4-2).

Сильвестр Гаиченко был не один. Издеваться над женщинами было делом обычным. Били, привязывали к лошадиному хвосту, отрезывали косы... Только Великий Октябрь, коммунистическая партия и советская власть прекратили наш позор и страдания, дав нам полное равноправие <...> Посмотрел бы ты, какими мы стали!

<...> Мы хотим вычеркнуть из памяти ненавистное название Кандыбино по имени какого-то самодура-генерала. Разреши нам просить о переименовании нашего села в село Пешково, в честь родного нашего первого борца за раскрепощение женщины. Колхоз же Кандыбинский разреши нам просить назвать именем Горького».

Напечатаны также в этом номере «Крестьянской газеты» письма Горькому кандыбинских колхозников и пионеров.

Очерк Горького, его «Примечание» и некоторые другие из этих материалов перепечатаны в «Правде», 1935, № 66, 8 марта.

О том, как создавался специальный номер «Крестьянской газеты», подробно рассказано в статье Т. Новиковой «Село Кандыбино, ныне Пешково».

«Как-то вечером, в феврале 1934 года, — вспоминала Т. Новикова, — на даче у Алексея Максимовича за чайным столом завязалась беседа о женщине. Начала этот разговор гостья Алексея Максимовича — Анна Мошкарлова, колхозница из „Красного пахаря“ Кирсановского района Воронежской области.

<...> Попыхивая неугасаемой папиросой, внимательно слушал Алексей Максимович гостью, расспрашивал о подробностях — он бывал когда-то в Кирсановском уезде.

— Это хорошо, что женщина научилась стоять за себя, — сказал он. — Вас всегда раньше затирали. Особенно попы, церковники <...>

Алексей Максимович слегка усмехнулся:

— Однажды я за женщину крепко пострадал. Точнее — побил меня. Да как побил — и сейчас помню. А было это очень давно <...> Этот случай я потом в рассказе „Вывод“ описал. <...> Заглянуть бы теперь в это село. Как там живут? Каковы женщины? Может, та женщина жива еще...

<...> Мы ехали в Кандыбовку, руководствуясь воспоминаниями Алексея Максимовича: „недалеко, верст двадцать от Николаева, на тракте, на краю села — церковь. У самой дороги — корчма. Под корчмой, внизу, источник, бьющий фонтаном...“

И мы нашли Кандыбовку. Всё было так, как указано: двадцать пять километров от Николаева, на тракте. На краю села — церковь. Только была она без креста и колокольни, с надписью у входа: „Клуб“. У самой дороги чернели развалины корчмы. А под горой — источник, бьющий фонтаном. Одна лишь неточность была в адресе: село звалось не Кандыбовка, а Кандыбино. Но это было то самое село.

<...> Беседа состоялась вечером. Народу собралось много.

<...> Стояла напряженная тишина. В первых рядах — беспощадные свидетели — старики: плечистый и еще могучий кузнец Константин Васильевич Сохань, почти столетний дед Ничипор

Гедерим, Евдокия Спиридоновна Апостолова, Ульяна Бондарь, Константин Иванович Кальтя...

Голова сельрады — председатель сельсовета Теплов только что зачитал рассказ „Вывод“. Он долго не находит подходящих слов. Машет рукой и коротко говорит:

— Старики! Было такое время в Кандыбине?

Старики молчат<...> Десятки глаз смотрят на них выжидательно, требовательно. Первый подымает голову Константин Иванович Кальтя:

— Было.

И густо краснеет.

— Це Гайченко Сильвестр мордовал свою Горпыну-жинку. Я тогда хлопцем молодым был. Гнал он Горпыну, помню, кнутом. Сам стоит на повозке, а бабу привязал за шею. Стегал то коняку, то ее. А на ней от платья одни лохмотья остались, голая она. Он ее бьет, а мы за повозкой бежим — нам интересно, что мужик бабу бьет. Потом вижу — на пригорке русявый человек с усами, в белой рубахе, в соломенной шляпе. Корзиночка, помню, у него была, палку в руке держал. И вот бросает человек корзиночку наземь.

<...> Воспоминаниям в тот вечер, казалось, не будет конца. Говорила и старая Ульяна Бондарь и комсомолка Оля Турманенко. С нежностью и любовью говорили о человеке, ставшем роднее родного.

Удивительно хорошо, сердечно прошел следующий день. Колхозницы и несколько колхозников свели нас к небольшой приземистой хатке, где жила и умерла несчастная Горпына, здесь же „подох“, как они выразились, и Сильвестр Гайченко.

<...> Взволнованный, сидел Алексей Максимович над нашими рукописями о новом Кандыбине. Алексей Максимович с восторгом принимал поправки к старому своему рассказу „Вывод“, сверял рассказ с нашими рукописями <...>

Дав полное согласие на печатание собранного в Кандыбине материала, Алексей Максимович взял на себя и редактирование номера „Крестьянской газеты“, в котором печатались материалы о Кандыбине. И сколько страниц ожило, заиграло от легкого прикосновения замечательного пера к рукописям!

Так был рожден праздничный женский мартовский номер „Крестьянской газеты“ в 1935 году» («Колхозник», 1937, № 6, стр. 58—65).

Дружба Горького с колхозницами села Кандыбино с тех пор не прекращалась. От имени колхозниц Горькому писала Домна Ивановна Задвицкая. Колхозницы приглашали писателя в гости на торжество в связи с предстоящим переименованием села Кандыбино в село Пешково (переименовано осенью 1936 г.). А когда пришла скорбная весть о кончине Горького, Д. И. Задвицкая и Екатерина Дачич были посланы делегатами в Москву, чтобы возложить венок на его могилу от села Кандыбино. Рассказ об этом Д. И. Задвицкой см. в книге: «Пушкин, Шевченко, Горький в народных пересказах. Записав Дм. Косарик». Київ, «Мистецтво», 1937, стр. 78.

Очерк «Вывод» неоднократно правился автором (см. варианты).

Критика отзывалась на очерк после появления его в собрании сочинений писателя. Для Н. К. Михайловского он был поводом пересмотреть свой взгляд на идейные истоки творчества Горького. Если раньше, усматривая в произведениях Горького влияние Ницше, критик писал: «Кто как не ницшевские прирожденные господа этот Челкаш в противоположность рабу Гавриле, Сокол в противоположность Ужу, Кузька Косяк в противоположность мельнику, Данко в противоположность всему табору <...>» («Русское богатство», 1898, № 10, стр. 86), то теперь, споря с М. Неведомским (М. П. Миклашевским), автором предисловия к русскому переводу книги Анри Лихтенберже «Философия Ницше» (СПб., 1901), он отводит от Горького обвинение в ницшеанстве:

«Ницше <...>, — говорит г. Неведомский, — очень часто высказывался в том смысле, что распутная сила негодяя привлекательнее и выше сократовской посредственности <...> Горького <...> г. Неведомский называет „самородком-ницшеанцем“ (...). У г. Горького есть страшная страничка с натуры, озаглавленная „Вывод“: мужик наказывает жену за измену, наказывает безжалостно, всенародно и ко всеобщему удовольствию публики, ибо таков местный (в Херсонской губ.) обычай. Истязующий жену мужик опирается на двоякую силу: свою физическую силу и силу общественного мнения, с точки зрения которого такая расправа морально правильна, но автор рассказывает о ней с негодованием: с его точки зрения это сильно, но не морально» («Русское богатство», 1903, № 4, стр. 77—80).

## НА ПЛОТАХ

(Стр. 61)

Впервые, с подзаголовком «Картина», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 71, 2 апреля.

В Архиве А. М. Горького хранится текст рассказа  $Z_{ч10}$  с авторской правкой чернилами для *К*. Дата под заголовком «1896» исправлена рукой Горького на «1895». Его же рукой написан подзаголовок «Пасхальный рассказ» (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту *К* с исправлениями:

Стр. 62, строка 25: «огненных глаз» вместо «огромных глаз» (по *ПТ*, *ДЧ*<sub>1-2</sub>, *Зч*<sub>1-9</sub>).

Стр. 66, строка 2: «чернея» вместо «черные» (по смыслу).

Рассказ написан в конце марта 1895 г. для пасхального номера «Самарской газеты»<sup>1</sup>. В марте 1895 г. редакция поручила Горькому заказать В. Г. Короленко пасхальный рассказ. 22 марта

---

<sup>1</sup> Горький в письме к Д. Д. Протопопову ошибочно датировал рассказ 1896 г. (*Архив Г VII*, стр. 14).

Короленко ответил: «К сожалению, к пасхе тоже прислать ничего не могу, хотя и очень желал бы. Но теперь я сильно занят уже начатыми работами и вообще пасхальных рассказов давно как-то не писал» (*Г и Короленко*, стр. 29). Ввиду создавшегося отчаянного положения редакция газеты поручила Горькому срочно написать рассказ. В воскресенье, 2 апреля, «пасхальный» рассказ «На плотях» был напечатан.

Сохранилось свидетельство А. А. Смирнова (А. Треплева), самарского знакомого Горького: «Однажды, придя к Алексею Максимовичу утром, я увидел груду листов. Всю ночь он писал. К утру рассказ был готов: „На плотях“ — одна из лучших его вещей» (*В С*, стр. 100).

В декабре 1897 г. Горький послал рассказ В. А. Поссе в числе других, напечатанных в столичной и провинциальной прессе. Шел разговор об издании их отдельной книгой. Поссе обратился к издателям О. Н. Поповой, А. М. Калмыковой и М. Н. Семенову, но получил отказ.

В 1898 г. Горький намеревался выпустить «На плотях» отдельным дешевым изданием для народа, но 25 января 1898 г. Петербургский цензурный комитет не позволил «к отдельному напечатанию очерки „Коновалов“, „На плотях“ и рассказ „Мальва“» (*ЛЖТ*, стр. 223). 15 декабря 1898 г. С. П. Дороватовский писал Горькому: «Извещают: цензура запретила для народных изданий „Челкаша“, „Мальву“, „На плотях“, об остальных — пока еще ничего не известно» (Архив А. М. Горького, КГ-п-26-9-16).

Для ДЧ<sub>1</sub> автор тщательно выправил газетный текст, сняв подзаголовок рассказа. Затем рассказ последовательно правился Горьким для ДЧ<sub>2</sub>, Зн<sub>4</sub>, Грж и К (см. варианты).

В критике рассказ получил противоречивую оценку. 6/7 января 1899 г. А. П. Чехов писал: «Ваши лучшие вещи „В степи“ и „На плотях“ <...> Это превосходные вещи, образцовые, в них виден художник, прошедший очень хорошую школу. Не думаю, что я ошибаюсь. Единственный недостаток — нет сдержанности, нет грации» (*Г и Чехов*, стр. 30). В другом письме он заметил, что «несдержанность чувствуется и в изображениях женщины („Мальва“, „На плотях“) и любовных сцен» (там же, стр. 27).

В начале января 1900 г. Горький советовался с Чеховым об издании отдельной книжки своих «хороших рассказов», называя среди них «На плотях» (там же, стр. 62).

Рассказ пронизан могучим чувством оптимизма. Сила — воплощение жизненных сил, действительности, здоровья и сильного чувства — стоит в ряду таких горьковских героев, как Челкаш, Мальва и др. Его сын Митрий начинает галерею вырастающих представителей имущего класса. В рассказе намечена тема, которая затем разрабатывалась Горьким во многих произведениях, в том числе в «Фоме Гордееве» и «Деле Артамоновых».

М. О. Меньшиков в статье «Красивый цинизм» осудил писателя за любовь к земным радостям, искание человеческого счастья, за враждебность христианскому аскетизму («Книжки „Недели“, 1900, № 9, стр. 237). Реакционного критика больше всего возмущало, что Силан — это «совершенно Сокол с „жаждой свободы, света“» (там же, стр. 236).

Взгляд Меньшикова разделял критик из «Московских ведомостей». «Содержание рассказа, — писал он в статье „Гоголь и Горький“, — грязное <...> к рассказу белыми нитками пришита известная тенденция, почерпнутая из модного ныне учения Фридриха Ницше о сверхчеловеке, стоящем по ту сторону требований общепринятой морали и предписаний нравственного закона. Таким сверхчеловеком выставлен Силан Петров...» («Московские ведомости», 1902, № 55, 24 февраля). Еще грубее отзыв В. О. Ключевского. По его мнению, Горький пишет для слоя «низменных людей»: «...в их неразвитых и небрезгливых вкусах блестят талант и такие его произведения, как sloхачество „На плотах“ и „Дно“ всякие мерзостей с подкладкой нищенства, политиканства и т. п.» («У Троицы в академии, 1814—1914». М., 1914, стр. 692).

Н. Минский (Н. М. Вилепкин) обвинял писателя в мелодраматизме, преувеличенных и крикливости. Отнеся Силана к представителям стихийной силы, Минский представил Митрия бесильным носителем нравственного начала; «...ряса митриевой святости на глазах читателя разлетается в куски, а под нею открываются лохмотья слабости и безволия». В итоге критик сделал вывод: «Нужно сознаться, что в нашей литературе, насквозь пропитанной учением о любви и добре, такая яркая проповедь права сильного является довольно новой и рискованной» («Новости и биржевая газета», 1898, № 138, 21 мая).

В статье «Тоскующий талант» А. Басаргин (А. И. Введенский) сравнивал рассказ «На плотах» с «Мальвой», где тоже показан «протест против подавления чисто духовных интересов грубо житейским, различным вседневным хламом». Басаргин уловил в словах Митрия тоску, стремление «уйти из мира», что являлось общей чертой всех босяков у Горького. «Наши „босяки“, — заключал он, — это, так сказать, сбившиеся с пути или, точнее, не познавшие своего истинного пути люди; они близки к идеалу «опрощенного человека», которого в последние годы рисует Л. Толстой, ибо «там и здесь то же стремление уйти из данного строя жизни, поставить себя „вне закона“, — та же „пассивная апархия“ и с тою же ярко выраженной мистическою окраской» («Московские ведомости», 1898, № 286, 17 октября).

Ф. Д. Батюшков, высоко оценивая рассказ в целом, заострил внимание на вопросе о sloхачестве. «Именно в силу исключительности выставленных обстоятельств, вопрос получает как бы роковое неразрешимое значение», — писал он. Комментируя рассуждения Митрия, Батюшков обобщил: «Разве это не то чистое понимание христианства, как учения „не от мира сего“, которое присуще и народным обработкам легенды об „Алексее, человеке божьем“, несомненно живо в народе, и в высшем литературном

проявления сказались в образе Алеши Карамазова? Митрий — трогателен и умиляет» («Космополис», 1898, № 11, стр. 111—112).

Аналогию с ницшеанским сверхчеловеком усматривал в образе Силана Е. А. Ляцкий. Назвав Силана «сытым шальным самцом», критик причислил его к особым героям «силы и смелости, вернее наглости». Ляцкий писал, что народ у Горького — хищный и отверженный, «озлобленный бессмысленной злобой голодного волка...» («Вестник Европы», 1901, № 11, стр. 286, 292). Имея в виду «На плотях» и другие рассказы Горького, Ляцкий обвинил писателя в том, что он ввел с собой в литературу «целую армию таких же отверженных, по притом отверженных бесповоротно, — воров, убийц, профессиональных разбойников и грабителей, развратников, неисправимых пьяниц, отъявленных наглецов, и не только не выразил при этом чувства брезгливости или отвращения, но с увлекательной художественностью, даже с упоением начал рассказывать о той грязи, в которой они живут...» (там же, стр. 286).

Резко полемизируя с Ляцким, В. В. Воровский издевался над либеральным критиком, который устроил «публичный суд» над Горьким (см. в этом томе примечания к рассказу «Однажды осенью»). Ранние рассказы Горького Воровский оценил очень высоко. Он писал: «Обаяние этих рассказов, дышавших свежестью весны, усиленное еще исключительными обстоятельствами жизни автора, завоевало для него прочные симпатии читающей публики и поставило его наряду с первоклассными литературными силами современности» (*Воровский*, стр. 49).

Большинство критиков, независимо от их взглядов, сходилось в высокой оценке художественных достоинств произведения, его композиционной цельности. «Что касается рассказа „На плотях“, — писал А. В. Амфитеатров, — этот chef d'oeuvre изящного слова можно смело приложить в триумvirат к чеховской „Степи“ и „Река играет“ В. Г. Короленко» («Новое время», 1898, № 7989, 27 мая). Амфитеатров первый обратил внимание на особенности изображения народа в этом рассказе Горького. «М. Горький, — писал он, — обнаруживает не только изощренную способность проникать в глубь народной психологии, но и редкое умение находить в ней моменты в высшей степени оригинальные, мотивы, не затронутые до него художественным творчеством...» Рассказ «На плотях» позволил Амфитеатрову сделать вывод, что Горький — «поэт народа, стоящего на пороге от мрака к свету, заблудившегося в сумерках и бродящего в них, хотя с мучительною тревогою, но не без надежды найти когда-нибудь светлый день» (там же).

К 1905 г. относится первая инсценировка рассказа. Он шел на сцене казанского драматического театра в сезоны 1905—1906 гг. Вторая инсценировка рассказа была сделана уже в годы советской власти В. И. Лазаревым в Рабочей студии им. М. Горького. В 1919 г. там были поставлены «Дружки», «На плотях», «Товарищи», «О Чиже, который лгал, и о Дятле — любителе истины» (Протокол беседы научной сотрудницы Архива А. М. Горького

Ф. Н. Радзиловской с бывшей артисткой студии им. М. Горького А. П. Петровой 27 сентября 1948 г. Архив А. М. Горького, МоГ-11-14-1).

Стр. 67. ...там иные люди, живы души их во Христе...— Имеются в виду сектанты.

## ДЕЛО С ЗАСТЕЖКАМИ

(Стр. 74)

Впервые, под заглавием «История с застешками (Картинка из быта босяков)», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 139, 2 июля, и № 143, 7 июля.

В Архиве А. М. Горького сохранился текст рассказа — *Зн<sub>10</sub>* с авторской правкой для *К*.

Дата в подзаголовке «1896» исправлена автором на «1895» (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту *К* со следующими исправлениями:

Стр. 77, строка 23: «венец за венцом» вместо «венец пад венцом» (по смыслу).

Стр. 77, строка 39: «слово этакое» вместо «словно этакое» (по *ПТ*, *ДЧ<sub>1-2</sub>*, *Зн<sub>1-3</sub>*).

Стр. 80, строки 3—4: «на всякое нечестие» вместо «на всякое несчастье» (по *ДЧ<sub>1-2</sub>*, *Зн<sub>1-3</sub>*, *ДБЗ*).

Стр. 80, строка 27: «раздумчиво произнес» вместо «задумчиво произнес» (по *ПТ*, *ДЧ<sub>1-2</sub>*, *Зн<sub>1</sub>*).

Стр. 81, строка 37: «попросил Мишка» вместо «спросил Мишка» (по *ПТ* и *ДЧ<sub>1-2</sub>*).

Рассказ написан в Самаре в 1895 г. Во всех изданиях «Знания» ошибочно датировался 1896 годом. На автобиографический характер рассказа указывал сам Горький в письме В. Ф. Боцяновскому (см. том I наст. изд.— примечания к рассказу «Мой спутник»).

В Архиве А. М. Горького хранится письмо автору (от 28 февраля 1935 г.) из Наркомсобеса Татарской АССР: «В Татнаркомсобес обратился с просьбой о назначении пенсии гр. д. Каргуза, В. Услонского р-на, Макаров Семен Кириллович, объясняя тем, что он в дореволюционное время работал с Вами в гор. Казани, и <...> предъявил Ваше сочинение <...> рассказ под заглавием „Дело с застешками“, 1896 года, где фигурирует „Семка Каргуза“. ТНКСО просит Вас подтвердить правильность факта...» (Архив А. М. Горького, КГ-коу-3-38-1).

Указание на то, что событие, изображенное в рассказе, произошло в Казани, подтверждается имеющимся в тексте первых публикаций обозначением места действия буквой «К». По-видимому, дело происходило летом 1885 г.,— в первой публикации рассказа содержится фраза: «Я тоже мечтал, ибо в ту пору мне было семнадцать лет...»

После первой публикации Горький неоднократно редактировал рассказ. Первая правка была предпринята в связи с подготовкой ДЧ<sub>1</sub>. Она касалась не только стилистики, но и содержания рассказа. Горький изменил заглавие и снял подзаголовок. Еще большей правке Горький подверг рассказ, редактируя его для Эп<sub>4</sub>. Среди наиболее существенных изменений надо отметить исключение куска с характеристикой двух основных героев рассказа (после слов «чем-либо поживиться» на стр. 74, строка 29):

«В свободное от занятий время, — а его было всегда больше, чем нам требовалось, — мы мечтали.

Семка, самый старший и положительный человек из нас, коренастый пензляк, бывший огородник, волею судьбы совершенно сившийся и с год тому назад, по пути в Нижний на ярмарку, где он надеялся каким-то образом „поправиться“, застрявший в К., — Семка, озлобленный скептик, мечтал определенно и ясно. Он хотел немногого:

— Эх ты, мать твою поймать да за отца замуж отдать! — говорил он, бывало, когда мы, положив наши пустые животы на землю, растягивались где-нибудь в тени за городом и пытались осветить наше будущее, полегоньку, но настойчиво заглядывая в его мрак. — Ежели бы махнуть в Сибирь! Я бы там нашел свою дорогу. Встрел бы хорошего человека и сейчас к нему в науку... Друг, мол, ты милый, возьми в долю свою! Тюрьма вместе и сума пополам. Оборудовали бы мы с ним после того дватри дельца... и я бы, значит, был покоен... в-да...

— Зачем же непременно в Сибирь идти нужно? — спросил я его как-то раз.

— Зачем? Там, брат, настоящий фатовый народ и есть... Много его... легко найти... А здесь... здесь ни в жисть не встретишь хорошего человека... А ежели в одиночку взяться... даром пропадешь — навыку нет... рука не набита...

Мишка не умел мечтать вслух, но не было ни малейшего сомнения, что он упорно и много мечтает про себя. Стоило только взглянуть в его добрейшие синие глаза, всегда устремленные куда-то вдаль, и увидеть тихую, пьяную улыбку, постоянно шевелившую его густые усы и бороду, постоянно вмещающую в себе разные предметы, не имевшие с ней ничего общего, вроде птичьих перьев, соломы, стружек, крошек хлеба, яичных скорлуп и т. п., — стоило раз взглянуть в его простецкое открытое лицо, чтоб сразу увидеть в нем, Мишке, типичнейшего мечтателя-мужика, [излюбленный персонаж писателей-народников, так много говоривших о нем и позабывших рассказать, как он, этот тип, вымирает постепенно, отравляемый суровой жизнью, которая никогда не благоволила мечтателям, нимало не нуждается в них и всегда предпочитает здоровые руки слабой голове].

Я тоже мечтал... но направление моих мечтаний и по сей день интересно только для меня одного...»

Можно предположить, что этот текст был «принесен в жертву» компактности и стройности рассказа.

В прямые скобки в этом отрывке взят текст, который был ключеп Горьким еще раньше, при подготовке ДЧ<sub>2</sub>. Этот вычерк автор сделал, посчитавшись с мнением Н. К. Михайловского, который после выхода ДЧ<sub>1</sub> писал: «Кого бы ни разумел здесь почтенный автор под писателями-народниками, — вообще ли писателей, черпавших свои темы из народного быта и с особенным интересом приглядывавшихся к мужицкой жизни, или же народников, так сказать, принципиальных, идеализировавших мужика и „устои“ его жизни, — он во всяком случае неправ; фактически неправ, утверждая, что писатели эти позабыли рассказать, как вымирает „мечтатель“» («Русское богатство», 1898, № 9, стр. 65).

Редактирование рассказа в 1922 г., при подготовке его для К, носило в основном стилистический характер (см. варианты).

Критика 90-х годов «Дела с застёжками» касалась мало. В статьях, в которых всё же упоминался рассказ, он характеризовался лишь слегка и поверхностно. Так И-т (И. Н. Игнатов) в статье «Новости литературы и журналистики» отметил, что в душе героя рассказа, босяка Мики, «властно поднимаются нравственные требования». «Воруя, пьянствуя и развратничая, он так же, как и Мальва, ищет „слово для души“ в книгах...» («Русские ведомости», 1898, № 170, 22 августа).

Игнорирование рассказа критикой, по-видимому, объясняется тем, что он не укладывался в рамки того представления о Горьком — «нищепанце», воспевающем анархический и жестокий мир босячества, апологете грубой силы, — которое утверждалось буржуазной и отчасти народнической критикой.

Смысл этого и некоторых других рассказов, их значение в творчестве Горького впервые глубоко вскрыл В. В. Воровский.

«...было бы ошибкой, и мы получили бы неправильное представление о психологическом облике автора, — писал он, — если бы подумали, что только те черты, которые выражают силу, гордость, смелость, презрение и ненависть к мещанскому благополучию, одним словом, черты мощных хищников, дороги ему и только их умест он находить в среде своих героев-босяков. Напротив, эти черты вскрывает он, так сказать, по побуждениям объективного, общественного характера, его же субъективные, интимные симпатии тянут его к другим психологическим чертам: именно к проявлениям доброты, альтруизма, мягкости, гуманистичности. Ибо М. Горький до мозга костей гуманист.

С какой любовью отмечает он благородные, гуманные черты у своих отверженных. Возьмите, например, его отношение к Емельяну Пилюю <...> Вспомните трогательный рассказ „Однажды осенью“ или „Дело с застёжками“ <...>

Если вы распределите на две серии рассказы М. Горького: с одной стороны — те, в которых преобладает гордое, дерзкое, смелое, с другой — те, где изображено доброе, мягкое, человеческое, — только тогда вы получите ясное впечатление о самом авторе. В авторской психологии явно преобладают эти гуманные черты, и если их так плохо подметила читающая интеллигенция,

Увлечаясь „демоничностью“ босяков, то это потому, что они слишком близки и знакомы ей, а те, другие, слишком заманчиво новы и ярки (<...> Эта жизненная мораль гораздо роднее М. Горькому, чем та вычурная, полубутафорская, антиобщественная мораль Челкашей, которой так увлекались наши доморожденные сверхчеловеки и которую пытались они навязать автору» (*Воровский*, стр. 259).

Рассказ «Дело с застегками» послужил основой для фильма, выпущенного на экран 4 мая 1929 г. Режиссер-постановщик фильма А. Хохлова в процессе работы, как она рассказывает, имела беседу с Горьким. «В ней он указал на ряд характерных бытовых деталей для инсценировки его вещей и разрешил мне работать над постановкой его рассказов» («Кино», 1932, № 44, 24 сентября). В сентябре 1928 г. Совкино получило от Горького письмо, факсимильно воспроизведенное в журнале «Пролетарское кино» (1932, № 19-20, стр. 25):

«В Совкино.

Уважаемые товарищи —

против инсценировки рассказа моего „Дело с застегками“ — не возражаю. Говорю о сценарии Хохловой.

15/IX—28, Москва»

П. А. Бляхин в статье «Горький и кино» писал о фильме: «Фильма режиссера Хохловой „Дело с застегками“ является самой маленькой по метражу и может быть названа художественным эскизом. Но именно она подошла к экранизации произведения Горького с наибольшей бережностью, оставив почти неизменным основной образ героя — босяка „синеглазого Мишки“, который дан с налетом некоторой романтики первого периода в творчестве писателя» («Советское искусство», 1932, № 43, 21 сентября).

Стр. 74. ...«Уложением о наказаниях...» — Имеется в виду «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями», изданный в 1864 г.

Стр. 79. «Павел, раб Иисуса Христа...» — Цитата из «Послания к римлянам святого апостола Павла», гл. 1, стих 1. Далее цитируются гл. 1, стихи 11, 12, 18, и гл. 2, стихи 1 и 3 этого же произведения.

## ХАН И ЕГО СЫН

(Стр. 86)

Впервые, с подзаголовком «Крымская легенда», напечатано в «Нижегородском листке», 1896, № 148, 31 мая.

В Архиве А. М. Горького хранится печатный текст *Зн<sub>10</sub>* с небольшой авторской правкой для *К*. Дата в подзаголовке рассказа «1896» исправлена Горьким на «1895» (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту *К*.

В основе рассказа «Хан и его сын» — старая крымская легенда. По словам С. Г. Скитальца, Горький «признался, что известный его фантастический рассказ-поэма „Хан и его сын“ сделан им из песни, которую он слышал на Кавказе от бродячих базарных певцов; кто-то не поленился ему перевести ее. Он действительно спел нам эту речитативную восточную песню — на татарском языке, известном ему только в рамках этой песни» (С. Г. Скиталец. М. Горький. Встречи, «Октябрь», 1937, № 2, стр. 153).

В 1900 г., когда шла работа над *Зн*<sub>1</sub>, Горький по памяти неточно датировал рассказ 1897 г. В письме Д. Д. Протопопову «Хан и его сын» значится под № 12 вместе с «Выводом», но ошибочно поставлен после «Коновалова», напечатанного в марте 1897 г. (*Архив Г VII*, стр. 14). В черновике того же письма рассказ датирован 1896 г.

Время создания рассказа помогает установить письмо Горького Е. П. Пешковой от 26 мая 1896 г.: «Мои фельетоны идут в „Листке“ почти каждый день, но в них очень мало интересного. На днях пойдет легенда „Хан и его сын“, я вышлю ее тебе» (*Архив Г V*, стр. 24).

Включая рассказ в *Зн*<sub>1</sub>, Горький не правил газетный текст. В середине февраля 1900 г. он писал Д. Д. Протопопову: «„Хана“, „26“, „Вывод“, „Ваську“, я думаю, можно в один том с „Фомой“, а в следующем письме, в ответ на просьбу просмотреть тексты, сообщил: «Просмотреть книги я в данное время — решительно не в состоянии. Я и болен, и страшно занят. Так что — печатайте книжки как они есть, но, пожалуйста, дайте корректуру человеку грамотному» (*Архив Г VII*, стр. 12—13). По сравнению с первопечатным текстом в издании «Знания» есть только три небольших разночтения, снят подзаголовок — «Крымская легенда».

Незначительной была авторская правка рассказа для *Зн*<sub>4</sub> и существенной — свидетельствующей о стремлении Горького к лаконизму, четкости стиля, простоте формы — для *К* (см. варианты).

В 1905 г. царская цензура запретила сборник рассказов Горького, куда входил «Хан и его сын», в переводе на французский язык («L'annonciateur de la tempête» — Paris, 1905, перевод Е. Семенова) (*Г, Материалы*, т. III, стр. 446—447).

Реакционный критик М. О. Меньшиков отнес легенду «Хан и его сын» к числу «беспорно плохих вещей» Горького («Книжки „Недели“, 1900, № 9, стр. 222), назвав среди них рассказы «Макар Чудра», «Старуха Изергиль» и др.

Полемизируя с ним, А. В. Луначарский заметил: «Вначале Горький писал свои картины суриком, ультрамарином, с большим количеством позолоты, но эта гамма красок, эти примитивы, старухи Изергиль, ханы с их сыновьями, красавцы-цыгане и т. п. — всё это, во всяком случае, было ярко и непривычно в сумерках, унаследованных от восьмидесятых годов» (*Луначарский*, т. 2, стр. 144).

Высоко оценил рассказ М. М. Филиппов. Он писал: «У Горького есть небольшие рассказы, удивительно законченные в художественном отношении, так сказать, отточенные — настоящие стихотворения в прозе. Таков, например, рассказ „Хан и его сын“ — эта поэма дикой, непосредственной любви, настоящей сильной страсти...» («Научное обозрение», 1901, № 2, стр. 118).

Один из корреспондентов Горького, И. Ф. Ерофеев, писал: «Помню, как увлекался Вашим Макаром Чудрой, старухой Изергиль и особенно легендой „Хан и его сын“, впечатление от которой удивительно гармонировало в тот год с бурной крымской прибрежной осенью» (Архив А. М. Горького, КГ-уч-5-25-1).

Яркая образность «Хана и его сына» неоднократно привлекала внимание композиторов. Самая ранняя попытка написать оперу на сюжет произведения относится к 1903 г. 7 января А. Н. Корещенко писал Горькому: «Мысль написать оперу на сюжет „Хана и его сына“ крепко засела в моей голове» (там же, КГ-ди-5-17-1). Корещенко просил Горького написать либретто оперы. К письму приложен сценарий: в 4-м действии народ спасает Алгаллу от смерти и уговаривает его стать ханом. Замысел Корещенко не был осуществлен.

В 1908 г. для Ф. И. Шляпинна была написана Раулем Гинзбургом опера «Старый орел» на сюжет «Хана и его сына». 1 октября 1908 г. газета «Волгарь» сообщила, что оперу ставят в Монте-Карло («Волгарь», 1908, № 241, 1 октября). 20 марта 1909 г. Гинзбург писал Горькому об опере: «Вещь очень понравилась публике, и, если верить моему театральному опыту, она будет иметь большой успех. В апреле этого года она будет поставлена на сцене Кельнской оперы, летом — еще в некоторых театрах, а осенью, имею основание думать — пойдет в Париже» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-ф-12-9-1).

Через несколько дней «Нижегородский листок», рассказывая о беседе с Шляпинным, уведомил читателей, что в Монте-Карло Шляпинн выступал в пяти операх, в том числе в роли хана в «Старом орле» Гинзбурга. «Известный успех имела и опера „Старый орел“, написанная на тему известной сказки М. Горького, — сказал Шляпинн корреспонденту газеты. — Успех может быть приписан не музыкальным достоинствам оперы, музыка не первоклассная, — но главным образом либретто, которое написано хорошо. У каждого исполнителя есть выпрыжные моменты — легкие, мелодичные, доступные для широкой публики» («Нижегородский листок», 1909, № 90, 5 апреля).

Позднее к сюжету легенды «Хан и его сын» обращались другие композиторы. 8 июля 1912 г. Генрих Норен писал Горькому: «Ваш рассказ „Хан и его сын“, опубликованный издательством Reclam, возбудил во мне желание написать к нему музыку <...> Думаю написать вещь небольшого объема в одном акте, на текст соответствующего либретто» (Архив А. М. Горького, КГ-ин-г-3-40-1). Примерно тогда же Горький получил письмо от Я. Н. Уралова с просьбой дать ему разрешение на обработку

«Хана и его сына». Отвечая ему, Горький сообщил, что «тема „Хан и его сын“ уже обработана в музыке г. Гинзбургом» (там же, ПГ-рл-46-5-1).

9 ноября 1916 г. Горький послал письмо Н. А. Понову, обратившемуся к нему с подобной же просьбой. Он писал: «Я ничего не имею против Вашего желания сделать из рассказа о „Хане и его сыне“ оперное либретто. С тем вместе считаю пужным известить, что этот сюжет уже использован Раулем Гинзбургом, написавшим оперу „Старый орел“, и испанцем, имя которого я забыл; испанец сделал на эту тему одноактную пьесу» (там же, ПГ-рл-31-13-1).

В годы советской власти к рассказу «Хан и его сын» обратился композитор А. А. Зикс. Он сообщал Горькому: «Я намереваюсь написать музыку к Вашим двум произведениям: 1) „Хан и его сын“. 2) „Мальва“. Недостает еще сюжета для третьего произведения (Вашего, конечно), чтобы получить цикл трех одноактных опер» (там же, КГ-ди-4-14-1).

Стр. 86. *Арбутус* — земляничное дерево.

## ТОВАРИЩИ

(Стр. 93)

Впервые, под заглавием «Старые товарищи (Эпизод)», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1897, № 5, 6 января, и № 7, 8 января.

В Архиве А. М. Горького сохранились вырезки из газеты «Нижегородский листок», 1897, № 7, с авторской правкой (ХПГ-46-21-1) и текст  $Зн_{10}$ , подготовленный для *K*, содержащий значительную авторскую правку чернилами и снятым карандашом (ХПГ-44-12-1). Рукой Горького дата «1896» исправлена на «1895».

Печатается по тексту *K* со следующими исправлениями:

Стр. 93, строки 30—31: «подозрительно, насмешливо, с презрением» вместо «подозрительно, с презрением» (по *ПТ*, ДЧ<sub>1-2</sub>,  $Зн_{1-9}$ ).

Стр. 98, строка 1: «норовят» вместо «говорят» (по *ПТ*).

Стр. 100, строка 17: «ел споро» вместо «ел скоро» (по *ПТ*).

Стр. 105, строка 31: «потряс» вместо «протряс» (по *ПТ*, ДЧ<sub>1-2</sub>,  $Зн_{1-9}$ ).

Автор трижды редактировал текст рассказа. Во всех случаях правка носила преимущественно стилистический характер. При первом редактировании Горький изменил заглавие рассказа, назвав его просто «Товарищи», и снял подзаголовок. Образы главных героев не испытали существенных изменений, автор исключил лишь некоторые черты в их характеристике (см. варианты).

В конце 1897 или начале 1898 г. Горький писал В. С. Мирлобову в связи с намеченным изданием демократического «Журнала для всех»: «Разумеется, печатайте „Челкаша“, если полагаете, что он подходящий для публики, на которую Вы рассчитываете. И еще я Вам, Виктор Сергеевич, показал бы рассказы „Шабры“, напечатанный в октябре в „Нижегородском листке“, и рассказ „Ефимушка“ (там же, тогда же). Я скоро перееду жить в Нижний и оттуда вышлю Вам эти штуки. Их очень хвалили извозчики, а также и интеллигенция» (Г-30, т. 28, стр. 20).

Рассказ не был, однако, опубликован в «Журнале для всех». При подготовке 3<sub>н1</sub> Горький писал в феврале 1900 г. Д. Д. Протопопову, готовившему это издание: «„Старых товарищей“ пришлите мне, — я не помню, что это такое» (Архив ГЧП, стр. 12).

Редактируя в 1902 г. свои произведения для 3<sub>н4</sub>, Горький писал К. П. Пятницкому: «Кроме „Читателя“, очень противное впечатление оставляет первая часть „Проходимца“, и совершенно никуда не годятся „Товарищи“ и „Васька Красный“. С величайшим наслаждением я выдрал бы эти гнилые зубы из моих челюстей». При этом Горький спрашивал: «Скажите, — могу я, имею право сделать это, не вызывая у читателя убеждения в том, что я его обкрадываю?» (Г-30, т. 28, стр. 248).

Иную оценку рассказу давал автор позднее. В 1907—1913 гг. к Горькому обратился фабричный ученик Сергей Клейн с письмом, в котором рассказал о трудностях своей жизни одинокого мальчика, о намерении прийти пешком к Горькому в Италию (Архив А. М. Горького, КГ-рл-7-55-1). В ответном письме Горький разъяснил Клейну неосуществимость его плана и советовал ему узнать Россию — страну, где много интересного и красивого, а также советовал ему читать. «Книги, — писал Горький, — Вам очень помогут жить, они хорошие друзья, что я испытал на себе» (там же, ПГ-рл-18-28). К письму Горький приложил записку в контору книгоиздательства «Знание» с просьбой дать Сергею Клейну рассказы: «Песня о Соколе», «Дед Архип и Ленька», «Мой спутник», «Товарищи» и другие — всего десять рассказов. Кроме того, в список были включены рассказы С. Г. Скитальца, Л. Андреева, Н. Д. Телешова и стихотворения И. А. Бунина. Клейн расписался в получении всех этих книг (там же, ПГ-рл-5-93). Таким образом, Горький отнес «Товарищей» к произведениям, чтение которых может помочь человеку жить.

В первые годы после Октябрьской революции несколько рассказов Горького, в их числе «Товарищи», были изданы и поставлены в Рабочей студии им. М. Горького в Москве И. В. Лазаревым.

## ТОСКА

(Стр. 108)

Впервые, с подзаголовком «Странпчка из жизни одного мельника», напечатано в журнале «Новое слово» (СПб.), 1896, № 9, июнь, стр. 168—193, и № 10, июль, стр. 54—74.

В Архиве А. М. Горького хранится текст рассказа —  $З_{H10}$  со значительной авторской правкой для  $K$  (ХПГ-44-11).

Печатается по тексту  $K$  со следующими исправлениями:

*Стр. 112, строка 23:* «громовым басом» вместо «гробовым басом» (по  $ПТ$ ,  $ДЧ_{1-2}$ ,  $З_{H1-9}$ ,  $ДБЗ$ ).

*Стр. 118, строка 10:* «пе сознаваться же в этом» вместо «пе созпаться же в этом» (по тем же источникам).

*Стр. 119, строки 21—22:* «если б мы с тобой» вместо «если мы с тобой» (по  $ПТ$ ).

*Стр. 131, строка 28:* «скрипнул зубами» вместо «скрипнув зубами» (по  $ПТ$ ,  $ДЧ_{1-2}$ ,  $З_{H1-3}$ ).

*Стр. 132, строки 14—15:* «на такой точке стоять» вместо «на точке стоять» (по всем другим источникам).

*Стр. 133, строка 24:* «заботиться о покое» вместо «позаботиться о покое» (по  $ПТ$ ,  $ДЧ_{1-2}$ ,  $З_{H1-9}$ ,  $ДБЗ$ , а также в соответствии с поправкой автора в тексте  $З_{H10}$ ).

*Стр. 142, строки 15—16:* «с молодости нашей потеряли всё» вместо «в молодости нашей потеряли всё» (по  $ПТ$ ,  $ДЧ_{1-2}$ ,  $З_{H1-3}$ ).

*Стр. 143, строка 1:* «подавшись всем корпусом» вместо «подвинувшись всем корпусом» (по тем же источникам).

*Стр. 151, строка 12:* «встретит его и запоет» вместо «встретит его и запоет» (по  $ПТ$ ,  $ДЧ_{1-2}$ ,  $З_{H1-9}$ ,  $ДБЗ$ ).

О завершении работы над рассказом Горький сообщил Е. П. Волжиной в письме от 3 марта 1896 г. «Только что кончил большой рассказ „Тоска“ — очень устала рука и сам устал...» (*Архив ГЧ*, стр. 16).

По-видимому, вскоре же рассказ был отправлен в журнал «Новое слово». В мае того же года из редакции журнала за подписью ее сотрудника критика А. М. Скабичевского пришло сообщение, что рассказ принят. В письме Волжиной от 21 мая 1896 г. Горький писал: «Скабичевский <...> пишет мне, что ему очень понравился мой рассказ „Тоска“, что он скоро будет напечатан и что он желает блестящего развития моему таланту» (там же, стр. 19).

После первой публикации Горький неоднократно правил и редактировал «Тоску», шлифуя стиль и язык рассказа. Первая редакторская правка, преимущественно стилистическая, была сделана им в 1898 г., при подготовке текста для  $ДЧ_1$ .

Более существенной была авторская редакция произведения для  $ДЧ_2$ . Здесь обращают на себя внимание случаи устранения некоторых неточностей и погрешностей стиля, замена необязательных иностранных слов русскими и т. п.

Большую редакторскую работу проделал автор при подготовке «Тоски» для  $З_4$ . Правка была самой разнообразной. Горький

снимает подзаголовок, вычеркивает целые абзацы, убирает даже яркие сами по себе описания, если они психологически не оправданы в данном контексте. Сокращает автор также слишком мудреные для необразованного человека речи безрукого. Так, после восклицания: «Х-хе!» (стр. 142, строка 27) вычеркнут текст: «Рассуждают люди о том, о другом и прочее... глупо-с! Очень глупо! О чем рассуждать, когда существуют законы и силы? И как можно им противиться, ежели у нас все орудия в уме нашем, а он тоже подлежит законам и силам? Вы понимаете? Очень просто. Значит, живи и не кобенься, а то тебя сейчас же разрушит в прах сила, состоящая из собственных твоих свойств и намерений и из движений жизни! Это называется — фи-ло-со-фия-с действительной жизни... Попятно?»

Это сокращение, возможно, было подсказано автору рецензией Н. К. Михайловского на первое издание «Очерков и рассказов». Приведя именно эти слова из речи безрукого, Михайловский писал о Горьком: «Язык его босяков до крайности не характерен, напоминающая собою превосходный язык самого автора, только намеренно и невыдержанно испорченный, и то же можно сказать, по крайней мере отчасти, об их философии <...> босяки Горького безмерно щеголяют красотой речи и философским парением без всяких оправданий...» («Русское богатство», 1898, № 9, стр. 67—68).

Решительно устраивает автор сентенции, уводящие от конкретного повествования. Так, после слов: «А зачем это нужно» (стр. 116, строка 41) он вычеркивает фразу: «Никто из людей не застрахован от наплыва дум, потрясающих привычную им жизнь, и всех одинаково легко может довести до тоски суровый вопрос: „зачем?“».

Наряду с этим, испытывая всё большее стремление к простоте и точности стиля, он освобождает повествование от некоторого налета поверхностной, «романтической» «красивости».

Редактируя текст рассказа «Тоска» для *К*, автор продолжал борьбу за сжатость и точность языка, за реалистическую правдивость картин и образов (см. варианты).

Критика откликнулась на рассказ еще до того, как было закончено печатание его в «Новом слове». В статье «Литературные очерки» рецензент, выступивший под псевдонимом «Старый писатель», отмечал силу и свежесть таланта Горького. Вместе с тем он утверждал: «Глубокие душевные повороты в непосредственных людях из народа, как известно, происходят и происходили совершенно на иной почве и под давлением и влиянием совершенно иных и не столь мимолетных психических стимулов» («Одесские новости», 1896, № 3697, 22 июля). Автор рецензии упрекал писателя в «излишнем и крайнем реализме», но выражал надежду, что «талантливый автор „Челкаша“, вероятно, в будущем легко сумеет справиться с этими недостатками».

Рецензия эта не удовлетворила молодого писателя. В письме Е. П. Волжиной от 25 июля 1896 г. он писал: «Читал сегодня в газетах отзывы о „Тоске“. Лестно, но всё не то, чего мне нужно.

Я могу написать такие вещи, которые поразят, измучают душу читателя. Но пока я не могу серьезно работать — нет времени на это <...> Это горько, Катя, горько и тяжело» (*Архив ГЧ*, стр. 40).

Вскоре о «Тоске» заговорили и в центральной прессе. Автор анонимного отзыва «Журнальные новости» («Русские ведомости», 1896, № 217, 8 августа) утверждал, что рассказ «Тоска» «имеет интерес только в последней части, где изображается состязание певцов в дрянненском трактире». Он сравнил эту часть с «Певцами» Тургенева (аналогия, впоследствии фигурировавшая во многих рецензиях).

Наиболее обстоятельный отзыв о рассказе дал В. А. Поссе. Высоко оценивая художественный талант Горького, Поссе в статье «Журнальное обозрение» писал, что «„Челкаш“ и „Тоска“, подобно произведениям наших лучших писателей: Тургенева, Толстого и др., *врезываются* в память в отличие от многих других новых беллетристических произведений, которые не оставляют глубокого впечатления» («Образование», 1896, № 9, стр. 105). Рецензент отмечал интерес писателя к простым людям, демократизм его героев: «Автор берет людей в сущности обычных, всем знакомых, но умеет их сделать всем интересными, отмечая в их внутреннем и внешнем облике черты, ускользающие от внимания обыкновенного наблюдателя <...> В истасканных, в истерзанных душах общественных отбросов (Безрукого, Тани, Аннушки и др.) автор нашел „пскры божии“, нашел и ум, и зачатки поэтического чувства <...> Он обладает способностью „превращать слух в зрение“, заставлять читателя видеть то, о чем он рассказывает, но еще сильнее развита у него способность передавать ощущения, заставляя чувствовать и *ощущать* именно то, что чувствует и ощущает изображаемое лицо; для этого он прибегает к смелым сравнениям и тонким указаниям на *физические* симптомы, сопровождающие чувствования» (там же, стр. 106). В 1897 г. Горький, набрасывая по просьбе литературоведа и библиографа С. А. Венгерова вехи своей автобиографии, из рецензий на «Тоску», появившихся к тому времени, отметил именно эту рецензию Поссе (*Г-30*, т. 23, стр. 271).

Через два года, после выхода «Очерков и рассказов», Поссе снова обратился к творчеству Горького, в том числе и к анализу «Тоски», в статье «Певец протестующей тоски». Ставя произведения Горького в связь с творчеством Гоголя, Тургенева, Щедрина, Л. Н. Толстого, он сопоставлял «Тоску» с повестью Толстого «Смерть Ивана Ильича». Тоска мельника, в которой «страх смерти смешивается с недовольством, вытекающим из визанного сознания полной пустоты прожитой жизни», по мнению Поссе, «это — та тоска, которая гложет перед смертью толстовского Ивана Ильича» («Образование», 1898, № 11, стр. 50—51). «Иван Ильич — высокопоставленный и образованный чиновник, Тихон Павлович — полуграмотный мельник, по тем не менее основа их тоски, их ноющего и гложущего душу недовольства жизнью — одна и та же. Приближаясь к смерти, они оба тоскуют, что всю жизнь угнетали живую душу мелкими, мертвыми делами» (там же, стр. 51).

Многие критики восприняли «Тоску» в духе той пароднической беллетристики, которая рисовала пробуждение в душе кулака «искры божией». Но рассказ не укладывался в этот готовый трафарет. Беседуя с учителем, мельник не проникся желанным и традиционным для пароднической беллетристики «просвещением», сердце его не смягчилось; «покаянный прилив» вылился в беспабашную попойку. Это вызывало недоумение и ставило в тупик некоторых критиков. А. Басаргин (А. И. Введенский) в статье «Тоскующий талант» писал: «Началось всё как будто ладно, по-должному. Беззаконная купеческая душа ощутила духовный глад, укоры совести и затосковала. А кончилось... кончилось, как часто кончается <...> У Тихона Павловича тоска временная, налетная: тронули — он поднялся из грязи, увидел, что в грязи запачкан, и закручинился, затосковал, а потом опять шлепнулся в грязь и тоска прошла» («Московские ведомости», 1898, № 279, 10 октября). Откровенно выразил свое недовольство концом рассказа критик М. К-ский («Сын отечества», 1896, № 211, 7 августа).

Однако были критики, которые увидели в «Тоске» не поэтизацию покаянного, нравственного порыва, а нечто противоположное. Ставя «Тоску» в один ряд с «Челкашом», «Мальвой» и другими произведениями о босяках и пытаясь найти для них единый морально-философский критерий, они увидели в «Тоске» апофеоз «разгула стихийной страсти», побеждающего «хилую добродетель». Н. Минский (Н. М. Виленкин) в рецензии на «Очерки и рассказы», имея в виду и «Тоску», писал: «Герои этих рассказов не интеллигенты и не мирные мужики, а какие-то темные и беспокойные люди <...> в них бродят слишком большие силы, которым тесно в рамках старых понятий о добре и зле и которым исход только в разгуле кабаков да в просторе степеней <...> Жить, не задумываясь над жизнью, жить в меру не своего разума, а своих сил; любить силу, в чем бы она ни проявлялась, и презирать слабость, под какими бы словами она ни пряталась, — вот идеал героев Горького и, может быть, его самого» («Новости и биржевая газета», 1898, № 138, 21 мая).

Критик А. И. Богдалович утверждал, что в образе Кузьки Косяка отразилась философия жизни самого писателя: «Приволье, свобода, возможность подчиниться только своей воле, идти за нею, отдаваясь своим порывам, — вот цель жизни, сущность ее <...> Эта философия, увлекательная и жизнерадостная, составляет фон большинства очерков г. Горького. <...> старый мельник, по-видимому вполне благополучный, не находит себе места от охватившей его тоски и глубоко завидует своему работнику, который в жизни выше всего ставит „приволье“, т. е. независимость и полную свободу воли <...> он хотел бы отдаться тоже какому-либо сильному чувству, которое всецело охватило бы его, и не может: его душа, разменявшаяся на мелочи в погоне за благополучием, не способна к сильным порывам, не может жить по своей воле, не подчиняясь раз навсегда установленным правилам. Он не в силах „дать себе простор“, и его тоска разрешается диким

разгулом, от которого на душе мельника становится еще тяжелее» («Мир божий», 1898, № 7, стр. 11—12).

Выражением своеобразного сочетания двух изложенных точек зрения на «Тоску» была статья Е. А. Ляцкого «Максим Горький и его рассказы». Он увидел в «Тоске» и некоторых других рассказах борьбу Горького-художника, стремящегося к тому, чтобы «сближать людей между собою, вносить в их смятенные души свет и тепло любви и мира», с Горьким-«босьяком», преклоняющимся перед «силой и дерзостью хищных зверей». «Один М. Горький творил „Кирилку“, поэму „Двадцать шесть и одна“; другой — „Макара Чудру“, „Песню о Соколе“; когда же они работали вместе над одним и тем же рассказом, выходило нечто уродливое и странное, вроде „Старухи Изергиль“ и „Тоски“. Босьяк лишил художника чувства меры <...> подсказывал ненужный, неумеренный цинизм» («Вестник Европы», 1901, № 11, стр. 300). Ляцкий, которому Тихон Павлович импонировал своим «инстинктивным стремлением к свету знания», тем, что заговорила в нем «совесть и стремление к добру», высказывал недовольство по поводу того, что Горький не выразил мельнику своего порицания за учиненный в конце рассказа дикий разгул.

В статье «О М. Горьком» (1902) В. В. Воровский высмеял измышления Ляцкого, его страх перед бунтарством горьковских героев: «...г. Ляцкий <...> вырезал своего рода морально-общественный шаблон, руководствуясь формулой, что для развития нашего „самопросветления“ „нужным и важным деятелем“ является только „писатель-гуманист“ <...>, объяснение же слова „гуманист“ смотри в моральных провисях. Под эту морально-общественную марку г. Ляцкий подводит по очереди всех своих посетителей из „сброда“ г. Горького и тут же сортирует их: подошел — хорошо, становись направо; не подошел — с богом. Благодаря этой сортировке число допущенных в порядочное общество героев г. Горького сошло почти на нет <...> Но и отверженных не оставил г. Ляцкий на произвол судьбы. Он подзывает Коновалова и Тихона (из рассказа „Тоска“). „Инстинктом Коновалов чувствует, — говорит он, — в чем заключается эта „штука“, которой у него, бедного, нет, и он тянется к ней, как утопающий к берегу, еле видимому за туманом. В знании, в грамоте „штука“ эта для всех Коноваловых...“ — восклицает г. Ляцкий, перефразируя известную пословицу об учении-свете из того же сборника прописей. После этого он отпускает всех забракованных, снабдив их на дорогу изданиями „Посредника“. В добрый час, г. Ляцкий, им это хоть на папироски пригодится!» (Воровский, стр. 51—52).

Противоречивость в суждениях о «Тоске» критиков народнического и либерально-буржуазного направления объяснялась, в частности, тем, что, забывая о праве писателя на объективное изображение героя со свойственным ему миром чувств и переживаний, они приписывали самому автору высказывания действующих лиц. Подобные субъективистские тенденции подвергнуты убедительной критике в статье Л. Северова (Л. П. Радина) «Объективизм в искусстве и критике», который писал: «В своем усердии

по части литературного розыска о личности писателя субъективная критика доходит часто положительно до курьезов. Укажу на первый попавшийся под руку пример. Один из героев г. Горького, безрукий рабочий в рассказе „Тоска“, философствует в трактире о том, что такое жизнь. Я не буду приводить его довольно темных и сбивчивых рассуждений на эту тему, по поводу которой ему приходилось, по его собственным словам, много беседовать с умнейшими людьми—студентами и многими священнослужителями церкви. Результатом этих бесед, плохо переваренных, очевидно, скромным героем Горького, и явилась та философия квиетизма, которую он проповедует своему случайному собеседнику в трактире. Психологически эта философия вполне понятна и уместна в устах человека, которому оторвало обе руки машиною, так что и „милостыни-то принять нечем“. Наконец, сам Горький говорит, что его герой бросал свои *отрывистые и туманные фразы*, едва ли понимая значение таинственных слов „законы“ и „силы“. Казалось бы, чего яснее? А вот г. Протопопов высказывает по этому поводу следующее глубокомысленное соображение: „Самый недогадливый читатель сообразит, что в этом, как и во всех других, очень многочисленных случаях, не «босяк» какой-то, а сам автор через его посредство философствует“<sup>1</sup>. Не знаю, быть может, почтенному критику и случалось когда-нибудь признавать свою *собственную философию* „туманной“ и „непонятной для него самого“, но Горький, конечно, в этом неповинен. Неповинен он и в том, что у него, по милости „догадливого“ критика, оказывается сразу несколько философий <...> г. Протопопов в той же статье говорит, что тип босяков Горького — это былинный тип пьяницы, озорника и буяна Васьки Буслаева. Но как же примирить философию квиетизма с „Wille zur Macht“ <„волей к власти“>, потребностью „швырять себя куда хочешь и нестись куда вздумаешь“? И какую из двух прямо противоположных философий самый „недогадливый“ читатель должен признать за философию Горького?“ («Научное обозрение», 1901, № 12, стр. 54—55).

По-разному истолковывая и оценивая рассказ «Тоска», большинство критиков сходились во мнениях об одной сцене рассказа — сцене пения в трактире, отмечая ее высокие художественные достоинства. Н. К. Михайловский писал: «Описание собственно этого пения принадлежит к числу лучших страниц в обоих томах рассказов г. Горького <...> из знакомых мне изображений эффекта пения с этими страницами можно поставить рядом „Певцов“ Тургенева, и за г. Горького не стыдно будет от этого сравнения» («Русское богатство», 1898, № 10, стр. 72). Эту же мысль повторил и Д. Н. Овсяннико-Куликовский, отметив, что изображение «концерта» «можно поставить рядом с классическими у нас страницами Тургенева в „Певцах“» («Вестник воспитания», 1911, № 6, стр. 22).

---

<sup>1</sup> М. Протопопов. Пропадающие силы.— «Русская мысль», 1899, № 5, стр. 155.

Стр. 114. *Ина слава солнцу, ина слава луне...* — Цитата из «Послания первого к коринфянам святого апостола Павла», гл. 15, стих 41.

Стр. 120. *Ухобака* — удалец-краснобай.

Стр. 123. *Не о хлебе едином, сказано в писании...* — Выражение, встречающееся в нескольких местах Библии: Второзаконие (пятая книга Моисея), гл. 8, стих 3; Евангелие от Матфея, гл. 4, стих 4; Евангелие от Луки, гл. 4, стих 4.

Стр. 145. ...«*Лучинушкой*», к примеру, или «*Заходило солнце красное*»... — Имеются в виду протяжные русские народные песни. Текст первой — «*Лучина, лучинушка березовая!*» см.: Сборник песен Самарского края, сост. В. Варенцовым. СПб., 1862, стр. 101—102 (экземпляр этой книги с пометами Горького хранится в его личной библиотеке). Текст песни записан также А. С. Пушкиным (Полное собрание сочинений в десяти томах, т. III, изд. АН СССР, 1949, стр. 450—451). Варианты второй песни «*Закатилось красно солнышко*» и «*Закатилось красно солнце*» — в книге: Великорусские народные песни. Изд. проф. А. И. Соболевским, т. 1. СПб., 1895, стр. 428—430.

Стр. 145. «*Чоботы*», «*Во лугах*» — народные песни плясового характера. Один из вариантов первой см. в названном выше сборнике В. Варенцова, стр. 22. Варианты песни «*Во лугах, во лугах*» — в книге: Великорусские народные песни. Изд. проф. А. И. Соболевским, т. 2. СПб., 1896, стр. 245—252.

Стр. 146. *Эх, да в непогоду-у...* — Первые четыре строки этой песни совпадают с текстом стихотворения А. Кольцова «*В непогоду ветер вост, завывает*».

Стр. 150. ...*играй камаринского!*... — «*Камаринская*» — плясовая русская песня задорного характера о «камаринском мужике». Некоторыми исследователями связывается с Комарницкой волостью, сыгравшей видную роль в крестьянском восстании И. Болотникова.

Стр. 150. «*По улице мостовой*» — плясовая народная песня. См. Великорусские народные песни. Изд. проф. А. И. Соболевским, т. 3. СПб., 1897, стр. 292.

## ДВА БОСЯКА

(Стр. 155)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1894, №№ 212, 217, 219, 222 — с 16 по 30 октября.

Печатается по газетному тексту с редакторской конъектурой и исправлением опечаток: «отеки под глазами» (стр. 161, строки 17—18) вместо «отеки над глазами»; «дивчина» (стр. 167, строка 7) вместо «машина»; «девки» (стр. 170, строка 22) вместо «детки»; «на свою ладонь» (стр. 175, строки 16—17) вместо «на свою лошадь»; «пз Беслана» (стр. 177, строка 8) вместо «в Беслан».

«Два босяка» — первое произведение Горького, помещенное на страницах «Самарской газеты». Очерк привлек внимание читателей. Заведующая конторой газеты Е. С. Иванова в своих воспоминаниях отмечала, что все номера с горьковскими публикациями быстро разошлись (Архив А. М. Горького, МоГ-5-13-1). Она же писала: «Как сейчас вижу этот воскресный номер нашей „Самарской газеты“. На второй полосе, „под чертой“, где обычно помещались дежурные стихи или вырезки из журналов, читателя ждала большая приятная новость — был напечатан свежий, оригинальный материал совершенно нового для самарцев автора — рассказ „Два босяка“ за подписью „Максим Горький“» (сб. «Горький в Самаре», стр. 219). А. Баконина из Самары вспоминала: «Несколько вечеров собирались вокруг этой газеты в нашем доме товарищи мужа и мои подружки. Всё „Босяков“ Горького читали» (там же, стр. 251).

Рассказ автобиографичен, в нем отражены страдания писателя по югу России осенью 1891 г. и воспроизведена картина этого «голодного года».

При жизни автора очерк «Два босяка» не перепечатывался, хотя попытки переиздать его предпринимались. Так, Е. Д. Зогуля в письме к Горькому от 28 марта 1927 г. просил разрешения писателя на публикацию в «Библиотеке „Огонька“» нескольких ранних рассказов, в том числе — «Двух босяков». Он подчеркивал: «...издание Ваших ранних рассказов и очерков чрезвычайно интересно и с литературной, и с автобиографической стороны».

Горький ответил 3 апреля 1927 г.: «По вопросу об издании старых рассказов моих обратитесь, Ефим Давидович, к заведующему делами моими Петру Петровичу Крючкову...» (*Архив ГХ*, кн. 2, стр. 114—115). Однако в этом издании рассказ не появился.

## О МАЛЬЧИКЕ И ДЕВОЧКЕ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАМЕРЗЛИ

(Стр. 181)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1894, № 349, 25 декабря.

Печатается по тексту газеты с исправлением на стр. 185, строка 24: «в брюхо караульщику» вместо: «в брюхо караульчку».

Рассказ написан в конце декабря 1894 г. для рождественского номера газеты. Это — первое произведение Горького, напечатанное в «Нижегородском листке». Рассказ полемически направлен против традиционных «святочных» рассказов, широко распространенных в тогдашней прессе, особенно провинциальной. Характерной чертой таких произведений были, как правило, прямолинейно выраженные мотивы сентиментального гуманизма. Горький высмеивает сочинителей стандартных «рождественских рассказов», неумело подражавших Диккенсу («Рождественские рассказы») или Достоевскому («Мальчик у Христа на елке»). Уже в самом заглавии произведения чувствуется вызов установившемуся литературному трафарету. Одновременно Горький полемизирует и с самой идеей христианского гуманизма, пассивного страдания, явственно выраженной в «святочном» рассказе Достоевского. Дети, изображенные Горьким (особенно Мишка), рано познали «тайны жизни», научились сопротивляться обстоятельствам, и их не так легко «заморозить». Литературный спор перерастает в изображение настоящих ужасов капиталистического мира. Впоследствии в «Рождественских рассказах» Горький развил эту идею, подчеркнув, что нужно изображать реальную жизнь и общественные противоречия, а не выдумывать фальшивые трогательные истории (см. «Нижегородский листок», 1896, № 356, 25 декабря).

## САМОУБИЙСТВО

(Стр. 189)

Впервые, под названием «Столкновение», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1895, №№ 1, 2, 4 — с 1 по 5 января.

Осенью 1898 г., составляя третий том своих «Очерков и рассказов» для ДЧ<sub>1</sub>, Горький отредактировал текст, о чем свидетельствует его письмо к С. П. Дороватовскому (октябрь 1898 г., Г-30, т. 28, стр. 33). Но в апреле 1899 г. написал ему же: «Я не помню, что именно послал Вам для него <III тома>, кажется, там есть „Самоубийство“, — это не надо помещать — пустая вещь» (там же, стр. 72).

В Архиве А. М. Горького хранится вырезка из газеты «Нижегородский листок» с авторской правкой. Газетный текст наклеен на листы линованной писчей бумаги; перед текстом и в начале каждого листа рукой Горького написано новое заглавие — «Самоубийство». Правка — частью на печатном тексте, частью вынес-

сена на писчую бумагу. Рассказ разбит на главки. Последний абзац газетного текста обрезан; вместо него автором от руки написаны заключительные строки, причем окончание рассказа имеет два варианта (один из них, недописанный, был отвергнут Горьким).

Автор внес в текст более пятидесяти стилистических поправок, освобождая рассказ от шаблонных оборотов и эпитетов, случайных, лишних слов, от риторичности и усиливая художественную, образную ткань произведения. В других случаях Горьким сделаны вставки, яснее выражающие мысль (см. варианты).

Печатается по вырезке из газеты «Нижегородский листок», правленной автором (ХПГ-45-9-1), с исправлением опечаток: «вдаль» (стр. 194, строка 6) вместо «вдоль»; «Не думаю» (стр. 200, строка 3) вместо «Но думаю»; «оружье» (стр. 205, строка 17) вместо «орудие». Кроме того, на стр. 196, строки 13—15, во фразе: «А на пороге  $\infty$  весело кричала ему» восстановлено слово «кричала», которое автор, правя рассказ, вычеркнул, но ничем не заменил.

## ДРУЗЬЯ

(Стр. 208)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1895, №№ 13, 17, 20, 23 — с 14 по 24 января.

Печатается по тексту газеты с исправлением опечаток: «вслед за другом» (стр. 216, строка 13) вместо: «вслед за другим»; «Разве и нам Захарыч даст мало...» (стр. 225, строка 19) вместо: «Разве и нам Захарыч дает мало...»

В апреле 1898 г. Горький коренным образом переработал рассказ «Друзья», а вернее написал новый, который появился в «Журнале для всех» под названием «Дружки». Эти два рассказа являются совершенно самостоятельными произведениями. Их объединяют только элементы сюжетного сходства и одинаковые имена главных героев: Пляши-нога и Уповающий.

В основе рассказа — действительные факты. В апреле 1898 г., перерабатывая рассказ, Горький сообщал В. С. Миролубову: «Я потому не убил Уповающего, что он еще жив, но я, пожалуй, убью его, потому что — всё равно он скоро умрет» (Г-30, т. 28, стр. 22). О том же свидетельствует статья А. А. Дробыш-Дробышевского «Мимоходом»: в ней рассказывается о смерти золоторотца, судьба которого разителью напоминает историю Уповающего («Нижегородский листок», 1901, № 345, 17 декабря).

Образы «друзей» даны в стиле ранних горьковских рассказов, развивающих тему босячества. «Друзья» так же страстно презирают собственность и неприязненно относятся к крестьянам, как Челкаш или Емельян Пилляй. Такие рассказы Горького, по словам В. В. Воровского, «дают целую галерею типов, рисующих нам самые разнообразные оттенки босяцкой психологии и довольно ясно выраженную эволюцию вида „босяк“» (Воровский, стр. 59).

Стр. 209. «От Ольвиополя до Александрии...» — Ольвиополь (или Орлик) — заштатный городок Херсонской губернии; славился своим рынком для продажи скота. Александрия — уездный городок Херсонской губернии на реке Ингулец.

Стр. 210. *Ингул (точнее Ингулец)* — река на Украине в Херсонской области.

Стр. 214. *Башкирка* — порода лошадей, выведенная в Башкирии.

Стр. 215. *Громада* — здесь: мир, общество, мирская сходка.

Стр. 223. *И жесткая у меня душа и малая...* — Речь идет о надельной крестьянской «душе».

## КРАСАВИЦА

(Стр. 236)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 44, 26 февраля, в серии «Теневые картинки» (см. выше примечание к рассказу «Вывод»).

Печатается по тексту газеты.

Горький предполагал включить рассказ в третий том *ДЧ*. В конце мая 1899 г., согласовывая состав тома, он писал С. П. Дороватовскому: «...а чтоб было ровно 10 — закатите еще один маленький».

Нет ли у Вас крошечного рассказишки „Красота“ или „На пароходе“? Загустите его, Христа ради! Если он озаглавлен не „Красота“, то озаглавьте именно „Красота“. Он очень важен мне как некий гвоздь» (*Г-30*, т. 28, стр. 81). В июне того же года Горький вновь писал ему: «А вместо „Чижа“, чтобы публику не обижать, — суньте что-нибудь, если найдется: „Красоту“, „Девочку“ или малюсенький рассказик о проститутке, коя писала письма к вообразаемому любовнику <„Болесь“>» (там же, стр. 86). Автор, очевидно, запомнил название своего рассказа «Красавица», перепутав его с названием рассказа «Красота», напечатанного в «Нижегородском листке» (1896, № 269, 29 сентября). «Красавица» и есть «крошечный» рассказик, действие которого происходит на пароходе. Вскоре, когда, видимо, название было уточнено, Дороватовский отклонил рассказ, в связи с чем Горький во второй половине июня 1899 г. написал ему: «„Красавицу“ — не помещайте, согласен» (там же, стр. 87).

## ПРОЩАЙ!

(Стр. 238)

Впервые, без подписи, напечатано в «Самарской газете», 1895, № 50, 5 марта.

Печатается по тексту газеты.

Об авторстве Горького говорит А. Треплев (А. А. Смирнов), знавший писателя по совместной работе в «Самарской газете»:

«Писал ли Горький стихи? Да. Я видел у него толстые тетради со стихами, но он очень скупно делился ими со слушателями <...> В „Самарской газете“ напечатаны два стихотворения отдельно: „Черноморье“ и „Прощай!“. Последнее любопытно своей юношеской, на нынешний вкус наивно-старомодной, разочарованностью в женской любви и каким-то налетом байронизма» (А. Т р е п л е в. Максим Горький на Волге. — Сб. «О Горьком — современники», М., <1928>, стр. 69). Принадлежность стихотворения Горькому подтверждается также сообщением Е. П. Пешковой в беседе с А. И. Овчаренко от 13 сентября 1949 г.: «„Прощай!“ принадлежит А. М. Оно напечатано под одной чертой с рассказом „В Черноморье“, <„Песня о Соколе“>, так что подпись „М. Горький“ относится и к стихотворению. Одну строфу его А. М. цитирует в письме ко мне за 1896 г.» (Архив А. М. Горького, Ком. 1-32-1).

Две строфы этого стихотворения в переработанном виде были использованы Горьким позднее в «Рассказе Филиппа Васильевича» (стихи Платона Багрова: «Прощай! Душа тоской полна...»).

## НЕСКОЛЬКО ИСПОРЧЕННЫХ МИНУТ

(Стр. 240)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 56, 12 марта, в серии «Теневые картинки».

Печатается по тексту газеты.

## ДЕЛЕЖ

(Стр. 247)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 62, 19 марта, в серии «Теневые картинки».

Печатается по тексту газеты.

## В ЧЕРНОМОРЬЕ

(Стр. 252)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 71, 2 апреля.

Печатается по тексту газеты.

## ОТКРЫТИЕ

(Стр. 255)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 74, 9 апреля, в серии «Теневые картинки».

Печатается по тексту газеты.

Рассказ перекликается с фельетоном Горького «Современная женщина и ее воспитание» из цикла «Между прочим».

В центре обоих произведений — вопрос о роли и назначении женщины в семье. Иронизируя над самарскими барышнями («барышни полненькие и барышни худенькие»), Горький спрашивал: «Есть ли у них представление о важной ответственности, которая ждет их, матерей, в будущем, понимают ли они, что им придется созидать будущего человека, имеют ли они представление о том, что нужно делать для того, чтобы дети не были точными копиями своих слабосильных и нежизнеспособных родителей, людей, устроивших себе такую бесцветную, скучную и нищую духом жизнь, как жизнь современная?» («Самарская газета», 1895, № 160, 28 июля).

Рассказ связан с темп ранними произведениями Горького, в которых даются сатирические портреты либеральных интеллигентов.

### НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ В РОЛИ РЕДАКТОРА ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ГАЗЕТЫ

(Стр. 263)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, №№ 116, 117, 122, 129 — с 4 по 20 июня. Подпись: Паскарелло.

Печатается по тексту газеты с исправлениями (по смыслу): «слабость» (стр. 263, строка 23) вместо «сладость»; «в состоянии» (стр. 277, строки 40—41) вместо «к состоянию».

В рассказе использованы факты из редакторской деятельности Горького в «Самарской газете». В начале 1895 г. по рекомендации В. Г. Короленко Горький был приглашен «Самарской газетой» для ведения воскресного фельетона и обозрения газетной прессы. В конце февраля 1895 г. он переехал из Нижнего Новгорода в Самару (см. *Г-30*, т. 15, стр. 43). В связи с рассказом «Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты» Горький писал Короленко в июне 1895 г.:

«Я в большом унынии, ибо чувствую, что начинаю сбиваться с пути.

Вы, наверное, видели в „Сам(арской) г(азете)“ три фельетона, подписанные Паскарелло, — это всё я, многогрешный.

Хотел было я искренно и просто изложить в них всё то, что вышло из знакомства с провинциальной прессой, желал указать на ее губительный дилетантизм и его дурное влияние на общество, хотел указать и то, что в прессу лезет страшно много людей без призвания — это бы еще ничего, — людей без чести и совести — вот что ужасно.

И еще много печального вижу я в нашей прессе. Для меня — это ново, и я полагаю, что сумею сказать это по-новому — или лучше „по-старому“. Но благое намерение осталось при мне, а из фельетонов вышла гадость.

Цензор их подчистил, редактор укоротил — и вычеркнул более серьезные места из желания не нарушать общий тон.

И это бы ничего — но как раз в это время „Сам(арский) вес(тник)“ задел очень подло и грубо меня, Ашешова, Буланину и Гусева. А меня чёрт дернул ответить. Вчера мне, в свою очередь, тоже ответили.

Ну, и всякую охоту „полемизировать“ я утратил навеки. Из меня ее вышибли. Урок хороший, я его не забуду. Ужасно грубо и грязно всё это делается.

И знаете что? Господа, некогда „принципиально“ разошедшиеся с Сам(арской) газет(ой) — Клафтон, Циммерман, Григорьев и, говорят, даже Чириков, — сотрудничают в „Вестнике“ — газете — как хотите — подлой!

Может быть, они своим присутствием скрашивают ее?

Увы — они-то и полемизируют с нами, пазывая Ашешова — Балалайкиным, указывая на то, что он „несколько раз судился“ и т. д. в этом духе. То и дело задевают Гусева.

Пишут целые фельетоны намеков и экивоков. Не верится мне, что и Чириков там — но утверждают, что фельетоны за подписью Турпст — его!

Меня очень мучает всё это.

Очень уж мелко и подленько и не талантливо при всем этом.

Мало серьезного отношения к жизни у нашей прессы. Люди, стоящие „у руля“, говорят, что публика любит „легкий стиль“ и что волей-неволей — нужно ей таковой давать.

Вот как! А руководство обществом? Это, видите ли, задача, забракованная в силу неразрешимости своей.

Куда вести? Всё пошатнулось.

А мне кажется — душа пошатнулась. Всё как было — так и есть, а вот душа человека испугана, пзмаяна и заплуталась во тьме жизни. Впрочем, ладно, не новость это для Вас» (*Г и Короленко*, стр. 40—41).

Горький указывает в этом письме, что цензор «подчистил» его фельетон. Цензурные изъятия можно с большой долей достоверности установить путем сопоставления гранок «Самарской газеты» с публикацией фельетона в той же газете (Архив А. М. Горького, ХПГ-40-10-1)<sup>1</sup>. В собрании сочинений Горького в тридцати томах и в настоящем издании по гранкам восстановлены следующие, отсутствующие в газете, части текста: эпизод с будочником — «Пришел будочник ∞ боялся, что он будет строг» (стр. 275—276); фраза «В красных рубцах лежали предо мной гранки ∞ до крови высекли» (стр. 279).

Подзаголовок рассказа «Перевод с американского» носит явно прощеский характер: в тексте встречаются прямые указания, что речь идет о «русской жизни», приводятся подробности русского быта. Возможно также, что при этом писатель имел в виду рассказ Марка Твена «Как я редактировал сельскохозяйственную газету» (1870).

<sup>1</sup> Гранки сохранились не полностью: нет целиком заключительной, четвертой части произведения, а в предшествующих частях — два пропуска.

Вторая половина рассказа Горького связана с конфликтом между «Самарской газетой», выступающей в рассказе под именем «Саламандры», и «Самарским вестником», именуемым «Карболкой». Вражда между этими двумя газетами и взаимные нападки возникли еще в 1894 г., до появления Горького в Самаре. Группа сотрудников «Самарской газеты» в составе семи человек покинула газету, причем большинство из них стали сотрудниками «Самарского вестника». В опубликованных ими заявлениях уход объяснялся невозможностью влиять на направление газеты (участвовать в подборе материала), а также разногласиями с секретарем редакции Ашешовым («Самарский вестник», 1894, № 270, 20 декабря, и № 272, 22 декабря). «Самарская газета» объяснила инцидент личными отношениями руководства газеты с одним из сотрудников («Самарская газета», 1894, № 262, 21 декабря).

В состав группы, подписавшей объяснение, входили сотрудники, упоминаемые в письме Горького: Р. Э. Циммерман (1866—1900), писавший под псевдонимом Гвоздев, писатель марксистского направления, экономист, книга которого «Кулачество-ростовщичество, его общественно-экономическое значение» (СПб., изд. Н. Гарина, 1899) вызвала рецензию В. И. Ленинна (см. Полн. собр. соч., т. 4, стр. 55—59); М. Г. Григорьев — член марксистского кружка Н. Е. Федосеева, участник марксистских организаций Казани, Нижнего и Самары; И. А. Керчикер — журналист, выступавший со статьями по рабочему вопросу.

Отвечая на письмо Горького, Короленко писал ему 4 июля 1895 г.: «Письмо Ваше (весьма унылое) получил. Имел сделать два возражения. Во-первых, то, о чем Вы пишете, совсем не оправдывает ни Вашего мрачного тона, ни отчаянного пессимизма, с которыми Вы относитесь и к прессе и к обществу в провинции. Если взглянуть на дело именно „искренно и просто“, то окажется, что несколько очень порядочных людей, рассорившись с „Самарской газетой“, начинают скопом сотрудничать в „Сам(арском) вестнике“. Надеются ли они ее улучшить? — Без всякого сомнения, иначе Чириков, например, которого я с этой-то стороны хорошо знаю, в газету бы не пошел. Что же дальше? Они полемизируют с „Сам(арской) газетой“. Очень жаль. Я не читал статей, о которых Вы говорите, но во всяком случае считаю эту полемику прискорбной. Однако — разве они одни виновны в этом? Разве в „Сам(арской) газ(ете)“ чуть не в каждом № нет какой-нибудь заряды по адресу „Сам(арского) вестника“? Они провинились, по-Вашему, в том, что пошли в „подлую газету“. Для меня вопрос — подлая ли она теперь, когда они там работают <...> надо оставить всем мелкие счеты и смотреть на полемику как на вещь очень серьезную, которую всегда надо направлять лишь туда, где она нужна по существу дела...» (Г и Короленко, стр. 42—43).

Взаимные нападки, однако, еще некоторое время продолжались, и Горький вновь обращался к Короленко с жалобами на тяжесть своей работы, с обвинениями других и себя в «неприличной полемике» и просил его содействовать приглашению в качестве редактора Дробыш-Дробышевского.

В то же время Горький общался с отдельными сотрудниками «Самарского вестника». Е. С. Иванова рассказывает в своих воспоминаниях, что Горький был постоянным участником встреч самарской интеллигенции у секретаря этой газеты К. Г. Разуваева, — встреч, где горячо обсуждались большие общественные вопросы (сб. «Горький в Самаре», стр. 229—230).

В очерке «О Гарине-Михайловском» (1927) Горький вспоминал о вечерах у судебного следователя Самары Я. Л. Тейтеля: «Там, в его квартире, еженедельно собиравлись все наиболее живые, интересные люди города <...> У него бывали все, начиная с председателя окружного суда Анненкова, потомка декабриста, великого умника и „джентльмена“, включая марксистов, сотрудников „Самарского вестника“ и сотрудников враждебной „Вестнику“, Самарской газеты, — враждебной, кажется, не столь „идеологически“, как по силе конкуренции <...> все были уверены, что плохой человек не придет к Якову Тейтелю. Царила безграничная свобода слова» (Г-30, т. 17, стр. 67).

Свое отношение к сотрудникам «Самарского вестника» в этот период Горький обстоятельно осветил в письме И. А. Груздеву (1933).

«...Вам, вероятно, придется говорить о моем отношении к „марксистам“ „Самарского вестника“. По этому поводу считаю нужным сообщить следующее:

„Самарская газета“ издавалась антрепренером театра Новиковым, затем перешла за долги купцу Костерину, молодому человеку не очень плохих качеств. „Самарский вестник“ издавал помещик и бывший земский начальник Реутовский. Его представителем в редакции на правах секретаря и администратора был некто Валле де Бар, личность темная <...> Чириков не сотрудничал в этой газете, он марксистов — не любил. Не любил их и я, как людей <...> Не нравились все они мне потому, что я находил их недостаточно „демократичными“, а не потому, что они марксисты. В качестве „возлюбивших истину новую“ они казались мне слишком высокомерными и „прильпе ученые разуму, — не возжгло сердца их“. В общем же взаимоотношения наши отнюдь не были враждебными, и когда я, поссорившись с редакторами „Самарской газеты“, ушел из нее, — Мих. Григорьев приглашал меня — от лица всей редакции — сотрудничать в „Самарском вестнике“. Но я уже согласился работать на Всероссийской выставке в Нижнем для „Одесских новостей“...» (Архив ГХІ, стр. 319—320).

## СКАЗКА

(Стр. 289)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 162, 30 июля, и № 168, 6 августа. Перепечатано в газете «Котлин» (Кронштадт), 1896, №№ 22, 23, 24 — с 27 по 29 февраля, со ссылкой на «Самарскую газету».

В Архиве А. М. Горького хранится вырезка из газеты «Котлин» с правкой автора, сделанной, видимо, в 1898—1899 годах. Автор, вероятно, предполагал включить «Сказку» в один из томов ДЧ. На полях первой страницы газетной вырезки рукой Горького написано: «Котлин», «Бессар<абский> вест<ник>», «Сам<арская> газ<ета>».

Печатается по тексту «Самарской газеты» с учетом авторской правки в газетной вырезке из «Котлина» (ХПГ-45-11-2).

«Сказка» написана, видимо, в 1895 г. — в то время, когда Горький активно сотрудничал в «Самарской газете».

Редактируя первоначальный текст, Горький вычеркивает прямолинейные авторские напоминания, что перед читателем «действительно» сказка, устраняет ненужные повторения, лишние эпитеты и т. п. (см. варианты).

«Сказка», как и многие другие произведения Горького, не появившиеся в его сборниках и собраниях сочинений, осталась почти не замеченной критикой. Известен отклик на это произведение, принадлежащий фельетонисту «Самарского вестника» А. К. Клафтопу, писавшему под псевдонимом «Сфинкс». Не дождавшись публикации конца «Сказки», Сфинкс выступил против своего соперника и соперничавшей с «Самарским вестником» «Самарской газеты». Сотрудник «Самарского вестника» не понял глубины «Сказки», представляющей собой маленькое романтическое изображение целой человеческой жизни, и обвинил Горького и газету в «смаковании любви».

„Самарская газета“, если выключить сквернословие Хламиды, положительно „любовная“ газета, — в фельетонном стиле писал Сфинкс. — Я укорял покойного Паскарелло в „смаковании“ любви. На этом поприще с ним достойно мог бы конкурировать М. Горький <...>

М. Горький рассказывает „Сказку“... о своей любви... „к ней“ и оказывается победителем.

„Она“, трепеща (sic!), „простирает к нему уста, вся охваченная страстью, страдающая от стыда, страха, боли и пр.“ в том же сладко-елейном духе.

Пикантно донельзя.

От удовольствия я зажимаю нос.

Многочисленные перлы, рассыпанные в изобилии в „сказке“, испускают снегосшибательный букет».

В заключение говорится: „Самарская газета“ давно славится своим „романтизмом“ и склонностью ко всяким видам „пламенной любви“ и вряд ли выбьется из этой „психолого-клубничной“ философии на арену <...> борьбы с общественным злом, о котором она некогда рассуждала» («Самарский вестник», 1895, № 166, 4 августа).

Современная критика видит в «Сказке» одно из ранних обращений писателя к занимающей исключительно важное место в его последующем творчестве теме «матери», к проблеме взаимоотношения матери и детей.

## МА-АЛЕНЬКАЯ!..

(Стр. 299)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 174, 13 августа.

Печатается по тексту газеты с исправлением на стр. 299, строка 19: «шагам» вместо «шагом».

В основу рассказа легли впечатления, полученные Горьким в 1891 г. во время странствования по Орловщине. После посещения монастыря Тихона Задонского по дороге в Воронеж он встретил двух богомольцев, шедших из Тобольской губернии «ко святым местам» (*ЛЖТ*<sub>1</sub>, стр. 78). Эта встреча и послужила поводом к написанию рассказа.

Стр. 299. ...*за все десять месяцев моего хождения пешком по кривым дорогам нашей родины...*— Путешествие Горького по России началось в апреле 1891 г.; встреча со стариками могла произойти летом того же года.

Стр. 301. *Гоношитъ* — (нижегородское, диалектнсе) хлопотливо заниматься мелкими хозяйственными делами.

Стр. 301. *Сподимя* — (диалектное) приподнимаю, вздымая.

Стр. 302. *Огневица* — лпхорадка, жар.

## ВОЗВРАЩЕНИЕ НОРМАННОВ ИЗ АНГЛИИ

(Стр. 304)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 185, 27 августа.

Печатается по тексту газеты с исправлением опечатки: «у ног его» (стр. 307, строка 18) вместо «у ног своих».

Исторические факты и предсмертная песня Рагнара заимствованы из книги французского историка Огюстена Тьерри «История завоевания Англии норманнами» (в русском переводе — СПб., 1868). Песнь Рагнара — старинная скандинавская сага, так называемая «Смертная песнь» викинга Рагнара Лодброга — дана в вольном поэтическом изложении Горького. В рассказ введены мифологические имена из древнескандинавской поэзии.

В работе над рассказом писатель пользовался также книгой А. М. Стринхольма «Походы викингов, государственное устройство, нравы и обычаи древних скандинавов» (перевод с немецкого А. Шемякина. Части I и II, М., 1864).

О литературных источниках рассказа сохранилось свидетельство самого автора. В конце марта 1933 г. Горький писал В. Шепелюку: «...А. А. Смирнов сообщает, что „Возвращение норманнов из Англии“ написано мною по „Рассказам о Меролинггах“, тогда как „рассказы“ эти о норманнах не говорят, и писал я, конечно, по „Истории завоевания Англии норманнами“, тоже А. Тьерри, по Стринхольму и др.» (*Архив ГХИ*, стр. 314).

Об интересе Горького к истории норманнов свидетельствует его письмо А. П. Чехову от 12 или 13 мая 1899 г. Высоко оценивая творчество Стриндберга, он писал: «Швед этот — прямой потомок тех норманнов, что на всем протяжении истории всюду являлись творцами чего-то сильного, красивого, оригинального. В гнусную эпоху крестовых походов они умели создать в Сицилии истинно рыцарское государство, и оно во мраке времени было светочем человечности, благородства души; наверху, самым лучшим, что в ту пору было» (*Г-30*, т. 28, стр. 78).

Литературно-исторический материал, обработанный в рассказе «Возвращение норманнов из Англии», интересовал Горького и в последующие десятилетия. Известно, что писатель собирал материал о скандинавском эпосе. Несомненна связь раннего рассказа с черновыми вариантами пьесы «Норманны», над которой Горький работал в 1917—1919 гг., по которой, вероятно, была задумана гораздо раньше. 7 сентября 1904 г. Горький писал К. П. Пятницкому: «Пожалуйста, посмотрите среди моих рассказов, не вошедших в книги, — кажется, у Вас есть несколько таких — нет ли среди них „Возвращение норманнов из Англии“ — и если найдете — пришлите мне» (*Архив ГГВ*, стр. 160). В начале 1908 г. Горький просил его же прислать литературу по скандинавским сагам, перевод «Эдды», книги по истории Скандинавии и истории походов викингов (см. там же, стр. 234, 241, а также *Г-30*, т. 29, стр. 51). 10 октября 1915 г. Горький писал М. Ф. Андреевой из Петрограда: «Я сочиняю пьесу из древне-скандинавской жизни под названием „Рак“. Символическая, как у Андреева, и так же умная. Когда у человека нет денег, он на всё способен» (*Лит Насл*, т. 72, стр. 455). Название пьесы явно шуточное. Но письмо еще раз подтверждает устойчивый интерес Горького к скандинавскому эпосу. По свидетельству В. А. Десницкого, в 1918—1919 гг. Горький читал «Песни разных народов» в переводе Н. Берга и книги о походах викингов (см. В. Д е с н и ц к и й. М. Горький. Л., 1940, стр. 55).

Именно в эти годы были написаны упоминавшиеся уже черновые варианты пьесы «Норманны»<sup>1</sup> и примерно тогда же — предисловие к повести К. Ф. Мейера «Святой» (Пг., 1922), содержащее характеристику норманнов, их идеологию, историю их военных походов.

Стр. 304. ...по Дороге Лебедей... — Ср. у О. Тьерри: «...датские пираты весело пелись по дороге лебедей (Ofer Swan gade), как говорит их старинная народная поэзия» («История завоевания Англии норманнами», ч. I, стр. 80).

Стр. 304. ...от берегов Зеленого Эрина... — древнее, кельтское название Ирландии; здесь в значении Британских островов.

Стр. 304. Зунд — пролив между Скандинавским полуостровом и датским островом Зеландия, соединяющий Балтийское море с проливом Каттегат.

<sup>1</sup> Черновые наброски и отдельные фрагменты пьесы опубликованы в книге: *Архив ГГВ*, стр. 136—149.

Стр. 304. ...которого сакс Эрих скормил змеям...— Ссылаясь на летописца, О. Тьерри в «Истории завоевания Англии норманнами» рассказывает, что Рагнара Лодброга во время его набега на Англию в 865 г. пленил саксонский король Элла, подвергнувший его «пеобычайным мучениям»: Рагнар был брошен в темницу, наполненную «ехиднами и ядовитыми змеями» (ч. I, стр. 82—83).

Стр. 304. *Один* — в древнескандинавской мифологии бог бурь, позднее — бог войны, верховное божество.

Стр. 306. *Валгалла* — в скандинавской мифологии дворец бога Одина, куда переносятся души павших в сражении героев.

Стр. 307. ...знатока рун, сына мудрых валькирий.— Руны — древние письмена германцев, вырезанные па дереве или камне. Валькирии — девы, служительницы бога войны.

Стр. 307. *Тор* — бог грома, сын Одина, покровитель земледелия и домашнего очага.

Стр. 307. *Те, что ходили с Аларихом за славой в жаркие страны, туда, еще дальше, за Рим, через море...*— Аларих I (ок. 370—410) — первый король вестготов (с 395 г.); совершил опустошительный поход в Южную Грецию, в 401 г. вторгся в Италию, но был разбит; затем вновь напал на Италию, трижды осаждал Рим, который взял в 410 г. и разграбил его. Дальше Рима Аларих не пошел; он умер, готовясь к походу в Сицилию и Южную Африку.

Стр. 308. ...как вещая дева Альруна...— Альруны (у древних германцев) — мудрые женщины, занимавшиеся предсказаниями.

Стр. 308. *Варинги* (от скандин. vaeringjar) — одно из названий жителей Скандинавии.

## КОЛЮША

(Стр. 310)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 186, 29 августа.

Печатается по тексту газеты.

Рассказ написан в Самаре и тесно связан с циклом фельетонов «Между прочим» Иегудиила Хламида, которые публиковались на страницах «Самарской газеты» в 1895—1896 гг. Так, в одном из них Горький, говоря о судьбе мальчиков — «будущих людей и может быть ценных граждан», заметил: «Слишком много гибнет мальчиков, ибо слишком мало уделяют им внимания» («Самарская газета», 1895, № 201, 20 сентября). В другом фельетоне, напечатанном незадолго до рассказа «Колюша», Горький повествует о судьбе «мальчика из типографии», избитого господином Граном (там же, № 184, 26 августа). Наконец, 2 сентября 1895 г. Иегудиил Хламида описывает гуляние общества книгопечатников, на котором присутствовало «много оригинальных, шумных и веселых, чумазных и оборванных маленьких людей» —

мальчиков из типографии (там же, 1895, № 188, 2 сентября). Всё это свидетельствует о том, что именно в этот период, внимательно присматриваясь к жизни детей-тружеников, Горький размышлял о трагизме их положения в обществе. Рассказ «Колюша» перекликается с другими произведениями, затрагивающими «детскую» тему: «Дед Архип и Ленька», «Сирота», «Встряка», «Зрители», «Вор».

## ГРУСТНАЯ ИСТОРИЯ

(Стр. 314)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 193, 8 сентября, и № 194, 10 сентября. Подпись: Иегудинл Хламида. Принадлежность этого псевдонима Горькому подтверждена им самим в очерке-воспоминании «В. Г. Короленко» (*Г-30*, т. 15, стр. 43).

Печатается по тексту газеты с исправлением опечаток: «водитя» (стр. 317, строка 32) вместо «видится»; «блестящей» (стр. 318, строки 38—39) вместо «блестящих»; «рахитическими» (стр. 319, строки 12—13) вместо «ракитическими»; «неблагородно» (стр. 321, строки 19—20) вместо «неблагодарно»; «рон» (стр. 322, строка 35) вместо «рой».

Стр. 315. *Эта муза не была одной из девяти, не служила Аполлону и не владела лирой влатострунной...* — В древнегреческой мифологии девять муз (покровительниц искусства и наук): Клио — покровительница истории, Евтерпа — поэзии и музыки, Талия — комедии, Мельпомена — трагедии, Терпсихора — танцев, Эрата — любовной лирики, Полигимния — гимнов, Урания — астрономии, Каллиопа — эпоса. Покровителем муз считался бог Аполлон.

Стр. 319. *«Когда хорошенько подумать, ведь все мы голыми торчим в наших платьях...»* — Из книги Генриха Гейне «Путевые картины», часть вторая — «Северное море» (1826).

Стр. 321. *А что, если бы Геркулесу предложили, вместо совершения известных двенадцати подвигов, выдержать одну битву...* — Геркулес (Геракл) — в древнегреческой мифологии величайший герой, сын бога Зевса и смертной женщины Алкмены, одаренный необычайной физической силой.

## ЖЕНЩИНА С ГОЛУБЫМИ ГЛАЗАМИ

(Стр. 325)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 197, 14 сентября, и № 199, 17 сентября.

Печатается по тексту газеты с исправлением опечаток: «ярмарочной страды» (стр. 326, строка 24) вместо «ярмарочной отрады»; «что ни в чем» (стр. 332, строка 29) вместо «чтобы ни в чем».

Рассказ написан в Нижнем Новгороде. Основой для него послужили реальные факты. Ежегодно на Нижегородскую ярмарку из приволжского уездного местечка Городец приезжали на «заработки» десятки женщин и девушек. Проституция была для них своеобразным «отхожим промыслом», который не считался позорным. Заработав деньги, они возвращались в Городец и вели там мещански-добропорядочную семейную жизнь. Многие детали рассказа (сибирская пристань, ярмарочное полицейское управление) свидетельствуют о том, что он «сплсан» с натуры. Сам Горький признавался, что рассказ фактографичен. Б. С. Рюриков вспоминает о встрече с писателями, на которой Горький затронул тему проституции:

«Он рассказывает о сезонных проститутках, которые отправлялись на ярмарку, чтобы прокормить детей, о знаменитом публичном доме мадам Шварцмаи.

— У меня, кстати, — добавляет он, — напечатана была в „Самарской газете“ беллетристическая канитель „Женщина с голубыми глазами“ на тему ярмарочной торговли телом. Это фактический материал, я встретил женщину на пристани, расспросил ее. Материал интересный, но только смотрите — есть опасность превратить разработку его в собирание анекдотов. А какой тут анекдот — тут трагедия!» (Б. Р ю р и к о в. Два часа. «Горьковская коммуна», 1934, № 201, 1 сентября).

По свидетельству Ф. С. Богородского, Горький рассказывал в Сорренто:

«Так вот-с, судари мои, дело происходило в Нижнем. На волжской пристани. Забрел я туда поглядеть на публику. А тут, кстати, в Сормово отходит финляндчик. В воду сбросили концы, отпяти трапы, забурилла вода под кормой. Гляжу, у барьера на пристани стоит женщина. А на борту парохода машет ей фуражкой мальчик лет двенадцати. Подошел я поближе к женщине, вижу: лицо ее подкрашено. Пригласил я ее в трактир попить чайку. Пошла охотно. А немного погодя рассказала всю свою историю: муж ее, видите ли, был слесарем Сормовского завода. Он пивалид — машинной оторвало ему руку, всего покалечило. Мальчик — это ее сын. Мужа надо кормить, а сына учить. Что делать? Пошла на улицу, стала проституткой... Вот так и живет... Нда-с, судари мои, грустная история!..»

На следующий день Горький опять вспомнил об этом эпизоде:

«Брожу я, знаете ли, как-то в Самаре по волжским пристаням. Смотрю, от одного дебаркадера отходит пароход. Я в публику. И вдруг вижу: у барьера стоит молодая женщина. Лицо подкрашено. Провожает она мальчика с девочкой, — те стоят на борту парохода и машут ей ручонками. Подошел я к женщине, пригласил ее в трактир. Согласилась охотно. А за столом и рассказала о том, что она действительно гулящая. Но почему? Муж ее, бывший речной капитан, лежит в параличе. Двое детишек учатся. Что делать? Вот и пошла на улицу, чтоб троих прокормить...» (Ф. Б о г о р о д с к и й. Погода в Сорренто. «Октябрь», 1956, № 6, стр. 158).

Комментируя рассказ Горького, Богородский заметил: «Как же так? Вчера было сказано о муже-слесаре, а сегодня о муже-капитане? Вчера дело происходило в Нижнем, а сегодня в Самаре? Смысл тот же, а детали разные! Неужели Алексей Максимович что-нибудь фантазировал? Только через некоторое время я понял, что писатель, вспомнив несомненный факт, занимался, так сказать, его творческой интерпретацией» (там же).

С рассказом перекликается фельетон Горького из серии «Очерков и набросков», напечатанный в «Самарской газете» (1895, № 187, 1 сентября). В нем повествуется о судьбе артистки С., которая пришла жаловаться на хозяина «увеселительного заведения», где она служила. «В ярмарочное полицейское управление вместе с массой просителей и ответчиков явилась женщина с интеллигентным лицом, чем она сразу остановила на себе внимание полиции, отвыкшей видеть порядочные физиономии среди людей, с которыми она изо дня в день имеет дело», — говорится в фельетоне.

Должно быть, эти строки являются первым наброском, из которого впоследствии выросла колоритная сцена в полицейском управлении, изображенная в рассказе «Женщина с голубыми глазами».

Стр. 331. *Главный дом* — центральное здание на Нижегородской ярмарке.

Стр. 335. *Ватерпруф* — женское летнее пальто, плащ.

Стр. 335. *Присасть Кашина* — присасть на Волге в Нижнем Новгороде.

Стр. 337. *Пёщер* — корзина, сплетенная из лыка.

## «ГОСТЬ»

(Стр. 338)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 203, 22 сентября.

Печатается по тексту газеты с исправлением: «холодному, осеннему воздуху» (стр. 339, строка 2) вместо «холодному и осеннему воздуху».

Набросок «Гость» сделан в 1895 г. Позднее материал этой «вожжской картинки» был использован автором во второй главе «Фомы Гордеева».

## ОДИНОКИЙ

(Стр. 342)

Впервые, с подзаголовком «Силуэт», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 235, 1 ноября.

В Архиве А. М. Горького хранятся гранки набора с правкой автора синими и черными чернилами (ХПГ-42-4-4). Однако правка в тексте газеты не отражена и является, следовательно,

позднейшей. Вероятно, она была сделана в конце 1897 или начале 1898 г. в связи с намерением автора включить рассказ в сборник своих произведений. В. А. Поссе вспоминал:

«Вскоре после закрытия „Нового слова“ Горький прислал мне пачку газетных вырезок и несколько журнальных оттисков. Это были его рассказы и очерки, напечатанные в столичных журналах и в различных, в том числе и очень жалких, провинциальных газетах.

Горький спрашивал меня, стоит ли все эти очерки издавать отдельной книгой <...> Среди газетных вырезок были: „Песнь о Соколе“, „Старуха Изергиль“, „Однажды осенью“, „На плотах“, „Макар Чудра“, „Ярмарка в Голтве“» (В. А. Поссе. Мой жизненный путь. М.—Л., 1929, стр. 144).

Поссе не упоминает здесь рассказа «Одинокий», который не вошел впоследствии в «Очерки и рассказы» и который он, естественно, мог запомнить. Но совершенно ясно, что перечень произведений Горького здесь далеко не полон. Сохранилось письмо Поссе Горькому от 20 февраля 1898 г., в котором говорится: «Нет ли у Вас какого-нибудь фельетона, который Вы предназначали для „Нижегородского листка“ и который Вы согласитесь уступить „Жизни“ по пониженному тарифу? Среди присланных Вами рассказов один, „Одинокий“, в гранках. Может быть, он не был напечатан. Если не был, то не отдадите ли его в „Жизнь“?» (Архив А. М. Горького, КГ-п-59-1-17). Не включенный в ДЧ рассказ «Одинокий» не попал и в «Жизнь», так как уже был напечатан в «Самарской газете».

Редактируя рассказ в гранках, Горький сиял подзаголовков, произвел стилистическую правку и ряд сокращений, главным образом за счет авторских отступлений (см. варианты).

В настоящем издании рассказ печатается по тексту «Самарской газеты» с учетом поправок, внесенных автором в гранки набора, за исключением двух случаев. Вызвано это тем, что между гранками и первопечатным текстом есть разночтения. По всей вероятности, автор в свое время держал корректуру для газеты и внес в нее некоторые поправки.

1. В гранках набрано: «полного мукой боли». Правя гранки для «Самарской газеты», Горький слово «мукой» заменил словом «тупой». При позднейшей правке сохранившегося экземпляра гранок автор вновь зачеркнул неудачное слово «мукой», но не дал никакой замены. Получилось: «полного боли». Редакцией восстановлен первопечатный текст: «полного тупой боли» (стр. 346, строка 18).

2. В гранках набрано: «Голубые клубы дыма поднялись по потолку и исчезли». В первопечатном газетном тексте, очевидно после вмешательства Горького, эта фраза была исправлена. «Голубые клубы дыма поднялись к потолку и исчезли». Однако при позднейшей правке сохранившегося экземпляра гранок Горький не заметил ошибку и не исправил ее. Поэтому редакцией восстановлен текст «Самарской газеты»: «...поднялись к потолку...» (стр. 346, строка 24).

## НЕПРИЯТНОСТЬ

(Стр. 348)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 246, 14 ноября.

Печатается по тексту газеты.

Стр. 351. ...«наслаждение в бою...» — Неточная цитата из трагедии А. С. Пушкина «Пир во время чумы» (1830). У Пушкина: «упоение в бою».

## КАК ПОЙМАЛИ СЕМАГУ

(Стр. 355)

Впервые, под названием «О том, как поймали Семагу» и с подзаголовком «Набросок», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 250, 19 ноября.

В Архиве А. М. Горького хранится вырезка из газеты с правкой автора, сделанной в связи с предполагавшимся включением рассказа в третий том *ДЧ*. В июне 1899 г., согласовывая состав третьего тома, Горький писал С. П. Дороватовскому: «„Семага“ у Вас? А я его искал. Да, его можно сунуть в книжку, кажется» (*Г-30*, т. 28, стр. 87). Однако рассказ в сборник включен не был.

Правка рассказа незначительная. Кроме изменения заглавия и снятия подзаголовка, Горький произвел небольшую стилистическую правку текста (см. варианты).

Печатается по вырезке из «Самарской газеты» с авторскими исправлениями (Архив А. М. Горького, ХПГ-41-9-1).

Стр. 360. *Ты, матанька, дура, шкура,  
Не велика ты фигура.*—

Возможно, использованные в этом, а также и в следующих рассказах частушки — саратовские «матани» — Горький слышал от В. С. Арефьева, с которым встречался во время своего пребывания у Ромая в Красновидове. «Особенно возбудил мою симпатию, — вспомнил Горький, — его интерес к фольклору, он отлично знал поволжские говора, у него были интересные записи песен пензенских татар, запевок „Дубинушки“ и целое исследование о саратовской „Матане“, предшественнице современной „частушки“» (*Г-30*, т. 25, стр. 66). См. также ст. Арефьев. «Новые народные песни. Деревенские думы и дела». — «Саратовский дневник», 1893, №№ 285, 286, 30 и 31 декабря.

## БАБУШКА АКУЛИНА

(Стр. 362)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 261, 3 декабря, и № 266, 10 декабря.

Печатается по тексту газеты с исправлениями: «отвезть» (стр. 367, строка 18) вместо «отвезть»; «Вон как горю» (стр. 370,

строка 31) вместо «Вон как говорю»; «перед смертью-то» (стр. 371, строки 27—28) вместо «перед старостью-то».

Набросок «Бабушка Акулина» относится к многочисленной группе ранних произведений, имеющих мемуарно-автобиографический характер. В данном наброске запечатлены некоторые черты бабушки писателя — Акулины Ивановны Кашириной.

«Бабушка Акулина», как и некоторые другие автобиографические произведения Горького 90-х годов («Изложение фактов и дум...», «Биография»), свидетельствует о попытке писателя создать еще в ранний период творчества целостное автобиографическое полотно. Следует отметить, что в 1913 г., уже написав «Детство», Горький долго колебался: не дать ли новой повести заглавие «Бабушка» (см. письма Ф. И. Благову. Архив А. М. Горького, ПГ-рл-4-17-14).

### ИЗВОЗЧИК

(Стр. 373)

Впервые, с подзаголовком «Святочный рассказ», напечатано в «Самарской газете», 1895, № 277, 25 декабря.

Печатается по тексту газеты, с исправлением опечаток: «Не угрызена совесть» (стр. 384, строка 8) вместо «Не угрызение совести»; «во мне нет закона» (стр. 384, строка 21) вместо «во мне закона»; «Павел» (стр. 389, строка 37) вместо «Николай!». Не унифицировано имя купчихи: на стр. 375 «Капитолина Петровна», а на стр. 378 — «Сосипатра Андреевна».

В рассказе отображены реальные события. С 20 по 24 сентября 1895 г. в Пензенском окружном суде слушалось дело об убийстве генеральши П. Г. Болдыревой и ее горничной Александры Савиновой. Как выяснилось в ходе следствия, генеральша занималась ростовщицеством. С 24 сентября по 5 октября «Самарская газета», сотрудником которой был в ту пору Горький, печатала подробные отчеты о судебном процессе. Дело оказалось запутанным и сложным. В убийстве был обвинен Александр Тальма, которого приговорили к ссылке на Сахалин. Впоследствии выяснилось, что он невиновен. Как пишет А. В. Храбровицкий, в январе 1904 г. «Горький приезжал в Пензу. Врач Э. И. Олейникова видела Горького в Пензе на вчераше у его знакомого Блинова. По ее словам, Горький говорил тогда об убийстве Болдыревой, приводил в разговоре эпизоды из произведений Достоевского, в частности, из „Братьев Карамазовых“» («Пензенская правда», 1956, № 183, 16 сентября).

Горький использовал факты, ставшие ему известными из отчетов «Самарской газеты» об этом судебном процессе. Фамилию купчихи — Заметова — он, возможно, заимствовал из романа Достоевского «Преступление и наказание».

Центральная проблема рассказа «Извозчик» — существует ли нравственный закон и нужна ли совесть — полемически вос-

производит некоторые мотивы произведений Ф. М. Достоевского и Л. Н. Толстого. Эти вопросы стояли в центре литературной полемики начала 90-х годов. Философия Ницше и Шопенгауэра, отрицавших какие-либо нормы нравственного закона и совести, была активно подхвачена декадентской литературой.

Не претендуя на большие обобщения, Горький пародирует мотивы романа Достоевского «Преступление и наказание». Топор Раскольников вначале фигурирует у Горького как «топорик, что колют сахар», а потом превращается в банальный утюг. Горький намеренно стилизует «истерически путанные речи героев Достоевского» (*Г-30*, т. 26, стр. 395). Образ извозчика пародийно заострен против «двойников» Достоевского. Герой «Извозчика», Павел Николаевич, заявляет: «Я не Раскольников, не идеалист». Действительно, у него нет никаких принципиальных мотивов преступления. Совершив убийство, он не чувствует ни малейших угрызений совести: «Мертвый духовно, он творил мертвые дела...» (стр. 387). Так намечается в творчестве писателя линия разоблачения психологии индивидуалиста, ставшего одним из «хозяев жизни». У Павла Николаевича нет «внутреннего закона»; он кается всенародно — не для того, чтобы искупить «грех», а с целью «испугать, изумить и раздавить этих людей» своей силой («всё могу» и «всё позволено»).

Теория страдания у героя «Извозчика» далека от проповедей Соши Мармеладовой. Горький откровенно пародирует известное высказывание Достоевского: «Не вне тебя правда, а в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей собой и узришь правду» (*Достоевский*, Соч., т. XII, стр. 380). «Извозчик» поучает Павла Николаевича: «...первое дело — себя самого найти надо». Финальная сцена рассказа — покаяние Павла Николаевича — саркастически высмеивает любимый тезис Достоевского о спасительной силе страдания. «Покаяние» превращается в обличение существующего порядка вещей. Финал рассказа предвосхищает концовку романов «Фома Гордеев» и «Трое».

Рассказ был опубликован в рождественском номере «Самарской газеты», одновременно с новогодним фельетоном Иегудила Хламыды, в котором тоже говорилось об извозчике:

Извозчик! Милый! Увези ты  
Меня, пожалуйста, туда,  
Где эти скучные визиты  
Не нужно делать никогда!

## СТАРЫЙ ГОД

(Стр. 391)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 1, 1 января.

Печатается по тексту газеты.

## ПЕРВЫЙ ДЕБЮТ

(Стр. 395)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 7, 10 января.

Печатается по тексту газеты.

## ПОЧТАЛЬОН

(Стр. 398)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 35, 14 февраля.

Печатается по тексту газеты с исправлением: «мимо него» (стр. 401, строка 9) вместо «мимо них».

## У СХИМНИКА

(Стр. 403)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 39, 18 февраля.

Печатается по тексту газеты.

Рассказ «У схимника» автобиографичен. 5 августа 1926 г. И. А. Груздев писал Горькому: «У Вас есть рассказ „У схимника“. Имеет ли он автобиографическое значение, в целом, конечно, а не в деталях? Если да, не скажете ли мне, где могло это происходить» (*Архив ГХГ*, стр. 64). Горький ответил 15 августа 1926 г.: «Да, — рассказ „У схимника“ — автобиографичен. Место действия — Задонск, монастырь Тихона Задонского. Был еще у схимника в Лубнах, но тот уже оказался совершенно цемением, очевидно — старческое размягчение мозга» (там же, стр. 66).

Задонск — город на востоке Орловской области — был известен своим монастырем, куда со всей страны стекались богомольцы. Горький побывал там летом 1891 г., во время своего странствия по России. В рассказе «В ущелье» он писал: «Мне вспомнилось, как однажды в Задонске, на монастырском дворе (...) я рассказывал послушникам разные истории...» (*Г-30*, т. 11, стр. 162). До Задонска Горький посетил Куряжский монастырь, под Харьковом, и видел там Иоанна Кронштадтского. Вспоминая об этом, он писал впоследствии: «Я был в Куряжском монастыре летом 91 года, беседовал там со знаменитым в ту пору Иоанном Кронштадтским» (там же, т. 17, стр. 160). Потом в Лубнах Горький встретился с «провидцем» Афанасием Сидящим, в Воронеже — с иеромонахом Паисием, на берегу Днепра у острова Хортица — с менонитом. Впечатления, полученные от всех этих встреч, отразились в рассказе «У схимника», в повести «Исповедь» и в очерке «Из воспоминаний (Об Иоанне Кронштадтском)». Горький развенчивает лживые поповские «чудеса» и монастырских «прорицателей». Однако в рассказе «У схимника» еще нет той отчетливой иронической интонации, которая окрашивает

повествование о схимонахе Мардарии или Иоанне Кронштадтском. Речи схимника частично напоминают поучения отшельника Тома Эшера о смысле жизни («Сказание о графе Этельвуде де Коминь и о монахе Томе Эшере» — см. в этом томе, стр. 452—464).

## ЧАСЫ ОТДЫХА УЧИТЕЛЯ КОРЖИКА

(Стр. 410)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 63, 17 марта.

Печатается по тексту газеты.

Очерк непосредственно связан с фельетонами Иегудиила Хламиды о самарской интеллигенции. Упрекая ее в недостаточной «культуре духа», Горький писал: «Главным образом в том виноваты, что не сумели сохранить в себе святого огня, который всё очищает собой и при свете которого были бы невозможны те тусклые дни и неясные инциденты и всё то, чем наполняется день изо дня бедная жизнь нашего общества» («Самарская газета», 1896, № 30, 8 февраля).

Очерк тематически близок «самарским» рассказам Горького, повествующим о застойном провинциальном быте («Дипломатия», «Почтальон», «Соло»).

Стр. 411. *Письма к Люцилию*. — Наиболее известное философско-этическое произведение Сенеки — «Избранные письма к Люцилию» в переводе Пл. Краснова — вышло отдельным изданием в дешевой библиотеке А. С. Суворина (СПб., 1893) и было очень популярно среди русской интеллигенции в начале 1890-х годов. Горький цитирует именно это издание.

Стр. 411. ...*«всякий путь имеет свой конец». «Как басня, так и жизнь ценятся не за длину, но за содержание»*. — См. изречения Сенеки из LXXVII письма к Люцилию «О малоценности жизни» (указ. изд., стр. 146, 148).

Стр. 412. ...*«Ошибаются, о Люцилий...»* — Цитата из XCVIII письма «Счастье зависит от нас самих» (указ. изд., стр. 200).

Стр. 413. *«Жизнь идет неустанной стопой...»* — Неточная цитата из стихотворения Надсона «Во мгле» (Соч., т. I. Пг., 1917, стр. 3).

Стр. 415. ...*«пусть даже жизнь...»* — *«Жизнь плохо сторожит нас...»* (см. указ. изд., стр. 118 и 124).

Стр. 415. *Ты не купил... ты благородно умер*. — Сенека покончил жизнь самоубийством по приказу императора Нерона.

Стр. 416. *«Каждый человек есть вселенная...»* — Неточная цитата из части III «Путевых картин» Г. Гейне. У Гейне: «Ведь каждый отдельный человек — целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним, под каждым надгробным камнем — история целого мира» (Генрих Гейне. Собр. соч. в 10 тт., т. 4, ГИХЛ, 1957, стр. 224).

## КОЛОКОЛ

(Стр. 417)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 67, 24 марта.

Печатается по тексту газеты с исправлениями (по смыслу): «над ними» (стр. 417, строка 23) вместо «над ним»; «он» (стр. 425, строка 19) вместо «но»; «в лугах» (стр. 429, строка 12) вместо «в лучах».

Стр. 420. *«Не судите, да не судимы будете». «Кто из вас безгрешен — пусть первый возьмет камень...»* — Цитаты из Евангелия (Матф., 7, 1—2; Лука, 6, 37; Иоанн, 8, 7).

Стр. 421. *...дванадцатые праздники...* — Главные праздники православной церкви: рождество, крещение, пасха и т. п.

Стр. 423. *Евангелисты поменьше и гораздо худшей работы...* — Имеются в виду иконы апостолов Матфея, Иоанна, Марка и Луки, которым церковью приписывается авторство Евангелия.

Стр. 427. *В полиелей ударь...* — Полиелейные колокола — колокола, в которые звонили во время торжественных, так называемых полиелейных праздников, когда при службе зажигаются паникадила.

## СВАДЬБА

(Стр. 431)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 76, 7 апреля.

Печатается по тексту газеты.

## ГРИВЕННИК

(Стр. 439)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1896, № 89, 23 апреля.

Печатается по тексту газеты.

Тема рассказа имеет автобиографические корни. Тринадцатилетний Алеша Пешков был влюблен в сестру своей хозяйки Олимпиаду. На пасху он с трепетом ждал ее прихода, но вместо поцелуя Олимпиада подарила ему гривенник. Об этом Горький рассказал в другом «Гривеннике» (1916), включенном в цикл «По Руси». Первый «Гривенник» тоже повествует об утраченных иллюзиях «одного романтика». Характерен образ поэтически настроенного мечтателя, которому жизнь преподносит урок в весьма оскорбительной форме. Рассказ к концу приобретает философское звучание: гривенник вырастает в символ разрушенных надежд, воплощение судьбы и жизни.

«Гривенник» 1896 г. нельзя рассматривать как первую редакцию «Гривенника» 1916 г.: это самостоятельное произведение.

## ТРОНУЛО

(Стр. 443)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 136, 19 мая.

Печатается по тексту газеты.

15 мая 1896 г., приехав из Самары в Нижний Новгород, Горький осматривал Всероссийскую промышленную и художественную выставку. В рассказе «Тронуло» отразились впечатления от встреч Горького с российскими промышленниками и купцами по дороге из Самары и на выставке. 21 мая 1896 г. Горький писал Е. П. Волжиной: «Работаю, как вол. В Одессу послал уже два фельстона, один напечатал в „Листке“ — „на прожить“» (*Архив ГЧ*, стр. 19). «Фельстон», напечатанный в «Листке» («Нижегородском листке»), по-видимому, «Тронуло».

## АРТИСТ

(Стр. 450)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 153, 5 июня. Подпись: Некто X.

Печатается по тексту газеты.

6 июня 1896 г. Горький писал Е. П. Волжиной: «Мои фельтоны в „Од<есских> нов<остях>“ — А. П-в, в „Листке“ — Некто X» (*Архив ГЧ*, стр. 30).

Эпизод, изображенный в очерке, писатель паблюдал на Всероссийской художественной и промышленной выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г.

## СКАЗАНИЕ О ГРАФЕ ЭТЕЛЬВУДЕ ДЕ КОМИНЬ И О МОНАХЕ ТОМЕ ЭШЕРЕ

(Стр. 452)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 157, 9 июня.

Печатается по тексту газеты с исправлением опечатки на стр. 454, строка 40: «храбрец дю Вернуа» вместо «Храбрец дю Вернца».

Рассказ написан в 1896 г. 6 июля этого года Горький сообщил Е. П. Волжиной: «В воскресенье в „Листке“ фельетон „О рыцаре Этельвуде“» (*Архив ГЧ*, стр. 30). Сюжет заимствован из книги французского историка Огюстена Тьерри «История завоевания Англии норманнами», которая вышла в переводе на русский язык в 1868 г. (чч. 1—3, СПб.), а также из исследования А. М. Стринхольма «Походы викингов, государственное устройство, нравы и обычаи древних скандинавов» (перевод с немецкого А. Шемякина. Части I и II. М., 1861). По этим материалам написан также рассказ Горького «Возвращение норманнов из Англии»,

повествующий, как и «Сказание о графе Этельвуде де Комиль...», о временах «сильных людей» (см. выше, стр. 304—309).

Рыцарские легенды и предания норманнов отвечали определенным настроениям молодого Горького. По свидетельству А. Треплева (А. А. Смирнова), «описание суровой жизни северных воинов, скитание по холодным морям, со стуком мечей и звоном щитов в кровавых битвах, явно гармонировало с героико-романтическим настроением юноши-писателя, нашедшим выражение в тогда же созданных „Песне о Соколе“ и „Буревестнике“» («Штурм», 1932, № 2, стр. 65).

Несколько идеализируя викингов, Горький искал в исторических легендах воплощение сильных и цельных героических характеров. В рассказе «Возвращение норманнов из Англии» он писал: «Только сильные, когда они обессилены чем-либо, достойны жалости, для слабых же не должно быть ее в твоём сердце» (см. наст. изд., стр. 307). Мотив «не жалея слабых», звучащий и в «Сказании о графе Этельвуде...», подал повод отдельным критикам обвинять Горького в проповеди нищезанятия. Однако легендарно-исторические мотивы эпохи викингов были для молодого Горького лишь матерьялом, на котором он пытался решить проблему героического.

Стр. 452. *Гиды* — монастырь Гиды близ Винчестера в области Гантской (см. О. Тьерри, ч. I, стр. 252).

Стр. 452. *Вильгельм I Завоеватель* (1027—1087) — герцог Нормандии, с 1066 г. — король Англии.

Стр. 454. «*Во многом вёдени...*» — Не совсем точная цитата из «Книги Экклезиаста, или Проповедника», гл. 1, стих 18.

Стр. 459. *Арфа Эола* — (миф.) арфа бога ветров, издававшая нежные звуки при восходе солнца и самом легком ветре.

Стр. 461. *Епископ байеский* — епископ города Байё (Bayeux) в кальвадосском департаменте Нормандии. С 1049 года епископом байеским был Одо (1036—1097), сводный брат и ближайший сподвижник Вильгельма I Завоевателя. В 1082 г. Одо был заключен в крепость, где провел пять лет.

## ВОР

(Стр. 462)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 163, 15 июня. Подпись: Некто X. (О принадлежности этого псевдонима Горькому см. в примечаниях к очерку «Артист».)

Печатается по тексту газеты с исправлением опечатки на стр. 463, строка 16: «болтая» вместо «болтал».

## ТРУБОЧИСТ

(Стр. 467)

Впервые, с подзаголовком «Роман», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 164, 16 июня.

В 1898 г., готовя к печати третий том «Очерков и рассказов», Горький предполагал включить в него рассказ «Трубочист». Он писал С. П. Дороватовскому: «При сем посылаю Вам транспорт: „Варенька Олесова“, „Самоубийст(во)“, „Месть“, „Трубочист“, „Однажды осенью“» (Г-30, т. 28, стр. 33). Рассказ, однако, в третьем томе помещен не был.

В Архиве А. М. Горького сохранился вырезанный из газеты текст рассказа, наклеенный на листы писчей липованной бумаги, со значительной авторской правкой. Угол одного газетного столбца, наклеенного на бумагу, оборван, и недостающие слова дописаны рукой автора. Заключительные абзацы газетного текста обрезаны; вместо них автором от руки написаны две заключительные строки.

Редактируя рассказ, Горький снял подзаголовок и произвел ряд сокращений. Существенно изменена концовка рассказа (см. варианты).

Печатается по тексту газетной вырезки, правленному автором (ХПГ-46-18-1), с исправлением: «отклонял ее голову» (стр. 470, строки 37—38) вместо «отклоняя ее голову».

## ОТКРЫТИЕ

(Стр. 475)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 173, 25 июня, и № 181, 3 июля.

Печатается по тексту газеты с исправлением нумерации глав рассказа и опечаток: «ложном» (стр. 477, строка 10) вместо «сложном»; «не поддастся» (стр. 479, строки 40—41) вместо «не поддается»; «думала» (стр. 495, строка 5) вместо «подумала».

27 июня 1896 г. Горький писал Е. П. Волжиной: «Обрати внимание, Катя, на мой этюд „Открытие“, напечатанный в „Нижегород(одском) листке“, прочитай его и скажи мне свое мнение. То, о чем я писал там, всегда так сильно смущает мою душу. Я считаю ее правой — но я не знаю, когда она была — в первом или во втором случае. Я знаю одно — она его не любила; когда любят, не прибегают к таким уловкам» (Архив Г., стр. 38—39).

Стр. 478. ...староверами нетова согласия... — Нетово согласие — один из наиболее радикальных толков в старообрядчестве, возникший в XVII веке. Нетовцы отрицали формы внешнего благочестия (обряды, почитание икон и т. п.) и институт священнослужителей. Здесь имеется в виду слепая приверженность букве своего учения, фанатизм, замкнутость в узком кругу единомышленников.

## ОТОМСТИЛ...

(Стр. 497)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 185, 7 июля.

Печатается по тексту газеты.

Материалом для рассказа послужили наблюдения на Нижегородской ярмарке. О тяжелом моральном положении артисток и хористок в первоклассных ресторанах на ярмарке Горький написал несколько фельетонов для «Нижегородского листка» и «Одесских новостей». В заметках «С Всероссийской выставки» («Одесские новости», 1896, № 3681, 6 июля) и «Беглых заметках» («Нижегородский листок», 1896, № 182, 4 июля) есть текстуальные совпадения с рассказом «Отомстил...».

Рассказ, по-видимому, навеян конкретными фактами, в частности, трагическим случаем с певицей Лили Дарто, который произошел в ночь с 3 на 4 июля 1896 г. Горький писал о нем в корреспонденции «С Всероссийской выставки» под заглавием «Иветта на Нижегородской ярмарке» («Одесские новости», 1896, № 3686, 11 июля). Лили Дарто (настоящее имя: Евгения Бруно-Бланш) — певица из труппы Омона — покусалась на самоубийство из-за несчастной любви. Публика на выставке отнеслась к этому случаю как к курьезу: разве певичка может иметь какие-то сильные чувства и переживания? Безучастное отношение к женщине послужило для Горького исходным моментом для размышлений о бездушии «порядочного» общества.

Прототипом главного героя рассказа, возможно, явился лектор на Нижегородской ярмарке. Он выступал с популярными лекциями о народном образовании, психологии ребенка, задачах интеллигенции и т. п., а вместе с тем, беседуя с Горьким, равнодушно отнесся к трагедии Лили Дарто (см. об этом: А. Н. С в о б о д о в. Из истории борьбы раннего Горького с достоевщиной. — «Ученые записки Горьковского пединститута им. М. Горького», т. XIV, 1950, стр. 63).

В наброске «Отомстил...» даны первые зарисовки образа буржуазного интеллигента с пустой душой. Имея в виду произведения типа «Отомстил...», критик Е. А. Андреевич писал: «Горький по адресу интеллигенции наговорил много „неприятностей“ и дерзостей, но <...> это дерзости превосходнейшие, и большое за них спасибо молодому писателю, потому что на самом деле мы обещаниваемся...» (А н д р е е в и ч. Книга о М. Горьком и А. П. Чехове. СПб., 1900, стр. 153).

Рассказ «Отомстил...» тематически близок к «Пробуждению» (см. т. I, стр. 286), героиня которого дерзко протестует против издательств над нею.

Стр. 498. *Канавино, Самокат* — окраины Нижнего Новгорода.

Стр. 500. *Вы видели синемаотограф?* — Кинематограф был впервые показан в России на нижегородской Всероссийской вы-

ставке в 1896 г. в «Театре-концерте паризьен» Шарля Омона. Горький посетил кинематограф 30 июня или 1 июля. Впечатления от этого посещения отразились в «Беглых заметках» и в корреспонденции «С Всероссийской выставки».

Стр. 500. *Особенно мне нравится одна картинка.* — Далее следует пересказ кинокартины «Семейный завтрак», которая демонстрировалась в кинематографе при ресторане Омона летом 1896 г.

## СОЛО

(Стр. 504)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 199, 21 июля.

Печатается по тексту газеты.

Рассказ написан летом 1896 г., во время пребывания Горького на Нижегородской ярмарке. 20 июля 1896 г. он сообщил Е. П. Пешковой: «Завтра в „Листке“ фельетон „Соло“ и описание раута в Главном Доме» (*Архив Г.*, стр. 39). В основе сюжета «Соло» — реальный случай, который Горький наблюдал не в Нижнем Новгороде, а в Самаре. Об этом он рассказал в 1912 г. на Капри художнику Н. А. Прахову, который вспоминал: «Заговорили о литературе, последнем сборнике „Знание“. Мне вспомнился один из ранних рассказов Горького, напечатанный в „Нижегородском листке“ вместо фельетона. Тема — ревность тромбониста к „барышне“ — швейке, за которой ухаживает и полковой писарь <...>

„— Вот удивительно, как вы всё это запомнили! А ведь я совершенно забыл про этот рассказ! Если бы помнил, может быть, и включил с небольшой переделкой в свой сборник. Право, забыл, вот вы теперь только напомнили ... Это я с натуры писал, такой скандал действительно был в нашем городе, только не в Нижнем, а Самаре<sup>1</sup>. Я и писаря этого знал, и музыканта, и «даму его сердца», за которой оба ухаживали — все вместе по откосу гуляли — там тоже есть «откос», и сад городской, где музыка играет.

Какой переполох был, когда он вдруг так задудел одну ноту. Дирижер даже палочку уронил, музыканты все со своих мест повскакали, публика побежала из сада, решили, что он с ума сошел! Городовой засвистел. Тут только он оиомнился! Потом поволокли его, раба божьего, в участок, там протокол составили «за нарушение общественной тишины и порядка». Я и в участок потом ходил выручать, приятели мы были с этим музыкантом. Вот теперь, когда вы папомнили, как живые стоят перед глазами эти люди! <...>

У меня тогда много было задумано комических рассказов в этом роде, да потом другая полоса пошла. Другая сторона жизни заинтересовала» (*Архив А. М. Горького, МоГ-11-5-1*).

---

<sup>1</sup> В рукописи описка — «Саратове».

Н. К. Пиксапов использовал рассказ «Соло» как доказательство музыкальности автора. 12 июня 1933 г. он писал Горькому: «В Вашем творчестве сильно сказывается стихия музыкальности. Когда я читал „В людях“, меня поразило истинно музыкальное восприятие природы — леса, пения птиц. А недавно, когда я впервые прочел затерявшийся в „Нижегородском листке“ 1896 г. этюд „Соло“, я был обрадован тем, что Вы еще в раннем своем творчестве перевели свое музыкальное восприятие леса в замысел музыкальной картины „Пробуждение леса“» (там же, КГ-п-57-8-5).

Стр. 509. *Пикколо* — наименьший по размерам и самый высокий по звучанию музыкальный инструмент; здесь: партия флейты.

### ДИПЛОМАТИЯ

(Стр. 513)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 206, 28 июля.

Печатается по тексту газеты.

Стр. 515. *Малит*, или *малът* — сорт мелких сладких яблок, ярко-красного цвета.

### СЛЕПОТА ЛЮБВИ

(Стр. 520)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 208, 30 июля.

Печатается по тексту газеты.

В «Слепоте любви» Горький использовал мотивы и материал средневековых крестовых походов. Как и в других своих произведениях, основанных на исторических легендах, писатель воплощает здесь тему героизма, самоотверженной гордой любви.

Стр. 520. *Однажды рыцарю Гастону де Курси...* — Имя де Курси использовано Горьким также в «Балладе о графине Эллен де Курси» (см. т. 3 настоящего издания).

Стр. 520. *Говорищи ваши давно уже бьются за святой крест на полях Палестины...* — Речь идет о третьем крестовом походе (1189—1192), последовавшем за взятием Иерусалима египетским султаном Салах-ад-дином в 1187 г. В нем участвовали рыцари Франции, Германии и Англии.

Стр. 520. *...где в то время уже был Барбаросса с его воинами.* — Фридрих I Барбаросса (ок. 1125—1190), император «Священной Римской империи» (1152—1190), был одним из руководителей третьего крестового похода; утонул в реке Салеф в Малой Азии.

Стр. 521. *...среди рыцарей короля Филиппа Августа...* — Филипп II Август (1165—1223), французский король (1180—

1223); вместе с Фридрихом Барбароссой и английским королем Ричардом Львиное Сердце был предводителем третьего крестового похода.

Стр. 521. ...с одним из лучших воинов Саладина.— Салах-ад-дин (Саладин) Юсуф (1138—1193) — египетский султан (1171—1193), пользовавшийся большой популярностью среди мусульман. Объединив под своей властью Египет, большую часть Сирии, Хиджаз, Верхнюю Месопотамию, Саладин повел энергичную борьбу против крестоносцев, отвоевал Иерусалим, затем успешно воевал с участниками третьего крестового похода.

Стр. 521. ...от меча сарацина.— Сарацинами в средние века называли всех арабов и некоторые другие народы Ближнего Востока. Сарацины (шаракини) в арабском языке — восточные люди.

## ЛЕГЕНДА О ЕВРЕЕ

(Стр. 522)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 213, 4 августа.

Печатается по тексту газеты.

Ближайшим литературным источником «Легенды о еврее» была книга: А. Я. Г а р к а в и. Иегуда Галеви. Очерк его жизни и литературной деятельности. Изд. 2. СПб., 1896. Книга имелась в библиотеке писателя (См. Д. А. Б а л и к а. Личная библиотека А. М. Горького нижегородских лет. Горький, 1948, стр. 44).

Иегуда Галеви — еврейский поэт и мыслитель, живший в Испании (ок. 1080—ок. 1145). По-арабски он назывался Абуль-Хасан-Аль-Лави. В книге Гаркави говорится:

«В 1140 году, когда нашему поэту было уже около 60 лет от роду, он высказал публично твердую решимость привести в исполнение давно задуманное, может быть по данному обету, вследствие потери им жены, переселение в Иерусалим. <...> Прощание со своими и с друзьями, проезд через испанские города и вступление на корабль, прибытие в Египет, где поэт имел также много друзей и где он приужден был оставаться некоторое время, отъезд оттуда в Палестину — всё это походило на триумфальное шествие <...> По-видимому, он скончался тотчас по вступлении на палестинскую почву, и весьма вероятно, что его организм не мог выдержать сильного напора восторженных ощущений, разом нахлынувших на него при окончательном достижении столь горячо желанной цели» (стр. 23, 24, 47).

Легенда рассказывает о том, что, достигнув ворот Иерусалима, Галеви, придя в восторженное состояние, сочинил и продекламировал свою известную элегию на разрушение Иерусалима, и в это время арабский всадник растоптал его копытами своей лошади.

Личность Галеви вдохновила Г. Гейне на создание поэмы «Иегуда Бен Галеви» (в цикле «Еврейские мелодии», 1851).

В поэме герой погибает почти как в легенде — от копья сарацина, слагая поэтический «плач великой скорби».

Горький по-своему осмыслил образ Галеви и создал оригинальную версию легендарного сказания, в которой главное — мотив романтического стремления к идеалу, образ романтика, ищущего жизни совершенной.

Стр. 522. ...*при дворе халифа Иезида*... — Иезид — имя трех халифов из династии Омейядов, живших в VII и VIII веках. Здесь — лицо вымышленное.

Стр. 522. *Несториане* — последователи течения, возникшего в христианстве в 30—40-х годах V века. Основано константинопольским патриархом Несторием.

Стр. 522. *Аверроэс* — Ибн-Рошд (1126—1198), арабский философ, развивавший материалистические стороны учения Аристотеля. Оставил также сочинения по вопросам медицины.

Стр. 522. *Авиценна* — Ибн-Сина, Абу-Али (ок. 980—1037), крупнейший ученый-энциклопедист восточного средневековья, философ, естествоиспытатель, врач, математик, поэт. По происхождению таджик, писал в основном на арабском языке.

Стр. 523. *Асгард* — согласно мифологии древних германцев, один из девяти миров, в котором живут боги.

Стр. 523. *Один* — бог древних германцев, владыка неба и земли. Культ Одида был общим у германских племен.

Стр. 525. *Адонай* (евр.— господин, господь мой) — одно из наименований бога Ягве в Библии.

## СОН

(Стр. 526)

Впервые, под названием «Сны» и с подзаголовком «I. Катастрофа», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 220, 11 августа.

В Архиве А. М. Горького сохранилась вырезка из газеты с авторской правкой чернилами (ХПГ-46-3-1). Печатное заглавие «Сны» и подзаголовок рассказа зачеркнуты автором. Правка текста незначительна (см. варианты). Она относится к 1899 г. Договариваясь об издании третьего тома «Очерков и рассказов», Горький писал С. П. Дороватовскому в мае 1899 г.: «Прилагаю маленький рассказик „Сон“» (Г-30, т. 28, стр. 80). Предполагалось, что рассказ будет включен в третий том вместе с «Проходимцем» и «Моим спутником». Но в процессе работы состав тома изменился, и «Сон» был отвергнут (см. там же, стр. 79—81).

Печатается по тексту газетной вырезки, правленному автором (ХПГ-46-3-1).

Рассказ представляет собою элегическое раздумье о жизни, ее смысле, об отношении людей друг к другу. Горький высмеивает «героизм» эгоистических натур, косвенно выступая против

философии Ф. Ницше. В рассказе «Сон» заложено ядро другого рассказа — «За бортом»: в нем развивается тема трагического одиночества, выбрасывающего человека за борт жизни.

## СОЮЗНИКИ

(Стр. 534)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 234, 25 августа.

Печатается по тексту газеты.

Стр. 534. *«Le petit Journal»* — ежедневная французская буржуазная газета, выходившая в Париже с 1863 г. Основана банкиром Моисом Мило. Была рассчитана на вкусы широкой публики.

Стр. 534. ...*веселый король Генри...* — Имеется в виду французский король Генрих IV (1553—1610).

Стр. 534. ...*сторонник франко-русского alliance'a...* — (фр. alliance — союз между государствами). Франко-русский военно-политический союз сложился в 1891—1893 гг. (в декабре 1893 г. был ратифицирован русским и французским правительствами) и просуществовал до 1917 г.

Стр. 535. *Вивёр* — человек, живущий исключительно ради своих удовольствий.

Стр. 539. *Гибель устроим, разрушения и содом!* — По библейской легенде, Содом и Гоморра — города в древней Палестине — за грехи их жителей были разрушены огненным дождем и землетрясением.

## ЗА БОРТОМ

(Стр. 541)

Впервые напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 249, 9 сентября.

Печатается по тексту газеты.

Стр. 544. ...*«истинный шекинах — есть человек»...* — Шекинах — от еврейско-арамейского «пехина» («бог пребывающий»). В позднейших толкованиях еврейской религиозной литературы «пехина» — некто, стоящий между богом и миром.

## КАК НУЖНО УСТРАИВАТЬ ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО

(Стр. 547)

Впервые, под заголовком «Как мы устроили наше хозяйство», напечатано в газете «Нижегородский листок», 1896, № 255, 15 сентября.

Печатается по газетной вырезке с авторской правкой (Архив А. М. Горького, ХПГ-35-2-1).

В своей основе рассказ «Как нужно устраивать домашнее хозяйство» автобиографичен. 30 августа 1896 г. в Самаре Горький обвенчался с Е. П. Волжиной и вскоре вернулся с ней в Нижний Новгород. Супруги поселились на новой квартире, снятой в доме Гузеевой по Вознесенскому переулку (ныне улица Карла Маркса, дом 12). Этот дом и описан в рассказе. Е. П. Пешкова вспоминала: «Приехав в Нижний, мы сняли квартиру за 11 рублей в месяц, сначала две комнаты, а потом уже третью, в этом же доме <...> Мы привезли из Самары домработницу моей матери; однажды утром она заявляет, что на базар денег нет. Тогда Алексей Максимович сел и очень быстро написал юмористическую картинку „Как мы устроили наше хозяйство“, чтобы заработать денег на базар...» (Г о р ь к и й. Забытые произведения. Горький, 1959, стр. 12).

К рассказу Горький вернулся в конце 90-х годов, о чем свидетельствует вырезка из «Нижегородского листка» с авторской правкой. Правка нанесена синими чернилами на газетный лист и листы писчей бумаги. Изменения, сделанные Горьким в тексте рассказа, довольно значительны: появилось новое название очерка; в текст внесено более 20 стилистических поправок, полностью вычеркнуты четыре абзаца. Характер правки показывает, что Горький последовательно устранял из очерка интимные подробности. Всюду проведена замена тех мест, которые носили чрезмерно эмоциональный характер. Резче подчеркнул Горький материальные затруднения молодой супружеской пары. Все изменения (в том числе и перемена заглавия) свидетельствуют о том, что Горький стремился придать очерку характер большей объективности (см. варианты).

Правка рассказа, по-видимому, относится к 1899—1900 гг. На обороте листа 2 рукописи имеется надпись Горького синим карандашом: «Семену Павловичу». Вероятно, рукопись предназначалась Семену Павловичу Боголюбову, заведующему конторой «Знания». Однако ни в одно издание «Знания» произведение не вошло.

Рядом с заглавием «Как нужно устраивать домашнее хозяйство» рукой Горького поставлена римская цифра II. Должно быть, очерк мыслился им как продолжение публиковавшихся ранее в провинциальных газетах «очерков из быта мелкой интеллигенции». Возможно, Горький рассматривал его как вторую часть рассказа «Свадьба» (см. в этом томе, стр. 431).

Стр. 549. *Велепный* — устаревшее церковнославянское: великолепный.

### «СИМ ДОКЛАДЫВАЮ ВАМ...»

(Стр. 555)

Впервые опубликовано в книге: *Архив ГҮІ*, стр. 169.

По содержанию можно предположить, что стихотворение написано в 1895—1900 гг. Но хранящийся в Архиве А. М. Горького

текст написан по новой орфографии, т. е. не ранее 1928 г. По-видимому, рукопись представляет собой копию раннего стихотворного послания Горького, адресованного редактору какого-то издания. На обороте рукописи надпись автора: «Перепиши и пошли ему сейчас же».

Печатается по автографу (ХПГ-52-11).

### 〈Е. П. ПЕШКОВОЙ〉

(Стр. 556)

При жизни автора не печаталось.

Впервые опубликовано в книге: М. Горький. Стихотворения. М.—Л., 1963. В автографе (письмо Горького к Е. П. Волжиной) записано без разбивки на стихи. Печатается по автографу (Архив А. М. Горького).

Стихотворение относится ко времени работы Горького в Нижнем Новгороде в редакции «Нижегородского листка». Авторская дата под ним: «19 июня 1896 г.», т. е. оно написано за два с небольшим месяца до венчания с Е. П. Волжиной (30 августа 1896 г.).

### 〈ЭПИГРАММЫ НА Д. С. МЕРЕЖКОВСКОГО〉

(Стр. 557, 558)

При жизни автора не печатались. Впервые опубликованы в альманахе «Волга» (Куйбышев), 1957, № 15, стр. 235 и 238.

Эпиграммы написаны между 1892 и 1896 гг. на полях книги поэта-декадента Д. С. Мережковского «Символы. Песни и поэмы» (СПб., 1892), подаренной Горьким А. А. Смирнову (псевдоним: А. Треплев), с которым он вместе работал в «Самарской газете». Смирнов вспоминал: «Мне он подарил сборник „Тени и тайны“ Фофанова и „Символы“ Мережковского. На „Символах“ было много заметок Алексея Максимовича, одна очень длинная, в стихах. Содержание ее целестно для автора книги» (В С, стр. 99).

В настоящее время экземпляр книги Мережковского с горьковским автографом находится у В. М. Антимонова — жителя г. Куйбышева (фотокопия книги хранится в Архиве А. М. Горького, в Москве). По этому экземпляру книги эпиграммы и печатаются в настоящем издании.

Первая эпиграмма пародийно продолжает поэму Мережковского «Смерть», в которой 68 строф (№ 69 и 70, написанные Горьким, таким образом, продолжают нумерацию поэмы). На полях книги Горький сделал и другие замечания об этой поэме; например, по поводу 12-й строфы он написал: «Сие украдено из „Манфреда“», а по поводу 16-й — «А зачем идет почтенный старик! — Стыдно!»

Вторая эпиграмма пародирует строфу XV стихотворной повести Мережковского «Вера»:

У нас культуру многие бранят  
(Что, в сущности, остаток романтизма),  
Но иногда мне душу веселят  
Локомотив иль царственный фрегат  
Изяществом стального механизма...

Горький подчеркнул слова: «романтизма», «локомотив», «фрегат», а на полях около слова «локомотив» поставил «N. В.».

Заключительная строка горьковской эпиграммы имеет вариант. Первоначально было написано: «Он здесь смысл здравый уморил!» Затем, стремясь придать фразе благозвучие, Горький произвел перестановку, обозначив новый порядок слов арабскими цифрами.

Уже в ранних своих произведениях и статьях Горький боролся против упадочнической, пессимистической поэзии декаданса («Неприятность», «Поэт», «Грустная история» и др.). В 1896 г. в рецензии на сборник Ф. Сологуба «Стихи. Книга первая» Горький, критикуя поэта за пессимистические настроения, заметил, что «под этими его стихами подпишутся почти все наши новые поэты во главе с господином Мережковским» (Г-30, т. 23, стр. 121). Мережковского Горький неоднократно упоминает и в «прощальном» своем романе «Жизнь Клима Самгина», вспоминает и его поэму «Вера». Так, Самгину, когда он смотрит на Кутузова, в котором не было «ничего лишнего, придуманного <...> всё было слажено прочно и всё необходимо, как необходимы машине ее части», приходит на ум строчка «стихов молодого, по уже весьма известного поэта: „Есть красота в локомотиве“» (там же, т. 19, стр. 226).

## ДЛЯ ХРОНИКИ

(Стр. 561)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 48, 3 марта, в разделе «Маленький фельетон». Подпись: Y.

О принадлежности данного псевдонима М. Горькому см. комментарий к рассказу «Приключение мистера Чарльза Крэк». В рассказе «Для хроники» упоминается репортер Гарли Гук, который является одним из персонажей рассказа «Приключение мистера Чарльза Крэк».

Печатается по тексту газеты.

## ПРИКЛЮЧЕНИЕ МИСТЕРА ЧАРЛЬЗА КРЭК

(Стр. 565)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 62, 19 марта, в разделе «Маленький фельетон». Подпись: Y.

Принадлежность данного псевдонима Горькому установлена по правленным писателем гранкам рассказа, которые хранятся в Архиве А. М. Горького.

Печатается по тексту «Самарской газеты» со следующими исправлениями опечаток: «Спасите меня!» (стр. 567, строка 20) вместо «Спасти тебя!»; «оглядываясь» (стр. 567, строка 36) вместо «оглядывалась».

Д. Я. Д.— Дмитрий Яковлевич Давыдов, фельетонист и очеркист «Самарской газеты».

## СОЛОВЕЙ

(Стр. 570)

Впервые напечатано в «Самарской газете», 1895, № 151, 16 июля. Подпись: Дваге. Первым мысль о принадлежности этого рассказа Горькому высказал Е. Б. Тагер. По свидетельству Е. П. Пешковой, псевдонимом Дваге подписывались произведения, сюжеты которых подсказывал Горькому С. С. Гусев (псевдоним Слово-Глаголь, 1854—1922).

Печатается по тексту газеты.

Стр. 572. *Красиво только редкое...*— Ср. «Дневник братьев де Гонкур», СПб., 1898, стр. 45, 74, а также предисловие к роману Э. Гонкура «Братья Земгано».

---

## СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

- А. М. Горький. Нижний Новгород, 1896 г. Фото М. Дмитриева. Фронтиспис.
- «Челкаш». Страница рассказа с правкой М. Горького для издания «Книга» . . . . . 13
- «Песня о Соколе». Вставка в текст и новая редакция конца песни. Автограф . . . . . 45
- «Вывод». Машинописная страница рассказа, отредактированного М. Горьким для «Крестьянской газеты» (1935) 59
- «Очерки и рассказы» М. Горького в издании С. Дороватовского и А. Чарушникова. Титульная страница первого тома . . . . . 111

## СОДЕРЖАНИЕ

	Текст	Примечания
I		
Челкаш . . . . .	7	581
Песня о Соколе . . . . .	42	586
Однажды осенью . . . . .	48	592
Вывод . . . . .	57	594
На плотях. <i>Пасхальный рассказ</i> . . . . .	61	599
Дело с застежками . . . . .	74	603
Хан и его сын . . . . .	86	606
Товарищи . . . . .	93	609
Тоска . . . . .	108	611
II		
Два босяка. <i>Очерк</i> . . . . .	155	618
О мальчике и девочке, которые не замерзли. <i>Святочный рассказ</i> . . . . .	181	619
Самоубийство . . . . .	189	619
Друзья. <i>Рассказ</i> . . . . .	208	620
Красавица . . . . .	236	621
Прощай! . . . . .	238	621
Несколько испорченных минут . . . . .	240	622
Дележ . . . . .	247	622
В Черноморье . . . . .	252	622
Открытие. <i>Из мемуаров современника</i> . . . . .	255	622
Несколько дней в роли редактора провинциальной газеты. <i>Прекрасная тема для остроумных людей (Перевод с американского)</i> . . . . .	263	623
Сказка . . . . .	289	626
Ма-аленькая! . . . . .	299	628
Возвращение норманнов из Англии. <i>По Тьерри</i> . . . . .	304	628
Колюша. <i>Набросок</i> . . . . .	310	630
Грустная история . . . . .	314	631
Женщина с голубыми глазами . . . . .	325	631
«Гость». <i>Волжская картинка</i> . . . . .	338	633
Одинокий . . . . .	342	633
Неприятность. <i>Эскиз</i> . . . . .	348	635
Как поймали Семагу . . . . .	355	635

	Текст	Приме- чания
Бабушка Акулина. <i>Набросок</i> . . . . .	362	635
Извозчик. <i>Святочный рассказ</i> . . . . .	373	636
Старый год. <i>Сказка</i> . . . . .	391	637
Первый дебют . . . . .	395	638
Почтальон . . . . .	398	638
У схимника. <i>Эскиз</i> . . . . .	403	638
Часы отдыха учителя Коржика. <i>Очерк</i> . . . . .	410	639
Колокол. <i>Набросок</i> . . . . .	417	640
Свадьба. <i>Очерк</i> . . . . .	431	640
Гривенник. <i>Эпизод из жизни одного романтика</i> . . . . .	439	640
Тронуло. <i>С натуры</i> . . . . .	443	641
Артист. <i>С натуры</i> . . . . .	450	641
Сказание о графе Этельвуде де Комишь и о монахе Томе Эшере. <i>По хронике о битве при Гастингсе</i>	452	641
Вор. <i>С натуры</i> . . . . .	462	642
Трубочист . . . . .	467	643
Открытие. <i>Этюд</i> . . . . .	475	643
Отомстил... <i>Набросок</i> . . . . .	497	644
Соло. <i>Этюд</i> . . . . .	504	645
Дипломатия. <i>Картинка с натуры</i> . . . . .	513	646
Слепота любви. <i>Легенда</i> . . . . .	520	646
Легенда о еврее . . . . .	522	647
Сон . . . . .	526	648
Союзники. <i>Фельетон</i> . . . . .	534	649
За бортом. <i>Элегия</i> . . . . .	541	649
Как нужно устранивать домашнее хозяйство. . . . .	547	649

### III

«Сим докладываю вам...» . . . . .	555	650
〈Е. П. Пешковой〉 . . . . .	556	651
〈Эпиграммы на Д. С. Мережковского〉 . . . . .	557	651

### IV

#### DUBIA

Для хроники. <i>Американский рассказ</i> . . . . .	561	652
Приключение мистера Чарльза Крэк. <i>Американский рассказ</i> . . . . .	565	652
Соловей . . . . .	570	653
ПРИМЕЧАНИЯ . . . . .	577	
Список иллюстраций . . . . .	653	

*Печатается по решению  
Президиума Академии наук СССР  
и Комитета по печати  
при Совете Министров СССР*

\*

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:**

Л. М. ЛЕОНОВ (главный редактор),  
Н. Ф. БЕЛЬЧИКОВ, Б. А. БЯЛИК, С. С. ЗИМИНА;  
Г. М. МАРКОВ, А. И. МЕТЧЕНКО, А. С. МЯСНИКОВ,  
В. С. НЕЧАЕВА, В. В. НОВИКОВ,  
А. И. ОВЧАРЕНКО (зам. главного редактора),  
В. М. ОЗЕРОВ, В. С. РЮРИКОВ, В. Л. СУЧКОВ,  
Е. В. ТАГЕР, К. А. ФЕДИН, М. Б. ХРАПЧЕНКО,  
В. Р. ЩЕРВИНА

Тексты подготовили и комментарии составили:  
С. Я. Бродская, И. И. Вайнберг, Л. А. Евстигнеева,  
В. Н. Лажина, Ф. Н. Пицкель, А. А. Тарасова,  
В. Ю. Троицкий

Ответственный секретарь издания М. А. Семашкина

Редактор второго тома В. В. Новиков

\*

Редактор Издательства А. И. Корчагин  
Оформление художника Н. А. Седельникова  
Технические редакторы А. П. Гусева и О. М. Гуськова  
Корректоры В. Г. Богословский и Т. А. Пономарева

\*

Сдано в набор 24/VII 1968 г. Подписано к печати 25/III 1969 г.  
Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Бумага № 1. Усл. печ. л. 34,5.  
Уч.-изд. л. 30,6. Тираж 300 000 экз.  
Изд. № 3372/68. Тип. зак. № 2982  
Цена 1 р. 50 к.

*Издательство «Наука»  
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21  
Ордена Трудового Красного Знамени  
Первая Образцовая типография им. А. А. Жданова  
Главполиграфпрома Комитета по печати  
при Совете Министров СССР  
Москва, Ж-54, Валовая, 28*

